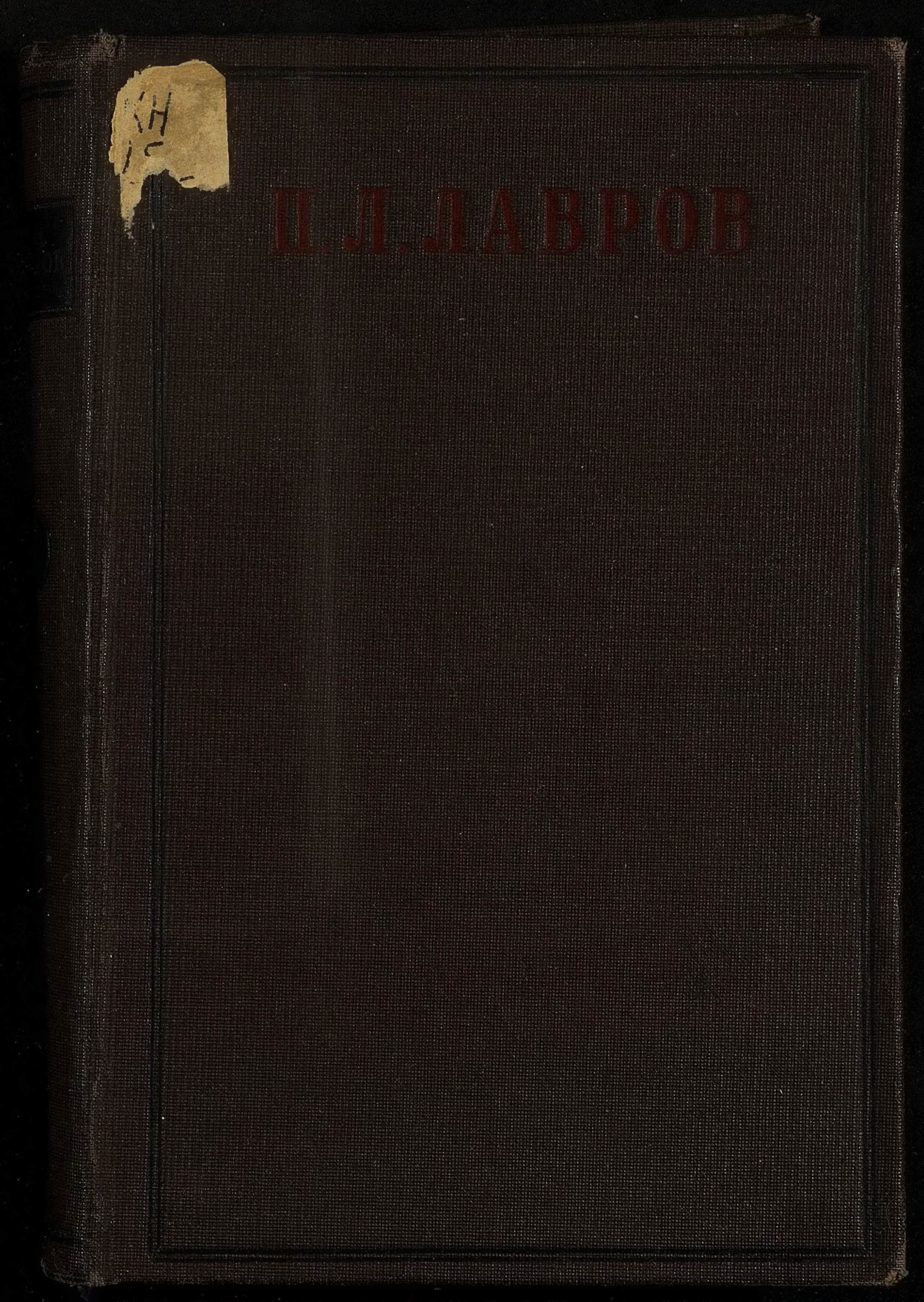

П. Л. ЛАВРОВ



peuvent procéder à leurs achats dans ses magasins.

Le Torgsin possède des magasins dans toutes les villes de l'Union Soviétique.

On trouve dans les magasins du *Torgsin* un riche assortiment des marchandises soviétiques et d'importation de la plus haute qualité et à des prix modérés (alimentation, confection, chaussures, ustensiles de ménage, articles de sport, tissus, mercerie, etc.).

Si vos amis ou vos parents habitent une localité rurale, le *Torgsin*, sur votre demande, leur expédiera en colis-postal, pour la somme versée, les articles à leur choix, selon le prix-courant.

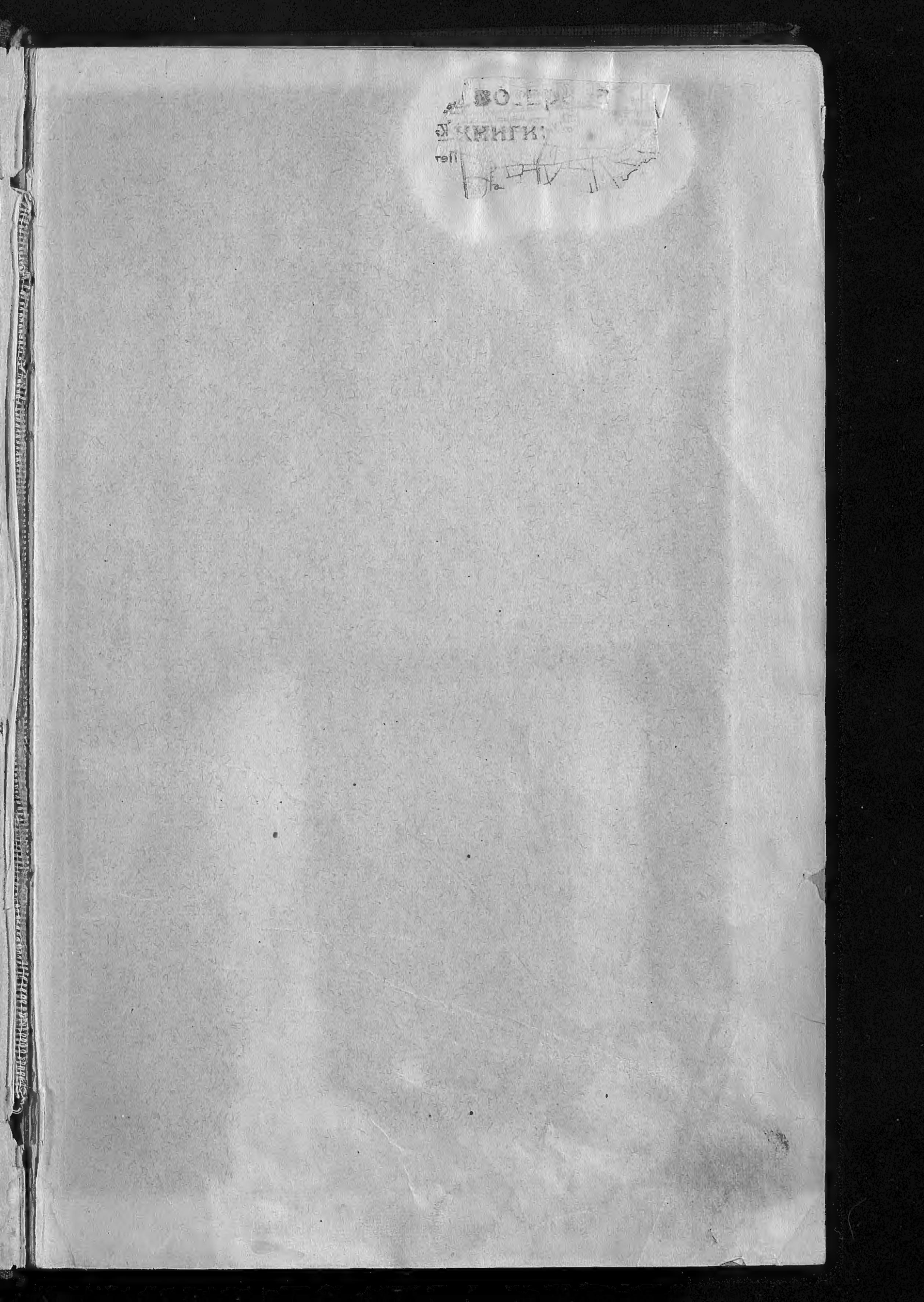
la commodité de ses clients, le *Torgsin* a organisé e d'expédition de *colis-standard.*

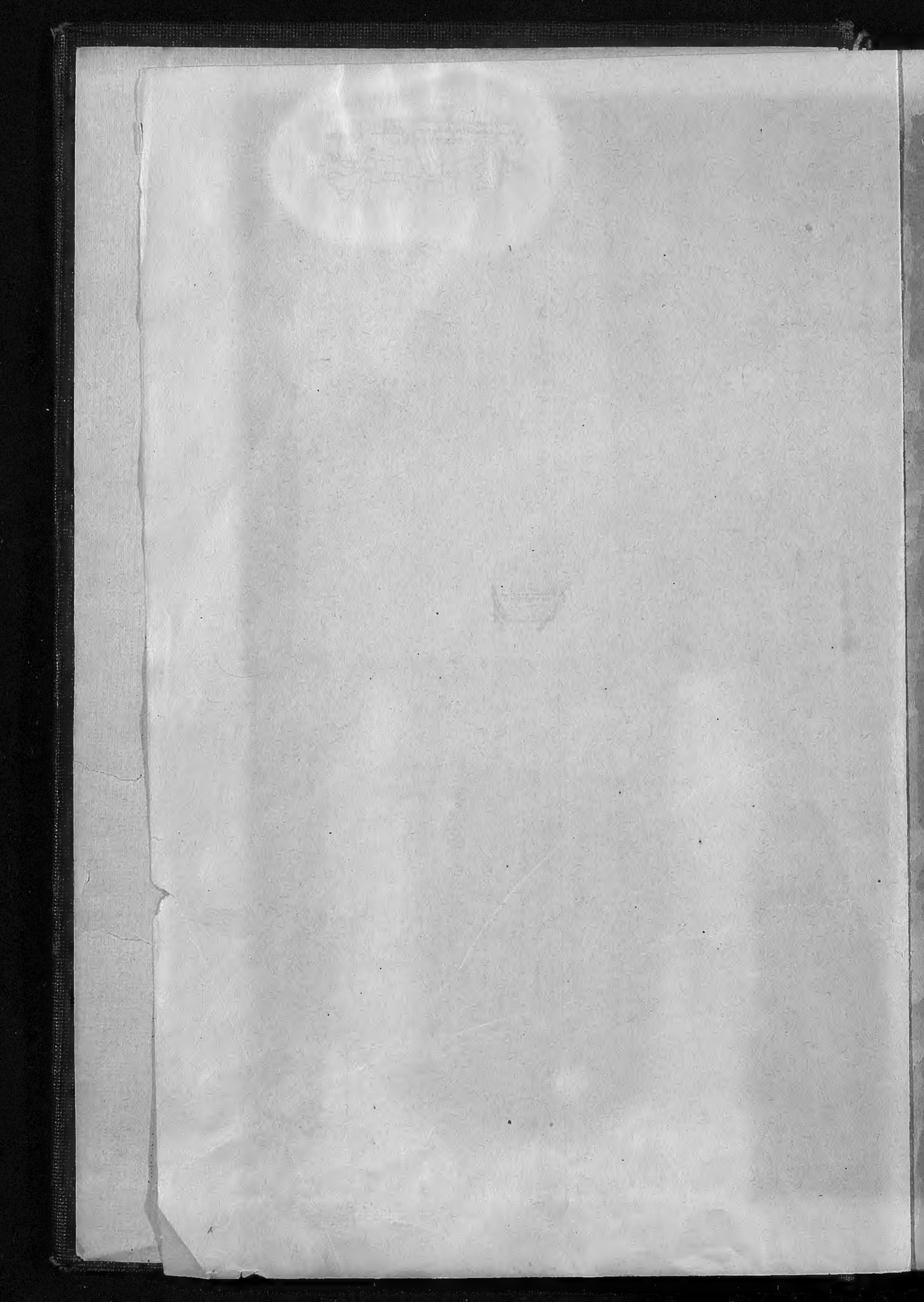
de s'adresser, pour plus amples renseignements, ues suivantes :

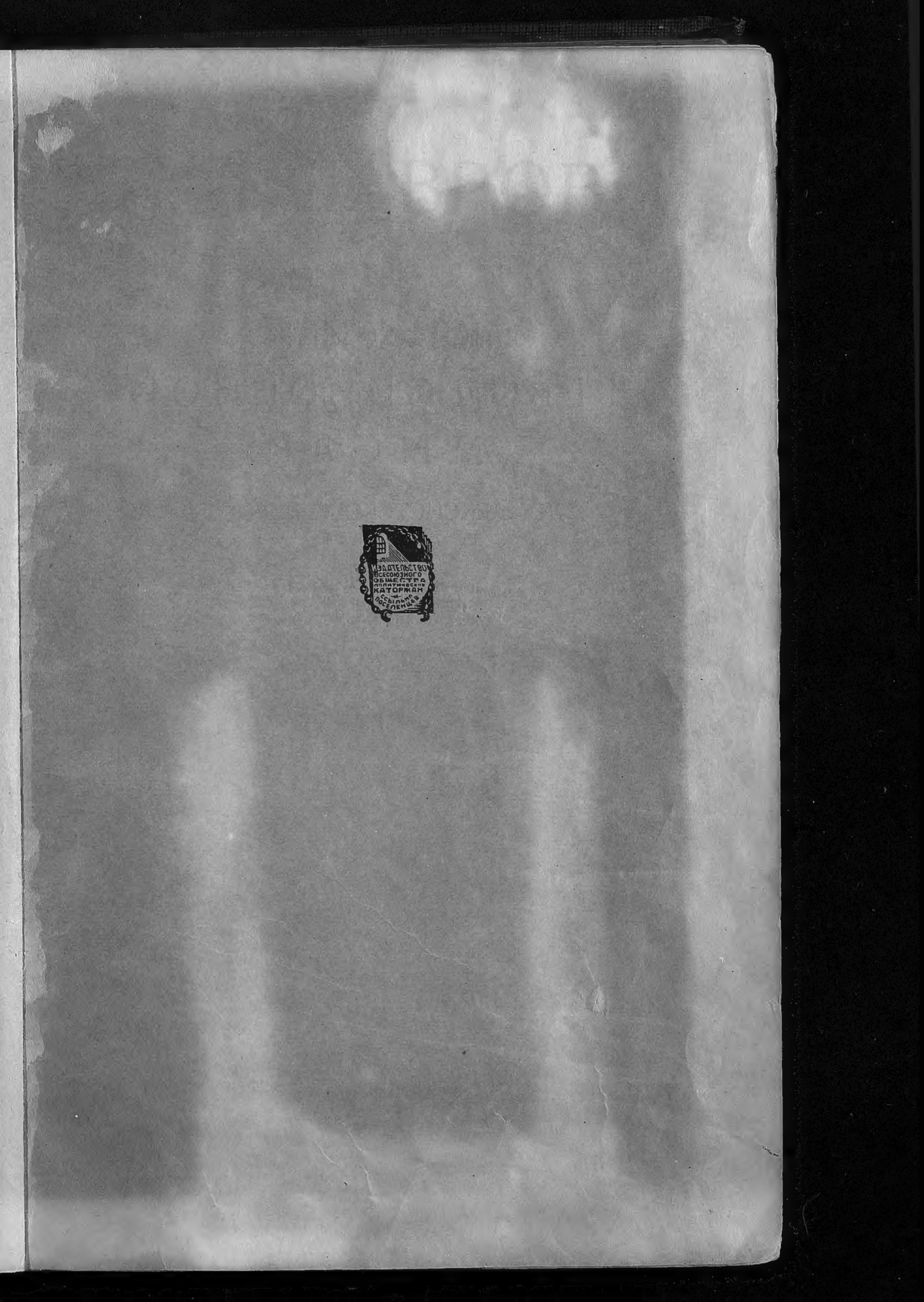
PARIS
erciale pour
l, 26, Avenue

YOUGOSLAVIE : ZAGREB
Banque of Yougoslavia, Ltd.

DANEMARK: COPENHAGUE


КНИГИ:




ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
И
ССЫЛЬНО
ПОСЕЛЕНЦЕВ

КЛАССИКИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ МЫСЛИ

ДОМАРКСИСТСКОГО ПЕРИОДА

II

П. Л. ЛАВРОВ

МОСКВА—1934

КН
15
Л 13

П. Л. ЛАВРОВ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
НА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

ПОДГОТОВИЛ К ПЕЧАТИ, КОММЕНТАРИИ, ПРИМЕЧАНИЯ, БИОГРАФИЧЕСКИЙ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРКИ И. С. КНИЖНИКА-ВЕТРОВА



ТОМ ПЕРВЫЙ

1857—1871

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

0.3.
03К 9178
М
Государств. публичная
Историческая
библиотека РСФСР
145504

Переплет работы худ. А. А. Толоконникова

Сдано в набор 26/IX 1933 г.
Подписано к печати 15/II 1934 г.

Формат бумаги 62×94 см.
33½ печ. л. 41600 зн. в печ. л. Изд. № 157
Заказ типогр. № 3796

Тираж 5000 экз.
Уполн. Главлита В-60093

Отпечатано в 1-й Образцовой тип. Огиза РСФСР
треста „Полиграфкнига"
Москва, Валовая, 28





П. Л. Лавров (1866 г.)

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В настоящем издании «Избранных социально-революционных сочинений П. Л. Лаврова» дается большое количество работ его, которые большинству читателей и даже исследователей истории нашей социально-революционной мысли или вовсе неизвестны, так как открыты только во время разысканий при подготовке этого издания, или известны только понаслышке, так как, будучи напечатаны в старых легальных и нелегальных изданиях, русских и иностранных, не имеются полностью даже в крупнейших библиотеках и архивах Москвы и Ленинграда.

Пишущему эти строки, автору единственной у нас монографии о Лаврове, снабженной довольно значительной библиографией о нем, еще недавно казалось, что в этой монографии подытожено почти все, что опубликовано из произведений Лаврова и о нем, по крайней мере, после 1917 г. Однако, когда я весной 1931 г. возобновил свои разыскания о Лаврове, я нашел все же свыше 150 произведений, о принадлежности которых Лаврову никто или мало кто знал, и обнаружил в том числе свыше 30 и таких произведений социально-революционного характера и такие новые факты о революционной деятельности Лаврова, которые заставляют меня пересмотреть многое из того, что я писал о Лаврове не ранее осени 1929 г., подготовляя 2-е издание моей книжки о нем. (Изд. политкаторжан, М. 1930.)

Эти новые материалы и факты о Лаврове позволяют думать, что огромный неисследованный архив Лаврова в Институте Маркса и Энгельса и часть лавровского архива, хранящаяся в Берлине и в Праге (в архиве с.-р.), таят в себе также еще много открытий и неожиданностей.

В *первом* томе, как можно видеть из его оглавления, печатаются в хронологическом порядке их появления в свет, с 1857 до 1871 г. включительно, восемь произведений Лаврова, из которых только «Исторические письма» и «Формула прогресса Михайловского» известны читателям (впрочем, за годы нашей революции «Исторические письма» еще не перепечатывались и стали библиографической редкостью), остальные же мало кому известны или совсем неизвестны. Хронологический порядок перепечатки произ-

ведений Лаврова принят во всем настоящем издании, исключение сделано только для помещенной на первом месте настоящего тома автобиографии Лаврова, написанной в 1885 г. и дополненной в 1889 г.

Первый том охватывает, таким образом, «избранные» сочинения Лаврова за 15 лет его литературно-общественной деятельности. Здесь печатаются впервые две корреспонденции Лаврова о Коммуне в органе Бельгийского федерального совета Интернационала — брюссельском еженедельнике «Интернационал», относящиеся к 21 и 28 марта 1871 г., о которых не знал и такой усердный исследователь Лаврова, как П. Витязев, и впервые перепечатываются, между прочим, статьи «Вредные начала» и «О публицистах-популяризаторах и о естествознании», о которых не знал и не принимал их в расчет в суждениях о Лаврове ни один из историков русской общественной мысли, тогда как эти статьи, как и статья «Постепенно», открытая П. Витязевым, имеют огромное значение для точного выяснения того места в истории русской журналистики конца 50-х и начала 60-х годов, которое по праву принадлежит Лаврову.

Второй, третий, четвертый и пятый томы охватывают социально-революционные произведения Лаврова за годы издания им журнала и газеты «Вперед» (1873—1876 гг.), как напечатанные во «Вперед», так и отдельно. В виду того, что полного комплекта «Вперед» нет даже в крупнейших библиотеках Ленинграда, перепечатывание впервые статей Лаврова из этого издания (П. Витязев перепечатал оттуда только «Из истории социальных учений», «Летопись рабочего движения», под измененным заглавием «Очерки по истории Интернационала», и «Государственный элемент в будущем обществе») должно заполнить один из самых больших пробелов в знакомстве с Лавровым даже со стороны специалистов истории русской общественной мысли.

Из статей во «Вперед», принадлежность которых Лаврову установлена мною, отмечу: «Хаос буржуазной цивилизации» (2 статьи), заметку «От редакции» о польском вопросе, «Ученые агрономы» (Гизетти вопреки Витязеву неправильно приписывает эту статью Н. Г. Кулябко-Корецкому), «Нечто о русском промышленном оазисе», «Нечто о бескровной социальной революции». К статьям Лаврова во «Вперед» о южно-славянском вопросе тесно примыкает и анонимная брошюра Лаврова «Славянский вопрос» (1876), также открытая мною. Как видно из корреспонденции в № 44 во «Вперед» от 1 ноября 1876 г., в Петербурге ждали «с нетерпением», чтобы Лавров высказался «подробнее и определеннее по поводу движения отсюда волонтеров в Сербию». Повидимому, удовлетворяя этому спросу, Лавров написал, кроме передовиц по этому вопросу во «Вперед», еще особую брошюру, которая спешно была напечатана. В конце брошюры помечено, что она напечатана в Петербурге, но возможно, что фактически она была напечатана в Лондоне.

Так как большинство статей журнала и газеты «Вперед» и брошюра «Славянский вопрос» до сих пор не принимались в расчет ни одним из историков русской общественной мысли, то перепечатывание их во II, III, IV и V томах настоящего издания должно быть признано вполне своевременным, и можно надеяться, что изучение их войдет, наконец, в обиход и наших историков и изложения содержания «Вперед» в наших вузах.

В *шестой и седьмой* томы входят произведения социально-революционного характера, написанные Лавровым после того, как он отошел от редакторства во «Вперед» (1877 г.), и до издания им вместе с «Группой старых народовольцев» «Материалов для истории русского социально-революционного движения» с приложением «С родины и на родину».

В *восьмой* том настоящего издания входит, во-первых, все, что написано Лавровым в «Материалах для истории русского социально-революционного движения» с приложением «С родины и на родину» (1893—96 гг.), в том числе и «Народники-пропагандисты», затем речи Лаврова по разным поводам и «Из рукописей 90-х годов». Из всего этого материала за 7 последних лет жизни Лаврова (1893—1900 гг.) известны были до сих пор только «Народники-пропагандисты» да письмо «О программных вопросах», о котором писали Плеханов и Ленин.

Во избежание нареканий в том, что я не включил некоторых произведений Лаврова в настоящее издание, отмечу, что мне пришлось проделать большую работу по проверке всех существующих в литературе и в библиотечных каталогах указаний о принадлежности Лаврову той или иной книги и статьи. Сам Лавров, по указанию П. Витязева, не признал принадлежащей ему статьи «История дуэлей», напечатанной в «Светоче» за 1861 г., № 10, за подписью *П. Л-в*. (Эту статью приписал Лаврову Я. Н. Колубовский в своей библиографии Лаврова, напечатанной в 1898 г. в книге 4(44) «Вопросов философии и психологии».) Ложно приписывает Лаврову анонимную книгу «Земля и воля» (Спб. 1863, стр. 239) каталог библиотеки бывшего Пушкинского дома в Ленинграде, так как из содержания этой книги видно, что ее писал автор, живший вне Петербурга в начале 60-х годов, и по тенденциям своим книга не соответствует идеологии Лаврова этой эпохи. Из письма Энгельса к Марксу от 11 февраля 1870 г., где он упоминает о немецком переводе этой книги, видно, что автор ее — «дворянин Лилиенталь». Под этой фамилией дан был, повидимому, автор книги в немецком переводе. На самом деле это — упоминаемый ниже Павел Федорович Лилиенфельд (точнее — Лилиенфельд-Тоаль, как называет его С. А. Венгеров). В своей очень ценной библиографии, приложенной к французскому переводу «Исторических писем» 1903 г., Мария Исидоровна Гольдсмит неправильно приписывает Лаврову статью «О статье Гильфердинга», якобы напечатанную в «Историческом вестнике» за 1868 г. «Исторический

вестник» выходил с 1880 г., да и вообще статьи под таким заглавием у Лаврова не было, а говорит он о статье Гильфердинга в статье «Философия истории славян», напечатанной в «Отечеств. записках» в 1870 г. В ценном дополнении к библиографии Колубовского, данном Л. Чижиковым в приложении к № 6 «Известий Одесского библиографического общества при имп. Новороссийском университете» за 1915 г., Лаврову ошибочно приписаны статьи: «Вопрос о классических языках в Англии» за подписью *А.* в «Вестнике Европы», № 1 за 1869 г. (такой подписью Лавров никогда не пользовался, и по содержанию статья не его), «Государственный бюджет на 1869 г.» в «Вестнике Европы», № 2 за 1869 г. (Чижиков здесь приписал статье и подпись *П. Л.*, каковой на самом деле нет под статьей), «Заметка о реальных школах в Пруссии» в № 8 «Вестника Европы» за 1870 г. (здесь Чижиков опять приписал Лаврову подпись *П. Л.*, какой фактически нет под этой статьей, озаглавленной «По поводу реальных гимназий»). Не нашел я также за подписью *П. Щукин* в «С.-Петерб. ведомостях» за 1859 г. статьи «Экономические понятия в России в конце 18-го века» и книги «О философии истории» (Спб. 1899), приписываемых Л. Чижиковым Лаврову, вероятно, без оснований. Каталог государственной публичной библиотеки в Ленинграде вслед за Л. Чижиковым ложно приписывает Лаврову книгу «П. Л. Мысли о социальной науке будущего. Часть 1. Спб. 1872. Стр. VI, 402». Автор ее — умеренный представитель буржуазно-либерального индивидуализма — лифляндский губернатор П. Лилиенфельд, как указал Н. И. Кареев в воспоминаниях о Лаврове в «Былом» (1918, № 3 (31), стр. 18). Статья «Экономическая теория Маркса» в «Знании» за 1874 г., № 1, за подписью *Н.* тоже, вопреки Чижикову, приписывающему статье подпись *П.*, не принадлежит Лаврову. Как можно видеть из библиографии произведений Н. И. Зибера, составленной Я. Г. Резуль, эта статья принадлежит Н. И. Зиберу. (См. «Каторга и ссылка» 1931, № 7, стр. 144, 146 и 147.)

О. Маркова в своем библиографическом обзоре «Отклики на «Капитал» в России 1870-х годов» (в «Летописях марксизма» 1930 г., № 1, стр. 140) неправильно приписывает Лаврову в I томе «Вперед» 1873 г. статью «Очерк развития Международной ассоциации рабочих» и во II томе «Вперед» 1874 г. статью «Кто разрушает основы общества». На основании рукописей этих статей, хранящихся в архиве германской социал-демократии в Берлине, установлено, что первая из этих статей принадлежит С. Подолинскому, автора же другой статьи не удалось установить, но это во всяком случае не Лавров. Статью «Неизбежная вражда» в третьем томе «Вперед» А. А. Гизетти неправильно приписал Лаврову, тогда как сам Лавров в № 48 газеты «Вперед» указал, что она принадлежит Н. Г. Кулябко-Корецкому, и последний это подтвердил в своих воспоминаниях о Лаврове. Эта же статья, вошедшая в книгу «Прогресс в России и ее будущее. Старые советы для нового рассмотрения. Переписка двух приятелей. Изд. Каспровича. Лейпциг 1904», ошибочно припи-

сана Лаврову и мной в моей библиографии Лаврова, приложенной к книжке о нем в обоих ее изданиях 1925 и 1930 гг. Стихотворение «Замучен тяжелой неволей», напечатанное под заглавием «Последнее прости (на смерть Чернышева)» в № 33 газеты «Вперед», как видно из конца корреспонденции из Петербурга, напечатанной на странице 288 в том же номере, прислано Лаврову из Петербурга корреспондентом «Вперед» и не принадлежит Лаврову, хотя приписывается ему в многочисленных перепечатках в «Календаре русской революции» В. Л. Бурцева и даже в «Песнях каторги и ссылки», изданных Издательством политкаторжан (М. 1930, стр. 32—33). Каталог библиотеки бывшего Института Маркса и Энгельса, а теперь Института Маркса, Энгельса и Ленина, неправильно приписывает Лаврову перевод брошюры проф. Ланкастера «Вырождение. Перевод с англ. д-ра Ивина. Спб. 1883». Д-р Иван — не Лавров, как обозначено на карточке в библиотеке ИМЭЛ, а его сотрудник В. Н. Смирнов (см. воспоминания Кулябко-Корецкого, стр. 14). Книга «Лавров. Сочинения. М. 1889. Стр. 207», содержащая стихи и приписываемая каталогом Публичной библиотеки в Ленинграде П. Л. Лаврову, тоже не принадлежит ему, как видно из содержания ее. Наконец, юдофобская брошюра «Лавров. Евреи в России. Спб. 1903», приписываемая каталогом Ленинской библиотеки в Москве П. Л. Лаврову (в брошюре инициалы автора не указаны), тоже не им написана (о русских евреях Лавров высказывался совсем по-иному).

В заключение несколько замечаний относительно технической стороны перепечатки Лаврова для настоящего издания. Так как в моем распоряжении не было рукописей *книг* и *статей* Лаврова, то последние печатаются в том виде, как они были напечатаны самим Лавровым в хронологическом порядке их *появления в печати*, принимая во внимание, что при чтении корректур Лавров мог вносить дополнения и поправки. Исключение сделано только для «Исторических писем», которые отнесены к 1868—69 гг., когда они печатались впервые в «Неделе», хотя печатаются здесь по их 2-му изданию 1891 г. Если имеются какие-либо сведения о точной дате *написания* Лавровым той или иной статьи, то дата эта указывается в примечаниях к тексту. Легальные перепечатки некоторых изданных за границей произведений Лаврова мной в расчет вовсе не принимались, так как они полны неточностей и пропусков. Перепечатки, сделанные вполне добросовестно П. Витязевым, сверены по их заграничному печатному тексту. Считаю, что текстологическая работа над сочинениями Лаврова — дело будущего, когда будут доступны его архивы в ИМЭЛ, в Берлине и в Праге.

Все сочинения Лаврова печатаются по новой орфографии. Собственные иностранные имена и фамилии и географические названия печатаются в современном их русском произношении с указанием в примечаниях их иностранной транскрипции и произношения их Лавровым. Отдельные слова и фразы в тексте на иностранных

языках даются в переводе в примечаниях в конце текста всего тома. Пропуски слов в тексте, сокращения в нем отдельных слов и слова, явно исковерканные наборщиками и не исправленные корректорами, оговорены также в примечаниях. Но если такие употребляемые Лавровым слова, как «противуречит», «противуположный», «противудействует», «эксплуатация», «в продолжении», печатаются нами по новому правописанию «противоречит», «эксплоатация», «в продолжение», то такие слова, как «противу» вместо «против», «фильяльные» вместо «филиальные», «партиозность» вместо «партийность», «рутинерный» вместо «рутинный» и т. п., оставлены в тексте, как особенности стиля эпохи Лаврова.

В введениях к каждому тому даются более подробные указания на их содержание и анализ неизвестных или мало известных отдельных моментов политической деятельности Лаврова и его социально-революционной идеологии.

В составленных мною примечаниях, кроме упомянутых выше разъяснений по поводу неясных и неточных мест в тексте Лаврова, о каждом произведении Лаврова в целом устанавливается история его написания и его литературная судьба, если они представляют особый интерес, и общее идейное значение всего произведения. Начиная со II тома, в примечаниях сопоставляются оценки событий рабочего и революционного движения, дававшиеся Лавровым, с оценками Маркса и Энгельса, дававшимися ими приблизительно в то же время, когда их давал Лавров. Примечания дают также краткие фактические справки о всех собственных именах (для последних мне пришлось использовать свыше 20 русских и иностранных энциклопедических и биографических словарей) и о философских и научных терминах, встречающихся в тексте, и дополнительные сведения о произведениях Лаврова и тех лиц, о которых он писал, о тех изданиях, в которых Лавров писал, о псевдонимах Лаврова и, наконец, о тех фактах из жизни и литературной и революционной деятельности Лаврова, которые еще нуждаются в объяснении и должны быть раскрыты после того, как будут напечатаны все рукописи неопубликованных произведений Лаврова и все относящиеся к нему мемуары и документы. В примечаниях о лицах, упоминаемых Лавровым (особенно о тех, о которых нет сведений в словарных справочниках), дана их идеологическая классовая характеристика.

Во избежание излишних перепечаток одних и тех же примечаний, объяснения об одном каком-либо факте или лице даются во всем настоящем издании лишь один раз. Ссылки на предыдущие примечания даются только в том случае, если предыдущие объяснения нуждаются в дополнениях, вызываемых новыми обстоятельствами.

Для ориентировки читателей в неясных для них собственных именах в конце каждого тома дан алфавит имен с указанием страниц текста, где они встречаются. В последнем томе дан ука-

затель для всех восьми томов вместе. Римская цифра означает том, арабская — страницу в томе.

Так как социально-революционные взгляды Лаврова проявлялись не только в том, что он писал сам, но и в том, что редактировал, то в приложениях даны оглавления содержания журналов «Вперед», «Вестник Народной воли» и т. п., систематизированные по их основным темам.

С целью выявления социально-революционных элементов, имеющихся в произведениях Лаврова, не вошедших в настоящее издание, в конце каждого тома дана относящаяся к охватываемому им периоду жизни Лаврова аннотированная библиография его произведений в хронологическом порядке их напечатания.

Чтобы облегчить изучение жизни и деятельности Лаврова для дальнейших исследователей, в приложениях к последнему тому настоящего издания будут даны: 1) Вехи жизни Лаврова, 2) Алфавитный указатель статей и книг его по их заглавиям, 3) Систематический указатель тех же статей и книг (оба эти указателя для экономии места составлены очень сокращенно, с ссылками на порядковые номера библиографии произведений Лаврова, помещенной в каждом томе) и 4) Список псевдонимов Лаврова с указанием в хронологическом порядке периодических изданий и серий, в которых Лавров принимал участие под этими псевдонимами, под своей фамилией и без подписи.

Настоящее издание является лишь *первой* попыткой выявления социально-революционного наследства Лаврова, поскольку оно имеется уже в печати на русском и иностранных языках (выявление ненапечатанных еще рукописей Лаврова в мою задачу не входит), но думается, что и в предлагаемом его несовершенном и далеко не полном виде оно будет полезно для всех, кто занимается историей социализма, а также историей возникновения и распространения марксистских идей в России.

15/XI 1931 г. *Ив. Книжник-Ветров.*

ВВЕДЕНИЕ К I ТОМУ

П. Л. Лавров от первых публицистических выступлений до издания „Вперед“ (1857—март 1872)

(По новым материалам)

Научное исследование эпохи конца 50-х и 60-х годов, когда Лавров выступал в легальной русской печати в качестве публициста, только еще начинается, а потому и самый факт публицистической деятельности Лаврова в эту эпоху мало кому известен и совершенно еще не учтен в нашей марксистской литературе. Мало известны также и факты общественной деятельности Лаврова в эту эпоху, позволяющие судить о том, в какой он вращался общественной атмосфере и представителем идеологии какого общественного класса он являлся.

Правда, у нас имеется письмо Лаврова из Парижа в Петербург к сыну от 24 июля (5 августа) 1870 г., как бы подытоживающее всю деятельность Лаврова этого периода, и его автобиография, в которой дано много фактов о всей литературной и общественной работе Лаврова до 1889 г. Но документы эти, при ближайшем расследовании, оказываются в основном совершенно не соответствующими действительности.

Так, в письме к сыну Лавров утверждает, что, занимая более 20 лет кафедру преподавателя, никогда не распространял среди своих учеников «противоправительственных идей». «Меня обвинили и сослали, — пишет он, — за пункты столь пустые, что они подходят лишь под эластичное понятие неблагонамеренности»... «Я остаюсь русским в душе (слово «русским» написано у Лаврова с большой буквы)... в настоящую минуту продолжение моих научных трудов составляет главную и едва ли не единственную цель моих занятий». (См. «Материалы для биографии П. Л. Лаврова». Вып. 1. Пгр. 1921, стр. 34—39.)

Как увидим дальше, все эти утверждения Лаврова противоречат фактам и объясняются тем, что, в связи с наложением запрещения на все его движимое и недвижимое имущество в виду его бегства за границу, Лавров не желал навлечь преследований русского

правительства против своих детей (его старшему сыну в это время было 22 года, дочери — 19 лет, а младшему сыну — 15 лет). По-видимому, письмо к сыну продиктовано Лаврову теми же мотивами, как и письмо его к министру внутренних дел от 6—17 августа 1870 (sic! а разница в календарном стиле была тогда не 11, а 12 дней), написанное 10 или 11 днями позже в ответ на вызов Лаврова через газеты в Россию. В этом письме Лавров «извещает» министра, что «оставил Россию потому, что в ссылке... не имел никакой возможности продолжать... научные работы... Но я не питаю никакого личного раздражения против него [русского правительства], остаюсь русским в душе»... (См. Д. Венедиктов-Безюк. «Побег П. Л. Лаврова из ссылки». «Каторга и ссылка» 1931, № 5 (78), стр. 196.)

Автобиография Лаврова, или «Биография-исповедь», как называет ее народоволец Л. О. Ясевич (последнему она была прислана в ее первоначальной редакции в 1885 г. для № 11—12 «Народной воли», долженствовавшего быть посвященным юбилею Лаврова; см. об этом письмо Ясевича в журнале «Пути революции» 1926, № 4 (7), стр. 47), еще меньше, чем письмо Лаврова к сыну или министру внутренних дел, может помочь историку, так как об очень многих важных фактах из жизни Лаврова умалчивает, другие, не менее важные, факты рисует в очень скромном виде, а третьи прямо извращает.

Так, Лавров рассказывает в автобиографии, что «когда во время волнений начала 60-х годов депутация офицеров Артиллерийской академии пришла просить его совета, следует ли им участвовать в готовившейся уличной демонстрации, он положительно отсоветовал им это»... Между тем мы знаем из «Воспоминаний» Н. В. Шелгунова, что Лавров, наоборот, «думал, что было бы лучше, если бы между собравшимися студентами было побольше офицеров, что тогда и командиры войск и солдаты будут сдержаннее и не рискнут решительными действиями», и этот план был приведен в исполнение. (См. Н. В. Шелгунов. «Воспоминания». Гиз. 1923, стр. 129—130). Мы знаем, кроме того, что и сам Лавров, имея чин полковника, присутствовал на сходке студентов в университетском дворе и «воодушевлял» студентов «словами и вмешательством в их буйные предприятия», имев столкновения с полицией (таковы донесения агента III отделения). Об этом же говорят нам и воспоминания тогдашнего студента, участника сходки, Н. Ф. Анненского. (См. об этом более подробно в моей книжке «П. Л. Лавров». 2-е изд. М. 1930, стр. 26—28). Отмечу также, что среди публики, собравшейся во время студенческих беспорядков в Петербурге в сентябре 1861 г., видел Лаврова и тогдашний 17-летний студент Н. Николадзе. (См. его «Воспоминания о 60-х годах» в «Каторге и ссылке» 1927, № 4 (33), стр. 40.)

Не буду останавливаться на тех фактах из жизни Лаврова, о которых он в своей автобиографии умалчивает или пишет в преуве-

личенно скромном виде. Хотя Лавров писал свою биографию для подпольного органа, но он принимал, повидимому, в расчет, что в России господствовала злейшая правительственная реакция и началась реакция в самом русском обществе, сказавшаяся в равнодушии к политике, в проповеди непротивления злу Л. Н. Толстого и т. п.

Если бы Лавров писал о своем прошлом всю правду, он невольно должен был бы скомпрометировать целый ряд легальных писателей и общественных деятелей, с которыми он был связан с конца 50-х годов. А Лавров, конечно, не мог забыть о той реакционной свистопляске, которая имела место в реакционной и даже «передовой» печати (в «Вестнике Европы»), когда он после смерти И. С. Тургенева в 1883 г. упомянул в статье о нем во французской газете Клемансо, что Тургенев материально поддерживал журнал «Вперед».

Впрочем, уклонения от истины встречаются и в «Народниках-пропагандистах», написанных Лавровым в годы общественного подъема — в 1895—96 гг.

Так, и здесь Лавров утверждает, что в 60-х годах все его связи с «людьми радикального образа мыслей ограничивались литературой... Вообще, — пишет он, — радикальная молодежь Петербурга была вовсе не близка ко мне в последние годы моей петербургской деятельности, и я не имел случая сблизиться с нею ни во время моей ссылки, ни при проезде через Москву и Петербург при отъезде за границу». (См. «Народники-пропагандисты», Лгр. 1925, стр. 51.)

Как увидим дальше на основании неоспоримых фактов, это утверждение Лаврова о его связях с молодежью и об отношении к нему молодежи в 60-х годах в Петербурге и в ссылке не соответствует действительности. Объяснить это утверждение можно лишь тем, что писал это Лавров на семьдесят третьем году жизни, когда память его очень ослабела, и к тому же, сравнивая свою общественную деятельность с героическими подвигами народовольцев, он склонен был очень умалять свои собственные революционные заслуги.

Но как бы то ни было, самохарактеристики Лаврова, служившие до сих пор главными источниками для установления того, что представлял собою Лавров в политико-социальном отношении до издания «Вперед» (см. статью П. Витязева «П. Л. Лавров в 1870—1873 гг.» в упомянутых «Материалах для биографии П. Л. Лаврова» и статью Б. П. Козьмина, о которой речь будет дальше), отнюдь не могут считаться надежными источниками.

Таким образом, наша задача состоит в том, чтобы восстановить историческую истину по отношению к Лаврову, скрытую по его собственной забывчивости и исключительной скромности, а главным образом из-за царской цензуры, державшей под спудом большую часть его литературного наследства 60-х годов.

1. Первые публицистические выступления (1852—1860)

Первым печатным произведением Лаврова является стихотворение «Бедуин», помещенное в «Библиотеке для чтения» в 1841 г., когда Лаврову было 18 лет. Но вплотную он приступил к литературной работе в 1852 году, когда стал печататься в «Военном энциклопедическом лексиконе», затем с 1856 г. из месяца в месяц — в «Артиллерийском журнале». Статьи и заметки Лаврова в этих двух специальных изданиях касаются исключительно вопросов естествознания и артиллерийской техники и, повидимому, мало удовлетворяли самого их автора, но он отдавал им много времени ради заработка.

Как можно видеть из воспоминаний о Лаврове одного из его учеников в частном пансионе барона Клодта и затем в Артиллерийском училище (см. Н. Н. Фирсов-Рускин в «Историч. вестнике» 1907, № 1 и 2; воспоминания эти еще никем не использованы в литературе о Лаврове), Лавров в 1852 г. был настоящим интеллигентным пролетарием, жившим заработком от репетиторства по математике в Артиллерийском училище и от частных уроков в приготовительных пансионах, где он преподавал иностранные языки и историю.

Хотя Лавров «родился и был воспитан в весьма зажиточной дворянской семье», но когда он женился в 1847 г. по любви, имея едва 24 года от роду (у Фирсова ошибочно указано «едва 22 года»), на вдове, которая была старше его и имела детей от первого брака, отец Лаврова перестал высылать ему деньги. Репетиторского жалованья Лаврову нехватало, так как он «поддерживал и воспитывал» и детей своей жены от ее первого брака, а с осени 1848 г. у него самого оказались от любимой жены сначала сын Михаил, затем через год — дочь Елизавета (умершая в 1861 г.), в ноябре 1851 г. еще дочь Мария и в апреле 1855 г. второй сын Сергей.

Правда, в 1852 г. умер отец Лаврова, а годом позже — старший брат, так что Лавров стал наследником имений отца в Великолуцком и Торопецком уездах Псковской губернии. Как видно из «Приложения к трудам редакционных комиссий для составления положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» (см. «Сведения о помещичьих имениях», том III, Спб., стр. 6—7), Лаврову принадлежало село Мелехово с сельцом и 14 деревень с 297 крепостными и 16 дворовыми, а всего удобной и неудобной земли 2120 десятин, из коей не состояло в пользовании крестьян 780 десятин удобной и неудобной земли. Но, повидимому, наследственные имения (псковские болота) давали Лаврову очень мало дохода, так как и в 1853 г. он продолжал преподавание в частном пансионе Клодта, где впервые увидел Лаврова Фирсов, а еще с 1852 г. стал подрабатывать литературой в указанных выше двух специальных военных изданиях и был даже в течение двух лет помощником редактора «Артиллерийского журнала». С 1858 г. Лав-



ров был приглашен преподавать высшую математику в специальном классе Константиновского военного училища. Осенью 1864 г. Лавров из-за «денежных обстоятельств» стал читать ряд особо оплачиваемых публичных лекций по математике для офицеров Артиллерийской академии. (См. агентурные сведения из III отделения в «Материалах для библиографии П. Л. Лаврова». Вып. I. Пгр. 1921, стр. 82. Речь идет здесь, повидимому, о курсе по истории физико-математических наук, который Лавров, согласно его показанию на процессе в 1866 г., «читал две зимы необязательно в лаборатории Артиллерийской академии и довел до половины XVII в.»)

Кроме того, как увидим дальше, в 1861—63 гг. Лавров редактировал «Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами», а с 1864 г. до своего ареста состоял негласным редактором «Заграничного вестника», причем много писал и сам для обоих этих изданий и для журналов и газет (см. подробности в «Библиографии» в конце этого тома). Таким образом, Лаврову с 1847 по 1866 г., между 24 и 43 годами его жизни, пришлось упорным трудом прокармливать себя и свою семью, и если он при этом достиг некоторого благосостояния, то не как паразит-помещик, а как трудовой интеллигент. (Утверждение Б. П. Козьмина, будто Лаврову «о куске хлеба думать не приходилось, об этом заботились его крепостные», не соответствует действительности. См. Б. П. Козьмин. «Ткачев и Лавров» в сборнике I «Воинствующий материалист», М. 1924, стр. 311.)

Все сказанное здесь о наследственном имении Лаврова подтверждается и показанием А. Н. Куропаткина, родители которого владели имением в 1500 десятин по соседству с имением Лаврова в Холмском уезде. Вследствие бездорожья, отсутствия сбыта леса и продуктов земледелия, а также плохой обработки земли, доходы с имения были при крепостном праве незначительны, а с освобождением крестьян еще уменьшились. (См. рукопись А. Н. Куропаткина «Воспоминания за 70 лет моей жизни», т. I, ч. 1, стр. 42, хранящуюся в архиве в Москве.)

С ранних юных дней Лавров познакомился с материалистической и социально-утопической литературой. Фирсов указывает, что Лавров «еще юнкером [т. е. в 1840—41 гг.] в беседах с более близкими товарищами высказывал для того времени очень смелые воззрения на общественные и даже философские вопросы», за что некоторые воспитанники Артиллерийского училища конца 40-х годов называли его «фантазером». 22-х лет (т. е. в 1845 г.) Лавров перестал верить в бога и сделался материалистом и познакомился с идеями Сен-Симона, Фурье, Оуэна и Прудона. Таким образом, Лавров и условиями своей личной трудовой жизни и чтением передовых писателей был вполне подготовлен к тому, чтобы стать активным участником той борьбы против общественного строя России, которая велась с 1853 г. Герценом в зарубежной печати и целой плеядой наших беллетристов и

критиков с Чернышевским и Добролюбовым во главе — в легальной и нелегальной печати в самой России.

По указанию Фирсова, общие взгляды Лаврова, «основы вырабатываемых им его научных принципов рельефно проглядывали в его математических лекциях... Были и такие, что буквально вызывали восторг... Восторг я подмечал и в двух старших классах училища (Артиллерийского), среди воспитанников 16—17 лет, половина которых училась вообще только для того, чтобы, надев эполеты, поступить во фронт... В лекциях Лаврова (официально только математических) проступала масса приобретенных им иных знаний, уже приведенных им и тогда в систему настолько стройную, что она легко воспринималась юношескими умами, которые над ней задумывались и черпали в указаниях Лаврова стремление к самоусовершенствованию, к утилизированию себя, своих познаний и своей будущей деятельности в самом широком и лучшем смысле» (см. указ. соч., «Историч. вестн.» 1907, № 1, стр. 105—107).

Яркое отражение политических настроений Лаврова этого периода его жизни мы находим в его стихотворениях, датированных 1852—57 гг., каковы: «Пророчество» (январь 1852 г.), «Русскому народу» (декабрь 1854 г.) и «Французам» (1856 г.), напечатанные Герценом в 1857 г., «Русскому царю» (6 апреля 1855 г.), затем «Библия», «Нет, боже, ты немилосерд» и «Крещенье», о которых поэт Я. П. Полонский в дневнике конца 1855 г. записал, что, зайдя к поэту Н. Ф. Щербине, застал его с приятелем Сошальским за чтением этих стихов Лаврова (см. «Голос минувшего» 1919, № 1—4, стр. 118); «На смерть императора Николая I» (1855 г.), «Новому царю» (1856 г.), «Вперед» и «Предопределение» (1857 г.).

Интересно присмотреться к этим стихам, в которых выражены заветные мысли Лаврова до выступления его в публицистике, в эпоху знаменательных событий в Западной Европе и нарастания революционного кризиса в России, вызванного ее поражением в Крымской войне, после широких крестьянских волнений по поводу призывов ополчения 1854—55 годов.

Стихотворение «Пророчество» является негодующим откликом на наполеоновский переворот 2 декабря 1851 г. Касаясь в нем затем России, Лавров «пророчествует»:

„Не вечен будет сон; настанет пробужденье,
И устыдится Русь невежественной тьмы,
И вырастет тогда общественное мненье,
Признает русский царь народные права,
К гражданской доблести воскреснут поколенья,
Свободно потекут и мысли и слова".

И вслед за тем Лавров пишет тут же, обращаясь к царю Николаю I:

„Молись, чтобы тогда не выстрадали внуки
За все величие, за все твои дела!
Молись, чтобы без слез, без крови и без муки
Освобождения минута перешла!"

В стихотворении «Русскому народу» Лавров яркими чертами рисует реакционный режим Николая I и приниженность общества и кончает призывом:

„Проснись, мой край родной, не дай себя в сненденье...
Восстань! пред идолом ты выю преклоняешь,
Внимаешь духу лжи,
Свободный вечный дух ты рабством унижаешь,
Оковы развяжи!.."

В стихотворении «Вперед» (1857 г.) Лавров пишет, между прочим:

„Вперед нас зовет девятнадцатый век...
Да рухнет царей беззаконных держава!
Да рухнут умерших богов алтари!
Да царствует разум! Да царствует право!
Да светит нам солнце грядущей зари!
Да мир оживится дыханьем свободы!
Да цепи преданья падут навсегда!
Да братьями станут земные народы
На принципе знанья, любви и труда!..
Вперед! Да погибнет все сердцем гнилое!
Все то, что отжило, пусть смертью умрет!
Вперед! Да восстанет все духом живое!
Во имя свободы и правды — вперед!"

(Думается, что заглавие этого стихотворения дало впоследствии Лаврову мысль назвать и свой журнал «Вперед!».)

Эти стихи Лаврова, как и многие другие, повидимому, были широко распространены в списках, так как, например, стихотворение «Русскому народу» было найдено в рукописном виде в июле 1862 г. при вторичном обыске студента Е. П. Печаткина, арестованного по делу П. Б. Баллода за устройство тайной типографии, но по ошибке было приписано славянофилу Хомякову, а также сохранилось в частных архивах жандармского писателя Н. А. Жеребцова и цензора А. В. Никитенки. Другие стихотворения Лаврова были распространены в литографированном виде и неоднократно перепечатывались без ведома Лаврова в заграничных сборниках «запрещенных» произведений. (Об этих стихах скажу более подробно в VI томе настоящего издания, где будут перепечатаны все стихи Лаврова на социально-политические темы.)



При отсылке в 1856 г. Герцену в Лондон для печати своих 5 стихотворений Лавров написал и первое свое публицистическое произведение «Письмо к издателю», где он оспаривает сомнения Герцена в возможности прогресса и доказывает, что вера в совершенствование России (совершенствование «не страшным переворотом, но примирением прошедшего с будущим») вполне разумна. В этой статье сказывается в Лаврове еще дворянин-помещик, всю надежду будущего России видящий в мелком дворянстве и потому возражающий против *внезапного* лишения помещиков рабочих рук.

Для решения вопроса об освобождении крестьян Лавров предлагает в каждом уезде составить комитет из помещиков «для представления в течение 2 или 3 лет (sic!) проекта освобождения для своего уезда», а затем для собрания депутатов из них в центре для составления плана освобождения для всей России. Говоря об обязанностях русского гражданина, Лавров проводит проповедь «малых добрых дел».

Но при всей умеренности социальных взглядов Лаврова до 1857 г. его стихи с 1852 г. и «Письмо к издателю» говорят о том, что и тогда Лавров не был только кабинетным деятелем, интересовавшимся одной математикой, а волновался всеми животрепещущими вопросами общественной жизни.

В 1857 г. Лавров начинает выступать в качестве публициста и в легальной русской печати, причем сразу левеет, а не является «типичным обывателем, столпившимся у трона в момент объявления крымской войны, разочаровавшимся в существующем государственном порядке под влиянием неудач на полях сражений и вновь воспрянувшим надеждами с воцарением Александра II» (слова Б. П. Козьмина в указанной его статье, стр. 297).

Для журнала В. Рюмина «Общезанимательный вестник» он задумывает серию статей «Письма о разных современных вопросах» (за подписью «Один из многих»), которые субъективно для Лаврова были, вероятно, и зародышем его позднейших «Исторических писем». Упомянутый выше Фирсов утверждает даже, что в 1856—59 гг. Лавров уже «готовил к печати свои «Исторические письма» (см. указ. «Воспоминания о П. Л. Лаврове» — «Историч. вестник» 1907, том 107, стр. 107). В первой статье — «Письмо к редактору. Письмо I» — Лавров предлагает несколько писем, из коих каждое составит особенное целое; затем определяет понятие образованности как гармонического единства знаний, чувства и действий. Уже второе письмо, датированное 20 июня 1857 г., таково, что задерживается цензурой. Благодаря ухищрениям Лаврова, изменившего его заглавие и поместившего его вне серии в другом журнале годом позже, мы знаем, что в нем дана основательная философская и общественная критика «авторитета», причем под этим термином атакуется самодержавие и превозносится «разумная оппозиция», основанная на обсуждении всех вопросов во имя прогресса личности и общества. (Это является и одной из основных идей «Исторических писем».) Статья эта — «Вредные начала», перепечатываемая впервые в настоящем томе.

В «Письме III», не имеющем специального заглавия, Лавров рисует жизнь чиновного Петербурга, незнание последним России, доказывает, что «истинный порядок есть развитие, беспрестанное изменение форм», и проводит мысль, что для того, чтобы настало «время порядка, не искусственного порядка бюрократов, но действительного порядка, согласного с законами развития и движения»... «надо сойтись с разных углов России нескольким лучшим

людям и поговорить о наших потребностях, о наших стремлениях, о нашем настоящем и будущем».

Цензурные условия тогдашней России не дали возможности продолжиться письмам подобного рода. Вот отчего Лавров пишет в том же 1857 г. «Несколько слов о системе наук», «По поводу вопроса о воспитании» и «Несколько слов о переводах исторических сочинений» и в 1858 г. опять «Несколько мыслей о системе общего умственного воспитания молодых людей» и «Экзамены», затем «Гегелизм», где доказывается, что философия Гегеля выросла из современных ему воззрений, а для эпохи, когда о ней пишет Лавров, она «догматична, вненаучна». В 1859 г. Лавров пишет статьи «Практическая философия Гегеля», где доказывается, что Гегель переносил на государство качества, приписывавшиеся им высшей действительности, но что для «нашей» эпохи нужна ясность, действительность и Гегель отжил свое время; «Механическая теория мира», где дана история материализма и излагается теория антропологизма в духе Фейербаха; «Современные германские теисты», где доказывается, что вопрос о боге неразрешим, и, наконец, «Очерк теории личности», где развитие личности объясняется из самой сущности человека, из его наслаждений, знаний и творчества, и доказывается, что личность и общественная деятельность должны быть слиты.

В первых числах января 1860 г. «Очерк теории личности» вышел отдельной брошюрой под измененным заглавием «Очерки вопросов практической философии». Посвящено А. Г. (Герцену) и П. П. (Прудону). Спб. 1860. Выход этой брошюры привел к тому, что Лаврова впервые отметил как писателя прогрессивного Чернышевский, и это привело и к их личному сближению.

Так как в литературе о Лаврове имеется утверждение, будто Чернышевский «опровергал Лаврова» (см. упомянутые воспоминания Шелгунова, стр. 36), а сам Лавров давал впоследствии на допросе в военном суде показание, что «Чернышевский писал против него», то приходится несколько остановиться на отзыве Чернышевского о Лаврове.

По поводу брошюры Лаврова Чернышевский написал большую статью «Антропологический принцип в философии» в № 4 и 5 «Современника» за 1860 г. (Здесь она цитируется по «Полному собранию сочинений Чернышевского», т. VI, Спб. 1906.)

«По недостатку знакомства с многими из источников, которыми пользовался Г. Лавров, — пишет Чернышевский, — мы, конечно, не можем в точности оценить достоинство его произведения. Мы можем предполагать только одно: если бы он не имел большего философского дарования, чем Жюль Симон, Фихте-сын [их цитировал Лавров], то в его брошюре был бы тот же самый вовсе не философский дух, какой находится в их произведениях, и его «Теория личности» была бы так же плоха, как их теории. Но его брошюра должна быть положительно признана хорошею... Г. Лавров большую часть пути ведет своих читателей по прямой и хорошей дороге

вперед: это делает ему большую честь, потому что никто в нашем обществе не показывал ему этой дороги... Мы высоко ценим обе эти заслуги: и ту, что г. Лавров имел силу додуматься до результатов гораздо лучших того, что давали ему какие-нибудь Фихте-сыновья и Жюли Симоны; и ту заслугу, что он умел найти для своих философских исследований руководства гораздо лучше посредственных и отсталых книг. Но соединение прекрасных мыслей, заимствованных из действительно великих и современных мыслителей или внушенных собственным умом, с понятиями, или не совсем современными, или принадлежащими не тому образу мыслей, какого в сущности держится г. Лавров, или, наконец, принадлежащих особенному положению мыслителя среди публики, непохожей на нашу, и потому получающих неверный колорит при повторении у нас, — это соединение собственных достоинств с чужими недостатками придает, если мы не ошибаемся, системе г. Лаврова характер эклектизма... В брошюре г. Лаврова встречаются мысли, которые едва ли совместны между собою» (стр. 182—183). Далее Чернышевский указывает, как Лавров («мыслитель прогрессивный — в этом нет никакого сомнения») упоминает, по следам Милля, о факте «общественного деспотизма Соединенных Штатов», но «не сказал нашей публике о его смысле» (стр. 183), сводящемся к тому, что Милль возвел «в общую формулу предчувствие того, что дальнейшее развитие цивилизации будет уменьшать привилегии, присвоенные сословием, к которому сам он принадлежит» (стр. 189)... «Быть может мы ошибаемся, но нам кажется, что г. Лавров принужден был собственными силами доискиваться тех решений, которые уже найдены нынешнею немецкою философиею. Нам кажется, что изучение отживших форм немецкой философии и книг, написанных мыслителями английскими и французскими, предшествовало у него знакомству с новейшими немецкими мыслителями... Мы не говорим, что он пришел бы к другим воззрениям, — нам кажется, что сущность его воззрений справедлива, — но они представлялись бы ему в виде более простом»... (стр. 193). «Не входя в критику воззрений г. Лаврова, мы попробуем изложить наши понятия о тех же предметах; нам кажется, что они в сущности сходны с образом мыслей г. Лаврова; разница будет почти только в изложении и в приемах постановки вопроса» (стр. 194).

Чернышевский, видимо, до брошюры о теории личности не читал ни одной из статей Лаврова по философии, ни его «Гегелизма», ни «Практической философии Гегеля», ни «Механической теории мира», иначе Чернышевский не написал бы в этой статье фразы: «да кто же в русском обществе думает о философских вопросах? Разве г. Лавров, — да и то сомнительно: быть может, и самому г. Лаврову гораздо интереснее всевозможных философских вопросов наши житейские и общественные дела» (стр. 204), и, говоря, что «система Гегеля... сама по себе уже не соответствует нынешнему состоянию знаний» (стр. 192), указал бы, что таково же и мнение Лаврова,

выраженное им в его статьях о Гегеле. А мы знаем, что Лавров еще до Чернышевского в статье «Механическая теория мира» изложил теорию антропологизма в духе Фейербаха (в 1862 г. Лавров сделал это более четко в статье «Антропологическая точка зрения» в V томе «Энциклопедического словаря», о котором речь будет дальше).

Е. А. Штакеншнейдер, познакомившаяся с Лавровым во 2-ой половине 1857 г., вполне подтверждает в своем дневнике еще в 1858 г., что Лавров был «мыслитель прогрессивный». Он излагал в ее обществе системы Фурье и Сен-Симона, но «над некоторыми подробностями смеялся». Лавров полагал, что «все будут одинаково работать и одинаково сыты. Семьи, конечно, не будет; дети будут воспитываться государством; богатых и бедных, простых и знатных также не будет. Все будут равны, одинаково образованы и обеспечены на старости» (см. «Русский вестник» 1901, № 6, стр. 451). 27 октября 1859 г. Штакеншнейдер отмечает, что в ее среде Лавров «слывет не только за философа, но и за вольнодумца, революционера и либерала» (sic!) (см. там же, стр. 452). Но, повидимому, и на нее статья Чернышевского о Лаврове произвела впечатление, будто ее написал «противник». 26 января 1861 г. она отмечает в дневнике, что Лавров «хвалит своего противника Чернышевского» (там же, № 10, стр. 439). Но в среде практических революционных работников брошюра Лаврова «Очерк теории личности», может быть, именно потому, что о ней одобрительно отзывался Чернышевский, пользовалась популярностью и гораздо позднее. Так, М. С. Ольминский указывает, что по приезде в августе 1883 г. в Петербург разбирал в революционном кружке молодежи наряду с политической экономией Милля и Маркса, между прочим, и «Очерк теории личности» Лаврова. (См. М. С. Ольминский. «Давние связи». В сборнике «От группы Благоева к «Союзу борьбы». Гиз. 1921, стр. 68.)

Но вернусь к дальнейшим фактам литературной и общественной деятельности Лаврова.

В 1860 г. Лавров пишет в «Отечественных записках» статью «Современное состояние психологии», где доказывает, что в основании психологии должно лежать естествознание, и обзор «Иностранная литература», где критикует четыре новые иностранные книги по истории и философии религии (этот обзор остался неизвестным П. Витязеву и не включен в изданную им 5-ю серию статей Лаврова по истории религии), а в «Русском слове» «Отзыв о книге» (Мангардта по истории мифов), где доказывает, что история мифов может излечить от увлечения религией, и «Что такое антропология», где критикует взгляды Фихте и Вайца, и, наконец, опять в «Отечеств. записках» — «Ответ г. Страхову», отозвавшемуся не так одобрительно, как Чернышевский, об «Очерках вопросов практической философии» Лаврова. В начале этой статьи Лавров высказывается и об упомянутой выше статье Чернышевского, защи-

щаясь против обвинения его Чернышевским в эклектизме и ссылаясь на свою статью «Что такое антропология», которая содержит, по его мнению, вполне самостоятельную точку зрения.

22, 25 и 30 ноября 1860 г. Лавров читает в пользу Литературного фонда три публичные лекции «О современном значении философии», имеющие большой успех, где развивает свою излюбленную идею о единстве знания, творчества и мысли. Лекции эти были в следующем году напечатаны в «Отечественных записках» и вышли также отдельной брошюрой под заглавием «Три беседы о современном значении философии» (Спб. 1861). Об этой брошюре будет еще речь дальше.

2. Лавров — редактор и общественный деятель (1861—1866 гг.)

Три публичные лекции Лаврова 1860 г., как он указывает в своей автобиографии, «были первым публичным словом о философии, произнесенным светским лицом в России вне духовных заведений со времени закрытия кафедр философии Николаем I». По-видимому, они сильно содействовали популярности Лаврова, так как при основании «Энциклопедического словаря, составленного русскими учеными и литераторами», под редакцией руководителя тогдашней влиятельной газеты «С.-Петербургские ведомости» Краевского, Лаврову в начале 1861 г. «была поручена редакция философского отдела, а со второго тома (вышедшего также в 1861 г.) частные редакторы выбрали его главным редактором «Словаря» взамен Краевского» (см. автобиографию).

Как видно из письма графа И. Д. Делянова к М. М. Стасюлевичу той эпохи (см. в книге «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. I, Спб. 1911 г., стр. 345), «Словарь» Краевского «был субсидирован правительством, о чем не подозревал его редактор П. Л. Лавров», составивший план всего издания (об авторе плана см. предисловие к пятому тому «Словаря»). Если в покровительствуемое правительством издание Лавров был приглашен в качестве одного из главных сотрудников, то очевидно, что *в то время* в глазах правительства Лавров был еще вполне благонадежным человеком.

Но очень скоро правительство убедилось, что Лавров далеко не таков, как оно о нем думало.

Так как «Словарь» этот в настоящее время совершенно забыт, то необходимо на нем несколько остановиться.

Вопреки намерениям правительства, этот «Словарь» стал литературным предприятием, ярко отразившим философские и политические взгляды Лаврова 1861—1863 гг., так как Лавров писал в нем сам очень много «по разным предметам, но преимущественно по философии, по историческим и историко-религиозным вопросам» (см. автобиографию Лаврова). Во время поездки за границу редак-

тора отдела словесных наук — поэта М. И. Михайлова — летом 1861 г. Лавров принял на себя и его редакторские обязанности (см. письмо Лаврова к историку литературы М. Н. Лонгинову от начала августа 1861 г.).

Если «в либеральной литературе «Словарь» встретил прием довольно холодный» (как указывает Лавров в автобиографии), то объясняется это, вероятно, тем, что кое-кто знал о правительственной субсидии. Но Лаврову удалось привлечь к сотрудничеству и таких радикальных писателей, как М. А. Антонович, подпись которого мы находим под многими статьями, и даже участника революционной организации «Земля и воля» — Ник. Утина. (Подписи Утина нет в «Словаре», но о его сотрудничестве мы узнаем из нескольких писем Утина к Лаврову, найденных у Лаврова в 1866 г. при его аресте.)

Хотя в предисловии к первому тому «Словаря» говорится, что он не стремится «проповедывать какое-либо учение, но поставить читателя на современно-научную *фактическую* точку зрения» (курсив в тексте), однако мы знаем из воспоминаний Антоновича, что Лавров ставил целью словаря «борьбу со всякими суевериями», будучи сам в «непримиримой вражде ко всяким религиозным построениям» (см. «Голос минувшего» 1915, № 9, стр. 134).

К этому необходимо добавить указание Е. А. Штакеншнейдер, что Лавров говорил ей еще в 1860 году: «Разрушайте; весь строй существующей жизни должен быть разрушен; и государство, и церковь, и семья — все это должно пасть и исчезнуть; и каждый честный человек обязан всеми силами способствовать их падению... Его мечтой была революция, революция, которая сломает и унесет все старое, изжившее, все предрассудки и суеверия, весь износившийся строй жизни и расчистит место новому. В чем будет состоять это новое, он не знал и не гадал даже о том. Себя участником этого нового он не мнил; новое должно было принадлежать новым людям. Он и все его современники должны были только расчистить им места». (См. Е. А. Штакеншнейдер. «П. Л. Лавров» в «Голосе минувшего» 1915, № 7—8, стр. 100.)

Читателям, несомненно, «Словарь» давал очень много даже в смысле нового фактического материала, так как о предметах более интересных, по мнению редакции, для читателей составлялись статьи более подробные, особенно если по этим предметам не было русских сочинений, уже готовых. В важнейших статьях указывалась литература вопроса, русская и иностранная. Все, что касалось России, излагалось особенно подробно. По некоторым вопросам словарь давал сведения, «являющиеся по-русски *в первый раз*» (курсив в тексте). Особенно внимание обращалось «на статьи по истории культуры и по физиологии человека, так как первая составляет... важнейшую часть исторических наук, а вторая — важнейшую часть наук естественных» (см. предисловие к первому и третьему тому).

«Словарь» предназначался не для специалистов, а для «живого, развивающегося русского общества», и обращал «наиболее внимания на те стороны знания, которые могут в нашу эпоху иметь значение для этого общества... Мы желали бы стать посредниками между уединенным трудом специалиста и волнующимися требованиями общества»... (см. предисловие к пятому тому).

Антропологическая точка зрения (таково заглавие и специальной статьи Лаврова в пятом томе «Словаря») пронизывает все статьи по философии и истории культуры. «Реален лишь человек и физический мир, однородный его телу», понятие о боге выдумано и создано людьми, происхождение «священного писания» объясняется влиянием духовного сословия; почитание святых и мощей — клерикальный догмат; жития святых — вымыслы и т. п.

Естественно, что когда с этим словарем познакомились представители духовенства, они нашли, что он «соперничает с французскими энциклопедистами XVIII века» и полон «безобразнейшего кощунства и отъявленного безбожия». Махровый реакционер В. Аскоченский, редактор клерикального еженедельника «Домашняя беседа», использовал критический разбор «Словаря», произведенный попом И. Флеровым в журнале «Дух христианина» (1863, № 1), провозгласил авторам «Словаря» анафему и потребовал для них за «богохульство» — лишения всех прав и ссылки на поселение в Сибирь согласно 187 статьи «Уложения о наказаниях» 1845 г., а затем закрытия «Словаря» и истребления всех его книг, «разносящих гибель и отраву по лицу земли русской».

Можно полагать, что учрежденное за Лавровым с 20 апреля 1863 г. «особенно строгое наблюдение» со стороны III отделения, подозревавшего Лаврова «в революционных происках» (см. об этом упомянутые агентурные донесения в «Материалах для биографии Лаврова», стр. 78), было вызвано статьей Аскоченского.

Конечно, никакие отписки Лаврова (повидимому, его перу принадлежит статья в № 56 «Спб. ведомостей» от 10 (22) марта 1863 г. за подписью «Читатель «Словаря», где, по поводу вышедших шести томов его, дается ему благоприятная оценка и указываются трудности его издания; он отвечал и на критику попа Флерова и еще некоего Матвеевского в «Спб. ведомостях», но этой статьи я не нашел) не могли помочь делу. В жандармском обзоре III отделения «о политическом направлении литературы» за 1863 г. отмечено, что редактор «Домашней беседы» (а он был авторитетным лицом для жандармов) «печатно отдавал некоторых наших писателей за распространение ими идей атеизма и материализма уголовному и церковному суду». («Красн. архив» 1925, т. VIII, стр. 220.)

Правительственная субсидия «Словарю» была прекращена, и «Словарь» был закрыт. В энциклопедическом словаре Брокгауза-Ефрона указано, что «грандиозность предприятия сделала невозможным его продолжение», но это неверно. Количество подписчиков «Словаря» все возрастало, и он мог бы быть закончен благо-

получно. Но он не мог быть не закрыт правительством в виду его «вредного» политического направления.

Редактирование «Словаря» и статьи в нем Лаврова — одна из больших заслуг Лаврова перед русским обществом. Если «Словарь» мог продержаться больше двух лет при тогдашних условиях, то объясняется это тем, что только с выходом шестого его тома в начале 1863 г. был помещен о нем критический разбор попа Флерова, а в начале 1861 г. с Лавровым случилось одно журнальное происшествие, которое могло усыпить бдительность «недреманого ока» по отношению к Лаврову.

Дело в том, что упомянутая выше брошюра «Три беседы о современном значении философии» встретила отрицательную оценку со стороны тогдашних передовых публицистов — М. А. Антоновича (в «Современнике» за 1861 г., № 4) и Д. И. Писарева (в «Русском слове» за 1861 г., № 5). Лаврову была дана кличка «метафизика». Эту кличку дали Лаврову в кружке, из которого в конце 1861 г. образовалось тайное революционное общество «Земля и воля» (см. «Полное собрание сочинений А. И. Герцена». Гиз. Том XVI, стр. 74), и когда Лавров захотел сблизиться с этим кружком, он был встречен «довольно холодно». (См. письмо Лаврова к Штакеншнейдер от 10 (22) июня 1870 г.)

Нападки передовых двух публицистов в 1861 г. на Лаврова объясняются тем, что о Лаврове они были осведомлены очень односторонне, только по тем статьям его, которые он подписывал в печати полным своим именем и которые трактовали о Гегеле и тому подобных сложных философских вопросах. Статьи Лаврова в «Энциклопедическом словаре» тоже были по философии и естествознанию. Некоторые же наиболее ответственные научные, а особенно публицистические свои статьи Лавров вынужден был, из-за своего официального положения военного профессора в чине полковника, или совсем не подписывать (так, я нашел в «Библиотеке для чтения» за 1861 г., ноябрь и декабрь, большую статью Лаврова без подписи — «Дарвин и его теория образования видов»), или, как мы видели, подписывать псевдонимом «Один из многих». Когда в конце 1861 г. Антонович познакомился лично с Лавровым в квартире Чернышевского, он убедился, что «Чернышевский смотрел на Лаврова, как на человека своего лагеря в широком смысле слова, несмотря на известное расхождение во взглядах». Тогда же Антонович понял, что «одна чисто теоретическая работа Лаврова не удовлетворяет и он ищет проявления тех общественных тенденций, которые были заложены в его личности». (См. «П. Л. Лавров в воспоминаниях современников. Из рассказов М. А. Антоновича» в «Голосе минувшего» 1915, № 9, стр. 132 и 135.) Антонович стал тогда сотрудником Лаврова по «Энциклопедическому словарю» (см. об этом: П. Л. Лавров. «Народники-пропагандисты», Гиз. 1925, стр. 50). Писарев убедился в том, что Лавров левеет, несколькими годами позже, когда Лавров был уже в ссылке (см. там же).

Несмотря на это литературное происшествие, Лавров продолжал итти своим путем, осуществляя в своей жизни мысль о необходимости соединения теоретической мысли с практикой жизни.

Когда близкий к Чернышевскому поэт и публицист Мих. Иллар. Михайлов, привезший из Лондона прокламацию «К молодому поколению», по доносу Вс. Костомарова 14 сентября 1861 г. был арестован, Лавров на другой же день подписал против этого ареста протест 30 литераторов и, кроме того, отдельно, протест 10 редакторов «Энциклопедического словаря», в котором Михайлов, как мы видели, был редактором отдела словесных наук. Михайлов был близок Лаврову по шахматному клубу, в организации которого они участвовали вместе с Чернышевским и некоторыми другими писателями. Собрания по организации этого клуба происходили на квартире Лаврова. (См. об этом записку М. И. Михайлова к Лаврову от 14 августа 1861 г., сохранившуюся в судебном деле Лаврова на стр. 348 и опубликованную П. Витязевым в «Книге и революции» 1922, № 6, стр. 14—15, примечание 4-е.) Отмечу кстати, что этот клуб часто посещался Чернышевским (см. об этом Л. Пантелеев «Из воспоминаний о прошлом». Спб. 1905, стр. 223—224 и «Н. Г. Чернышевский в донесениях III отделения» в «Красном архиве» 1926, т. I, стр. 111). Клуб был закрыт 8 июня 1862 г. за то, что в нем «происходят и из него распространяются неосновательные суждения... о современных событиях». (См. «Русский инвалид» 1862, № 126.) Лавров был одним из старшин этого клуба. (См. об этом письмо Лаврова к Плеханову 1889 г. в № 7—8 «Литературного наследства» 1933 г.)

Насколько Михайлов был близок Лаврову, можно видеть из датированного 23 мая 1862 г. «Послания Мих. Ил. Михайлову», посланного Лавровым Михайлову после того, как последний был водворен 11 марта 1862 г. на сибирских золотых приисках на каторжные работы.

Здесь Лавров писал, между прочим, Михайлову:

„Над русской землею краснеет заря.
Заблещет светило свободы,
И скоро уж спросят отчет у царя
Покорные прежде народы...
На празднике том уж готовят тебе
Друзья твои славное дело,
Торопят друг друга к великой борьбе
И ждут, чтоб мгновенье приспело...
И шлют издалека сердечный привет,
Надежду, тоску ожиданья
И твердую веру: Свобода придет —
И скоро... Борец, до свиданья!"

В Комитете общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым Лавров, в качестве его казначея, с 1861 г. «проводил мысль, чтобы Комитет при обсуждении прав на пособие принимал в соображение образ мыслей и направление писателя». (См.

«XXV лет. 1859—1884». Сборник, изданный Комитетом... Спб. 1884, стр. 432.) Смысл предложения Лаврова был тот, чтобы выдавать пособие только прогрессивным и революционным писателям, а не реакционерам.

Когда в 20-х числах сентября 1861 г. в Петербурге произошли студенческие волнения по случаю введения новых университетских правил, по основной своей сути направленных к закрытию университета для бедняков, Лавров активно выступил во дворе университета, воодушевляя студентов к протесту. Лавров принял «главное участие» (вместе с Чернышевским) и в подписке и сборе денег в пользу студентов, когда многие из них за «беспорядки» были уволены, и ведал распределением денег среди студентов. (См. об этом жандармские данные в «Материалах для биографии П. Л. Лаврова». Вып. 1. Пгр. 1921, стр. 74—75 и 84—85 и в «Судебном деле Лаврова» 1866—67 гг., листы 213 и 348.) Повидимому, по инициативе Лаврова, как казначея Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, при этом Обществе было учреждено особое отделение для вспомоществования учащимся (т. е. студентам). 10 июня 1862 г. царь специальным указом повелел закрыть это «особое отделение». (См. «Северная почта» от 14 июня 1862, № 128.) В судебном деле Лаврова имеется записка к нему Чернышевского, относящаяся к декабрю 1861 г., когда студенты, содержавшиеся под арестом в Кронштадте, были освобождены, и говорящая о том, что «надобно было бы отправить в Кронштадт с кем-нибудь до 800 или 600 рублей из фонда (разумеется особое отделение для вспомоществования учащимся при Литературном фонде) на переезд освобождаемых в Спб., а в Петербурге озаботиться о размещении их, до устройства их дел, по квартирам порядочных людей». (См. записку Чернышевского к Лаврову в статье П. Витязева в «Книге и революции» 1922, № 6, стр. 13.) Эта записка свидетельствует, между прочим, и о том, что прав был Антонович, утверждавший, что уже в конце 1861 г. Лавров был близок с Чернышевским, а не Пантелеев, опровергавший это утверждение на том основании, что Лавров якобы был членом Комитета Литературного фонда лишь с февраля 1862 г., когда только он и мог, по мнению Пантелеева, сблизиться с Чернышевским, также бывшим членом Комитета этого фонда. Но дело все в том, что Пантелеев ошибался, предполагая, что Лавров был членом Комитета Лит. фонда с февраля 1862 г. Из списков членов Комитета Лит. фонда мы знаем, что Лавров избран был в его члены 2 февраля 1861, а не 1862 года. (См. Юбилейный сборник Лит. фонда 1859—1909, стр. 73.)

Насколько Лавров близко принимал к сердцу интересы революционного студенчества, видно из его статьи «Заметка на замечания г. Пирогова» (см. «Спб. ведомости» 1862, № 84 от 21 апреля), где он критикует проект нового устава российских университетов и делает возражения Н. И. Пирогову на его либе-

рально-компромиссные замечания по этому вопросу, а особенно из статьи Лаврова «Учиться, но как?» («Спб. ведомости» 1862, № 104 от 16 мая), где Лавров (почти одновременно с Чернышевским — см. статью последнего в «Современнике» 1862, апрель: «Научились ли?») берет под свою защиту студенческую молодежь, доказывая, что она хочет учиться, но что ей нужно дать «здоровую науку», и отстаивая свободу преподавания и умение понимать молодежь в ее порывах. (См. об этом статью П. Витязева в «Книге и революции», Пгр. 1922, № 6 (18), стр. 12—13 и М. Антоновича «Материалы для биографии Н. Г. Чернышевского» в «Минувших годах» 1908, № 5—6, стр. 343). Лавров, повидимому, «намеревался даже всю свою жизнь связать с университетом и студенчеством», так как в 1861 г. сделал попытку занять кафедру философии в университете, но, вследствие происков цензора Никитенки (последний был и профессором русской словесности в университете), Лавров получил отказ. (См. об этом в той же статье Витязева стр. 14.)

Благодаря общественным и литературным выступлениям Лаврова в 1861—1862 гг. по поводу студенческих волнений, студенчество, как указывает активный его деятель 1861 г. Л. Ф. Пантелеев, ставило Лаврова в один ряд с наиболее радикальными писателями того времени — Чернышевским и Берви-Флеровским. Когда в начале 1862 г. возник Вольный университет, стоявший во главе его студенческий Комитет единогласно наметил в числе лекторов Лаврова наряду с Чернышевским и Берви, но правительство не утвердило их лекторами. (См. воспоминания Пантелеева в сборнике «П. Л. Лавров», Пбг. 1922, стр. 422.) Для Вольного университета Лавров составил программу двух бесед по нравственной философии, но и последняя не была утверждена по проискам цензора Никитенки. (См. об этом статью С. А. Переселенкова в «Былом» 1925, № 2 (30), стр. 3—7.)

Царское правительство не разрешило Лаврову в мае 1861 г. прочесть лекцию в пользу воскресных школ (см. М. Лемке «Дело о публичных лекциях в 1860-х гг.» в «Историко-литературном сборнике», Лгр. 1924), а с июня 1862 г. знаменитое III отделение завело «Дело о полковнике Лаврове», так как имя Лаврова попало в список «неблагонадежных» за то, что он «бывал на студентских сходках и сочувствовал им».

Как видно из найденного при обыске у Лаврова составленного им в 1862 г. проекта заявления протеста по делу проф. Павлова, сосланного в Ветлугу за публичную лекцию о «Тысячелетии России», и из подписного листа на 122 р. 50 к. в пользу проф. Павлова, Лавров активно выразил свое сочувствие этому профессору, по поводу высылки которого Ник. Утин напечатал нелегально прокламацию в марте 1862 г. За несколько месяцев до ареста Чернышевского (он был арестован 7 июля 1862 г.) принц Ольденбургский говорил в интимной беседе: «Стоит только схватить 5—6 зачинщиков (упоминая в том числе Лаврова), и ре-

волюции и в помине не будет». (См. Н. С. Русанов. «Социалисты Запада и России», 2-е изд., Спб. 1909, стр. 223.) Когда цензурный комитет запросил в конце 1863 г. разрешения III отделения о передаче Лаврову редактирования журнала «Заграничный вестник», начальник III отделения Потапов, несмотря на представленное Лавровым свидетельство о его «благонамеренности» трех действительных статских советников, ответил: «Лавров хуже всех Чернышевских, Благосветловых, Елисеевых и проч. и явно подстрекал к беспорядкам студентов в 1861 г. и к манифестации во время похорон барона Штейнгеля (декабриста) в минувшем 1862 г., а потому *едва ли* благонадежен. Отвечать, что полк. Лавров не может быть редактором журнала». Упоминаемая здесь манифестация во время похорон декабриста барона Влад. Ив. Штейнгеля (1783—1862), писавшего под псевдонимом «Обвинский», происходила в Петербурге 20 сентября 1862 г. и выразилась в том, что несколько передовых писателей, вопреки воле сына покойного, генерал-майора Штейнгеля, несли гроб его на руках и, поровнявшись с Петропавловской крепостью, где были повешены декабристы, «полковник Лавров и другие требовали, чтобы отслужили литию, но ген.-майор Штейнгель не допустил этого, просил их удалиться»... Об этой демонстрации было доложено Александру II. (См. дело № 6 Архива III отделения, 1-й экспедиции, 1862 г. и «Обществ. движения в России в первую половину XIX века». Том I. Декабристы. Спб. 1905, стр. 320.)

Во время польского восстания 1863 г. близкий родственник Лаврова, консерватор П. К. Щебальский, в интимном письме изобличает Лаврова в «измене» («помышлением») по поводу «образа мыслей в польских нынешних делах» и угрожает Лаврову и всему «его» лагерю отвращением от них «общественного мнения» России, олицетворяемого для автора письма «Русским вестником» Каткова, ставшего в это время окончательно реакционером. (См. письмо в указанном «Деле» Лаврова, лист 286.)

«Говоря в ревизионной комиссии Литературного фонда по поводу одной ссуды, Лавров воспользовался этим случаем, чтобы заклеймить мнимых либералов, служивших и нашим и вашим, в роде тогдашнего начальника Азиатского департамента Егора Ковалевского, который то являлся на свидания в тюрьму к Чернышевскому, то жал руку Муравьеву-вешателю». (См. Н. С. Русанов, указ. книга, стр. 224.) Надо заметить, что Егор Петрович Ковалевский (1811—1868), известный путешественник и исследователь-геолог, был в то время председателем Литературного фонда, где казначеем был Лавров, так что Лавров часто с ним встречался.

Как видно из указанных здесь фактов, Лавров фактически был в то время человеком либеральным и только, а потому и встретил «довольно холодное» отношение со стороны кружка «Земли и воли» 1861—1863 гг., возглавлявшегося братьями Серно-Соловьевичами, одним из уволенных за студенческие беспорядки —

Николаем Утиным — и чиновником А. А. Слепцовым, и которое, повидимому, привело к тому, что участие Лаврова в «Земле и воле» не было значительным. А. А. Слепцов утверждает, что «Лавров и Елисеев (известный публицист «Русского слова» и «Отечеств. записок») официально не сделались членами «Земли и воли», но сами просили оставить за ними право, не принимая на себя по существу никаких обязанностей, могущих отвлечь их от прямого дела, являться на наши совещания в качестве совещательных членов» (см. об этом в соч. Герцена, Гиз, том XVI, стр. 74—75). Но из дела III отделения видно, что петербургский комитет «Земли и воли» собирался в квартире Лаврова (см. там же, стр. 166). Даже отвергая указание агента III отделения Волгина, что Лавров был членом петербургского областного комитета «Земли и воли» (см. там же, стр. 173), все же мы должны признать, что факт участия Лаврова в «Земле и воле» не подлежит сомнению. Так как деятельность «Земли и воли» выразилась главным образом в издании прокламаций об освобождении крестьян и о польском восстании, то Лавров, повидимому, участвовал в обсуждении содержания этих прокламаций. Низкая оценка, данная самим Лавровым в его автобиографии степени активности его участия в «Земле и воле», объясняется, повидимому, тем, что он делал эту оценку в 1885 году, когда требования Лаврова к революционеру были очень высоки.

В годы своего участия в «Земле и воле» (1862—1863) Лавров, как уже сказано, является также видным участником Комитета для пособия выпущенным из заключения студентам (что ставило его в близкие сношения со всей революционной молодежью) и организатором «Шахматного клуба» и Литературного фонда, бывших легальными центрами революционной интеллигенции. «Шахматный клуб» был закрыт 8 июня 1862 г. за то, что в нем «происходят и из него распространяются неосновательные суждения... о современных событиях». (См. «Русский инвалид» от 8 июня 1862 г., № 126.) Как видно из отметки агента III отделения от 18 апреля 1862 г., в «Шахматном клубе» ходили по рукам прокламации, составленные Н. Утиным. (См. «Агентурные наблюдения за Н. Г. Чернышевским» в «Красном архиве» 1926, том I (XIV), стр. 118.) Никитенко в своем дневнике отмечает, что «Чернышевский, Лавров и др. дали Литературному фонду характер партии» (см. Никитенко «Моя повесть о самом себе»... Т. II. Спб. 1905, стр. 266).

О росте революционных настроений Лаврова в эти годы свидетельствуют лучше всего открытые только недавно — упомянутое «Послание М. И. Михайлову» и статья «Постепенно», взятая у Лаврова при аресте в гранках, так как цензура ее не пропустила. (Статья эта перепечатана в настоящем томе.)

Как доказал П. Витязев, эта статья написана Лавровым не позже 12 января 1863 г. В ней Лавров громит всякую постепеновщину и ползучий реформизм и заканчивает сказкой о четырехкрылом хане, в которой «отвергаются верования народа в самодержав-

ные права государя и в насмешливом виде представляется постепенный ход реформ» (такова квалификация этой сказки комиссией Муравьева-вешателя, разбиравшей «дело» Лаврова).

В статье повторяется основная мысль статьи 1857 года «Вредные начала» о вредности самодержавия. В статье отразилось, может быть, и влияние Чернышевского, который, тоже в иносказательной форме, развил мысль о «благодетельных скачках» в истории, подвигающих далеко вперед общественное развитие (см. «Современник» 1861, январь, стр. 37—38).

О дальнейшей общественной и литературной деятельности Лаврова до его ареста можно указать следующее:

В конце 1863 г. Лавров стал фактическим редактором журнала «Заграничный вестник» в надежде, что этот журнал может стать «ценною подготовкою русской интеллигенции к ожидаемому обновлению государственности» и «школою русских граждан». (Официальным редактором был личный друг Лаврова — педагог и сотрудник «Отечественных записок» П. М. Цейдлер.) Став редактором, Лавров прежде всего попросил издателя М. О. Вольфа достать для него «Историю английской конституции» Мая, вышедшую в 1863 г., чтобы поместить одну из ее глав в журнале. С № 3 официальным редактором стал А. С. Афанасьев-Чужбинский. Но и при новом редакторе Лавров помещал в журнале сочинения лишь тех представителей европейских партий, которые являются защитниками «полезных начал», т. е. исключительно прогрессивных и революционных писателей. Особенный интерес представляли в журнале обзоры европейской жизни, в которых Лавров «старался пролить свет на самые животрепещущие у нас вопросы как государственного управления и хозяйства, так и общественного строя». Впоследствии (в 1866 г.) журнал был приостановлен правительством, и ему было поставлено обвинение, что статьи его «носят характер отрицания веры, стремления к популяризации новых форм правления, распространения научных истин, противоречащих установленным взглядам» и т. п. (разумелись лекции о конституции САСШ, очерки теории Дарвина и др. См. С. Ф. Либрович. «П. Л. Лавров как редактор «Заграничного вестника» в «Вестнике литературы» за 1913 г., №№ 11 и 12; статья еще никем не использована до сих пор в литературе о Лаврове).

В конце того же 1863 г. Лавров вместе с Кривошеиным организует первое в России «Общество женского труда» (см. В. В. Стасов. «Н. В. Стасова». Спб. 1899, стр. 68—69, но здесь неверно отнесена к 1865 г. дата организации этого общества). Устав его составлен Лавровым и озаглавлен: «Общие основания проекта Общества женского труда». Спб. 24 декабря 1863 г. Экземпляр печатного текста устава хранился в семье М. В. Трубниковой и отдан писательнице кадетской партии А. В. Тырковой, ныне эмигрантке в Лондоне. Устав не увидел света из-за трений, возникших в самом начале организации общества и из-за подозрительного отношения

правительственных сфер. (См. О. К. Буланова-Трубникова. «Три поколения». Гиз. 1928, стр. 89—90.)

Цензор и профессор Никитенко в своем дневнике отмечает под датой 24 мая 1864 г., что Лавров «посвятил себя обращению молодых женщин и девушек в нигилисток, для чего и открыл у себя для них курс материалистической философии». (См. А. В. Никитенко. «Моя повесть о самом себе»... Изд. 2-е, т. II, Спб. 1905, стр. 181.)

18 июня 1864 г. ответственный редактор «Заграничного вестника» А. С. Афанасьев-Чужбинский жалуется, что заведующий ученым отделом этого журнала Лавров делает такие примечания к статьям, «что их никакая цензура не пропустит». (См. «Материалы для библиографии П. Л. Лаврова». Вып. 1-й. Пгр. 1921, стр. 81. Как показал сам Лавров на допросе в 1866 г., «по прекращении Энциклоп. словаря» (значит, с 1863 г.) он «заведывал делами «Заграничного вестника», и все примечания и предисловия от редакции были написаны» им, «точно так же, как выбор статей» от него «зависел».)

5 сентября 1864 г. Лавров взял на поруки П. В. Пушторского, участника студенческих волнений 1861 г., арестованного в 1863 г. за участие в «Земле и воле» и содержавшегося с 15 сентября 1863 г. в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. (См. Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. Том I, часть 2. М. 1928, стр. 343.)

В ноябре 1864 г. Лавров представляет в Комитет грамотности программу двух публичных лекций в пользу этого комитета. (См. «Материалы для биографии Лаврова», стр. 83.)

В том же 1864 г. Лавров получает целый ряд писем от неизвестных ему ссыльных студентов из провинции, которые выражают «полное и теплое участие и сочувствие» к его литературной деятельности, откровенно высказывают ему свои противоправительственные взгляды по политическим вопросам и мотивируют эту откровенность тем, что знают Лаврова, как «честного общественного деятеля», как «честного человека» и т. п. (См. эти письма в «деле» Лаврова, листы 172, 258, 260.)

С начала 1865 г. Лавров помогает швейной мастерской для бедных девочек, принимает деятельное участие в «Обществе издания дешевых книг для народа» и в «Издательской артели», ставившей себе целью избавление литераторов и переводчиков от эксплоатации издателей книг и журналов. Лавров 6 марта 1865 г. вносит предложение в Литературный фонд о выдаче денежного пособия сосланному на каторгу Чернышевскому и о *ходатайстве* у правительства о пересмотре его дела, представляет в цензурный комитет рукописный перевод «Политической экономии» Милля с примечаниями Чернышевского, прося разрешения их напечатать. Наконец, Лавров, будучи в качестве домовладельца гласным петербургской городской думы и петербургского губернского земского

собрания, всегда высказывается там против правительства, поддерживает идею о самостоятельности земства, обвиняет правительство в нравственном и физическом растлении народа размножением кабаков и т. п. (См. «Материалы для биографии Лаврова», стр. 86—88.) К сожалению, о земской и думской деятельности Лаврова я не нашел никаких иных материалов. Из четырехтомной «Истории земства» Б. Веселовского видно только, что в 1865—1866 гг. С.-Петербургское земство имело во главе либералов (см. том IV, Спб. 1911, стр. 582). В «Сборнике постановлений С.-Петербургского губернского земства с 1865 по 1879 год» Ф. И. Шмигельского (Спб. 1881) на стр. 17 Лавров значится в «Списке лиц, избранных губернскими гласными» на 1-е трехлетие от города С.-Петербурга под именем «полковника Петра Лаврентьевича (sic!) Лаврова». Из изданной в Париже в 1867 г. брошюры «С.-Петербургская дума и городская полиция. Из журналов заседания С.-Петербургской общей думы 12 ноября 1865, 9 декабря 1866 и 26 января 1867 г.» видно, что гласные протестовали против дороговизны петербургской полиции по сравнению с полицией Вены и Берлина и требовали своего контроля над нею. Характерно, что *такие* постановления пришлось опубликовать нелегально за границей. Лавров, возможно, лишь очень короткое время участвовал в занятиях земства и думы, так как в 1865 г. 4 месяца был за границей, где лечил больную жену, а вскоре после возвращения из-за границы его жена умерла (см. упомянутые агентурные справки от 6 января 1866 г.). Но и краткого участия в работах легальных организаций было для него достаточно, чтобы понять их бесплодность. Как известно, 17 января 1867 г. петербургское губернское земское собрание «за возбуждение чувств недоверия и неуважения к правительству» было закрыто и распущено (см. «Северная почта» от 17 января 1867 г., № 13).

В 1865 г. Лавров посылает книгопродавцу Н. Л. Тиблену, имевшему сношения с Герценом, проект издания энциклопедических словарей трех видов, предлагая «сначала приняться за выпуск невинных вещей, а затем, затянув издателей и приучив *наблюдателей* (т. е. цензоров) к изданию, пустить вещи и посерьезнее». (См. «дело» Лаврова в Аудиториатском департаменте военн. мин-ва, лист 339.)

Наиболее ярким литературным произведением Лаврова 1865 г. является неизвестная до сих пор статья его в № 9 «Современника» за подписью «Ал. Угрюмов» — «О публицистах-популяризаторах и естествознании». (Принадлежность этой статьи Лаврову открыта была еще в 1915 г. Л. Чижиковым, но этого не заметил П. Витязев и другие исследователи писаний Лаврова; впервые эта статья перепечатывается в настоящем томе.)

В этой статье Лавров делает попытку вернуть публицистику к тому высокому общественному уровню, на котором она стояла при Чернышевском и Добролюбове и временно у Писарева, когда он писал в 1862 г. о Шедо-Феротти и о Гейне, и с которого она сни-

зилась до проповеди «реализма» Писарева, означавшей по существу пропаганду «саморазвития» и отрыв от общественной активности.

Не называя имени Писарева, так как последний еще сидел в Петропавловской крепости за революционную статью против Шедо-Феротти, Лавров именно его осмеивает, говоря о «публицистах», которые, не видавши реторты и скальпеля, считают себя и желают казаться натуралистами», и поучает его, что знание и наука только тогда приносят существенную пользу, когда касаются вопросов, затрагивающих материальные и нравственные интересы общества, и что научное исследование должно быть соединено с практикой жизни (Лавров, конечно, имел право поучать Писарева, так как и сам занимался популяризацией естествознания — выше я указал на его статью о дарвинизме — и, кроме того, был *специалистом* по математике и естествознанию). На Писарева, повидимому, статья Лаврова произвела должное впечатление, так как он против нее не возражал и вскоре перешел на исторические темы, начав в «Деле» в 1867 г. «Очерки из истории европейских народов».

Лавров доказывает, что данные естествознания должны быть единственным предметом только *первоначального* образования, но так как «общественная жизнь складывается под влиянием особых законов, вытекающих из социальных свойств человека», то нельзя довольствоваться одним естествознанием, а необходимо еще изучать законы и явления социальной жизни, «науку о распределении материальных богатств и тесно связанной с ней науки о современном состоянии и об историческом развитии законов, управляющих взаимными отношениями людей».

В конце этой статьи Лавров задает риторический вопрос: «Где наши историки, вносящие новые взгляды в изучаемую ими науку, пролили ли они хоть какой-нибудь свет на темное царство исторической жизни русского народа? Будут ли у нас натуралисты, способные познакомить общество с естественными богатствами России?.. Колебания, быстрые и бесследные переходы от одного предмета к другому показывают, что литература и наука не знают, что нужно обществу, и не умеют удовлетворить его потребности». (Как увидим дальше, этот отрывок цитировался в «Народном деле» Ник. Утиным.)

Указание на необходимость изучения «науки о распределении материальных богатств», как мне кажется, навеяно на Лаврова Чернышевским, чей перевод «Политической экономии» Милля с примечаниями Лавров, как указано выше, в марте 1865 г. представил в цензурный комитет.

Идея о преимуществах истории перед естествознанием для *взрослых* людей проводится Лавровым и в первой главе «Исторических писем», напечатанной в январе 1868 г. в «Неделе».

Я покажу дальше, как эта критика писаревского «реализма» высоко была оценена русскими политическими эмигрантами и неожиданно для самого Лаврова сделала его близким Русской секции Ин-

тернационала, издававшей «Народное дело», как только Лавров оказался в эмиграции.

Но предварительно необходимо подчеркнуть, что в виду выступлений Лаврова в литературе до его ареста большей частью анонимно или под псевдонимами, мало кому известными, в литературных кругах редко кто знал, каково настоящее политическое лицо Лаврова. А в личных своих сношениях с литераторами Лавров был очень осторожен, так что только очень проницательные люди могли угадывать за безобидными разговорами Лаврова что-нибудь более важное. Так, П. Боборыкин, при редакторстве которого Лавров вел несколько месяцев в «Библиотеке для чтения» отдел иностранной литературы, усмотрел в Лаврове нечто «прикрывающее более «разрывное» (т. е. революционное) содержание», чем Лавров это высказывал в разговорах. (См. «Голос минувшего» 1913, № 3, стр. 189.)

В скрытности своей сознается и сам Лавров. Если, касаясь периода своей деятельности до эмиграции, Лавров неоднократно указывает (см. «Народники-пропагандисты», 1925, стр. 50), что его работы приобрели ему между сторонниками самых боевых литературных групп скорее репутацию умеренного и несколько педантичного кабинетного деятеля, то он же отмечает и причину установления такой его общественной репутации: «вследствие недостаточного знания даже моими приятелями моего настоящего взгляда на революционную и нереволюционную деятельность и недостаточного их доверия к моим способностям в этом направлении» (там же, стр. 51).

Г. А. Лопатин, который настолько высоко ценил Лаврова еще до его эмиграции, что с большой опасностью для себя помог Лаврову бежать из ссылки за границу, следующим образом характеризует Лаврова:

«Из моей тесной, многолетней близости с Лавровым я вынес о нем понятие, как о человеке железной воли, твердого, непреклонного характера, упорного до упрямства в своих взглядах, неуклонного в своих замыслах, любезного и уступчивого только с виду, в мелочах, но ни на минуту не забывавшего своей главной цели и настойчиво пробивавшегося к ней через все препятствия, *скрытного с посторонними и не откровенного беззаветно даже с друзьями,* медленно, обдуманно принимавшего свои решения и затем уже не отступавшего от них ни на шаг, и при этом — неутомимого работника, умевшего заставить себя трудиться с успехом даже в несвойственной ему области. «Мягкого» в этом человеке была только его светская внешность, благовоспитанные манеры да старомодная «любезность». (См. Г. А. Лопатин (1845—1918). «Автобиография. Показания и письма»... Пгр. 1922, стр. 174. Курсив мой.) В этой характеристике необходимо особенно подчеркнуть скрытность Лаврова во всем, что касается его общественных выступлений и революционных мнений, скрытность, сказавшуюся и в его автобиографии.

Характеристика Лаврова Лопатиным, охватывающая всю жизнь Лаврова в целом, как мы видели, вполне подтверждается и теми фактами литературной и общественной деятельности Лаврова, которые можно считать установленными лишь в 1922—1931 гг. относительно периода его жизни с 1857 г. до его ареста 25 апреля 1866 г. К сожалению, указанные факты еще не восприняты историками, пишущими о Лаврове 60-х годов и в наши дни, они забывают, что Лавров все время эволюционировал, и потому ими он трактуется для всех периодов своего развития в 60-х гг. как «мирный и скромный кабинетный ученый» (М. Н. Покровским), а его теоретические воззрения оцениваются как «шаг назад по сравнению с воззрениями Герцена, Добролюбова, Чернышевского» (см. статью Г. Ладохи в сборнике «Русская историческая литература в классовом освещении». М. 1927, стр. 418; по существу такую же отрицательную оценку теоретическим взглядам Лаврова 60-х годов дает и В. Кирпотин. См. его книгу «Радикальный разночинец Д. И. Писарев». Лгр. 1929, стр. 41).

Но одно дело — репутация Лаврова 1857—66 гг., установившаяся за ним среди лиц, мало его знавших и некритически воспринимаемая историками до сего дня (а мы видели, что студенческая молодежь, *знавшая* Лаврова, и в 60-х годах ставила его в один ряд с Чернышевским и, даже не будучи с ним знакома, писала ему откровенные письма из провинциальной глуши и выражала сочувствие его литературной деятельности), и другое дело — подлинный литературный и общественный облик Лаврова, который высоко оценивали Чернышевский и ссыльная революционная молодежь и, как увидим дальше, Русская секция Интернационала.

3. В тюрьме и ссылке (1866—1870 гг.)

Подлинный литературный и общественный облик Лаврова 60-х годов лучше многих, даже «приятелей» Лаврова, рассмотрели: царская цензура, вычеркивавшая его революционные статьи из журналов, и III отделение, тайно следившее и отмечавшее для себя всякое его выступление в литературе и на общественной арене, воспретившее ему читать лекции по философии в Петербургском университете, в Вольном университете и для различных общественных организаций и, наконец, арестовавшее и сославшее его в глушь, при первом удобном предлоге, «за хранение у себя сочинений преступного и предосудительного содержания (это были в большинстве своем сочинения самого Лаврова) и за сочувствие и близкие сношения с людьми, известными правительству преступным их направлением»,—таковы заключительные слова длинного заглавия «дела» Лаврова на 500 листах Аудиториатского департамента военного министерства 1866 г. (См. В. Н. Нечаев. «Процесс П. Л. Лаврова 1866 г.» в «Сборнике материалов и статей». Редакция журнала «Исторический архив». Вып. I. Гиз. 1921.)

В виду распространенной репутации Лаврова среди лиц, мало его знавших, как о «кабинетном» работнике, далеком от общественности, а тем более от политики, приговор над Лавровым, после содержания его в течение 9 месяцев в петербургской военной тюрьме, казался современникам ужасно жестоким. Сам Лавров, как мы видели, впоследствии в письме к сыну утверждал, что его обвинили и сослали за одну «неблагонамеренность». Но необходимо сказать, что по существу «преступлений» Лаврова, с точки зрения царского правительства, военный суд отнесся к Лаврову в высшей степени мягко.

В самом деле, у Лаврова были найдены при обыске его собственные стихотворения и письма (они были писаны его рукой, и отрекаться от их авторства было невозможно), доказывавшие, что у него были сношения с крамольным проф. Павловым, с литератором Н. В. Альбертини (привлеченным в 1863 г. по делу о сношениях с Герценом и содержавшимся с 24 июня 1866 г. в Петропавловской крепости по делу Гейдельбергской читальни), с «каторжниками» Чернышевским и Михайловым, с эмигрантом Ник. Утиным и др. И что же? Военный суд поверил на слово показанию Лаврова, что *единственное* стихотворение, им *напечатанное*, это «совершенно ничтожное «Бедуин» в «Библиотеке для чтения» в 1840 г. или около того», что с Герценом и его корреспондентами он «в переписке и сношениях не состоял»,—а мы знаем, что Лавров часто читал свои стихи в обществе знакомых и что он послал Герцену для напечатания пять стихотворений, из которых Герцен напечатал три, знаем, что Лавров написал и «Письмо к издателю» (Герцену); что с Чернышевским у него были «довольно дальние сношения» только по Литературному фонду и «Шахматному клубу» и что будто Чернышевский «раз писал против него»,—а мы знаем, что с Чернышевским Лавров был «близко знаком», как указал М. А. Антонович; что о прокламациях Михайлова и Утина он ничего не знал, — а мы знаем, что Лавров ценил Михайлова именно за его прокламацию и потому написал «Послание к М. Ил. Михайлову» 1862 г., знаем, что и с Утиным он был знаком и как с революционером, раз он сам входил в возглавлявшуюся последним «Землю и волю».

Следственная комиссия легко могла изобличить Лаврова во лжи, по крайней мере, в отношении напечатанных Герценом стихотворений, так как приложение к «Колоколу» — «Голоса из России», где были напечатаны «Пророчество» и «Русскому народу», было довольно распространено в то время в правительственных сферах. Но следственная комиссия не сочла нужным производить дополнительные разыскания ни о стихах Лаврова, ни о связях его с «каторжниками» и эмигрантами. В качестве «свидетелей» по делу Лаврова были допрошены только старший сын Лаврова Михаил (тот самый, который, по рассказу Елены Андреевны Штакеншнейдер, все компрометирующие его отца бумаги и вещи перевез к ней

и она их спрятала на мызе; см. «Из воспоминаний Е. А. Штакеншнейдер о Лаврове» — «Голос минувшего» 1915, № 7—8, стр. 107—108 и № 12, стр. 121), учитель дочери Лаврова, живший в его квартире, студент Медико-хирургической академии А. А. Рюльман и домашний работник Лаврова — крестьянин Лебедев. Естественно, что от подобных «свидетелей обвинения» никаких уличающих Лаврова сведений добыть не удалось. Они, напротив, рассказали, что у Лаврова бывал весь цвет чиновного и литературного Петербурга и в том числе такие «столпы общества», как Арсеньев, Кавелин, Полонский, Майков, д-р Конради, Достоевский, Штакеншнейдер и др., а из «вредных» людей они никого не назвали.

В итоге суд признал Лаврова «неизобличенным в злоумышленном распространении» своих произведений, а только в «составлении и хранении их». А раз ставши на путь доверия к показаниям Лаврова и признания его неактивности, суд отнесся внимательно и к показанию Лаврова, что в статье его «Постепенно» — «реформы не осмеивались, а защищалась мысль, кажется, непротивозаконная, что реформы возможно скорые желательны во всех частях общественной жизни» и т. п., и что вообще, когда он писал свои «Письма о разных современных вопросах», он «надеялся, что цензор вычеркнет, что нужно», и кроме того, «еще вовсе не знал надлежащим образом литературного дела».

Только относительно упоминавшегося выше письма Лаврова к книгопродавцу Тиблену суд не поверил Лаврову, что речь идет в нем только *об ученых* сочинениях (объяснение Лаврова было явно негодным) и признал в нем «намерение проводить вредные идеи в печать».

Проект заявления протеста против ссылки проф. Павлова и участие Лаврова в Комитете для пособия выпущенным из заключения студентам тоже заставили суд поставить Лаврову в вину «сочувствие и близкие сношения с людьми, известными правительству своим преступным направлением».

Не могли на суд не произвести впечатления и многочисленные письма из провинции от ссыльных студентов, лично Лаврова не знавших, но изливавших перед ним, как перед известным литератором, свои гражданские чувства. (Кроме студентов, в этом же духе писали Лаврову и Берви-Флеровский и некий шт.-кап. Лихачев; последний, между прочим, заявляет в своем письме: «Правительство боится и не любит умных людей. Деспотизм силен при невежестве народа и суеверного сельского духовенства... Говорят, рабство уничтожено, — чепуха! разве мы с вами не рабы?» и т. п.)

Повидимому, сам Лавров прекрасно сознавал, что он отнюдь не отделается пустяками, так как в своей автобиографии пишет, что «с самой минуты ареста» не сомневался, что за ним «должно было следовать прекращение его педагогической деятельности». Сознавали «виновность» Лаврова и «власть имущие», о чем ярко свидетельствует рассказ Е. Водовозовой. Когда один из ее род-

ственников, наивный консерватор и хороший знакомый Лаврова, не знавший про его «превратные» убеждения, бегал после ареста Лаврова к власть имущим, уверяя всех, что Лавров невинен, то над этим простаком смеялись, говоря, что Лавров — социалист. (См. Е. Водовозова. «На заре жизни». Спб. 1911, стр. 512.)

В итоге «суд признал Лаврова виновным, во-1-х, в составлении 4 стихотворений, но так как в злоумышленном распространении их он изобличен не был, а со времени их сочинения прошло более 9—10 лет, то наказания за это, за силою давности, не было назначено; во-2-х, в хранении как этих стихотворений, так и многих других и разных статей преступного и предосудительного направления; в-3-х, в намерении проводить вредные идеи в печать (письмо к Тиблену) и, в-4-х, в принятии на себя обязанностей старшего члена редакционной комиссии и временного председателя собрания «Издательской артели», когда устав ее не был еще утвержден. И за это приговорил его, сверх содержания под арестом во время следствия, «выдержать еще под арестом на гауптвахте три месяца». (См. указ. статью В. Н. Нечаева о процесое Лаврова; стр. 70.)

Военное начальство Лаврова из Главного артиллерийского управления, кроме того, уволило его со службы в качестве военного профессора, а высшая военная инстанция, генерал-аудиториат, сверх всего, постановил еще Лаврова «отослать на житье в одну из внутренних губерний по усмотрению министра внутр. дел, подчинив на месте жительства строгому надзору полиции и воспретив въезд в столицы». 5 января 1867 г. царь одобрил постановление генерал-аудиториата о ссылке Лаврова и направил его министру внутренних дел. По усмотрению последнего, «внутренней» губернией оказалась сначала Вятская, а потом Вологодская, и 15 (27) февраля Лавров отправлен на жительство в Тотьму. (См. там же, стр. 71—72 и более подробно в статье Д. Г. Венедиктова «Побег П. Л. Лаврова из ссылки» в «Кат. и ссылке» 1931, № 5, стр. 185—186.)

Хотя в приговоре и в «усмотрении» министра безусловно сказалась боязнь правительства перед Лавровым, как опасным публицистом, но все же необходимо признать, что военный суд отнесся к Лаврову очень доверчиво и мягко, хотя в лице его имел перед собою человека уже не «легально-либерального», как полагает В. Н. Нечаев (автор статьи о процессе Лаврова, считающий «дело» Лаврова «малозначащим» и полагающий, неизвестно почему, что ухищрения сына Лаврова спрятать разные документы своего отца «плохо достигли цели»), а определенно революционно настроенного и действовавшего активно согласно с этим настроением. Других (Чернышевского, Михайлова) за то же самое ссылали на каторгу... Лаврову помогло то, что он сам отдал на хранение Е. А. Штакеншнейдер свой юношеский дневник, содержавший исповедание атеизма и утопического социализма, а сын его спрятал очень

многие компрометировавшие отца книги и рукописи, и кроме того, суд не допросил по делу никого, кто мог бы сказать что-нибудь против Лаврова, не расследовав вопроса о его сношениях с Герценом, Чернышевским, Михайловым, Утиным и т. п. Могло подействовать на настроение суда по отношению к Лаврову и то, что вскоре после своего ареста, 29 апреля 1866 г., Лавров написал письмо считавшемуся либералом председателю Государственного совета — великому князю Константину Николаевичу, где просил только о дозволении продолжать в тюрьме заниматься историей физико-математических наук для «Морского сборника», но тут же, между прочим, выразил надежду, что суд будет его судить «по общей совокупности» его «деятельности» (подсказывая этим суду, чтоб он принял в расчет его долголетнюю военную службу), и ловко выказал свою лойяльность, говоря: «какова бы ни была моя участь, я подчинюсь всем случайностям безропотно, как исходящим от той верховной власти, которая концентрирует в себе все законы моего отечества и волею которой совершается судьба каждого из нас». (См. «Голос минувшего» 1915, № 7—8, стр. 220.) Письмо это было препровождено не к вел. князю, а в следственную комиссию и тайной цели Лаврова — обратить внимание комиссии на его покорность — достигло.

На самом деле Лавров и в тюрьме не сделался «покорным». Как рассказывает Е. А. Штакеншнейдер, «прошло несколько дней, и получилось от него известие посредством белья: он сунул маленькую записку в снятый носок. Это удалось, и с тех пор образовалась совершенно правильная переписка между ним и его матерью и мною. Она изловчилась с бельем же переслать ему карандаш и бумагу, и он клал свои записки в носки и таким же путем получал от матери и меня ответы... Через некоторое время матери разрешили с ним видеться, тогда мы наши записки передавали через нее». (См. «Гол. минувш.» 1915, № 7—8, стр. 108—109.)

Во время этой переписки с Штакеншнейдер из тюрьмы Лавров послал ей написанное им 25 мая 1866 г. (т. е. через месяц с лишком после ареста) и посвященное ей стихотворение «Путник», очень длинное, но все же достаточно ясно показывающее, что он не раскаивался в своих убеждениях и поступках, а был полон жажды новой борьбы.

Путник усталый, куда ты?
Не заблудился ли ты?
— „Не нужно заботы. Я путь свой найду,
В тиши и средь бури с него не сойду" —

таков основной мотив этого стихотворения, ярко рисующего настроение Лаврова после ареста, чуждое покорности и примирения.

Не изменился Лавров и в ссылке. И здесь он не замкнулся в одной кабинетной работе и делал попытки связаться с местным обществом, так как «обладал редкой способностью становиться в уровень с людьми самого ограниченного образования». (См. совер-

шенно еще неиспользованные в литературе о Лаврове «Записки Н. А. Иваницкого», студента, сосланного за участие в студенческих волнениях через год после Лаврова в Вологду, а затем в Тотьму, в журнале «Север», Вологда 1923, № 2, стр. 44.)

В Тотьме Лавров сблизился с ссыльными. Там жили сосланные по делу Каракозова — студент Петровской академии Н. А. Гернет и студент Технологического института А. Л. Линев, затем польская революционерка А. П. Чаплицкая и литератор Д. К. Гирс, сосланный за произнесение 29 июля 1868 г. речи на похоронах Д. И. Писарева. (Венедиктов-Безюк в названной выше статье упоминает еще ссыльных Моригеровского и Ласкина; см. стр. 186.) В Вологде, куда Лавров был переведен из Тотьмы под предлогом расстроенного здоровья в августе 1868 г., жили ссыльные В. В. Берви-Флеровский, М. П. Сажин (один из инициаторов петербургских студенческих беспорядков осенью 1867 г.), Н. В. Шелгунов (с женой), хорошо знавший Лаврова, и местные почитатели Писарева и Чернышевского: помощник правителя канцелярии губернатора Н. В. Кедровский со стриженой женой, окончившей акушерские курсы в Петербурге, и П. В. Тишин, правитель канцелярии губернатора. (См. там же у Иваницкого, стр. 28—29 и 33.) Когда в октябре 1868 г. в наказание за проводы, устроенные ему жителями Тотьмы при переезде в Вологду, Лаврова перевели в Кадников, где он был единственным ссыльным, он продолжал сношения со всеми указанными лицами посредством писем и часто тайно даже приезжал в Вологду для свиданий с Чаплицкой, которую он полюбил и с которой зажил гражданским браком еще в Тотьме.

Как указывает М. П. Сажин, «Кедровский был самым преданным другом ссыльных. Он оказывал им целый ряд услуг, сообщал о всех бумагах и распоряжениях, какие получались в канцелярии губернатора относительно ссыльных». (См. М. П. Сажин. «Воспоминания». М. 1925, стр. 28.)

Если «в Тотьме Лавров был центром тамошней ссылки, (на его квартире очень часто собиралась вся ссылка, приходили, кроме того, учителя и некоторые из местных жителей» (см. там же, стр. 29), то естественно, что он продолжал делать то же самое и в Вологде, а в Кадникове, за отсутствием ссыльных, сблизился с теми его жителями, которые были воспитанниками Вологодской учительской семинарии, почитателями Людвига Фейербаха (см. там же, стр. 27), жадно читавшими переведенные для них (повидимому, А. П. Чаплицкой, хорошо знавшей французский язык) отрывки из речей Бакунина на конгрессах Лиги мира и свободы и Интернационала. (См. «Народники-пропагандисты», 1925, стр. 29. Речи Бакунина были напечатаны в женевской газете «Равенство».) Замечу кстати, что о Бакунине Лавров знал давно, как читатель «Колокола», а с января 1870 г. о Бакунине много писалось в русских газетах и в «Русском вестнике», как о «подстрекателе» убийства Нечаевым студента Московской земледельческой академии И. И. Иванова. Выдержки из ба-

кунинских прокламаций были напечатаны тогда же в «Московских ведомостях».

Таким образом, и в ссылке Лавров не был оторван от привычной для него общественной атмосферы и от революционной молодежи. Надо добавить, что дочь Лаврова была замужем за студентом М. Ф. Негрескулом, другом Г. А. Лопатина и видным участником петербургских кружков и студенческих волнений 1867—68 гг., арестованным 4 декабря 1869 г. по делу Нечаева, хотя он и был решительным противником нечаевщины, а так как дочь Лаврова и сама была с 16 лет «нигилисткой» и приезжала к отцу в Кадников, то естественно, что она осведомляла его о всем, что интересовало революционную молодежь. Кроме того, Лаврову писали и незнакомцы из молодежи, как, например, А. В. Круглов, известный впоследствии беллетрист для детей, писавший Лаврову в Кадников, не будучи с ним знакомым, но слышав, что он хорошо относится к молодежи. (См. А. В. Круглов. «Литературные воспоминания». «Историч. вестник» 1894, № 3, стр. 650.)

Если условия ссылки, из-за недостатка нужных книг, были неблагоприятны для чисто научных работ Лаврова, а особенно для «Истории мысли», над которой он работал в течение трехлетней ссылки и затем за границей», но рукопись которой потерял в Брюсселе в 1871 или в 1872 г. (см. Сажин, там же, стр. 33), то для публицистических работ, как «Исторические письма», они были более, чем благоприятны, тем более, что публицистикой, как мы видели, Лавров занимался с 1857 г. (не считая публицистических стихов с 1852 г.) Дело в том, что передовые жители Вологды «были помешаны на сочинениях Писарева» (см. указ. статью Н. А. Иваницкого в журнале «Север», стр. 21), а это могло побудить Лаврова возобновить свою критику «писаревщины» (это и сделано им в первой главе «Исторических писем»), живые же беседы с поклонниками Фейербаха и Чернышевского давали материал и для остальных глав этой книги.

Но, конечно, кроме этих внешних условий, написание «Исторических писем» обусловлено было и тем, что уже до своей ссылки Лавров стоял вполне на уровне самых передовых революционных идей 60-х годов, развивавшихся в легальной печати Чернышевским, а за границей Бакуниным, и в самом себе олицетворял полное согласие теории с практикой.

Ведь по существу «Исторические письма» — это развернутая и детально обоснованная программа «Земли и воли» начала 60-х годов, с которой солидаризировался и Бакунин в своей речи на банкете в Стокгольме и в брошюре «Народное дело — Пугачев или Пестель». Учел Лавров в «Исторических письмах» и речи Бакунина на конгрессах Лиги мира и свободы и Интернационала, с которыми познакомился по французским отчетам о них в Кадникове. Мы находим в главе «Исторических писем» — «Национальности в истории» — доказательство того, что «стремление поедать

чужие национальности, уничтожая их особенности, есть факт антипрогрессивный», а дальше — в главе «Естественные границы государства» — указание, что «раздробление национальностей на независимые государства гораздо более способствует прогрессу обществ, входящих в состав данной национальности, чем соединение всей нации, говорящей каким-либо языком, под законы одного государства». По существу это означает то же, что и признание права на самоопределение всех народов, угнетенных Российской империей, вплоть до отделения, которое развивалось Бакуниным в его речах на конгрессах и вошло также в программу первого номера «Народного дела». В «Исторических письмах» мы находим и бакунинский совет молодежи — итти в народ, молодежи, которой Бакунин насчитывал до 50 тысяч и которая, по его мнению, посредством организации сделается посредником между «неодолимой, но еще неосознанной силой народа и революционной идеей» (см. «Речи на конгрессах Лиги мира и свободы» в «Избранных сочинениях» Бакунина. Т. III, П. — М. 1920, стр. 100—117).

Только благодаря тому, что «Исторические письма» суммировали проповедь Чернышевского в России и Бакунина — за границей, они были восприняты молодежью как «революционное евангелие и философия революции» (выражение землевольца 70-х годов — Аптекмана) и сразу выдвинули их автора, как одного из самых выдающихся вождей революционного движения, так что Герцен знал о бегстве Лаврова и ожидал его в Париже (см. автобиографию Лаврова), а такой видный представитель революционной молодежи, как Герман Лопатин, взял на себя увоз Лаврова из ссылки за границу (Лавров был крайне близорук и без посторонней помощи бежать из ссылки не мог бы).

По существу правильную и очень яркую оценку «Исторических писем» дали враги революционного движения. Вот как резюмировал их содержание тогдашний царский цензор:

«Нет духовной природы в человеке; нет за пределами материи никакого высшего духовного существа; религия есть плод невежества масс и орудие дисциплины в руках властей; религиозная нравственность есть хитрая выдумка жрецов; частная собственность есть не более, как плод хищничества; законы суть предписания владеющих классов, направленные к тому, чтобы держать в повиновении массы и удобнее их эксплоатировать; семья есть результат полового влечения, соединенного с насильственным преобладанием главы семейства над прочими домочадцами. Автор проповедует, между прочим, что целью всякой прогрессивной личности должно быть стремление к разделению государства на независимые территории, ибо при таком разделении предоставляется более простора для свободной критики и для усиления прогрессивной партии». (См. С. А. Переселенков. «Официальные комментарии к «Историческим письмам» П. Л. Лаврова». «Былое» 1925, № 2 (30), стр. 37—40.)

Н. С. Русанов свидетельствует, что «Исторические письма» были настольной книгой молодежи «в течение всех семидесятых годов; да и после многие мысли «Писем» вошли в обиход всякого образованного и порядочного человека в России... Многие из нас, юноши в то время, а другие просто мальчики, не расставались с небольшой, истрепанной, исчитанной, истертой в конец книжкой. Она лежала у нас под изголовьем. И на нее падали при чтении ночью наши горячие слезы идейного энтузиазма, охватывавшего нас безмерною жаждою жить для благородных идей и умереть за них»... (Речь идет об отдельном издании «Исторических писем», вышедшем в 1870 г. См. Н. С. Русанов. «Социалисты Запада и России». Изд. 2-е. Спб. 1909, стр. 227. Недаром это издание в 1871 г. было сожжено. См. Н. А. Чарушин. «О далеком прошлом». М. 1926, стр. 90.)

Еще когда «Исторические письма» печатались в «Неделе» (в 1868—69 гг.), их читал ученикам, например, в Вятской гимназии, в 5-м классе, преподаватель истории Я. Г. Рождественский, с объяснениями, «посвятив на это дело много уроков». «Чтение это производило на нас (учеников) глубокое впечатление». (См. Н. А. Чарушин. Там же, стр. 38—39.) В начале лета 1873 г., как видно из «Процесса 193-х», по обыску у Стаховского отобрана записная книжка с выписками из сочинений Миртова (Лаврова), Лассаля и Флеровского. (См. «Процесс 193-х», изд. В. М. Саблина, без указ. места и года, стр. 10; здесь разумеются «Исторические письма» и журнальные статьи Лаврова.)

Для нашей эпохи в «Исторических письмах» особенно интересно то, что здесь Лавров повторил и развил мысль своей статьи 1865 г. «О публицистах-популяризаторах» об обязанности публициста-критика связаться «жизненными нитями со своими читателями» и потребовал даже от художников и от «ученой ассоциации», чтобы они «придали своим трудам направление, соответствующее потребностям общества», и «отдали свои способности, свое время, свою жизнь вопросам жизни».

«Исторические письма», как и все, что писал Лавров по публицистике до них, начиная с «Писем о разных современных вопросах» (1857 г.), являются, по сравнению с публицистической проповедью Писарева, шагом не назад, как думают указанные выше историки, а вперед, так как в «критически мыслящей личности» Лаврова воскрешалась забытая идея Чернышевского, что «важнее всех добытых результатов — стремление к приобретению новых, лучших: важнее всего пытливость мысли, деятельность сил» (слова Чернышевского).

Отзыв Лаврова об «Исторических письмах» как о «фельетоне, могущем подорвать его репутацию как ученого», данный им М. П. Сажину, по словам последнего, мог быть высказан Лавровым только в виде шутки. Мое утверждение в книжке о Лаврове, будто во вре-

мя писания «Исторических писем» он «не владел пониманием российской действительности», не соответствует указанным выше фактам.

Тесно связана с «Историческими письмами» по идее и написанная вскоре после них статья Лаврова «Формула прогресса г. Михайловского», напечатанная в феврале 1870 г. В начале этой статьи интересна оценка некоторых философских знаменитостей 60-х годов, заграничных и русских, выдвинувшихся вне официальной университетской науки. Здесь же, наряду с формулировкой субъективного метода в социологии, находим интереснейшие соображения о значении специализации в истории обществ, о роли специалистов как прислужников эксплоатирующих классов, о том, что образование специальностей, вопреки мнению Михайловского, было явлением прогрессивным, а не реакционным, и, наконец, о том, что, «социология, которая не приняла бы в соображение, при построении общественной теории, закона *необходимого*, была бы не наукою, а болтовнею»..., что «всякая безусловная, окончательная истина, не допускающая критики, есть абсурд»... и «всякое неподвижное субъективное содержание справедливости было бы абсурдом»...

У нас многие вслед за Витязевым отождествляют Лаврова с Михайловским как одинаково «субъективных» социологов. Между тем из возражений Лаврова Михайловскому видно, что Лавров, в отличие от Михайловского, вводил в свою формулу прогресса элементы «объективного», элементы развития путем критики.

Революционная молодежь восприняла в то время «формулу прогресса» не по Михайловскому, а по Лаврову. Из «Программы для кружков самообразования и практической деятельности» московского революционного кружка при Петровской академии во главе с А. С. Пругавиным, кружка, имевшего связь с Русской секцией Интернационала в Женеве, видно, что эта программа исходит из формулы прогресса Лаврова и на основе ее развивает принципы труда и ассоциации и организации партии борьбы, которая должна действовать на интеллигенцию, на рабочий слой и на сельский слой. Программа взята во время обыска у одной знакомой Пругавина, входившей в его кружок, 23 апреля 1871 г. (см. о программе в статье О. В. Аптекмана о Пругавине в «Русском прошлом» 1923, № 1 и более подробно в статье Я. Д. Б. в «Каторге и ссылке» 1930, № 6). Но нет сомнения, что программа эта составлена раньше. В ней чувствуется основательное проникновение идеями Лаврова эпохи его ссылки, так что можно думать, что все статьи Лаврова в журналах основательно прорабатывались революционной молодежью. Впрочем, мы имеем на это и прямое указание у чайковца Н. А. Чарушина (см. его книгу «О далеком прошлом», стр. 84), отмечающего, что члены кружка чайковцев конспектировали статью Лаврова «Современное учение о нравственности» (она печаталась в «Отеч. записках» в нескольких книжках с марта 1870 г., но написана Лавровым также еще в ссылке).

Таким образом, мы видим, что написанные Лавровым во время ссылки «Исторические письма» и «Формула прогресса г. Михайловского» восприняты были революционной молодежью как призыв к практическому действию в среде интеллигенции и в массах рабочих и крестьян немедленно по их напечатании. Наличие связи проникнутого лавровскими идеями московского кружка Пругавина с Русской секцией Интернационала в Женеве указывает на то, что между ними было и какое-то идейное родство. В дальнейшем мы убедимся, что всеми своими связями с революционной молодежью и своей репутацией в ее среде, а также опытом своей личной жизни Лавров *неизбежно* наталкивался на тот же вопрос о *подготовительной* культурно-революционной работе, который стал вопросом дня и для части русской революционной молодежи, и *неизбежно* должен был стать продолжателем той пропаганды, которую вела Русская секция Интернационала в Женеве во главе с Ник. Утиным. По свидетельству О. В. Аптекмана (см. его статью «Московские революционные кружки» в «Русском прошлом» 1923, № 1, стр. 44) и Л. Тихомирова, «Программа для кружков самообразования и практической деятельности» московского кружка была составлена Лавровым. Правда, Тихомиров говорит, что у чайковцев «существовала программа чтения, составленная П. Л. Лавровым, тогдашним великим пророком молодежи» (см. «Воспоминания» Льва Тихомирова. М. 1927, стр. 53), но можно думать, что «программой чтения» он называет «Программу для кружков самообразования и практической деятельности» только для краткости.

4. Бегство в Париж. Связь с Русской секцией Интернационала, вступление в члены Интернационала (1870 г.)

Нет никакого сомнения, что в глуши ссылки Лавров установил каким-то путем сношения с заграничной эмиграцией. Выше уже упоминалось о том, что французские отчеты о речах Бакунина на конгрессах Лиги мира и Интернационала имелись у Лаврова в Кадникове. Н. Н. Фирсов и сам Лавров указывают, что о желании Лаврова выбраться из ссылки за границу знал живший в Лондоне Герцен (см. «Историч. вестник» 1907, № 2, стр. 502). Русанов сообщает, что Лавров прямо «условился насчет своего бегства, между прочим, с Герценом, который обещал ему «устроить все: пускай лишь приедет» (см. указ. книгу Русанова, стр. 228). Объясняется это тем, что «Исторические письма» произвели впечатление не только на русскую молодежь, но отмечены были и Герценом (см. А. И. Герцен. «Полное собрание сочинений и писем». Том 21. Гиз. 1923, стр. 109: «Статья Миртова очень хороша» — по поводу «Историч. писем» в «Неделе» — письмо к Огареву от 10 октября 1868 г.), и Бакуниным, и кружком Н. Утина в Женеве, издававшим «Народное дело» (об этом см. дальше).

Что Лавров готовился к бегству за границу, видно по усиленному интересу его с 1869 г. ко всему, что делается на Западе, а особенно во Франции. Еще в ссылке написаны им статьи «Европа и ее силы в 1869 году» (напечатана за подписью Л. П. в «Вестнике Европы» за 1870 г., № 1 и 2; здесь, в противовес толкам о «гнилом Западе», выявляются положительные стороны Европы; эта огромная статья в четыре с лишним печатных листа основана на материалах двух основательных книг Блока и Кольба о социальном и экономическом положении Европы и доказывает, что не прав Лопатин, указывающий, что Лавров «мало интересовался» экономикой) и «Восемнадцатое брюмера» (напечатана за той же подписью, там же, № 7, и заключает изложение и разбор книги будущего члена Коммуны Паскаля Груссе о перевороте Наполеона I; принадлежность первой из этих статей Лаврову открыта Л. Чижиковым, второй — мной).

Когда Русанов утверждает, что Лавров бежал за границу, «желая участвовать в живой политической борьбе» (см. указ. соч. Русанова, стр. 228), он вполне прав. Это подтверждается и указанием Н. А. Морозова, что еще когда Лавров жил в ссылке, он дал согласие чайковцам «уехать за границу, если ему дадут средства для органа в роде герценовского «Колокола»... (См. Н. А. Морозов. «Повести моей жизни», т. I, изд. 2-е. М. 1918, стр. 156.) В письме ко мне на мой запрос по этому поводу Н. А. Морозов добавляет, что Лопатин вывез Лаврова из ссылки «по поручению чайковцев для издания за границей революционного журнала».

Но бежать собственными силами за границу для Лаврова было невозможно, так как он был так близорук, что не отличал костюма жандарма от всякого иного (см. об этом интересный рассказ его дочери в «Голосе минувшего» 1915, № 9). Поэтому Лавров делал сначала попытки выбраться за границу легально. 19 апреля 1868 г. его мать, жившая с ним в ссылке, пишет об этом прошение шефу жандармов графу Шувалову, затем 2 декабря 1868 г. и 10 марта 1869 г. жандармскому генералу Мезенцову. По поручению Лаврова 22 января 1869 г. идет за него хлопотать к графу Шувалову Е. А. Штакеншнейдер и она же 13 февраля 1869 г. к Мезенцову. 10 марта 1869 г., наконец, Лавров пишет письмо к князю А. А. Суворову (он имел репутацию либерала), прося его «лично походатайствовать» у царя, чтобы ему разрешили уехать за границу на несколько лет (см. это письмо в «Голосе минувшего» 1915, № 12, стр. 126—131).

Все эти попытки легально уехать из ссылки за границу оказались безрезультатными, и Лавров решает бежать немедленно. К несчастью, усиление надзора за ссыльными в виду побега Сажина в июне 1869 г. не дает Лаврову возможности осуществить свое намерение. Тогда Г. А. Лопатин, узнав в начале 1870 г. в Петербурге от дочери Лаврова, что последний уже *целый год* собирается бежать за границу (а по указанию Н. А.

Морозова — Лопатин действовал по поручению чайковцев), приезжает в Кадников, чтобы помочь Лаврову бежать. 15 (27) февраля 1870 г. Лавров оставляет Кадников и после многих приключений, через две недели, 1 (13) марта приезжает в Париж.

Трудно сказать с определенностью, каковы были планы Лаврова относительно заграницы. Поскольку он был связан с Герценом, поджидавшим его в Париже, возможно, что если бы Герцен не умер за несколько недель до приезда Лаврова в Париж, Лавров затеял бы вместе с Герценом какое-нибудь литературное революционное предприятие немедленно. Если верно указание Н. А. Морозова, что Лавров дал согласие чайковцам «уехать за границу, если ему дадут средства для органа в роде герценовского «Колокола», то очевидно, что Лавров не приступил к изданию революционного органа немедленно из-за неполучения для этого тогда же средств от чайковцев. Но возможно, что тут сыграли роль и другие соображения общественного характера. Г. А. Лопатин утверждает, что Лавров в ссылке и «поначалу и в Париже... надеялся на скорое возвращение в Петербург» (см. Лопатин. «Автобиография. Показания и письма. Статьи и стихотворения». Пгр. 1922, стр. 168 и 170). Если это верно, то надежда Лаврова была связана с его уверенностью в близком торжестве русской революции, которое сделает для него возможным скорое возвращение на родину. (Об уверенности Лаврова в близости революции во время его бегства из ссылки свидетельствует Л. Ф. Пантелеев, видящий основной источник этой уверенности в окружавшей Лаврова военной среде, «особенно в более молодом поколении, и прежде всего в специальных частях — артиллерийской и инженерной». Пантелеев при этом добавляет: «Уж если я, еще не покончивший отношений с университетом, — значит, велики ли могли быть мои связи с военным миром? — в конце 1862 г. успел привлечь к «Земле и воле» с десяток офицеров... то ведь перед Лавровым проходили не десятки, а целые сотни революционно настроенного офицерства... Отсюда он мог делать вывод: если в главной силе, на которой до сих пор держалась власть, такое разложение, то на кого же она может опереться в случае революционного взрыва?» (см. сборник «П. Л. Лавров». П. 1922, стр. 429). Вот отчего в «Программе для кружков самообразования и практической деятельности» Лавров мог говорить об «организации партии борьбы», мог предусматривать и «устройство бунтов и стачек на легальной почве». Если в передовице № 37 газеты «Вперед» 1876 г. Лавров сознается, что «прежде считал эпоху народного восстания в России более отдаленною, чем находит ее теперь», то это «прежде» относится к 1873 г., когда Лавров писал программу «Вперед», а не ко времени бегства его из ссылки. Естественно, что когда восстание крестьян не произошло в 1870 г., когда окончились их временнообязанные отношения к помещикам, — а к этому моменту приурочивали восстание нечаевцы, — Лавров изверился в возможности близ-

4*

кого крестьянского восстания, но, впрочем, не надолго, лишь до 1876 г.).

Впоследствии, в 1895 г., в своей речи «Четверть века» Лавров говорил: «в марте 1870 г. [я] переехал через русскую границу, чтобы уже не возвращаться на родину, и вся моя жизнь как бы переломилась» (см. «Материалы для истории русского социально-революц. движения», X с приложением «С родины и на родину», № 5, Женева, август 1895, стр. 397). Эту фразу нельзя понимать, будто Лавров в 1870 г. уже не надеялся на скорое возвращение на родину. В ней выражена только ретроспективная оценка того положения, в котором оказался Лавров в 1895 году. В 1870 г. он мог смотреть на возможность возвращения на родину иначе. Нет никакого сомнения, что в решении Лаврова бежать за границу сыграли главную роль его революционные планы и надежды, в которых могла его поддержать и польская революционерка А. П. Чаплицкая, бежавшая в Париж еще раньше Лаврова. Что Лавров руководился здесь не одной потребностью создать для себя лучшие условия для научной работы (о чем пишет русским властям и сыну и что П. Витязев принимает за чистую монету), об этом свидетельствует и все его поведение — не слова, а дела его.

В Париже Лавров сразу вошел в ученые круги, сблизившись, благодаря своим работам в ссылке по истории культуры и антропологии, с известным «отцом современной антропологии» Брока и став 21 апреля 1870 г. действительным членом основанного Брока Парижского антропологического общества. Принятие в круг первоклассных европейских ученых всякого иного заставило бы целиком уйти в науку. Так, например, случилось с философом-позитивистом Г. Н. Вырубовым, который тоже жил в это время в Париже и хорошо знал Лаврова, так как был в Петербурге слушателем его лекций. Но Лавров был слишком некабинетный человек по натуре и не для того приехал в Париж, чтобы довольствоваться одной наукой и «целиком» уйти «в научные работы», как неправильно указывает П. Витязев, а вслед за ним и Б. П. Козьмин.

Чтение парижских газет и прежде всего буржуазно-радикальной газеты Делеклюза «Пробуждение» убеждало Лаврова в том, что революционное настроение масс против Второй империи все нарастает, несмотря на репрессии, и что нарождается новая сила — рабочий класс, который должен смести буржуазный строй. 7 марта 1870 г. в Париже под председательством рабочего Варлена 18 секций Интернационала организовали Парижский федеральный совет Интернационала. Недавние расстрелы рабочих войсками по случаю стачки на крупнейшем металлургическом заводе Шнейдера в Крезо вызвали массовое присоединение рабочих к Интернационалу и в других городах Франции. На собрании 7 марта Варлен был делегирован на съезд членов Интернационала

в Лионе, назначенный на 13 марта. Областные федеральные советы Интернационала образовались не только в Лионе, но и в Марселе и Руане. 19 апреля в Париже, под председательством Варлена, общим собранием уже 25 парижских секций окончательно был принят устав Парижского федерального совета, причем один из ораторов этого собрания, делегат Марселя — Бастелика, выразил пожелание, чтобы Парижский федеральный совет «стал объединяющим революционным центром, фокусом социальной революции».

Начались массовые аресты членов Интернационала во всей Франции. Варлену, находившемуся в агитационной поездке вне Парижа, 21 апреля пришлось бежать в Брюссель. В июне 1870 г., когда 39 более видных парижских членов Интернационала были преданы суду, Варлен и еще несколько его товарищей были присуждены к 1 году тюрьмы и 100 франкам штрафа (Варлен заочно). Тем не менее агитация членов Интернационала не прекратилась. Когда правительственные газеты стали настаивать на войне с Пруссией для поддержания престижа династии Наполеона, а полиция стала организовывать патриотические манифестации, члены Парижской и других французских федераций Интернационала протестовали против объявленной 19 июня войны в особом воззвании к немецким рабочим, которое подписали сотни рабочих, с указанием секций Интернационала, к которым они принадлежали, и часто с указанием и личных адресов подписавшихся. (Воззвание со всеми подписями было напечатано в двух парижских газетах, «Пробуждение» и «Колокол», от 12 июля 1870 г. и должно было показать всем, что рабочие не боятся правительства и открыто идут против него, несмотря на репрессии.)

Все эти события во Франции не могли не обратить на себя внимания Лаврова и подновили в нем и ранее имевшийся у него интерес к революционному прошлому России, что видно из письма его к Е. А. Штакеншнейдер от 10 (22) июля 1870 г. (Последняя жила в это время в Гейдельберге и собиралась приехать в Париж и привезти Лаврову пакеты его книг и рукописей, спрятанных у нее на мызе до ареста Лаврова.) В этом письме Лавров спрашивает: «Не можете ли вы узнать в Гейдельберге, где можно достать книгу, вышедшую в начале 60-х или в конце 50-х годов: «Русская потаенная литература»? Я видел ее в это время у одного знакомого И. К. [Гебгардта — родственника Е. А. Штакеншнейдер], но не знаю, где она была напечатана». Повидимому, Штакеншнейдер достала для Лаврова просимую им книгу, и интерес его к зарубежной русской литературе еще больше вырос, так как в письме к ней же от 15 июля он пишет, что имеет в виду «приобрести, по мере своих денежных средств, все, что можно, из нашей заграничной литературы, т. е. все сколько-нибудь характеристичное и стоящее внимания».

Интерес к революционному движению России, и притом в связи с наблюдавшимся им усилением деятельности Интернационала в Европе и особенно во Франции, был возбужден в Лаврове и тем, что жена Ник. Утина, приехавшая в это время в Париж, посетила в конце мая 1870 г. мать Лаврова (последняя поехала за сыном из Кадникова в Париж в мае 1870 г. и в начале июня того же года умерла) и, повидимому, хотела сблизить его с незадолго до этого официально открытой Русской секцией Интернационала в Женеве, издававшей журнал «Народное дело».

В письме к Штакеншнейдер от 10 (22) июня 1870 г. Лавров пишет: «О пребывании Утиной в Париже я давно знал, но, не зная, насколько приятно будет ей мое посещение, не пошел к ней. Вы, может быть, помните, что в былое время в Петербурге 61 и 62 годов этот кружок (разумеется, «Земля и воля») довольно холодно встретил все мои искренние попытки с ними сблизиться». (Напомню, что в 1861—62 гг. Ник. Утин часто виделся с Лавровым, так как был его сотрудником по «Энциклопедическому словарю», и в процессе Лаврова фигурировало несколько записок Утина к Лаврову по поводу его статей для словаря.) Но Лавров на этот раз ошибся: его посещение, несомненно, было бы приятно Утиной, так как для кружка ее Лавров уже не был прежний «метафизик» (его прозвище в этом кружке в 1862—63 гг.), а автор статьи «О публицистах-популяризаторах» и «Исторических писем». Хотя Лавров к ней не пошел, все же редакция послала ему комплект издания «Народного дела». В письме Лаврова к Штакеншнейдер от 15 июля 1870 г. читаем: «Если г-жа Утина еще в Гейдельберге, то попросите ее передать мою благодарность редакции «Народного дела», которая мне прислала на-днях полный экземпляр журнала».

Чтобы понятно было все значение факта ознакомления Лаврова с деятельностью Русской секции Интернационала и с ее органом «Народное дело», выходившего под редакцией Н. Утина в течение 2 лет (с октября 1868 г. по сентябрь 1870 г.), необходимо на них несколько остановиться. Деятельность Русской секции в совершенно извращенном виде, как сплошь анархическая, характеризуется в распространенных книгах по истории русского революционного движения Туна и Кульчицкого и вовсе игнорируется во всех книгах по истории российской социал-демократии и в новейшем «курсе лекций» М. Н. Покровского «Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв.» (М. 1924). В 1925 году, правда, появилась достаточно подробно и правильно характеризующая Русскую секцию и ее орган «Народное дело» монография В. А. Горохова (под заглавием «I Интернационал и русский социализм. «Народное дело» — Русская секция Интернационала»), но авторами цельных курсов истории русского революционного движения эта монография не использована, и потому сведения о Русской секции не вошли

в исторический минимум знаний даже историков. (Этим объясняется, повидимому, и тот печальный факт, что В. Кирпотин в специальной статье об идейных предшественниках марксизма-ленинизма в России в «Проблемах марксизма» за 1930 г., № 3 (5), даже не упоминает о Русской секции и о «Народном деле».)

Между тем, как можно видеть из заявления самого Бакунина в его брошюре «Наука и насущное революционное дело» (вып. I, Женева 1870, стр. 1), только первый номер «Народного дела», вышедший в сентябре 1868 г., «почти исключительно принадлежит ему». Исключение составляет статья первого номера «Наша программа», о которой тот же Бакунин «публично, с трибуны Бернского конгресса заявил, что программа «Народного дела» принадлежит не ему, хотя он и вполне сочувствует ей» (см. «Народное дело», № 2—3, октябрь 1868 г., стр. 56). Эта статья, повидимому, написана другом Бакунина Н. И. Жуковским, вышедшим вслед за ним из редакции «Народного дела» после первого номера. Все остальные номера «Народного дела» написаны вне влияния Бакунина и в значительной части против него (об этом речь дальше).

Как можно видеть из указаний самого Бакунина, состав редакции «Народного дела» при редактировании им первого номера был такой: сам Бакунин, его близкий друг Н. И. Жуковский с женой (урожденной Зиновьевой), З. С. Оболенская, сестра жены Жуковского — О. С. Левашева, Мрочковский, Загорский и Утин с женой. Последние двое были введены в редакцию, повидимому, против воли Бакунина по требованию Левашевой, которая, по словам Бакунина, «возгорелась безумной страстью к Утину» и имела влияние в редакции потому, что муж ее дал на «Народное дело» 1 000 рублей.

Со второго номера состав редакции переменился коренным образом. По указанию одного из членов редакции «Народного дела» со второго номера и члена женевского Романского совета Интернационала — М. К. Элпидина, кроме него, в реорганизованную редакцию «Народного дела» входили Н. И. Утин, С. Я. Жеманов (студент, бежавший в ноябре 1865 г. из тюрьмы в Казани, автор поэмы «Стенька Разин»), д-р А. Я. Щербаков (тоже студент Казанского университета, бежавший из тюрьмы, а степень доктора получивший в Берне только в 1872 г.) и Ольга Степановна Х. (разумеется О. С. Левашова, участница кружка Ишутина, предоставившая средства на издание «Народного дела» именно Н. Утину). (Элпидин не упоминает об Антоне Даниловиче Трусове, который подписал извещение об основании отдельной «типографии Народного дела» в № 4—6 от мая 1869 г. в качестве «секретаря редакционного совета», но это объясняется, повидимому, тем, что Элпидин вышел из редакции «Народного дела» после двойного 2—3-го номера, помеченного октябрем 1868 г. См. «Библиограф. каталог». Каруж (Женева), 1906, стр. 19—21.)

В виду большой редкости издания, из которого заимствованы эти сведения, последние остались совершенно неизвестными автору монографии о Русской секции и «Народном деле», но надо сказать, что от «Народного дела» все эти лица отошли уже в 1870 г., кроме Н. И. Утина, отошедшего от политической работы в 1875 году. В конце 1870 г. вышел № 6—7 «Народного дела», помеченный сентябрем, и издание прекратилось. Как видно из письма А. В. Корвин-Круковской к ее сестре и к А. М. Евреиновой от конца июля 1870 г., Корвин-Круковская тоже работала для «Народного дела», переводя брошюры Маркса по Интернационалу для приложений к этому журналу (см. мою книжку «А. В. Корвин-Круковская». М. 1931, стр. 44—46). Из «Былого», заграничного издания, № 3, февраль 1903, стр. 209, видно, что в 1871 г. вышла брошюра «Первый манифест Международного товарищества рабочих (1864 г.). Издание первой русской секции Международного товарищества рабочих (Женева 1871)», а из «Каталога русской библиотеки в Женеве» 1876 г. видно, что в 1871 г. вышла брошюра: «К. Маркс. Гражданская война во Франции. Перевод с немецкого (Женева 1871)». Повидимому, эти брошюры имеет в виду А. В. Корвин-Круковская, говоря о переведенных ею брошюрах Маркса. При журнале «Народное дело» издавалась «Библиотека Международного товарищества рабочих», первым выпуском которой был перевод «Манифеста к земледельческому населению», изданного в Женеве в ноябре 1869 г. от имени ЦК немецкой ветви Интернационала и принадлежавшего перу И. Ф. Беккера, друга Маркса и хорошего знакомого Корвин-Круковской. Вполне возможно, что и эта брошюра Беккера переведена Корвин-Круковской.

Наконец, надо указать, что активными работниками Русской секции были еще три лица: Екатерина Григорьевна Бартенева, ее муж Виктор Иванович Бартенев и Елизавета Лукинична Томановская, урожденная Кушелева, известная под псевдонимом «Елизавета Дмитриева» (см. мою статью о Бартеневых в «Каторге и ссылке» 1929, № II, и о Дмитриевой — в «Летописях марксизма» 1928, № 7—8). Так как мною установлено, что с А. В. Корвин-Круковской, Е. Г. Бартеневой и Е. Л. Дмитриевой Лавров познакомился не позже 1871 г., то можно предполагать, что некоторые сведения о Русской секции Интернационала в Женеве Лавров получил и от них.

Но еще до получения информации от участников Русской секции Интернационала Лаврова при чтении «Народного дела» должно было прежде всего поразить то, что в нем он нашел и некоторые свои собственные мысли.

Уже передовица первого номера «Народного дела» от 1 сентября 1868 г. под заглавием «Необходимое объяснение», написанная Бакуниным, говорит с большим неодобрением и иронией о «новой школе одинокого меланхолического саморазвития в науке и

жизни, независимо от народа и вне всякого политического и социально-революционного дела», которая «впервые выставила свое знамя в «Русском слове» и уж немало развратила юных голов» (стр. 4). Здесь, очевидно, разумелся Писарев, на которого, как мы видели выше, тоже не называя его имени, напал и Лавров в своей статье 1865 г. «О публицистах-популяризаторах». В № 4—6 «Народного дела» от мая 1869 г. в статье «Мещанство и социализм», написанной, повидимому, Н. Утиным, нападение на Писарева делается уже открыто и притом с ссылкой на указанную статью Лаврова. Здесь говорится:

«Когда несколько лет тому назад у нас набросились на естествознание, когда Писарев стал уверять, что и Добролюбов, если бы был жив, оставил бы свои критические этюды современной русской жизни и весь отдался бы изучению естественных наук; когда вслед затем сам Писарев показал, как бесцеремонно намерены он и его последователи обращаться с естествознанием, вообразив, что достаточно прочесть книгу Дарвина, чтобы взяться за комментирование ее, едва ли не более обширное самого труда Дарвина; когда та группа молодого поколения, которая сама захотела узнать себя в тургеневской карикатуре, в Базарове, и сама вздумала величать себя нигилистами, решила, что верх премудрости заключается действительно «в резании лягушек» и в рассматривании их под микроскоп, и потому отбросила от себя всякую заботу о рассматривании человеческой общественной жизни под иной микроскоп; тогда, помнится, в передовой литературе раздался вопрос некоторых из талантливых публицистов: Где же наши естествоиспытатели и где наши историки? Среди поверхностных увлечений то тем, то другим направлением у нас не оказывается ни тех ни других» (стр. 62).

В последних фразах Лавров не мог не узнать ссылки на приведенные выше выдержки из его статьи «О публицистах-популяризаторах». На следующей странице опять повторена мысль Лаврова, что «молодое поколение должно ставить занятие естественными науками в уровень с занятием социальными и историческими науками и руководиться в том и другом занятии одною и тою же целью»... (стр. 63).

Так как та же мысль повторена Лавровым и в первой главе «Исторических писем» — «Естествознание и история», напечатанной в «Неделе» в январе 1868 г., то можно утверждать с полной уверенностью, что Н. Утин под «некоторыми из талантливых публицистов» разумел именно Угрюмова-Миртова. Необходимо допустить, что Утин также знал, что под Угрюмовым и Миртовым скрыт Лавров, так как в противном случае трудно понять, почему* кружок Утина, «встретивший довольно холодно все искренние попытки с ним сблизиться» со стороны Лаврова

* Дело в том, что Лавров 1861 г. не то, что Лавров 1871 г. *Ред.*

в 1861—62 г. в Петербурге, теперь вдруг сам сделал попытку сближения с Лавровым.

Помимо того, что «Народное дело» подкупило симпатии к себе Лаврова тем, что цитировало его как «талантливого публициста», оно должно было ему понравиться и всем своим содержанием, которое в основном сводилось к сочетанию русского социализма школы Чернышевского с западно-европейским рабочим революционным движением, руководившимся Интернационалом. Мы знаем из предыдущего, что и Лавров высоко ценил Чернышевского, а работа Интернационала велась на глазах у Лаврова очень ярко в Париже.

По сравнению с другими органами русской революционной печати, которые издавались в то время («Колокол» — с 2 апреля по 9 мая 1870 г. — под редакцией «агентов русского дела», т. е. Нечаева, «Народная расправа» 1869—70 гг. и «Община» 1870 г. под редакцией все того же Нечаева), «Народное дело» было наиболее близко к тем политическим идеям, которые выработал себе до этого сам Лавров. Я покажу дальше (см. «Введение» к следующему тому), что, став редактором «Вперед», Лавров продолжал и по содержанию и по форме, но в расширенном виде, ту самую линию, которую вели «Народное дело» и Русская секция Интернационала. Здесь же необходимо подчеркнуть, что именно ознакомление с «Народным делом» побудило Лаврова ответить решительным отказом на пересланное через Росса (М. П. Сажина) письмо Бакунина от 15 июля 1870 г., в котором последний сообщал свою программу и предлагал Лаврову принять участие в редакции нового революционного журнала. (Письмо это см. в примечании 4025 немецкой литографированной биографии Бакунина Макса Неттлау и в его же статье о Бакунине в V томе «Архива» Грюнберга, Лейпциг 1915, стр. 403—405.)

Уже один тот факт, что вскоре после того, как Лавров очутился в Париже, живший в Швейцарии Бакунин отправил к нему через М. П. Сажина письмо с предложением соредакторства, ясно говорит о том, что и Бакунин знал о Лаврове как о передовом и революционном писателе. Хотя М. П. Сажин утверждает, что приглашение Лаврова Бакуниным вызывалось только тем, что «у Лаврова могли быть связи с русскими литераторами и вообще прогрессивными деятелями», но мало вероятно, чтобы Бакунин руководился лишь этими соображениями, приглашая Лаврова.

Нельзя допустить, чтобы Бакунин не знал, что Лавров и есть тот самый Миртов, который написал «Исторические письма», а раз он это знал, то не мог относиться к Лаврову так пренебрежительно, как об этом пишет Сажин.

Сажин прав, когда рассказывает, что, «познакомившись с письмом Бакунина, Лавров категорически отказался принять участие в предполагавшемся журнале», но он не прав, указывая,

что отказ Лаврова будто бы вызывался тем, что он «не сжег окончательно всех своих кораблей» и надеялся, что русское правительство вернет его на родину, убедившись в его «невиновности».

Возможно, что по своей скрытности Лавров и говорил Сажину что-либо подобное, но это вызывалось, вероятно, тем, что Сажин в то время, как и в ссылке и позднее, не внушал Лаврову ни симпатии ни доверия (см. отзыв Лаврова о Сажине в письме к Юнгу от 22 января 1874 г.). Единственной настоящей причиной отказа Лаврова от соредакторства с Бакуниным было то, что взгляды Лаврова совершенно расходились с взглядами Бакунина (это отмечает и Сажин). Как увидим из дальнейшего, Лавров вел себя в Париже в политическом отношении так, что отнюдь не мог ожидать, чтобы правительство царя убедилось в его «невиновности».

В одном из своих писем к Штакеншнейдер Лавров рассказывает ей, что в «великий день» провозглашения республики 4 сентября 1870 г. был на площади Согласия и на ступенях Законодательного корпуса и кричал с другими: «да здравствует республика!», затем предложил свои услуги республиканскому правительству по работе в больничном отряде. (См. об этом более подробно в моей книжке о Лаврове, 1930, стр. 38—39.) Трудно думать, что подобное поведение Лаврова могло помочь царскому правительству убедиться в «невиновности» Лаврова. И если бы Лавров действительно рассчитывал на скорое возвращение в *царскую* Россию то, конечно, не стал бы афишировать свою любовь к республике.

Письмо Лаврова той эпохи является и само по себе неопровержимым документом, доказывающим революционное настроение Лаврова. Но мы имеем, кроме того, и свидетельство Г. Н. Вырубова, что Лавров во время франко-прусской войны «познакокомился со многими членами Интернационала, записался в одно из его отделений, суетился и ораторствовал на разных митингах и собраниях». (См. «Вестник Европы» 1913, № 2, стр. 60—61.)

Нет никакого сомнения, что уже предложение Лавровым услуг республиканскому правительству в качестве работника больничного отряда вызвано было тем, что после обложения Парижа германской армией (с 18 сентября) почти все парижское население вошло в национальную гвардию (больничные отряды тоже входили в национальную гвардию). Но по мере того, как выяснялось, что республиканское правительство, которое должно было быть правительством национальной обороны, вместо этого стало саботировать оборону и получило от передовых рабочих название «правительства народной измены», Лавров левел вместе с парижскими рабочими. Зная прекрасно французский язык, он мог выступать на митингах и собраниях, как об этом свидетельствует Вырубов, и здесь же мог через посредство Бартеневой и Кор-

вин-Круковской-Жаклар, живших после 4 сентября 1870 года в Париже, познакомиться лично со многими членами Интернационала.

Впрочем, знакомство Лаврова с некоторыми членами Интернационала могло произойти и раньше провозглашения республики, еще в июне 1870 г., так как в это время Г. А. Лопатин по дороге в Лондон заезжал в Париж к Лаврову и вступил в члены Интернационала. При той дружбе, которая сразу установилась между Лопатиным и Лавровым, трудно допустить, чтобы факт вступления в Интернационал Лопатина остался Лаврову неизвестным и чтобы знакомые Лопатина не стали знакомыми и Лаврова.

Интерес к деятелям Интернационала мог появиться у Лаврова также и потому, что в это время он очень внимательно следил за деятельностью французских демократов вообще. Как видно из письма Лаврова к Штакеншнейдер от 16—28 августа 1870 г., он написал даже статью «Французские демократы и падение Второй империи». (К сожалению, в журналах и газетах Петербурга за 1870 г. я этой статьи не мог найти.)

Как мы видели, кроме того, тяга к Интернационалу могла образоваться у Лаврова в июле 1870 г. и под влиянием чтения «Народного дела». И вот Лавров осенью 1870 г. вступает в члены Интернационала, в секцию Терн, как он сам рассказывает об этом в своей автобиографии.

В газете Бланки «Отечество в опасности» имеется объявление об образовании секции Терн в № 60 от 9 ноября 1870 г. Таким образом, Лавров мог вступить в эту секцию не раньше этой даты. То обстоятельство, что в Интернационал ввел Лаврова рабочий Варлен, «душа Интернационала» во Франции, показывает, что у Лаврова установилась в Интернационале связь сразу с его вождями. Из дальнейшего мы увидим, что Лавров был хорошо знаком и с представителем немецкой секции Интернационала в Париже — ювелиром Франкелем, который состоял в переписке с Марксом.

О настроении Лаврова в это время мы можем судить по его стихотворению «Рождение Мессии», помеченному 25 декабря 1870 г. (оно было напечатано в конце 1876 г. в № 48 газеты «Вперед», но под заглавием «Рождество Христово», и было послано Штакеншнейдер еще в 1871 г.). Как и все стихотворения Лаврова, оно выражает и политические убеждения Лаврова.

Любви и правды от Мессии
Народы перестали ждать;
Бессильны полчища святые
Земное зло уврачевать...
Встань, человек, ты мертвый идол
Своей любовью оживил,
Ему свою ты силу придал,
Себя в Христе ты воплотил...

Иди! да восстают народы!
Да прозревают все слепцы!
Весть братства, равенства, свободы
Да грянет в мир во все концы!
Да встанет из своей могилы
Работник-Лазарь навсегда!
Да рухнет царство грубой силы!
Да прийдет грозный день суда!
Да воцарится правда всюду!
Да обновится мир трудом!..

«Работник (рабочий) — Лазарь», обновление мира «трудом» рабочих — вот новое содержание заветных мыслей Лаврова в это время, навеянных на него вступлением его в Интернационал.

Рабочим Парижа, вместе с которыми он переживает осаду города немцами, Лавров старается активно помочь. По указанию Н. Н. Фирсова, «П. Л. принимал одно время участие в качестве артиллерийского офицера при обороне города... Под его руководством, между прочим, учинялись тайные вылазки за прусскую цепь, имевшие целью достать в окрестностях что-нибудь съестное». (См. «Историч. вестник» 1907, № 2, стр. 501.) О своих экспедициях за продуктами во время коммуны в Париже Лавров упоминает и в одном из своих писем к Штакеншнейдер.

В политических выступлениях парижских рабочих Лавров также принимает активное участие. Так, из того же письма Лаврова к Штакеншнейдер от 25 февраля (9 марта) мы узнаем, что во время восстания 22 января 1871 г. Лавров был на площади Ратуши, «в десяти шагах от решетки», когда правительственные войска дали залп в народ из окон Ратуши и из прилежащих садов, и оказывал помощь жертвам расстрела.

5. Планы революционных журналов. Участие в Парижской коммуне, в брюссельском еженедельнике „Интернационал" и в практической работе парижских социалистов после поражения Коммуны (1871—март 1872)

В это время у Лаврова, на основании тяжелых впечатлений от всего им виденного в Париже за время осады и безуспешных восстаний, вырабатывается убеждение, совершенно противоположное вывезенной им из ссылки уверенности в *близком* торжестве революции. Он пишет Штакеншнейдер, что все громкие имена Франции... не стоят медного гроша. Все они принадлежат прошедшему, повторяют традиционные фразы, все они не имеют почвы под ногами... Есть надежда на возрождение — и только одна; но она связана с радикальною перестройкою общества, с ниспровержением всех традиционных и рутинерных (sic!) партий... Торопить в настоящем случае историю невозможно, надо только помогать словом и делом усилению организации.

Главная ошибка *наших* знаменитостей эмиграции в том, что они торопят, как будто дело шло о политическом перевороте. У меня есть свой план действия, очень скромного, но, как я думаю, очень полезного; я уже о нем говорил со многими и везде встречал сочувствие. Если бы мои денежные дела не были так дурны, я бы к нему приступил сейчас: не то, чтобы он требовал значительных пожертвований и расходов; даже расходы небольшие, но все-таки они есть, и нужны некоторые avances. А затем работа, для которой нужны помощники и сотрудники, сочувствующие делу. Я рассчитываю и на вас. Если... буду знать, что вы не прочь содействовать, то изложу вам подробно, в чем дело, а может быть, даже пришлю печатный Prospectus»...

В этом отрывке из письма Лаврова, относящегося к 25 февраля (9 марта) 1871 г. и писанного им во время временного его пребывания в Брюсселе, мы видим совершенно новое для русского легального публициста отношение к «громким именам» Франции. Сравните с этим, например, отношение к тем же именам хотя бы, несомненно, прогрессивного писателя Шелгунова, который считал, что «Гамбетта и Трошю не *какие-нибудь*... Это современные герои Франции»... (См. Сочинения Н. В. Шелгунова. Том II, Спб. 1871, стр. 260.) Но, кроме того, в этом отрывке мы имеем ясное указание на все направление будущей программы журнала «Вперед». «Торопить историю в настоящем случае невозможно, надо только помогать словом и делом усилению организации». Нет никакого сомнения, что это убеждение для «настоящего случая» Лаврову было внушено и «Народным делом» и теми советами, которые *в то время* давал Маркс членам Интернационала во Франции.

Во втором воззвании Генерального совета по поводу франко-прусской войны от 9 сентября 1870 г. Маркс писал, что французским рабочим «нужно не повторять прошлое, а строить будущее. Пусть спокойно и решительно пользуются всеми средствами, которые дает им республиканская свобода, — чтобы *основательнее укрепить организацию своего собственного класса*. Это даст им новые геркулесовы силы для борьбы за *возрождение* Франции и за наше общее дело — *освобождение пролетариата*. От их силы и мудрости зависит судьба республики» (курсив мой).

Хотя патриотически настроенному парижскому руководству Интернационалом (Варлену и др.) это воззвание Маркса казалось «слишком немецким», а потому его не перевели на французский язык и скрыли от рабочих (см. об этом в статье Н. Лукина «Новое о Коммуне» в «Борьбе классов» 1931, № 1, стр. 65, и более подробно в его же статье в сборнике «Парижская коммуна». М. 1932), но в виду близкого знакомства Лаврова с Варленом и Франкелем он мог, конечно, быть осведомленным об этом воззвании Маркса, тем более, что близкие к Лаврову Бартенева и Корвин-

Круковская-Жаклар, высоко ценившие Маркса как представителя в Генеральном совете от Русской секции, тоже должны были обратить внимание Лаврова на это воззвание.

Но та же мысль, что «торопить историю невозможно», Лаврову могла быть внушена и номером 7—10 «Народного дела» (1869 г.), где указано, что «революции гибли, конечно, не по причинам, измышленным реакционными витиями, а потому, что всегда *подготовительная* работа, работа для развития *предварительного ясного сознания в народе,* не была доведена до *известного предела* (курсив в тексте), потому что всегда или народ был обманут или прельщен тою или другою партией, враждебной ему по самой сущности своей... или же народ *не был* достаточно охвачен пропагандою *новых начал»* (неоговоренный курсив — мой).

Замечательно, что Лавров выражает «решительное несогласие с русскими («нашими») «знаменитостями эмиграции» и, конечно, прежде всего с Бакуниным, в том, что они «торопят историю», и у него вырабатывается «свой план действия, очень скромного», о котором он «уже... говорил со многими и везде встречал сочувствие»; Лавров даже готов прислать печатный проспект этого плана.

Надо предполагать, что о своем «плане действия» чисто *подготовительного* характера по отношению к России Лавров мог говорить только с Бартеневой, Корвин-Круковской-Жаклар и им подобными, так как при повальном увлечении тогдашних русских эмигрантов бакунизмом только заведомые сторонники Маркса в Интернационале могли сочувствовать плану Лаврова *.

Повидимому, к этому времени относится письмо к Лаврову М. Элпидина, о котором последний рассказывает в упомянутом выше «Библиографическом каталоге» (стр. 9—10). Элпидин не был знаком с Лавровым лично, но, конечно, слышал о нем и знал, что он — автор «Исторических писем». И вот после того, как «Народное дело» прекратилось, Элпидин написал Лаврову в Париж в 1871 г. (более точной даты Элпидин не указывает), предлагая ему «издавать политический орган против царского живодерия, так как... типографского и другого материала было достаточно. [В типографии Элпидина печаталось первоначально и «Народное дело».] На мое приглашение Лавров ответил, что он признает только две темы пропаганды: 1) увеличение заработной платы мастеровым и 2) эмансипация женщины. Переписка наша на этом прекратилась».

При всей лапидарности этого рассказа, в котором чувствуется насмешка над Лавровым, ясно все-таки одно, что с Элпидиным, ушедшим из редакции «Народного дела» после его второго

* Подготовка к пролетарской революции у Маркса имела совершенно иной смысл, чем подготовка к революции мелких производителей у Лаврова. *Ред.*

номера, Лавров не хотел связываться. Напротив, указывая, что он ставит на первом плане борьбу за рабочие интересы и за эмансипацию женщин, Лавров подчеркивал, что ему дорого то же, что было дорого и «Народному делу». В № 4 «Народного дела» за 1870 г. (стр. 2) «грева» (стачка) противопоставляется «бунту» и утверждается, что «передовой пролетариат... не хочет более бунтов, он не хочет даже революций, успех которых заранее не обеспечен целесообразною подготовительною работой; он понял, что все его геройские усилия и все его кровавые жертвы только тогда приведут к торжеству, когда он весь или, по крайней мере, большая его часть сплотится в *Организованный союз,* сущность которого должна заключаться в развитии между рабочими массами понимания, как вести до конца работу разрушения и созидания. В такой постановке вопроса, рядом с современными условиями борьбы (т. е. стачками. И. К.-В.), лежит вся сила великой задачи *Интернационала,* весь смысл его пропаганды и организации»... (курсив в тексте).

Мы знаем также, что целых два пункта программы «Народного дела» посвящены уравнению прав женщин с мужчинами. Кроме того, видя на примере окружавших его женщин, таких, как Чаплицкая, Бартенева, Жаклар и др., что женщины тоже могут жить интересами народа, Лавров, конечно, еще более должен был укрепиться в своем убеждении в необходимости борьбы за эмансипацию женщин.

Но, повидимому, тяжелые денежные обстоятельства Лаврова, а затем события Парижской коммуны не позволили Лаврову осуществить его намерение о журнале для России. В письме к Штакеншнейдер от 18 (30) марта, во время уже начавшейся Коммуны, он пишет ей: «Если мои работы в России не примут серьезного характера, то серьезно примусь за проект, о котором я вам намекал. Но для этого мне надо писать по-французски... и находиться в сношениях личных со средою, для которой труд назначается». Здесь уже идет речь о журнале для французов, и это, как увидим дальше, находится в связи с тем, что Лавров начал писать по-французски для брюссельского органа «Интернационал». Но в дальнейших письмах к Штакеншнейдер уже нет более упоминания и о таком журнале. Очевидно, события Коммуны слишком захватили Лаврова. Сажин, бывавший во время Коммуны у Лаврова, рассказывает, что Лавров «предлагал французским социалистам написать для рабочих целый ряд научно-популярных брошюр по естествознанию. В принципе его предложение было принято, но почему оно не осуществилось практически, мне (т. е. Сажину) неизвестно». (См. М. П. Сажин. «Воспоминания». М. 1925, стр. 35.) Но, конечно, легко понять, что в виду начавшихся уже с апреля 1871 г. кровавых столкновений Коммуны с войсками правительства Тьера французским социалистам было не до брошюр по естествознанию.

Лавров попытался сослужить им другую службу, гораздо более важную.

Но прежде, чем обратиться к дальнейшим фактам из жизни Лаврова эпохи Коммуны, скажу вкратце о той обстановке, в которой Лавров впервые писал Штакеншнейдер о проектируемом журнале. Как видно из письма от 25 февраля (9 марта) 1870 г., Лавров находился в это время в Брюсселе и по два раза в сутки бывал в редакции «Интернационала», органа Бельгийского федерального совета Интернационала, секретарем которого был русский — Евгений Гинс, тайный сторонник Бакунина, женатый на дочери бакуниста Брисмэ. «Я здесь уже свел кое-какие приятельства, — сообщает Лавров Штакеншнейдер, — конечно, в мире самом скромном, в мире тружеников, работников и немногих, приставших к ним извне». Очевидно, все знакомства Лаврова были знакомствами с брюссельскими рабочими, обслуживавщими редакцию и типографию «Интернационала», и с его сотрудниками — Е. Гинсом и Цезарем де-Папом (последний был питомцем иезуитской коллегии, ставшим искусным типографом и пропагандистом социализма). Гинс и де-Пап — это «немногие приставшие» к рабочим «извне». (Через 3 года Лавров перевел и снабдил предисловием и примечаниями доклад де-Папа на Брюссельском конгрессе — «Общественная служба в будущем обществе».)

В редакцию «Интернационала» Лавров приходил, «чтобы узнать, нет ли известий (на адрес этого дома Лавров получал письма), принести рукопись статейки, просмотреть корректуру и т. п.» Очевидно, Лавров, находясь в Брюсселе, написал кое-что для «Интернационала». Той же редакции он дал обещание написать кое-что и из Парижа, как это видно из дальнейшего содержания письма.

Но вот Лавров 1 (13) марта 1871 г. возвращается в Париж. Варлен сообщает ему, что с «новой системой выборов начальства национальной гвардии довольно значительная часть Парижа по обеим сторонам Сены» находится «уже в руках социалистов», что «недели через две-три... весь Париж будет в руках начальников батальонов из социалистов». (См. Лавров. «Парижская коммуна». Изд. «Прибой», 1925, стр. 63, и о том же в письме к Штакеншнейдер от 9 (21) марта 1871 г.)

Варлен надеялся, что парижский Интернационал низвергнет правительство «национальной измены» без всякого сопротивления с его стороны. Но он ошибся. Тьер, возглавлявший это правительство, оказался умнее, чем думали Варлен и его товарищи. Тьер позаботился о том, чтобы не дать созреть организации сил парижских интернационалистов и национальной гвардии, состоявшей в значительной части из них же. Тьер провоцировал преждевременное выступление парижских рабочих на заре 18 марта, чтобы их уничтожить. Когда оказалось, что он ошибся в своих расчетах на немедленное уничтожение социалистов,

Тьер решил уйти в Версаль, чтобы уничтожить социалистов спустя некоторое время, собрав для этого достаточно сил.

Но, повидимому, Лавров, как и Варлен, не понимал в то время коварных планов Тьера. То обстоятельство, что парижские рабочие «беспрепятственно завладели Парижем», кажется ему не простым следствием бегства правительства из Парижа, а результатом того, что «эти простые работники организовали силу, решили ею воспользоваться». (См. письмо Лаврова к Штакеншнейдер от 9 (21) марта 1871 г.)

Одновременно с письмом к Штакеншнейдер о Коммуне Лавров пишет в брюссельский «Интернационал» первую свою корреспонденцию о том же, повторяя иногда там и здесь одинаковые выражения. (Принадлежность этой корреспонденции, как и второй, от 28 марта 1871 г., Лаврову открыта мною. Подпись Лаврова под нею — *Л. Пьер,* а на это имя Лавров, как и по другому своему псевдониму — *Сидоров* — получал впоследствии корреспонденцию.)

В этой первой корреспонденции Лавров утверждает, что «деятельность Тьера в Париже накануне Коммуны была серией самых очевидных ошибок»; Лавров обнаруживает непонимание того, что Тьер *нарочно* стремился «вывести из себя Париж» (назначением реакционеров, ненавистных парижским рабочим, в качестве главного командования, введением осадного положения, запрещением шести наиболее радикальных газет), чтобы спровоцировать Париж на преждевременное восстание и потопить последнее в крови.

Очень важно отметить, что в конце этой корреспонденции Лавров выражает пожелание, «чтобы победила эта республика, вышедшая действительно из народа, *основанная рабочими»* (подчеркнуто мною), и заканчивает фразой: «Если моя сегодняшняя корреспонденция говорит только о политических событиях, то это потому, что мне кажется, что движение 18 марта имеет громадное значение для рабочего вопроса». Поскольку до сего дня имеются марксистские историки, считающие, вопреки Марксу, что «в революции 18 марта наиболее видную роль играло парижское мещанство» (см. М. Н. Покровский. «Франция до и во время войны», 3-е изд. 1924 г., стр. 77), свидетельство Лаврова, как очевидца движения 18 марта, лично связанного с его рабочими вождями, приобретает особенный интерес в качестве подтверждения квалификации Коммуны, как пролетарского движения, Марксом.

Если о «Парижской коммуне», написанной Лавровым в 1879 г., может возникнуть сомнение, не навеяна ли основная установка этой классической книжки «Гражданской войной» Маркса (Лавров цитирует там это гениальное произведение), то корреспонденцию в «Интернационал», помеченную 21 марта 1871 г., Лавров писал за 2 месяца с лишним до Маркса, и очевидно, что

квалификация движения 18 марта, как *пролетарского* *, вынесена Лавровым из самой жизни.

Во второй корреспонденции — от 28 марта — Лавров обнаруживает очень оптимистический взгляд на дела Коммуны («момент кризиса для внутренних дел Парижа прошел») и непонимание всей остроты классового сопротивления, которого надо было ждать Коммуне со стороны мэров Парижа (это Лавров понял лишь впоследствии, под влиянием Маркса). Нет никакого сомнения, что и этот оптимизм и это непонимание опасности положения со стороны классово враждебных элементов внутри самого Парижа навеяны на Лаврова все тем же Варленом.

Подготовляя Коммуну в Париже после неудачи восстания за Коммуну в Лионе 28 сентября 1870 г., Варлен, повидимому, стремился избежать всех тех ошибок, которые сделал Бакунин в Лионе. Отсюда — склонность Варлена к соглашению с буржуазными мэрами и депутатами Парижа, лишь бы избежать гражданской войны; отсюда — отказ от немедленных наступательных действий на Версаль, готовность довольствоваться достигнутым муниципальным самоуправлением Парижа и таковым же самоуправлением других коммун Франции, в надежде, что *постепенные* реформы в духе социализма можно будет провести без классовой борьбы; отсюда, наконец, иллюзия Варлена, что передача власти ЦК национальной гвардии выборному Совету Коммуны и участие в этих выборах мэров Парижа придаст Коммуне в глазах буржуазии всей Франции вид *законного* правительства Парижа, не подлежащего оспариванию со стороны центрального правительства Тьера.

В архиве Института Маркса, Энгельса и Ленина имеется документ, еще нигде неопубликованный, в котором ярко выражен взгляд на движение 18 марта, каким оно представлялось Варлену 28 марта, в тот самый день, когда Лавров писал свою вторую корреспонденцию в Брюссель.

Документ этот следующий:

„Э. Варлен — начальнику 35-го батальона национальной гвардии в Нейи [небольшой городок близ Парижа].

Площадь Ратуши. 5 часов вечера, 28 марта 1871 г.

Гражданин начальник!

Мы получили среди неожиданного патриотического праздника в честь провозглашения избранников Парижской коммуны ваше письмо относительно посылки отряда из 91-го батальона в Нейи. Мы не знаем, что побудило произвести это движение, но мы можем вас уверить, что мы намерены соблюдать муниципальные льготы везде в малых городах, как и в больших, и мы уверены, что когда муниципальное самоуправление коммун

---

* Читатель должен помнить, что Лавров называл пролетариями и мелких производителей. *Ред.*

прочно установится, то и свободы, которые из него вытекают, обеспечат порядок, взаимное доверие и, следовательно, новую эру мира и всеобщего благоденствия.

Привет и равенство!

Э. Варлен, член ЦК [национальной гвардии]».

Из этого письма Варлена явствует, что если он старался не повторять ошибок Бакунина в Лионе, возбудивших там отчаянное сопротивление буржуазии и погубивших Лионскую коммуну через несколько часов после ее провозглашения, то он все же не мог отделаться от бакунистского догмата о децентрализации Франции и автономии всех ее коммун и, как Бакунин, питался иллюзией, что никакой центральной для всей Франции власти не надо и что коммуны, предоставленные самим себе, установят постепенно социалистические порядки по примеру Парижа. (Впрочем, Бакунин понимал, как видно из его «Письма к французу», что без гражданской войны это не может быть сделано, и этим он превосходил Варлена.)

Лавров, который не подозревал в Варлене члена Альянса Бакунина, принял, повидимому, на веру взгляд Варлена на «внутренние дела Парижа». В своей второй корреспонденции Лавров хвалит ЦК национальной гвардии за то, что он не злоупотребил «своей силой и диктатурой; он сумел пойти на соглашение, не отказываясь ни от одного своего принципа... Несмотря на всем известные социалистические симпатии большинства его членов, правительство не подняло ни одного неуместного вопроса, не выпустило ни одного невыполнимого декрета». (Мы знаем, что впоследствии, под влиянием Маркса, Лавров понял, что именно недостаток проявления власти и диктатуры погубил Коммуну и что, захватив хотя бы французский банк, Коммуна лишила бы Тьера возможности так скоро собрать армию.)

Лавров обнаруживает также полную неосведомленность о том, что некоторые мэры Парижа были прямыми агентами Тьера и если согласились на производство выборов в Коммуну, то не для того, чтобы придать им законный вид, а чтобы оттянуть время и дать Тьеру приготовиться к военному окружению Парижа. Лавров утверждает также, что Версальское собрание (по существу — Тьер) «вызвало гражданскую войну в Париже, не облегчая ничем борьбу своих единомышленников» (т. е. мэров Парижа).

Лавров хвалит также ЦК национальной гвардии за то, что он отрекся «от своей диктаторской власти в пользу правильно избранной коммуны». (В письме к Штакеншнейдер от 21 марта Лавров, правда, без большой уверенности, выражает мнение, что это было как раз *ошибкой* ЦК.)

«Социалист-мыслитель, — резюмирует Лавров свою корреспонденцию, — изучая события этого небольшого количества дней, может подтвердить с еще большей уверенностью, что это буржуаз-

ное общество, которое эксплоатирует и деморализует пролетариат, не имеет никакого основания для существования»... Кончается корреспонденция неожиданно тревожной нотой: «Нет сомнения, положение еще очень тяжелое: конфликт между успокоенным Парижем и Национальным собранием все еще продолжается; положение дел в больших провинциальных городах неизвестно или неопределенно; правительство Версаля все еще враждебно (очевидно, Лавров, как и Варлен, верил, что оно пойдет на мир с Парижем), и будущее темно».

К корреспонденции Лавров добавляет «несколько сведений насчет положения рабочего вопроса в Венгрии», который он взял «из частной корреспонденции от февраля месяца». Здесь речь идет о частном письме из Венгрии к члену Парижского федерального совета Интернационала Франкелю, который был родом из Венгрии.

Корреспонденции Лаврова о Коммуне в «Интернационал» имеют огромное значение для всякого историка Коммуны 1871 г., так как показывают, как в первые дни Коммуны (потом все понималось иначе, под влиянием горьких опытов борьбы с контрреволюцией извне и внутри Парижа) ее «внутренние дела» понимались ее самым выдающимся вождем Варленом, с которым был близок Лавров. Но и кроме того, корреспонденции Лаврова — это первый отклик на события Коммуны в европейской социалистической печати и уже потому представляют несомненный интерес. Знаменательно, что этот положительный отклик на попытку первой в мире диктатуры пролетариата дан автором «Исторических писем».

Но Лавров не довольствуется одним теоретизированием насчет пролетарской революции. Он пытается активно ей помочь. В письме к Штакеншнейдер от 10 (22) октября 1871 г. Лавров упоминает, что не раз бывал в мэрии того квартала, где он жил (т. е. в Батиньоле) в марте и апреле. А мы знаем, что в этой мэрии работали члены Коммуны — Варлен, Малон, Шален, Виктор Клеман и Шарль Жерарден, все — члены Интернационала. (См. список членов Коммуны по округам в «Официальной газете» Коммуны от 31 марта 1871 г.) Повидимому, в итоге сношений с ними, Лавров, как он сам рассказывает в своей автобиографии, поехал в начале мая 1871 г. в Брюссель, чтобы призвать к содействию Коммуне Бельгийский федеральный совет Интернационала. Убедившись, что последний бессилен чем-либо помочь, Лавров поехал с тою же целью в Лондон, «чтобы узнать, не может ли Генеральный совет [Интернационала], о силе которого существовало преувеличенное мнение, оказать помощь парижским инсургентам».

Как Лавров указывает в примечании к Туну, он поехал искать помощи Коммуне по собственной инициативе, сообщив о своей поездке Варлену и его товарищам. По указанию Г. А. Лопатина,

Лавров совершил эту поездку по поручению Коммуны. Н. С. Русанов пишет, что Лавров только предупредил о своей поездке Варлена. Эд. Бернштейн утверждает даже, правда, неуверенно («если память не изменяет мне»), что Лавров привез Генеральному совету от Коммуны крупную денежную сумму для организации ей военной поддержки. (См. об этом подробнее, с ссылками на источники, в моей книжке о Лаврове, стр. 42—43.)

В письме к Штакеншнейдер от 5 (17) мая 1871 г. из Лондона Лавров ей пишет: «Конечно, я оставил Париж не потому, чтобы меня испугало его настоящее положение, но я надеялся быть более полезным моим тамошним приятелям, находясь здесь с пером в руке, чем там, где приходилось взять в руки лишь штуцер, что не совсем в моем характере».

Как видно из донесения из Лондона тайного агента царской охранки Балашевича-Потоцкого, втершегося в революционную среду, окружавшую Маркса и Энгельса, Лавров участвовал в Лондоне в подготовке петиции Генерального совета премьеру Гладстону о протесте Англии против массовых расстрелов пленных коммунаров и в газетной агитации для оправдания действий коммунаров и обвинения Тьера. (См. Р. М. Кантор. «П. Л. Лавров и А. Ю. Балашевич-Потоцкий» в сборнике «П. Л. Лавров». П. 1922, стр. 485.) Из письма Маркса к Кугельману от 18 июня 1871 г. с приложением вырезок из английских газет видно, что газетная агитация имела целью, в противовес циркуляру французского министра иностранных дел Жюля Фавра всем европейским правительствам о борьбе на смерть с Интернационалом (и с беглецами Коммуны — его членами), разослать циркуляр Генерального совета тем же правительствам с разоблачением Жюля Фавра, как обманщика, недостойного быть министром. (См. «Письма Маркса к Кугельману». Гиз. 1928, стр. 100—104.)

В Лондоне Лавров пробыл более двух месяцев, так что несомненно, что свою «Гражданскую войну во Франции» Маркс писал уже после того, как виделся с Лавровым, приехавшим от Коммуны. Можно предположить, что много фактических подробностей о жизни Коммуны и о действиях тех ее членов, которые были близки с Лавровым, Маркс узнал впервые от Лаврова.

По возвращении в Париж в 20-х числах июля 1871 г. (по новому стилю), Лавров, как можно видеть из его писем к Штакеншнейдер от июля и августа 1871 г., следит за процессом нечаевцев в Петербурге, интересуется своими «прежними приятелями, оставшимися в живых» — парижскими коммунарами, и констатирует с сожалением, что между обвиненными нечаевцами «не было ни одного человека с энергией, который бы сделал из скамьи обвиненных в этом случае кафедру обвинителя, обрекши себя на что угодно».

Лавров в это время «сильно работает», готовя статьи для «Дела» и «Знания» и находясь в частной переписке через третьих

лиц с редакторами этих журналов — Г. Е. Благосветловым и И. А. Гольдсмитом.

Но гораздо более материалов для суждения о деятельности Лаврова после поражения Коммуны дают нам его письма в Лондон к члену Генерального совета Интернационала Герману Юнгу, очень интеллигентному рабочему, с которым Лавров сдружился во время своей поездки в Лондон.

В письме к Юнгу от 20 августа 1871 г. Лавров упоминает, что писал Марксу о «плуте» Розалевском (польском эмигранте, входившем некоторое время, летом 1871 г., в состав Генерального совета).

В письме к Юнгу от 2 октября 1871 г. Лавров сообщает, что писал два дня назад Энгельсу о рабочих обществах Парижа; что неделю назад должен был быть сделан сбор в пользу лондонских эмигрантов Коммуны в одном небольшом собрании немецких рабочих Парижа, куда Лаврова должен был повести член Интернационала Башрюш (или Бахрух, если читать эту фамилию по-немецки); что к нему приходил некто Триберт с адресом, написанным рукою Маркса, прося паспортов для укрывавшихся еще в Париже коммунаров; что получил письмо из Брюсселя от Евгения Гинса.

В письме к Юнгу от 5 ноября 1871 г. Лавров сообщает, что Энгельс посылал ему лондонскую газету «Eastern Post», в которой печаталась официальная информация Генерального совета о его заседаниях, о работе секций и т. п., и спрашивает новостей о Томановской-Дмитриевой, с которой, повидимому, познакомился уже по прибытии в Париж после поражения Коммуны, когда она еще там укрывалась перед бегством оттуда.

Из всех этих и многих других еще отрывков из писем Лаврова к Юнгу с 26 июля по 5 ноября 1871 г. видно, что Лавров был в деловой переписке с Марксом по делам Генерального совета; участвовал в практической работе немногих оставшихся после разгрома Коммуны парижских социалистических групп по укрывательству и организации побегов коммунаров, снабжая последних по поручению Маркса паспортами; делал сам регулярные взносы в пользу коммунаров; следил за работой Генерального совета, интересовался русскими членами Интернационала, содействовал восстановлению связей Генерального совета с французскими и отчасти швейцарскими социалистами и т. п.

О Коммуне Лавров вспоминает после ее поражения очень часто. В письме к Штакеншнейдер от 10 (22) октября 1871 г. Лавров, между прочим, пишет, что именно Парижская коммуна уточнила для социализма его политическую программу, показала новый «яркий тип государства. Теперь этот тип был временно осуществлен... Возможность управления из работников также доказана»... Нет сомнения, что эту мысль о том, что Парижская коммуна есть новый тип государства, Лавров воспринял от Маркса.

Ту же мысль, как известно, Маркс высказал и в своей «Гражданской войне во Франции», говоря, что Коммуна «была по сути дела *правительством рабочего класса»*.

В том же письме Лавров выражает свою твердую уверенность, что «на разрушающихся трупах наций должны возникнуть новые международные группировки людей по занятиям, по интересам, по стремлениям... Программа будущего в общих чертах набросана. Нужны для ее выполнения люди, нужна организация. Вот задача для растущих поколений»... 29 ноября 1871 г. Энгельс пишет Лаврову из Лондона о борьбе с Бакуниным, «идущим на открытый раскол» (см. это письмо в сборнике «На боевом посту». Гиз, 1930, стр. 152—153). Это лишнее указание для Лаврова, что не организация Бакунина может выполнить «программу будущего».

С декабря 1817 г. Лавров приглашен Брока «в сотрудники для отчетов по книгам и журналам русским и немецким» (см. письмо к Штакеншнейдер от 24 ноября (6 декабря) 1871 г.), и у него прибавляется, таким образом, еще работа и для французского журнала по антропологии. Он пишет: «хотя я политически едва ли не более уединен, чем вы в богоспасаемом Петрограде» (очевидно, к этому времени прежние приятели Лаврова — коммунары и члены Интернационала — уже успели бежать из Парижа), однако он спрашивает: «не можете ли вы сообщить, есть ли в Петербурге что новое, молодое, живое? не видны ли где ростки будущего?..»

Через два дня Лавров сообщает, как сильно его взволновала казнь Росселя, одного из главнокомандующих Коммуны. Лавров добавляет: «Дряхлая буржуазия хватается за что попало, чтобы отдалить час расчета, но он придет»... И в конце письма: «Несмотря на недостаток предводителей, неодолимая сила растет. Завтра она раздавит все — когда будет это завтра? Да, когда? Увидим ли мы? Не знаю. Но много будет крови, много развалин...» В письме от 3 января 1872 г. (нов. ст.) Лавров снова спрашивает: «Есть ли в виду что живое, порядочное?» В этом же письме он сообщает: «Смотря на парижскую уличную жизнь, едва можешь сообразить, что 20 000 этого населения на понтонах (на каторге), что страшное избиение было на улицах, где веселятся чуть-чуть не на свежих трупах... Я сторонюсь от французского общества и знаюсь более с немецкими негоциантами, частью с евреями да несколькими поляками»...

Из письма Энгельса к Лаврову от 19 января 1872 г. видно, что Энгельс посылает ему книги и уже упомянутую выше газету «Eastern Post», нужные Лаврову для его занятий, а о Бакунине Энгельс пишет: «Этот человек забывает, что нельзя вести рабочие массы, как можно было бы вести небольшую группу доктринеров-сектантов»... Мы увидим далее, что Лавров учел этот отзыв Энгельса о Бакунине.

В письме к Штакеншнейдер от 16 февраля 1872 г. Лавров, критикуя взгляды Штакеншнейдер на Коммуну, разъясняет ей «выгоды и невыгоды» того, что местные вопросы стоят у рабочих на первом плане. «Выгоды в том, что неразвитой работник отлично понимает свой местный вопрос, горячо ему сочувствует, готов ему принести значительные жертвы и тем сильнее связан с общим делом, что воображает в этом общем деле свое частное; так как социальные вопросы работников: недостаточность платы, притязания буржуазии, необходимость развития и борьбы — везде одинаковы, то связь естественно сильна, имеет будущность, и вероятность победы на ее стороне. Невыгода же в том, что люди, думающие, будто они вполне понимают друг друга, понимают друг друга лишь отчасти, и в том, что выходят из общеэкономического вопроса, касаясь национальных или политических задач, не понимают друг друга совсем»... И далее Лавров сообщает совершенно неизвестный историкам Коммуны факт: «Когда из Центрального совета, из Лондона, приезжали новые люди с совершенно определенною программою, обдуманною без увлечений (здесь, повидимому, Лавров имеет в виду члена Коммуны Огюста Серайе, жившего около Маркса в Лондоне, и Елизавету Дмитриеву, приехавшую в Париж незадолго до Коммуны по поручению Генерального совета Интернационала), то они невольно сейчас же уходили в борьбу местную со всеми ее компликациями и иллюзиями, даже не посылали вовсе отчетов и писем в Лондон, отнимали у тамошних всякую возможность действовать. Движение... шло само собою, под влиянием тысячи местных иллюзий и увлечений настолько же, насколько и под влиянием живого социального вопроса. Оказалось, что группа якобинцев помешала социалистам, нейтрализовала их, и движение вышло ни то ни се, ни продолжение старого (для этого личных симпатий нехватало), ни ясное указание нового (для этого оно было слишком комбинировано). Хорошие его результаты следующие: поставлена ясно *политическая* программа рабочего движения (которой до тех пор не было), это — федерация коммун с возможно полным самоуправлением... существует кровавая легенда, которая позволяет внести в мартиролог на поклонение будущему людей, которые бы без того могли оказаться весьма несостоятельными и которые усилили значительно ненависть рабочих против буржуазии. Поражение ничего определенного не доказывает, кроме необходимости разглядывать хорошенько, *из кого состоит партия*, не поддаваться иллюзиям и *организоваться крепче прежде наступления минуты борьбы*... Надежды на быстрое торжество я не имею; даже не думаю, чтобы нам удалось его видеть; но на 500 лет его не откладываю. Если XX век не решит вопроса, значит вопрос поставлен дурно и заменится другою постановкою»... (курсив мой).

Все эти выдержки из писем Лаврова очень важны для того, чтобы иметь правильное представление о том, имелось ли у него

революционное настроение и каковы были его социально-политические взгляды накануне редакторства «Вперед», а потому необходимо их иметь в виду. Из этих выдержек ясно, что к революции, к социализму и к рабочему движению Лавров имел не один лишь «теоретический интерес», как неправильно утверждает Б. П. Козьмин (в указанной статье, стр. 300), когда в марте 1872 г. приехавшие из России делегаты предложили ему «организовать издание русского заграничного журнала» (см. «Народники-пропагандисты», 1925, стр. 49). Но об этом подробно буду говорить в следующем томе.

Ив. Книжник-Ветров.

15/XI 1931—24/II 1933.

АВТОБИОГРАФИЯ
(1885—1889)

СТАТЬИ П. Л. ЛАВРОВА
(1857—1872)

БИОГРАФИЯ-ИСПОВЕДЬ[1]

I

Биографические данные

Петр Лаврович Лавров родился в Псковской губернии, Великолуцкого уезда, в селе Мелехове, 2-го (14-го) июня 1823 г. Воспитывался до 1837 г. дома. В 1837 г. поступил в артиллерийское училище. Произведен в офицеры в 1842 г. и с июля 1844 г. по апрель 1866 г. преподавал математические науки сначала в артиллерийском училище, потом в артиллерийской академии, причем ему были переданы курсы высшей математики, прежде читанные академиком Остроградским [2]. Кроме того, Лавров был приглашен преподавать высшие математические курсы и в специальном классе Константиновского военного училища при основании этого класса (1858); был там и постоянным наблюдателем по математическим наукам. В 1865 и 1866 годах Лавров читал публичный (неоконченный) курс истории физико-математических наук в лаборатории артиллерийской академии, а в 1865 г. прочел для офицеров гвардейской артиллерии три лекции о влиянии успехов точных наук на военное дело; они были напечатаны в «Артиллерийском журнале» и особой брошюрой. Свои математические курсы Лавров никогда не печатал, но, согласно правилам, принятым на этот счет в заведении, где он преподавал, эти курсы литографировались, подвергаясь постепенно изменениям. Летом 1855 г. (в промежутке между курсами) Лавров участвовал в обороне Нарвы против неприятеля и начальствовал временно там артиллерией, но ни в каких военных действиях ему участвовать не случилось. — Лавров был членом петербургской думы и петербургского земства.

Деятельное участие в литературе Лавров стал принимать лишь в 1855 г. [3] Писал он стихи с детства и, при поступлении в артиллерийское училище, имел уже в своем прошедшем разные начатки драматических сцен и лирических

произведений (конечно — весьма слабых); писал он немало и в училище. В 1840 или в 1841 году одно его стихотворение было даже напечатано с его подписью в «Библиотеке для чтения», издававшейся Сенковским (бар. Брамбеусом) [4]. В 1852 г. Лавров был приглашен давать статьи по артиллерии и по разным наукам в «Военный энциклопедический словарь» [5], издававшийся ген. Богдановичем, и помещал статьи в первых томах этого издания (до буквы М). Несколько позже он был около двух лет помощником редактора «Артиллерийского журнала», полковника Минута (года не помню, но между 1854 и 1860 гг.). Но все это были побочные занятия, не имевшие особого значения. Из стихотворений Лаврова некоторые им были посланы А. И. Герцену в 1856 г. при письме [6], где выражалось еще слишком много надежд на начавшееся царствование Александра II. Как письмо, так и стихотворения «Пророчество» и «Русскому народу» были напечатаны А. И. Герценом в четвертой книжке «Голосов из России» без имени автора. Из последнего сделаны извлечения для характеристики положения прессы в России в книгах Wallace и Rambaud [7] о России. Еще некоторые стихотворения Лаврова были, совершенно без его ведома, напечатаны в разных заграничных сборниках, часто искаженные, но нигде ему не приписанные [8]. Из позднейших стихотворений два, без подписи, были напечатаны в газете «Вперед», им редактировавшейся [9].

В настоящую литературную деятельность Лавров выступил лишь в начале нового царствования, в 1856 г., в мало известном журнале «Общезанимательный вестник», статьею о классификации наук; писал там и «Письма провинциала» о современных событиях [10]. На него обратили внимание лишь при появлении в 1856 г., в «Библиотеке для чтения», издававшейся Дружининым [11], его большой статьи о «Гегелизме» [12]. С тех пор до 1866 г. он помещал много статей в «Библиотеке для чтения» (под редакцией Дружинина, Писемского [13], Боборыкина [14]), в «Отечественных записках» (под редакцией Краевского [15], при главном руководстве Дудышкина [16]), в «Русском слове» (под редакцией Благосветлова [17]) и в некоторых других изданиях [18] с полной своей подписью и под начальными буквами его имени. Это были большею частью статьи философского содержания или обзоры иностранной литературы. Из этих статей напечатанные в «Отечественных записках» «Очерки вопросов практической философии: Личность» и посвященные «А. Г. и П. П.», т. е. Герцену и Прудону [19], были изданы в 1860 г. и особою брошюрою. В ноябре 1860 г. Лавров прочел в пользу Литературного фонда три лекции о современном значении философии, которые были первым публичным словом о философии,

произнесенным светским лицом в России вне духовных заведений со времени закрытия кафедр философии Николаем I. Эти лекции, напечатанные в «Отечественных записках», были также изданы особой брошюрой в 1861 г. В 1862 г. Лавров искал кафедры философии в петербургском университете, но условия, введенные новым уставом, положили конец этому делу, для которого Лавров представил уже программу предполагавшегося курса. Когда устроены были курсы в думе, студенты предложили Лаврову читать там курс философии, но это ему не было дозволено. — Из статей этого периода наиболее крупные и ценные, кроме упомянутых выше, следующие: в «Библиотеке для чтения» — «Несколько мыслей о системе общего умственного воспитания молодых людей» и «Лаокоон» Лессинга [20]; в «Отечественных записках» — «Механическая теория мира» (о материализме); в «Русском слове» — «Современные германские теисты» и «Моим критикам» (ответ Антоновичу [21] и Писареву [22]).

При основании «Русского энциклопедического словаря» под редакцией Краевского, в 1861 г., Лаврову была поручена редакция философского отдела, а со второго тома частные редакторы выбрали его главным редактором «Словаря» взамен Краевского. В «Словаре» помещено много статей его, с подписью и без подписи, по разным предметам, но преимущественно по философским, историческим и историко-религиозным. Издание это вызвало многочисленные доносы архиереев и духовных журналов (особенно Аскоченского [23], требовавшего церковной анафемы и уголовного наказания каторгою) и должно было прекратиться на первых же буквах, встретив в либеральной литературе того времени прием довольно холодный, потому что Лавров стоял совершенно в стороне от руководителей тогдашней либеральной мысли в «Современнике», сблизившись несколько с Чернышевским [24] лишь в последние месяцы деятельности последнего, перед его арестом, за которым последовала, как известно, каторга [25]. Впрочем, М. Антонович, написавший в 1862 г. самую резкую статью в «Современнике» против Лаврова, сделался сотрудником «Словаря» под его редакцией в последнем томе, когда уже существование этого издания было вполне подорвано. — Из многочисленных статей Лаврова в «Энциклопедическом словаре» наиболее крупные: «Абеляр», «Августин», «Аверроэс», «Адам», «Ад», «Аламбер» (sic!), «Анабаптисты», «Антропологическая точка зрения», «Арабская философия».

По прекращении «Словаря» Лавров редактировал (при официальной редакции Афанасьева-Чужбинского [26]) журнал переводных статей «Заграничный вестник», а также печатал в «Морском сборнике» и в «Артиллерийском жур-

нале», на основании публичных лекций, о которых упомянуто выше, «Очерк истории физико-математических наук», первый выпуск которого (до Александрийского периода) был издан и особо, и который остановился, вследствие ареста Лаврова, на параграфе о Галене [27]. Последние параграфы о Диофанте [28] и о конце древнего мира были уже в наборе, но никогда напечатаны не были: автор не сохранил ни корректуры, ни рукописи. В середине 60-х годов под редакцией Лаврова и с его примечаниями готовился к печати и перевод «Логики» Дж. Ст. Милля [29], перевод, который появился лишь после ареста Лаврова. Большую часть второго тома Лавров вовсе не видал. — Лавров был несколько лет казначеем и членом в Комитете Литературного фонда и старшиною недолго существовавшего (1861—1862) литературного клуба, носившего название Шахматного. В 1864—1865 гг. Лавров принимал ревностное участие в учреждении Общества женского труда, в чем участвовали графиня Ростовцева [30] и Анна Павловна Философова [31]. Это общество разрушилось накануне первого общего собрания, и объяснения, к которым был вынужден Лавров при этом с только-что упомянутыми лицами, вызвали немалое раздражение против него. В начале 60-х годов Лавров был приглашен в общество «Земли и Воли», но его участие в этом обществе было так ничтожно, что об этом и говорить не стоит [32].

После выстрела Каракозова [33] (4 (16) апреля 1866 г.), когда Муравьев [34] получил почти диктаторскую власть в Петербурге, там были произведены многочисленные аресты и обыски. Между прочим, был произведен обыск и у Лаврова. Затем он был арестован 25 апреля (7 мая) 1866 г. и предан военному суду в августе того же года. Допрашивал его сенатор Бер [35]; Лавров призван был к допросу всего три раза и не имел ни с кем очной ставки. Суд признал его виновным в сочинении четырех стихотворений, в которых «возбуждалось неуважение» к Николаю I и Александру II, в «сочувствии и близости к людям, известным правительству своим преступным направлением» (Чернышевский, Михайлов [36], Павлов [37]), в проведении в печати «вредных идей» и в некоторых других, более мелких винах. Военно-судная комиссия приговорила его к аресту на некоторое время. Приговор этот был видоизменен генерал-аудиториатом (генерал-аудитором был тогда Философов [38], муж Анны Павловны) и конфирмован императором в такой форме: Лавров увольнялся от службы и отсылался на житье в одну из внутренних губерний под надзор полиции. Эта «внутренняя» губерния оказалась Вологодской. После девятимесячного ареста в петербургском ордонансгаузе [39]

Лавров был вывезен в Тотьму 15 (27) февраля 1867 года. В 1868 г. переведен сначала в Вологду и немедленно затем в г. Кадников, где для наблюдения за ним, единственным политическим ссыльным в городе, назначено два жандарма.

После трех лет ссылки, 15 (27) февраля 1870 г., Лавров, при содействии преданного товарища, Г. А. Лопатина [40], приехавшего для этого из Петербурга, бежал из Кадникова и 13 (1) марта прибыл в Париж. Знавший об этом бегстве и ожидавший его в Париже А. И. Герцен (никогда не знакомый с ним лично) умер как раз незадолго перед тем.

С апреля 1866 г. Лавров не мог, конечно, помещать ничего в легальной русской прессе под своим именем (за исключением небольшой антропологической статьи в «Вологодских губернских ведомостях», помещенной с разрешения местного губернатора) [41]. Но он много печатал статей под разными псевдонимами, под инициалами или совсем без подписи [42]. Из прекратившихся теперь журналов назовем, за три года вологодской ссылки Лаврова, «Женский вестник», «Библиограф», «Современное обозрение», «Отечественные записки» с 1868 г., «Неделя» (прежней редакции) [43]. Так как статьи Лаврова пересылались в это время большею частью через полицию, то и правительству и публике было известно его сотрудничество в журналах за эти три года, и потому его наиболее обычный псевдоним П. Миртов, подписи П. Л. и П. М. [44] были весьма прозрачной маской. Под псевдонимом П. Миртов печатались в 1868—69 годах в «Неделе» и «Исторические письма», появившиеся потом, в 1870 году, в переработанной форме, отдельным изданием и имевшие некоторое влияние [45] на русскую молодежь. Со времени поселения Лаврова за границею до 1873 г., когда он выступил редактором «Вперед», помещение его статей в русских изданиях стало встречать уже более трудностей, и Лаврову пришлось еще чаще менять псевдонимы [46]. Тем не менее почти все приписывали ему ряд статей в «Знании», которые появились в 1875 г., как «Опыт истории мысли», т. I, вып. 1, а также там же помещенный другой ряд статей под общим названием: «Очерки систематического знания». Псевдонимы Миртова и Кедрова были отчасти и прямо раскрыты в печати в статье М. А. Бакунина [47]. — С половины 70-х годов, т. е. в последние 15 лет, если Лаврову и удавалось помещать в разных легальных русских журналах статьи, то лишь без ведома редакций, посылая их при посредстве лиц, которые и сами не всегда знали, кто писал статьи. Предметы, о которых он в это время писал, были тем разнообразнее, чем

тщательнее приходилось скрывать, кто их автор. Так как в настоящее время ни один из журналов, где помещались эти статьи, не существует или находится под редакциею лиц, совершенно иного направления, прежние же редакторы умерли, то устранена большая часть препятствий к перечислению этих статей (впрочем, неполному), насколько можно припомнить их, начиная с 1868 г. [48] до конца первой половины 80-х годов. В «Женском вестнике» 1868—69 годов: «Герберт Спенсер» [49] и его «Опыты», «Женщины во Франции в XVII и XVIII веках», о женщинах в Италии в средние века [50]. В «Библиографе» 1869 г. (единственный номер, насколько помню): «Письмо в редакцию», «Обзор иностранной антропологической литературы», о книге Геккеля [51], отчет о «Неделе» 1868—69 годов. В «Современном обозрении»: «Антропологические очерки» [52], «Развитие учений о мифических верованиях», «Задачи позитивизма и их решения». В «Отечественных записках»: «До человека», «Антропологи в Европе» [53], «Американские сектаторы» [54], «Философия истории славян», «Историческое значение науки и книга Уэвеля» [55], «Роль науки в эпоху возрождения и реформации», «Цивилизация и дикие народы» [56], «Современные учения о нравственности и их развитие» [57], «Канун великих переворотов», «Противники истории», о психологии Кавелина [58], «Формула прогресса г. Михайловского» [59], «Хлопоты науки с низшими животными» [60], «Записки старого чартиста», «Лирики тридцатых и сороковых годов», «Сент-Бэв [61] как человек». В «Деле»: две статьи о Шопенгауэре [62], о Дизраели [63] («Продукт политики XIX века»), «Карл Эрнст Бэр» [64], о П. Анненкове [65] («Русский турист 40-х годов» и «Турист эстетик»), о книге де-Роберти [66] («Единственный русский социолог»), о трудах Кареева [67] и Гольцева [68] («История Франции под пером новых русских исследователей»), «Политические типы XVIII века». В «Знании», кроме упомянутых выше: возражение на критику «Исторических писем» [69], «Научные основы истории цивилизации», «Новая наука», «Социологи-позитивисты». В «Слове»: «Теория и практика прогресса» (автор имел в виду дополнение к «Историческим письмам»). В «Устоях»: «Теоретики 40-х годов в науке о верованиях». В газете «Северный вестник» — письма о философских предметах (помещено, кажется, лишь одно) [70], в другой газете [71] статьи о только что умерших Томасе Карлейле [72] и Лонгфелло [73], о социологических трудах Летурно [74] и Фулье [75] и т. д. В начале 80-х годов для Лаврова открылась внезапно как бы возможность осуществить издавна подготовленный им план истории мысли, и он, рядом с другими работами, приготовил около 50 печатных листов этого труда для издания его

в России. Но в декабре 1884 г. эти надежды оказались напрасными.

Живя в Париже в 1870—1873 г., Лавров был избран членом парижского Антропологического общества, где, между прочим, читал в 1872 г. реферат: «L'idée du progrès dans l'anthropologie» [76] (напечатанный и особой брошюрой в 1873 г.). При основании «Revue d'anthropologie» [77], в 1872 г., Лавров был приглашен известным Брока [78] в состав редакции и участвовал в ней до выезда своего из Парижа. Еще в 1870 г. Лавров близко сошелся с Варленом [79], который и ввел его в Интернационал — в секцию Ternes [80] — осенью 1870 г. Лавров пробыл в Париже все время первой осады и почти все время Коммуны. В начале мая 1871 г. он поехал в Бельгию, сделал Федеральному бельгийскому совету Интернационала доклад о положении дел в Париже, призывал Совет к содействию Коммуне; с тою же целью поехал в Лондон, чтобы узнать, не может ли Генеральный совет, о силе которого существовало преувеличенное мнение, оказать помощь парижским инсургентам, но увидел невозможность того и другого. При этом он познакомился с Карлом Марксом и с Фр. Энгельсом [81], с которыми более сблизился в последующие годы. В июле 1871 г. он вернулся в Париж.

В 1872 г. Лавров получил из России предложение редактировать за границею социалистический журнал, для которого была обещана поддержка как социалистической русской молодежи, так и радикальных литераторов. Имея это в виду, Лавров немедленно написал проект программы «Вперед», обозначив в письме те литературные силы, к которым предполагалось обратиться. Этот первоначальный проект, отлитографированный, против желания автора, в России, многими принимался ошибочно за окончательную программу журнала. Последняя могла быть выработана лишь тогда, когда вполне определился состав сотрудников. Расчет на радикальные литературные силы в России оказался неверен; журнал должен был появиться как исключительный орган социально-революционной русской молодежи, что позволяло и программе его получить большую определенность. Эта программа и была помещена в первом томе периодического сборника «Вперед», появившегося летом 1873 г. При основании этого издания думали найти поддержку и в многочисленных приверженцах М. А. Бакунина, пользовавшегося тогда большим влиянием. Но по вопросу об организации журнала произошло разногласие, которое окончилось разрывом, так что рядом с «Вперед» появились за границею издания группы бакунистов, прямо ему враждебные. Последние,

сколько известно, встречали в русской молодежи 1873—75 годов больше сочувствия и имели в России большее распространение во время того громадного движения «в народ», которое началось в 1874 году.

Чтобы издавать «Вперед» и завести русскую типографию, Лавров переселился в начале 1874 г. [82] в Цюрих. Рядом с работой по редакции журнала, где печаталось много его статей и где он вел постоянное обозрение: «Что делается на родине», Лавров читал в Цюрихе публичные лекции на русском языке о роли славян в истории мысли, об истории мысли вообще, о роли христианства в истории мысли и тому подобном. Отдельным листком напечатана была речь его «К цюрихским студенткам», произнесенная по поводу распоряжения русского правительства об удалении их из Цюриха. В марте 1874 г. типография и редакция «Вперед» были перенесены в Лондон.

С 1873 по 1876 г. Лавров посвятил почти все свое время изданию «Вперед», который выходил до конца 1874 г. как непериодический сборник (I, 1873, Цюрих; II, 1874, Цюрих; III, 1874, Лондон), с начала же 1874 [83] до конца 1876 г. — в форме двухнедельной газеты в Лондоне, причем, благодаря энергии и серьезному отношению к делу сотрудников Лаврова и товарищей его по типографии, ни один из 48 номеров не опоздал выходом. В это же время, в 1874 г., вследствие нападения прежнего сотрудника и потом основателя «Набата», П. Н. Ткачева [84], Лавров вынужден был издать полемическую брошюру в свою защиту («Русской революционной молодежи»), что было вообще совершенно несогласно с его литературными привычками. В конце 1876 г., на съезде представителей русской группы, поддерживавшей «Вперед», решено было прекратить периодическое издание газеты и вернуться к прежней форме, и в то же время выражено было некоторое несогласие с наличным способом ведения издания. Лавров отказался от редакции. Появившийся в 1876 г. его труд: «Государственный элемент в будущем обществе» составил первый (и единственный) выпуск тома IV непериодического «Вперед». По выходе Лаврова из редакции появился еще том V, в составлении которого он не участвовал и которым прекратилась деятельность группы «впередовцев», более не заявившей о своем существовании ни в России, ни за границею [85].

В мае 1877 г. Лавров опять переехал в Париж. В первые годы этого нового периода своей жизни он имел очень мало сношений с русскими действующими группами. Он завязал сношения с французскими социалистами, которые в 1877 же году создали свой орган «Egalité» [86], при-

нимал небольшое участие в этом органе и говорил раза два на банкетах [87], устроенных этими группами. Он сказал несколько слов и над могилою Бланки [88] при похоронах последнего. С того же 1877 г. Лавров начал читать у себя на квартире, а потом в зале на rue Pascal [89], для русской молодежи, живущей в Париже, лекции о разных вопросах теоретического социализма и истории мысли. В 1879 г. он произнес у себя на квартире по поводу Коммуны 1871 г. речь, которая в 1880 г. была напечатана в очень распространенной форме особой брошюрой, как первый том «Русской социально-революционной библиотеки» [90]. Во втором томе того же издания (1881 г.), заключающего перевод книги Шэфле о социализме, помещен ряд больших критических примечаний Лаврова к этой книге. В первом томе «Jahrbücher für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik» [91] за 1879 г. помещен, под инициалами P. L., обзор русского социально-революционного движения от 1876 по 1879 г. К этому периоду 1878—79 гг. относится и выработка небольшим кружком, образовавшимся около Лаврова, того плана тайной организации социально-революционных сил, о котором упомянула «Walka Klas» (№ 9) [92], но который остался без всяких последствий.

В начале 1880 г. арест Гартмана [93] и грозившая ему выдача принудили Лаврова к некоторой деятельности среди французских радикальных и социалистических кружков. Это сблизило его и с редакцией «Justice» [94], с которой он с тех пор сохранил весьма дружественные отношения. Французские радикалы особенно содействовали успешному исходу этой агитации, окончившейся призывом Лаврова к префекту полиции [95], который передал Гартмана Лаврову, говоря ему, что Гартман освобождается лишь потому, что личность его не доказана, но что ее могут доказать на другой день, и что поэтому всего лучше его вывезти немедленно из Франции, оставив его на несколько часов, до отхода поезда, во избежание демонстраций, на квартире начальника муниципальной полиции Кобэ [96], лично знакомого Лаврову. Последний на все согласился — и через несколько часов Гартман уехал с одним приятелем в Лондон. Ни из одного слова г. Андриэ не мог тогда Лавров заключить, что Гартман высылается из Франции, как утверждал Андриэ в своих мемуарах. Декрет о высылке не был никогда и сообщен Гартману.

С этого времени начинают завязываться у Лаврова снова связи с группами, действующими в России. Он получил приглашение участвовать в подпольных изданиях, появившихся в России, послал туда несколько статей, но, по фатальной комбинации обстоятельств, почти все эти

статьи не дошли по назначению, кроме одной, напечатанной в «Черном переделе» [97]. В 1881 г. в России основалось общество «Красного креста Народной воли». Желая основать за границей отдел, оно избрало уполномоченными для этого Веру Ивановну Засулич [98] и Лаврова. Публикации в иностранных журналах, приглашение к пожертвованию в пользу только что основанного общества послужили поводом к изгнанию Лаврова из пределов Франции. Оно было объявлено ему 10 февраля 1882 г., и 13 февраля он выехал в Лондон. Вскоре после этого в газетах появилось известие, что какая-то русская в Женеве выстрелила в одного немца, приняв его за Лаврова. Ее судили и признали помешанной *. Лавров вовсе не знал ее. Высылка его из Франции обратила на него гораздо более внимания, чем он когда-либо мог достичь во Франции при скромной жизни, которую он там вел. Выражения сочувствия далеко превзошли все, что он мог ожидать от иностранцев.

В Лондоне Лавров получил от «Исполнительного комитета Народной воли» приглашение вступить, вместе с другим лицом (Степняком) [99] в редакцию органа партии, который последняя имела намерение основать за границею под названием «Вестник Народной воли». Он отвечал подробными письмами, указывая условия, при которых считает возможным для себя вести подобное дело, и в духе этих условий выработал вместе с предполагавшимся соредактором программу, которая, в сущности, осталась без изменения и при появлении впоследствии первого тома «Вестника Народной воли». Но, к сожалению, вся эта переписка опять-таки не дошла по назначению. В это же время Лавров, по желанию автора, печатающегося под именем Степняка, написал предисловие к его книге «Подпольная Россия» [100]. Через три месяца после приезда в Лондон, в мае 1882 г., для Лаврова оказалось возможным возвращение в Париж, хотя декрет об его изгнании из Франции отменен не был. Дело об издании «Вестника Народной воли» тянулось более года, когда прибытие за границу Л. А. Тихомирова [101] и назначение его редактором, вместо отказавшегося, позволило приступить к изданию. Первый том появился в ноябре 1883 г., последний (V) — в декабре 1886 г. В этом издании помещено за подписью Лаврова немало статей. Вне статей, содержание которых обусловливалось самою задачею из-

* Упоминаемое здесь покушение на Лаврова произошло не в Женеве, а в Монтрэ. См. об этом в письме Плеханова к Лаврову, напечатанном в сборнике „На боевом посту“. Гиз, 1930, стр. 154—155. (Прим. *И. К.-В.*)

дания, там находятся воспоминания П. Л. об Ив. Серг. Тургеневе [102] и критика учения гр. Л. Н. Толстого [103], под заглавием: «Старые вопросы». Еще ранее появления «Вестника» Лавров сотрудничал в «Календаре Народной воли» за 1883 г., поместив там, за своею подписью, статью: «Взгляд на прошедшее и настоящее русского социализма». С декабря 1883 г. до июня 1884 г. Лавров читал в частной квартире для небольшой аудитории, большей частью легальной, курс «Обзора основных вопросов философии», из которого он успел прочесть только теоретическую часть [104]. В том же 1883 г., после отпевания И. С. Тургенева (на отпевании которого он присутствовал одновременно с кн. Орловым) [105], Лавров напечатал в «Justice» заметку [106], обнаруживавшую факт, что И. С. Тургенев участвовал материальными средствами в поддержке «Вперед». Эта заметка вызвала против Лаврова очень резкие нападки во всей легальной либеральной прессе России*...

14-го (2) июня 1885 г., совершенно не ожидая этого, Лавров был почтен празднованием группою русских его дня рождения, причем участие лиц разных партий и многих вполне легальных русских, речи, произнесенные как русскими, так и поляками-социалистами, многочисленные письма и телеграммы из разных местностей (между прочим, одно письмо — от политических заключенных в одной русской тюрьме и другое — от группы ссыльных в Сибири) глубоко тронули Лаврова, оценивающего гораздо более умеренно свою деятельность и свою общественную роль, чем угодно было это сделать участникам празднества. Некоторые из писавших полагали, что это — двадцатипятилетие литературной деятельности Лаврова, но она началась ранее [107].

К предыдущим заметкам, относящимся к 1885 г., можно для последних четырех лет прибавить следующее. Лавров продолжал жить в Париже безвыездно. От времени до времени он читал рефераты [108] в «Рабочем обществе» [109], в собраниях, устраиваемых кассою русских парижских студентов, в «Обществе русской молодежи», в собраниях, устроенных польскими социалистами. Из них напечатаны за границею: «Национальность и социализм», «Роль и формы социалистической пропаганды», «Через восемь лет» (1871—1879—1887); изданы, насколько известно, в России речь о роли евреев в социалистической пропаганде и «Наука

* Редакцией „Вестника Европы" пропущено здесь несколько строк, относящихся к одному из журнальных деятелей того времени.

и жизнь»[110]. Кроме того, при приезде Фрея[111] в Париж Лавров прочел два реферата в возражение его проповеди о позитивной религии человечества. Некоторое время он читал очень небольшому кружку товарищей лекции о социологии для социалистических пропагандистов[112] и готовил более или менее обширные труды из своих прежних статей о «Людях сороковых годов» и новые статьи о науке религий; но все это прерывалось ранее окончания или осуществления[113]. В марте 1886 г. Лавров решился осуществить свой план труда по истории мысли, отказавшись уже от надежды напечатать этот труд в России при существующих там условиях для прессы. Он начал писать его, не имея даже вовсе в виду средств для его издания. Нашелся издатель[114], обещавший дать деньги на издание первого тома, и на эти средства с декабря 1887 г. начали появляться в Женеве выпуски «Опыта истории мысли нового времени», в которых автор резюмирует все свои предыдущие работы. В то время, как пишутся эти строки (октябрь 1889 г,), появилось уже пять выпусков. — Переход Л. А. Тихомирова от революционного социализма к поддержке русского самодержавия вынудил Лаврова напечатать брошюру: «Письмо товарищам в Россию» (1888 г.). — Лавров сотрудничает в последнее время в «Социалисте»[115], издаваемом в Женеве, и в «Знамени»[116], издаваемом в Нью-Йорке. Восемь социалистических русских и армянских групп (из которых одна — петербургская) послали в 1889 г. Лаврова делегатом на конгресс социалистов, имевший место 14—21 июля в Париже, на улице Рошшуар. На этом конгрессе Лавров был избран в состав бюро и прочел перед конгрессом реферат о положении социализма в России. Этот реферат[117] был напечатан по-французски в «Société Nouvelle» и в «Revue Socialiste». Оттиски вышли и отдельною брошюрою, в небольшом числе экземпляров. В 1889 г. Лавров был избран председателем на собрании русских 25-го (13) мая в Café Voltaire в память М. Е. Салтыкова[118] и произнес там по этому поводу речь.

В продолжение пребывания Лаврова в Париже ему пришлось несколько раз произносить прощальные речи над могилами русских эмигрантов, между прочим и над могилою П. Н. Ткачева, 6 января 1886 г. (25 декабря 1885 г.)[119]. 30-го (18) октября 1889 г. он созвал через газеты и через частные приглашения русских, находящихся в Париже, чтобы почтить память Л. М. Когана-Бернштейна, повешенного в Якутске 19-го (7) августа того же года[120].

II

Учение

В многочисленных работах Лаврова, писанных в Петербурге, в ссылке и за границею в продолжение (34 лет (1855—1889 гг.) [121], а частью лишь изложенных словесно в речах и рефератах, удобнее рассмотреть особо следующие отделы: 1) Общее миросозерцание, 2) Этика, 3) Социология и социализм, 4) Построение истории и отношение ее к антропологии и 5) Практические задачи по отношению к России.

1. Общее миросозерцание

В своем детстве Лавров оставался постоянно на ступени привычного верования, не вызывавшего размышления, и никогда не проходил через фазис религиозного аффекта. Лет около 15—16 жизнь натолкнула его на размышления о философской задаче свободной воли, ответственности и необходимости, и он выработал в себе самый решительный детерминизм [122] в форме теистического фатализма, который отразился в разных ранних стихотворениях, но всего полнее в позднейшем: «Предопределение» (кем-то помещено в одном заграничном сборнике) [123]. Занимаясь сам со страстью стихотворством, Лавров придавал поэзии в молодости романтически-преувеличенное значение в мысли и жизни, в особенности же примирительную роль между религией и наукой (что опять-таки отразилось в некоторых стихотворениях, например, в позднейшем, нигде не напечатанном: «Первая глава книги Бытия»), и долго считал теистическое миросозерцание наиболее поэтическим, как форму мысли, даже когда отрекся в своем убеждении от всякого теистического элемента. С аргументами материализма Лавров ознакомился лет 22-х. Лет около 30-ти его миросозерцание в общих чертах установилось, но оно для него самого уяснилось, и выработалось в подробностях лишь в процессе литературных работ в конце 50-х годов. С тех пор он не нашел ни нужным, ни возможным изменить его ни в одном существенном пункте.

Для знакомства с общими философскими воззрениями Лаврова материалами могут служить частью его прежние статьи в «Энциклопедическом словаре» об «Антропологической точке зрения», в «Отечественных записках», о «Механической теории мира» и «Три беседы о современном значении философии» (1861 г.), частью позднейшие работы, особенно же лекции по основным вопросам философии,

читанные им в 1883—84 гг., и некоторые главы его последнего исторического труда [124].

Для миросозерцания, которому Лавров следует, он предпочитает употреблять название антропологизма. Он видит первое проявление этого направления у Протагора [125], находит возможным проследить его воззрения у древних скептиков [126], особенно во второй Академии [127], когда вырабатывалось понятие о вероятнейшем, впоследствии у новых теоретиков опыта и у сенсуалистов [128]; еще более основательное подготовление находит у Эммануила Канта [129]; в принципиальных положениях философии Людвига Фейербаха [130] признает установление определенных начал антропологизма; затем находит важные исправления и дополнения в этом отношении в трудах нео-кантианцев [131] и особенно Альберта Ланге [132]. При этом Лавров допускает, что материализм, позитивизм и эволюционизм, оставаясь односторонними, дали весьма важные частные указания для построения научной философской системы. Системы, заключающие в себе сверхъестественное начало — спиритуалистический дуализм и идеалистическую метафизику, — Лавров считает вносящими в философские построения наиболее патологических элементов. В журнальных статьях, перечисленных отчасти выше, Лавров высказал свое отношение к позитивизму, к философским трудам Спенсера, к пессимизму, к гегелизму и к некоторым другим направлениям идеализма [133].

Для него философская мысль есть специально мысль объединяющая, теоретически-творческая в смысле объединения, черпающая весь свой материал из знания, верования, практических побуждений, но вносящая во все эти элементы требование единства и последовательность.

С точки зрения антропологизма, по мнению Лаврова, невозможно знать так называемые вещи сами в себе, или сущность вещей. Теоретический и практический миры остаются неизвестными по их сущности и представляют для человека совокупность познаваемых явлений с непознаваемою подкладкою. Следует решительно отказаться от познания этой метафизической сущности и ограничиться, при философском построении, гармоническим объединением мира явлений. Именно надо отыскать точку исхода, не безусловно истинную, но неизбежную для нас по способу организации нашего мышления, и надо расположить около этих положений всю область мышления о явлениях по степени вероятности их для нас.

По мнению Лаврова, всякое мышление и действие предполагает, с одной стороны, мир, как он есть, с законом причинности, связывающим явления; с другой стороны, пред-

полагает возможность постановки нами целей и выбора средств по критериям приятнейшего, полезнейшего, должного. Но то и другое существует не само по себе, а для нас, следовательно предполагает человека в общественном строе, при взаимной проверке и взаимном развитии мнений о мире и о целях деятельности. Следовательно, основною точкою исхода философского построения является человек, проверяющий себя теоретически и практически и развивающийся в общежитии. На этой неизбежно-догматической для человека почве мышления единственно может работать критика для построения стройной и рациональной системы мира мыслимого и мира практической деятельности.

В таком случае элемент наиболее вероятнейший, совершенно неизбежный для всякого мышления и для всякой деятельности человека, есть, прежде всего, его собственное сознание. Далее вероятно одинаковыми или одинаково неизбежными предположениями всякого мышления и всякого действия оказываются: 1) реальный мир, однородный тому, что установилось в представлении человека как его собственное тело, реальный мир, в котором все связано с законом необходимости и в котором основанием является субстрат [134], движущийся и вызывающий представления; 2) постановка личностью целей и выбор ею средств для деятельности в мире, часть которого она составляет. Третьим по степени вероятности, но вполне необходимым для научной философии, является положение о возможности для личности, проверяющей себя и развивающейся в общежитии, критически оценивать: 1) степень уменьшения реальности явлений познаваемого им мира по мере отдаления этих явлений от элементарных понятий пространства, времени, движения, движущегося; 2) достоинство целей и средств практической деятельности. Скептическое отношение к последней ступени делает невозможною всякую научную философию. Скептическое отношение ко второй делает невозможной всякую философию вообще. Скептическое отношение к первой делает невозможным всякое мышление, всякую деятельность, да и само по себе невозможно.

Признавая критически вероятность этих трех ступеней построения системы, антропологизм допускает три здоровые области зрелого теоретического мышления: 1) знание; 2) свободное, сознательное творчество искусства; 3) критически объединяющее творчество философское. Он признает зародышною или патологическою область религиозного мышления, не отрицая его важной роли в истории, как всякого зародышного фазиса в эволюции зрелых форм.

В научной системе антропологизма человеческое «я»,

проверяющее себя и развивающееся в общежитии, является философским центром одновременно как продукт всего мыслимого (именно продукт механической системы мыслимого мира) и как строитель всего мыслимого, в своем стремлении: 1) к мыслимой истине (что дает метод логического мышления, установленные факты точного знания, наконец систему вероятнейшего миросозерцания); 2) к лучшей жизни личности и общества в их взаимодействии (что дает развитие представлений о наслаждении и развитие индивидуальных идеалов в личности; развитие требования художественного творчества в связи с предыдущим; развитие справедливейших форм общежития; прогрессивную историю).

Религиозное настроение есть для Лаврова настроение патологическое и прямо противоположное научной критике. Он несколько раз возвращался к религиозным вопросам, всего ранее в статье о «Гегелизме» («Библиотека для чтения») и о «Современных германских теистах», позже — в «Развитии учений о мифических верованиях» («Современное обозрение»), в статьях: «Цивилизация и дикие народы» («Отечественные записки»), «Новая наука» («Знание»), «Теоретики 40-х годов в науке о верованиях» («Устои»), в рефератах, прочтенных в Париже по поводу приезда Фрея, наконец в своем последнем историческом труде, особенно в выпуске VI первого тома. Признавая обширную роль религии в эволюции человечества, особенно в доисторический период, Лавров пытался доказать, что собственно все творчество религиозной мысли принадлежит этому периоду; в течение же истории под названием религии работает исключительно мысль философская, эстетическая и, позже, нравственная; религиозный элемент все атрофируется и встречается лишь в переживаниях прошлого, и цивилизация нового времени есть, по своей существенной характеристике, цивилизация светская, стремящаяся выделить из себя всякий религиозный элемент, который, окончательно, и должен из нее исчезнуть.

В понимании природы Лавров, на основании предыдущего, становится по необходимости на материалистическую точку зрения, видоизмененную эволюционизмом. Он считает необходимым для человека различным образом понимать требование открытия законов в науках повторяющихся явлений и в науках эволюции, хотя признает, что это — различие в точках зрения на явления природы, а не в существенном понимании этих явлений. Он отрицает правильность распространения понятий о жизни, сознании и общежитии за пределы органического мира и распространения понятия об обществе на скопления особей, в которых нельзя признать присутствия сознания. На ступени органических

существ он считает, что явление сознания и явление общественной солидарности представляют для организмов могущественные орудия в борьбе за существование и что, поэтому, человек, для успеха в этой борьбе, развивает и должен развивать понятие о сознательной солидарности всего человечества, ставит его целью личной и общественной деятельности и целью настоящего процесса истории, вырабатывающего социалистическую солидарность кооперативного труда взаимно развивающих друг друга личностей, как выход из конкуренции личностей, борющихся между собою за существование, за барыш, за монополию наслаждений (об этом преимущественно — «Задачи социализма» в «Вестнике Народной воли»)[135]. Лавров особенно подчеркивает, при рассмотрении биологического дифференцирования особи и общества, различие идеальных типов биологического и социологического организма, из которых первый стремится выработать господство сознания в одном элементе с засыпанием сознания во всех остальных, последний же стремится выработать наибольшее возможное сознание в отдельных элементах и на развитии этого сознания особей основывает идеальную солидарность частей общественного организма между собою и с целым. Впрочем, вопросам, относящимся к естествознанию, Лавров посвящал мало доли в своих трудах, кроме роли вступительных понятий в историю человеческой мысли.

Своим немногим работам по вопросам логики, психологии и эстетики Лавров не придает особого значения. Сюда относятся его примечания к русскому переводу «Логики» Милля[136], статья «О принципах и аксиомах» (труд, оставшийся в рукописи), отчеты о немецкой психологии в «Отечественных записках» 50-х годов[137], статья о психологии Кавелина в том же журнале 70-х годов[138], статья о «Лаокооне» Лессинга в «Библиотеке для чтения» конца 50-х или 60-х годов[139]. Несколько более обработаны главы, относящиеся к психологии, в «Опыте истории мысли нового времени», кн. I, гл. 3.

Лавров несколько раз возвращался к вопросу о систематической классификации наук. Этому посвящен первый труд, напечатанный им в «Общезанимательном вестнике»[140], затем ряд статей: «Очерки систематического знания» в журнале «Знание» (неоконченный), и к этому вопросу он возвращался эпизодически и позже. В настоящее время Лавров признает, что рациональная классификация наук должна неизбежно изменяться при развитии знаний, при углублении философского понимания человека и его потребностей и при изменении практического распределения занятий ученых и мыслителей по вопросам, возникающим в разные эпохи.

2. Этика

Лавров в продолжение всей своей литературной деятельности особенно занимался вопросами этики, начиная брошюрой «Очерки вопросов практической философии: Личность», продолжая статьею в «Отечественных записках» 1870 (или 1871 г.) «Современные учения о нравственности и ее развитие» (по поводу книги Лекки) [141] и кончая статьею «Социальная революция и задачи нравственности» в «Вестнике Народной воли», не упоминая о более случайных или частных трудах.

Для Лаврова область нравственности не только не прирождена человеку, но далеко не все личности вырабатывают в себе нравственные побуждения, точно так же, как далеко не все доходят до научного мышления. Прирождено человеку лишь стремление к наслаждению, и, в числе наслаждений, развитый человек вырабатывает наслаждение нравственною жизнью и ставит это на высшую ступень в иерархии наслаждений. Большинство останавливается на способности расчета пользы. Нравственная жизнь начинается в элементарной форме выработкою представления о личном достоинстве и стремлением воплотить в жизни это достоинство, которое в этой форме становится нравственным идеалом. Нравственная жизнь получает прочную основу, когда человек сознает, что процессу этой жизни присуще развитие, вырабатывает в себе способность наслаждения собственным развитием и потребность развиваться. По самой сущности этого процесса от него нераздельна критика; нравственный аффект оказывается единственным аффектом, допускающим и требующим критику. Это самое дает для этики, рядом с субъективным признаком, необходимость выработать, развивать и осуществить в жизни убеждение. Первый объективный признак нравственного убеждения, что оно не может отрицать критику. Второй объективный признак нравственного убеждения зависит уже от того антропологического условия, что человек не может жить вне общества, и потому его нравственность не может быть исключительно личною, но должна быть в то же время нравственностью общественною, т. е. допускать и требовать укрепления и расширения общественной солидарности. Отсюда признание за другими личностями человеческого достоинства и требование поступать с ними сообразно их достоинству, т. е. требование справедливости, как формулирующее и исчерпывающее объективный признак общественной нравственности. По мнению Лаврова, вся этика исчерпывается основными понятиями достоинства, развития, критического убеждения и справедливости. Для развитого чело-

века они так же определенны и обязательны, как понятия геометрии, все же остальные правила нравственной казуистики или морали не имеют ничего прочного, но обусловливаются своим отношением, при данных обстоятельствах, к этим основным понятиям. Отношение этой этики, которую Лавров считает научною, к утилитаризму он устанавливает следующим образом: вследствие того, что большинство людей не дорабатывается до степени нравственного развития и остается на ступени расчета пользы, Лавров считает, что аргументация утилитаризма — в большинстве случаев совпадающая в выводах с тем, что он считает научною этикою — гораздо чаще может быть приложена в нравственном обсуждении мыслей и поступков, чем аргументация научной этики, годная лишь для людей уже развитых. Впрочем, Лавров признает, что все утилитаристы, допускающие оценку пользы не только количественную, но и качественную, стоят уже более или менее сознательно на почве научной этики. Кроме того, так как требование справедливости на практике ведет к осуществлению справедливейшего строя общества, а это большею частью приводит к борьбе, относительно которой справедливость указывает лишь необходимость борьбы, а не формы ее, то, при определении этих форм борьбы в частности, утилитаризм является едва ли не единственным руководящим приемом для развитого человека.

3. Социология и социализм

Социологические вопросы Лавров разрабатывал, кроме своих трудов по этике, еще более специально в «Исторических письмах», в статьях о социализме во «Вперед», в «Вестнике Народной воли» и в беседах о социологии для небольшого кружка русских социалистов-пропагандистов — беседах, о которых сказано выше. Впрочем, экономическим вопросам он не посвящал особых работ, признавая себя учеником Маркса с тех пор, как ознакомился с его теорией, но преимущественно исследуя вопросы социологии по отношению к теории прогресса, к этике и к истории.

Для Лаврова социология есть наука, исследующая формы проявления, усиления и ослабления солидарности между сознательными органическими особями, и потому охватывает, с одной стороны, все животные общества, в которых особи выработали в себе достаточную степень индивидуального сознания, с другой — не только существующие уже формы человеческого общежития, но и те общественные идеалы, в которых человек надеется осуществить более солидарное и вместе с тем, следовательно, и более спра-

ведливое общежитие, а также те практические задачи, которые неизбежно вытекают для личности из стремления осуществить свои общественные идеалы или хотя бы приблизить их осуществление. Приложение к обществу понятия об организме возможно, но должно им пользоваться крайне осторожно, имея постоянно в виду то существенное различие биологического организма от социологического, которое указано выше. Общественные формы являются как изменяющиеся в истории продукты общественного творчества личностей в виду их блага, и потому личность всегда имеет право и обязанность стремиться изменить существующие формы сообразно своим нравственным идеалам, имеет право и обязанность бороться за то, что она считает прогрессом (постоянно подвергая критике, по основным требованиям этики, свои представления о прогрессе), вырабатывая общественную силу, способную восторжествовать в подобной борьбе. На почве основных требований этики объективными признаками прогресса являются одновременное усиление сознательных процессов в особи и солидарности в обществе, при расширении этой солидарности все на большее и большее число особей. Из четырех побудительных причин человеческой деятельности: обычая, аффекта, интереса и убеждения, первая безусловно противна критике и прогрессу, который всегда заключается в постепенном освобождении человека, по мере его развития, от уз обычая (в форме привычек или преданий). Личный аффект является то помехою, то содействием прогрессу и приобретает все более последний характер лишь настолько, насколько он переходит в аффект общественный и, подчиняясь критике, становится аффектом нравственным. Вследствие того, что большинство руководится лишь расчетом пользы, интерес является до сих пор самым общим общественным побуждением, и в каждую историческую эпоху прогрессивное движение прочно лишь тогда, когда интересы большинства совпадают в своих общественных идеалах с убеждениями наиболее развитого меньшинства. В настоящую эпоху социализм, как общественный идеал, вполне удовлетворяет этим требованиям: он представляет интересы рабочего большинства, насколько оно проникнуто сознанием классовой борьбы; он осуществляет для развитого меньшинства идеал справедливейшего общежития, допускающего наибольшее сознательное развитие личности при наибольшей солидарности всех трудящихся, идеал, способный охватить все человечество, разрушая все разграничения государств, национальностей и рас; он есть для личностей, наиболее вдумавшихся в ход истории, и неизбежный результат современного процесса экономической жизни. По-

этому расчет интереса всякого трудящегося, одновременно с нравственным аффектом развитой личности, желающей отплатить человечеству за свое развитие — так дорого стоившее предыдущим поколениям — и с стремлением этой личности осуществить наиболее справедливое общежитие, наконец, одновременно с побуждением наилучше понимающей личности облегчить необходимый процесс истории, — должны побуждать всякую развитую личность становиться в ряды социалистов, стремиться усилить их организацию, как общественной силы, бороться энергически против всех препятствий к осуществлению их общественного идеала и содействовать этому осуществлению всеми орудиями слова и дела, доступными личности.

4. История и ее отношение к антропологии

Довольно значительная часть трудов Лаврова, даже монографических, имеет исторический характер. Он всегда имел склонность рассматривать всякое явление в его генезисе, и потому введения в его различные работы занимают весьма часто не менее места, как и самые работы; многие начатые им труды остановились на исторических введениях к ним. К середине же 60-х годов он все более занимается планами обобщающих исторических трудов. Прежде всего он обращает внимание на историю науки и на роль, которую играет наука в истории вообще. Сюда относится читанный им и печатанный в двух официальных изданиях неоконченный очерк истории физико-математических наук и лекции о влиянии хода науки на военное дело [142]; впоследствии же этому предмету посвящены некоторые статьи о роли науки в истории цивилизации, о ее роли специально в период Возрождения и т. п. [143] С самой минуты ареста — за которым, как он не сомневался ни минуты, должно было следовать прекращение его педагогической деятельности — он начинает вырабатывать план истории мысли. В одном из сборников того времени напечатана небольшая статья: «Несколько мыслей об истории мысли» [144], а под арестом набросана карандашом полная программа всеобщей истории, преимущественно с точки зрения развития мысли. В вологодской ссылке он в продолжение трех лет разрабатывает эту программу и план истории, состоящей из отрывков разных авторов, но группированных систематически по строго определенной программе подчинения второстепенного существенному. Этот подготовительный материал наполняет целые тетради, а одну небольшую эпоху из средневековой истории Лавров разработал даже довольно подробно по имевшимся у него тогда материалам. Подобный

же опыт, имевший более значение программы, чем разработанного труда, напечатан им в «Отечественных записках» для периода Возрождения и реформации: «Роль науки в эпоху Возрождения и реформации», но с преимущественным поставлением на вид элемента науки. Тогда же помещены там же: «Историческое значение науки и книга Уэвеля» и в «Знании»: «Научные основы истории цивилизации».

В 1870—71 году за границей один тогдашний приятель (впоследствии совершенно отрекшийся от сношений с ним) [145] предлагает ему заняться историею нового времени с указанной уже точки зрения, и начинается подготовка этого труда (впрочем, скоро прекратившегося, так как изменчивый характер личности предлагавшего работу недолго остановился на этом плане). С 1873 до 1875 г. Лавров находит возможность серьезно приступить к «Опыту истории мысли», и первый выпуск ее появляется, ограничиваясь лишь общим планом и началом периода подготовления мысли вообще. Но в 1875 г. и это обрывается. Сознавая, что в этом случае план был слишком широк, Лавров продолжал его обрабатывать и подготовлять его исполнение хотя бы частями, не теряя надежды, что хотя сколько-нибудь подвинет вперед его осуществление.

В начале 80-х гг., как сказано выше, он имел некоторое время основание думать, что этому труду будет возможно появиться в пределах России. Но в конце 1884 г. это оказалось совершенно невозможным. Тогда он с весны 1886 г. стал готовить к печати за границею, уже не стесняясь никакими условиями цензуры, существующими в России, тот «Опыт истории мысли нового времени», который теперь печатается, но относительно которого, при теперешних годах Лаврова, есть основание сомневаться, удастся ли ему кончить этот труд, и во всяком случае приходится сказать, что Лавров приступил к нему несколько поздно. Начиная его без надежды иметь для него сейчас издателя, Лавров предпослал тексту предисловие, в котором объяснял предполагаемому позднейшему читателю условия происхождения этого труда и его отношение к предыдущим. Получив возможность издать первый том, он не нашел нужным печатать это несколько интимное объяснение с читателем, предоставляя его себе переделать в конце труда (если этот труд удастся кончить) как «объяснение автора с читателем».

Основные особенности исторического понимания Лаврова заключаются в следующем.

История, как процесс, есть процесс развития, т. е. неповторяющихся явлений, и отличается от других подобных процессов тем, что ее явления обусловлены положительным

или отрицательным проявлением в них прогресса, т. е. увеличения сознания в личности и солидарности между личностями во взаимной связи этих элементов между собою. История, как наука, есть отыскание закона последовательности в фазисах развития сознания в личностях и солидарности между личностями. Ее главная задача заключается в отделении для каждой эпохи, в области сознания и солидарности, характеристических черт эпохи от переживаний в ней старого и от зародышных подготовлений нового.

Поэтому для Лаврова к важнейшим вопросам истории, как науки, относится разграничение ее от антропологии и разделение ее на периоды по существенным признакам процесса исторического развития.

Антропологии, ее систематическому разделению и ее состоянию в 60-х годах Лавров посвятил несколько статей в журналах еще во время своей вологодской ссылки. Сюда относятся «Антропологические очерки» в «Современном обозрении», «Антропологи в Европе» и «Цивилизация и дикие народы» в «Отечественных записках», «Обзор иностранной антропологической литературы» в «Библиографе», наконец небольшие заметки в «Вологодских ведомостях». Как член парижского антропологического общества и сотрудник журнала Брока, он кое-что печатал по этому предмету и во Франции. Вопросу о разграничении антропологии от истории особенно посвящены труды Лаврова: «Цивилизация и дикие народы», брошюра «De l'idée du progrès dans l'anthropologie» [146], и этот вопрос разобран как в «Опыте истории мысли», так и в «Опыте истории мысли нового времени» (особенно см. «Вступление», гл. 2).

Основное различие для Лаврова заключается в следующем: к антропологии относится вся деятельность личности и группы личностей, бессознательная, инстинктивная, и та доля сознательной деятельности, которая заключается в приспособлении к существующему; к истории относится деятельность личности и общества, которая заключается в выработке идеалов лучшего и в стремлении изменить существующее сообразно этим идеалам. Характеристическим признаком участия в исторической жизни для личности и для общества, поэтому, является наслаждение развитием и потребность в развитии. Это связано с обособлением деятельности, объединяющей философские мысли, от жизни по обычаю; но переход к исторической жизни становится вполне сознательным лишь с обособлением деятельности критической мысли. В этом смысле можно сказать, что исторический прогресс заключается в переработке культуры (т. е. обычных форм жизни) помощью мысли и в выработке ряда цивилизаций, в которых становится все менее доля,

принадлежащая обычаю, и все более доля, принадлежащая сознательной мысли, сперва в форме интересов, стремящихся к полезному (из которых большею частью преобладают интересы экономические), затем в форме убеждений, стремящихся к нравственному (сначала религиозных и метафизических, потом все более реальных и научных). Таким образом, вне истории остается все человечество в его антропологический период до появления исторических цивилизаций; остаются и в среде исторических цивилизаций все личности, которые или внешними причинами были поставлены еще в невозможность участвовать в исторической жизни, или, имея эту возможность, оказались, по внутренним причинам, неспособными в ней участвовать. Все они составляют достояние антропологии в той доле ее, которая, отмечая и биологические особенности, преимущественно исследует среди людей разнообразие форм обычных культур, в параллель тому, как зоология исследует культуру муравьев, пчел, воробьев, бобров и т. п.

Существенные вопросы для каждой эпохи истории заключаются для Лаврова в следующем: каким образом цивилизация этой эпохи подготовлялась в прошедшем. Каково было в эту эпоху распределение долей, принадлежавших, с одной стороны, обычной культуре и переживанию прежних эпох, с другой — развитию мысли, стремившейся к воплощению в жизнь интересов личностей и групп, входивших в цивилизацию эпохи, а также к воплощению в жизнь убеждений развитого меньшинства. Каким образом в жизни этой эпохи сознательно и бессознательно подготовились последующие эпохи той же цивилизации и цивилизации дальнейших периодов. Главную роль здесь играют, на основании предыдущего, во-первых, развитие сознания личностей, насколько оно расширяло солидарность между людьми, во-вторых, — скрепление и расширение солидарности между личностями, насколько оно способствовало развитию в этих личностях сознательности.

Поэтому и для истории, как науки, важны периоды, предшествовавшие истории, как процессу подготовления человеческой мысли космическими и геологическими условиями, существовавшими для человека на земле, биологическими процессами развития сознания и общежития в мире биологических организмов, наконец, теми инстинктивными явлениями и работою мысли под господством обычая и доисторического человека, которые образовали почву для исторической жизни. Эта почва представляет особый интерес в разных формах доисторической техники, в разных доисторических приемах украшения жизни, в первых попытках работы теоретической мысли у доисторического че-

ловека, где самая большая доля принадлежит мысли религиозной, наконец, в творчестве первобытных общественных форм, составляющих предмет изучения эмбриологии общества.

При разделении истории на периоды по существенным признакам процесса исторического развития Лавров руководствовался следующими началами.

Создаются сперва обособленные национальные цивилизации, в которых работа критической мысли почти незаметна и которые составляют слой как бы нового, более выработанного обычая. С появлением критической мысли в философских школах, независимых от религиозного обычая, появляются и первые попытки общечеловеческого универсализма; сначала для меньшинства исключительно развитых и независимо мыслящих личностей, для которых доступны одни и те же приемы критики и творчества, потом для всех подданных одного государства, охваченных действием одного и того же сознательно установленного закона, независимо от существующих обычаев и национальностей; наконец, для всех верующих в одну универсальную религию, не знающую границ ни политических, ни этнических. Все эти попытки оказываются неудачными, так как игнорируют экономические условия, вызывающие все более ожесточенную борьбу классов и потому не дозволяющие установления прочной солидарности. Новая европейская цивилизация характеризована преимущественно обстоятельством, что она есть и должна быть цивилизация светская, постепенно выделяющая из себя все религиозные элементы. Она начинается противоположением обособления государств, не знающих никакой солидарности между собою, универсализму как в области точной науки, освобожденной от всех уз обычая и религиозного догмата, так и в области индустрии, которая создает всемирные экономические интересы, независимые от политических. Новейший период этой цивилизации обозначен политическим господством буржуазии, представительницы универсальной индустрии, и господством науки (в ее высшей форме — социологии) в политической и экономической области, прежде не входившей в сферу науки. Огромное большинство человечества остается еще вне истории, частью как принадлежащее к неисторическим народностям; частью — как входящее в классы исторических народностей, настолько подавленных борьбою за существование, что для них, по внешним условиям, невозможно участие в истории; частью же — как принадлежащее к господствующим классам передовых народов, но, по внутреннему бессилию, не выработавшее ни наслаждения развитием, ни потребности в нем и потому остающееся при низших потребностях и вкусах

дикаря. Историческая эволюция имеет место, как имела место с самого начала исторического времени, лишь в меньшинстве интеллигенции, которая одна познала наслаждение развитием, ощутила в нем потребность и с тем вместе стала жить исторической жизнью. В настоящее время это развитое и развивающееся меньшинство выработало уже идеал личного достоинства и общественного строя, способный охватить все личности и племена, которым станет доступна потребность развития. Универсалистический идеал человечества, связанного интересами коллективного труда и убеждением в потребности всеобщего справедливого общественного строя, стоит теперь в теории научного социализма лицом к лицу с заостряющейся и расширяющейся классовой борьбою, из которой старый строй не находит и не может найти исхода и которая все больше выказывается как основная помеха человеческой солидарности. В борьбе за существование, перешедшей от мира организмов вообще в человеческую историю, образование солидарного общежития всего человечества позволит направить более энергически коллективную работу последнего на три главные задачи исторического процесса, именно: на господство над природою, на установление царства человека над животным миром и на устранение борьбы за существование в среде человечества, когда разумная кооперация заменит конкуренцию во всех ее видах. С этой точки зрения философия истории заключается, для всех прошедших периодов ее, в постепенном разрушении царства обычая в пользу царства конкурирующих интересов, при медленном расширении элементов царства нравственных побуждений; для настоящего — в задаче установления социалистического строя, который дает первую историческую почву для построения царства нравственных убеждений; для будущего — в более или менее постепенном разрушении конкурирующих интересов и остатков царства обычая в пользу господства во всех частностях общественного строя царства нравственных убеждений. Отсюда не только трудность, но даже почти невозможность нарисовать себе в подробностях сколько-нибудь удовлетворительную картину возможного будущего строя общества: все элементы, которые может нам доставить воображение для подобной картины, приходится черпать из прошедшего и настоящего, где почти исключительно господствовали обычай или конкуренция интересов, тогда как нравственные убеждения если и проявлялись, то в личной деятельности, а не в формах общежития; картина же будущего строя, к которому стремятся все развитые люди нашей эпохи, должна представить нам формы общежития, проникнутые господством нравственных убеждений. Поэтому

развитому человеку нашего времени нет основания предаваться бесплодным мечтаниям о подробностях формы будущего строя, к которому он стремится. Он должен иметь в виду лишь общие характеристические черты этого строя; он стремится в борьбе за социалистический строй разрушить современные формы в пользу общественных форм лучших, но на первое время еще аналогических современным формам, так как ближайший строй будущего должен быть результатом существующей классовой борьбы. Развитый человек нашего времени стремится воплотить в своей личной жизни возможно большую долю солидарности с убежденными социалистами и возможно большую долю справедливости по отношению к людям вообще, при существующих условиях этой классовой борьбы.

5. Практические задачи по отношению к России

Социалистический идеал Лаврова уяснялся постепенно. С ранних лет знакомый с утопистами начала нашего века, но не видя почвы, на которой социалистические идеалы могли бы быть осуществимы, Лавров сперва, добыв себе место в литературе, пытался лишь содействовать устранению препятствий ясному сознанию истины и справедливости в личности и препятствий сознанию необходимости солидарности в обществе; он пытался делать это распространением более ясного понимания и более научного миросозерцания. Но с самого начала своей литературной деятельности необходимость политического и социального переворота была для него очевидна, и указания на это можно легко найти в его печатных произведениях, в особенности же в его стихотворениях. Тем не менее он не видел и в это время почвы не только для социального переворота, но даже для политического действия вне медленной подготовки умов. Когда, во время волнений начала 60-х годов, депутация офицеров Артиллерийской академии пришла просить его совета, следует ли им участвовать в готовившейся уличной демонстрации, он положительно отсоветовал им это, прибавив, что если минута придет, когда подобную демонстрацию он сочтет нужною, он не только скажет им это, но сам пойдет вместе с ними. Довольно долго Лавров допускал возможность гармонии интересов личности господствующего класса и интересов большинства подчиненного класса; допускал это даже для личности, руководящейся только расчетом собственной пользы, а не развитием нравственных убеждений. Это допущение было одною из самых крупных, по его мнению, ошибок, от которых ему пришлось отречься впоследствии, но которая оставила след во многих его произведениях. Появ-

ление Интернационала и знакомство с ним убедило Лаврова, во-первых, в существовании реальной почвы для социального переворота, во-вторых — в существовании непримиримой борьбы классовых интересов, над которой может возвыситься развитая личность господствующих классов лишь силою своего нравственного убеждения. Тогда Лавров счел своею обязанностью содействовать социальному перевороту в том виде, как его требовала программа Интернационала. Политическую революцию для России он считал в эту эпоху полезною лишь в тесной связи с переворотом социальным, как революцию, опирающуюся на довольно широкое народное движение. Политический переворот в России, чуждый экономических задач, он считал вредным, как образующий почву для такой же классовой эксплоатации народа, которая имеет место на Западе под формою либеральных учреждений. Тем не менее он ни минуты не допускал отречения от политической оппозиции существующему абсолютизму, полагая необходимым, насколько возможно, при всяком отвоевании у правительства доли силы, действовать в смысле внесения экономического элемента во все политические требования, и это с помощью привлечения возможно большей доли низших классов общества к политической агитации.

Но Лавров ясно сознавал, что ни народ не готов к социальному перевороту, ни интеллигенция не усвоила себе в достаточной мере то социологическое понимание и то нравственное убеждение, которые одни могут выработать в последних искренних социалистов. Он считал, поэтому, необходимым подготовление социальной революции в России путем развития научной социологической мысли в интеллигенции и путем пропаганды социалистических идей в народе. Поэтому он с радостью принял на себя обязанность социалистического пропагандизма в России, когда ему предложили редакцию «Вперед». Согласно предыдущему, он поставил задачею своим сторонникам подготовить социальную революцию в России развитием в пропагандистах социализма знания вообще, знания России в особенности, социалистических привычек в частной жизни, — и пропагандою социализма в народе, пропагандою, которая, по мнению Лаврова, должна была попутно служить и оружием агитации против правительства. Вопросы централизма и федерализма, тогда столь волновавшие бакунистов и их противников, он считал второстепенными и решение их зависящим от случайной выработки среды и распределения в ней интеллигентных сил. Защитник требования уменьшить в каждую эпоху государственный элемент в обществе до возможного минимума и надеясь, что, при полном господстве социалистического

строя, этот минимум близко подойдет к нулю, Лавров никогда не был сторонником анархизма в настоящем, тем более в организации революционной партии. Всего полнее он высказал свои понятия о государстве и свое отношение к политическим задачам революции в России в середине 70-х годов в труде «Государственный элемент в будущем обществе» («Вперед», IV вып. I и единственный). Лавров оставил редакцию журнала лишь тогда, когда ему показалось, что его товарищи — пропагандисты «Вперед», слишком суживая свою программу действий, особенно в среде интеллигенции, отнимают у своей партии всякий боевой характер и потому недостаточно энергически борются с препятствиями, представляемыми пропаганде социализма политическим строем Российской империи. Когда этот недостаток энергии в борьбе с местными условиями повел к распадению партии чистой пропаганды в России, Лавров продолжал, насколько позволяло его положение, социалистическую пропаганду лично. Не имея возможности, по долгому отсутствию своему из России, опровергать все упорнее повторяемые уверения личностей революционных групп, что пропаганда в народе в России сделалась невозможна, а потому и подготовление пропагандистов бесцельно, что необходима «пропаганда фактом», возбуждение революционного духа примером, решительные удары, нанесенные правительству, — Лавров оставался при личном мнении, что, при искусстве и решимости, пропаганда была бы возможна, хотя должна бы пойти медленнее и требовать немало жертв. Он считал ее необходимою во всяком случае, рядом со всеми другими приемами агитации против правительства и прямого действия против него, так как не мог себе представить, чтобы какой-либо политический переворот, выгодный для большинства и, следовательно, имеющий в виду экономические задачи, мог иметь место без поддержки его народным движением, которое предполагает всегда предварительную пропаганду. В рефератах, которые он читал в Париже в 1877—82 годах [147], он много раз возвращался к указанию тех опасностей, которые представляют для успеха революционной партии в России анархические начала и террористические приемы. Он с радостью видел, что в самой России анархические начала мало-помалу исчезают, но не мог не заметить и того, что, рядом с ослаблением анархизма в России, все группы, кроме так называемых террористов, теряют значение в движении и успех революционного дела в России все более отожествляется с успехом этих «террористов». Поэтому он решительно отверг предложение стать во главе заграничного издания, объявлявшего войну этой партии, и считал войну против «Народной воли» прямо вредною для дела в России, если

история русского революционного движения выдвинула на первое место эту партию, поставившую себе непосредственною задачею потрясение самодержавия, а потом и его разрушение. Тем не менее Лавров тогда только вступил в союз с этой партией, когда убедился, что она остается социалистическою, признает важность социалистической пропаганды и направляет преимущественно свои удары против русского правительства лишь как против главного препятствия распространения социалистических идей в России. С тех пор, в продолжение своего участия в редакции «Вестника Народной воли», он смотрел на свою деятельность в этом издании как на теоретическое уяснение тех социалистических начал, которые остались основою деятельности этой революционной партии в России, в эпоху, когда она одна, в конце 70-х и начале 80-х годов, умела выработать нечто похожее на общественную силу. Для него вопрос о необходимости для России, до установления в ней социализма, пережить более или менее полно капиталистический строй, подобный тому, который имел возможность вполне развиться на Западе Европы — вопрос, вызывающий в последнее время довольно оживленные споры в среде русских социалистов, — есть вопрос, имеющий лишь спекулятивное значение и нисколько не изменяющий практических задач русского социалиста-революционера. Как только в России образуется организованная партия искренне-социалистическая, умеющая отстоять себя в общественной борьбе, умеющая привлекать к себе живые силы и организовать их для энергического действия, то Лавров считает, что, согласно с его нравственными и социалистическими убеждениями, он, как всякий убежденный социалист, обязан, даже не вполне соглашаясь со всеми пунктами программы партии, в союз с которой он вступает, и не вполне одобряя все ее действия, поддерживать всеми средствами ту действительную социально-революционную силу, которая сумеет на нашей родине более или менее успешно бороться за социалистические идеалы против препятствий, противопоставленных этим идеалом средою. В эпоху же, когда в России не существует подобной организованной общественной силы с социально-революционным направлением, личная пропаганда социалистических идей, не во имя какой-либо существующей партии, но прямо во имя самих этих идей, остается для него — как и для всех убежденных социалистов, по его мнению, — обязательною, несмотря ни на какие неудачи, препятствия и замедления движения. Процесс разложения современного капиталистического строя совершается с неотвратимою необходимостью; он должен рано или поздно доставить торжество социализму и вместе с тем унести те

политические формы, которые с ним несовместны. В этом случае практические задачи русского социалиста отожествляются с задачами социалиста-революционера всех стран. Русский социалист должен работать для торжества социализма, распространять его принципы в умах окружающих личностей, осуществлять их, по мере возможности, примером своей жизни. Он должен устранять, насколько может, и препятствия успехам социализма. Одно из таковых составляют политические формы, поддерживающие капитализм или составляющие переживания еще более архаического слоя цивилизации. Насколько можно, подобные формы надо стремиться устранить немедленно, не выжидая организации в стране рабочей партии, составляющей необходимое условие рационального социального переворота. Но при этом, рядом с этим, необходимо стремиться к осуществлению этого необходимого условия.

Сентябрь 1885 г.
и октябрь 1889 г.

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ [148]

Поклон и привет русскому от русского, человеку от человека. Давно, очень давно собирался я писать к вам, послать вам мою лепту в сокровищницу свободной русской мысли, сокровищницу, открытую вами; но только теперь нахожу возможным исполнить мое давнишнее желание, и посылаю вам несколько листков стихотворений, в которых я старался по мере сил отозваться на некоторые вопросы ближайшей современности. Не мне судить о достоинстве моих произведений. Вам, одному из наших лучших писателей, вам, в сочинениях которого я нашел много своих задушевных мыслей, своих искренних убеждений, вам предоставляю я обнародовать их, если найдете это полезным, или обречь их забвению, так как для них нет другого типографского станка, кроме вашего. Впрочем, я должен им предпослать несколько слов. Нет ничего мимолетнее политической поэзии, и бессмертие художественных произведений искусства не есть ее достояние. Политическая лирика живет, пока живет поколение, ей сочувствующее; это поколение вымирает; его заменяют другие люди, другие убеждения, другие увлечения; эти увлечения находят себе отголосок в новых лирических произведениях, а старые сходят со сцены: пройдут два-три века, и только библиограф или историк XIX века прочтет некоторые песни Беранже [149], Барбье [150] и т. д., только вечно живое, только общечеловеческое останется. Отрекаясь от художественного бессмертия, политический стихотворец может иметь в виду только действие на современность, и это действие тем решительнее, тем сильнее, чем вернее в поэтическом произведении отразилась современность с ее привычными верованиями, с ее горячими стремлениями. Поэзия есть примирение, примирение пошлости жизни с разумностью помысла в художественном изображении пошлости как зла, примирение разума науки с фанатизмом религии в поэтическом создании мифа, который, терпя свою объективную истину догмата, сохраняет субъективную красоту символа,

примирение прошедшего с будущим во имя их исторической связи, их логической преемственности. Поэтому политическая поэзия есть тем более поэзия современности, чем менее автор есть поэт кружка, чем менее его мысль есть отголосок одной его личности и чем более разнообразных оттенков общественных мнений сойдутся на примирительном поле его слова. Это я заметил и на произведениях, вам посылаемых. Совершенно неизвестный, я [151] часто прислушивался к рассуждениям об этих стихотворениях, и вероятно редко случалось автору слушать столь беспристрастные отзывы об его творениях, потому что редко удавалось настолько скрыться от общественного любопытства. Наиболее современное, наиболее производило впечатления из пяти политических произведений, вам посылаемых, это было второе, то самое, из-за которого я преимущественно вхожу в объяснения, потому что несколько сомневаюсь, захотите ли вы напечатать стихотворение, наиболее отходящее от ваших убеждений *.

Стихотворная деятельность доставила мне много часов высшего наслаждения, но она по времени занимает весьма малую часть в моих занятиях, поэтому я привык себя судить как другого.

Большая часть надежд и предсказаний не выполнены; мне грустно самому многое перечитывать. Но в свое время эти стихотворения имели огромный успех; их читали в разных концах России, и на них сходились чиновные петербургские снобсы со звездами, люди машинальной служебной деятельности и копеечного ералаша, помещики, спящие девять десятых своей жизни, и те потерянные в России личности, почетный отзыв которых, высказанный [152] не автору, а случайному собеседнику, был для меня единственной и лучшей наградой. Впрочем, ни в одном я не выражал только своей отдельной личной мысли; не замкнутый кружок, но много отдельных мыслящих и чувствующих русских — сочувствовали моему стиху, и потому я осмелился его послать вам. Закрепите вашим станком материал для будущего библиографа, для будущего историка, который бы захотел написать картину России в половине XIX века не по одним официальным документам и раболепным цензурно-печатным сведениям.

Да, между Россией Зимнего дворца и беззаботной, машинальной Россией миллионов, живущих день за день, думающих только о своем личном деле, о своей личной потребности, — между этими двумя Россиями есть еще

* Стихотворение, о котором говорит автор, мы не сочли возможным напечатать по многим причинам. *Ред.* [153]

третья, которая мыслит и чувствует, которая, делая свое черновое, ежедневное дело, отзывается и на мысль человеческую, и на европейскую науку, и на русскую народную потребность. Есть и в Петербурге, который вы так браните, есть и там люди, читающие ваши произведения не потому только, что они запрещены; порицающие действия правительства не потому только, что они, порицатели, не принадлежат к управлению; основывающие свое мнение не только на последнем листке иностранной газеты. Да, есть такие люди, и их гораздо более, чем полагает правительство и чем, вероятно, думаете вы сами; это клок людей весьма разнообразно образованных, это люди с весьма различными требованиями и стремлениями: от англоманов[154], поклонников консерватизма Гизо[155], шеллингистов[156] — до поклонников Прудона[157] и до славянофилов, отыскивающих в нашем давно схороненном минувшем начала лучшего быта для будущего; между ними встречаются все оттенки, все убеждения и, несогласные между собою во многом, они сходятся в одном — в праве свободной мысли, в необходимости внимательного изучения современных вопросов вообще и русских вопросов в особенности. Но в этом и заключается будущность России — совестливое изучение и свободное мышление собирают материалы, из которых построится здание нашего будущего отечества, когда настанет минута, великая минута изменения, — а она придет, необходимо придет... Вы в этом сомневаетесь; вы в ваших статьях «С того берега» оспариваете возможность прогресса, возможность закона необходимого улучшения. Я с вами в этом не могу согласиться: для науки, при ее нынешнем развитии, одинаково невозможно доказательство и отрицание великих вопросов совершенствования, свободы воли, причины существования известных законов природы, тем более законов истории; но с самого начала существования обществ человеку всегда представлялся ряд вопросов, на которые он был в необходимости отвечать, и между тем эти вопросы только в малой мере разрешены наукой и до нашего времени. Человек разрешал эти вопросы помощью фантазии, выражавшейся в религиозных верованиях и в поэтических созданиях; и это всегда так будет; разница только в том, что наука постепенно забирает по нескольку вопросов в свою сферу, не допускающую сомнения, да еще религиозные верования все менее и менее основываются на внешнем авторитете, а более на личной фантазии; тем не менее, так как формы, в которых может высказаться фантазия человека, не бесконечно разнообразны, — то между людьми образуются мно-

гие религиозные секты, новые религии. И всякая религия, догматы которой не противоречат современной науке, есть религия разумная до тех пор, пока она сознает свое отличие, как религия, от положительного знания науки.

Гипотеза невесомых жидкостей — одной, двух, или более — есть не факт науки, но догмат религии одной из современных сект; отчего же верование в необходимый прогресс человечества, в постоянное уменьшение несправедливости в человеческом обществе, отчего же это верование не может служить догматом для разумной современной религии? Это верование не противоречит ни научным фактам, ни внутренней потребности человечества. В полете пера, кружащегося в воздухе, при всей его видимой неправильности, существует закон, и этот закон приводится на измерение небольшого числа ускорений, определяющих движение; в истории человечества существует ли подобный закон? — Может быть, нет, может быть, да: наука не может решительно сказать ни того ни другого, но, не произнося своего решения, она тем самым позволяет человеку создать своей фантазией ответ, не противоречащий ее данным; аналогия же мира физического дозволяет, кажется, с большею вероятностью допустить необходимость всех нравственно-исторических явлений, чем случайность их. Да, мне кажется, можно принять вместо Гегелева: «все существующее — разумно» — другой догмат: «все существующее — необходимо». Но желание лучшего, справедливейшего, полнейшего развития жизни есть одно из духовных явлений в человеке; как сила существующая, необходимая, постоянная, это желание должно производить свое действие; совершенствование в некоторых отношениях, в некоторые определенные периоды времени есть факт истории; в таком случае ничто не противоречит и другому догмату моей религии — постепенному и необходимому совершенствованию человечества. Временные видимые отклонения от этого закона в движении истории не служат доказательством его нарушения, как пертурбации планет не служат противоречием закону Кеплера [158], но объясняются вместе с ним великою гипотезою Ньютона [159]. Доказать совершенствование, конечно, нельзя, но оно не приводит к противоречию и потому есть догмат одной из разумных современных религий, хотя и не факт науки.

И я верю в возможность преобразования и совершенствования России, не страшным переворотом, который разрушит все существующее, чтоб дать вырасти новому, но примирением прошедшего с будущим, примирением, которое, конечно, будет иметь свои жертвы, свои

потрясения, но не более другого исторического переворота. И когда в истории прошлое гибло безвозвратно? Самый фанатический победитель заимствовал всегда коечто у побежденного, и следствием непримиримого, повидимому, столкновения двух противоположных общественных стремлений было всегда нечто новое, непохожее на идеал обоих боровшихся стремлений, но примирившее их в себе неожиданным образом.

Ваш голос есть одна из сил, участвующих в перестроении Руси, но эта сила не единственная, и будущее движение определится совокупным действием всех сил, присущих нашему отечеству. Но очень трудно судить об этих силах особенно у нас, при разнообразном наслоении образованностей, при совершенном отсутствии публичности, при отсутствии замечательных личностей, около которых можно было бы сгруппироваться, при общем незнании наших средств и потребностей, незнании, которое одинаково и в правительстве и в обществе. Следствием деспотизма предыдущего государя [160] было полное удаление способных людей из управления; в наше время трудно назвать пять, шесть человек, которым бы можно было быть советниками императора, а без способных людей в управлении какая же мера возможна?

Освобождение крестьян есть точно мера необходимая, но кто же из правительственных лиц способен ее выполнить как следует? Самые доброжелательные люди в государственном совете сочинили бы проект едва ли исполнимый и который бы наверно повлек за собою тысячи неустройств. Люди, служащие всю жизнь в Петербурге и приезжающие наездом в губернии, не имеют понятия о потребностях и средствах сельской жизни. — Самые помещики, поверьте, большею частью сознают необходимость освобождения, но не знают, как приняться за дело. Логическая несправедливость рабства очевидна, но история имеет свои права, и логика должна решать вопросы истории, а не отрицать их. Часто, защищая ваши мысли в кругу знакомых, я слышал сильные нападки на вас за то, что, требуя освобождения крепостного сословия, вы не указываете практического пути к решению вопроса. Я вас в этом не обвиняю. Вы никогда помещиком не были, т. е. помещиком, жившим в деревне, управлявшим крестьянами и именьем; вы провозглашаете начало, предоставляя чернорабочим найти средства его приложения. Но тут встречается множество затруднений. Я не говорю уже о том, что мелкое дворянство едва ли не есть единственное сословие, на котором лежит надежда нашего будущего, едва ли это не наш русский tiers — état [161],

и его внезапное разорение не есть желательное событие; я не говорю и о том, что одно из главных начал материального благосостояния нашего отечества есть торговля хлебом, который, конечно, сбирается не с дурно обработанных крестьянских нив, а с помещичьих запашек, вследствие чего внезапное лишение рабочих рук для этих запашек есть вопрос государственный; я теперь хочу сказать только о благосостоянии самого крепостного сословия; дело не в том только, чтобы крестьянин был не крепостной, но чтобы он был точно свободен, чтобы устранить возможность злоупотребления его сил как чиновником, так и соседом крестьянином-кулаком; дело в том, чтобы освободить крестьян не нищими, полгода живущими на хлебе помещика, не по недостатку земли, а по недостатку труда в обработке своей нивы; дело в том, чтобы возбудить в крестьянах желание заработать себе своим трудом не только годовое пропитание, но и небольшой избыток; дело в том, чтобы отклонить его от страсти к мелкой промышленности и бродячей жизни и приучить к любви полевой работы.

Вы скажете, может быть, что все это само собою сделается, когда крестьянин будет свободен; я надеюсь, что вы правы, я верю этому, но из практиков дела этому многие не верят. Весьма многие полагают, что свобода при нераздельной общинной собственности не возбудит в крестьянах любви к труду, что этого можно достигнуть, только сделав крестьянина частным собственником, а это было бы начало того раздробления земли и пролетариата, который давит Западную Европу. Опыт в этих обстоятельствах производить страшно, потому что огромная ответственность лежит на производителях — ответственность пред Россиею и пред человечеством.

Единственным возможным путем была бы полная публичность, данная вопросу, дозволение всякому печатно высказывать свои мысли об этом предмете и, после совершенного уяснения вопроса печатной полемикой, повеление составить в каждом уезде комитет из помещиков для представления в течение двух или трех лет проекта освобождения для своего уезда. Наконец, по представлении проектов, собрание депутатов от всех уездов в Петербург или Москву, для составления плана освобождения крестьян в целой России, плана, согласного с началами справедливости и с существующим сельским хозяйством каждой местности.

Конечно, этот путь весьма длинен, но он единственный, по моему мнению, который представляет более других ручательств к разумному исполнению великого на-

чала. Но где министр, который решится предложить государю подобный проект и защищать его в государственном совете во время обсуждений, во время волнений, которые будут непременным его следствием? Где государь, который решится принять эту мысль и провести ее до конца, не останавливаясь на полдороге и не сворачивая на старую колею, когда большая часть мандаринов, его окружающих, укажут ему на множество частных неудовольствий, на необходимые следствия в будущем — весьма опасные для самодержавия, и при этом преувеличивая местные бедствия? Я не смею надеяться на явление такого самоотверженного министра и на такую широкую любовь к своему народу в государе, любовь, которая хочет не улыбки окружающих, не благодарности и сознания в самую минуту действия, но блага народа и отечества в будущем. Нет, надо слишком исключительные натуры, слишком героические качества в лицах правительственных, чтоб надеяться теперь же на приведение в действие плана, разумно задуманного и решительно исполненного. Здесь всего более опасаются волнения в народе, когда вопрос будет поднят; как будто этого волнения можно избегнуть? Как будто рано или поздно, в большем или меньшем объеме оно не проявится? Цель благоразумного правительства должна бы заключаться не в невозможном его устранении, а в приведении к наименьшей возмутительной величине. Но печатная полемика и рассуждения уездных комитетов едва ли так сильно подействуют на народ, особенно в спокойное время, когда нет особенных причин волноваться. Предлагаемый способ представил бы, я думаю, и наименьшую опасность для самих помещиков.

Но как далеко нынешнее правительство от самой мысли о решении вопроса этим способом, показывает следующее: вопрос об истории сельской общины, начавшийся между Чичериным [162] и Беляевым [163], мог легко возбудить и начал уже возбуждать статьи о несвободном состоянии, и немедленно вышло распоряжение не касаться страшного вопроса о крепостном праве. Когда государь был до коронации в Москве, то внезапно разлетелась из Москвы по всей России весть, что он сказал предводителям дворянства Московской губернии следующую речь: «Я знаю, господа, что между вами разнесся слух о намерении моем уничтожить крепостное право. В отвращение разных неосновательных толков по предмету столь важному, я считаю нужным объявить вам, что я не имею намерения сделать это теперь. Но, конечно, и вы сами знаете, что существующий порядок владения душами не может оста-

ваться неизменным. Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу. Прошу вас, господа, думать о том, как бы привести это в исполнение. Передайте слова мои дворянству для соображений».

Была ли точно сказана эта речь, или это чистая выдумка? Трудно решить [164]. По крайней мере циркуляры министра внутренних дел как будто опровергают первое предположение; мне говорили, что она была решительно отвергнута в Le Nord [165]. Но какая партия могла придумать подобную речь, которая быстро разлетелась, без изменения редакции, повсюду? Казалось бы, что придумать можно было речь и порешительнее. Между тем в народе существовало глубокое убеждение в том, что в день коронации крестьяне будут освобождены, об этом составилась даже легенда. В народе говорили (в Белоруссии), что нынешняя государыня, вступая в брак, сначала не соглашалась на него, чтоб не быть императрицей над страною, где господствует рабство, что она требовала и получила согласие жениха освободить мужиков по вступлении его на престол, что потом, когда он сделался императором, она напомнила ему обещание и со слезами умоляла исполнить, что он не соглашался сначала, но потом решился. Каким образом родился этот рассказ? Каким образом вошла в него эта чужестранка, мало знакомая народу? Отчего именно она сделалась центром народной сказки? Бог знает, но новая императрица есть довольно загадочное существо, по огромному разнообразию мнений об ней, даже лиц, которые бы, казалось, должны ближе знать ее [166].

Я говорил вам только об одном вопросе, об освобождении крестьян, и на этот раз не могу коснуться других, столь же важных, если не более. Может быть, представится еще случай мне написать вам, и я постараюсь им воспользоваться, чтоб повторить вам полное выражение моего сочувствия и уважения. Но не могу оставить пера, не сказавши вам еще несколько слов.

При шаткости правительственных начал, при недостатке руководящих личностей, что должно делать каждому из нас? Какая обязанность лежит на русском гражданине в настоящую минуту? Готовиться и исполнять свой долг, отвечаю я по крайнему разумению. Готовиться — изучением и очищением. Недостаток знания, его поверхностность, его односторонность есть одна из язв нашего общества, мы не знаем ни себя, ни отечества, ни общественных требований; едва коснувшись до вопроса [167], проникнув в его сущность, не устранив ни одного из его затруднений,

мы думаем, что мы решили вопрос; увлекаясь поочередно логикой, фантазией, рутиной, поочередно теряясь в разнообразии явлений или отрицая факты, чтобы удобнее от них отделаться, мы постоянно забываем, что только в цельном удовлетворении всем общечеловеческим началам заключается истина практическая, что отрицать существующего нельзя, но можно примирить разные его стороны между собою; наука спокойная и бесстрастная, наука, обнимающая природу и историю, наука духа, наука отечества должны составить первую ступень нашего приготовления.

Другое бедствие нашего общества есть нравственное унижение личности. Но только личности уважаемые могут быть полезны отечеству. Чтобы в данную минуту подать свой голос в важном вопросе пред судом отечества, надо, чтоб прошедшее не тяготело на нас, не грязнило нас, чтобы нам не нужно было от него отрекаться и менять лагерь. В этом случае полумеры губительны. Либерал, который среди тонких намеков на современное зло, кадит современному идолу, чтобы только прошло остальное, может быть и полезен в данную минуту, но он отрекается от будущего. Можно молчать и проходить безвестным среди знаменитостей, чувствуя, что мог бы стать наравне с ними; но лгать своему убеждению, чтобы высказать часть его, вредно. Русским и особенно тем, которые чувствуют в себе хоть сколько-нибудь силы, должно каждому стараться очиститься от греха лжи, идолопоклонства и унижения собственной личности, даже в мелочах. Только этим можно готовиться к будущему. Придет мгновение, так или иначе, когда болезнь, разлитая по жилам отечества, выразится кризисом более или менее сильным, более или менее опасным, — придет минута, когда эмпирики, шарлатаны, рутинеры отступятся от одра больного и когда сам больной потребует более рационального лечения. Будем молча готовиться к этой минуте, будем готовить к ней детей наших, чтобы кризис не застал нас врасплох, чтобы рутина не надсмеялась тогда над растерянностью разумных начал, — тогда смело и целиком выскажем давно созрелую мысль, тогда выступим на новую деятельность рядом честных личностей, — и если мы принесем отечеству хоть один достойный совет, если уменьшим страдание и удалим болезнь хоть одного органа, — мы не даром учились, наше семя принесло плод.

А пока мы будем делать свое дело: когда наиболее самоотверженные ставят свое знамя на берегах Темзы и, обрекая себя изгнанию, звонят в набатный колокол, не давая заснуть родине, — другие, не столь решительные, пусть добросовестно совершают ежедневный черновой труд.

Всякий из нас имеет, смотря по обстоятельствам, более или менее широкий круг деятельности, и в этом круге он может совершить благо. Будем исполнять свой долг. Чиновник, исполняющий совестливо свое дело, начальник, приучающий своих подчиненных к человеческому обращению, к любви и труду, учитель, старающийся влить в ученика результат современной науки, помещик, приготовляющий крестьян к будущей свободе улучшением их благосостояния, — исполняют свой долг и тогда, когда они не борются со злом взяточничества, высокомерия, невежественной рутины и барского своеволия, господствующих над ними и около них. В какой малой мере ни сделано добро, уже хороший пример принес какую-нибудь пользу. Пусть каждый из нас не отказывается от исполнения долга в малой мере по невозможности большей деятельности.

Вот моя программа. Согласны ли вы будете со мной? Мне кажется, хотя частью согласны. Этим кончаю мое письмо. Не старайтесь угадать мое имя, оно вам совершенно неизвестно. Его нет в печати на страницах журналов [168], его нет в высших сферах назначаемых и награждаемых [169], которые пестрят столбцы газет. Но я человек русский; я уважаю и люблю вас заочно.

ВРЕДНЫЕ НАЧАЛА[170]

Один из известнейших современных историков, который сам вписал свое имя в историю своей родины, видит в целой жизни человечества борение трех начал: авторитета, личности и общественности. Как знаменосец и жертва в борьбе за последнее начало в одну из бурных минут европейской истории, не мудрено, что он находит зло и недостатки при всяком проявлении первых двух начал и громит индивидуализм и авторитет во имя развития человечества [171]. Но не было и не будет эпохи, когда бы все эти три начала одновременно не присутствовали в жизни народов, переплетаясь между собою, то помогая одно другому, то вытесняя друг друга; зло в истории человечества не есть следствие одного из них; благо народов не заключается в исключительном торжестве того или другого. Каждое из них есть зло, когда оно безрассудно попирает оба остальные начала, когда, написанное на знамени фанатиков, оно признает только себе право существования и проповедует гонение приверженцев другого начала. Только гармоническое единство всех трех начал может доставить благоденствие народам; это единство есть задача будущего; это есть цель, к которой должно стремиться человечество рядом ошибок и частных попыток, трудами кабинетных ученых и деяниями государственных людей, и еще не скоро человечество может надеяться приблизиться к этой цели.

В самом человечестве три названные начала присутствуют одновременно, и каждое из них имеет в деятельности человека область, где оно является преобладающим. В области верований человек подчиняется авторитету. В области науки он уединяет себя от всего, что может помешать ясности мышления его личного разума и, как будто бы он был единое мыслящее существо в мире, ищет истину путем личного наблюдения, личного убеждения. В области практической жизни он поневоле зависит от общества, вырастает и развивается под его влиянием; в

своих самых эгоистических, как самых бескорыстных желаниях, в порыве страсти и в спокойном суждении ума он постоянно обусловлен обществом, имеет в виду общество, его блага, наслаждения, им доставляемые, препятствия, встречаемые в нем. Наконец, есть четвертая область, пока отвлеченная, но которая должна сделаться практическою. Она охватывает все три предыдущие области, постоянно стремясь заключить их в себе, слить их в одно прекрасное целое. Она старается проникнуть жизнь верованием и знанием, верования — истиною, старается соединить разнородные сведения в стройную единую науку и наложить на все это печать прекрасного, которое составляет ее сущность. Эта область творчества, область поэзии.

В каждом человеке, как в каждом обществе, преобладает одно из этих начал. Даже в каждый период жизни человека и общества одно из них выставляется ярче других. Пока это преобладание выходит из самого физиологического процесса развития человека и общества, до тех пор оно законно; пока одно начало дает близ себя место и право на жизнь своим собратиям, до тех пор оно само имеет право существовать и, пожалуй, преобладать над другими началами, если они слишком слабы, чтобы с ними бороться. Они втихомолку развиваются, укрепляются и в данное мгновение являются на историческое поле, чтобы помериться с собратом, поистратившим силы в долгом преобладании. Так было и так будет; только, для блага человека и человечества, надо надеяться, что эти колебания будут становиться все меньше и меньше, три главные начала человеческой деятельности наконец помирятся, как в разуме человека, так и в истории мира.

Но редко одно начало допускает другим подле себя право жить и развиваться. Как только оно победило, то является гонителем всего ему чуждого. Тогда оно стремится придать человеку характер фанатика, обществу одностороннее, исключительное направление, целому миру карикатурную уродливую форму. Насмешка и клевета составляют первое оружие в борьбе начал; затем следуют меры понудительные.

Да, защитники авторитета, как защитники личности или приверженцы братства, являлись попеременно гонителями, терпимыми или гонимыми, и потому, казалось бы, ни одно из этих начал не имеет права на особенную привязанность или на особенное отвращение со стороны спокойного исследователя истории. Но оно не совсем так.

Для оценки значения и достоинства человека важно не то слово, которое он повторяет беспрестанно, а то чувство или та мысль, под влиянием которой он действует. Мало ли

знаменитых лицемеров говорят о справедливости, о бескорыстии, об своей всегдашней преданности общему благу, а сами готовы нарушить основные начала естественного права, готовы защищать самое вредное установление для своего отечества, лишь бы им было хорошо? Поговорите с ними: они найдут себе оправдание в ряде софизмов, которыми постараются и вам доказать, что они поступают прекрасно, благородно, даже с самоотвержением; они поищут, пожалуй, оправдания себе в законах. Но пока не о них дело. Как с отдельным человеком, так бывает и с историческими, общественными партиями: на знамени может быть написано одно, а действуют они во имя другого начала. Когда Вольтер[172] осыпал Руссо[173] насмешками и ругательствами, первый из них не был защитником личной мысли, проповедником здравого смысла — он действовал в защиту авторитета — своего собственного и своих приятелей. Когда Кальвин[174] сжигал Серве[175], он служил тому же началу, против которого боролся с папством. Когда жирондисты проповедывали принудительные меры против аристократов, подозрительных людей (suspects) и духовенства, отказавшегося от присяги, они являлись защитниками авторитета, борьбу с которым они считали своею главною обязанностью. Да, когда кто-нибудь во имя какого бы то ни было чувства, какой бы то ни было мысли требует мер притеснительных, когда он употребляет их, он переходит на сторону защитников авторитета, какую бы мысль он ни поддерживал.

Начальник, который говорит подчиненному: я приказал, извольте исполнить беспрекословно, защищает не разумное начало, не закон, а свой личный, мелкий авторитет.

Литератор, который насмехается над своим противником или бранит его, не доказывая, что противник не прав, — защищает авторитет свой собственный или своего кружка.

Ученый, уверяющий, что такой-то профессор вреден, потому что расходится с ним в мнениях, защищает авторитет своей школы.

Господин Н. Н., советующий своим приятелям не знаться с господином А. А., потому что господин Н. Н. с ним поссорился, защищает опять свой авторитет и ничего более.

Вот где опасность для частного человека, для кружка, для партии, для общества, для нации.

Когда необсужденная, непроверенная мысль забирается к нам в голову и толкает нас на порицание другой мысли, которая с ней не может ужиться, толкает нас на исключительные поступки, на принудительные действия, и все это потому только, что эта мысль нам нравится, — мы готовы служить авторитету. Мы поддались ему и отказались от

мысли, уравновешивавшей в некоторой степени наше любимое убеждение; мы связали себя с этим убеждением несколькими действиями; наше самолюбие, для собственного оправдания, старается теперь уже нас связать теснее с любимою мыслью. Оно боится усомниться в ней, потому что поступок лежит неизгладимо на нашем прошедшем. Мы привыкаем отворачиваться от истины, привыкаем видеть людей и предметы в ложном свете. Мы слепнем и тупеем нравственно. Мы сделались пациентами доктора Крупова[176]. Все это оттого, что мы подчинялись авторитету одной, исключительной мысли.

Когда кружок или партия собирается около резко выдающейся личности, и эта личность своим умом, характером или положением господствует над окружающими; когда мнение одного человека делается безусловною истиною для его приятелей или приверженцев; когда его слово есть догмат, не допускающий ошибки, устраняющий сомнения,— тогда кружок состоит из фанатиков, партия делается орудием лица. Может быть, в замечательной личности резкость мнений еще находит в себе черту смягчающую, может быть, ошибочная мысль умного человека исправится в приложении, в развитии, но от последователей, от сеидов[177] не ждите исключения, не ждите исправления. Именно самые резкие стороны своего предводителя выставятся ими еще резче, еще угловатее: ошибочная мысль обратится в карикатурную нелепость, темная сторона сделается отвратительною. Кружок исказит до невозможности слова и стремления своего любимого члена. Партия изуродует мысль своего руководителя. И он сам или испугается своей мысли, вывороченной наизнанку, и слишком поздно захочет остановить ее искажение, или будет служить предметом насмешек и порицания, не за свои мнения, а за приятелей, говорящих и действующих во имя его авторитета. А если предводитель кружка недобросовестен, если он сознательно заставляет увлекаться своих приятелей для достижения своей особенной цели? До чего могут тогда дойти члены обманутого кружка? И все это из бескорыстного (по крайней мере, иногда) служения авторитету уважаемого человека.

Поставьте вместо авторитета одной личности в кружке частных людей, в литературной или ученой партии авторитет этой личности или целой партии над организованным обществом, над народом; замените сплетни кружка, чернильную войну литераторов и ученых бурными столкновениями общественных элементов, кровавою борьбою народов; с поприща биографии перейдите на поле истории,— и зло подчинения авторитету представится вам еще в более ярких красках.

Но допустим, что борьбы не было. Допустим, что силою способностей, могуществом положения или неотразимым действием событий авторитет лица утвердился бесспорно и владычествует спокойно над кружком или над обществом. Что из этого выйдет?

В человеке, облеченном авторитетом, произойдут, по необходимости, два психологические процесса. Во-первых, под обаянием непогрешимости он станет сам менее подвергать критике собственные мысли, слова и поступки. Не боясь чужого порицания, он заглушит в себе бессознательно голос собственного внутреннего суда, сначала в мелочных, потом в более важных обстоятельствах. Он начнет смешивать свои личные желания с делом, которое он защищает. Он станет оценять людей не по достоинству их, а по тому, насколько они признают непогрешимость его авторитета. Наконец, для него поддержка своего авторитета сделается предметом столь же важным, как и дело, для которого он употребляет свой авторитет. Наконец, его *я* станет на первом плане, а слова, мысли, действия, события, люди — все это будет для него только декорациею, обстановкою, орудием для проявления в полном блеске этого *я*.

С другой стороны, только совершенный идиот может в продолжение всей жизни, или даже довольно долгого времени, верить в непогрешимость своего авторитета. Всякому будет приходить чаще или реже, светлее или темнее, но будет приходить от времени до времени сознание, что он не всегда говорит и действует так, как должно, так, как лучше было бы сказать и сделать. Тогда кружок или общество поклонников станет для него достойным презрения. Он потеряет уважение к своим приверженцам, как потерял терпимость к противникам. Он перестанет считать себя лучшим между равными; он покажется самому себе великим между ничтожностями. Он попирает лучшее и единственно человеческое достоинство человека, уважение к человеку. Он станет дозволять себе все уже не только потому, что не встречает препятствий, а потому, что смешно же церемониться высшему существу с низшими, полубогу с полувещами. Но еще грустнее, еще ужаснее владычество бесспорного авторитета ложится на кружок или на общество, ему подчинившееся. Пока кипит война кружков или борьба обществ, проявление умственной жизни не прекращается. Возражение противников невольно слышится ослепленным приверженцам авторитета; иные из последних ищут для защиты своего знамени мирное оружие разума и убеждения. Иные колеблются и отстают от товарищей. Иные переходят от защиты чужого авторитета к защите мысли, ими усвоенной; где есть борьба, там есть еще и жизнь и возможность

развития. Но авторитет восторжествовал. К чему тогда искать напрасно доказательств для его поддержки, когда их никто не требует? К чему рассуждать о предмете общеизвестном, общепринятом? Сущность мысли, слова, поступка есть дело постороннее, почти лишнее. Форма мысли, форма слова, форма действия только важна. Да и ее нечего придумывать. Лучше спросить у авторитета. Мысль давно дана. Вот и слова, предписанные заранее. Вот и действия, установленные раз навсегда. Развитие кружка или общества прекращается, заменяясь формализмом. Но отказавшись от высшего развития, человек с еще большей жадностью обращается к наслаждениям, роскоши, страсти к приобретению, преобладанию. Поддержка авторитета есть высшая и единственная добродетель: с другими можно заключить сделку. Отчего не пограбить немножко, не пожать подчиненного, зачем дорожить словом и строго исполнять свою обязанность, когда нас мерят только мерою служения авторитету? И разврат проникает во все слои кружка или общества. Они перестают жить, продолжая существовать. В них не осталось ничего человеческого.

Да, бесспорному авторитету грозит безумие, но от безумия еще вылечиваются. Тем, кто подчинился бесспорному авторитету, грозит идиотизм и разврат, а развратные идиоты неизлечимы.

Но возможно ли подчинение авторитету, подобное описанному? Не проявится ли всегда в уме человека, в членах кружка, в обществе оппозиция преобладанию идеи, человека или партии? К счастью, эта оппозиция всегда проявлялась и, как надо надеяться, всегда будет проявляться. В этой оппозиции, необходимой по самой сущности дела, заключается спасение человека и общества. Азиатский Восток представляет нам примеры, повидимому, совершенного торжества авторитета, но как-то не верится в возможность существования в Китае безусловной и бесспорной покорности раз установленным началам. Может быть, под официальной пеленой переписывания классических книг Кун-цзы и Мен-цзы[178] скрывалась кое-где и в Китае борьба мнений и желаний пожить своим умом. Может быть, только эта тайная борьба дозволяла Китаю еще жить и не разрушаться. Но мало ли что может быть? Во всяком случае, даже допуская справедливость этого предположения[179], что сделало из Китая преобладание авторитета?

Оппозиция авторитету не состоит в безусловном порицании всего из него исходящего: это было бы не разумное начало, а тот же авторитет, только с противоположной точки. Разумная оппозиция состоит в размышлении и в обсуждении всего истекающего из авторитета. Пусть автор,

которого мы читаем, есть наш любимый автор; пусть человек, с которым мы говорим, есть наш задушевный друг, почтенная и правдивая личность. Тем не менее мы не должны принимать на веру ни одного положения, ни одного мнения нашего любимого автора, нашего лучшего друга, если только эти положения, эти мнения допускают поверку. Всегда нам должна быть близка мысль, что самый умный человек, самый совестливый наблюдатель, самый беспристрастный судья, самый доброжелательный и общественный деятель могут ошибаться, увлекаться, могут бессознательно служить отжившему, вредному, нелепому началу. Пусть наш ум, наше убеждение будет вечно настороже. Пусть наша воля не будет слепою силою в руках другой личности, но сознательною поддержкою мнения, нами избранного спокойно и разумно.

Когда талантливый автор знает, что его сочинение встретит не безусловную похвалу кружка приятелей или столько же безусловное порицание недоброжелателей, но разумную оценку; когда умный человек знает, что его слова слушают не вечно поддакивающие идиоты, но внимательные, рассуждающие люди; когда могущественная личность видит около себя не беспрекословных слуг, но мыслящих исполнителей, — тогда и талантливый автор, и умный человек, и могущественная личность будут сами строже к самим себе; сами они будут уважать и в окружающих достоинство человека, и их честолюбие ограничится высшею задачею человека: *быть лучшим между людьми.*

Цель человека — совершенствование себя и других. Чем мы более любим и уважаем человека или идею, тем более мы должны стараться о совершенствовании этого человека или этой идеи. Но человек, нами любимый, совершенствуется не тогда, когда мы покоряемся безусловно его мнениям, когда одобряем все его действия: напротив, он тогда портится. Для его совершенствования мы должны быть всегда его беспристрастными судьями, и чем более мы любим его, тем внимательнее и беспристрастнее должен быть наш суд. Если человек, нами уважаемый, нами любимый, увлекается, ошибается, пусть он услышит наш голос, останавливающий его на пути ошибок, порицающий его увлечение. Если он достоин любви и уважения, то он почувствует, что наше порицание есть следствие любви, что в нашем постоянном внимании к каждому его поступку выражается наше уважение к его личности. Если же он оскорбится нашими замечаниями, если будет видеть недоброжелательство в нашем порицании, тогда он сам отказывается от нашей любви, от нашего уважения, и нам остается избрать одно из двух: отречься от любимого

человека или поклоняться живому идолу. Как бы высоко ни был поставлен человек по талантам или по положению, как бы он хорошо ни исполнял своей обязанности, он никогда не достигает окончательного совершенства, он всегда может делать свое дело лучше, чем прежде, ему всегда есть чему поучиться в исполнении своего долга. Но только выслушивая замечания доброжелательных судей и беспристрастных знатоков дела, он может следовать этому пути совершенствования. Точно так же наша любимая мысль никогда не доходит до степени окончательной отделки. Всегда остается что-нибудь в ней исправить, что-нибудь дополнить. Будем же ее постоянно обсуживать, чтобы бессознательно не отнять у нее какой-нибудь частности, потеря которой сделает самую мысль уродливою.

Повторяю: оппозиция *во что бы то ни стало* точно так же, как принятие на веру чужого мнения, есть служение авторитету и может иметь следствием лишь вред. Только разумная оппозиция — изучение, обсуждение, правильная оценка дела — представляют ручательство за успешный ход дела и за наше собственное правильное развитие. Ожидаю несколько возражений.

Мне скажут: «Авторитет в иных случаях необходим, и нельзя человеку самому все видеть, самому все испытать, самому все знать и все передумать. В науках самых точных авторитет должен быть допущен. Один химик ссылается на опыты другого, не повторяя их. Один историк приводит свидетельство другого, не имея возможности видеть источники, на которых это свидетельство основано. Если мой знакомый мне всегда говорит правду и рассказывает мне происшествие, которого он был свидетелем, то странно было бы ему не поверить. Если опытный огородник мне советует поступить так-то и так-то для удачного выращения спаржи, а я сам не знаю огородничества, неужели я стану сомневаться и обсуживать дело, которого я не знаю, а которое он изучил долголетним опытом? Если господин Н. Н. постоянно действовал для общего блага, если я знаю, что он умнее и знающее меня, или он хвалит или бранит человека или предприятие, мне мало знакомое или совсем мне не знакомое, неужели я усомнюсь похвалить или порицать этого человека или это предприятие, веря господину Н. Н. на слово? Требование постоянного обсуждения в этих случаях разрушило бы всякие приятельские связи, вселило бы повсюду недоверчивость и даже замедлило бы развитие человечества». Конечно, нельзя не согласиться со многими из этих возражений, но посмотрим на них внимательнее и увидим, что они не противоречат нашей мысли, а скорее подтверждают ее. Наверное мы знаем очень немного, но

большая часть наших знаний весьма вероятна. Конечно, самый ученый химик может ошибиться; самый совестливый историк может невольно исказить свидетельство источника, но если равно ученый критик убедился, что ошибка не встретилась или искажения не представилось в тех случаях, когда поверка была возможна, то он с достаточной вероятностью может принять на веру и остальной факт. Число свидетелей и отношение числа поверенных фактов, принятых на слово, определяют степень вероятности последних, и здесь мы принимаем факты не на основании авторитета, не потому, что мы любим и уважаем ученого, но на основании собственного рассуждения о степени доверия, заслуженного сочинением. Мы поверим рассказу нашего знакомого не потому, что подчиняемся его личности, но потому, что он был свидетелем события, потому что образованность свидетеля позволяла ему видеть ясно это событие, потому что он не имел причины исказить факты, потому что, наконец, самое происшествие не представляет внутренней неправдоподобности. Самому почтенному человеку мы не поверили бы вполне, если он судит о враге своем, или не поверим вовсе, если он рассказывает, например, что он видел цыпленка на четырех ногах. Во всех этих случаях мы обсуждаем свое доверие и подчиняемся не безусловно.

Относительно специалиста-огородника, если он нам не объяснил, почему нужно поступить так-то, чтобы лучше вырастить спаржу, то лучше бы спросить сначала нескольких специалистов или порыться самому в нескольких сочинениях, прежде чем поверить первому безусловно; а когда не можем этого сделать, то лучше произвести сначала опыт по предлагаемому способу в малых размерах. Что касается до мнения господина Н. Н., то не думаю, чтобы следовало судить о человеке или о предприятии, основываясь на его словах, как бы, впрочем, он ни был благонамерен в других случаях, особенно если нам известно, в каких столкновениях находился он сам, господин Н. Н., с этим человеком или с этим предприятием. В крайнем случае можно только сказать: я этого не знаю, но господин Н. Н., которого я люблю и уважаю, говорит то-то.

Мне могут сказать об авторитете религии. Это совершенно вне моего предмета. Я говорю здесь об авторитете человеческом, вышедшем из разума и чувств человеческих и потому подлежащем их суду. Что для верующего выше разума и вне человека, пред тем должен, по необходимости, умолкнуть и суд человека.

Пожалуй, найдутся люди, которые мне напомнят об авторитете отца семейства. Им я отвечу: кто считает себя вечно несовершеннолетним ребенком, для того, конечно,

необходима всегда опека, необходимы руководители, необходим авторитет, указывающий на каждом шагу, что делать и как делать. Но неужели многие желают сознательно оставаться вечно детьми? Кто этого желает, для того предыдущие страницы не писаны. Пусть читает сказочку о добром Мите, как он просил у папа̀ позволения отдать свои конфекты нищему мальчику, не евшему двое суток, как папа̀ его за это погладил по головке и дал ему еще конфект. Я пишу для взрослых.

Им мне хотелось напомнить старую истину, что в частной жизни человека, как в общественной его деятельности, самое вредное начало есть то, которое связывает ему руки, отуманивает его зрение, делает из него автомата бессознательного, но ответственного. Пусть он привыкает ходить без помочей, читать без указки, чувствовать собственным чувством, своим умом. Споткнется: ничего; ошибется: ничего; обмолвится: ничего... Сознание самостоятельной деятельности в нем растет, и он сам научится смотреть за собою... Человек должен быть не машиною, а машинистом...

ПОСТЕПЕННО [180]

Не очень давно в некоторых из наших журналов стало появляться новое слово «постепеновцы», сначала в чисто юмористическом смысле, потом как более или менее характеристическое название партии, бесспорно существующей и в обществе и в литературе. И эта кличка не даром; в самом деле в нашем обществе существует заметное разделение между двумя родами лиц; те и другие более или менее согласны в целях, к которым должна в данную минуту стремиться Россия, в том, какие именно недостатки общественности должны быть устранены, что желательно бы иметь, с чем весьма бы приятно навсегда раскланяться; но как и в какое время достичь этих прекрасных целей, в этом одни с другими значительно расходятся. «К чему ждать и тянуть дело, когда все убеждены в необходимости изменения?» — говорят одни; «как только общество сознало в своем большинстве, что в среде его находится какое-нибудь неустройство, больное место, то оно должно немедленно приступить к исправлению неустройства, к излечению болезни. Безнравственно продолжать терпеть однажды сознанное зло. Каждый день проволочки влечет за собой новые несправедливости, новые бедствия, новые жертвы. Бесспорно, трудно преодолеть одновременно все недостатки, которые проснувшееся общество замечает внутри себя, но в борьбе с трудностями и выказывается сила жизненных начал в данном обществе, а самый процесс борьбы, когда она идет живо и откровенно, уже заключает в себе нечто успокаивающее, потому что эта борьба возбуждает в обществе сознание вполне нравственной деятельности. Итак, должно разом бороться со всеми препятствиями, должно одновременно вести общество к удовлетворению целей, которые оно раз сознало как жизненные условия своего развития».

Вот тут-то являются *постепеновцы* со своим возражением: «Вы хотите невозможного; вы идете в противоречии с законами природы, с законами истории. Где вы нашли пример скачка, разрыва в последовательности явлений, в

последовательности событий? Только там, где настает разрушение, гибель: но ведь не гибели же вы хотите для общества? Посмотрите на природу: постепенно проходят тела небесные все точки своих орбит; постепенно в растении появляются из земли семенодольники, развивается стебель, лист, цветок, плод; постепенно в яйце развивается цыпленок; постепенно из ребенка растет человек; постепенно осмысливаются его занятия, постепенно ум его делается способным охватить ту или другую науку. И если бы вы стали нарушать эту постепенность, если вы захотите, чтобы растение вам дало плод тогда, когда по естественному развитию оно должно цвести, если вы стали учить политической экономии в период, когда доступно лишь усвоение наглядных предметов, — вы или вовсе не достигнете цели, или произведете нечто уродливое, противоестественное, годное для игрушки, а не для самостоятельной жизни. Еще положительнее закон постепенности выражается в истории. Много раз самонадеянные люди, выдвинутые волною событий к кормилу правления, пытались переломить общественное развитие, дать людям разом то, чего они могли достичь лишь постепенно; и что же? Неумолимо разрушая все жизненные препятствия, эти преобразователи иногда достигали того, что их планы, повидимому, удавались, что изумленные современники или ближайшие потомки называли их *великими;* но когда наука присматривалась внимательнее к событиям, она постоянно замечала, что плодом яркой деятельности этих преобразователей были большей частью развалины, неестественные отношения между разными слоями общества, понижение его нравственного уровня, внутренний разлад и, вместо ускоренного развития всех государственных сил, долгие исторические болезни, которые пришлось лечить потомкам лишь строгою последовательностью в политических мерах. Такова была судьба великих деспотов и великих демагогов, отрицавших постепенность в истории, отрицавших минувшее сразу и не хотевших видеть, что это минувшее продолжает существовать в каждом человеке, оставшемся в живых из прежнего поколения, продолжает существовать в них самих и может быть отрицаемо только в строгой постепенности общественного развития. Если после всех этих очевидных примеров, представляемых природою и историею, являются люди, которые отрицают необходимость строгой постепенности всегда и везде, то подобный факт можно объяснить лишь невежеством, недоброжелательством или добровольным ослеплением».

Должны ли противники признать себя побежденными предыдущими аргументами? Или должны они признать все сказанное лишь рядом софизмов? — Ни то, ни другое. В пре-

дыдущем много истины, но *не вся* истина. Взгляд постепеновцев не ложен, но он *односторонен*. В природе и в истории существует, бесспорно, закон строгой постепенности, но не только этот закон управляет природою и характеризует правильное, здоровое развитие обществ. Не только последовательно пробегает планета по своей орбите, но *одновременно* движутся все планеты, все миры, и эта одновременность всех движений столь же необходима для целого, как последовательность в каждом отдельном движении. Вы говорите о *постепенности* развития растения, но вы забываете сказать, что столь же необходима для здорового развития *одновременная* жизненная деятельность всех его клеточек. Вы забываете сказать, что все части организма цыпленка *одновременно* развиваются и если какое-нибудь препятствие задержало рост одной ноги его, когда другая продолжала бы расти, то первая не выросла бы *потом постепенно*, но цыпленок сделался бы уродом. Вы не хотите видеть, что это же повторяется в физическом, умственном и нравственном развитии человека. Если вы не хотите получить тщедушных, уродливых особей человеческого рода, то правильная гимнастика должна *одновременно* обращать внимание на развитие *всех* мускулов тела ребенка, разумный педагог должен *одновременно* давать пищу *всем* его способностям. Весьма жалки будут результаты учения, если мы захотим внести в педагогию теорию *постепенности*, не обращая внимания на *одновременное* развитие разных органов, взаимно друг друга обусловливающих. Уроды и вечные уроды с руками, развитыми за счет ног, с нервами, развитыми на счет мускулов, с памятью, развитою на счет соображения, — вот результаты исключительного господства постепенности в педагогии. — То же самое и в жизни народов. Вся история заключается в критическом разложении старого и заменении этого разложенного, негодного уже для жизни материала — новыми живыми началами. Вы правы, когда говорите, что только постепенно разлагается старое и заменяется новым, и тот, кто неосторожно вырывает из тела общества еще живой кусок, рискует оставить на этом теле рану, иногда неисцелимую. Но в обществе, как и в единичном организме, на всех точках разложение и обновление идут одновременно, и когда в одном месте вы должны сознать право критики, должны вместе с нею отвергнуть исторически развившиеся недостатки, отречься от исторически накопившейся правды, то не можете без вреда для общества остановить критику, направленную на другие пункты, или сохранить неприкосновенною какую-нибудь специальную неправду, отжившую свое время. Общество долго может подчиняться

рутине, обычаю, преданию, не внося вовсе критики в их область. *Постепенно* созревает общественное сознание. Но когда оно пробудилось, то не *постепенно* уже, а *одновременно* обращает на все пункты, ему доступные, свою разъедающую критику, и на всех пунктах начинается неудержимое требование обновления и развития. Тут только два исхода: или неестественное изуродование, или *одновременное* развитие. Вы коснулись до старого порядка; вы признали, что в нем было кое-что несправедливое; с этой минуты весь старый порядок подлежит критике; независимо от вашей воли, она начинает подрывать все его основы. Но вы говорите: «этого нельзя; мы сначала сломаем это и это, а то пусть еще постоит; оно, правда, очевидно гниет, но если мы запретим к нему прикасаться, то оно может еще продержаться некоторое время, а потом со временем, при случае, мы перейдем и к нему». И вот начинается двойственность в действиях. Вы находитесь совершенно в положении педагога, желающего, чтобы у ребенка сначала ноги достигли величины ног взрослого, и воображающего, что только тогда можно дать развиться и рукам. Ребенок говорит вам: «у меня болят руки, снимите с них эти железные кольца, которые мне врезываются в тело». Вы ему отвечаете: «погоди; дай развиться сначала ногам; смотри, как они уже стали длинны; смотри, как они свободны...» Но ребенок вас не слушает; ему не в мочь больно рукам, и он вовсе не обращает внимания на развитие ног, потому что они совершенно естественно развиваются и им, конечно, *следовало* предоставить свободно развиваться. Вы упрекаете его в неблагодарности. Он порывается сорвать с рук то, что их давит. Вы прибегаете к наказаниям. Начинается борьба; но на вашей стороне право сильного, и вы, во имя принципа *постепенности*, спокойно ожидаете, чтобы ноги развились еще побольше, а потом вы твердо решились дать развиться и рукам... Бедный ребенок!

Но, впрочем, мне могут возразить, что таких педагогов нет и быть не может; что всякий понимает необходимость *одновременного* развития рук и ног; но постепенность в общественных формах совсем другое дело. Общество может обратить все свои мысли на одну точку, не смотря ни направо ни налево; в этой точке оно может видеть все возможные недостатки и может стремиться к их исправлению по мере сил и средств. Но направо и налево глядеть ему не следует, а подмечать дурное и того хуже: просто грех. Когда первое дело совсем будет кончено, то можно будет *постепенно* направить его умственные лучи зрения на другую точку, потом на третью и т. д. Это не только возможно, но этого требует закон *постепенности*... Оно

конечно, возможно — мало ли что возможно? — но для этого нужно совершенно особенно устроенное общество, которого в истории как-то не видать, и проницательный читатель сам заметит, насколько эти требования отличны от требований педагога, чтобы руки развились после ног... Кончим по этому случаю нашу заметку апологом, впрочем *без морали:* она давно надоела и детям и взрослым.

Где-то на востоке в пышном дворце жил хан, воплощение солнца. Редко выходил он из дворца, всегда окруженный толпою царедворцев, и при его появлении подданные должны были падать ниц. Они верили, что хан их имел *четыре* крыла; так было написано и в старинных книгах и высечено на памятниках, и это повторялось в формуле присяги каждым подданным. Долго ли продолжалась безусловная[181] вера в четверокрылого хана, сказать трудно, но однажды какой-то вольнодумец поднял голову во время прохода хана и потом сказал по секрету приятелям, что он крыльев у хана не заметил. Приятели рассказали другим, эти третьим, все, конечно, по секрету. Кончилось тем, что вольнодумца сожгли живьем и прах разметали по ветру. Но это не помешало при следующем выходе хана уже нескольким смельчакам приподнять головы и разболтать, что у хана нет крыльев. Сожгли еще несколько человек, но говор все распространялся. Начали преследовать противогосударственные слухи, но жечь стало как-то уж совестно. То засадят в тюрьму на всю жизнь, то сошлют в далекие пустыни, то опять сожгут двух-трех человек для острастки. Но говор все шел да шел. Тогда собрался совет мудрецов и решил, что дело стало слишком явно и в четыре ханские крыла уже очень много народа не верит. Мудрецы хотели быть либеральными; они склонились на сторону реформ; но — они были строгие почитатели постепенности в реформах. «Вера в четыре крыла несвоевременна; надо уступить, — говорили они. — Но вредно и безнравственно было бы допустить, что правы безбожные критики, отвергающие, что наш хан крылат. Этого нельзя. Может быть, со временем мы и дойдем до подобных крайностей, но не скоро. Теперь же надо сделать уступку общественному мнению и признать, что старые книги ошибались, но немного: у хана не *четыре видимые, а три невидимые крыла*». И обрадовались мудрецы, и сочли себя великими реформаторами, и либеральный хан, со слезами самопожертвования на глазах, отрекся от своего четвертого крыла; и стали перепечатывать книги, изменять надписи на памятниках, изменять форму присяги и прославлять великодушие хана, который сам добровольно сознался, что у него не четыре, а только три крыла. Но, странное дело, все продолжали являться вольнодумцы, говорившие,

что у хана крыльев совсем нет. Их схватили и привели на суд мудрецов. Последние особенно упрекали их в неблагодарности. «Как! — говорили мудрецы, — мы вам только что уступили одно ханское крыло, а вы все недовольны; нет, это, очевидно, неблагонамеренность, и вы заслуживаете казнь; ведь мы сами видим, что крыльев у хана вовсе нет, мы сами стремимся к тому же, как и вы, но во всем нужна постепенность: в нынешнем веке мы согласились на три крыла, в будущем согласимся на два: ведь три крыла меньше четырех, следовательно, мы, очевидно, желаем прогресса, а вам бы все только ломать да разрушать до основания. Мы не требуем от вас веры в четырехкрылого хана, но отчего же вы не хотите допустить трехкрылого?» — «Да когда у него крыльев совсем нет», — отвечали жалобно обвиненные. — «Ну, с вами говорить нечего, — возразили мудрецы, — вы не понимаете ни закона исторической постепенности, ни требований разумного прогресса». И осудили их.

Оно, конечно, правда, читатель, что три крыла менее четырех, а крыльев у хана все-таки вовсе не было...

О ПУБЛИЦИСТАХ-ПОПУЛЯРИЗАТОРАХ И О ЕСТЕСТВОЗНАНИИ [182]

Направление общественного мнения в большинстве случаев обусловливается теми интересами, которые в данную минуту представляются наиболее важными и так или иначе влияют на ход общественной жизни. Но эта связь между мыслью и жизнью общества проявляется не всегда, существование ее требует некоторых особых условий. Чем меньше само общество принимает участие в устройстве своих интересов, тем реже оно принуждено заботиться и думать о них и тем чаще общественное мнение подвергается колебаниям, не соответствующим действительному направлению жизни общественной. Мысль при таких обстоятельствах уклоняется в сторону, ищет себе новую сферу деятельности, нередко не имеющую никакого соотношения к действительности; слово и дело обусловливаются в этом случае различными побуждениями, и между ними нет живой связи.

Наше общество, сравнительно говоря, еще очень молодой член в семье цивилизованных народов, поэтому законы соотношения различных явлений цивилизованной жизни, естественно, подвергаются в нем частым уклонениям. По некоторым обстоятельствам исторического развития современное состояние русской жизни и мысли еще не таково, чтобы направление общественного мнения могло быть признано действительным указателем тех необходимых потребностей, которые более всего должны бы обратить на себя внимание общества. Наше общество еще не привыкло рассуждать о коренных недостатках своей жизни, не привыкло изучать их, чтобы иметь возможность содействовать их искоренению; и потому оно еще не вполне освоилось с той мыслью, что знание и наука только тогда приносят существенную пользу и возбуждают к себе живой интерес, когда касаются именно тех вопросов, которые затрагивают существеннейшие интересы людей, когда они освещают темные углы общественного миросозерцания и содействуют разви-

тию нравственного и материального благосостояния общества. Без этих условий всякое знание является каким-то модным, минутным увлечением, действует часто внешним образом, не оставляя следа ни в умах, ни в жизни.

Кто не привык сам заботиться о своих нуждах, удовлетворять своим потребностям, тот часто не в состоянии отличить истинную потребность от ложной; он склонен гоняться за мелочами, забывая о существенно необходимом; то, что при правильном употреблении оказало бы неоцененную услугу, — в его руках становится непроизводительным материалом; самые полезные предметы обращаются в игрушки и служат только для минутной потехи. Этим неумением отличать полезное от бесполезного, этой способностью необходимое представлять даже вредным страдают не только отдельные лица, но и целые общества.

На литературе лежит обязанность не только быть выразительницей, отголоском общественного мнения, но она должна также критически относиться к явлениям жизни и мысли общества, исследовать взаимную связь и зависимость их и указывать всякое ненормальное направление той и другой.

Цель нашей настоящей статьи и состоит в том, чтобы указать, насколько современное направление мыслей нашего образованного общества соответствует существенным потребностям его жизни.

Как в литературе, так и в частных разговорах в настоящее время обнаруживается сильная наклонность к естествознанию, поэтому мы считаем необходимым рассмотреть, действительно ли одни естественные науки могут удовлетворить тем потребностям, которые вызвали в обществе стремление к их изучению.

Естественные науки при теперешнем своем развитии имеют важное и плодотворное значение в первоначальном образовании человека, при сформировании его миросозерцания, и в этом смысле могут служить коренной основой социальной нравственности человека. Но требовать от них ответов по всем вопросам общественной жизни — еще не своевременно.

Когда человек находился на низшей степени развития, — несознаваемые существенные побуждения организма были единственными стимулами его деятельности. Когда человек достигает высшего, возможного для него, совершенства, когда он одержит победу над *всеми* препятствиями, тяготеющими над его жизнью, тогда опять деятельность его будет зависеть только от естественных потребностей и свойств его природы. Но самая природа человека будет уже не та, усло-

вия жизни будут другие, и *естественное состояние* человеческого общества будет, конечно, не таково, каким оно было до возникновения цивилизации.

Современная жизнь человеческих обществ находится в периоде переходного состояния между этими двумя крайними пределами. Человечество далеко ушло от бессознательной первобытной естественности и не дожило еще до естественности, свойственной высшему и всестороннему развитию своих сил. Мы живем в эпоху, когда отличительные свойства человека уже достаточно развились и установились, чтобы обусловить новые формы жизни, отличные от форм жизни других животных; но тем не менее эти свойства еще не достигли полного, устойчивого совершенства, без которого не может образоваться прочный порядок человеческих отношений. Время колебаний и борьбы между различными системами общественного устройства еще не прошло; несовершенство знаний о природе человека и о законах его общественной деятельности порождает возможность принимать искусственно развитые свойства людей за нормальные, и таким образом создается неестественный склад жизни общественной.

Из всех предметов, обращавших на себя внимание исследователей, сравнительно говоря, менее всего изучен человек. Законы деятельности органических сил, свойства организма, обусловливающие так называемую животную жизнь, почти неизвестны; а потому, несмотря на некоторые успехи современной антропологии, психические явления не подведены еще под безусловные законы, не найдено первичных причин, их порождающих. Разные отрасли знания о человеке группируются в отдельные науки, не имеющие между собой необходимой связи; развитие этих наук ничтожно, потому что основной принцип их, построенный на дуализме человеческой природы, ложен, не имеет реального, естественного основания; в разработке их или совершенно незаметно стремления к установлению прочной исходной точки зрения, или же стремление это весьма слабо и ограничивается несмелыми попытками. А между тем сфера метафизических бредней, которая служила обильным источником происхождения общепринятых, рутинных истин, постоянно суживается, и потому мыслящий человек поневоле должен отыскивать новые начала житейской нравственности и умственного развития. Науки, занимавшиеся исследованием этих начал, способны представить только такие решения, которые не соответствуют потребностям современным и никого не могут удовлетворить.

Такое несовершенство изучения явлений, представляющихся более близкими человеку, обнимающих почти всю

его внешнюю жизнь, сильнее всего содействовало развитию исключительной наклонности к естествознанию. В одном естествознании современное общество надеется найти разрешение стоящих на очереди вопросов. Но, очевидно, эта надежда еще не скоро может осуществиться.

Развитие естественных наук до сих пор не соответствует размеру возлагаемых на них упований; они еще не занимались разрешением многих из тех вопросов, с которыми обращаются к ним; они еще мало занимались изучением законов искусственной социальной жизни человеческих обществ; они, исследуя материальную природу, только еще начинают касаться явлений высшего порядка — психической стороны деятельности человека — и потому оправдывают ожидания только тех, которые осмеливаются сказать:

> Природе повинуюсь я, как богу;
> Из всех законов лишь ее законы
> Священны для меня...

Но безусловно принять такой девиз, не отступать ни перед какими его[183] последствиями, — способны весьма немногие, потому что он исключает из жизни человека все, что не соответствует самым основным потребностям его природы, что вводится в жизнь привычкой и условиями общественного быта цивилизованных народов. Только такие самобытные натуры, весьма редко встречающиеся, способны жить вполне безыскусственно. Все другие еще сильно связаны с общим строем жизни, не в состоянии выбиться из всасывающего болота рутины, а потому в конце концов в самой рутине находят разрешение тех вопросов, на которые естественные науки дают слишком далекие и суровые ответы. Таково положение большинства современного образованного общества. Изучение естественных наук, даже не такое, каким оно бывает у большинства, до тех пор не может иметь ожидаемого плодотворного результата, пока естественно-научный метод не будет приложен к изучению всех форм человеческой деятельности и не утвердится во всех науках, занимающихся исследованием явлений, составляющих современную социальную жизнь человека. До полного объединения наук, конечно, еще далеко; мы не доживем до того времени, когда будет только одна *«наука об естественных явлениях материального мира»;* но тем не менее кажется, что и в настоящее время уже возможны попытки такого объединения, хотя, с другой стороны, некоторые научные и ненаучные соображения и заставляют нас заметить, что исключительное обращение умственных сил на одни естественные науки не привело бы к желаемому результату или по крайней мере на некоторое время задержало бы его достижение.

То, что дюжинное естествознание часто выбрасывает из области, подлежащей человеческому изучению, гуманно-философское естествознание должно стараться объяснить и подвести под общие законы природы. Если бы лучшие умы были исключительно обращены на изучение одних естественных наук, то некоторые другие науки, напр., все общественные или социальные науки, сделались бы предметом исследования людей более ограниченных, неспособных вывести их на настоящий правильный путь развития всякого знания. А между тем эти науки, занимаясь изучением законов общественной жизни, более всего имеют влияния на устройство судьбы людей; так что естествознание, не проникая в сферу наук социальных, не могло бы иметь никакого влияния на изменение и улучшение условий социальной жизни.

Если бы даже естественные науки получили такое обширное распространение, что могли бы содействовать искоренению различных суеверных понятий о законах природы, то и тогда влияние их на жизнь людей все-таки было бы ограниченно, потому что условия общественной деятельности человека подчинены часто неестественным законам.

Многие утверждают, что объективное отношение исследователя к предмету исследования есть необходимое условие прогресса человеческой мысли; что нужно совершенно отрешиться от своей личности, от всяких житейских соображений, чтобы правильно понимать явления внешнего мира. Не входя в бесполезный спор с защитниками такого мнения, я замечу только, что вообще возможность этой прославленной объективности подвержена весьма сильному сомнению. Миросозерцание человека обусловливается его индивидуальными свойствами и внешними условиями его жизни; под влиянием этих двух факторов оно и складывается, и никто не может отрешиться от этого влияния. Требование невозможной объективности есть предрассудок, порожденный дуалистическим воззрением на природу человека. Предрассудок этот, к счастью, уже многими отвергается в принципе, но тем не менее еще сильно руководит привычками исследователей; под его влиянием часто происходит то явление, что многие, сделавшись исследователями, перестают или стараются перестать быть людьми и, вследствие этого, научные выводы их носят на себе печать какой-то мертвенности, не имеют ничего общего с жизнью человека. Такие ученые воздерживаются от практических выводов, боясь поколебать авторитет науки.

Положим даже, что «жрецы науки» созданы «не для житейского волненья» и могут оправдывать стремление к так называемой научной независимости тем, что своими

открытиями приносят, хотя часто и бессознательно, существенную пользу обществу. — Но чем же могут оправдаться многие популяризаторы-публицисты, которые не делают никаких открытий, а занимаются только пережевыванием чужого, — чем могут оправдаться они, излагая выработанные наукой истины без всякого старания найти связь между этими истинами и теми элементами, из которых складывается практическая жизнь человека? Главное стремление таких публицистов — передать читателям как можно более так называемого *сырого материала;* они не обращают внимания на то, что для переварения этого материала требуются некоторые условия, без которых он пойдет только на увеличение умственных экскрементов читателя; они задались той неправильно понятой ими мыслью, что одно увеличение фактических сведений ведет к преуспеянию рода человеческого; они забыли, что количество еще не определяет качества, а качество в данном случае зависит от пригодности, плодотворности умственной пищи, а не от суммы отрывочных бессвязных знаний; они забывают тот физиологический закон, что избыток неудобоваримой пищи так же вреден организму, как и недостаток питательной; такой избыток развивает обжорство, ослабляет органы пищеварения, делает организм вялым и неспособным к энергической деятельности.

В последнее время наша литература обогатилась массой переводных сочинений по более плодотворным отраслям человеческого знания. Мы имеем переводы некоторых наиболее ценных трудов западно-европейских мыслителей-натуралистов; мы имеем также немало довольно хороших, тоже переводных, популярных сочинений и по другим отраслям знания и, судя по быстроте развития издательской деятельности, можем надеяться, что литература наша обогатится в этом отношении еще больше. В Западной Европе, вследствие высшего уровня цивилизации, каждая отрасль знаний имеет большее число деятелей, чем имеем мы; разделение научного труда развито сильнее, а потому там есть популяризаторы-специалисты — люди, по своим знаниям стоящие в уровень с развитием той науки, с которой они знакомят читателей при помощи своего таланта изложения; они сами принимают участие в обогащении этой науки ценными открытиями.

Западно-европейские читатели, заимствуя свои сведения из сочинений этих специалистов-популяризаторов, получают их из первых рук, без всяких примесей, могущих исказить их смысл и значение. Наши читатели, незнакомые с иностранными языками, благодаря переводам вышеупомянутых сочинений тоже до некоторой степени могут удо-

влетворить своей жажде знания. Так что в область деятельности журнального публициста не входит обязанность исключительно, или даже преимущественно, заниматься популяризацией простых научных фактов. Публицист должен знакомить читателя с значением, с практической важностью современного научного направления. Отдел библиографии существует в наших журналах; цель его — указывать читателям на достоинства и недостатки вновь выходящих книг в смысле практической годности их; указывать на те идеи в этих книгах, которые могут быть полезным приобретением человеческого миросозерцания.

Литературно-политические издания, при том назначении, какое они имеют у нас, не могут и не должны быть органами какой-нибудь отрасли знания; значение их состоит в посредничестве между наукой и жизнью и в критической оценке той и другой; сфера деятельности их ограничена настоящим, интересами дня; в них должен выражаться взгляд различных направлений общественного мнения на текущие события жизни общественной во всех ее проявлениях.

Такое требование вполне естественно, потому что при отсутствии или при весьма ограниченном числе хороших специалистов не может быть и хороших, серьезных популяризаторов; а когда и явятся у нас свои специалисты, то труды их, как это обыкновенно и делается, появятся не в литературно-политических журналах, а в специальных периодических изданиях или в отдельных монографиях, так что публицисты все-таки должны будут передать читателю только идеи человеческого прогресса, а не научные термины и фразы ученых, часто, по незнакомству с предметом, дурно понимаемые.

Невозможность разделения научного труда заставляет более развитых и более читавших писателей браться одновременно за многие задачи; но эта невозможность все-таки не оправдывает тех публицистов, которые, не видавши реторты и скальпеля, считают себя и желают казаться натуралистами. Натуралист и публицист в настоящее время — две вещи разные и редко совместимые. Натуралист, незнакомый с явлениями и потребностями общественной жизни, не занимавшийся изучением тех многоразличных и сложных элементов, из которых складывается запутанный лабиринт человеческих отношений, — плохой публицист. Точно так же нельзя считать натуралистом и такого публициста, который в состоянии только запомнить и перефразировать выражения натуралистов и решительно неспособен указать возможности приложения естественно-исторических истин к разработке наук, занимающихся исследованием законов рациональной жизни людей.

Немногие, более серьезные, читатели предпочитают знакомиться с науками посредством изучения самых источников; такое изучение, требующее большого внимания, напряжения ума, если и недоступно всем, то отчасти потому, что большинство читателей расположено к поверхностному знакомству с науками, приобрело привычку к чтению легких и пустых популярных журнальных статеек, в которых все разжевано, подкрашено модными, фразистыми прибаутками; а такое чтение, не принося никакой пользы, ведет к ослаблению силы понимания и убивает способность и охоту к самостоятельному мышлению.

Замечали ли вы, что если человек, случайно играющий роль в каком-нибудь кружке или вообще власть имеющий, ленив, неспособен к самостоятельной деятельности, то все подчиняющиеся его влиянию, даже люди довольно способные и энергические, мало-по-малу заражаются его свойствами и становятся вялыми и неспособными? То же самое в литературе: если писатель, имеющий какое-нибудь влияние, не в состоянии «выдумать пороха», или вместо пороха предлагает состав, не воспламеняющийся и в огне, если он ограничивает свою деятельность только передачей чужих мыслей, то, во-первых, он сам будет утрачивать свои личные свойства, свою субъективную силу, и, во-вторых, на читателе эти последствия отразятся еще гибельнее: читатель (предположим) менее устойчив в своих убеждениях, посвящает мало времени умственному труду, а главное — питается уже пережеванною умственной пищей, почерпает свои сведения из вторых рук, из сочинений человека, неспособного самостоятельно мыслить, а потому не могущего возбудить самостоятельности и в других.

Популяризация может быть полезной, — необходимость ее мы нисколько не отвергаем, — только тогда, когда ею занимается человек, хорошо знакомый с наукой, имеющий сколько-нибудь определенное миросозерцание, относящийся ко всему субъективно. Публицист должен быть связан жизненными нитями с своими читателями, должен знать настоящие потребности их ума и стремиться к удовлетворению этих потребностей. Он не должен угощать читателей всем, что под руку подвернется, не может быть человеком, про которого говорит поэт:

Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет.

Если он не будет вдумываться в развитие общественной жизни, не будет следить и изучать ее направление, — деятельность его будет бесполезна.

Публицист, если он действительно мыслящий предста-

витель общества, должен выбирать научные истины, могущие иметь влияние на развитие ума и на улучшение жизни человека; это развивает в читателе жажду знания и порождает веру в пользу и в практическую осуществимость его.

Стремление угнаться за модой, страсть к подражанию — весьма велики; они приносят свою пользу, вводя человека в новый круг идей, и идеи эти иногда таким путем приобретают прозелитов. Но не всякий модник способен усвоить эти идеи, принять их за основу деятельности, сделаться их поборником; весьма многие, громадное большинство, при малейшем дуновении неблагоприятного ветра покидают путь, на который случайно вступили; они ничего не искали на этом пути, ничего и не нашли, и без сожаления оставляют его.

Обязанность публициста, как распространителя полезных знаний, и состоит в том, чтобы возбудить любознательность читателя, указывая ему на возможность практического применения, в той ли [или] другой форме, тех знаний, которые могут составить истинную силу человека, развить в нем живой интерес ко всякому новому завоеванию человеческой мысли, заставить его проверить свой умственный и нравственный кодекс.

Публицист не должен ограничивать свою деятельность только передачею содержания новейших книг, наделавших шуму; успех таких книг часто зависит от совершенно случайных причин и не соответствует, если не внутренней ценности их, то по крайней мере степени полезного влияния, производимого ими на читателей. Публицист всегда и во всем ищет истины, пригодной и необходимой читателю; он не пренебрегает никакими источниками, не справляется о праве на знаменитость того ученого, на труд которого опирается в своих исследованиях, потому что не боится упреков в заимствовании из знаменитых источников; он сознает свои силы; он знает, что передает читателю не сырой материал, а плод *своего* научного и житейского опыта. Уметь найти в огромной массе литературного хлама действительно драгоценные приобретения человеческого знания и указать на них обществу, — в этом состоит задача публициста-критика. Многие берутся за исполнение этой задачи, но действительно исполнить ее могут только те, которые не ослеплены односторонним увлечением, не «утратили вкуса к действительности», которые *ищут* истины, а не случайно *наталкиваются* на нее, которые способны взвешивать обстоятельства времени и места и доказывают эту способность характером своей деятельности.

Так как мы не имели намерения входить в подробное исследование свойств наших публицистов-популяризаторов, коснулись их только мимоходом, то и считаем возможным воздержаться от приведения частных примеров, поддерживающих высказанные нами мнения. Мы можем заметить только, что эти публицисты, — как бы ни были похвальны их стремления, — неясно сознают свою задачу и потому деятельность их отличается характером случайности, средства их не соответствуют и не соразмерны с целью; они руководствуются ложным принципом, могущим привести к пагубным последствиям; они содействуют развитию именно того, против чего, повидимому, больше всего работают: они отрицают все, что, по их мнению, не приносит никакой пользы, например, они безусловно отрицают искусство и поэзию, а между тем своими статьями только увеличивают число бесполезно-художественных произведений словесного искусства, потому что характер этих статей вполне соответствует только правилам старинной эстетики, многие из них с успехом могли бы красоваться на страницах хрестоматии г. Галахова [184], как образчики особого рода красноречия, именуемого «забористым», — в них много соли, хотя не аттической [185], но зато более любезной отечественному вкусу; обилие в них цветов красноречия, несомненно, доказывается тем, что даже один из авторов их наречен лестным именем «лучшего цветка» в рядах российской словесности, и, как мы слышали, один из наших классификаторов трудится в настоящее время над разрешением вопроса, к какому классу растений отнести новооткрытый цветок и какого он пола: женского или мужского, называемого в простонародьи «пустоцветом».

Что же касается до публицистического значения вышеупомянутых статей, то вся сила их заключается в подборе пряных, наркотических фраз, которые, подобно гашишу, развивают только фантазию читателей о мнимом богатстве их умственных сил и знаний, непроизводительно истощают их энергию и способности и, в конце концов, приводят к нравственному усыплению.

Исключительное и одностороннее увлечение естественными науками, повторяем, не может привести к тем благим результатам, на которые указывают защитники этой исключительности. Мы согласны, и не хуже других могли бы доказать, что основа человеческого миросозерцания должна быть утверждена на строго доказанных истинах естествознания, что этой цели можно достигнуть только изучением естественных наук, и потому признаем, что науки эти должны не только преимущественно, но даже исключительно, составлять предмет первоначального образования, и что

московские публицисты проповедуют нелепость, утверждая, что для первоначального образования более необходимы так называемые классические знания, чем естественные науки.

В первые годы жизни человек бывает ближе к естественному состоянию, он никогда добровольно не стесняет своих естественных потребностей, в это время он индивидуальнее, живет в свое удовольствие, не обращает внимания на то, как отражаются его действия на других, и не задумывается, в силу каких начал люди действуют так, а не иначе. Отношения его к обществу ограничиваются семейством. Отец и мать заботятся о его материальном благосостоянии, а потому ребенку нет необходимости размышлять об условиях и законах экономического и тесно связанного с ним гражданского быта общества. Логика его безыскусственна и исключительно основана на личных склонностях и потребностях. Он не может мыслить отвлеченно, и потому его знанию подлежит только то, что приобретается непосредственно при помощи внешних чувств, — чего он не видит, не слышит и т. д., то для него и не существует. Он неспособен к ассоциации отвлеченных впечатлений, не знает, что такое причина, и признает только явления; потому весь внешний мир представляется ему цепью явлений, приятно или неприятно действующих на него.

Мало-по-малу умственные силы вырабатываются и крепнут, из непосредственного, живого отношения к природе в уме ребенка зарождается сознание взаимной зависимости явлений, он начинает замечать внешнюю последовательность их и старается объяснить причину этой последовательности. С этих пор пробуждается потребность знания, и, естественно, она направляется на те явления, которые доступны психическим силам ребенка, т. е. на физические явления внешнего мира, и *потому естествознание более всего соответствует потребностям детского ума.*

С тех пор, как ребенок впервые произносит слово «почему», начинается в голове его процесс, называемый мышлением, в точном значении этого слова, — и это чуть ли не самый важный момент в образовании человеческого миросозерцания. Правильное развитие умственных сил зависит от истинности тех основных положений, которые служат исходными точками суждений человека... Один русский публицист сказал, что если человек однажды принял ложь за истину, — он уже потерял способность отличать истину от лжи. Это мнение несколько утрировано, но в сущности не может быть признано неосновательным. Чем больше мы знаем о каком-нибудь предмете или яв-

лении и чем менее противоречий между этими знаниями, тем больше мы убеждены, что суждение наше об этом предмете правильно, и наоборот: чем меньше мы знаем и чем больше противоречий между этими знаниями, тем мутнее и сомнительнее наши суждения; и если они будут приниматься за истинные, то, очевидно, критическая способность нашего ума будет притупляться, и мы не будем иметь средств отличать действительные впечатления предметов и явлений от искаженных, т. е. истину от лжи. Поэтому необходимо постоянно иметь в виду эти соображения при выборе предметов для первоначального образования; от этого выбора зависит первый толчок и характер развития, получаемый еще слабым, но впечатлительным умом ребенка. Главное условие правильного развития психических, равно как и физических, сил человека, состоит в том, чтобы ни одна из них не оставалась в бездействии, чтобы деятельность сообразовалась с возрастом силы (если можно так выразиться) и чтобы каждое впечатление доходило до сознания именно тем путем, который обусловливается самим свойством впечатления, т. е., напр., чтоб понятие об известной форме предмета передавалось посредством зрения, понятия о звуке — посредством слуха, понятие об ощущении человека, сделавшего доброе дело, — осуществлением самого факта, вызывающего подобное ощущение, никак не иначе. Тогда ассоциация идей, составляющая мышление, и ассоциация приятных и неприятных ощущений, образующая то, что называется чувством, — будут возникать и развиваться естественно и, следовательно, правильно.

На основании вышеупомянутых свойств и условий развития детского ума, *описательные* естественные науки могут быть признаны самым подходящим предметом для первоначального образования; они занимаются исследованием явлений, имеющих конкретное существование, доступных непосредственному восприятию внешних чувств человека; в них нет ничего предполагаемого, условного, нет ничего, что нужно было бы принять на веру, все может быть подтверждено прямым и самым убедительным для ребенка чувственным *наблюдением*. За описательными следуют *теоретические* естественные науки; изучение их уже требует известной степени умственного развития — способности к анализу, сравнению и умозаключению; но все-таки они, после *отвлеченных* математических наук, самые точные и менее всякой другой науки заставляют принимать на веру такие положения, которые не могут быть подтверждены чувственным *опытом*. Вообще же естественные науки, при правильном целесообразном знакомстве с ними, при-

учают ум человека не останавливаться только на внешней связи явлений, заставляют стремиться к отысканию естественной, внутренней зависимости и причинности их. Они показывают, что самостоятельных, изолированных явлений не существует, что всякое из них зависит от другого, предшествующего, составляющего его причину, что все явления находятся между собой в постоянном взаимодействии и что *не может быть исключений из этих общих правил*. В этом заключается главнейшее значение естественных наук и употребляемого ими метода в развитии умственных сил человека. Ум, при начале своего развития сроднившийся с этими основными положениями и методом естествознания, всегда будет руководствоваться ими, на какую бы сферу человеческих знаний он потом ни устремился.

Мы говорили до сих пор о развитии и потребностях ума в первые годы жизни человека, мы имели в виду общее правило и не оговаривались насчет исключений; мы рассматривали ребенка как бы в естественном состоянии, не принимая во внимание той общественной среды, в которой он находится. А между тем часто случается, что ребенок с самых малых лет, по тем или другим причинам, начинает принимать участие в общественной жизни, подчиняется ее влиянию; точно так же бывают люди, до старости не выходящие из сферы детских интересов, всю жизнь проводящие подобно птицам небесным. — Такие явления, как бы они часто ни повторялись, не могут быть признаны общим правилом, и потому мы не намерены анализировать их, тем более, что не имели целью писать трактат о воспитании. Для нашей цели достаточно будет сказать, что жизнь человека, в большинстве случаев, разделяется на два периода, не имеющие резко определенной возрастом границы, незаметно переходящие один в другой.

Первый период жизни личной, индивидуальной, второй — жизни общественной; главнейшее отличие их обусловливается сферой деятельности и характером интересов, под влиянием которых мыслит и действует человек.

По мере возрастания сил, человек все больше и больше сам принужден бывает заботиться об удовлетворении своих потребностей; родительская опека мало-по-малу уменьшается, человек начинает приходить в столкновение с обществом, сфера его деятельности расширяется, он попадает в новые условия жизни и должен обращать внимание на эти условия. Правильность отношений к каким бы то ни было явлениям всегда соразмерна со степенью знакомства с этими явлениями, — поэтому и явления жизни общественной должны быть известны каждому члену общества. То, что возможно было игнорировать в детском возрасте, долж-

но быть подвергнуто изучению всяким, сделавшимся членом общества. Вопросы экономические и социальные выступают на первый план, положение их обусловливает жизнь человека, и потому они начинают интересовать его; он обязан в своей деятельности сообразоваться с ними, согласовать свои поступки с интересами других людей. Нравственные и социальные убеждения человека начинают формироваться; если внимание его в это время будет поглощено чем-нибудь не имеющим непосредственного отношения к вопросам жизни, то, очевидно, он будет находиться в положении самом благоприятном для развития общепринятых рутинных убеждений. Таким образом, предметы знания, подлежащие человеческому изучению в этом периоде, уже не могут ограничиваться одними естественными науками; они отслужили свою службу и удаляются на второй план (если человек не захочет сделаться специалистом). Условия жизни стали сложнее, многообразнее и характернее; явления общественности основываются уже не на одних только естественных (в ограниченном значении этого слова) законах, но часто зависят от былых, исторических условий жизни народа; эти условия часто давно перестали существовать, но тем не менее продолжают оказывать влияние, в силу привычки, на нравы и понятия людей. Поэтому не только ныне существующие, но и прежде бывшие условия человеческой жизни требуют тщательного и всестороннего изучения.

Это естественное разделение жизни на два периода, различные как по степени развития умственных сил, так и по характеру деятельности и интересов человека, обусловливает двоякий характер литературных произведений и полагает существенное различие между журналом для детей и литературно-политическим журналом, между школьным учителем и публицистом. Каждый из них имеет значение на своем месте, смешивание их и замена одного другим ведет к тому, что или дети преждевременно достигают неестественной зрелости, или внимание общества отвлекается от существеннейших интересов его жизни.

Правда, огромное большинство нашего образованного общества совершенно невежественно, не обладает даже самыми элементарными познаниями о законах физической природы вообще и природы человека в частности. Вы на каждом шагу встретите «образованного» человека, который ничего не знает и не только никогда не занимался серьезно никакой наукой, но даже не прочел толком ни одной книги,— и он не стыдится своего невежества, потому что большинство его окружающих тоже ничего не знает.

Но литературно-политические журналы непосредственно

не могут помочь этому горю, они, как замечено выше, не могут быть хранилищами науки, они могут дать только тон направлению общественной мысли, они могут обратить внимание на тот или другой вопрос, на ту или другую слабую сторону общественных знаний, они могут и должны указать на средства и источники знания, но сами представить их не в состоянии. Литературно-политические журналы, по самому основному принципу их деятельности, должны удовлетворять более общим потребностям, должны касаться вопросов, каковы бы они ни были, с общей точки зрения, имея в виду не одну какую-либо часть общества, а целое общество в совокупности. Эти требования налагают особый оттенок и на самый способ изложения даже научных вопросов в литературно-политических журналах, — в частности, связующие звенья упускаются, рассматривается только общая мысль, подтверждается неполным количеством фактов. Так что изучение науки при исключительной помощи журнальных статеек может придать только внешний лоск развития, научить болтать о науке и отучить от желания познакомиться с ней.

Нам возразят, что популярные статейки в журналах, особенно по части естествознания, имеют то важное значение, что подготовляют читателя к чтению серьезных и популярно изложенных сочинений. С этим мнением можно отчасти согласиться, но против него нельзя не привести двух замечаний. Во-первых, нам кажется, что подготовка к серьезному знакомству с наукой должна *непременно* даваться в школе первоначальным образованием, иначе читатель так и остановится на «подготовке» и в огромном большинстве случаев ограничится ею, а вне школы он может научиться науке из первых источников, а не из популярных переделок.

Во-вторых, мы не можем признать за популярными статейками, помещаемыми в одном из наших журналов, приготовительного значения еще и потому, что они постоянно упускают из виду одно, по нашему мнению, необходимое свойство подготовительного знания: они никогда и никого не научили учиться, — а согласитесь, читатель, что наука эта весьма важная, — а потому никак не могут быть признаны первым шагом к науке; они представляют из себя лестницу, в которой всего одна ступенька, и называть ее первою или последнею, — это как кому нравится.

Итак, учить взрослого человека разным наукам посредством жиденьких статеечек — значит толочь воду в ступе; все, что может сделать в этом отношении литературно-политический журнал, это разработать науку (или искусство) о том, *как учиться;* это общественная наука, и она

входит в круг деятельности публициста. Взрослый читатель, не имевший возможности познакомиться с этой наукой в школе, узнавши ее, если захочет, будет учиться, а не захочет, то излагайте вы ему хоть «законы оплодотворения орхидей», все-таки ничего с ним не поделаете.

Причина невежества нашего общества коренится в недостатках первоначального школьного образования; обойти эту причину какими-нибудь окольными путями едва ли возможно, потому что школьное образование есть именно тот путь, по которому неминуемо проходит развитие большинства нашего общества. Заменить школу чем-нибудь другим можно только для немногих, и потому люди, размышляющие о судьбах общества, никогда бы не должны упускать из виду вопроса о первоначальном образовании.

Мы читаем Дарвина [186], по Лайэлю [187] проникаем в тайны подземного мира, а дети наши в гимназиях знакомятся с природой по учебнику г. Михайлова [188], до такой степени неудовлетворительному, что приходится жалеть даже о вытесненном им руководстве Симашко [189].

Еще в весьма недавнее время наша периодическая литература и общественное мнение, повидимому, сильно были увлечены вопросом о воспитании; но нужно сознаться, что результаты этого увлечения далеко не соответствуют тем ожиданиям, какие были высказываемы в то время; общество и литература почти ничего не сделали даже относительно теории этого вопроса, не говоря уже о практических применениях, а между тем самый вопрос считается будто порешенным и сдан в архив. Положим, ход развития общественного школьного образования не вполне зависит от нашего общества и иногда не согласуется с его требованиями. Но есть сфера, в которой возможна деятельность общества; в настоящее время в учебных заведениях нет учебников, так что в этом отношении допускается конкуренция в составлении учебных пособий. А между тем встречаются еще такие руководства, как «Естественная история» г. Михайлова. Чтобы не приводить много примеров, укажем еще на один чрезвычайно характеристический и грустный факт. Министерство назначило премию в 2000 р. с. за лучший учебник естественной истории для народа. Два раза был конкурс на соискание этой премии, и оба раза ни одно из представленных сочинений не удовлетворяло требованиям программы, которая, нужно заметить, была составлена разумно.

Мы остановились на вопросе о воспитании потому, что на этом вопросе можно рельефнее видеть свойства современного увлечения нашего общества естественными науками. Оказывается, что в этом отношении результатов этого

увлечения нет, что увлечение это не сопровождается правильным взглядом на значение существеннейших интересов, даже интересов распространения самого естествознания.

Многие с злорадством замечают, будто бы само естествознание ведет к оскудению жизни и мысли общественной. Оскудение факт бесспорный, но нельзя еще сказать, что естествознание ведет к нему, потому что нет данных для такого заключения: у нас *нет естествознания,* у нас есть переводные книги по естественным наукам, но книг этих не умеют читать; у нас есть называющие себя поборниками реализма, но они не умеют мыслить; следовательно, еще нет данных, доказывающих общественный вред естествознания, и данных этих никогда не будет, потому что с уяснением истинного значения естествознания увлечение им не будет таким односторонним и исключительным. Исключительность и односторонность всегда и во всем вредны, потому мы и считали своей обязанностью восстать против них, признавая в то же время громадную пользу действительного естествознания. Не само естествознание, а неумелое и неуместное пользование им ведет к тому результату, что в настоящее время многие вопросы общественной жизни удалены на второй план, что в жизни хаос, в литературе все более и более исчезают признаки, по которым можно различить, «где начинается один и кончается другой» орган общественного мнения.

Невероятно было бы предположить, что в России нет голов, способных мыслить, нет людей, умеющих всегда ясно смотреть на ход жизни общественной, не увлекаться мелочными явлениями и не предаваться по поводу их восторженности или беспричинному унынию. Но, кажется, не безосновательно то мнение, что энергия русской мысли весьма ничтожна, что ее хватает только на приготовительные рассуждения к какому-нибудь делу, и само дело предоставляется случайностям, могущим привести к тому или другому результату, независимо от первоначального плана.

Одни говорят, что это печальное явление зависит непосредственно от географических условий России; другие указывают на русскую историю и еще на некоторые причины, — мы не будем теперь останавливаться на разборе этих противоположных мнений; упомянем только о том, с чем согласны все, что человек вообще способен находить тот или другой выход из условий, неблагоприятных развитию его, если только он не пренебрегает изучением этих условий.

Наше общество разными путями подходило к такому изучению, но все как-то неудачно, односторонне. Наше

общество подойдет к вопросу, погорячится умеренно и повернется назад, чтобы, отдохнув от труда, подойти с другой стороны. А жизнь между тем, охорашиваясь по временам и для виду как будто подновляясь, идет по старенькой торной дорожке.

Шум, производимый в настоящее время естествознанием, есть ничто иное, как один из вышеупомянутых подходов к изучению условий и законов человеческой жизни. Но, рассматривая характер этого увлечения, мы должны были признать его несоответствующим цели, слишком исключительным и односторонним. Мы согласны, что увлечение всегда более или менее отличается этими недостатками, но этого мало, чтобы всякое увлечение считать вполне полезным, особенно если оно только поверхностно и не приводит ни к каким результатам, если из-за него упускаются из виду такие явления, которые способны парализовать результаты самого энергического, активного и плодотворного увлечения.

Если бы люди вечно оставались детьми, т. е. могли бы жить только в силу своих существенных, личных свойств, то, конечно, естествознание обнимало бы все вопросы жизни и не было бы никакой надобности в каком-нибудь другом знании. Но люди живут не при таких условиях, общественная жизнь складывается под влиянием особых законов, вытекающих из *социальных* свойств человека, и изучением этих законов нельзя пренебрегать.

Поэтому мы не можем отрешиться от неприятного впечатления, производимого на нас людьми, вышедшими из детского возраста, вступившими в сферу практической жизни и не признающими никакого знания, кроме естественно-научного, в ограниченном смысле этого слова. Они не натуралисты, не приносят никакой пользы науке, потому что, вообще говоря, очень мало знакомы с ней, и в то же время они бесполезные члены общества, их нельзя назвать практически умными людьми, потому что они неспособны понять самых простых причин, обусловливающих характер общественной жизни человека. К философскому пониманию важнейших естественно-научных выводов они не привыкли, потому что такое понимание требует серьезного размышления над приобретенными знаниями и не по силам им. Нашим реалистам, или, точнее, лже-реалистам, в большинстве случаев знакомы только обрывки науки, факты, имеющие какой-нибудь веселенький оттенок, а между тем реалистические повадки уже овладели ими, они считают себя в праве свысока смотреть на всякое знание, не внесенное ими в программу естественных наук. Им, конечно, хотелось бы подвести всякое знание под общие законы

природы; они сначала обыкновенно и стремятся к этому, но скромные размеры их познаний препятствуют такому обобщению и порождают сомнение в самой возможности такого стремления. Сомнение скоро переходит в положительное убеждение, что ничего тут не поделаешь, и останавливает всякую попытку найти хоть какой-нибудь закон, руководящий человеческими отношениями.

Необходимым следствием такого направления мысли бывает слабость характера, утрата энергии, нерешительность в практической деятельности, постоянная боязнь «неестественного» поступка, ведущая за собой изобилие таких поступков и крайнюю апатию и индифферентность ко всему, что волнует живого человека, что составляет его высшее благо или причину невыносимых нравственных страданий. Люди, старающиеся согласовать свои поступки только с общими законами природы, поневоле принуждены суживать сферу своей общественной деятельности, в которой только и может проявиться степень плодотворности знания, и этим самым ограничивают возможность всестороннего развития своих сил.

Таким образом, в конце концов, возбуждающее и укрепляющее ум влияние естественных наук остается изолированным, составляет достояние немногих избранных, потому что большая часть проводников этого влияния чужда жизненной борьбе, остается пассивным элементом общественного развития.

А между тем не только попытка, но даже всякое предположение сделать что-нибудь к уменьшению последствий гибельного направления, вызывает или прямое противодействие, или снисходительную улыбку сомнения со стороны тех, которые более других должны бы сознавать обязанность устремить всю оставшуюся энергию к отысканию средств, могущих вдохнуть жизнь в увядающие силы общества.

Это, впрочем, и понятно: тот, кто потерял способность чувствовать движение общественной жизни, кто не считает своей обязанностью следить за ее направлением, чей ум никогда не стремился к объяснению законов, управляющих человеческими отношениями, тот не понимает и не допускает в других искренности подобных стремлений; они кажутся ему если и желанными, то несбыточными грезами. До того привыкает человек к умственной недеятельности, что всякое движение мысли болезненно отражается на нем и нарушает покой его страдательного ничтожества.

Те свойства ума, которыми обусловливается нравственность человека, развиваются правильно только вследствие ясного понимания законов общественных отношений, по-

тому что только в этих отношениях они и проявляются. Такое понимание приобретается не из естественных наук, но или непосредственно из жизненного опыта, который, по многим случайным причинам, часто довольно ограничен и оставляет на нравственных свойствах человека отпечаток односторонности и узкости, или же он бывает результатом глубокого теоретического изучения явлений человеческой жизни. Конечно, соединение двух этих путей нравственного развития более всего благоприятствует ему. Но выводить законы нравственности, т. е. законы общественных отношений человека, непосредственно из общих законов природы еще невозможно при теперешнем состоянии биологических наук.

Если человек уклоняется от участия в общественной жизни, считает себя освобожденным от всякого рода общественной деятельности, то тем самым уже свидетельствует о неясности своих нравственных принципов и лишается права на признание в нем гуманных убеждений, потому что своим поведением оставляет больший простор развитию зла, которому мог бы хоть сколько-нибудь противодействовать, если бы убеждения его были прочны, истинны и жизненны.

Сложить «ненужные руки на опустевшей груди», — картина очень живописная, но фигурировать в ней или со стороны любоваться ею могут только те, у которых вместе с грудью пустеет и голова. Всякое удаление в недосягаемые для простых смертных выси, всякое отшельничество в пустыню есть ничто иное, как нравственная кастрация; оно отжило свой век и никогда не было нормальным явлением человеческой природы, не удовлетворяло действительным потребностям общества, а всегда служило поддержкой суеверию разного рода, суживало область человеческого знания. В настоящее время сила ума и величие характера человека измеряются его влиянием на других людей, его общественной деятельностью, а не уединенным бездельем, прикрываемым личиной высших стремлений. Кто не принимает участия в жизни человечества, со всеми ее хорошими и дурными сторонами, тот не может понять природы человека; кто не изучает законов и явлений социальной жизни людей, тот никогда не будет стремиться к возможности полного удовлетворения человеческих потребностей, потому что не чувствует и не сознает их.

Общественная среда часто препятствует правильному ходу развития сил человека, вырабатывает их по общепринятой мерке, так что нередко многие, казавшиеся достойными лучшей участи, становятся дюжинными пошляками. Все это, к сожалению, весьма справедливо, и если бы

возможно было уединиться от дурного общественного влияния, немедленно создать новые условия жизни, более соответствующие современным потребностям лучших людей и обнимающие все стороны человеческой деятельности, — тогда бы всякое уклонение от каких бы то ни было сношений с этой средой было вполне основательно и удобоисполнимо. Но подобное уклонение не всегда возможно, и всякий из нас волей-неволей, незаметно для самого себя, делает уступки предрассудкам времени. Многие не разделяют этого мнения, считают его как бы реакцией житейских безобразий и утешают себя уверениями в том, что вполне отрешились от рутинной жизни общества. Мы с своей стороны полагаем, что указать на действительно существующий факт — не значит еще признавать его законность и содействовать его распространению. Напротив, самообольщение очень часто ослепляет глаза, препятствует правильному взгляду на собственные поступки и оставляет широкие лазейки для незаметно прокрадывающейся рутины.

Уберечься от житейской пошлости, живя посреди ее, весьма трудно, а удаляться от общественной жизни — значит суживать сферу деятельности своих сил. Следовательно, как тот, так и другой выход неудовлетворительны, а потому является необходимость предохранительного средства в жизни, которое состоит в таком теоретическом развитии нравственных и умственных сил, при котором не опасна зараза житейской рутины, при котором жизнь не застает человека врасплох, не переворачивает вверх дном его убеждений. Знание дает человеку средства побеждать природу, направлять ее мощные силы в свою пользу; знание же должно укреплять человека и в борьбе с общественными силами, в противодействии пагубным влияниям общественной среды. Дикий сын природы и гражданин цивилизованного общества, не изучающий законов развития человеческой цивилизации, одинаково беззащитны и немощны в борьбе с враждебными каждому из них силами; одному недостает знания свойств окружающей его физической природы, другому не помогло бы и такое знание, если б он вздумал остановиться на нем. Каждый находится под влиянием той среды, в которой он живет, и каждому необходимы знания, соответствующие характеру этой среды, так что одного естествознания нехватает для правильного понимания и оценки условий общественной жизни человека. Если мы замечаем в современной жизни некоторой части нашего общества именно неспособность к пониманию и к такой оценке, то не можем признать это состояние общества нормальным, а потому признаем причину, его вызвавшую, ненормальным явлением.

Мы сказали, что естественные науки — в том виде, в каком они изучаются нашим обществом — не могут служить человеку руководящей нитью в лабиринте общественных отношений. Мы думаем, что неудовлетворительность их влияния отчасти зависит от неправильного понимания своей задачи нашими публицистами-популяризаторами.

Публицисты эти забывают, что они должны быть просто всесторонне образованными людьми, способными к философскому взгляду на естественную связь между умственными продуктами развивающейся цивилизации. Они забывают, что задача их состоит в развитии общественного миросозерцания, в укреплении умственных сил, в возвышении *активной* нравственности общества, а не в увеличении одних только фактических знаний, хоть бы эти знания были и естественно-научного свойства.

Всякая наука имеет своих специальных и популярных деятелей, — публицист не принадлежит к их числу: его задача, если брать во внимание ближайшие последствия, несравненно выше. Не его дело докладывать обществу, что такая-то наука в настоящее время находится в таком-то положении, — это обязанность знающего свой предмет специалиста; публицист указывает, какие жизненно-ценные и практически-осуществимые данные выработали все науки вообще. Обществу, как коллективной единице, нужно только то, что пригодно для жизни; оно не проникается благоговейным уважением к науке; оно смотрит на науку, как на работницу, обязанную заботиться о его умственном и материальном благосостоянии. Обществу нужна только одна наука — о достижении возможного для человека счастья, а счастье человека зависит преимущественно от условий его социальной жизни, поэтому обществу всегда необходимо изучение науки о распределении материальных богатств и тесно связанной с ней науки о современном состоянии и об историческом развитии законов, управляющих взаимными отношениями людей, и провозвестником и распространителем выводов этих наук должен быть публицист. Его специальность — специальность всего общества; изучение человеческой жизни во всех ее проявлениях — вот его задача; он не имеет права посвящать свои силы только одной стороне своей задачи.

Неисполнение публицистами своей обязанности, исключительное увлечение одной отраслью человеческого знания ведет к тому последствию, что изучение жизни общественной останавливается; внимание общества обращается на одну какую-нибудь науку, и гармония всестороннего развития общественного мнения нарушается до такой степени, что самая плодотворная по существу своему наука

остается совершенно бесплодной, в изучение ее не вносится никаких жизненных требований, так что элементы, под влиянием которых складывается общественная мысль, не будучи всесторонне изучаемы, теряют видимую связь, а от этого еще более усиливается хаотичность общественного мнения. — Общество наше увлекается поочередно различными науками по чисто случайным, внешним причинам, без всякой ясно сознаваемой цели. Так оно увлекалось не очень давно политической экономией, потом историей, теперь — естественными науками. Но где же результаты этих увлечений? Где наши политико-экономы, серьезно занимающиеся изучением экономического быта страны, много ли они содействовали искоренению рутины во взглядах на экономические отношения общества, какое влияние оказали они на нашу промышленность и торговлю? Где наши историки, вносящие новые взгляды в изучаемую ими науку, пролили ли они хоть какой-нибудь свет на темное царство исторической жизни русского народа? Будут ли у нас натуралисты, способные познакомить общество с естественными богатствами России? — Где эти люди, не останавливающиеся на поверхностном, бесплодном и бесцельном увлечении, которые, несмотря ни на какие препятствия, стремятся к достижению предположенной цели и не колеблются от временных неудач, не покидают начатого дела?

Ответы на эти вопросы не говорят в пользу серьезности общественных увлечений; хотя, с другой стороны, увлечения эти свидетельствуют, что общество чего-то ищет, что оно не удовлетворено современным складом жизни и низким уровнем своих знаний. Колебания, быстрые и бесследные переходы от одного предмета к другому показывают, что литература и наука не знают, что нужно обществу, и не умеют удовлетворять его потребностям.

Уж таковы свойства ума человека, удалившегося от практической, реальной деятельности, от живого участия в общественной жизни, что он забьется в непроходимые трущобы идеализма или до такой степени заблудится в лжереалистических умствованиях, что далеко оставит за собой самых ярых идеалистов в изобретении нелепостей, выдаваемых за высшую мудрость.

Я сторонник обобщения законов природы и склонен принимать даже такие обобщения, которые далеки еще от строго научного подтверждения, если мне кажется, что они могут связать шаткие основы современного человеческого знания; я склонен к гипотезам даже и тогда, когда сам в состоянии подметить их частную несостоятельность, потому что в гипотезах проявляется сила ума человеческого, а эта сила по природе своей более всего располагает в

свою пользу. Но тем не менее я твердо убежден в том, что хотя человек, как животный организм, и развивается на основании общих законов животной органической природы и с этой стороны подлежит изучению естественных наук, но с другой стороны, как член общества, он действует в силу других законов — законов жизни социальной. Те и другие имеют общий источник — природу человека, но человек в природе и человек в обществе находится под влиянием несколько различных условий. Естественные силы, в тесном смысле этого слова, видоизменяются, переходят одни в другие, но сумма их в природе остается неизменною; социальные силы, т. е. средства, которыми располагает человек для прогрессивного улучшения своей жизни, тоже видоизменяются, но вместе с тем и возрастают с каждым поколением людей. Всякий продукт отличительных свойств человеческого рода уже становится естественным деятелем в развитии общественной жизни, составляет новый элемент, который, осложняя причины, видоизменяет и следствия, порождает новый ряд явлений, которые еще не подведены под общие законы природы и составляют особый цикл явлений и законов социальной жизни человека.

Сами натуралисты утверждают, что, по мере осложнения материи из простейшей неорганической в высшую органическую, изучение свойств ее становится все более и более сложным и затруднительным, что постоянно встречаются новые явления, сопровождающие высшую организацию, заставляющие предполагать если не присутствие новых сил природы, то такое осложнение прежде известных, что разложить их на составные части современная наука еще не может.

Чем выше строение организма, тем разнообразнее его физиологическая деятельность и тем сложнее и разнообразнее продукты этой деятельности. Если мы взглянем с этой точки зрения на весь прогрессивно совершенствующийся ряд животных организмов до человека включительно, то заметим, что все животные (кроме человека) совершенствуются только посредством передачи своих физиологических свойств своим потомкам, так сказать, органическим путем; они нисколько не изменяют условий своей естественной жизни (допускаю возможность незначительных и маловажных исключений), их потомки живут в тех же условиях, в каких жили и предки; так что после смерти животного остается только один след его физиологического существования — рожденные им детеныши, которые в свою очередь подвергаются той же участи. Только человек, в силу своих отличительных физиологических свойств, — отличительных если не по сущности, то по степени, — способен творить бес-

смертное, накоплять продукты некоторых из своих физиологических, именно психических, отправлений и передавать их по наследству будущим поколениям. — Человек передает потомкам своим не только свои личные свойства, но и измененные им внешние условия жизни; он видоизменяет природу сообразно своим высшим потребностям, он создает искусственные предметы, которых до него не было в природе; он группирует и концентрирует силы природы, увеличивает их производительность и одним этим создает уже новую сферу деятельности, дающую возможность более быстрому прогрессивному развитию рода человеческого. — Кроме того, самая мысль человека становится новым естественным деятелем, она часто оказывает влияние даже на такие местности, где никогда не был и не будет тот человек, в уме которого она образовалась. Проволоки электрического телеграфа, клочок бумаги — такие же деятели, такие же естественные силы, как теплота и свет, потому что нельзя не признать силой того, что способно вызвать материальные явления.

Все эти бессмертные продукты человеческого ума, продукты, которые до сих пор не производил ум никакого другого животного, передаются из рода в род и все более и более разграничивают явления жизни всей природы, с одной стороны, и явления жизни человека — с другой.

Человек получил такое же происхождение, т. е. появился на земном шаре тем же путем, как и другие животные, и вначале почти ничем не отличался от них. Этого одного уже достаточно для непоколебимого убеждения, что рано или поздно человеческому уму откроется происхождение и естественная сущность всех сил, так высоко поставивших человека над всем физическим миром, хотя бы эти силы развились до таких размеров и вызвали бы такие явления, которые не может даже представить самая богатая фантазия современного человека.

Но современное знание еще на громадном расстоянии от такого открытия, — об этом нельзя забывать; хотя в то же время нельзя упускать из виду и того, что считается общераспространенным убеждением и что поэтому так часто забывается, а именно: незнание основных законов и сил, неумение объяснить их не может служить причиной отрицания реально существующих явлений и не может препятствовать изучению этих явлений, хотя бы такое изучение и представлялось с известной точки зрения неудовлетворяющим строгим требованиям истинного, реального знания. — Незнание естественной сущности света, наприм., не приводило же исследователей к отрицанию его явлений и не удерживало их от изучения этих явлений. — Истинные на-

туралисты всегда говорили: мы видим, слышим, вообще получаем впечатления известного рода, следовательно, существуют явления, их вызвавшие; если мы не умеем объяснить природы этих явлений, то законы их внешних соотношений во всяком случае подлежат нашему изучению, потому таким изучением мы и занимаемся и твердо убеждены, что будем знать то, чего теперь пока не знаем.

На каком же основании некоторые современные пигмеи-натуралисты отступают от этого способа отношения к реально существующим явлениям, на каком основании они не умели проследить до *первичных* причин некоторых явлений, и потому или отрицают естественную законность их, или подводят их под общие законы природы, не указывая пути, по которому дошли они до такого вывода?

Наука, или, лучше, науки, о жизни человека существуют и изучались с давних времен, но изучение это, по причинам, о которых здесь не будем рассуждать, отличалось крайней неосновательностью и бесплодностью. Только теперь настает время, когда они вступают на путь более правильной обработки; естественно-научный метод мало-по-малу прокрадывается во все разветвления их и заставляет исследователей обращать исключительное внимание на естественную причинность и взаимную зависимость изучаемых ими явлений. Но эти науки о различных проявлениях социальной жизни человека еще не скоро станут естественными науками; естественно-историческая основа их будет постепенно расширяться, но самое существование и важность изучения их еще долго будут обусловливать по возможности правильное понимание тех основных причин, которые определяют общественный строй людей и управляют деятельностью отдельных лиц и целых масс народных.

Естественные науки должны научить исследователей человеческой жизни, как исследовать подлежащие им явления; они дадут выработанный ими материал, могущий пролить свет на общие биологические явления, но заменить социальных наук они еще не могут, и потому натуралисты не имеют права отрицать важности их изучения.

Мне кажется, что читатель не потребует от меня дальнейших подробностей, подтверждающих некоторые из моих не общераспространенных мнений. Читатель уже и теперь, вероятно, согласился со мной в том, что исключительное, одностороннее и поверхностное изучение естественных наук не приведет к познанию законов жизни человека, к которому только и стремится общество, что для этого требуется изучение не только других, хотя менее разработанных, наук, но и пластических и особенно словесных искусств, отвергаемых слепорожденными реалистами.

А согласившись с этим, он не отвергнет и справедливость следующих выводов из всего предыдущего.

Естественные науки при теперешнем их развитии могут и должны быть *единственным* предметом самого первоначального образования.

Выработанные ими данные не могут служить исключительным руководством деятельности человека, принявшего сознательное участие в общественной жизни.

Изучение естественных наук не приводит к отрицанию всякой другой отрасли человеческого знания.

Исключительное увлечение ими современного нашего общества не служит еще доказательством реального направления общественной жизни, потому что громадное большинство поддавшихся этому увлечению не представляет никаких гарантий против возможности обращения к миросозерцанию с московским оттенком[190].

Наши лжереалисты, поддавшись этому всеобщему и странному[191] увлечению, представляют такие очевидные признаки исчезновения здравого смысла, что заставляют опасаться за умственное благосостояние их читателей.

Обильно рассеиваемые ими в «садах» нашей литературы цветки красноречия при ближайшем исследовании оказываются сорною травою, способною заглушить зачатки неокрепшего стремления нашего общества к умственному развитию.

Все эти соображения заставляют желать и содействовать тому, чтобы поверхностное увлечение естествознанием перешло в серьезную и плодотворную привязанность к естествознанию, к усвоению его основных истин и могучего метода, чтобы общество, при своей любви к естествознанию, не пренебрегало изучением других наук, еще более соответствующих потребностям русской общественной жизни.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПИСЬМА[192]

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

С появления первого издания этой книги прошло с лишком 20 лет, и к тому же 20 лет весьма знаменательных для нашего отечества.

Тогда была еще свежа проповедь Чернышевского и Герцена. Все шире и шире сатира Щедрина захватывала область «непозабытых еще слов». Шли споры между сторонниками блестящих статей Писарева, с их превознесением естествознания в теории, индивидуализма в жизни, и зарождающимися народниками, для которых все заслонялось требованием общественной борьбы [193] в виду введения в историческую жизнь только что освобожденного русского крестьянина. Тогда можно было лишь смутно предчувствовать — но даже не предвидеть — что среди разрозненных, занятых преимущественно самообразованием кружков русской молодежи раздастся чрез три года пламенный призыв: «в народ!» — под знаменем, на котором будет сиять, как девиз, теоретическое учение Маркса и Лассаля [194], при практическом требовании «опроститься».

Русское общество пережило с тех пор эту эпоху самоотверженных крестоносцев социализма. Оно пережило то либеральное опьянение, с которым было встречено во всей России оправдание Веры Засулич. Оно пережило еще иную недолгую, но грозную историю: небольшая группа молодых людей в начале 80-х годов сумела слить старинную революционную традицию декабристов 20-х годов с идейной традицией русской интеллигенции, проповедывавшей в продолжение всего долгого и душного царствования Николая начала гуманизма и человеческого достоинства, причем эти начала вылупились теперь из своего состояния либеральной личинки, чтобы развернуть крылья созревшего социального вопроса, проникнутого жизнью исторической борьбы классов. Во имя экономической и политической эмансипации русского народа, «Народная воля» вступила в неумолимую борьбу с русским абсолютизмом, не считая жертв, которые пришлось принести ее сторонникам. Но русские либералы, естественные враги абсолютизма, выработав в прошлом традицию борьбы идейной, выказались еще недоросшими до политической решимости своих дедов 20-х годов отстоять свои идеи на деле.

Тяжелою ценою заплатило русское общество за свои ошибки. Русское социально-революционное движение врезало для настоящего и для будущего неизгладимую черту в историю нашей родины, но его временное подавление отозвалось мучительною общественною болезнью. Наступила эпоха деморализации. Из рядов самоотверженных борцов за будущность России стали отставать утомленные и разочарованные. К именам иных из этих вчерашних борцов пришлось прибавлять слова: «отступник», «изменник», «предатель». Вместе с останками Салтыкова и Чернышевского, Елисеева [195] и Шелгунова [196] русская литература похоронила и «забытые слова» этих чуть ли не последних представителей идейной борьбы. Одиноки и подавлены те из них, которые остались на литературной сцене. Литературная «молодежь» 80-х годов стала явно отрекаться от преданий Белинского [197] и Добролюбова [198]. «Передовые» писатели стали признавать своими товарищами по делу сторонников смутной идеалистической метафизики и защитников более или менее еретического христианского богословия. Проповедь «непротивления злу» получила значительное число сторонников. Среди русского студенчества громко и смело стали говорить карьеристы и индифферентисты. Никто из «приспособляющихся» уже не стыдится своих уступок, идущих все далее и далее. Все живое в России, все проникнутое решимостью бороться против умственного растления, против общественного индифферентизма, против анархических форм русского абсолютизма и против капиталистического эксплуататорства во всем цивилизованном мире — все сохранившее великую идейную традицию русской интеллигенции и все усвоившее понимание еще более могучих практических задач научного социализма, — принуждено возвратиться к осторожной подпольной работе конспиративных групп, оберегаясь не только от сыщиков явных и тайных, но и от трусливой растерянности общества, сторонясь не только от возможных предателей, но и от деморализованных вчерашних товарищей, пытающихся в водке и в клубничных похождениях потопить свое нравственное обезличение и от новых представителей молодежи, в которых заглохло самое желание бороться и, если нужно, гибнуть за свое идейное убеждение, за свои политические и социальные задачи.

И вот после этих-то 20 лет жизни нашего общества нашлись издатели для книги, появившейся в 1870 г. и материалом для которой послужили статьи журнала, выходившего в конце 60-х годов.

Следовало ли автору согласиться на предложение сделать новое издание этой книги, и если оно могло представить какой-либо интерес, то в каком виде могло появиться это издание? Задачи, стоявшие перед русским писателем и читателем в области мысли, которой принадлежит эта книга, или изменились с тех пор в своей постановке, или заменились другими. Читатель на-

чала 70-х годов сам изменился, а новое поколение, при различных формах, пережитых им за это время, представляет немалое отличие от своих предшественников. И тем и другим желательно, по всей вероятности, нечто иное. Новый читатель имеет полное основание спросить себя: нужно ли было снова издавать труд, пытавшийся отразить задачи русской жизни и мысли в том виде, как они представлялись в конце 60-х годов? Если была необходимость вернуться к этому предмету, то не следовало ли совершенно переделать этот труд и представить читателю нечто более соответствующее и настоящему положению русской мысли и жизни, и тому отношению, в которое теперь стал автор к этой мысли и жизни, и тому обстоятельству, наконец, что второе издание появляется за границею и не при тех условиях печати, которые лежали и лежат на всяком писателе и издателе в пределах Российской империи? Если же в мире русских читателей была потребность в новом издании этой книги, а она, отражая давно пережитую эпоху русского развития, требовала бы теперь полной переработки, то не следовало ли издать ее совершенно безо всяких перемен, в том виде, как она появилась в 1870 году, когда единственные два ее экземпляра, достигшие до автора, получены были им в Париже, как раз накануне того дня, когда германская армия, обложившая Париж, отрезала его на несколько месяцев от сообщений со всем остальным миром, в том числе и с Россиею?

Так как автор согласился на предложение сделать второе издание своего труда и при этом не остановился ни на мысли вполне переработать его, ни на намерении воспроизвести совершенно безо всяких изменений издание 1870 г., то он считает себя обязанным объясниться по этому поводу с новыми своими читателями.

Книги имеют свою судьбу, как говорит латинская пословица, и эта судьба, во многих случаях, очень смутно предвидится — если предвидится сколько-нибудь — авторами в то время, когда они приступают к своему труду. «Исторические письма» появились впервые в «Неделе», находившейся в конце 60-х годов под руководством хорошей личной приятельницы их автора [199], способствовавшей их помещению в этом издании, причем, насколько известно автору, это помещение встречало тогда порицание многих заметных представителей нашей передовой литературы [200]. При этом имелась в виду совсем не цельная книга, а ряд отдельных статей по вопросам, представлявшим вообще некоторую общую им аналогию. Автор писал свои письма в отдаленном городе Вологодской губернии [201] и имел полное основание опасаться, что этот ряд может каждую минуту перерваться и редакция может предложить ему «по независящим от нее причинам» перейти к предметам иного рода. Вопросы, составлявшие содержание отдельных писем, были далеко не всегда, по мнению автора, самые важные по существу; но иногда они наиболее

занимали прессу в данную минуту. Автор дал бы им совсем иное место и иные размеры, если бы предполагал с самого начала, что из этого выйдет более или менее цельная и законченная книга; если бы он предвидел, что на нее русская молодежь обратит то внимание, которое этой книге удалось вызвать. Это было тем неожиданнее для автора, что он очень хорошо сам знал и слишком часто слышал от своих более откровенных приятелей, что его манера писать, по некоторой отвлеченности и тяжеловатости, вообще не особенно привлекательна для большинства читателей. По мере того, как ряд писем удлинялся, он и независимо от сознательного намерения автора получал большую цельность, концентрируясь около двух-трех главных вопросов, и в мысли автора сознательно вырабатывался в труд, способный поставить перед читателем, хорошо ли, дурно ли, но определенные вопросы и предложить для них определенное решение. Когда ряд писем был закончен, автор в своей вологодской ссылке узнал, что этот ряд встретил кое-где внимательных и сочувствующих читателей; что его появление книгою может иметь некоторый успех; что многие находят это появление соответствующим требованиям читателей этой эпохи. Автор занялся переработкою отдельных писем ряда в более последовательное целое, как он объяснил это в предисловии к первому изданию, и таким образом из отдельных статей «Недели» конца 60-х годов произошла книга, появившаяся в сентябре 1870 г.

Не находясь в России и имея с родиной весьма мало сношений, автор не мог вовсе следить за успехом книги, за ее распространением, за впечатлением, ею произведенным. До него дошли лишь немногие критики. Он поместил в «Знании» возражения и пояснения, вызванные этими критиками [202] и отчасти сделал то же в «Отечественных записках» в статье о формуле прогресса г. Михайловского. В марте 1872 г. ему было предложено сделать второе издание этой книги в России. Он с радостью принялся за это дело, причем воспользовался указаниями критических статей, до него дошедших, и внес в поправки и дополнения более или менее обширные вставки из своих только что упомянутых статей в «Знании» и в «Отечественных записках». Оригинал второго издания, значительно дополненного и исправленного, но все-таки ставившего себе целью лишь уяснение задач прогресса для русских читателей в том виде, как считал возможным это сделать автор в конце 60-х и в начале 70-х годов, был вполне готов к печати; был отправлен в Россию; даже чуть ли не было приступлено к печатанию нового издания. Однако оказалось, что оно появиться не может. Оно было запрещено. Тогда же или вскоре после того и первое издание было извлечено из обращения по распоряжению администрации.

Прошло 10 лет. Автор узнал, что книга сделалась редкостью; что ей удалось, совершенно неожиданно для автора, получить не-

которое значение в кругу русской молодежи; что вопросы, ею поднятые, представляют живой интерес в этом кругу; что она имела на дальней родине не мало читателей сочувствующих, «читателей-друзей». Но именно потому автор и не подумал тогда о новом издании. Ему казалось, что его труд конца 60-х годов не может быть уже удовлетворителен; что русская мысль подвинулась вперед в своем созревании; что для русской жизни развернулись более широкие и более ясные горизонты; что русскому живому читателю нужно уже нечто, не только подготовляющее его к эпохе общественной борьбы, но нечто, более определенно характеризующее задачи этой борьбы; что поднятие духа и энергическое общественное движение, которые имели место на нашей родине в конце 70-х и начале 80-х годов, вообще требуют совершенно новой работы, ставящей вопросы гораздо более определенно и цельно. Ему открылась возможность помещать статьи в новом журнале. Он решился заменить «Исторические письма» 1870 г. в 1881 новым трудом, где те же задачи были бы разработаны с той точки зрения, на которую он считал возможным поставить русского читателя в эту эпоху. Первой статьею этого рода должна была быть «Теория и практика прогресса», вошедшая в настоящее издание, как шестнадцатое письмо. Но она осталась и единственною. Журнал «Слово» был запрещен*.

Прошло еще десять лет. Автору сделано было в прошлом году предложение снова издать «Исторические письма». Выше была сделана попытка характеризовать в нескольких строках печальное состояние русской мысли и жизни в настоящее время по сравнению с тем, что имело место в конце 60-х и тем более в начале 80-х годов. Автор «Исторических писем» вовсе не уверен, существует ли теперь в давно оставленной им родине мало или много таких читателей, которых он мог бы называть «читателями-друзьями». Он не знает и того, есть ли там достаточное число читателей, интересующихся теми вопросами, которые он продолжает считать одними из важнейших для развитого человека вообще и, может быть, для русского развитого человека в особенности. Поэтому он не счел необходимым предложить новым издателям заменить «Исторические письма» — почти исчезнувшие из обращения в печатных экземплярах и циркулирующие в России кое-где лишь в литографированных — новым трудом по тем же вопросам, как думал сделать это в 1881 г. Отказать издателям он тоже не видел достаточной причины. Но он счел дозволительным принять за основание нового издания не экземпляр 1870 г., а тот исправленный и дополненный оригинал, который был совершенно готов к печати и, кажется, был даже отчасти отпечатан в 1872 г. Этому предполагавшемуся к напечатанию в России, но не появившемуся в продаже изданию принадлежат все крупные дополнения и изменения,

* Впрочем, насколько мне известно, вовсе не за мою статью.

которые читатель здесь найдет. Но, посылая в набор свой труд вне территории, где действует русское управление по делам печати, автор не счел нисколько нужным удержать в форме речи те оговорки и затушевывания, которые неизбежны во всяком труде, издаваемом в пределах этой территории, были неизбежны и в оригинале «Исторических писем» 1870 и 1872 годов. Во всех подобных случаях издание 1891 г. употребляет более определенное, точное и откровенное выражение. Автор воспользовался случаем для уяснения того, чем мог бы быть предположенный им труд 1881 г. по тем же вопросам, прибавив к прежним письмам 1870 г. новое письмо, шестнадцатое, которое заключает, таким же образом, пересмотренную статью из «Слова». Почти все остальные небольшие изменения и дополнения, которые автор счел нужным сделать в этом новом издании, отмечены годом, когда они сделаны.

Таким образом, читатель этого нового издания «Исторических писем» имеет, собственно, перед собою предполагавшееся издание 1872 г., в том виде, в каком оно имело бы возможность появиться тогда лишь за границею, с прибавкою одной статьи 1881 г. и с небольшими изменениями и примечаниями 1890—91 годов, почти везде указанными.

В 1870 г., отдавая свой труд в печать в форме книги, автор вовсе не знал, как встретит его русская публика. Она встретила его с бо́льшим сочувствием, чем он ожидал, с бо́льшим, может быть, чем заслуживал труд, заключающий много недостатков. Автор встретил тогда «читателей-друзей». Он глубоко благодарен этим «читателям-друзьям» за те хорошие минуты, которые он пережил, узнав о их сочувствии. Автор опять и теперь не знает, многие ли из этих «читателей-друзей» 70-х годов сохранили теперь сочувствие к этому труду. Он еще менее знает, как встретят читатели нового поколения это новое издание и вообще и в том виде, как оно теперь появляется. Из Парижа автору трудно следить за действительным настроением русской публики.

Во всяком случае, он посылает привет сочувствующим ему читателям на далекую родину, как бы ни было мало или много этих сочувствующих читателей. Тем, кто ему не сочувствует, пусть эта книга напомнит, какие вопросы, как вопросы жизненные, вызывали интерес читателей тому 20 лет. Тем же, которые в разбросанных группах посвятили себя той же неутомимой борьбе за будущность России, которую вели их предшественники оружием идейным и жизненным, тем, которые продолжают эту борьбу оружием, удобнейшим для них в настоящую минуту, нужно не напоминание невозвратного прошлого, но уменье сплотиться в одну историческую силу, ясное понимание новых задач, стоящих пред развитыми русскими людьми, и самоотверженная решимость выполнить эти задачи.

Париж, 29 (17) октября 1891 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Предлагая читателям, в совокупности и в обновленной форме, письма, помещенные прежде в «Неделе», я считаю нелишним предпослать этому изданию небольшое объяснение.

Когда я начал посылать эти письма, я вовсе не был уверен, найдет ли удобным редакция журнала поместить на своих страницах систематический ряд этюдов по вопросам, здесь рассмотренным. Отдаленность от столицы не дозволяла мне следить за ходом дела и видеть, насколько я сумел заинтересовать читателей. Повременное же издание должно постоянно иметь в виду цель — быть читаемым. Несколько раз в продолжение помещения этих писем я мог думать, что мне придется прекратить их, и лишь с окончанием печатания уверился, что они составят для читателей журнала несколько связное целое. Кроме того, я хорошо знаю, что читатели журналов редко имеют терпение следить за развитием мысли несколько отвлеченной, если начало этого развития помещено в одном номере, продолжение тянется в нескольких номерах, а окончание отделяется от начала целым годом. Все это побуждало меня придавать каждому письму более законченную форму, чем следовало бы для связного ряда этюдов, а потому весь ряд мог пострадать и в связности и в цельности. Да и собственная мысль, отрываясь от работы, чтобы возвратиться к ней через некоторое время, сообщала ей слишком отрывочный характер. Поэтому при пересмотре этих писем пришлось указать их связь в некоторых случаях, уяснить зависимость между отдельными этюдами, развить некоторые пункты, переставить кое-что, чтобы читателю удобнее было обнять целое. В этой чисто формальной переделке состоит главнейшее отличие этого издания от первоначального вида «Исторических писем». Позволяю себе надеяться, что новая форма, при большей связности частей и при уяснении основных мыслей, сделает мой труд хоть немного более достойным внимания читателя.

Очень желал бы я сделать в этом труде более существенные исправления, но в этом отношении наша критика нисколько не помогла мне. Ни в толстых журналах, ни в ежедневных газетах, ни в журналах серьезно-исторических, ни в тенденциозных журналах разных направлений — насколько, по крайней мере, эти издания мне удавалось видеть — я не встретил разбора, опровержения, исправления, указания, которое бы меня навело на мысль, где требуется более точности, где более развития; не просмотрел ли я в одном месте важную сторону предмета; не принял ли в другом призрачное явление за существенно важное. Может быть, я не умел достаточно заинтересовать читателей и критиков этими письмами; может быть, критики считали мысли, здесь высказанныя, слишком азбучными, чтобы обратить на них внимание; возможно и то, наконец, что до меня не дошли именно те издания,

которые мне были бы нужны. Как бы то ни было, я был предоставлен в этом отношении сам себе и некоторым отрывочным личным отзывам, до меня доходившим. Последние особенно концентрировались около одного недостатка: отвлеченно, сухо, трудно читается... К сожалению, этот недостаток частью лежит в самом предмете. Тем не менее, я сознаюсь, что он-таки принадлежит и моему способу изложения. В отдельном издании я постарался кое-где исправить это, внося примеры, но я не имел в виду писать новое сочинение, а хотел лишь представить читателям прежний труд в несколько лучшем виде. Излишняя пестрота примеров могла бы, как мне кажется, несколько повредить связности развития мысли. Последняя осталась совершенно без изменения, и только кое-где более точное выражение заменило прежнее.

Не желая изменить общего заглавия моего труда, я счел, однакоже, ненужным удержать в нем некоторые формы эпистолярного слога, употребленные мною прежде.

Мне совершенно неизвестно, насколько мои письма читались или оставлялись без внимания читателями «Недели». Может быть, и теперь критика найдет их мало достойными своего внимания. Я высказался в последнем письме, что сам сознаю многие недостатки этого труда, особенно сравнительно с важностью предмета. Даю читателям то, что имею, так — как умею.

Кадников, 1869 г.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Естествознание и история

Если читателя интересует движение современной мысли, то немедленно предъявят свои права на его внимание две ее области: естествознание и история. Которая из них ближе для современной жизни?

На этот вопрос не так легко ответить, как оно, пожалуй, могло бы показаться с первого взгляда. Я знаю, что естествоиспытатели и большинство мыслящих читателей не задумаются решить его в пользу естествознания. Действительно, как легко доказать, что вопросы естествознания лезут сами в жизнь человека каждую минуту, что он не может повернуться, взглянуть, дохнуть, подумать, чтобы не пришел в действие целый ряд законов механики, физики, химии, физиологии, психологии! Сравнительно с этим, что такое история? Забава праздного любопытства. Самые полезные деятели в сфере частной или общественной жизни могут прожить и умереть, не имея даже надобности вспомнить о том, что когда-то эллинизм проникал в среду азиатских племен с войсками Александра Македонского [203], что в эпоху самых деспотических правителей мира составились те кодексы, пандекты, новеллы и т. д., которые легли в основу современных юридических отношений Европы; что были эпохи феодализма и рыцарства, когда самые грубые и животные побуждения уживались с восторженной мистикой. Переходя к отечественной истории, спросим себя, много ли для жизни современного человека полезных применений в знании богатырских былин, Русской Правды [204], в дикой опричине Ивана Грозного [205] или даже в петровской [206] борьбе европейских форм с древне-московскими? Все это прошло невозвратно, и новые очередные вопросы, требуя для себя всех забот и всего размышления современного человека, оставляют для минувшего лишь интерес более или менее драматических картинок, более или менее ясного воплощения общечело-

веческих идей... Итак, повидимому, не может быть даже и сравнения между знанием, обусловливающим каждый элемент нашей жизни, и другим знанием, которое объясняет предметы только *интересные*, — между насущным хлебом мысли и приятным десертом.

Естествознание есть основание разумной жизни, — это бесспорно. Без ясного понимания его требований и основных законов человек слеп и глух к самым обыденным своим потребностям и к самым высоким своим целям. Строго говоря, человек, совершенно чуждый естествознанию, не имеет ни малейшего права на звание современно-образованного человека. Но когда он однажды стал на эту точку зрения, спрашивается, что ближе всего к его жизненным интересам? Вопросы ли о размножении клеточек, о перерождении видов, о спектральном анализе, о двойных звездах? Или законы развития человеческого знания, столкновение начала общественной пользы с началом справедливости, борьба между национальным объединением и общечеловеческим единством, отношение экономических интересов голодающей массы к умственным интересам более обеспеченного меньшинства, связь между общественным развитием и формою государственного строя?.. Если поставить вопрос таким образом, то едва ли кто, кроме филистеров знания (а их не мало) не признает, что последние вопросы ближе для человека, важнее для него, теснее связаны с его обыденною жизнью, чем первые.

Даже, строго говоря, они одни ему близки, одни для него важны. Первые лишь настолько важны и близки ему, насколько они служат к лучшему пониманию, к удобнейшему решению вторых. Никто не спорит о пользе грамотности, о ее безусловной необходимости для человеческого развития, но едва ли есть у нее столь тупые защитники, чтобы стали предполагать в ней какую-нибудь самостоятельную, магическую силу. Едва ли кто скажет, что самый процесс чтения и письма важен для человека. Этот процесс важен человеку лишь как *пособие* для усвоения тех идей, которые человек может приобрести путем чтения и передавать путем письма. Человек, который из чтения ничего не извлекает, нисколько не выше безграмотного. Название безграмотного есть отрицание основного условия образованности, но грамотность, сама по себе, не есть вовсе цель; она только средство. Едва ли не такую же роль играет естествознание в общей системе человеческого образования. Оно есть лишь *грамотность мысли;* но развитая мысль пользуется этою грамотностью для решения вопросов чисто человеческих, и эти вопросы составляют суть человеческого развития. Мало читать книгу,

надо понимать ее. Точно так же мало для развитого человека понимать основные законы физики и физиологии, интересоваться опытами над белковиною, или законами Кеплера. Для развитого человека белковина есть не только химическое соединение, но и основная часть пищи миллионов людей. Законы Кеплера не только формулы отвлеченного движения планет, но и одно из приобретений человеческого духа на пути к усвоению общего философского понимания неизменности законов природы и независимости их от какого бы то ни было божественного произвола.

Мы замечаем здесь даже прямо противоположное тому, что было выше говорено о сравнительной важности основ естествознания и истории для практической жизни. Химический опыт над белковиною и математическое выражение законов Кеплера *только любопытны*. Экономическое значение белковины и философское значение неизменности астрономических законов *весьма существенны*. Знание внешнего мира доставляет совершенно необходимый материал, к которому приходится обратиться при решении всех вопросов, занимающих человека. Но вопросы, для которых мы обращаемся к этому материалу, суть вопросы не внешнего, а внутреннего мира, вопросы человеческого *сознания*. Пища важна не как объект процесса питания, а как продукт, устраняющий *сознаваемое* страдание голода. Философские идеи важны не как проявление процесса развития духа в его логической отвлеченности, а как логические формы *сознания* человеком более высокого или более низкого своего достоинства, более обширных или более тесных целей своего существования; они важны, как форма протеста против настоящего во имя желания лучшего и справедливейшего общественного строя или как формы удовлетворения настоящим. Многие мыслители заметили прогресс в мысли человечества, заключавшийся в том, что человек, представлявший себя прежде центром всего существующего, сознал впоследствии себя лишь одним из бесчисленных продуктов неизменного приложения законов внешнего мира; в том, что от субъективного взгляда на себя и на природу человек перешел к объективному. Правда, это был прогресс крайне важный, без которого наука была невозможна, развитие человечества немыслимо. Но этот прогресс был только первый шаг, за которым неизбежно следовал второй: изучение неизменных законов внешнего мира *в его объективности* для достижения такого состояния человечества, которое субъективно сознавалось бы как лучшее и справедливейшее. И здесь подтвердился великий закон, угаданный Гегелем [207] и оправдывающийся,

повидимому, в очень многих сферах человеческого сознания: третья ступень была видимым сближением с первою, но действительным разрешением противоречия между первою и второю ступенью. Человек снова стал центром всего мира, но не для мира, как он существует сам по себе, а для мира, понятого человеком, покоренного его мыслью и направленного к его целям.

Но это именно есть точка зрения истории. Естествознание излагает человеку законы мира, в котором сам человек есть лишь едва заметная доля; оно пересчитывает продукты механических, физических, химических, физиологических, психических процессов; находит между продуктами последних процессов во всем животном царстве сознание страдания и наслаждения; в части этого царства, ближайшей к человечеству, сознание возможности ставить себе цели и стремиться к их достижению. Этот факт естествознания составляет единственную основу биографий отдельных существ животного мира и историй отдельных групп этого мира. История, как наука, принимает этот факт за данный и развивает перед читателем, каким путем история, как процесс жизни человечества, произошла из стремлений избавиться от того, что человек сознавал как страдание, и из стремлений приобрести то, что человек сознавал как наслаждение; какия видоизменения происходили при этом в понятии, связанном со словами — наслаждение и страдание, в классификации и иерархии наслаждений и страданий; какие философские формы идей и практические формы общественного строя порождались этими видоизменениями; каким логическим процессом стремление к лучшему и справедливейшему порождало протесты и консерватизм, реакцию и прогресс; какая связь существовала в каждую эпоху между человеческим восприятием мира, в форме верования, знания, философского представления, и практическими теориями лучшего и справедливейшего, воплощенными в действия личности, в формы общества, в состояние жизни народов.

Поэтому труды историка составляют не отрицание трудов естествоиспытателя, а неизбежное их дополнение. Историк, относящийся с пренебрежением к натуралисту, не понимает истории; он хочет строить дом без фундамента, говорит о пользе образования, отрицая необходимость грамотности. Естествоиспытатель, относящийся с пренебрежением к историку, доказывает лишь узость и неразвитость своей мысли; он не хочет или не умеет видеть, что поставление целей и стремление к ним есть столь же неизбежный, столь же естественный факт в природе человека, как дыхание, кровообращение или обмен веществ;

что цели могут быть мелки или возвышенны, стремления жалки или почтенны, деятельность неразумна или целесообразна — но и цели, и стремления, и деятельность всегда существовали и всегда будут существовать, следовательно, они суть столь же правомерные предметы изучения, как цвета спектра, как элементы химического анализа, как виды и разновидности растительного и животного царств. Естествоиспытатель, ограничивающийся внешним миром, не хочет или не может видеть, что весь внешний мир есть для человека только материал наслаждения, страдания, желаний, деятельности, что самый специальный натуралист изучает внешний мир не как что-либо внешнее, а как нечто познаваемое и доставляющее *ему*, ученому, наслаждение процессом познавания, возбуждающее его деятельность, входящее в его жизненный процесс. Естествоиспытатель, пренебрегающий историей, воображает, что кто-либо кладет фундамент, не имея в виду строить на нем дома; он полагает, что все развитие человека должно ограничиваться грамотностью.

Мне, пожалуй, возразят, что естествознание имеет два неоспоримые преимущества перед историей, позволяющие естествоиспытателю несколько свысока относиться к ученому достоинству трудов историка. Естественные науки выработали точные методы, получили бесспорные результаты и образовали капитал неизменных законов, беспрестанно подтверждающихся и позволяющих предсказывать факты. Относительно же истории еще сомнительно, открыла ли она хоть один закон, собственно ей принадлежащий; она выработала лишь изящные *картины* и, по точности своих предсказаний, стоит на одной ступени с предсказателями погоды. Это первое. Второе же, и самое важное, есть то, что современные стремления к лучшему и справедливейшему, как в ясном понимании цели, в верном выборе средств, так и в надлежащем направлении деятельности, черпают свой материал почти исключительно из данных естествознания, а история представляет крайне мало полезного материала, как по неопределенности смысла событий минувшего времени, доставляющих одинаково красивые аргументы для прямо противоположных теорий жизни, так и по совершенному изменению обстановки с течением времени, что делает крайне трудным приложение к настоящему результатов, выведенных из событий несколько отдаленных, даже тогда, когда эти результаты точны. Уступая, таким образом, и в теоретической научности, и в практической полезности трудам естествоиспытателя, могут ли труды историка быть поставлены с ними рядом?

Чтобы уяснить себе поставленный здесь вопрос, сле-

дует условиться в том, какой объем придаем мы слову «естествознание». Я не имею здесь вовсе в виду строгой классификации наук со всеми спорными вопросами, ею возбуждаемыми. Само собою разумеется, что история, как естественный процесс, могла бы быть подведена под область естествознания, и тогда самое противоположение, рассматриваемое выше, не имело бы места. Во всем последующем я буду понимать под термином *естествознание* два рода наук: науки *феноменологические,* исследующие законы повторяющихся явлений и процессов, и науки *морфологические,* изучающие распределение предметов и форм, которые обусловливают наблюдаемые процессы и явления, причем цель этих наук есть сведение всех наблюдаемых форм и распределений на моменты генетических процессов. Оставляя в стороне ряд морфологических наук, обращу внимание на то, что к ряду наук феноменологических я буду относить: геометрию, механику, группу физико-химических наук, биологию, психологию, этику и социологию. Придавая термину *естествознание* только что указанное значение, обращусь к поставленному выше вопросу.

Научность и самостоятельность методов не подлежит сомнению в исследованиях, относящихся к механике, физике, химии, физиологии и к теории ощущений в психологии. Но уже теория представлений, понятий в отдельной личности и личная этика пользуются весьма мало методами предшествующих естественных наук. Что касается до обществознания (социологии), т. е. до теории процессов и продуктов общественного развития, то здесь почти все орудия физика, химика и физиолога не приложимы. Эта важная и самая близкая для человека часть естествознания опирается на законы предшествующих областей его, как на готовые данные, но свои законы отыскивает другим путем. Каким же? Откуда феноменология духа и социология черпают свой материал? — Из биографий отдельных личностей и из истории. Насколько ненаучны труды историка и биографа, настолько же не могут быть научны выводы психолога в обширнейшей области его науки, труды этика, социолога в их научных сферах, т. е. настолько же естествознание должно быть признано ненаучным в его части, самой близкой для человека. Здесь успех научности вырабатывается взаимными пособиями обеих областей знания. Из поверхностного наблюдения биографических и исторических фактов получается приблизительная истина психологии, этики, социологии; эта приблизительная истина позволяет более осмысленное наблюдение фактов биографии и истории; оно, в свою очередь, ведет к истине, уже более близкой, которая позволяет дальнейшее усовершенствова-

ние исторического наблюдения, и т. д.; улучшенное орудие дает лучший продукт, и лучший продукт позволяет дальнейшее усовершенствование орудия, что, в свою очередь, влияет на еще большее усовершенствование продукта. Для естествознания в его надлежащем смысле история составляет совершенно необходимый материал, и, лишь опираясь на исторические труды, естествоиспытатель может уяснить себе процессы и продукты умственной, нравственной и общественной жизни человека. Химик может считать свою специальность научнее истории и пренебрегать ее материалом. Человек, обнимающий словом «естествознание» науку всех естественных процессов и продуктов, не имеет права поставить эту науку выше истории и должен сознать их тесную взаимную зависимость.

Предыдущее решает вопрос о практической полезности. Если психология и социология подлежат непрерывному совершенствованию, по мере улучшения понимания исторических фактов, то изучение истории становится неизбежно необходимым для уяснения законов жизни личности и общества. Эти законы настолько же опираются на данные механики, химии, физиологии, как и на данные истории. Меньшая точность последних должна бы повлечь не устранение их изучения, а, напротив, большее его распространение, так как специалисты-историки не настолько возвысились над массою читателей, по точности своих выводов, насколько стоят над нею химики и физиологи. Современные жизненные вопросы о лучшем и справедливейшем требуют от читателя уяснения себе результатов феноменологии духа и социологии, но это уяснение достигается не принятием на веру мнений той или другой школы экономистов, политиков, этиков. При споре этих школ добросовестному читателю приходится обратиться к изучению самих данных, на которых построены выводы школ, а также к генезису этих школ, уясняющему их учение как фильяцией догматов, так и положением дела в ту минуту, когда возникла та или другая школа; наконец — к событиям, влиявшим на их развитие. Но все это, за исключением данных основных наук, принадлежит истории. Кто оставляет в стороне ее изучение, тот выказывает свой индифферентизм в отношении самых важных интересов личности и общества или свою готовность верить на слово той практической теории, которая случайно ему первая попадется на глаза. Таким образом, поставленный вначале вопрос: что ближе для современной жизни — естествознание или история? — можно решить, по моему мнению, следующим образом: основные части естествознания составляют совершенно необходимую подкладку со-

временной жизни, но представляют для нее более отдаленный интерес. Что касается до высших частей естествознания, до всестороннего изучения процессов и продуктов жизни лица и общества, то подобное изучение стоит совершенно на одной ступени с историей, как по теоретической научности, так и по практической полезности; нельзя спорить, что эти части естествознания связаны с более живыми вопросами для человека, чем история, но серьезное изучение их совершенно невозможно без изучения истории, и они осмысливаются для читателя лишь настолько, насколько для него осмыслена история.

Поэтому в интересах современной мысли лежит разработка вопросов истории, особенно тех из них, которые теснее связаны с задачами социологии. В этих письмах я рассмотрю общие вопросы истории; те элементы, которые обусловливают прогресс обществ; то значение, которое имеет слово прогресс для различных сторон общественной жизни. Социологические вопросы здесь неизбежно сплетаются с историческими тем более, что, как мы видели, эти две области знания находятся в самой тесной взаимной зависимости. Конечно, это самое придает настоящим рассуждениям более обобщающий, несколько отвлеченный характер. Читатель имеет пред собою не картины событий, а выводы и сближения событий разных периодов. Рассказов из истории не мало, и, может быть, мне удастся к ним перейти впоследствии. Но факты истории остаются, а понимание изменяет их смысл, и каждый период, приступая к истолкованию прошлого, вносит в него свои современные заботы, свое современное развитие. Таким образом, исторические вопросы становятся для каждой эпохи связью настоящего с прошедшим. Я не навязываю читателю моего взгляда, но передаю ему вещи так, как я их понимаю, — так, как для меня прошлое отражается в настоящем, настоящее — в прошлом.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Процесс истории

Обратимся к другому смыслу слова «история».

В первом письме речь шла об ней, как области человеческого знания; теперь будем рассматривать историю, как процесс, который составляет предмет изучения для истории, как знания. История, как процесс, история, как явление в ряду других явлений, должна иметь и действительно имеет свои особенности. В чем они состоят? Чем отличается в глазах мыслящего человека явление истори-

ческое от падения камня, от брожения гниющей жидкости, от процесса пищеварения, от разнообразных явлений жизни, наблюдаемых в каком-нибудь аквариуме?

Мой вопрос может показаться странным, потому что всякому читателю придет сейчас на ум следующее: исторический процесс совершается человеком, народами, человечеством, и в этом уже достаточное отличие этого процесса от всего остального. Но оно не совсем так. Во-первых, геологи с некоторым правом говорят об истории земли, астрономы-теоретики — об истории мира. Во-вторых, далеко не все в человеке, в народах входит в процесс исторической жизни. В ежедневной деятельности самых важных исторических личностей есть много такого, чего 208
самый тщательный биограф никогда не записывал и никогда не запишет, точно так же, как жизнь тысяч человеческих единиц, с первого до последнего их дыхания, не представляет никакого интереса для исследователя. В жизни обществ историк не записывает явлений, повторяющихся ежегодно с математическою правильностью, но отмечает лишь то, что изменяется. Многие историки выделяют из всей массы человечества лишь некоторые народы и некоторые расы, называя их историческими, и оставляют все остальное человечество на долю этнографии, антропологии, лингвистики, словом, какой там угодно науки, лишь бы не истории. И они в *одном* отношении правы. Вопросы науки о жизни этих народов и методы мышления о них совершенно подобны тем, с которыми зоолог обращается к данной породе птиц и муравьев. Зоолог описывает анатомические особенности и нравы этих животных, их способы вить гнезда или строить муравейники, их борьбу с другими животными и т. п. Этнографу представляются те же вопросы. Правда, отправления человека сложнее и описывать приходится более. Лингвист узнает не только способ выражения, а смысл слов языка, но и зоолог, если бы умел, очень охотно узнал бы от птиц значение того или другого перелива звука. Антрополог записывает знания, ремесла, орудия, мифы, привычки, но вопрос его тот же, что и у зоолога: записать данные факты *так,* как они есть. Предметы изучения антрополога для нас интереснее, потому что людей мы не только изучаем, мы им еще и сочувствуем. Но это не должно нас обманывать относительно научного значения прилагаемого метода. Антрополог есть *только* естествоиспытатель, избравший себе предметом изучение человека. Он описывает лишь то, что *есть.*

Но я сказал, что историки, разделяющие народы и расы на исторические и неисторические, правы в *одном*

отношении. Действительно, есть *другое,* что делает правильность этого разделения отчасти сомнительною. Едва ли существует такой несчастный остров, жители которого были бы одинаково описаны двумя путешественниками, разделенными сотнею лет. Эти жители в протекший между двумя эпохами период жизни — *изменились.* Это изменение так обще, что наука имеет полное право его предполагать и там, где о нем не существует сведений, и потому антрополог к своим исследованиям о каком-либо племени всегда прибавляет еще указания, более или менее гипотетические, о том, как изменилась в течение времени культура племени и как она произошла. Но эти вопросы историк с некоторым правом причисляет к своей области. В наше время можно уже говорить и об истории всего органического мира, так как, с точки зрения трансформизма, каждая органическая форма имеет смысл лишь как момент общего органического генезиса, но здесь самый генезис форм является до сих пор лишь как научное объяснение, а не как наблюдаемый факт. Наука же имеет перед собою лишь распределение органических форм, которые приходится группировать, и каждый частный случай получает интерес лишь в смысле исследования общего процесса. Частный случай есть не более, как средство исследования. Появление частной формы при тех или других условиях получает интерес лишь в смысле изучения законов зависимости между данными условиями среды и появляющимися при этом формами. Кроме того, наиболее исследованную часть явлений изменения органических форм представляют изменения растений и животных под влиянием человека, что входит уже в область истории самого человека.

Конечно, есть в сфере зоологии явления, которые в значительной мере аналогичны тому, что изучает историк. Это — явления развития и изменения обычаев животных. До сих пор можно лишь заключить, что такие явления должны были совершаться, совершались и совершаются, но зоологам не удалось еще наблюдать ни одного подобного явления в самом процессе его совершения. Весьма вероятно, что все культурные животные *имели* нечто аналогичное истории или, по крайней мере, что для них существовал во времени ряд изменений форм их культуры. Например, весьма правдоподобно, что нынешнее общежитие пчел произошло из общежития более простого. У позвоночных животных даже наблюдали изменения их привычек, преимущественно в виду приспособления к новым условиям среды. Но «история» пчел, как «история» всех беспозвоночных со сложною культурою, лежит за пределами на-

учного наблюдения. Изменения же, наблюдаемые в привычках позвоночных под влиянием новых условий среды, составляют столь же мало факт истории, как мало входят в нее изменения в постройке жилищ, в одежде, в самой пище, неизбежно происходящие в колонии переселенцев-людей, которые устраиваются в новых климатических условиях. Мир зоологов, так, как его дает *наука*, есть мир неизменно повторяющихся явлений. Поэтому до сих пор лишь умозрение может перенести на животных аналогию человеческой истории, а в действительности история ограничивается лишь человеком.

Во всех прочих процессах исследователь ищет закона, охватывающего явление во всех его повторениях, — только в историческом процессе представляет интерес не закон повторяющегося явления, а совершившееся изменение само по себе. Формы данного кристалла интересуют лишь наблюдателя-профана; минералог возводит уродливые, искаженные формы к неизменным типам, подчиненным строгим геометрическим законам. Данная анатомическая аномалия есть лишь повод для анатома установить закон, который показал бы, между какими пределами отклонения колеблется нормальное устройство того или другого органа. Но явления человеческой жизни, личной или коллективной, имеют уже двойственный интерес.

Каспар Гаузер [209] внезапно явился на улицах Нюрнберга и через 5 лет был зарезан *. Кеплер нашел законы движения планет. Северо-Американское междоусобие вызвало страшную потерю людей и денег в Америке и отозвалось экономическим кризисом в Европе. Что изучаем мы в этих событиях?

Для психолога Каспар Гаузер представляет интерес редкого экземпляра личности, вступившей взрослою в обще-

---

* Один приятель сделал мне замечание, что едва ли кто в наше время особенно из русских читателей, помнит Каспара Гаузера и знает, что это за личность. Это совершенно справедливо, и лучше бы взять другой пример, но предпочитаю поправить дело примечанием. В 1828 году на улице Нюрнберга встречен был молодой человек в крестьянской одежде, при котором оказалась записка, объясняющая, что он найденыш, родился 7 октября 1812 года и выучен читать и писать. Странность его обращения повела к исследованию. Вышло, что он во всю свою жизнь видел только одного человека, его воспитавшего, питался лишь хлебом и водой, жил в подземелье и даже своего воспитателя узнал незадолго до своего освобождения. Прежде этот незнакомец, если слова Гаузера принять за правду, переменял его пищу и одежду во время сна (вероятно, давая ему в пище усыпляющие вещества, что и повело к нервному расстройству, к судорожным движениям лица и тела, замеченным в Гаузере). Сперва несчастный молодой человек сделался предметом праздного городского любопытства, грубых опытов и потерпел не мало. Потом в нем приняли участие многие замечательные люди, особенно Ансельм Фейербах [210] (знаменитый юрист, отец

ство, экземпляра, на котором удобнее исследовать некоторые *общие законы* психических явлений, чем на других личностях. Для биографа и для историка Каспар Гаузер представляет обособленное явление данной эпохи, результат странной совокупности *однажды* встретившихся обстоятельств, вследствие которых это загадочное существо было до 17 лет выделено из всех общественных сношений, а через 5 лет погибло от руки убийцы. Когда Ансельм Фейербах предполагал в нем последнего представителя дома Церинген, он исследовал не повторяющееся, а *единственное* историческое явление.

Точно так же для логика процесс открытий Кеплера есть не более, как пример *общих законов* научного мышления. Милль и Юэль[212] (Whewell) могли спорить о том, представляет ли этот процесс образец истинной индукции или нет. Но для историка эти открытия суть однажды совершившееся событие, не имеющее возможности повториться, потому что оно было обусловлено крайне сложною совокупностью предшествующих научных открытий общественного развития в начале XVII века, особенностей событий в Германии этого времени и еще больших особенностей биографии Кеплера. Но как только это событие имело место, оно сделалось элементом нового умственного развития, процесс которого опять не может повториться, потому что представляет результат сплетения научных, философских, религиозных, политических, экономических и случайных биографических элементов.

В группе явлений, связанных с Северо-Американским междоусобием, социолог найдет подобным же образом ряд примеров для *общих законов* разных областей общественной жизни, историк же рассмотрит эту группу в ее сложности, как обособленное явление, наблюдаемое однажды, и

философа). Как редкий экземпляр взрослого ребенка, жившего вне общества, Каспар представил предмет интересных психических исследований. Но еще больший интерес возбудил вопрос о его происхождении. Все разыскания оказывались тщетны. А. Фейербах, напечатавший о Каспаре особое сочинение, подал в 1828 г. королеве баварской (из баденского дома) секретную записку (теперь напечатанную), где доказывал, что Каспар есть, вероятно, последний представитель мужской линии баденского дома Церинген[214], представитель, которого морганатическая супруга В. Г. Карла Фридриха, происходившая из рода Гейер фон-Гейрберг, устранила для доставления престола своему сыну Леопольду. Освобождение Каспара объяснял Фейербах смертью честолюбивой его преследовательницы 1824 г. В 1829 году сделана неизвестным лицом попытка убить Каспара. 29-го мая 1833 года умер А. Фейербах. 17-го декабря того же 1833 г. зарезан Каспар Гаузер. Убийца не отыскан. Происхождение Каспара осталось неизвестно. (1889. Позднейшие исследования делают вероятнейшим, что дело Каспара Гаузера не имело никакого политического значения. Но я счел лучшим не изменять того, что было в тексте.)

которое, именно в своей целости и сложности, повторения не допускает.

Насколько исторические явления представляют материал для установления постоянного закона психических явлений в личности, экономических явлений в собрании личностей, неизбежной смены политических форм или идеальных влечений в народах, — настолько эти исторические явления представляют интерес для психологии, для социологии, для феноменологии личного или общественного духа, словом — для одного из отделов естествознания в его приложении к человеку. Но для историка они не экземпляры неизменного закона, а характеристические черты однажды происшедшего изменения.

Против предыдущего могут восстать с двух точек зрения. Исторические теоретики скажут, что я не понимаю требования истории, как науки: что она, как все науки, ищет неизменных законов, и факты исторического прогресса для историка важны лишь настолько, насколько они уясняют ему общий закон этого процесса; что факты сами по себе никакой важности не имеют, и придавать им ее — значит обращать историю в тот калейдоскоп пестрых картинок трагического или комического свойства, который для дюжинных историков и теперь составляет идеал истории. Найдутся также читатели, которые с некоторым правом признают в сказанном повторение давно избитой мысли, что лишь человек имеет историю и что в истории события не повторяются, а представляют постоянно новыя комбинации.

Последним я замечу, что я не выдаю свою мысль за новость, но иногда и старое недурно напомнить, а *это* старое мне хотелось напомнить именно потому, что в последнее время произошла некоторая путаница понятий в отношении смысла слова *исторический* закон. Многие приверженцы Бокля[213], например, говорят, что он открыл некоторые законы истории. Я не имею в виду здесь подтверждать или отрицать точность его открытий, но, каковы бы они ни были, они относятся не к законам *истории*. Он только *помощью* истории устанавливал некоторые законы социологии, т. е. определял, при пособии исторических примеров, как преобладание того или другого элемента действует на развитие общества вообще и как оно *всегда будет действовать,* если повторится это преобладание. Это вовсе не закон исторического прогресса, как понимали установление подобного закона Вико[214], Боссюэт[215], Гегель, Конт[216], Бюшэ[217].

Что касается до историков-теоретиков, то я думаю, что они согласятся со мною в двух пунктах. Первое — что все попытки мыслителей, которые, подобно Вико, старались

свести историю на процесс повторяющихся явлений, оказались весьма неудачны, как только дело дошло до сравнения двух периодов в частностях; следовательно, что история представляет процесс, в котором требуется определить последовательную связь явлений, *один лишь раз* представляющихся историку в данной совокупности, в каждый момент процесса. Второе — что закон исторической последовательности в ее целом еще не найден, но ищется. Если так, — будем искать.

Прежде всего следует уяснить себе самый смысл вопроса: что такое *закон истории?* — В двух, упомянутых выше, рядах наук естественных слово *закон* имеет весьма различный смысл. В науках феноменологических закон явлений формулирует условия, при которых явления повторяются в определенном порядке. Так как в истории явления не повторяются, то этот смысл слова к истории вовсе не приложим. Совсем иное значение имеет то же слово в науках морфологических, выражая самое распределение форм и предметов в группы более или менее тесно связанные. В этом смысле слово *закон* встречается, например, в звездной астрономии, когда дело идет о законе распределения светил на поверхности небесного свода, или в систематике организмов, когда говорят о законе распределения их. В этом смысле слово закон приложимо и к истории, так как оно обозначало бы группировку событий во времени.

Но что значит *найти* или *понять* закон какого-либо распределения форм? Ответ на это нам даст единственная из морфологических наук, где распределение форм нам вполне понятно. Это — морфология единичных организмов. Мы *понимаем* как нормальное, так и уродливое анатомическое строение организма, когда, при пособии эмбриологии и теории развития, проследили генезис тканей, органов и органических систем с элементарной клеточки неоплодотворенного яйца через все фазисы бытия зародыша, плода, детеныша до той ступени, которую наблюдаем. Распределение анатомических форм нам понятно, потому что оно для нас есть лишь один момент целого ряда последовательных распределений, обусловленного процессом органического развития, которое есть не что иное, как совокупность механических, физико-химических и биологических явлений.

В другой морфологической науке наше знание не так далеко подвинулось и наше понимание не так ясно, но то, что мы понимаем, мы понимаем именно тем же путем. Я говорю о геологии. Распределение формаций горных пород и минералов для нас понятно лишь как след истории земли, как результат генезиса земного шара, т. е. как один член

из ряда продуктов непрерывного действия механических и физико-химических законов в пределах нашей планеты.

В других морфологических науках понимание законов распределений было бы тоже не иное что, как уяснение *генезиса* форм, если бы только этот генезис мог быть нам известен. Пока это последнее условие не выполнено, до тех пор мы можем, путем тщательных наблюдений, более и более *узнавать* закон распределений, как закон чисто эмпирический, но мы не *понимаем* его. Так, по мере усиления телескопического зрения новые группы светил выступают на поверхности неба, и закон распределения их меняется или становится вернее. По мере увеличения фактического знания в морфологии организмов закон их классификации становится определительнее. Но мы лишь тогда могли бы сказать, что *понимаем* закон распределения светил, когда мы узнали бы с достаточною подробностью *генетический* процесс мирового вещества и могли бы возвести наблюдаемые звездные группы к фазисам этого процесса. В астрономии даже не пытались этого сделать, и потому распределение созвездий и до сих пор составляет лишь предмет эмпирического описания, а не научного понимания. Для распределения организмов период научного понимания начался с первыми попытками открыть генезис органического мира вообще: теория Дарвина позволила сделать громадный шаг в этом направлении, и в настоящее время закон классификации организмов представляется как задача вполне научная: понять этот закон — значит свести органические формы на их генетическую связь. В обоих рассмотренных случаях распределение представляется сначала беспорядочным, почти произвольным, весьма легко вызывает в мысли первобытного человека представление произвольно действующего существа, которое рассыпало звезды по небу и как бы играло странным разнообразием органических форм. Научное понимание видит в генезисе этого распределения действие неизменных феноменологических законов; при этом явления непрерывно повторяются; но, действуя в определенной среде, феноменологические законы вызывают все новые и новые распределения вещества в мировом пространстве, все новые и новые распределения органических форм на земной поверхности. Морфология вещества должна бы заключать закон последовательного изменения распределений вещества в пространстве (механически) и по разнородности его состава (химически). Морфология организмов, как ее понимает Геккель, уже теперь ставит себе задачею найти закон последовательного изменения распределения организмов на основании вечно действующих законов биологии.

По аналогии этих наук легко заключить о том, что значит найти закон истории и научно понять его. Здесь мы имеем ту выгоду, что генезис дан с самого начала: как в беспорядочном размещении созвездий и туманностей или в разнообразии органических форм, поверхностный наблюдатель и здесь видит сначала лишь пестрый ряд событий, но как там, так и здесь начинается весьма быстро группировка по генетической связи и по *важности* событий.

При уяснении связи явлений, как при уяснении распределения форм, предметов или событий, первый шаг всегда заключается в отличении важнейшего от менее важного. В феноменологических науках естествоиспытателю это сделать легко: что повторяется в неизменной связи, то важнее, потому что в нем-то и есть закон; что же относится к случайным видоизменениям, то маловажно и берется лишь к сведению, для будущих возможных соображений. Вероятно, ни один исследователь не нашел *совершенно* тожественных углов преломления света для той же преломляющей среды, ни один не получил *совершенно* тожественных результатов химического анализа; но, откидывая случайные отклонения опыта, он под ними открыл неизменный закон повторяющегося явления. Это и есть *единственно* важное. — Что определяет важность факта в науках морфологических? Мы видели выше, что в них понимание закона распределения форм совпадает с уяснением непрерывного действия законов феноменологических, которые обусловливают *генезис* этого распределения. Очевидно, всего важнее здесь будет тот элемент, который способствует лучшему пониманию закона распределения форм, т. е. элемент феноменологический: солнечная система выделяется астрономами из прочих групп, потому что тела, ее составляющие, связаны механическими явлениями, подводимыми под закон тяготения; то же самое обособляет системы двойных или тройных звезд; точно так же в описательной химии мы сближаем калий и натрий или хлор и иод по сходству их химического действия; сближаем минералы по сходству химического состава и кристаллографических явлений. Законы феноменологических наук определяют, что важнее и что менее важно в распределениях наук морфологических. Для этого определения необходимо взять в соображение все феноменологические законы, действующие при данном распределении, в особенности же те, которые наиболее влияют на самое распределение и на его генезис.

Какие феноменологические законы влияют на распределение событий в человеческой истории и на их генезис? Законы механики, химии, биологии, психологии, этики и социологии, т. е. *всех* феноменологических наук, следо-

вательно — *необходимо* и *научно* взять их все в соображение. Которые из этих законов особенно важны для понимания истории? Для этого нужно взять в соображение характеристические особенности того существа, которое составляет единственное орудие и единственный предмет истории — человека. Особенные электрические явления не выделяют гимнота[218] из его зоологической группы, как особенные химические продукты не обусловливают ботанической классификации; в обоих случаях биологические явления доставляют важнейшие указания. Так и для всей группы наук, относящихся к человеку, критерий важнейшего должен прилагаться сообразно характеристическим особенностям человека, особенности же эти неизбежно определяются по его *субъективной* оценке, потому что исследователь сам — человек и не может ни на мгновение выделиться из процессов, *для него* характеристичных.

Может быть (и даже вероятно), в общем строе мира явление сознания есть весьма второстепенное явление, но *для человека* оно имеет столь преобладающую важность, что он всегда будет прежде всего делить действия свои и подобных себе на действия *сознательные и бессознательные* и будет относиться различно к этим двум группам. Сознательные психические процессы, сознательная деятельность по убеждению или противно убеждению, сознательное участие в общественной жизни, сознательная борьба в рядах той или другой политической партии, в виду того или другого исторического переворота, — имеют и будут всегда иметь для человека совершенно иное значение, чем автоматическая деятельность при подобных обстоятельствах. Следовательно, в группировке исторических событий сознательные влияния должны занимать первое место, именно в той постепенности, которую они имеют в самом человеческом сознании.

На основании этого сознания, какие процессы имеют преимущественное влияние на генезис событий? Человеческие потребности и влечения. Как группируются эти потребности и влечения по отношению к сознанию личности? Они могут быть разделены на три группы: одна группа потребностей и влечений вытекает *бессознательно* из физического и психического устройства человека, как нечто неизбежное, и сознается им лишь тогда, когда составляет готовый элемент его деятельности; другая группа получается личностью столь же бессознательно от *общественной* среды, ее окружающей, или от предков в виде привычек, преданий, обычаев, установившихся законов и политических распределений, вообще *культурных* форм; эти культурные потребности и влечения сознаются тоже *готовыми*, как

нечто *данное* для личности, хотя не вполне неизбежное: в них предполагается некоторый смысл, существовавший при происхождении культурных форм; этот смысл отыскивают и угадывают исследователи; но для каждой личности, живущей в данную эпоху, в данных формах культуры, он есть нечто внешнее, независимое от ее сознания. Наконец, третья группа потребностей и влечений вполне *сознательна* и для каждой личности кажется происходящею в этой личности вне всякого постороннего принуждения, как свободный и самостоятельный продукт ее сознания: это, во-первых, область деятельности, опирающаяся на сознанный расчет интересов эгоистических и интересов личностей, близких человеку; это, во-вторых, еще более важная для исторического прогресса — потребность лучшего, влечение к расширению знания, к постановке себе высшей цели, потребность изменить все данное извне сообразно своему желанию, своему пониманию, своему нравственному идеалу, влечение перестроить мыслимый мир по требованиям истины, реальный мир — по требованиям справедливости. Впоследствии научное исследование убеждает человека, что и эта группа развивается в нем не свободно и не самостоятельно, но под сложными влияниями окружающей среды и особенностей его личного развития; однако, убеждаясь в этом *объективно,* он все-таки никогда не может устранить субъективно иллюзии, которая существует в его сознании и устанавливает для него громадное различие между деятельностью, для которой он *сам* ставит себе цель и выбирает средства, критически разбирая достоинство цели и средств, и деятельностью механическою, страстною, привычною, где он сознает себя орудием чего-то извне данного.

Указанные три группы отделены одна от другой на основании того феноменологического процесса, который наиболее важен для человека во всех науках, к нему относящихся, следовательно, эти группы установлены *научно,* и значение их для группировки событий истории вытекает по необходимости из их отношения к процессу сознания. Та группа, которая наиболее сознательна, должна иметь преобладающую важность для истории человека по самой сущности этой истории, как она имеет неизбежно преобладающую важность для историка-человека, по свойствам его личности. Целесообразная сознательная деятельность доставляет, по самой постановке вопроса, центральную нить, около которой группируются прочие проявления человеческой деятельности, точно так же, как разнообразные цели, к которым стремится человек, подчинены одна другой, для большинства людей — сообразно наибольшему интересу личностей, для наиболее развитых людей — сообразно их пред-

ставлению о нравственном достоинстве. Здесь научность построения получается из совпадения двух процессов, одинаково субъективных, но из которых один совершается в мысли историка, а другой получается как результат наблюдения над историческими личностями и группами. Закон хода исторических событий оказывается с этой точки зрения определенным предметом исследования; надо уловить в каждую эпоху те цели, умственные и нравственные, которые в эту эпоху были сознаны наиболее развитыми личностями как высшие цели, как истина и нравственный идеал; надо открыть условия, вызвавшие это миросозерцание, критический и некритический процесс мысли, его выработавший, и его последовательное видоизменение; надо группировать различные миросозерцания; таким образом возникавшие в их исторической и логической последовательности; надо расположить около них, как причины и следствия, как пособия и противодействия, как примеры и исключения, все прочие события человеческой истории. Тогда из пестрого калейдоскопа событий исследователь неизбежно переходит к закону исторической последовательности.

При этом построении все главные предметы и орудия исследования принадлежат миру субъективному. Субъективны разнообразные цели, преследованные личностями и группами личностей в данную эпоху; субъективно миросозерцание, по которому оценивались эти разнообразные цели их современниками, субъективна и оценка, приложенная историком к миросозерцаниям данной эпохи, чтобы выбрать из них то, которое он считает центральным, высшим, и ко всему ряду миросозерцаний, чтобы определить ход прогресса в человеческой истории, отметить прогрессивные и регрессивные эпохи, причины и следствия этих фазисов исторического движения и указать современникам возможное и желательное в настоящую минуту. Но источники субъективности в этих случаях различны, и средства для устранения ошибок, которые могли бы быть следствием этого метода, тоже различны. Субъективность частных целей и нравственной оценки их в данную эпоху есть факт вполне неизбежный, вполне научный, который подлежит самому разностороннему наблюдению и исследованию: историк, для избежания ошибки, должен лишь самым тщательным образом усвоить культурную среду и степень развития личностей в данную эпоху; он здесь собирает факты, как во всякой другой науке, и личные его взгляды имеют или должны иметь крайне малую долю участия в установке этих фактов. Если он допускает для Сезостриса[219] или Тамерлана[220] сложные дипломатические соображения Людовика XIV[221] или Бисмарка[222], то он просто не знает эпохи,

о которой пишет. Если он влагает в мысль Гераклита[223] диалектику Гегеля, то он опять-таки не усвоил достаточно различия периодов. Если он дает культурным явлениям, расширениям государств, борьбе национальностей преобладающее значение в истории, то он не уяснил себе характеристической особенности природы человека, как она сознается самим человеком. Во всех этих случаях точность, обширность и разносторонность научных сведений есть лучшее средство для устранения ошибок. Но совсем иное дело объективная оценка различных миросозерцаний данной эпохи или теория исторического прогресса, устанавливаемая историком. Здесь самая точная эрудиция не может устранить ошибки, если автор устанавливает ложный идеал; здесь отражается личное, индивидуальное развитие историка; в заботе о собственном развитии он может найти и единственное средство придать более верности своему построению. Сознательно или бессознательно, человек прилагает ко всей истории человечества ту нравственную выработку, которой он сам достиг. Один ищет в жизни человечества лишь того, что способствовало образованию или разрушению сильных государств. Другой следит преимущественно за борьбою, усилением и гибелью национальностей. Третий старается убедить себя и других, что торжествующая сторона была всегда правее побежденной. Четвертый интересуется фактами, насколько они осуществили ту или другую идею, принимаемую им за безусловное благо для человечества. Все они судят об истории субъективно, по своему взгляду на нравственные идеалы, да иначе и судить не могут.

Пусть читатель не полагает, что историк может получить объективный критерий для обсуждения важности события, беря в соображение число личностей, подлежащих влиянию того или другого события. Как для Августина[224] или Боссюэта события, имевшие влияние на жителей маленькой Палестины, были несравненно важнее походов Чингисхана[225] или Александра Македонского, так и для современного историка завоевание огромной Китайской империи монголами будет, я думаю, менее значительно, чем борьба нескольких горных кантонов Швейцарии с Габсбургами[226]. Конечно, и тут можно положить критерий большего числа личностей, если брать в соображение не только все личности, на которые непосредственно влияли события, но еще и ряд поколений, жизнь и мысли которых были обусловлены этими событиями. Но в подобных случаях историк и мыслитель находятся весьма часто под влиянием иллюзии. Что он считает важнейшим по своему субъективному нравственному взгляду, то ему представляется и оказавшим наиболее косвенного влияния на будущие

судьбы более значительной доли человечества. Один автор найдет в умственной культуре новой Европы преобладающее влияние проповеди, раздававшейся когда-то в Галилее, и станет утверждать, что, сравнительно, влияние греческих философских школ было незначительно; другой историк столь же решительно будет утверждать прямо противоположный тезис.

Итак, волей-неволей, приходится прилагать к процессу истории субъективную оценку, т. е., усвоив, по степени своего нравственного развития, тот или другой нравственный идеал, расположить все факты истории в перспективе, по которой они содействовали или противодействовали этому идеалу, и на первый план истории выставить по важности те факты, в которых это содействие или противодействие выразилось с наибольшею яркостью. Но здесь представляются еще два многозначительные обстоятельства. Во-первых, при этой точке зрения все явления обособляются как благодетельные или вредные, как нравственное добро или зло. Во-вторых, мы — с нашим нравственным идеалом, определяющим перспективу процесса истории — становимся в конец этого процесса; все предыдущее становится к нашему идеалу в отношение подготовительных ступеней, ведущих неизбежно к определенной цели. Следовательно, история представляется нам борьбою благодетельного и вредного начала, где благодетельное, в неизменном виде или в постепенном развитии, достигло, наконец, той точки, на которой оно есть для нас высшее благо человечества. Не то, чтобы благодетельное начало должно было непременно фактически восторжествовать. Не то, чтобы всякий последующий период представлял непременно приближение к нашему нравственному идеалу. Нет; многие наблюдатели сознают совершенно ясно, что регрессивные эпохи весьма обыкновенны в истории; другие всего охотнее жалуются на преобладание зла в этой «юдоли плача», на порчу новых поколений; иные прямо утверждают, что лучшее будущее для человечества невозможно. Тем не менее, если эти люди начинают делать обзор исторических событий, то неизбежно все минувшее располагается для них в перспективу сообразно тому, что они считают *лучшим*. Лишь те события выдвигаются на первый план, которые содействовали развитию их идеала или наиболее препятствовали его осуществлению. Если мыслитель верит в настоящее или будущее реальное осуществление своего нравственного идеала, то вся история для него группируется около событий, подготовлявших это осуществление. Если он переносит свой идеал в область загробных мифов, то история есть лишь подготовление того верования, которое связано с блаженством в буду-

щем мире. Если он отрекся от всякой возможности реализации лучшего, то его идеал остается высшим внутренним убеждением, выработанным историей в мысли человека, и опять-таки все минувшее, как важное и неважное, располагается перед его взором как подготовка этого нравственного убеждения, неосуществленного, неосуществимого и в реальном будущем, но осуществленного в области человеческого сознания как крайний и высший пункт человеческого развития. Это приближение исторических фактов к реальному или идеальному лучшему, нами сознанному, это развитие нашего нравственного идеала в минувшей жизни человечества составляет для каждого *единственный* смысл истории, единственный *закон* исторической группировки событий, закон *прогресса,* считаем ли мы этот прогресс фактически непрерывным или подверженным колебаниям, верим ли мы в его реальное осуществление или только в его сознание.

Итак, в процессе истории мы неизбежно видим *прогресс*. Если мы сторонники начала, торжествующего в наше время, то мы рассматриваем свою эпоху, как венец всего предыдущего. Если наши симпатии принадлежат тому, что, очевидно, ослабело, то мы верим, что наша эпоха критическая, переходная, патологическая, за которою последует эпоха торжества нашего идеала или в реальном мире, или в мифическом будущем, или в сознании лучших представителей человечества. Веровавшие в близкий конец мира — причем мир представлялся им исполненным зла — верили в долженствующее последовать за тем блаженство праведных. Принимавшие первобытное состояние совершенства — вступали со следующего шага в теорию прогресса. Даже приверженцы круговоротов в истории (что мы, впрочем, теперь развивать не будем) невольно подчинялись этому общему закону человеческого мышления. По неизбежной необходимости этого мышления, *для человека* процесс истории всегда представляется более или менее ясно и последовательно борьбою за прогресс, реальным или идеальным развитием прогрессивных стремлений, прогрессивного понимания, и лишь те явления были историческими в строгом смысле этого слова, которые влияли на этот прогресс.

Я знаю, что мое понимание слова *прогресс* многим и многим не понравится. Все желающие придать истории то объективное беспристрастие, которое присуще процессам природы, возмутятся тем, что для меня прогресс зависит от личного взгляда исследователя. Все верующие в безусловную непогрешимость своего нравственного миросозерцания хотели бы себя уверить, что не только *для них,* но и *само в себе* важнее лишь то в историческом процессе,

что имеет ближайшее отношение к основам этого миросозерцания. Но, право, пора бы людям мыслящим усвоить себе очень простую вещь: что различие важного и неважного, благодетельного и вредного, хорошего и дурного суть различия, существующие лишь *для человека,* а вовсе чуждые природе и вещам самим в себе, что одинаково неизбежна для человека необходимость прилагать ко всему свой человеческий (антропологический) способ воззрения и, для вещей в их совокупности, необходимость следовать процессам, не имеющим ничего общего с человеческим воззрением. *Для человека* важны общие законы, а не индивидуальные факты, потому что он понимает предметы, лишь обобщая их; но наука с ее общими законами явлений присуща лишь человеку, а вне человека существуют *только* одновременные и последовательные сцепления фактов, столь мелких и дробных, что человек едва ли может их и уловить во всей их мелкости и дробности. *Для человека* из непрерывной нити пошлостей жизни выделяются в биографиях и в историях некоторые мысли, чувства и дела человека (или группы людей), как важнейшие, имеющие идеальное значение, историческую важность; но это выделение совершается только *им,* человеком; бессознательные процессы природы вырабатывают мысль о всемирном тяготении, о солидарности людей совершенно так же, как ворсинку на ноге жука или стремление лавочника сорвать лишнюю копейку с покупщика; Гарибальди[227], Варлен и им подобные для природы — совершенно такие же экземпляры породы человека в XIX веке, как любой сенатор Наполеона III[228], любой бюргер маленького городка Германии, любой из тех пошляков, которые гранят тротуары Невского проспекта. Наука не представляет никаких данных, по которым беспристрастный исследователь имел бы право перенести свой нравственный суд о значительности общего закона, гениальной или героической личности из области *человеческого* понимания и желания в область бессознательной и бесстрастной природы.

При этом мне приходится высказаться относительно понятия о прогрессе двух замечательных мыслителей, *повидимому,* не согласных с приведенным выше определением. «Прогресс, — говорит Прудон (Philosophie du progrés, 24)[229], — это — утверждение всеобщего движения, следовательно — отрицание всякой неизменной формулы... приложенной к какому бы то ни было существу, всякого ненарушимого строя, не исключая строя вселенной; всякого субъекта или объекта, эмпирического или трансцендентного, который бы не изменялся». Это как будто совершенно объективная точка зрения, закалывающая собственные убеждения на

алтаре всемирного процесса изменения. Но продолжайте читать великого мыслителя, и вы узнаете, что для него прогресс в разных областях — синоним группировки идей свободы, личности, справедливости, т. е., что он называет прогрессом те изменения, которые ведут к *лучшему* пониманию вещей, к *высшему* нравственному идеалу личности и общества, как этот идеал выработался у *него,* Прудона. Безусловно лучшее существовало и для Прудона, как существовало и будет существовать для всякого развитого человека; оно называлось для Прудона: истина, свобода, справедливость, и это безусловное становилось здесь целью и сущностью прогресса с такой же субъективною обязательностью, как тысячелетнее царство для хилиастов [230]. Впрочем, сам Прудон высказал иное понятие о прогрессе в другом месте, именно в девятом этюде своего большого труда «О справедливости в революции и в церкви». Здесь его взгляд во многом подходит к тому, который высказан в моих письмах. Он говорит (изд. 1868, Bruxelles, III, 244 и след.): «Прогресс есть нечто большее, чем движение, и, показав, что вещь движется, мы еще нисколько не доказали, что она прогрессирует»; он не видит прогресса и в «кризисах, определенных a priori и в данном порядке необходимыми условиями нашего устройства», в «ряде физико-социальных переходов, независимых от воли человека». Для него «прогресс — то же, что справедливость и свобода, если мы их рассматриваем: 1) в их движении во времени, 2) в их действии на способности, которым они подчинены и которые они изменяют, по мере своего поступательного движения». Прудон даже требует от «полной и верной теории прогресса», между другими условиями, доказательства, что в прогрессе нет ничего фаталистического. Ниже он говорит (III, 270), что «мы неизбежно верим прогрессу».

Спенсер говорит («Собрание сочинений», вып. I, II): «Чтобы правильно понять прогресс, мы должны исследовать сущность этих изменений, рассматривая их независимо от наших интересов... Оставляя в стороне побочные обстоятельства и благодетельные последствия прогресса, спросим себя, что он такое сам в себе». Затем он называет органическим прогрессом переход от однородного к разнородному и доказывает, что это есть закон всякого прогресса. Тут уже, повидимому, мы совершенно объективно смотрим на явление. Но прочтите внимательно самый приступ Спенсера к делу, и вы увидите, что он выходит из точки зрения совершенно субъективной. Он за *данные* принимает обиходные понятия о прогрессе, как увеличение числа народа, количество материальных продуктов, улучшение их качества, увеличение числа познанных фактов и понятых законов,

словом — всего, что прямо или косвенно стремится к возвышению человеческого счастия. Он только находит в этих понятиях *неясность, тень прогресса,* а не самый прогресс. Он хочет уяснить *именно эти* изменения, найти *сущность* именно этого процесса и полагает, что нашел ее в дифференцировании, по аналогии органического развития, которое ему угодно назвать *прогрессом.* Но заключает ли органическое развитие характеристический признак тех явлений, из которых автор заимствовал понятие о прогрессе? — весьма сомнительно. Увеличение числа людей, увеличение материальных и умственных богатств имеет ту общую черту, что в нем мы видим нечто *лучшее,* более желательное, более соответственное *требованиям* от человека и человечества. Но что лучшего в новорожденном животном сравнительно с зародышем или яйцом, из которого оно произошло? Или почему взрослое животное лучше новорожденного? Если позволительно говорить о *прогрессе* в развитии животного, то столь же правильно будет говорить и о *целях* в природе, о желаниях растений, о государстве солнечной системы. К тому же, желательно знать, назвал ли бы сам Спенсер прогрессом переход от однородного к разнородному в человеческом обществе, если бы это дифференцирование дошло до того, что каждый человек говорил бы особым языком, имел бы особые понятия об истинном, справедливом и прекрасном? Мысль Спенсера вообще верна, так как опыт доказал, что в значительном числе случаев приближение личности и общества к нравственному идеалу *его,* Спенсера, шло путем дифференцирования; но это понятие не покрывает собой всех явлений прогресса и даже не всегда исключает полное несогласие с прогрессом, как процессом вырабатывания данного нравственного идеала. Да и в тех случаях, когда мысль верна, она указывает лишь *причину* прогресса, а он сам все-таки лежит в субъективном взгляде мыслителя на то, что лучше или что хуже для человека или для человечества. Заметим, что уже в первом издании своих «Основных начал» Спенсер сознал неточность слишком обширного употребления слова *прогресс,* заменил его в большинстве случаев словом *развитие* (évolution) и дал для последнего формулу: «Развитие есть переход от неопределенной бессвязной однородности к определенной связной разнородности, путем беспрерывных дифференцирований и интеграций» («Собр. соч.», вып. VII, стр. 233). Эта формула допускает менее возражений, частью по своей действительной широте, частью по несовершенной ее ясности, дозволяющей подвести под нее случаи крайне разнородные и едва ли под нее подходящие по прямому ее смыслу. Впрочем, так как это формула *раз-*

вития, а не *прогресса,* то она не касается прямо рассматриваемого здесь вопроса.

Итак, я полагаю, что два мыслителя, взятые мною для примера, расходятся с приведенными взглядами на прогресс лишь на словах, а в сущности стоят, как и все, на той же почве, обусловливаемой природою человеческого мышления. Они ставят сами или заимствуют у других некоторый нравственный идеал, видят в событиях истории борьбу за это высшее благо и приближение к нему. И все поступают точно так же.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Величина прогресса в человечестве

Все сказанное в предыдущем письме требует, конечно, чтобы я выставил перед читателем определительно, в чем собственно я вижу цель прогрессивного движения человечества. Я это и сделаю. Но прежде мне хотелось бы устранить одно возражение, которое, повидимому, подрывает в самом основании научность всего моего рассуждения.

Мне могут заметить, что если история может быть понята лишь как наука прогресса, а прогресс сам по себе есть не более как субъективный взгляд на события с точки зрения нашего нравственного идеала, то научность истории обусловливается возможностью выработать научным путем нравственный идеал, который *должен неизбежно* утвердиться в человечестве как единая научная истина. Допустив это следствие (а его я допускаю), мне могут возразить (и возражали), что нравственные идеалы людей были до сих пор крайне разнообразны и, по самой сущности дела, как явления чисто субъективные, должны всегда оставаться разнообразными; что мы здесь находимся не в области науки, а в области верований; верования одного не обязательны для другого; столь же мало обязательны для кого бы то ни было чужие нравственные идеалы; каждый имеет полное право выработать себе свой *особый* нравственный идеал, так как для чисто субъективных взглядов нет критерия научной истины; следовательно, оценка прогресса и самое понимание прогресса не может быть выработано научно; следовательно, научная теория прогресса, научное построение истории или даже соглашение по этим пунктам решительно невозможны. Эти возражения я не могу признать основательными и на них остановлюсь на минуту.

Если заключать на основании существующей и всегда существовавшей разницы между людьми, то придется отвергать не только единство нравственных идеалов, но и един-

ство научных истин. Из 1 400 миллионов личностей, составляющих человечество, огромное большинство не только не имеет самых поверхностных научных сведений, но не выработало даже начал научного понимания, не перешло даже первых ступеней антропологического развития. Целые племена не могут представить себе несколько значительного числа и не обладают отвлеченными словами. Фетишизм, вера в амулеты и в гаданья, вера в чудесное не только господствуют у диких и в безграмотных классах европейского населения, но и беспрестанно проявляются в среде так называемого цивилизованного меньшинства. Следует ли заключить из этого, что наука не существует, как непреложная истина *для человека?* Следует ли рассматривать результаты, полученные европейскими учеными, как феномены мысли, нисколько не имеющие более права на утверждение, чем рассказы о привидениях и пророческих снах? Между тем, если продолжится то положение вещей в мире, которое мы наблюдаем в настоящем, то число личностей научно мыслящих будет всегда подавлено массою верующих в привидения и в пророческие сны. Я думаю, что единство нравственных идеалов может быть рассматриваемо, как положение не менее убедительное, чем единство научных истин. Кто хочет, тот может отвергнуть *то и другое* на том основании, что оба требуют специального развития от личностей и для большинства в прошедшем не существовали, как в настоящем не существуют. Но лица, для которых наука умственно развитого меньшинства есть *единственная обязательная* истина, едва ли имеют право отвергать идеалы нравственно развитого меньшинства, как нечто совершенно индивидуальное.

Все научные результаты достигнуты не разом, а путем выработки мысли и критики фактов. Надо подготовить ум упражнением, прежде чем он будет способен понять и усвоить научную истину; потому большинство людей до нашего времени остается вне научного движения, и значительное число личностей, знакомых с результатами научной критики, повторяют эти результаты лишь на веру, как они повторяли бы рассказ о чудесном событии. Для исследователей факт становится научным, когда он выдержал ряд методических поверок; отсутствие противоречия, согласие с наблюдением, допущение лишь таких гипотез, которые имеют реальные аналогии, устранение всяких ненужных и недоступных опыту гипотез, — таковы требования от всякого нового построения, которое имеет претензию войти в ряд научных истин. Эти требования нелегко выполнимы, и потому история человеческих знаний представляет длинный ряд ошибок, из которых постепенно кусками выработалась точная наука. Требование

отсутствия противоречия было одною из могучих причин задержки знания, потому что приходилось сравнивать новое положение с тем, что считалось бесспорною истиною, и это сравнение могло быть плодотворно лишь тогда, когда самые точки сравнения установились критически; необходимо было, чтобы специальная наука выработалась из общей массы философских соображений; необходимо было, чтобы истины простейших наук стали подкладкою для наук сложнейших. Поэтому весьма немудрено, что самые сильные умы, на основании отсутствия противоречия с *кажущимися* истинами, отвергли и отвергают до сих пор некоторые научные положения. Требование согласия с наблюдением было не менее трудною задачею; надо было *выучиться наблюдать*, а это нелегко; величайшие умы древности и заметные ученые нового времени оставили нам многочисленные доказательства весьма грубых ошибок наблюдения, и до сих пор споры о точности наблюдения, сделанного в том или другом случае, не прекращаются. Мы не будем распространяться о трудности установления правомерных гипотез, когда столь же невозможно обойтись без них для движения науки вперед, как нелегко указать предел, где научная гипотеза переходит в метафизическое соображение; примеры тому ежедневны в самых распространенных сочинениях и у самых уважаемых ученых.

Все эти трудности объясняют медленный ход научного понимания и должны бы убедить критически мыслящих исследователей, что вовсе нет причины считать невозможным приложение строго научного мышления и к областям, где теперь господствует столь же беспорядочный хаос мнений, какой в древности господствовал в основных частях естествознания. Античный мир выработал понимание логически дедуктивной, математической и геометрической истины; но и до сих пор есть люди, отыскивающие квадратуру круга. Семнадцатый век установил метод поверки истины в объективных феноменологических науках; но до сих пор специалисты противополагают друг другу опыты о гетерогенезисе[231], приводящие к противоречивым результатам. Значение психологического наблюдения еще составляет предмет спора. Социология начала устанавливать некоторые свои положения еще очень недавно. Во всех этих областях люди различных мнений стоят еще друг против друга, упорно отрицая научную правомерность противников, и не могут условиться в том, какие наблюдения в этих областях бесспорны, какие гипотезы допустимы, где существует и где отсутствует противоречие. Тем не менее, во всех этих областях исследователи ищут научной, общей, бесспорной истины; везде большинство критиков допускает, что эта истина

существует, что ее искать можно и должно. Почему же для области нравственных идеалов допускать вечное разноречие? Почему ставить на один уровень человека, живущего инстинктами и мгновенными влечениями, с человеком, пытающимся анализировать нравственные явления и открыть их законы. Почему заключать из *нынешних* споров между мыслителями о нравственных вопросах, что тут до научных результатов никогда не дойдут? Судя по теории движения у Аристотеля [232] (бесспорно великого ума), можно бы отвергнуть возможность существования динамики когда бы то ни было.

Итак, нет невозможности в выработке научным путем нравственного идеала, который, по мере развития человечества, станет неизбежно обязательною истиною для кружка личностей, все более расширяющегося. С тем вместе получается возможность выработать научное понимание прогресса и построить историю, как науку.

Во всяком случае, при отсутствии убедительных доказательств в невозможности употребления научных приемов в области нравственности, дозволительно и едва ли не обязательно для каждого, кто не проходит индифферентно мимо важнейших вопросов для человечества, стараться о критической выработке нравственного идеала, наиболее рационального, и о построении науки прогресса — истории — на основании этого идеала. По тому самому я позволяю себе поставить в основании всего последующего рассуждения определенное указание на то, в чем я вижу прогресс человечества.

Развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении, воплощение в общественных формах истины и справедливости — вот краткая формула, обнимающая, как мне кажется, все, что можно считать прогрессом; и прибавлю, что я в этой формуле не считаю ничего мне лично принадлежащим: более или менее ясно и полно высказанная, она лежит в сознании всех мыслителей последних веков, а в наше время становится ходячею истиною, повторяемою даже теми, кто действует несогласно с нею и желает совершенно иного.

Понятия, входящие в эту формулу, я считаю вполне определенными и не допускающими различных толкований для всякого, кто добросовестно к ним относится. Если я ошибаюсь, то, во всяком случае, определение этих понятий, доказательство положений, входящих в эту формулу, и подробное ее развитие входят в этику, а не в теорию прогресса. Химические истины нечего доказывать в трактате о физиологии; истины этики нечего развивать, когда дело идет о их приложении к процессу истории. Предложенная формула, как мне кажется, при своей краткости, допускает обширное

развитие, и, развивая ее, мы получим полную теорию как личной, так и общественной нравственности. Здесь я принимаю эту формулу за основание для последующего и прямо приступлю к рассмотрению некоторых условий, необходимых для осуществления прогресса в том смысле, который указан выше.

Развитие личности в *физическом* отношении лишь тогда возможно, когда она приобрела некоторый минимум гигиенических и материальных удобств, ниже которого вероятность страдания, болезней, постоянных забот далеко превосходит вероятность какого-либо развития, делает последнее долею лишь исключительных личностей, а все остальные обрекает на вырождение в ежеминутной борьбе за существование, без всякой надежды на улучшение своего положения.

Развитие личности в *умственном* отношении лишь тогда прочно, когда личность выработала в себе потребность критического взгляда на все ей представляющееся, уверенность в неизменности законов, управляющих явлениями, и понимание, что справедливость в своих результатах тожественна с стремлением к личной пользе.

Нахожу необходимым, для предупреждения недоразумений, пояснить эти последние слова.

В современном обществе, проникнутом всеобщею конкуренциею, отожествление справедливости с личною пользою кажется бессмысленным. Действительно, лица, которые теперь наслаждаются выгодами цивилизации, могут наслаждаться ими, лишь приобретя богатство и увеличивая его. Но капиталистический процесс обогащения есть, по самой своей сущности, процесс обсчитывания рабочего, процесс недобросовестной спекуляции на бирже, процесс рыночной торговли своими умственными способностями, своим политическим и общественным влиянием. Этот путь едва ли назовет *справедливым* самый завзятый софист, но он будет утверждать, что умственное развитие личности еще весьма слабо, когда личность ищет возможности согласить свою личную пользу со справедливостью. Он выставит иное положение: жизнь — борьба, и истинное умственное развитие заключается в том, чтобы быть достаточно хорошо вооруженным для постоянной победы в этой борьбе. Когда-то этому противопоставляли неудобства укоров совести; противопоставляли опасность при постоянной борьбе быть побежденным и тогда не иметь близ себя никого, кто поддержал бы в минуту несчастия; противопоставляли общественное презрение и общественную ненависть и т. п. Все эти аргументы легко разбиваются современными теоретиками житейских наслаждений: укоры совести — дело привычки, и от них очень легко закалить себя, когда убедишься, что приобре-

таешь богатство путем *законным,* и что ни один судья не может подвести наш поступок под статью Уложения о преступлениях и наказаниях; если огромное большинство конкурирует на законном основании за обогащение, за увеличение наслаждений, то это большинство чувствует не презрение, не ненависть к ловкому победителю в борьбе, а удивляется ему и преклоняется пред ним, стараясь подражать ему и выучиться у него; что касается до шансов поражения в постоянной борьбе, то, во-первых, богатство достаточных размеров в значительной степени обеспечивает от этих шансов, а во-вторых, жизнь личности коротка, и дело лишь в том, чтобы обеспечить себе наслаждение жизнью на срок этой жизни.

Итак, следует согласиться, что, при настоящем строе общества, личная польза не только не тожественна с справедливостью, но прямо противоречит ей. Чтобы иметь наибольшее количество наслаждений в настоящее время, личность должна заглушить в себе самое понятие о справедливости; должна обратить всю свою критическую способность на то, чтобы эксплоатировать все и всех, ее окружающих, для доставления себе наибольшей доли наслаждений на их счет, и должна помнить, что если она на минуту поддастся соображениям о справедливости или даже аффекту искренней привязанности, то она сама станет объектом эксплоатации тех, которые ее окружают. Патрону приходится прижимать рабочего, или рабочий будет его обкрадывать. Семьянину приходится подозрительно надзирать за женою и детьми, или жена и дети будут его надувать. Правительству приходится иметь тысячеглазую полицию, или власть его захватят другие. Накопляй богатство, но держи ухо востро, потому что друг приносит тебе жертву, лишь рассчитывая на большие проценты; поцелуй, который дает тебе любовница, есть поцелуй покупной. Война — всюду, и оружие должно быть готово против всех и в каждую минуту.

Итак: *или* положение о тожестве справедливости с личною пользою бессмысленно, или настоящий строй общества — строй патологический. Если читатель находит, что последнее не верно, и все — как быть должно, то пусть закроет эту книгу: она писана не для него. Но тогда являются вопросы: развил ли в себе он, читатель, потребность критического взгляда на все окружающее?. Проникся ли он уверенностью в неизменности закона, что общество, основанное на войне всех против всех, есть общество, которого не скрепит никакая законность, никакая полиция; что это — общество разлагающееся и требующее радикальной реформы? Если же читатель инстинктивно или сознательно возмущен против этого общественного строя, фатально обреченного

на взаимное недоверие, на взаимную эксплоатацию, если он признал под блеском современной культуры существование патологических процессов, которые не могут оставить этот строй при его нынешних основаниях, то потребность критического взгляда на все окружающее должна его привести к иному ряду вопросов. Приходится ли лечить болезненные симптомы этого общественного строя, или искать источник этой болезни и действовать против него? Если источник этой болезни лежит в самых основах современного общежития, то радикальное изменение экономических, политических, общежительных отношений между людьми не требует ли и для самого принципа этих отношений иной формулировки? Не придется ли, при перестройке патологического общественного строя в здоровый, принять в основание не борьбу всех против всех, не всеобщую конкуренцию, но возможно-тесную и возможно-обширную *солидарность* между личностями? Может ли быть здорово и прочно общество вне существования солидарности между его членами? А что такое общественная солидарность, как не сознание того, что личный интерес совпадает с интересом общественным, что личное достоинство поддерживается лишь путем поддержки достоинства всех солидарных с нами людей? А если это — результат, к которому должна привести потребность критического взгляда на все окружающее, то чем этот результат разнится от указанного выше: в *здоровом* общежитии справедливость, в своих результатах, тожественна с стремлением к личной пользе?

Развитие личности в *нравственном* отношении лишь тогда вероятно, когда общественная среда дозволяет и поощряет в личностях развитие самостоятельного убеждения; когда личности имеют возможность отстаивать свои различные убеждения и тем самым принуждены уважать свободу чужого убеждения; когда личность сознала, что ее достоинство лежит в ее убеждении, и что уважение достоинства чужой личности есть уважение собственного достоинства.

Воплощение в общественных формах истины и справедливости предполагает прежде всего для ученого и мыслителя возможность высказать положения, считаемые им за выражения истины и справедливости; затем оно предполагает в обществе некоторый минимум общего образования, дозволяющий большинству понять эти положения и оценить аргументы, приводимые в их пользу; наконец, оно предполагает такие общественные формы, которые допустили бы изменение, лишь только окажется, что эти формы перестали служить воплощением истины и справедливости.

Лишь тогда, когда физическое развитие личности возможно, когда умственное ее развитие прочно, когда нрав-

ственное ее развитие вероятно, лишь тогда, когда общественная организация заключает в себе условия достаточной свободы слова, достаточного минимума среднего образования, достаточной доступности для изменений в общественных формах, лишь тогда прогресс общества *в целом* может считаться более или менее обеспеченным, лишь тогда можно сказать, что все данные для прогресса налицо и лишь внешние катастрофы могут остановить его. Пока все эти условия не выполнены, до тех пор прогресс может быть случайный, частный, не дающий никакого ручательства за самое близкое будущее; до тех пор всегда можно ожидать эпохи застоя или реакции вслед за эпохою видимого успеха. При самых невыгодных условиях для целого общества иная личность может быть поставлена, вследствие благоприятных обстоятельств, в положение, где она разовьется далеко за уровень своей среды. Эти благоприятные обстоятельства могут существовать для группы личностей, но оставаться все-таки эфемерным явлением, тогда как все общество будет предоставлено застою или реакции. Закон больших чисел с неумолимою строгостью всегда не замедлит доказать, как мало исторического значения имеет развитие небольшой кучки личностей при исключительных условиях. Большинство общества должно быть поставлено в условия возможного, вероятного и прочного развития, чтобы можно было сказать об обществе, что оно прогрессирует.

Я вовсе не так уверен в том, что читатель согласится с указанными мною условиями прогресса, как надеялся на беспрекословное принятие им короткой формулы, поставленной вначале; но эта общая судьба формул. Весьма многие согласны с ними, пока они не уяснены; как только начинается уяснение, люди, их принимавшие, начинают угадывать, что они, приверженцы одной и той же формулы, не совсем понимали друг друга. Для меня эти условия кажутся необходимыми, и я предоставляю тому, кто несогласен со мною, удержав формулу, поставить ей другие условия.

Но, поставив *эти* условия, я позволю себе спросить читателя: имеем ли мы, вообще, право говорить в настоящее время о прогрессе *человечества?* Можно ли сказать, что для большинства 1 400 миллионов, из которых состоит современное человечество, *начальные* условия прогресса уже осуществлены? Даже *некоторые* из этих условий осуществлены ли? И для какой доли из этих 1 400 миллионов? И можно ли без некоторого ужаса подумать, *во что* обошлось несчастным миллионам погибших поколений осуществление прогресса для маленькой горсти личностей, которых историк может считать представителями цивилизации?

Я бы счел оскорблением для читателя, если бы усомнился

на минуту в том, как он ответит на вопрос: осуществлены ли начальные условия прогресса? Здесь возможен *лишь один* ответ: *все* условия прогресса не осуществлены *ни для одного* человека, и *ни одно* из них не осуществлено для *большинства*. Лишь небольшие группы личностей или отдельные личности оказывались иногда и кое-где в достаточно благоприятных обстоятельствах, чтобы завоевать себе какой-либо прогресс и передать традицию борьбы за лучшее другим маленьким группам, которым судьба тоже подарила несколько выгоднейшее положение. Всюду и всегда личности, выработавшие в себе какой-либо прогресс, должны были бороться с неисчислимыми препятствиями, тратить на эту борьбу самую значительную долю своих сил и своей жизни, чтобы только отстоять свое право на физическое и умственное развитие. Лишь при особенно выгодных обстоятельствах им это удавалось. Лишь при исключительном положении личностей борьба за существование не имела места, а время и силы шли на борьбу за увеличение наслаждений. Еще исключительнее было положение тех, которые воспользовались настолько совершившеюся за них борьбою других личностей, чтобы бороться за нравственное наслаждение сознательного развития в себе человеческих начал и воплощения их в общественные формы. И во всех этих случаях борьба требовала такой доли сил и жизни, что на самое осуществление цели борьбы оставалось и того и другого крайне мало, так что немудрено, если человечество, даже в части, всего лучше обставленной, достигло еще столь немногого. Удивительно еще, что при столь невыгодных условиях некоторая часть человечества все-таки достигла чего-то имеющего права назваться не осуществлением, а разве подготовлением правильного прогресса. Но зато как мала эта доля *успевших!* И чего это стоило *остальным?*

Всего более подвинулось человечество относительно условий физического развития личности; между тем, даже и в этом отношении как еще незначительно число лиц, для которых осуществлен *необходимый* минимум гигиенических и материальных удобств! Какое ничтожное меньшинство из 1 400 миллионов человечества пользуется достаточною и здоровою пищею, имеет одежду и жилище, удовлетворяющие основным требованиям гигиены, может обратиться к медику в случае болезни, к общественной заботливости в случае голода или внезапного несчастия! Какое огромное большинство проводит почти всю свою жизнь в непрестанных заботах о насущном хлебе, в неутомимой борьбе за свое жалкое существование, и притом еще не всегда в состоянии отстоять себя! Сочтите племена, которым эта борьба и до сих пор не дозволила выйти из состояния, почти ничем не отли-

чающегося от других пород животных. Сочтите жертвы голода, эпидемий в многочисленных племенах, лишенных всех пособий рациональной культуры. Сочтите в среде цивилизованной Европы ту массу населения, которая осуждена всю жизнь биться из-за завтрашнего куска хлеба. Припомните страшные отчеты о гигиенических условиях жизни рабочего в самых *развитых* странах Европы. Посмотрите в таблицах смертности, какие цифры соответствуют вздорожанию хлеба на несколько процентов, как изменяется вероятность жизни для бедняка и для богатого. Припомните, как мал заработок огромного большинства европейского населения. Когда эти цифры предстанут пред вами в их ужасающей реальности, тогда можете спросить себя, какая доля человечества *пользуется действительно* теми жизненными удобствами, теми необходимыми условиями физического развития для человека, которые вырабатывает современная культура в ее фабриках, медицинских факультетах, в ее комитетах о бедных? Как велико *практическое* значение человеческой науки и человеческой филантропии в наше время для жизни большинства людей, для их развития? А при этом нельзя не сознаться, что увеличение материальных удобств жизни в Европе бросается в глаза и что, бесспорно, количество личностей, имеющих возможность пользоваться удобствами здоровой пищи, здорового жилища, медицинского пособия в случае болезни и полицейской охраны от случайностей, очень увеличилось в последние века. На этой-то небольшой доле человечества, охраненной от самой тяжкой нужды, лежит в наше время *вся* человеческая цивилизация.

Далеко, далеко ниже стоит человечество на пути осуществления условий умственного развития. Нечего и говорить о выработке критического взгляда на вещи, о понимании неизменности законов природы и утилитарного значения справедливости для огромного числа тех, которые должны еще отстаивать *свое* существование против ежеминутной опасности. Но и меньшинство, более или менее огражденное от этих тяжелых забот, заключает в себе лишь самую незначительную долю личностей, привыкших мыслить критически, усвоивших смысл слова «закон явлений» и ясно понимающих собственную пользу. Слишком много смеялись и негодовали, приводя примеры господства моды, привычки, преданий, всякого рода авторитетов в цивилизованном меньшинстве, чтобы мне нужно было распространяться об этом предмете и повторять тысячу раз повторенную истину, что люди, выработавшие в себе привычку критически мыслить *вообще,* суть замечательные редкости. Несколько более, хотя и то очень мало, людей, привыкших обобщать явления какой-либо одной, более или менее ши-

рокой, сферы явлений. Вне этой сферы они столь же подчинены бессмысленному повторению чужих мнений, как и все остальное большинство человечества. Что касается до усвоения понятия о неизменности законов, управляющих явлениями, то его можно искать только в маленькой группе лиц, серьезно занимавшихся наукою. Но и между ними далеко не все, которые проповедуют на словах неизменность законов природы, могут считаться усвоившими это начало в самом деле. Эпидемии новейших магов — магнетизеров, вызывателей духов, спиритистов — дали длинные списки лиц, увлеченных этими эпидемиями, и в числе этих имен встречаются, к сожалению, люди науки. Да и вне этих эпидемий, особенно в минуту жизненной опасности, душевных потрясений и т. п., не раз люди науки обращались к амулетам и заклинаниям (конечно, в их общеупотребительной христианской форме), показывая, как некрепко в их умах убеждение в неизменности хода явлений и в невозможности отклонить процессы природы от их неизбежного совершения. Мудрено ли после этого, что христианские амулеты и заклинания играют свою роль среди блестящей культуры Европы XIX века столь же эффектно, как другие в пустынях Африки у наших современников или за несколько тысячелетий у наших предков. Наука природы отвоевала лишь кое-что у мира чудесного, так что культура нашего времени в мелочах жизни представляет пеструю смесь рациональных и предрассудочных приемов, и вера в чудесное готова пробудиться в большинстве *образованного* класса при первом удобном к тому поводе.

Я не решаюсь даже поставить вопроса о развитии понимания утилитарной стороны справедливости. При настоящем общественном строе условия всеобщей конкуренции ведут к прямому отрицанию утилитарного значения справедливых действий, следовательно — ожидать усиления понятия, противоречащего господствующему направлению мысли, невозможно. Можно лишь удивляться, как здоровые инстинкты человека, на зло господствующей и растущей конкуренции, все еще принуждают людей преклоняться пред фикциями справедливости. Но оно так. Почти каждому самому бессовестному эксплоататору всего окружающего хочется *казаться* справедливым, и не только пред другими, а весьма часто пред самим собой. Это есть симптом невольного признания истины поставленного выше положения даже среди строя, в основании которого лежит отрицание этого положения. Но само собою разумеется, что в настоящее время число лиц, усвоивших себе это положение в теории и на практике, совершенно незаметно. — Как ни мало доступны условия умственного прогресса, даже в среде мень-

шинства, обеспеченного от прямой борьбы за существование, но все-таки эти условия, хотя частью, выполняются. Есть небольшая группа людей, выработавших в себе привычку критически мыслить хотя в частной области знания. Неизменность законов явлений теоретически признана большинством ученых, хотя очень мало вошла в личное убеждение. Только утилитарное значение справедливости, даже в теории, сознано очень мало.

Но что сказать об условиях нравственного развития личности? Так как об убеждениях можно говорить только в кругу людей, выработавших в себе способность критически мыслить, то и условия нравственного развития существуют для этой маленькой группы. Но лишь одна доля ее находится в странах, где закон ограждает личное убеждение, а не карает его. Лишь небольшая доля этой доли живет в общественной среде, которая не смотрит на самостоятельность убеждений, как на нравственный порок, не старается искоренить его с детства воспитанием, внушающим покорность общепринятому, не гонит его всеми средствами в жизни, как неприличие, вредящее общественному спокойствию. Когда личности этой едва заметной группы человечества, счастливее других поставленной в отношении условий нравственного развития, выработали в себе убеждение, то лишь маленькая доля их сохраняет терпимость в отношении чужих убеждений, и еще меньшая к этому присоединяет сознание, что достоинство человека лежит в его убеждении. Судите же поэтому, для какой самомалейшей части человечества в каждом поколении возможен нравственный прогресс. А в нравственном прогрессе каждое поколение повторяет ту же работу, так как сила и самостоятельность убеждения, а также готовность стоять за него, не передается от одной личности к другой, а вырабатывается каждою личностью самостоятельно. Прогресс заключается здесь лишь в числе личностей, усвоивших сильные и самостоятельные убеждения. По малочисленности лиц, для которых это убеждение вообще *возможно*, нет никаких средств определить, существует ли этот прогресс, или нет. Можно бы предполагать, что он имеет место вследствие расширения географической территории, где закон ограждает свободу мысли, но зато лучшие средства административного надзора стесняют ее более, чем прежде, в тех местах, где существует в этом отношении репрессивное законодательство, так что решение этого вопроса предстоит будущему. Для настоящего он и не имеет особой важности по незначительности той доли человечества, до которой этот вопрос касается. Замечу, что Бокль, отрицая нравственный прогресс в человечестве, имел в виду совсем иное.

Переходим к условиям, необходимым для воплощения в общественных формах истины и справедливости. Первое из них — возможность высказать свои научные знания и философские убеждения — выполнено, более или менее, в довольно заметной части Европы и Америки, и это — самый действительный прогресс человеческой истории, хотя и тут дело не обходится без значительных неудобств для людей слишком решительных мнений: судьба Людвига Фейербаха в Германии, прежнего Рошфора[233], Марото[234], Эмбера[235] во Франции, даже в Англии затруднения, которые встречал Бредло[236] при вступлении в парламент, указывают, что много еще осталось завоевать для прогресса и на этом пути. Но второе — достаточный минимум общественной образованности — как мы видели, осуществлено лишь для незначительного меньшинства, обеспеченного от самой упорной борьбы за существование и привыкшего критически мыслить: все остальные члены общества или подавлены ежедневными заботами, или привыкли итти за авторитетами. Третье условие — возможность обсуждения и изменения отживших общественных форм — повидимому, осуществлено там, где конституция узаконяет учредительные и законодательные собрания. Однако в наше время надежды на эти легальные органы общественного мнения очень ослабели. Точно ли они представляют и могут ли представлять *общественное* мнение, т. е. мнение большинства взрослого населения страны? Мы видели, что условия физического развития весьма недостаточно удовлетворены для большинства людей, условия же умственного и нравственного развития — почти для всех. В таком случае можно ли допустить, чтобы какое бы то ни было учредительное или законодательное собрание выражало в своих прениях и постановлениях действительное общественное мнение? Так как тяжелые заботы о насущном хлебе делают для огромного большинства личностей совершенно невозможным участие в законодательстве, при сложных формах, которые ему приданы, и так как даже немногим личностям этого большинства, имевшим случайно возможность развиться умственно, настоящий общественный строй, в большей части случаев, полагает всевозможные препятствия, то и наличные общественные формы обусловливаются и изменяются лишь представителями обеспеченного меньшинства. Так как это меньшинство критически развито весьма мало и всего менее в отношении понимания утилитарного значения справедливости, то справедливое суждение в этом случае составляет случайность, а общим правилом является суждение и решение на основании исключительных, эгоистических интересов меньшинства, поставленного обстоятельствами у двигателя законодательной машины. Смотря по

знаниям этого меньшинства и по его лучшему или худшему пониманию собственных интересов, оно воплощает в законодательстве эти интересы полнее или менее полно. Но, в самом выгодном случае, законодательство является, таким образом, попыткою удовлетворить минимуму потребностей масс для того, чтобы предотвратить революционные взрывы. Большею же частью господствующие классы или правительственное меньшинство воплощают в законодательстве ту самую социальную борьбу, которая побуждает обладателей капитала смотреть на массы, лишь как на объект экономической эксплоатации для собственного обогащения, а лиц, участвующих в правительстве, — видеть в подданных лишь предмет полицейского надзора и карательных мер.

Не только *интересы* меньшинства препятствуют улучшению общественных форм; ему препятствуют еще более усвоенные *привычки,* освященные временем *предания.* В глазах значительного числа личностей самых развитых обществ обсуждению и законному изменению всегда подлежали лишь некоторые политические и некоторые маловажные экономические формы. Все остальное остается *неприкосновенною* святынею даже в глазах многих из тех, которые более или менее терпят от этой неприкосновенной святыни, тем более в глазах тех, которые не чувствуют ее тягости. Было время, когда ни один политический оратор свободной республики не мог бы заикнуться об уничтожении рабства. Было время, когда терпимость к иноверцам представляла тему, способную повести на костер. Но еще и в наше время в парламентах Европы и Америки можно спокойно обсуждать тарифы и займы, а радикальное обсуждение вопроса о распределении богатств невозможно. Прения об ответственности министров допускаются, но замена одной династии другою или переход от монархического правления к республиканскому могут иметь место лишь путем революции. Экономическую сторону семейных отношений подвергают пересмотру, но до сущности этих отношений и не касаются. Во многих случаях нельзя сказать, чтобы прикосновение к этим святыням было прямо запрещено законом или подвергало бы нарушителя определенной каре. Мнение может быть высказано, если между законодателями найдется критически мыслящая и смелая личность. Но привычка и предание не дозволяют большинству законодателей и значительной части общества даже про себя приступить к обсуждению его мотивов. Мнение будет отвергнуто невыслушанным, несознанным, и не потому, чтобы его противникам казались аргументы его слабыми или интересы их при этом затронутыми, а просто потому, что это мнение в их глазах *не подлежит обсуждению.* При недостатке критического раз-

вития в среде обеспеченного меньшинства, поставляющего законодателей, и при меньшем страдании интересов этого меньшинства от неприкосновенных святынь, последние долго остаются фактически святынями даже и после того, как в области мысли они уже давно потеряли свою неприкосновенность, после того, как огромное большинство чувствует их гнет, хотя еще и не сознало необходимости изменить неприкосновенные формы. Недовольство растет. Страдания умножаются. Происходят местные взрывы, легко подавляемые. Правительства и господствующие классы прибегают к пальятивам, к полумерам для облегчения слишком явных страданий и к уменьшению полицейскаго надзора и карательных мер. Когда критически мыслящее меньшинство повторяет свои требования реформ, оно встречает неодолимые препятствия. Все остается, как есть, пока мнение о негодности этих форм (конечно, взятое на веру) не распространится на довольно значительное число личностей и пока недовольные не сознают, что путь мирных реформ для общества невозможен. Тогда отжившие формы разрушаются, но уже не путем мирных законодательных реформ, а путем насильственной революции, которая фактически в историческом процессе оказывается большею частью несравненно более обыкновенным орудием общественного прогресса, чем радикальная реформа в законодательстве мирным путем. Правительства, конечно, всегда стараются предотвратить революции. Эти революции почти всегда вовсе нежелательны и оппозиционным партиям, требующим реформ. Но недостаток умственного и нравственнаго развития в господствующих и руководящих личностях и группах ведет обыкновенно в подобных случаях к неизбежному кровавому столкновению. Бедствия революций известны всем. Огромное количество страданий, ими вызываемых, именно для масс, подавленных ежедневными заботами, делает их всегда весьма печальным средством исторического прогресса. Но так как он большею частью невозможен иным путем при серьезных общественных неудобствах и так как иногда даже прямой расчет доказывает, что хронические страдания масс при сохранении прежнего строя иногда далеко превосходят все вероятные страдания в случае революции, то приходится самым мирным, но искренним реформаторам обращаться в революционеров. Бедствия, при этом неизбежные, могут быть уменьшены лишь рациональным обсуждением *действительных* изменений, к которым должна привести революция, тогда как мы слишком часто видим в истории, что она ограничивается лишь заменой одной господствующей группы другой, массы же, к улучшению положения которых стремятся искренние

революционеры и силами которых революции совершаются, очень мало выигрывают от переворота.

Замечая, как мало выполнены условия человеческого прогресса, мы, конечно, перестаем удивляться существованию печального хора писателей, во все века повторявших горькие жалобы на бедствия человечества и сетовавших на непрочность так называемых исторических цивилизаций. Как в наше время огромное большинство человечества обречено на непрестанный физический труд, отупляющий ум и нравственное чувство, на вероятность смерти от голода или от эпидемий, так и всегда большинство было в подобном положении. Вечно трудящейся человеческой машине, часто голодающей и всегда озабоченной завтрашним днем, вовсе не лучше в наше время, чем было в другие периоды. Для нее прогресса нет. Ей мало дела и до культуры, стоящей над ее головою со своими дворцами, парламентами, храмами, академиями, студиями. Ее связывали в прежнее время с господствующим меньшинством неприкосновенность стародавнего обычая, святыня общей религии. Позже она верила в заботу о ней патриархальных начальников, далеких царей. Еще позже надеялась на «народных» министров, на «радикальных» ораторов в парламентах и на митингах, слыша, как эти люди с жаром говорили о «народе». Но история уносила одну из этих иллюзий за другою, и цивилизации с их блеском все оставались средствами наслаждения меньшинства в виду постоянно страждущего большинства. Тем не менее, все снова и снова пред всяким обществом возникает вопрос о необходимости, для прочности цивилизации, установить солидарность интересов и убеждений, установить связь между господствующими классами и большинством. Если этой связи не существует между массою неимущих и цивилизованным меньшинством, то цивилизация его всегда не прочна. Столкновение с чужеземным завоевателем, проповедь новой религии, минутный взрыв голодной массы — могут уничтожить в самое короткое время весьма блестящую культуру, несмотря на ее кажущееся преобладание по материальным, умственным и нравственным условиям. Единственное средство для цивилизации быть более прочной, это — постоянно связывать со своим существованием материальные, умственные и нравственные интересы неимущего большинства, расширяя на большее и большее число лиц выгоды материальных удобств жизни, развивающее действие науки, сознание личного достоинства и привлекательное влияние более справедливых общественных форм. Лишь распределяя равномернее скопленный капитал благосостояния, умственного и нравственного развития, цивилизованное меньшинство может до-

ставить вероятность прочности своему собственному развитию.

Древние восточные царства, точно так же, как царства Мексики, Перу и, вероятно, того безыменного общества, которое оставило дворцы и храмы в лесах Паленкэ[237], были снесены со всеми их цивилизациями первою социальною бурею. Это был не ряд случайностей, а совершенно естественный продукт формы этих цивилизаций. Когда монополия умственного развития принадлежала теократии, когда монополия жизненных благ и культурных улучшений принадлежала небольшому кружку наследственных собственников или людей, переходивших за порог царского дворца, когда дворцы для одного и храмы для немногих были результатами неисходного труда огромного большинства, когда для этого большинства не предвиделось ни значительного улучшения быта от сохранения туземных общественных форм, ни значительного вреда от подчинения чуждому завоевателю, тогда... что могло искренно связывать это большинство с цивилизациею, составлявшею для него лишь любопытное зрелище, отдаленное и бесполезное? Приходил чуждый завоеватель и легко *снимал* с вершины общества небольшой слой цивилизованного меньшинства. Пустели, рушились и обрастали лесом великолепные дворцы и храмы в Ниневии, чтобы подняться в Вавилоне; затем падал Вавилон, чтобы притянуть труд и капиталы в Сузу и Персеполь. Большинство теряло лишь пестрое зрелище, а трудилось без пользы для Сеннахеримов так, как для Навуходоносоров[238]; было связано интересами и жизнью мысли с Амазисом[239] столь же мало, как с Дарием[240]; гибло машинально в войсках Кира[241], как оно гибло в войсках Креза[242]... Глубокая несправедливость распределения условий физического, умственного и нравственного развития придавала крайнюю непрочность всем этим цивилизациям.

То же явление повторилось при падении греко-римского мира. Но здесь все-таки круг распространения цивилизации был шире, формы ее несколько справедливее, поэтому античная цивилизация была и устойчивее, поэтому и не так легко поддалась она напору внешних и внутренних разрушительных сил; потому и следы ее в истории человечества глубже и многочисленнее. С нею связаны были интересы экономические значительного числа граждан, интересы умственные всех тех, кто имел возможность, устранив самые тяжелые заботы, притти в один из городских центров мысли и политической жизни. Унизительный деспотизм личности сменился идеализированным деспотизмом государства и закона. С теократией исчезла монополия умственного развития.

Точная наука, независимое философское мышление, сознательное участие гражданина в политическом целом — расширили осуществление условий физического, умственного и нравственного развития. Тем не менее, под слоем свободных граждан находился несравненно многочисленнейший класс рабов, которым предоставлен был весь ремесленный труд и которые ничем не были связаны с политическою жизнью граждан. За стенами самодержавных городов расширялись территории, подчиненные произволу и эксплоатации, чуждые научному и философскому развитию центров. Педагогическое действие научной и философской мысли было слабо, и, вместо того, чтобы расширить круг знающих, философы писали на дверях академий запрет незнающему войти. Высоко и быстро поднялась греческая мысль, но тем уединеннее стояли на этой высоте ученые, непонятные обществу, философы, чуждые обыденных интересов жизни. Неизбежный фатум не заставил себя долго ждать. Многочисленные граждане, не связавшие своих интересов с интересами ремесленников-рабов и подвластных территорий, не отстояли свободы своих городов от внешнего насилия. В продолжительной борьбе население городов, хранившее традицию гражданственности, смешалось с пришлым большинством, чуждым этой традиции, и центры древней политической жизни потеряли свое живое значение. Малочисленные ученые и передовые мыслители, не связавшие своей мысли педагогически с мыслию значительного числа лиц, не отстояли прав и методов своей критики от фетишизма массы, от лени и непоследовательности умов обеспеченного меньшинства. Под влиянием волнений времен диадохов [243] и римского завоевания критически мыслящее меньшинство утонуло в большинстве, чуждом критики; потребность нелепых верований подавила потребность верований продуманных, так же, как потребность материального обеспечения подавила потребность гражданской жизни. Эллинский идеал справедливой жизни сменился римским идеалом законной формы. Круг городов-эксплоататоров сузился сначала в круг консуляров [244] *одного* города, эксплоатировавшего мир, потом в круг приближенных *одного* человека, повелевавшего миром. Когда внешние враги древнего Рима пришли грабить его, он развалился под их рукою, потому что некому было дорожить императорским фиском с его тяжелым гнетом. Когда новые христианские чудотворцы бросили в глаза потомкам Аристотеля, Архимеда [245] и Эпикура [246] требование мыслить немыслимое, критика замолчала, наука была похоронена и философия пошла в рабство, потому что их представители были уединены, или сами подпали влиянию массы, чуждой умственных интересов. Недостаточная спра-

ведливость древней цивилизации подорвала ее прочность, несмотря на ее замечательные успехи, сравнительно с прежними формами жизни и мысли.

И новая цивилизация Европы может рассчитывать на свою прочность лишь настолько, насколько материальные, умственные и нравственные интересы меньшинства, ее представляющего, связаны экономически с благосостоянием большинства, педагогически — с его мышлением, жизненно — с убеждением большинства личностей, что их достоинство солидарно с существующей цивилизациею. Кто находит, что эти условия не выполнены в настоящем строе общества, что в нем господствует не солидарность, а социальный раздор, тот неизбежно должен искать путей, которыми это патологическое состояние было бы переведено в здоровое, в строй более справедливый, в котором установилась бы солидарность между интересами различных общественных групп. Справедливейшая в своем распределении цивилизация есть и долговечнейшая.

Но долговечие цивилизации иногда покупается ценою ее способности развиваться. Если географические условия некоторым образом обеспечивают цивилизацию извне, то она может оградиться от опасностей изнутри тем, что помешает развиваться в своей среде личностям с критическою мыслью, которых вовсе не так много, чтобы нельзя было их подавлять каждый раз, когда они появятся. Для иных рас человечества, крепче других держащихся за свои привычки и за свою старину, а может быть, и по строю мозга менее склонных к критическому развитию, образуется, наконец, в ряде поколений, привычка к определенному складу мысли, повторяющемуся с такою же неизменностью, как строй улья у пчел и постройки термитов. Тогда в обществе могут происходить дворцовые революции, кровавые войны, смены династий, даже образование многотомной литературы, но цивилизация его не изменяется, а жизнь *историческая* в нем прекращается. Китай представляет довольно обычный пример подобного застоя. Впрочем, не должно думать, чтобы самые высшие расы были совершенно избавлены от опасности впасть в застой. Византия прошла довольно далеко по тому же пути. Московское царство уже склонялось к нему. Но и более развитые формы государственности могут притти к окоченению.

Таким образом, всякой цивилизации грозят постоянно две опасности. Если она ограничивается слишком малочисленным и слишком исключительно поставленным меньшинством, то ей грозит опасность исчезнуть. Если она не даст развиться в среде цивилизованного меньшинства критически мыслящим единицам, ее оживляющим, ей грозит застой.

Недостаточное удовлетворение самых основных условий прогресса не дозволило ему никогда и нигде сделаться прочною принадлежностью какой-либо цивилизации, обеспечивая ее от остановок и потрясений, от реакций и переворотов. Застой грозил и грозит всем цивилизациям; если его примеры редки в истории, то лишь потому, что стремление к застою не было даже в состоянии устранить причины непрочности общественного строя; внешние враги и внутренние болезни не давали времени обществу обратиться в муравейник. Таким образом, *вероятность* прочного прогресса в человечестве никогда не существовала, но, несмотря на невыгодные условия, невероятное совершалось, и кое-где, для едва заметного меньшинства человечества, наука прогресса, история, могла накопить кое-какой материал. Кое-где личности и группы личностей могли развиться физически, умственно и нравственно, могли приобрести кое-какие истины, воплотить в жизнь маленьких кружков несколько более справедливости и завещать другим поколениям средства успешной борьбы за прогресс. Если условия *общественного* прогресса не были осуществлены нигде (т. е. условия, необходимые для беспрепятственного и прочного прогресса в данном обществе), то условия для прогрессивной деятельности отдельных личностей были часто налицо: критическое отношение к современной культуре, крепкое убеждение и решимость воплотить его, не обращая внимания на опасности. Вообще, эти последние условия были не так редко выполнимы, как оно бы казалось, если взять в соображение полное отсутствие осуществления условий для *общественного* прогресса. Умственное развитие личности, если оно было и непрочно, то не всегда мешало личности доходить до критики существующего, иногда же сознавать и совпадение справедливости с личной пользой развитого человека. Нравственное развитие, как оно ни было мало *вероятно* при существующем строе общества, все же выказывалось в самых отсталых средах. При самых трудных обстоятельствах мыслители высказывали свои теории истины и справедливости и встречали около себя сочувствие и понимание. Формы общественной жизни, упорно противившиеся прогрессу, распадались не раз под взрывами революций, если они не поддавались под напором развития мысли. При самых враждебных условиях прогресс оказывался *возможным*. Он происходил действительно. Когда результаты, добытые в одной местности, исчезали с разрушением цивилизации вследствие ее непрочности, их традиция большею частью выживала в другой местности, пускала ростки и опять отвоевывала для истории немножко новой почвы. Но никогда человечество

не могло, ценою всех жертв и всей исторической борьбы, завоевать себе достаточных условий *прочного* прогрессивного развития. Между тем, следует помнить, что это *не более* как *условия* прогресса, тогда как его *цели* заключают требования далеко, далеко обширнейшие. Это всего удобнее видеть, если мы сопоставим каждое из указанных выше основных условий прочного общественного прогресса с конечною целью, соответствующею этому условию.

Минимум гигиенических и материальных удобств, это — необходимое *условие* прогресса; обеспеченный труд, при общедоступности удобств жизни, это — конечная *цель*, соответствующая этому условию. Потребность критического взгляда, уверенность в неизменности законов природы, понимание тожества справедливости с личной пользой, это — *условия* умственного развития; систематическая наука и справедливый общественный строй, это — конечная *цель* его. Общественная среда, благоприятная для самостоятельного убеждения, и понимание нравственного значения убеждения, это — *условие* нравственного прогресса; развитие разумных, ясных, крепких убеждений и воплощение их в дело, это — *цель* его. Свобода мысли и слова, *минимум* общего образования, общественные формы, *доступные* прогрессу, это — *условия* прогрессивной общественности; *максимум* возможного развития для каждой личности, общественные формы, как *результат* прогресса, доступного каждой из них, это — *цель* общественного прогресса.

В виду этих целей, условия, указанные выше, представляют ступень весьма невысокого общественного развития. Между тем, они не были удовлетворены нигде и никогда. Истинные же цели прогресса кажутся большинству мыслителей не более как утопиями. Однако, несмотря на это, несмотря на полное отсутствие условий прочного прогресса, история все-таки имела место в человечестве, и прогресс осуществлялся.

Но зато чего он и стоил человечеству!

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Цена прогресса

В продолжение своего долгого существования человечество выработало несколько гениальных личностей, которых историки с гордостью называют его представителями, героями. Для того, чтобы эти герои могли действовать, для того даже, чтобы они могли появиться в тех обществах, которые были осчастливлены их появлением, должна была образоваться маленькая группа людей, сознательно стремившихся к развитию в себе человече-

ского достоинства, к расширению знаний, к уяснению мысли, к укреплению характера, к установлению более удобного для них строя общества. Для того, чтобы эта маленькая группа могла образоваться, необходимо было, чтобы среди большинства, борющегося ежечасно за свое существование, оказалось меньшинство, обеспеченное от самых тяжких забот жизни. Для того, чтобы большинство борющихся за насущный хлеб, за кров и одежду могло выделить из себя этот *цвет народа,* этих *единственных представителей цивилизации,* надобно было большинству просуществовать; а это было вовсе не так легко, как оно может показаться с первого взгляда.

В первоначальной борьбе за существование со своими братьями-животными человеку приходилось плохо. У него нет таких могучих естественных орудий нападения и защиты, как у других пород, которые выработались среди врагов, именно благодаря подобным орудиям; и в борьбе физическими средствами сильнейшие животные его пожирали. Ему недостает органов для лазанья, прыганья, полета или плаванья, чтобы легче избежать опасности, тогда как другие, слабейшие породы именно этим органам, вероятно, обязаны своим сохранением. Человеку нужно *выучиться* всему, приноравливаться ко всему; иначе он погибнет. По мнению некоторых писателей, детеныши человека средним числом в продолжение $1/5$ их жизни составляют для родителей беспомощную тягость, тогда как для прочих пород это число не превышает никогда $1/20$. Допустив даже, что в первобытном человечестве эта разница выражалась более близкими между собою числами, она всё-таки неизбежно была не в пользу человека. Следовательно, просуществовать человеку вообще в среде животного царства крайне трудно.

Один орган в своем постепенном развитии *мог* доставить человеку торжество в этой борьбе, заменив преимущества всех прочих пород и превзойдя их. Это был орган *мысли.* Вероятно, неисчислимое множество двуногих особей погибло в безнадежной борьбе со своими врагами-зверями, прежде чем выработались счастливые единицы, способные *лучше* мыслить, чем эти враги, единицы, способные изобресть средства для охранения своего существования. Они *отстояли* себя ценою гибели всего остального, и эта *первая,* совершенно *естественная,* аристократия между двуногими *создала* человечество. Унаследованная способность или переимчивость перенесли изобретения этих первобытных гениев на небольшое меньшинство, поставленное в наиболее выгодные условия для переимчивости. Существование человечества было упрочено.

Если и прежде человек боролся с человеком, как со всяким другим животным, чтобы отнять у него пищу или пожрать его, то теперь серьезная для будущности борьба ограничилась лишь борьбою между людьми. Шансы были здесь более равносильны, а потому борьба должна была быть упорнее и продолжительнее. Всякое совершенствование в ловкости тела, в употреблении орудий нападения и защиты, в подражании первым учителям-зверям, всякое изобретение, удавшееся единице, вызывало гибель многих единиц. Гибли брошенные детеныши; гибли беременные или только что родившие самки; гибли слабейшие, менее ловкие, менее изобретательные, менее осторожные, менее переимчивые. Выдерживал детеныш, который, по крепкой организации, мог ранее обойтись без ухода, чем другие, или, по счастливой обстановке, мог долее пользоваться уходом; выдерживал способнейший телом и мыслью; выдерживал счастливейший из равно способных. Он питался лучше; он спал спокойнее; он знал больше; он имел время *лучше обдумать* свои действия. Эти счастливцы составили вторую аристократию человеческих пород, умевших просуществовать ценою истребления всех своих братий. Прочный союз особей для общей защиты и для общего труда был, вероятно, первым и величайшим делом для нравственного развития человечества. Из своего зоологического состояния человек вынес первую, древнейшую семью, группирующуюся около матери, которая долго кормила своих детей. Вырастая, человеческие особи, по примеру хищных и некоторых обезьян, были знакомы с другим видом общественности, с временною дружиною для обороны или для нападения. На почве первобытной материнской семьи образовался первый обширный чисто человеческий союз, материнский род. В тяжелой борьбе за существование человек выработал эту форму прочного союза, опирающегося на общее дело и подчиняющего себе личный эгоизм. Общий результат исследований ряда современных ученых указывает нам тесно связанную человеческую группу с общими женами, с общими детьми, с общею собственностью, как древнейшую и едва ли не всеобщую, чисто человеческую форму общежития. Это была первая прочная *связь* между людьми, связь, основанная еще на слепо господствующем обычае, но в этой связи человек усваивал для будущего возможность рассчитанного ряда действий, возможность плана жизни. Это был первый урок личности, научавший ее, насколько она выигрывает в борьбе за существование, вступая в ассоциацию, которой личность приносит в жертву исключительный эгоизм, но от которой получает громадное приращение сил, резуль-

таты общей опытности, общей работы мысли всех членов ассоциации и традицию длинного ряда поколений. Из этого основного человеческого союза выработались впоследствии патриархальный род, патриархальная семья, разные формы союза семей, развились племена и народы. В борьбе с этими родовыми союзами все более слабые группы должны были погибнуть или тоже сомкнуться в союзы того или другого вида. В присутствии этих сплоченных сил исчезли без всякой возможности отстоять себя все те особи, которые своевременно не додумались до союза в каком бы то ни было виде или не переняли почему-либо этого изобретения. Истребительная борьба родовых союзов между собою должна была быть тем жесточе, чем большими силами располагали борющиеся, чем значительнее становились экономические потребности человеческих групп при их скоплении и чем неумолимее, поэтому, они оспаривали друг у друга скудные средства удовлетворения этих потребностей. Ценою этого истребления большинства человечество купило *возможность* непрерывного прогресса культуры; путем передачи ее от одного поколения другому купило привычку общественности и личной привязанности, традицию знания и верования.

Борьба продолжалась между родами, племенами и нациями, когда впоследствии формы общественности усложнились, выработались формы общинной, родовой, семейной, племенной и частной собственности, выработались сословные, кастовые и государственные отношения и невольничество. Безжалостно истребляли побежденных противников, пока дело шло только о борьбе за существование; но первый урок о пользе чужой жизни для *удобства* собственной не мог пропасть даром. Желание увеличить свои наслаждения побудило обдумать: не выгоднее ли *иногда* не убивать побежденного? Не выгоднее ли победителю развивать в себе только ловкость тела и мысли, взвалив труд добывания необходимого на другого? Те гениальные личности доисторического человечества, которые додумались до этого утилитарного начала, положили в нем основу уважения к чужой жизни и уважения к собственному достоинству. Они тем самым бессознательно поставили себе и своим потомкам в обязанность, в нравственный идеал — развитие физическое и умственное, культуру и науку. Они обеспечили себе и потомству *досуг* для прогресса. Они *создали* прогресс в среде человечества, как их гениальные и счастливые предшественники создали человечество среди зверей, создали человеческие общества и человеческие по-

роды в борьбе между людскими особями и полуживотными группами, создали *возможность* будущего прогресса. Но этот прогресс небольшого меньшинства был куплен *порабощением* большинства, лишением его возможности добиться той же ловкости тела и мысли, которая составила достоинство представителей цивилизации. В то время, как меньшинство развивало в себе и мозг и мышцы, в то время, как самая мышечная система его развивалась разносторонне в деятельности военной, разнообразной, временной, сопровождаемой досугами и отдыхами, большинство было обречено на однообразную, утомительную и непрерывную мирную работу для чужой пользы, не имея досуга для работы мысли, уступая в ловкости своим повелителям и потому оставаясь неспособным на употребление своих громадных сил для завоевания себе права на развитие, на истинно-человеческую жизнь.

Сознание великого значения культуры и науки, как силы и как наслаждения, вело само собою к желанию монополизировать эту силу и это наслаждение. Прямое принуждение, организация общества, кара закона, религиозный ужас, привычная традиция, внушаемая с колыбели,— отделили меньшинство породистых, знающих, развивающихся от всего остального. Ценою неустанной работы и борьбы за существование этого *остального* немногие могли выбирать себе лучших женщин, производить лучшее поколение, питать и воспитывать его лучше; могли употреблять время на наблюдение, обдумывание, соображение, не заботясь о пище, крове и простейших удобствах; могли добиваться истины, взвешивать справедливость, искать технических улучшений, лучшего общественного строя, могли развивать в себе страстную любовь к истине и справедливости, готовность принести за них в жертву свою жизнь и свое благополучие, решимость проповедывать истину и осуществить справедливость.

Проповедь истины и справедливости шла от убежденных и понимающих единиц в небольшой кружок людей, для которых развитие составляло наслаждение; она образовала в этом кружке восприимчивых приверженцев, к которым примыкали верующие из обеспеченного меньшинства. Сила или соглашение вносили от времени до времени учение истинного и справедливого в закон и в привычку. Как развитые личности из внутренней потребности стремились к воплощению справедливости в дело и к распространению истины, так рассуждающее меньшинство, для собственной пользы, находило лучшим поделиться *частью* удобств жизни с большинством и расширить круг знающих до некоторой степени. Я уже говорил, что проч-

ность цивилизации зависела от сознания необходимости подобного расширения. Но понимание распространялось медленно: мелкий расчет всегда побуждал уделять возможно менее удобств другим людям, ограничивать возможно более сферу доступного им знания. Неохота мыслить побуждала видеть во всех новых требованиях времени нечто враждебное общественному порядку, нечто преступное и грешное, а потому монополисты знаний большею частью противились всеми средствами их прогрессу. Они заковывали свои знания в традиционные теории, в авторитетные догматы, сливали эти знания со священным преданием, с сверхъестественным откровением и тем самым старались сделать свое знание недоступным дальнейшей критике. Впоследствии, когда знание стало светским и не могло уже ограждать своих монополизаторов мистическою таинственностью святыни, возникли котерии официальных ученых с определенными шариками мандаринов, с громкими дипломами докторов, профессоров, академиков. Они точно так же старались избавить себя от дальнейшей работы мысли, тщательно замыкая свои котерии, оттесняя из них и заглушая новые силы, которые выставляли слишком смело знамя научной критики; монополисты старались сделать из науки *официальной* дело привычки и традиции, каким прежде была наука *священная. Признанное* знание становилось слишком часто врагом критики, врагом научного прогресса. Слабость этого прогресса вызывала неизбежно дурное понимание человеческого достоинства и форм справедливости. Отсюда продолжительная непрочность цивилизаций; отсюда же постоянное стремление их к застою; отсюда, наконец, та крайняя незначительность прогресса в среде человечества, на которую указано в предыдущем письме, несмотря на то, что за несколько великих людей в продолжение тысячелетий и за прогресс едва заметного меньшинства заплачено миллиардами жизней, океанами крови, несчетными страданиями и неисходным трудом поколений.

Дорого заплатило человечество за то, чтобы несколько мыслителей, в своем кабинете, могли говорить о *его прогрессе*. Дорого заплатило оно за несколько маленьких семинарий, где воспитывало себе педагогов, которые, впрочем, до сих пор еще принесли ему мало пользы. Если бы счесть образованное меньшинство нашего времени, число жизней, погибших в минувшем в борьбе за его существование, и оценить работу ряда поколений, трудившихся только для поддержания своей жизни и для развития других, и если бы вычислить, сколько потерянных человеческих жизней и какая ценность труда приходится на

каждую личность, ныне живущую *несколько* человеческою жизнью, — если бы все это сделать, то, вероятно, иные наши современники ужаснулись бы при мысли, какой капитал крови и труда израсходован на их развитие. К успокоению их чуткой совести служит то обстоятельство, что подобный расчет невозможен.

Впрочем, следует ужасаться не тому, что прогресс меньшинства обошелся дорого, но разве тому, что он обошелся *так* дорого и что за эту цену сделано *так* мало. Если бы меньшинство ранее и старательнее позаботилось о распространении около себя развития, приобретенного в области культуры и мысли, то число потерянных жизней и труда было бы не так велико; сумма, приходящаяся на каждого из нас, была бы менее и не увеличивалась бы так громадно с каждым поколением. Над законами естественной необходимости мы не властны, а потому рассудительный человек должен с ними помириться, ограничиться их спокойным исследованием и, насколько возможно, воспользоваться ими для своих целей. Не властны мы и над историею; прошедшее доставляет нам лишь факты, которые могут нам иногда служить для исправления будущего. За грехи отцов мы ответственны лишь настолько, насколько продолжаем эти грехи и пользуемся ими, не стараясь исправить их последствий. Мы властны в некоторой степени лишь над будущим, так как наши мысли и наши действия составляют материал, из которого организуется все содержание будущей истины и справедливости. Каждое поколение ответственно перед потомством за то лишь, что оно *могло* сделать и чего не сделало. Поэтому и нам, в виду суда потомства, предстоит решить вопросы: какая доля неизбежного, естественного зла лежит в том процессе, который мы называем громким именем исторического прогресса? Насколько наши предки, доставившие нам, цивилизованному меньшинству, возможность воспользоваться выгодами этого прогресса, без нужды увеличивали и продолжали страдания и труды большинства, выгодами прогресса никогда не пользовавшегося? В каком случае ответственность за это зло может пасть и на нас в глазах будущих поколений?

Закон борьбы за существование так общ для мира животных, что мы не имеем ни малейшего повода обвинять первобытное человечество, когда этот закон прилагался и в нем, пока не пробудились в людях сознание взаимной солидарности, потребность истины и справедливости. Так как это сознание едва ли могло пробудиться, пока люди, взаимно истребляя друг друга, не дошли до

замены убийства эксплоатацией, то и на весь длинный период борьбы между особями, дружинами, родами, племенами и нациями нам приходится смотреть, лишь как на зоологический факт.

Едва ли можно себе представить и накопление знаний, развитие мысли о праве и обязанности в первое время иначе, как процессом, совершающимся в единицах, поставленных в особенно выгодные обстоятельства, т. е. в особях, имеющих досуг, лучшее питание и воспитание на счет других особей, которые доставляют первым этот досуг, питание и воспитание увеличением своего труда, если не ценою собственной жизни или значительных страданий. Прежде чем учиться, надо иметь учителей. Большинство может развиваться лишь действием на него более развитого меньшинства. Поэтому в человечестве или должно было отсутствовать всякое развитие, или пришлось большинству сначала вынести на своих плечах счастливейшее меньшинство, работать на него, страдать и гибнуть из-за него. Это, повидимому, тоже закон природы. В виду его нам остается или сказать: мы не хотим вовсе развития, купленного такою ценою; или посмотреть и на это, как на антропологический факт. Но в начале предыдущего письма я уже включил всестороннее развитие в самую формулу прогресса, следовательно, допуская отказ от развития вообще, впал бы в противоречие. Примиримся же с фактом, что человечеству для его развития было необходимо очень, очень дорогою ценою приготовить себе педагогическую семинарию и более развитое меньшинство, чтобы наука и разносторонняя жизненная практика, мышление и техника, накопляясь в этих центрах, постепенно разливались на большее и большее число людей.

Необходимое, естественное зло в прогрессе ограничивается предыдущим, и за пределами этих законов начинается ответственность человеческих поколений, в особенности же цивилизованного меньшинства. Вся кровь, пролитая в истории вне прямой борьбы за существование, в период более или менее ясного сознания прав человека на жизнь, есть кровь, преступно пролитая и лежащая на ответственности поколения, ее пролившего. Всякое цивилизованное меньшинство, которое не хотело быть *цивилизующим,* в самом обширном смысле этого слова, несет ответственность за все страдания современников и потомства, которые оно *могло* устранить, если бы не ограничивалось ролью *представителя* и *хранителя* цивилизации, а взяло на себя роль ее *двигателя.*

Если мы с этой точки зрения оценим панораму истории до нашего времени, то, вероятно, должны будем при-

знаться, что все исторические поколения проливали реки крови, даже не имея оправдания в борьбе за существование, и что почти всегда и везде меньшинство, гордившееся своею цивилизациею, крайне мало делало для распространения этой цивилизации. Немногие личности заботились о расширении области знания в человечестве; еще меньшее число — об укреплении мысли и о разыскании справедливейших форм общества; личности же цивилизованного меньшинства, стремившиеся воплотить в дело подобные формы, встречаются в весьма незначительном числе. Многие блестящие цивилизации заплатили своею гибелью за это неумение связать со своим существованием интерес большего числа личностей. Во всех цивилизациях без исключения большая часть людей, пользовавшихся удобствами культуры, вовсе не думала о всех тех, которые ею не пользовались и не могли пользоваться, а тем менее о цене, которою куплены приобретенные удобства жизни и мысли. Но немало всегда было и лиц, которые на каждой ступени цивилизации признавали эту ступень пределом общественного развития, возмущались против всякого критического отношения к ней, против всякой попытки распространить благо цивилизации на большее число лиц, уменьшить труд и страдание большинства, ею не пользующегося, и внести в мысль более истины, в общественные формы более справедливости. Эти проповедники застоя ужасались мысли, что вся история есть неумолимый steeple chase [247] в погоне за лучшим, где всякий, кто отстал, немедленно выходит из круга исторических деятелей, пропадает в толпе безыменных хлопальщиков глазами и гибнет в зоологическом ничтожестве. Неспособные к подобной скачке уговаривают и других остановиться, отдохнуть, насладиться покоем, как будто это возможно для человека, если он хочет оставаться человеком. Этим проповедникам застоя крайне редко удавалось положить совершенную преграду общественному прогрессу, но им часто удавалось замедлить его и усилить страдания большинства.

В виду этого мы должны признать, что выгоды современной цивилизации оплачены не только *неизбежным* злом, но еще огромным количеством совершенно ненужного зла, ответственность за которое лежит на предыдущих поколениях цивилизованного меньшинства, частью по беззаботности, частью по прямому противодействию всякой цивилизующей деятельности. Исправить в прошедшем это зло мы уже не можем. Страдавшие поколения большинства умерли, не облегченные в своем труде. Нынешнее цивилизованное меньшинство пользуется их трудом и страданиями. Мало того: оно пользуется еще страданиями и трудом огромного

числа своих современников и может влиять на увеличение труда и страданий их внуков. Так как за это последнее обстоятельство мы несли и будем нести нравственную ответственность перед потомством, то историческое исследование цены совершившегося прогресса приводит к следующему практическому вопросу: какие средства имеет настоящее поколение, чтобы уменьшить свою ответственность? Если бы живущие личности различного развития спросили себя: что нам делать, чтобы не отвечать пред потомством за новые страдания человечества? и если бы все они *ясно поняли свое дело,* то ответы были бы, конечно, различны.

Член большинства, борющегося ежедневно за физическое существование, как боролись его предки в первые периоды жизни человечества, сказал бы себе: борись, как знаешь и как умеешь! Отстаивай право на жизнь для себя и для тех, к кому ты привязан! Это был закон твоих отцов; твое положение не лучше их положения: это единственный закон и для тебя.

Более несчастная личность из того же большинства, в которой цивилизация пробудила сознание ее человеческого достоинства, но тем только и ограничилась, сказала бы себе: борись, как знаешь и как можешь; отстаивай свое и чужое достоинство; умри за него, если нужно!

Член цивилизованного меньшинства, желающий лишь увеличить и упрочить свое наслаждение, но склонный искать его более в области удобств жизни, чем в области мысли, сказал бы себе: ты можешь наслаждаться лишь в обществе, где более или менее господствует солидарность; противодействуй же в себе и в других тому, что несогласно с этою солидарностью; от разлада современного общества страдаешь и ты сам, как только сознаешь, что этот разлад — общественная болезнь; уменьшай же собственные страдания, стремясь улучшить положение большинства: то, чем ты пожертвуешь из сегодняшних благ с этой целью, возвратится тебе в сознании, что ты на одну каплю уменьшил болезнь общества, болезнь, и тебе приносящую страдание. Изучай же свою *действительную* пользу; уменьшай страдания около себя и в себе: это тебе всего полезнее.

Член небольшой группы меньшинства, видящий свое наслаждение в собственном развитии, в отыскании истины и в воплощении справедливости, сказал бы себе: каждое удобство жизни, которым я пользуюсь, каждая мысль, которую я имел досуг приобрести или выработать, куплена кровью, страданиями или трудом миллионов. Прошедшее я исправить не могу, и как ни дорого оплачено мое развитие, я от него отказаться не могу: оно именно и составляет идеал, возбуждающий меня к деятельности. Лишь бессиль-

ный и неразвитой человек падает под ответственностью, на нем лежащей, и бежит от зла в Фиваиду [248] или в могилу. Зло надо исправить, насколько можно, а это можно сделать лишь в жизни. Зло надо *зажить*. Я сниму с себя ответственность за кровавую цену своего развития, если употреблю это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и в будущем. Если я развитой человек, то я обязан это сделать, и эта обязанность для меня весьма легка, так как совпадает именно с тем, что составляет для меня наслаждение: отыскивая и распространяя более истин, уясняя себе справедливейший строй общества и стремясь воплотить его, я увеличиваю собственное наслаждение и в то же время делаю все, что могу, для страждущего большинства в настоящем и будущем. Итак, мое дело ограничивается одним простым правилом: живи сообразно тому идеалу, который ты сам себе поставил, как идеал *развитого* человека!

Это было бы все так легко и просто, если бы все личности поняли дело, но беда именно в том, что весьма немногие понимают его. Предыдущим правилам следует лишь часть лиц первой категории и немногие из остальных. Другая часть борющихся за свое физическое существование отстаивает себя не довольно энергически, — не потому, чтобы не знала, как это сделать, или не умела этого, но по недостатку решимости, по апатии. Большинство лиц второй категории жертвует своим достоинством для насущного хлеба и унижается в собственных глазах, не имея все-таки возможности выбиться из своего положения. Большинство лиц третьей категории не понимает собственной действительной пользы, действует по рутине и не умеет противодействовать даже в малой мере болезни общества, приносящей страдания каждой личности, следовательно и им самим; т. е., стремясь избегать страдания, оно не умеет уменьшить в себе те из них, которые вытекают из общественного разлада. Большинство же лиц последней категории или ставит идолы на место истины и справедливости, или ограничивается истиною и справедливостью в мысли, а не в жизни, или не хочет видеть, какое незначительное меньшинство пользуется выгодами прогресса цивилизации.

А цена этого прогресса все растет...

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Действие личностей

Последние два письма мои приводят в конце к одному и тому же результату. Обществу угрожает опасность застоя, если оно заглушит в себе критически мыслящие личности.

Его цивилизации грозит гибель, если эта цивилизация, какова бы она ни была, сделается исключительным достоянием небольшого меньшинства. Следовательно, как ни мал прогресс человечества, но и то, что есть, лежит исключительно на критически мыслящих личностях: без них он безусловно невозможен; без их стремления распространить его он крайне непрочен. Так как эти личности полагают обыкновенно себя в праве считаться развитыми и так как за *их-то* именно развитие и заплачена та страшная цена, о которой говорено в последнем письме, то нравственная обязанность расплачиваться за прогресс лежит на них же. Эта уплата, как мы видели, заключается в посильном распространении удобств жизни, умственного и нравственного развития на большинство, во внесении научного понимания и справедливости в общественные формы.

Поговорим же об этих личностях, единственных орудиях человеческого прогресса. Каков бы он ни был, он зависит от них. Он не вырастет из земли, как вырастают сорные травы. Он не размножится от плавающих в воздухе зародышей, как инфузории в гниющей жидкости. Он не окажется внезапно в человечестве результатом мистических идей, о которых так много толковали тому назад лет сорок, а многие и теперь еще толкуют. Его семя есть, действительно, идея, но не мистически присутствующая в человечестве; она зарождается в мозгу личности, там развивается, потом переходит из этого мозга в мозги других личностей, разрастается качественно в увеличении умственного и нравственного достоинства этих личностей, количественно в увеличении их числа и становится общественною силою, когда эти личности сознают свое единомыслие и решатся на единодушное действие; она торжествует, когда такие личности, ею проникнутые, внесли ее в общественные формы.

Если личность, говорящая о своей любви к прогрессу, не хочет критически пораздумать об условиях его осуществления, то она, в сущности, прогресса никогда не желала, да и не была даже никогда в состоянии искренно желать его. Если личность, сознающая условия прогресса, ждет, сложа руки, чтобы он осуществился сам собою, без всяких усилий с ее стороны, то она есть худший враг прогресса, самое гадкое препятствие на пути к нему. Всем жалобщикам о разврате времени, о ничтожестве людей, о застое и ретроградном движении следует поставить вопрос: а *вы* сами, зрячие среди слепых, здоровые среди больных, что *вы* сделали, чтобы содействовать прогрессу?

При этом вопросе большинство их ссылается на слабость сил, недостаток таланта, малый круг действия, враж-

дебные обстоятельства, враждебную среду, враждебных людей и т. д. «Какие мы деятели! — говорят они: — и учили нас не доучили, и статейку журнальную написать не сумеем, пророческим красноречием господь обидел, и место по службе ничтожное, а то и никакого нет, и капитала дедушка не оставил, а заработаешь лишь настолько, чтобы сидеть впроголодь. Вот если бы то и другое — капитал, да место большое, да талант, то мы бы себя показали».

Я не говорю о тех, которые всю жизнь бьются из-за куска хлеба. В прошлом письме я упомянул о них, и на них не падает ни одного обвинения. Если прогресс прошел над их головами, не дав им даже развития, то они лишь жертвы его. Если их коснулось умственное развитие, если сознание лучшего зажгло в них ненависть ко лжи и злу, но обстоятельства задавили в них всякое проявление этого сознания и ограничили их жизнь заботою о насущном хлебе; если при этом они все-таки сохранили человеческое достоинство, то они своим примером, своим существованием остаются самыми энергическими деятелями прогресса. Перед этими незаметными героями человечества, не совершившими ни одного яркого дела, по историческому значению ничтожны величайшие исторические деятели [249]. Если бы первых не было, то последние никогда не могли бы осуществить ни одного своего начинания. Между тем как заметные герои борются и часто даже гибнут в борьбе за лучшее, в это время, несмотря на неблагоприятные условия, незаметные герои поддерживают в обществе традицию человеческого достоинства, сознание лучшего, и когда одному на сто из великих деятелей удается провести в жизнь свои идеи, он вдруг видит около себя группу крепких людей, закаленных работою, непоколебимых в своих убеждениях, радостно протягивающих ему свои руки. Из этих-то незаметных героев создается во всякую великую историческую минуту почва для преобразований. Они хранят в себе всю возможность будущего. В том обществе, где не было бы их, прекратился бы разом всякий исторический прогресс. Дальнейшая жизнь такого общества ничем не отличалась бы в нравственном отношении от жизни других общественных животных.

Но эти энергические деятели заключают лишь *возможность* прогресса. Его осуществление никогда не принадлежит и не может принадлежать им по очень простой причине: каждый из них, принявшийся за осуществление прогресса, умер бы с голода или пожертвовал бы своим человеческим достоинством, исчезнув, в обоих случаях, из ряда прогрессивных деятелей. Осуществление прогресса принадлежит тем, которые избавились от самой гнетущей заботы

о насущном хлебе, но из этих последних *всякий,* критически мыслящий, может осуществлять прогресс в человечестве.

Да, всякий. Не говорите, пожалуйста, о недостатке таланта и знания. Для этого не нужно ни особенного таланта, ни обширного знания. Если вашего таланта и знания хватило на то, чтобы критически отнестись к существующему, сознать потребность прогресса, то вашего таланта и знания достаточно, чтобы эту критику, это знание воплотить в жизнь. Только не упускайте ни одного случая, где жизнь представляет действительно для этого возможность. Положим, ваша деятельность мелочна; но из неизмеримо малых частиц состоят все вещества; из бесконечно малых толчков составляются самые громадные силы. Количество пользы, полученной от вашей деятельности, ни вы и никто другой оценить не в состоянии: оно зависит от тысячи различных обстоятельств, от многочисленных совпадений, предвидеть которые невозможно. Прекраснейшие намерения приводили к отвратительным результатам, как маловажное, с первого взгляда, действие разрасталось в неисчислимые последствия. Но мы можем с некоторою вероятностью ожидать, что, придавая целому ряду действий одно и то же направление, мы получим лишь немногие результаты, прямо противоположные данному направлению, хотя некоторые действия совпадут с удобными условиями для того, чтобы оказались заметные результаты в этом самом направлении. Может быть, мы не увидим этих результатов, но они непременно *будут,* если мы сделали все от нас зависящее. Земледелец, обработавший почву и посеявший семена, знает, что многие семена погибнут, что он никогда не оградит нивы от потравы, от неурожая, от ночного хищника, но и после неурожая он несет на поле снова горсть семян, ожидая будущей жатвы. Если каждый человек, критически мыслящий, будет постоянно активно стремиться к лучшему, то, как ни был бы ничтожен круг его деятельности, как бы ни была мелка сфера его жизни, он будет влиятельным двигателем прогресса и оплатит свою долю той страшной цены, которую стоило его развитие.

Но точно ли есть мелочные и важные сферы деятельности? В каких это сферах люди имеют право на монополию прогрессивности? Уж не литераторы ли? Не художники ли? Не ученые ли?

Посмотрите на этого литератора-прогрессиста, который так великолепно пишет о благе общества и еще искуснее эксплоатирует своих братий или в своем лице отдает идеи, которым, повидимому, служит, на поругание противникам. А я еще не говорю о разных «мрачных сонмищах», для кото-

рых литература есть орудие самого отвратительного принижения мысли, принижения человеческого достоинства, орудие застоя и общественного развращения.

Посмотрите на этого художника-прогрессиста, который воспевает свободу слова, хотя он вовсе не прочь участвовать в цензурных учреждениях, и который вне своей студии никогда не подумал, чем отличается скверное дело от хорошего. А я не упоминаю о всех тех — им же имя легион, — которые по скромной лесенке стихотворного, музыкального, живописного, скульптурного, архитектурного творчеств только и лезли, что к пенсиям, орденам, высоким чинам и огромным домам.

Посмотрите на этого прогрессивного профессора, который готов из своей эрудиции, смотря по обстоятельствам, делать арсенал для какого угодно направления. А еще сколько бездушных аргументирующих и экспериментирующих человеческих приборов, которые, следя всю жизнь за процессами химического замещения и разложения, за разрастанием клеточек и сокращением мышц, за склонениями и спряжениями греческих терминов, за перебоем звуков в санскрите и зенде, за отличительными признаками утвари времен Александра Невского[250] и Ивана Грозного, никогда не подумали, что их ум и знание есть сила, оплаченная страданиями поколений, — сила, за которую надо же заплатить и им; что эта сила налагает на них обязанность и что аргументирование и экспериментирование могут низвести человека на один уровень с пауком, точно так же, как могут повести ученого на высшую точку человеческого достоинства, доступную в его время.

Ни литература, ни искусство, ни наука не спасают от безнравственного индифферентизма. Они не заключают и не обусловливают сами по себе прогресса. Они доставляют лишь для него орудия. Они накопляют для него силы. Но лишь тот литератор, художник или ученый действительно служит прогрессу, который сделал все, что мог, для приложения сил, им приобретенных, к распространению и укреплению цивилизации своего времени; кто боролся со злом, воплощал свои художественные идеалы, научные истины, философские идеи, публицистические стремления в произведения, жившие полной жизнью его времени, и в действия, строго соответственные количеству его сил. Кто же сделал менее, кто из-за личного расчета остановился на полдороге, кто из-за красивой головки вакханки, из-за интересных наблюдений над инфузориями, из-за самолюбивого спора с литературным соперником — забыл об огромном количестве зла и невежества, против которого следует бороться, тот может быть чем угодно: изящным художником, заме-

чательным ученым, блестящим публицистом, но он сам себя вычеркнул из ряда сознательных деятелей исторического прогресса. По нравственному значению, как человек, он стоит ниже бесталанного писаки, всю жизнь неутомимо твердящего столь же бесталанным читателям старые истины о борьбе со злом и невежеством; ниже полузнайки-учителя, с жаром вколачивающего полупонятые знания в умы неразвитых мальчиков. Эти сделали все, что умели, что могли; с них и требовать более нечего. Если из сотен читателей один-два найдутся поталантливее, повпечатлительнее и применят в жизни те истины, которые они узнали от писаки, то прогресс был. Если жар учителя зажег хотя в небольшом числе учеников жажду поразмыслить, поработать самому, жажду знания и труда, — то прогресс опять был. Я уже не говорю, как неизмеримо ниже — при всей их художественной талантливости, при всей их учености, при всей их публицистической знаменитости — стоят упомянутые господа сравнительно с теми совершенно незаметными деятелями прогресса, о которых сказано выше и которые хранят в себе всю возможность прогресса для будущего.

Мне скажут, что я несправедлив в отношении как к искусству, так и к науке. Прекрасное произведение, даже не осмысленное художником, есть все-таки увеличение развивающего капитала человечества; не говоря о другом действии искусства, лишь путем прекрасного человек большею частью переходит из мира пошлости в область истины и справедливости. Оно возбуждает внимание, увеличивает впечатлительность и, следовательно, есть уже само по себе орудие прогресса, независимо от мысли, одушевлявшей художника. Точно так же всякий новый факт знания, как бы он ни был мелок и ничтожен для современных жизненных вопросов, есть увеличение капитала человеческой мысли. Лишь классифицируя и изучая все существа природы, как они суть на самом деле, человек получает возможность классифицировать и изучать их по отношению к человеческому благу, по их полезности и вредности для большинства. Сегодня энтомолог порадуется, что в его коллекции прибавилось два-три незамеченных прежде жучка, а через несколько времени, посмотришь, изучение одного из этих жучков даст технику новое средство для удешевления полезного продукта, следовательно, отчасти и для увеличения удобств жизни большинства. А затем другой из этих жучков стал исходной точкой разысканий ученого о законах развития животных форм и функций, законах, по которым развивалось и человечество из своего зоологического состояния, вынося фатально из него в свою историю много печальных переживаний; законах, которые указывают

человеку, что, лишь борясь за свое развитие, он, рядом с неизбежным зоологическим элементом своего существа, может выработать в себе и другой элемент, позволивший ему быть деятелем прогресса. Сегодня лингвист с восторгом отметил особенности спряжения глаголов древнего языка; завтра эта особенность свяжет несколько языков, до тех пор разрозненных; после завтра эта связь уяснит ряд мифов доисторического периода; а там, смотришь, оказалась возможность проследить влияние этих мифов на учения христианских церквей, понятнее стал меньшинству строй мысли большинства, и, следовательно, стало удобнее найти средства для развивающей прогрессивной деятельности. Искусство и наука в их произведениях суть орудия прогресса, независимо от настроения и стремления художника и ученого, даже против их желания. Лишь бы произведение искусства было в самом деле художественно, лишь бы открытие ученого было в самом деле научно — они уже принадлежат прогрессу.

Я и не думал говорить, что искусство и наука не суть *орудия* прогресса, что художественное произведение и научное открытие, как *факты,* не служат прогрессу. Но бесспорно, и металлы, хранящиеся в почве, и шелк, вырабатываемый шелковичным червем, суть тоже орудия прогресса, факты для него. Художник, имеющий в виду только искусство и никогда не подумавший о человечном его влиянии, может представлять огромную эстетическую силу. Его произведение прекрасно; его влияние может быть огромно и даже весьма полезно. Но его сила, по нравственному достоинству, не выше той, конечно, громадной силы, которая разбросала по земле самородки меди, заключила в болота и озера железо, а относительно пользы металлов для человеческой цивилизации никто спорить не станет. Эстетическая сила, сама по себе, сила вовсе не нравственная. Нравственною, цивилизационною, прогрессивною силою она становится, независимо от художника, лишь в мозгу того, кто, вдохновившись прекрасным произведением, подвинулся на благо; в том, кто сделался лучше, впечатлительнее, развитее, энергичнее, деятельнее под влиянием впечатления, полученного от произведения художника; как металл сделался цивилизационною силою лишь в мозгу того, кто придумал из него первое полезное орудие. Художник, как художник, стоит в уровень со всяким могучим физическим или органическим процессом, не имеющим никакого человечного значения. И звук и кровообращение служат источником мысли, желания добра, решимости на дело, но они не суть ни мысль, ни добро, ни решимость. Чтобы художник *сам* был цивилизационною силою, для этого он

должен *сам* вложить в свои произведения человечность: он должен выработать в себе источник прогресса и решимость его осуществить; должен приступать к работе, проникнутый прогрессивною мыслию; и тогда, в процессе творчества, не насилуя себя, он будет сознательным историческим деятелем, потому что сквозь преследуемый им идеал красоты будет и для него всегда сиять требование истины и справедливости. Он не забудет о борьбе против зла, которая обязательна для каждого, а для него тем более, чем более естественной силы в нем заключается.

То же можно сказать об ученом. Накопление знаний, само по себе, нисколько не имеет более высокого нравственного значения, чем накопление воска в улье. Но воск становится орудием цивилизации в руках пчеловода, в руках техника. Они очень благодарны пчелам, очень нежат их и сознают, что без пчел воска бы не было. Но все-таки пчелы не люди; нравственными деятелями цивилизации пчел назвать нельзя, и выделение ими воска по внутренней потребности есть лишь *материал* прогресса. Энтомолог, собирающий жуков, и лингвист, отмечающий спряжения, если они это делают только из внутреннего удовольствия созерцать коллекцию жуков или знать, что глагол спрягается так-то, нисколько не ниже — но зато и не выше — пчелы, выделяющей свой комочек воска. Если этот комочек попадает в руки техника, который обратит его в восковой пластырь, или в руки химика, который откроет при помощи его новый обобщающий закон, комочек будет материалом цивилизации; если он бесполезно растает на солнце, то работа пчелы пропала даром для прогресса. Но в обоих случаях пчела ни при чем; она удовлетворила своей потребности, переработала пищу в комочек воска, внесла этот комочек в свою постройку, как следует животному, и потом полетела за новою пищею. Подобно тому, и факт знания становится орудием цивилизации лишь двумя путями. Во-первых, в мозгу того, кто его употребит в технике или в обобщенной мысли; во-вторых, в мозгу того самого, кто вырабатывает факт науки, но не из удовольствия созерцать его, как новый комочек воска, а с заранее обдуманною целью, как материал, имеющий в виду определенное техническое применение или определенное научное и философское обобщение. Наука и искусство суть могущественные орудия прогресса, но я уже сказал в начале этого письма, что прогресс осуществляется лишь в личностях; лишь личности могут быть его двигателями; а в этом отношении художник и ученый, как личности, могут не только не быть могучими деятелями прогресса, но могут совершенно стать вне прогрессивного движения, несмотря на свой талант и знание, наравне с бес-

сознательным металлом или с животным, от которого никто нравственности и не требует. Другие, *настоящие,* люди, может быть, менее талантливые и менее ученые, могут придать человечное значение материалу, накопленному великими художниками и великими тружениками, но они придадут человечное значение этим трудам *своим* пониманием. *Они* внесут эти труды в прогресс истории.

Я нарочно остановился на науке и искусстве, как на самых могучих элементах цивилизации, чтобы указать, что и эти сферы, сами по себе, не составляют прогрессивного процесса; что ни талант ни знание не делают еще, сами по себе, человека двигателем прогресса; что с меньшим талантом и знанием в этом отношении можно сделать более, если сделаешь все, что можешь. Да, повторяю, всякий человек, критически мыслящий и решающийся воплотить свою мысль в жизнь, может быть деятелем прогресса.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Культура и мысль

Положим, что личность, критически мыслящая, сознала себя как возможного и обязательного деятеля для прогресса человечества. Спрашивается, как она обязана поступать, во имя этого сознания, чтобы сделаться действительным органом прогресса?

Конечно, прежде всего она должна отнестись критически к себе: к своему знанию, к своим силам. Поприще, на котором ей недостает знания, надо изучить или оставить в стороне. Дела, для которого у нее недостает сил, лучше не трогать, пока не наберешь достаточно сил для его совершения. Не то, чтобы целая сфера деятельности была, таким образом, закрыта для кого-нибудь; но надо, чтобы человек, обращаясь к этой сфере, ясно поставил и решил вопрос: чтó *именно* могу я сделать в этой сфере с моими знаниями и при моих силах? Только решив этот вопрос, можно разумно ставить себе и жизненную задачу.

Но приступая к ней, личность имеет перед собою несколько учений, как будто противоположных между собой, и читатель, знакомый с известным взглядом Луи Блана [251] на *индивидуализм* и *общественность* или *братство,* может быть, видя большое значение, придаваемое мною личности в истории, заподозрил автора этих писем в склонности к индивидуализму в том именно смысле этого слова, который придан ему знаменитым когда-то французским социалистом. Я не долго остановлюсь на этом вопросе, потому что считаю его более вопросом о словах, чем о деле.

Луи Блан говорит («Hist. de la révol. française»; Paris 1847; I, 9—10)[252], что «индивидуализм рассматривает человека, как находящегося вне общества... дает ему преувеличенное чувство его прав, не указывая ему его обязанностей, предоставляет его собственным его силам и вместо всякого правительства провозглашает laissez faire»[253]. Ниже он говорит, что индивидуализм «ведет к притеснению путем анархии». Для «братства» мы находим у Луи Блана более громких фраз, чем определенных понятий, но в стремлении, приписанном этому принципу, «организовать в будущем общество — дело человека — по образу человеческого тела — дела божия» видно, что личность, при господстве начала братства, считается Бланом столь же подчиненным элементом общества, как отдельный бессознательный орган тела подчинен сознательному человеческому *я*. Индивидуализм, как его понимает Луи Блан, был стремлением *подчинить* общее благо личным эгоистическим интересам единиц, так же как общественность, с его точки зрения, склоняется к *поглощению* личности, в ее особенности, интересами общества. Но личность лишь тогда подчиняет интересы общества своим собственным интересам, когда смотрит на общество и на себя, как на два начала, *одинаково реальные* и соперничествующие в своих интересах. Точно так же поглощение личности обществом может иметь место лишь при представлении, что общество может достигать своих целей не в личностях, а в чем-то *ином*. Но и то, и другое — призрак. Общество вне личностей не заключает ничего реального. Ясно понятые интересы личности требуют, чтобы она стремилась к осуществлению общих интересов; общественные цели могут быть достигнуты исключительно в личностях. Поэтому истинная общественная теория требует не *подчинения* общественного элемента личному и не *поглощения* личности обществом, а *слития* общественных и частных интересов. Личность должна развить в себе понимание *общественных* интересов, которые суть и *ее* интересы; она должна направить свою деятельность на внесение истины и справедливости в общественные формы, потому что это есть не какое-либо отвлеченное стремление, а самый близкий эгоистический *ее* интерес. *Индивидуализм* на этой ступени становится осуществлением общего блага помощью личных стремлений, но общее благо и не может иначе осуществиться. *Общественность* становится реализированием личных целей в общественной жизни, но они и не могут быть реализированы в какой-либо другой среде.

Итак, жизненная задача личности, если это критически мыслящая личность, не противополагает ее интересов интересам общества. Но, пожалуй, можно подумать, что эти

две половины условий прогресса могут быть выполнены каждая отдельно. Развитие личности и воплощение ею в общественные формы истины и справедливости могут быть обособлены мысленно, и возникает задача, которую различные мыслители решали различно. Возникают вопросы: должен ли человек преимущественно работать над собою, ставя своей целью личное совершенство, независимо от общественных форм, его окружающих, и участвуя в общественной жизни лишь настолько, насколько ее формы вполне соответствуют его требованиям? Или он должен направить свою деятельность преимущественно на выработку из данных общественных форм возможно лучших результатов для настоящего и будущего, хотя бы формы, в которых ему приходится действовать, были крайне неудовлетворительны, деятельность его — весьма незначительна?

Оба решения, принятые в своей исключительности, приводят к искажению личности и ее деятельности. Создавая свои нравственные идеалы, личность никогда не может взять в соображение всех исторических условий жизни общества в его целости и в его разнообразии; поэтому идеалы личности всегда будут и должны быть далеко выше исторической действительности; следовательно — личность имела бы в большей части случаев повод удалиться от общественной деятельности. Чем она развитее и совершеннее, тем скорее ей пришлось бы это сделать и смотреть сложа руки, с бесполезною иронией, как дела идут своим порядком, т. е. как их направляют личности с более слабым нравственным развитием. Такое самосовершенствование равнялось бы общественному индифферентизму. Впрочем, оно было бы и противоречиво в самом себе. Личность, способная пройти индифферентно мимо общественного зла, когда она *могла,* хотя бы частью, помочь ему, неспособна развить в себе ничего более, кроме *кажущейся* силы мысли, схоластического и вполне бесполезного набора громких правил или мистического самовозвышения, в отчуждении от всего реального. К тому же, если среда, в которой живет рассматриваемая личность, дозволила развиться *ей* до критического отношения ко всему окружающему, то среда эта еще не безусловно дурна; в ней может развиться и другой и третий, лишь бы им представились те же условия, т. е. лишь бы устранить в этой среде наиболее стеснительные, удушающие формы. Лучшее в ней возможно, и если личность не видит этого, значит — она недостаточно развила *сама себя,* а только *кажется* себе развитою.

Но вполне приноравливаясь к данным общественным формам, легко незаметно перейти к полному подчинению себя этим формам. Довольствуясь все меньшим и меньшим

результатом своей деятельности, можно, наконец, удовольствоваться и отсутствием всякого результата. Тогда общественный деятель сходит на весьма незавидную ступень белки, бегающей в колесе, или трибуна, произносящего пламенную речь в пустой комнате. Откинув в сторону требование личного достоинства, состоящего в том, чтобы в своей деятельности не спускаться ниже данного уровня, личность не только отказывается от самосовершенствования; она отказывается и от способности оценить, приносит ли она обществу пользу или вред; живет ли она в нем как производитель или как паразит.

Оба высказанные выше требования нераздельно связаны одно с другим. Личность не может иначе развиваться всесторонне, как на критике реального. Критика реального мира, природы, указывает человеку безусловные пределы собственной и чужой деятельности, неизбежные законы, против которых вооружаться нелепо. Критика реального прошлого, истории, позволяет ему оценить неизбежную почву, на которой он стоит вместе со всеми другими своими современниками, почву, допускающую переработку, но при условии: взять самую почву в соображение такою, *какова она есть*. Критика реального общества научает человека отличать людей с самостоятельным стремлением к прогрессу от людей, живущих чужою мыслью, и от сторонников реакции, научает отличать главное зло от второстепенного, сегодняшний вопрос от вопроса, который можно оставить до завтра. Критика реального *я* позволяет человеку взвесить свои силы и определить свою деятельность без самоунижения и без высокомерия. Но все эти формы критики суть не что иное, как развитие собственной личности. В то же время они невозможны или призрачны, если личность не принимает самого живого участия в общественных вопросах и страданиях, если ее критика не есть лишь преддверие к полезной деятельности.

С другой стороны, общественная деятельность имеет человеческий смысл лишь при саморазвитии, при постоянной поверке самого себя, своих сил, своих знаний, своих убеждений, своего уменья и своей решимости отстаивать эти убеждения. На деятельности упражняются и растут силы; опыт жизни и ее задачи увеличивают знания; в борьбе крепнет убеждение и способность отстаивать его. Сознание своего участия в общественном деле есть уже начало возвышающее, вызывающее развитие. Как личность может нормально развиться только во взаимодействии с общественною жизнию, так полезная общественная деятельность может иметь место лишь при саморазвитии личностей, в ней участвующих.

Это самое устанавливает предел, за который личность, не роняя своего достоинства, не может перейти в своем участии в общественной жизни. Там, где есть еще возможность оживления, поднятия уровня общественных интересов; там, где есть еще надежда внести человечность в механизм жизни, разбудить мысль, укрепить убеждение, возбудить ненависть и отвращение к обыденному злу, — там личность может и обязана стать в ряды деятелей общественного прогресса. Но если она сознала, что около нее пошлость сплела ткань, которую одинокая личность прорвать не в силах; если человеку необходимо содействие других для дела, а эти другие живут паразитами на теле общества, нисколько не думая об его требованиях; если многописание, формализм и низкопоклонничество задавили в чиновничестве всякую мысль о государственной пользе; если на ученьях и парадах из-за верного темпа и ровного фронта военный совсем забыл, что он человек и гражданин; если общественное собрание глухо ко всему вне личной вражды, личных связей и муравьиных интересов; если зло растет в обществе, а трусость и подлость закрывают перед ним глаза или рабски аплодируют ему, — тогда разумному, сознательному, но бессильному деятелю остается отойти от этого омута в сторону... когда может. Его силы недостаточны, чтобы остановить общественное зло даже в малейшей его доле, но он, по крайней мере, не приложит их к продолжению и усилению зла. Среди общественного отупения он присоединится к тем незаметным хранителям традиции прогресса, о которых я говорил в предыдущем письме. Может быть, придет минута, когда его участие в общественной жизни будет *возможно*. Если же она не придет, то он передаст другому поколению традицию истины и справедливости, которая для него осталась лишь в области сознания, которую воплотить в жизнь он не мог или не умел. В этом случае уже и то составляет некоторую заслугу, что он не преклонился перед всеобщим злом, не сделался его орудием. Другой, с лучшим пониманием, с большею энергиею, с большими силами, сумел бы, может быть, и тут быть положительным деятелем, сумел бы бороться и, если не победить, то хоть показать другим пример борьбы. Не у всех равные силы. Развившись в данную эпоху, при данных условиях, иногда и те люди составляют исключение, которые умеют *устраниться* от общего зла, отнестись к нему критически и выгородиться из него в своей частной жизни.

Но как только возможность действовать явилась, как только есть элементы борьбы и жизни в обществе, устранить себя от этой борьбы не имеет права человек разви-

той. Как ни противно среди грязных луж отыскивать дорогу, ее отыскивать все-таки надо. Как ни утомительно толкаться между сотнями полулюдей, чтобы найти в сотне одного-двух доступных пробуждению к жизни, искать все-таки приходится. Можно наперед предвидеть, что неудач будет много. Даже и те люди, которые *кажутся* доступными свежей мысли, в большинстве случаев поддадутся трусости или мелочным побуждениям, побегут за жирной подачкой или пожертвуют делом из-за громкого слова. Многие отстанут; многие разбегутся; еще большее число оставит знамя из-за личных ссор, иногда в самом пылу боя. Проповедники передовых идей и неумолимой борьбы за них, увидев эти идеи на деле, в их резкой реальной обстановке, испугаются того самого, что было так красиво, мягко и безобидно на листе бумаги, отрекутся от своего прошлого, от своих прежних единомышленников и последователей и обратятся в карикатурных уединенных ворчунов, в бледные и трусливые ничтожества. Будут и прямые наглые изменники своему прошлому из-за личных интересов. Самые шансы борьбы будут изменяться, и когда, повидимому, ряды защитников прогресса будут всего гуще и неодолимее, может оказаться вдруг, что это призрак, что достаточно раздавить двух-трех передовых деятелей, чтобы псевдорыцари прогресса попрятались по углам, изменили знамени или отреклись от него. Все это, конечно, очень противно и возмутительно, но если бы борцам прогресса приходилось только торжествовать, их дело было бы чересчур легко. Все-таки для успеха борьбы необходимо действовать в той среде, которая дана каждому историческим процессом в настоящем. Вооружаться приходится тем оружием, которое удобнее именно в *этой* среде и для *того* именно сорта битвы, который предстоит в настоящем. Отойти в сторону имеет право лишь тот, кто сознает себя бессильным. Тот же, кто чувствует или воображает, что у него есть силы, не имеет нравственного права тратить их на мелкий, частный круг деятельности, когда есть какая-либо возможность расширить этот круг. Развитой человек, по мере расширения своего развития, должен оплатить и более значительную цену, израсходованную человечеством на это развитие; поэтому на нем лежит нравственная обязанность избрать столь широкий круг общественной деятельности, какой только ему доступен.

Отсюда рождается необходимость уяснить себе: какие элементы в сложном строе общества представляют *почву* действия, и какие — *орудия* деятельности? Где более или менее блестящая, но сама по себе мертвая форма, и где живая сила?

Потребности обусловливают процессы мира органического, развитие растительности, размножение животных. Они составляют один из важнейших вопросов физиологии, психологии человека и социологии. Они составляют и неизбежную точку исхода для объяснения всякого исторического явления. Всюду, где есть действие воли, существует в основе действия потребность; поэтому все элементы исторических явлений сводятся на различные потребности личностей. Потребности суть факты общие для масс, но разнообразие физиологических и психологических особенностей в особях имеет следствием разнообразие влечений, вызываемых потребностями. Здесь уже можно указать различие двух классов потребностей.

Одни из них, общие всем живым существам, вызывают бессознательную или весьма мало сознательную рефлективную деятельность, элементарную технику приспособления к среде, развивают разнообразные инстинкты животного мира, а в человеческом обществе вызывают все те действия, которые мы называем *привычками;* все, что в жизни человека принадлежит преданию; все, что он делает механически, вовсе не рассуждая или рассуждая очень мало, почему он делает *так,* а не иначе, и на что он мог бы дать лишь такое объяснение: «я к этому привык», или: «это так делается; это всегда так делалось; это принято», и т. п. Я сказал уже, что эта группа физиологических и привычных потребностей сближает все классы животного мира, не представляет никакого различия для человека сравнительно с другими позвоночными или с безпозвоночными животными и даже в последнем подцарстве представляет самые поразительные примеры своего проявления, именно — в обществах муравьев, пчел и других, близких к ним, существ. Эти потребности составляют самый прочный, если можно так выразиться, самый натуралистический элемент в жизни обществ. Они дают те неизменные экономические и статистические законы, то взаимное определение физических условий страны и ее цивилизации, которые лежат в основе человеческой истории. Они вызывают первую технику, следовательно — и первые знания; под их влиянием происходит первое сближение людей, как и других животных. Общественная жизнь, истекающая из этого источника, есть уже жизнь *культурная,* и человек, немыслимый без потребностей, тем самым немыслим без какой-либо культуры. Наравне с некоторыми другими своими собратьями из мира насекомых и позвоночных, он принадлежит к животным культурным.

С первыми индивидуализированными влечениями вступает в органический мир вторая группа потребностей, более сложных, более разнообразных и менее общих. Она наблю-

дается в сколько нибудь определенной форме лишь в высших классах позвоночных (у птиц и млекопитающих), вырабатывается вполне и здесь лишь в некоторых семействах, родах и видах существ, высказывается в *выборе*, повидимому, произвольном, в разнообразных аффектах привязанности и отвращения, аффектах, которые невозможно свести на общую потребность в изменчивости влечений, переходящих при совершенно сходных обстоятельствах от полного равнодушия к неудержимой страсти, которая заставляет особь забывать о самосохранении, заглушает все прочие потребности, вызывает иногда вполне безумную, иногда хитро рассчитанную деятельность, проявляется в человеке героизмом или преступлением. Эта вторая группа *аффективных* потребностей играет широкую роль в интимной биографии личностей, но весьма ничтожную в истории человечества, в ее целом, потому что непродолжительность жизни личностей мешает им даже тогда, когда они поставлены в очень влиятельное положение, оставить слишком заметный след своих аффектов в жизни общества, тем более, что аффекты изменчивы во всякой личности по самой своей природе, и большею частью в разнообразии аффектов сосуществующих личностей эти влияния взаимно уравновешиваются.

Потребности физиологические и привычные привели бы всякую культуру к вечно повторяющимся формам улья или муравейника. Потребности аффективные вызывали бы личные драмы, но не могли бы создать истории. Она происходит лишь под влиянием работы *мысли*. Она обусловливается еще новым родом потребностей, наблюдаемых только в человеке, и здесь лишь в небольших группах личностей, для которых страдания поколений выработали исключительное развитие. Это — потребности прогрессивные, исторические, потребности *развития*.

Уже первая техника и первый расчет пользы представляют работу *мысли*, и культура обществ разнообразится по мере развития их мысли. Под влиянием ее работы размножаются потребности, изменяются влечения; расчет вызывает целый ряд целесообразных действий, оттесняющих прямые влечения; самые влечения, в форме аффектов и страстей, становятся источниками деятельности, рассчитанной в виду наилучшего удовлетворения аффекта. Наконец, является момент, где критика мысли направлена не на удовлетворение прямого влечения, но на самое влечение. Тогда мысль сравнивает влечения и распределяет их по тому *достоинству*, которое они имели перед критикою мысли. С другой стороны, сама мысль становится любимою целью, возбуждает аффект; удовлетворение этого аффекта, направленного на продукт мысли, становится новою, чисто челове-

ческою, высшею потребностью. Самая разработка мысли, как увлекательной цели, как искомой *истины,* как желательного *нравственного блага,* обращается в потребность для развитой личности. Под непрерывною работою критики, в виду *развития* вообще, как цели, все потребности и влечения располагаются в различные перспективы, как влечения лучшие и худшие, как потребности высшие и низшие. Является потребность в истине и справедливости, независимо от пользы: создаются начала науки и искусства. Является потребность ставить себе жизненные идеалы и воплощать их нравственною жизнию. Человек становится способен противодействовать своим влечениям, своим потребностям и предаться безраздельно идее, представлению, жизненной цели — иногда призраку — жертвуя им всем и часто даже не думая подвергать их критике. Как только работа мысли на почве культуры обусловила общественную жизнь требованиями науки, искусства, нравственности, то культура перешла в цивилизацию, и человеческая история началась.

Результаты работы мысли одного поколения не остаются для поколения, следующего за ним, в сфере одной лишь мысли. Они обращаются в жизненные привычки, в общественные предания. Для людей, получивших их в этом виде, их происхождение безразлично; самая глубокая мысль, повторяемая привычно или по преданию, представляет для человечества не высшее явление, как привычные поступки бобра и пчелы для бобров и пчел. Изобретение первого топора, первого обожженного глиняного горшка было громадною работою элементарной технической мысли, но современное человечество употребляет топоры и обожженную глину со столь же малым сознанием, как птица вьет свое гнездо. Первые протестанты, чуждаясь пестрого великолепия католических храмов и собираясь около своего проповедника, действовали под влиянием ясно сознанной мысли; нынешние же потомки их большею частью идут в этот храм, а не в другой, на воскресную проповедь потому лишь, что их отцы и деды ходили именно в подобный храм и слушали подобные же проповеди, точно так, как аист, возвращаясь из перелета, садится на ту же крышу, где сидел год тому назад. Даже в высшей сфере человеческой мысли повторяется то же явление: нынешние преподаватели и нынешние ученики повторяют мысль Архимеда о законах равновесия и рычага, мысль Ньютона о всемирном тяготении, мысль Пруста[254] о законе химических пропорций, мысль Адама Смита[255] о законе спроса и предложения; но это совершается гораздо чаще по педагогическому преданию, что так учили, так учат и так следует учить, чем вследствие живой самостоятельной умственной потребности, неизбежно

приводящей человека в данную минуту к данному вопросу и вызывающей на этот вопрос именно такой ответ, а не другой. Надо полагать, что и бобры валят и обдирают деревья, сплавляют их и возводят свои постройки вследствие подобного же педагогического и технического предания. Вообще, часть цивилизации отцов, в форме привычек и преданий, составляет не что иное, как зоологический культурный элемент в жизни потомков, и над этою привычною культурою второй формации должна критически работать мысль нового поколения, чтобы общество не предалось застою, чтобы в числе унаследованных привычек и преданий оно разглядело те, которые представляют возможность дальнейшей работы мысли на пути истины, красоты и справедливости, отбросило остальное, как отжившее, и создало новую цивилизацию, как новый строй культуры, оживленный работою мысли.

И в каждом поколении человеческом повторяется то же. Оно получает от природы и истории совокупность потребностей и влечений, которые в значительной степени обусловливаются культурными привычками и преданиями. Оно удовлетворяет этим потребностям и влечениям обиходом жизни и унаследованными общественными учреждениями, ремесленным искусством и рутинною техникою. Все это составляет его культуру, или зоологический элемент в жизни человечества. Но в числе унаследованных привычек всякой цивилизации заключается привычка критики, и она-то вызывает человечный элемент истории, *потребность развития* и *работу мысли* в виду этой потребности. Критика науки вносит в миросозерцания более истины; критика нравственности расширяет в жизни приложение науки и справедливости; критика искусства вызывает более полное усвоение истины и справедливости, придает жизни более стройности, культуре — более человечного изящества. Насколько в обществе преобладают культурные начала и подавляется работа мысли, настолько оно приближается к строю муравьев и ос, как бы, впрочем, ни была блестяща его культура; это не более, как разница в степени, в форме потребностей и влечений. Насколько в обществе сильна работа мысли, критическое отношение к своей культуре, настолько общество человечнее и более обособляется от низшего животного мира, даже если бы борьба, вызываемая работою мысли, критикою существующего, имела следствием в частности грустные картины, прибегала к оружию общественной или умственной революции и нарушала в обществе спокойствие и порядок: весьма часто лишь временным волнением и беспорядком, лишь путем революции можно купить лучшее обеспечение спокойствия и порядка для

большинства в будущем. Когда Тразибул[256] с афинскими изгнанниками явился в Афины возмущать отечество против олигархии тридцати тиранов, он, конечно, произвел волнение и беспорядок. Когда гуманисты XV века и реалисты XVIII повели войну против схоластики, они произвели чрезвычайное волнение в школах и страшный беспорядок в умах. Когда английские колонии Северной Америки отложились от метрополии, это был явный мятеж. Когда Гарибальди со своею тысячею пристал к берегам Сицилии, тут не было следа уважения к порядку. Когда Дарвин низвергнул кумир неизменного вида, он спутал ботанические и зоологические классификации и разрушил основу их. Но за свободу Афин, за новую европейскую науку, за политический идеал Северо-Американской республики, за низвержение неаполитанских Бурбонов[257], за величественное обобщение развития органического мира — стоило заплатить некоторым беспорядком и волнением.

Культура общества есть среда, данная историею для работы мысли и обусловливающая *возможное* для этой работы в данную эпоху с такою же неизбежностью, с какою во всякое время ставит пределы этой работе неизменный закон природы. Мысль есть единственный деятель, сообщающий *человечное* достоинство общественной культуре. История мысли, обусловленной культурою, в связи с историею культуры, изменяющейся под влиянием мысли, — вот вся история цивилизации. В разумную историю человечества могут войти лишь события, уясняющие историю культуры и мысли в их взаимодействии.

Потребности и влечения даются природою или порождаются культурою и вызывают общественные формы. Внести в эти общественные формы истину и справедливость — дело мысли. Что в общественные формы вложила *природа,* то мысль изменить не может и должна только принять к сведению. Мысль не может отнять у человека потребность в пище и в воздухе, не может уничтожить полового влечения, не может сделать, чтобы рядом со взрослыми не существовали малолетки, не может изменить процесса своего распространения так, чтобы личность не являлась неизбежным ее органом. Но все внесенное в общественные формы *культурою* подлежит критике мысли. Культура должна быть взята в соображение при работе мысли, как исторически данная среда, но не как неизменный закон. Если сравним культуру разных эпох, то легко заметим, насколько самые основные элементы культуры подлежат изменчивости. Тем не менее, для лиц, живших в эпоху господства данной культуры, эта культура представляла среду, в которой приходилось действовать всякой личности, не имея воз-

можности сделать среду своей деятельности иною. Естественные потребности и влечения, под влиянием критики мысли, должны выработать себе общественные формы, заключающие наибольшее количество истины и справедливости, допускаемое данным состоянием культуры.

Итак, перед нами определенная задача прогресса: *культура* должна быть переработана *мыслию*. Перед нами также определенный, единственный реальный деятель прогресса: *личность*, определяющая свои силы и дело, ей доступное. Мысль реальна лишь в личности. Культура реальна в общественных формах. Следовательно, *личность* остается со своими силами и со своими требованиями лицом к лицу с *общественными формами*.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Личности и общественные формы

Положим, что личность решила важнейший из своих жизненных вопросов: она взвесила свои силы и определила себе дело.

Пред нею различные общественные формы. Могут быть случаи, что эти формы, по своей сущности и по своей ширине, соответствуют убеждениям человека об истине и справедливости. Тогда он блажен: он может действовать в этих формах, не борясь с ними и не стесняясь ими. Он блажен, но в этом случае ему нечего и считать себя *деятелем* прогресса. Он, как критически мыслящая личность, по своей полезности не стоит ничем выше других личностей, не мыслящих критически. Всех их несет волна прогресса, движению которой они подчиняются. Он только *сознает* лучше других, что делается.

Но это сказка Шехеразады![258] Где же, когда все общественные формы удовлетворяли даже довольно умеренным образом требованиям научности и справедливости? Если личность видит около себя всюду добро, всюду благополучие, всюду разумность, она может быть уверена, что она многого не продумала критически, не доглядела по невниманию или по врожденной нравственной близорукости. Ей недостает решимости или недостает сил сделаться вполне критически мыслящею личностью.

Тот, кто мыслит критически, неудержимо ищет не наслаждения созерцанием существующего добра, а предела, за которым это добро кончается, где начинается зло, как враждебное противодействие прогрессу или как пошлость и рутина. Пусть все те, которые не выработали в себе личность, наслаждаются прекрасными людьми, насколько эти

люди прекрасны; разными укромными уголками общественного быта, насколько эти уголки укромны; разными веселенькими пирушками жизни, насколько в этих пирушках есть веселости. Людям — не личностям — оно так и следует: для них самостоятельная борьба невозможна.

Но человек, критически мыслящий, роется в глубине мыслей и действий прекрасного человека, чтобы отыскать, где этот человек перестает быть прекрасным, и оценить его во имя единства его недостатков и его достоинств. Одному можно смело указать его слабости и надеяться, что он сам увидит, поймет и исправит их. Другого — усталого и разбитого — можно поддержать и придать ему новую энергию для дальнейшего, быстрейшего движения. Третьего, сворачивающего с пути, можно направить снова на прежнюю деятельность. Четвертому можно простить его слабости во имя его дел, когда он не в силах вырвать из себя то, что у него отнимает часть силы, но все остальное направляет на содействие прогрессу. С пятого можно решительно сорвать маску и обличить его пошлость или противодействие прогрессу. Но все это требует изучения, изучения *именно* зла в человеке, изучения его слабости, наравне с его силами, его пошленьких сторон еще более, чем его ярких достоинств.

Точно так же критическая мысль лишь на мгновение отдыхает в укромных уголках, в тихих убежищах жизни. Покорная жена и ласковые дети, обеспеченное существование и видное место, безукоризненная отчетность и безупречная совесть, огромная эрудиция и знаменитость ученого, бесспорный талант художника и хорошая плата за его произведения — все это прекрасно, все это блага, но все это — лишь *механизм* культурной человеческой жизни. В этой пестрой оболочке, в этой вечной хлопотливости человек может всю жизнь провести не человеком, а рассуждающим муравьем, способствуя лишь тому, чтобы год за годом, поколение за поколением повторялись отцы и матери, нарождающие детей, капиталисты, проживающие свои доходы, чиновники, сдающие дела, ученые, пишущие диссертации, художники, ласкающие эстетический вкус поколений.

Человеческий муравейник обращается в общество людей лишь тогда, когда критика, с своими неумолимыми запросами, начинает нарушать мирное блаженство или сонную рутину скромных уголков. Точно ли искренно, по-человечески, сознательно вы любите друг друга, верные супруги? Точно ли вы развиваете детей, а не только нарождаете их? Точно ли ты заработал свой капитал и свое положение, счастливый спекулятор? Точно ли ты трудился

на пользу общества, честный чиновник? Точно ли ты двигал науку вперед, многописавший ученый? Точно ли ты творил современно-поэтические произведения, художник? Точно ли все эти формы, в которые вы драпируетесь, которыми вы прикрываетесь, как святынею, которыми питаетесь и на разработку которых уходит вся ваша жизнь— точно ли эти формы, как они суть и какими вы их сделали, заключают разумное человеческое содержание? Точно ли они не должны быть *иными* во имя истины и справедливости? Точно ли против них не следует бороться, чтобы их оживить? Точно ли они не идолы, в которых вы покло- няетесь своей рутине, своей боязни мысли, своему эгоизму в узком значении этого слова? Точно ли не следует свергнуть эти идолы, чтобы поставить на их место настоящую святыню?

Но здесь, я чувствую, со всех сторон поднимаются возражения. Как! личность! одинокая, ничтожная, бессильная личность думает критически относиться к общественным формам, выработанным историею народов, историею человечества! Личность считает себя в праве и в силах низвергнуть, как идола, то, что остальная масса общества признает святынею! Это *преступно,* потому что перед массою единица прав не имеет. Это *вредно,* потому что блаженство массы, довольной общественными формами, важнее страданий единицы, отрицающей их, как зло. Это *бессмысленно,* потому что ряд поколений, выработавших данные общественные формы, в сумме умнее всякой отдельной личности. Это *безумно,* потому что личность бессильна перед обществом и его историею. — Разберем эти возражения по порядку.

Прежде всего о *праве.* Или прогресса нет, или он есть воплощение в общественные формы сознания лжи и несправедливости. Я сознаю истину и справедливость в иных формах, чем те, которые налицо, указываю на ложь и несправедливость в том, что есть, и хочу бороться против этой сознанной лжи и несправедливости. Где право, отрицающее *мое* право на это? В живых личностях? Но пусть они докажут мне, что я ошибся; пусть спорят со мной; пусть борются со мной, это *их* право; я его не отрицаю; но и *я* имею право им доказывать, что они ошибаются, имею право с ними спорить и бороться. В целом обществе? Но это абстракт, который, как абстракт, против меня, существа реального, не имеет ровно никакого права, а в своем реальном содержании распадается на личности, имеющие не более права, чем и я. В истории? Но все реальное содержание истории заключается опять-таки в деятельности личностей. Из них одни умерли, и против меня, живого, мертвецы

никакого права не имеют; другие живы и имеют права столько же, как и я. Итак, *права* бороться за истину и справедливость никто отнять у меня не может, если я сам не отниму его у себя во имя *вреда*, который может выйти из моей деятельности; во имя недоверия к моему личному *разуму*, в виду исторического разума общества; во имя моего *бессилия*, в виду громадных сил организованного общества. Первый пункт личность уже выиграла; остается три.

Какой *вред* может быть от того, что я укажу обществу на ложь и несправедливость в его формах и буду стремиться воплотить в жизнь истину и справедливость? Если я буду говорить и меня не послушают, если мои действия будут безуспешны, то пострадаю только я. Если меня послушают и общество устроится с большею истиною и справедливостью, то это будет не вред, а польза, потому что истина и справедливость в общественных формах есть условие наибольшего наслаждения для личностей и расширения наслаждения на наибольшее количество личностей. Конечно, если одна часть послушает меня и станет на мою сторону, а другая будет сопротивляться, то начнется борьба, которая временно возмутит спокойствие всего того, что пользовалось удобствами общественного строя. Одни не будут наслаждаться потому, что в их душе будет теперь постоянно пребывать сознание, что они наслаждаются в силу несправедливых общественных форм. Другие не будут наслаждаться потому, что им будут мешать их противники, а еще более будет мешать страх, что вот-вот придет конец их благополучию. Не спорю, это — положение, неприятное для всех, пользующихся удобствами данной цивилизации. Но можно ли его назвать безусловно вредным? Едва ли. В предыдущем письме приведено несколько примеров тому, какие благодетельные следствия вытекают иногда из некоторого беспорядка, внесенного в установившуюся жизнь. Я уже говорил в письме третьем и четвертом, что до сих пор удобствами прогресса пользуется лишь весьма небольшое меньшинство; что за его развитие заплачена цена, которую и счесть оказалось невозможно; что эта цена может быть оплачена только стремлением распространить в обществе истину и воплотить в нем более справедливости. Если это так, то борьба из-за подобного воплощения есть не только не вред, а единственный путь доставить данной цивилизации прочность. Во все времена большинство страдало, следовательно — страдание не есть что-либо небывалое в человечестве; надо только стремиться, чтобы страдания были наименее бесполезны для истории, а какие же страдания могут быть полезнее тех, которые ведут к воплощению истины и справедливости? Во-первых, если счастливцы, пользующиеся удобствами данной

цивилизации, заплатят за это пользование некоторым страданием, они не оплатят этим и малой доли того, что для них выстрадали предшествовавшие миллионы. Во-вторых, если уже считать вред, так надо помнить, что история не кончается живущим поколением, что за этим последуют другие и безусловное количество вреда, приносимого каким-либо действием, измеряется суммою приращений зла, последующего от этого действия для всего будущего. Если мне удастся действительно содействовать воплощению в общественные формы большей истины и справедливости, то количество зла уменьшится для длинного ряда последующих поколений, которые воспользуются долею добра, внесенного в жизнь. Если я откажусь от этого, их страдания возрастут, но в современном обществе, или, точнее, в меньшинстве, пользующемся удобствами современного общественного строя, будет несколько менее страданий. В сущности же и это сомнительно, потому что, насколько в обществе менее истины и справедливости, настолько в нем более страдания для одних, понижения достоинства для других. Итак, с одной стороны, бесспорный вред для более или менее длинного ряда поколений; с другой — сомнительная выгода для живущего поколения; может ли быть и вопрос о том, в которую сторону должно пасть решение? Да и в чем, собственно, неприятность? Положим, что несколько человек уяснят себе, что форма, бывшая для них правдою вчера, не есть, в сущности, правда, и ею наслаждаться нельзя развитому человеку. Неужели неприятность сознания ошибки есть зло? Положим, что общественный муравейник сделает один шаг на пути, чтобы стать человеческим обществом. Неужели очеловеченье людей есть зло? — Итак, польза от борьбы за истину и справедливость во всяком случае бесспорна, если только дело идет о действительной истине и справедливости и если успех возможен. Вред борьбы я сознаю лишь тогда, а следовательно — право борьбы я могу отнять у себя лишь тогда, когда усомнюсь в моем *понимании* истины и справедливости или уверюсь в своем *бессилии* воплотить в жизнь мое убеждение. — Личность выиграла два пункта; обратимся к третьему. Посмотрим, насколько борьба личности против общественных форм может быть признана *бессмысленною*.

Личность, критически разобравшая свои знания и свои умственные силы, дополнила свои знания в данной отрасли, направила на нее свою мысль и пришла к определенному убеждению. Это убеждение оказывается несогласным с формою, выработанною исторически. И вот человеку говорят: покорись, потому что против тебя дух народа, опыт человечества, разум истории. Есть ли достаточный повод для лич-

ности на основании этих аргументов отказаться от своего убеждения, как *неразумного?*

Что такое дух народа? Физические особенности сообщили ряду поколений, живущему под влиянием некоторой среды, *неизбежное* природное основание народности. Небольшое меньшинство из него, жившее исторически, создало ему культуру, которая распространилась в разной степени и в разных формах на различные слои народа и, в своем многоразличии, вошла в народные *привычки,* в народные предания. Время от времени появлялись личности, имевшие возможность действовать на меньшинство, а через него и на большинство. Эти личности вносили в прежние культурные формы новую *мысль* или изменяли некоторые культурные формы во имя другой культуры, иногда же производили эти изменения на основании новой мысли. В каждый момент своей истории народ в своей жизни представляет результат этих трех элементов: естественно-необходимого, исторически-привычного, лично-продуманного. Их комбинация составляла и составляет народный дух. В нем неизбежно лишь то, что обусловлено физически и климатически. Все остальное — привычка, постоянно изменяющаяся под влиянием мысли личностей и их действий. Если личности мало мыслят и мало действуют, то привычка не изменяется в продолжение длинного ряда поколений; культура сохраняет свои особенности; цивилизация впадает более и более в застой; дух народа получает более и более определенные формы, которые можно описать почти так же, как описывают нравы животных. Если же личности деятельны и мысль их не ограничивается тесным кругом меньшинства, а стремится проникнуть и в большинство, то привычки едва успевают установиться; культура сменяется быстро в меньшинстве и несколько медленнее распространяется на большинство; цивилизация рискует более сделаться непрочною, чем окоченеть. Дух народа тогда определить крайне трудно, и большею частью писатели, о нем толкующие, не понимают друг друга. В обществе, бесспорно, присутствуют, на общем естественно-необходимом основании, несколько слоев исторической привычной культуры, как результат более быстрого изменения ее в меньшинстве и более медленного распространения в большинстве. Сообразно своему развитию, писатель приурочивает народный дух к тому или к другому слою, ему наиболее любезному, и видит настоящую народную историю в той или другой нормальной эпохе. — Спросите французов: где нормальная Франция, выражающая истинный народный дух? После падения всех законных, избирательных и захваченных силою монархий, после постыдного падения цезаризма, после стольких опытов

республики, задушенной в крови или проданной ее официальными защитниками, ей изменившими, вы найдете в литературе, в обществе, в нынешней самодержавной палате — представителей всех партий, которые будут доказывать, что *истинная* Франция, с ее национальным духом, воплотилась именно в истории того периода, которого традицию они поддерживают. Один укажет на ancien régime[259] и Людовика XIV с его ревностным католицизмом, с его Расинами[260] и Буало[261], другой — на 1789 г. с его «правами человека», третий — на Робеспьера[262] или на Бабэфа[263], четвертый — на маленького капрала[264], пятый — на шумную эпоху парламентаризма при Людовике-Филиппе[265], шестой не постыдится указать на эпоху «спокойствия, богатства и славы» под сенью Второй империи; а найдутся и такие, которые вернутся к эпохе Людовика Святого[266] и инквизиции. И все приведут доводы, что *это* — эпоха *истинного* народного духа Франции. — Спросите наших соотечественников: где истинный народный дух России? Кто укажет на Москву Ивана Васильевича Грозного со Стоглавом[267] и «Домостроем»[268], кто — на новгородский вечевой колокол, кто — на Владимира-красное солнышко[269], на мифического Святогора[270], а то пойдут перечислять Великого Петра, Великую Екатерину[271], Сперанского[272] с его преобразованиями. Кто остановится на 1854[273] году, кто на 1861, кто на 1863, кто даже на 1889. И все будут спорить; все будут доказывать, что вот здесь уловлен, угадан, воплощен в миф, в быт, в указ или слово настоящий русский народный дух. Кто из них прав? На чем остановилось развитие русского народного духа? На доисторическом славянском быте? На слое византийской культуры? Или на слое петровской цивилизации и чиновничества? Или этот дух, оставаясь собою, способен воспринять и воспримет в себя все новые и новые элементы? — Если другие думают не так, то позвольте иной личности, при разнообразии мнений, думать последнее и действовать сообразно этому убеждению. Позвольте считать, что народный дух имеет кое-какую более широкую способность перерабатывать в себя новые элементы, чем зоологические породы быков и гиен. Среди бесконечного разнообразия понятий о народном духе, или, точнее, об истиннейшем и справедливейшем для данного народа, позвольте критически мыслящей личности высказать и проводить в жизнь *свое* мнение об истине и справедливости, надеясь, что оно настолько же может войти элементом в народный дух, как и многочисленные силы, вошедшие в него ранее. Почему автор «Домостроя» имеет более меня прав на выражение народного духа? Почему одно распоряжение может внести в этот дух новый живой элемент, а другое не может?

Этому судья только критика истории, критика народного духа, критика истины, критика справедливости. А эта критика совершается и может совершаться только в личности. Именно во имя народного духа, но не зоологически неизменного, а человечески развивающегося, личность должна подвергнуть народный дух критике, разбирать, что в нем естественно-необходимо, насколько культурные элементы не могут быть изменены в данную минуту и что в них подлежит переработке с точки зрения более точной истины, более широкой справедливости. Народный дух в данную эпоху есть дух критически мыслящих личностей этой эпохи, понимающих историю народа и желающих внести в его настоящее возможно более истины и справедливости. Точно так же опыт человечества есть не что иное, как понимание его истории теми же критически мыслящими и энергически желающими личностями. — Что касается до разума истории, это не более, как слово, призрак для мечтателей, пугало для трусов, если этот разум есть что-либо вне формулы: большинство всегда подчинялось необходимости, меньшинство всегда стремилось наслаждаться; немногие личности хотели понять и воплотить в жизнь истину и справедливость. Личность, ясно понимающая минувшее и энергически желающая правды, есть, по своей природе, правомерный ценитель истинного опыта человечества, правомерный истолкователь истинного разума истории.

Итак, если человек сознал в себе ясное понимание минувшего и энергическое стремление к правде, то он не может и не должен отрекаться от выработанного им убеждения в виду исторических форм общества, потому что *разум, польза, право* на его стороне. Он только должен взвесить свои *силы* для предстоящей борьбы, не тратить даром тех, которые у него есть, увеличить их, насколько может, оценить возможное, достижимое, рассчитать свои действия и тогда решиться. Итак, остается один последний пункт.

Борьба личности против общественных форм, огражденных привычкою, преданиями, законом, организациею общества, физическою силою, нравственным ореолом, говорят, *безумна*. Что может сделать личность против массы личностей, крепко сплоченной, когда многие из них столь же сильны отдельно, как эта одинокая борющаяся личность?

Но как же шла история? Кто ее двигал? — Одинокие борющиеся личности. Как же они достигли этого? — Они делались и должны были сделаться силою. Следовательно, четвертый пункт требует ответа более сложного. Перед общественными формами личность действительно бессильна, однако борьба ее против них безумна лишь тогда, когда она силою сделаться не может. Но история доказывает, что это

возможно и что даже это — *единственный* путь, которым осуществлялся прогресс в истории. Итак, нам приходится поставить и решить вопрос: *как* обращались слабые личности в общественную силу?

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

Растущая общественная сила

«Один в поле не воин» — говорит старинная пословица, и личность, являющаяся пред лицом общества с критикою общественных форм и с желанием воплотить в них справедливость, как бессильная единица, конечно, ничтожна. Тем не менее, подобные личности создали историю, сделавшись силою, двигателями общества. Как же они это сделали?

Прежде всего надо признать факт, что если рассматриваемый деятель есть, действительно, критически мыслящая личность, то он никогда не одинок. В чем состоит его критика общественных форм? В том, что он понял яснее и глубже других недостатки этих форм, отсутствие справедливости в них для настоящего времени. Но если это так, то многое множество личностей, под тяжестью этих форм, страждет и ропщет, мечется и гибнет. Только они, как недостаточно критически мыслящие личности, не понимают, отчего это им так нехорошо. Но если им сказать, то они понять могут, и те, которые поймут, поймут это так же хорошо, как тот, кто высказал мысль впервые, а пожалуй, еще и лучше, потому что они, может быть, выстрадали верность этой мысли гораздо полнее и разностороннее, чем ее первый провозвестник. Итак, чтобы не быть совсем одиноким, человек, начинающий борьбу против общественных форм, должен только высказать свою мысль так, чтобы ее узнали: если она верна, то он не будет одинок. Он будет иметь товарищей, единомышленников между людьми наиболее свежей восприимчивой мысли. Они ему неизвестны; они разбросаны, не знают один о другом, чувствуют себя одинокими и бессильными пред злом, их давящим; они стали, пожалуй, еще более несчастными, когда до них достигло слово, уясняющее им зло, их давящее. Но они и там и тут; и их тем более, чем мысль вернее, справедливее. Это — сила невидимая, неощутимая, не проявившаяся еще в действии, но уже сила.

Чтобы действие силы проявилось, нужен пример. Чтобы личность почувствовала себя не одинокою, надо, чтобы она узнала, что есть другая личность, не только понимающая, как ей тяжело, и почему так тяжело, но и действующая против этого зла. Нужно не только слово, нужно дело. Нужны энергические, фанатические люди, рискующие всем и готовые

жертвовать всем. Нужны мученики, легенда которых переросла бы далеко их истинное достоинство, их действительную заслугу. Им припишут энергию, которой у них не было. В их уста вложат лучшую мысль, лучшее чувство, до которого доработаются их последователи. Они станут недосягаемым, невозможным идеалом пред толпою. Но зато их легенда воодушевит тысячи тою энергиею, которая нужна для борьбы. Никогда не сказанные слова будут повторяться, сначала полупонятые, потом понятые лучше и лучше, и мысль, никогда не воодушевлявшая оригинала идеальной исторической фигуры, воплотится в дело позднейших поколений, как бы ее внушение. Число гибнущих тут не важно. Легенда всегда их размножит до последней возможности. Консерваторы же общественных форм, как доказывает история, с похвальным самоотвержением всегда поставляли на поклонение толпы достаточное число погубленных борцов, чтобы была возможность оппозиции против той или другой общественной формы составить длинный мартиролог своих героев. При этом фазисе борьбы критически мыслящие личности имеют перед собой уже действительную силу, только силу нестройную. Она тратится большей частью бесполезно, из-за пустых мелочей, которые прежде всего бросаются в глаза. Люди гибнут из-за проявления зла, а сущность его остается нетронутою. Страдания не уменьшаются, а пожалуй, и увеличиваются, потому что, по мере усиления борьбы, озлобление противников растет. В среде самих борцов начинается раздор, распадение, потому что чем жарче они борются, тем ревнивее следят друг за другом. При всей энергии деятелей, при всех жертвах, результат незначителен. Сила проявилась, но растрачивается задаром. Тем не менее, это уже сила, сознавшая себя.

Чтобы сила не тратилась даром, надо ее организовать. Критически мыслящие и энергически желающие личности должны желать не только борьбы, но победы; для этого надо понимать не только цель, к которой стремишься, но и средства, которыми можно ее достигнуть. Если борьба была серьезна, то в числе борцов против устаревших общественных форм находятся не все только личности, борющиеся во имя своего страдания и понявшие это страдание лишь с чужого слова, с чужой мысли. В числе борцов есть и личности, критически продумавшие положение дел. Им приходится отыскивать друг друга; им приходится соединиться и придать нестройным элементам народившейся исторической силы стройность и согласие. Тогда сила организована; ее действие можно направить на данную точку, концентрировать для данной цели; ее задача теперь чисто техническая: с наименьшею тратою сил совершить наиболь-

шую работу. Пора бессознательных страданий и мечтаний прошла; пора героических деятелей и фанатических мучеников, безрасчетливой траты сил и бесполезных жертв прошла. Настала пора спокойных, сознательных работников, рассчитанных ударов, строгой мысли и неуклонной, терпеливой деятельности.

Этот фазис самый трудный. Первые два фазиса развиваются естественным путем. Страдание рождает в единице мысль; мысль высказывается и распространяется; страдание становится сознательным; там и здесь прорываются более энергические личности; являются мученики; их гибель увеличивает энергию; их энергия усиливает борьбу; все это вызывается в неизбежной последовательности, одно за другим, как всякое явление природы. Нет эпохи, где это явление не повторялось бы в больших или меньших размерах, иногда же оно достигало весьма обширного распространения. Но изо всех партий, боровшихся против устарелых форм за истину и справедливость, восторжествовали весьма немногие. Остальные погибли, распались или окоченели; они исчезли, когда новое время вызвало новые протесты, образовало новые партии, а время первых прошло невозвратно. Не досталось победы этим партиям лишь потому, что они, пройдя естественными путями два первых фазиса, не умели создать себе третьего, потому что третий фазис сам собою не создается. Его надо продумать во всех его частностях, в причинах и следствиях, в целях и средствах. Его надо захотеть и захотеть твердо, несмотря на сотни личных неприятностей, несмотря на утомительную, однообразную деятельность, незаметную и неоцененную в большей части случаев. Его надо подготовить, поддержать и охранить всеми силами, терпеливо перенося неудачи, пользуясь каждым обстоятельством, не упуская из виду никого и ничего. Это фазис, человечески обдуманный, искусственно созданный и который желательно пережить возможно скорее, потому что во все его продолжение партии подвергаются в высшей степени опасностям, грозящим всему живому и о которых мы уже говорили, упоминая о прогрессе цивилизаций: опасности — распасться вследствие непрочности связи; опасности — окоченеть в застое одностороннего стремления. В этом фазисе эти опасности всего сильнее для партий именно потому, что лишь в этом фазисе партия живет жизнью организма, все разнородные органы направляются к одной деятельности. Распадение и окоченение грозят гибелью лишь организму. До этого личности подчинялись влечениям, а влечения прочны, потому что выходят прямо из обстоятельств. Теперь личности должны подчиняться мысли, которая лишь тогда прочна, когда ясна, но ясности мысли постоянно грозят

самые разносторонние влечения. Посмотрим же, в чем заключаются главные затруднения этого фазиса, потому что, лишь победив эти затруднения, личности становятся действительною органическою силою в обществе в борьбе за истину и справедливость.

Критически мыслящие личности, которые должны сойтись, чтобы организовать партию, потому уже, что они более других способны и энергичны, носят в себе характер более определенной индивидуальности. Они выработали *свою* привычку мыслить, и потому им труднее, чем другим, стать на чужую точку зрения и ей подчиниться. Они выработали в себе самостоятельность деятельности, и потому им труднее, чем кому-либо, принудить себя действовать не совсем так, как им кажется лучше. Они умели лучше других отстоять свою независимость в среде общественной рутины, и потому им всего удобнее действовать в одиночку. И между тем, именно этим людям, самостоятельно думающим, самостоятельно действующим, привыкшим к нравственному уединению, надо теперь сойтись, сплотиться вместе, думать сообща, действовать сообща, организовать нечто сильное, единое, но сильное коллективною силою, единое абстрактным единством; их же индивидуальность, которую они уберегли от затягивающего влияния рутины, индивидуальность, к которой они так привыкли, которою они так дорожили, должна исчезнуть в общем направлении мысли, в общем плане действия. Они создают организм, но сами в нем сходят в положение органов. И это они делают добровольно.

Все это очень тяжело. Постоянно грозит опасность разъединения, раздора между этими энергическими личностями. Но теперь раздор имеет совсем иное значение, чем в предыдущем фазисе. Там, при преобладании индивидуального действия, в периоде пропаганды примером и личной энергиею, не особенно важно обстоятельство, на что тратится энергия: лишь была бы она, был бы герой, которого можно поставить на пьедестал и его именем и примером воодушевиться на новое дело. Два врага, истратившие силы на бесполезную борьбу между собою, могут стоять рядом в пантеоне потомства, подобно Вольтеру и Руссо. Но теперь распадение — это смерть, отречение от победы общего дела, от будущности партии. И вот самостоятельные личности сходятся с твердым намерением уступить часть своих привычных взглядов, отказаться от части своих привычных действий, лишь бы самые интимные, самые глубокие их убеждения могли восторжествовать со временем. Вся сила их мысли опять направляется на критику собственного духа, собственной деятельности, и даже не с целью узнать, точно ли это справедливо и истинно, а с целью решить вопрос:

точно ли это связано так неразрывно с сущностью моих стремлений, моего убеждения, что я не могу отказаться от этой частности, не роняя собственного достоинства, не жертвуя всем, что мне дорого в самом себе; не могу, даже если бы шло дело о возможности торжества для моих идей, так как восторжествовали бы тогда только названия моих идей, а под этими названиями скрывалось бы нечто столь опошленное, столь искаженное, что я бы в нем не узнал своих идей? Только вполне уяснив себе, докуда может итти уступка и где начинается измена делу, личности, сходящиеся на это общее дело, могут организовать сильную и энергическую партию. Если они сходятся с решительною мыслью не уступать ни йоты, им и сходиться нечего. Общего дела для них не существует. Каждый из них охотно обратит других в орудие для своего строя мысли, в том виде, как этот строй выработался в нем в своей целости, со всем существенным и случайным в убеждениях и привычках. Но подобные сходки для обращения друг друга в нравственное рабство — не организация партии, а попытка все обратить в механизм для побуждений и целей одной личности. Каждый должен отделить в своих мнениях существенное от привычного; каждый должен вступать в союз с решимостью пожертвовать привычным, хотя и очень дорогим, для пользы существенного; каждый должен смотреть на себя, как на орган общего организма; он не безжизненное орудие, не бессмысленный механизм, он все-таки *только* орган; он имеет свое устройство, свои отправления, но он *подчинен* единству целого. Это — условие, и неизбежное условие жизни организма. Это — условие согласного действия, условие победы.

Но если раздор гибелен, если уступки в *привычном* необходимы, если личности должны подчиниться общему делу, то столь же гибельны были бы уступки в *существенном;* столь же необходимо деятелям оставаться *мыслящими* личностями, не обращаясь в машины для чужой мысли. Кто уступил *существенное* из своего убеждения, тот вовсе никакого серьезного убеждения не имеет. Он служит не понятому, продуманному и желанному делу, а бессмысленному слову, пустому звуку. Конечно, победа невозможна без крепкого союза, без единства в действиях. Конечно, победа желательна для всякого борца. Но победа *сама по себе* не может быть целью мыслящего человека. Надо, чтобы победа имела какое-нибудь внутреннее значение. Важно не *кто* победил; важно — *что* победило. Важна торжествующая идея. А если идея от уступок потеряла все свое содержание, то партия утратила смысл, дела у нее никакого нет, и спор идет лишь о личном преобладании. Тогда партия

борцов за истину и справедливость ничем не отличается от рутинеров общественного строя, против которого она борется. На их знамени написаны слова, которые когда-то обозначали истину и справедливость, а теперь ничего не обозначают. И будут они тысячу раз повторять эти громкие слова. И поверит им молодежь, влагающая в эти слова свое понимание, свою душу, свою жизнь. И разуверится она в своих предводителях и в своих знаменах. И потащут ренегаты по грязи вчерашнюю святыню. И осмеют реакционеры эти знамена, оскверненные теми самыми, кто их несет. И будут ждать великие, бессмертные слова новых людей, которые возвратят им смысл, воплотят их в дело. Старая же партия, пожертвовавшая всем для победы, может быть, и не победит, но, во всяком случае, окаменеет в своем бессодержательном застое.

Итак, организация партии для победы необходима, но для того, чтобы партия была живым организмом, одинаково необходимо подчинение органов целому и жизненность органов. Партии образовались из мыслящих, убежденных и энергических союзников; они ясно понимают, для чего они сошлись; они крепко дорожат своими самостоятельными убеждениями; они твердо решились сделать все, что можно, для торжества этих убеждений. Только при этих условиях они могут надеяться избежать обеих опасностей, им грозящих: не разойтись и не впасть в застой.

Положим, что условия выполнены. Критически мыслящие и энергически желающие личности сошлись и организовали партию. Но уже по самым условиям, при которых подобная организация могла произойти, очевидно, что людей, вполне удовлетворяющих требованиям, которые приходится ставить организаторам партии, будет крайне мало даже между критически мыслящими личностями. Но у них есть, во-первых, союзники *возможные* между такими же критически мыслящими личностями, во-вторых, союзники *неизбежные* в массах, не доработавшихся до критической мысли, но страждущих от того самого общественного неустройства, для устранения которого организуется партия.

Поговорим сначала о первых. Это, как сказано, люди критической мысли, люди интеллигенции, но в данном случае им недостает кое-чего, чтобы сделаться организаторами сильной партии. Одни, при всей силе мысли, не додумались до того, что лишь при организации победа возможна, и остались на точке зрения одиночных, героических борцов предыдущего фазиса. Другие и додумались, но не решились пожертвовать для общего дела личным самолюбием, привычным для них образом действия. Третьи недостаточно сумели отделить несущественное от существенного. На-

против, четвертые, из страстного желания победы, готовы подчиниться *совсем,* пожертвовать существенным, обратиться в механическое орудие и порицают тех, кто этого сделать не в состоянии. А найдутся еще и другие категории. Очевидно, что люди, организовавшие партию борьбы за истину и справедливость, при своей малочисленности, должны прежде всего увеличивать свою силу всеми материалами, около них рассыпанными и способными войти в организацию. Важна здесь не столько численность, сколько значение участвующих, их самостоятельная мысль и энергическая воля. Важны в особенности те из них, которые могут стать самостоятельными, энергическими центрами, разносящими жизнь нового организма далее и далее. Итак, важны в особенности три первые категории личностей, не примкнувших еще к движению. Первым надо изъяснить практическое значение дела, последним — теоретическую его сущность; вторых надо просто привлечь к делу. Все они могут быть в будущем весьма полезными деятелями; все они *возможные* союзники, и понимание общей пользы должно заставить смотреть на них именно так. С этой точки зрения и определяется деятельность организующейся партии относительно всех элементов, как вошедших уже в ее состав, так и могущих войти в него впоследствии.

Но общественная партия не есть партия кабинетных ученых. Она борется за истину и справедливость в конкретной форме. Она имеет в виду определенное зло, существующее в обществе. Если это действительно зло, то от него страдают весьма многие, чувствующие всю громадность этого зла, но не понимающие ясно ни его причин, ни средств борьбы против него. Это — те незаметные герои, о которых я говорил выше и которые обусловливают возможность прогресса. Это — реальная почва организующейся партии. Последняя именно потому и организуется, что знает о существовании значительного числа личностей, которые *должны* притти навстречу ее требованиям, *должны* протянуть ей руки именно потому, что они страдают от зла, против которого она восстала. Очень может быть, что эти страждущие массы незаметных хранителей лучшего будущего не признают сразу своих сторонников, почувствуют к ним недоверие, не будут в состоянии разглядеть в борьбе, начинающейся на почве выработанной критической мысли, ту борьбу, которую они сами призывают инстинктивно, на основании темных влечений и верований. Это ничего не значит. Партия должна все-таки организоваться в виду союза с этими общественными силами, союза неизбежного если не сегодня, то завтра. Непризнанные, непонятые сначала, сторонники борьбы за лучшее будущее должны во всех

своих словах, во всех своих действиях иметь в виду этих союзников, не только возможных, но неизбежных.

Итак, партия организовалась. Зерно ее — небольшое число выработанных, обдуманных, энергических людей, для которых критическая мысль нераздельна от дела. Около них — люди интеллигенции, менее выработанные. Реальная же почва партии — в неизбежных союзниках, в общественных группах, страждущих от зла, для борьбы с которым организовалась партия. Установившееся различие существенного от несущественного в личных мнениях определяет как свободу действий внутри партии, так и ее терпимость извне. Как ни расходились бы члены ее в пунктах, признанных несущественными, они все-таки полезные и неизбежные союзники ее в будущем. Все члены партии, действительные и возможные, находятся под ее охраной. Каждый мыслящий человек, вошедший в организм партии, становится естественным адвокатом не только того, кто уже теперь к ней принадлежит, но и того, кто завтра может войти в нее. Адвокат не должен извращать дело своего клиента; он только выставляет на вид все, что действительно говорит в пользу клиента, и умалчивает обо всем, что может повредить ему. Это умолчание не есть ложь, потому что и противные партии имеют своих адвокатов, которые не щадят и не должны щадить противников. Адвокат, очевидно искажающий истину, только повредил бы этим и своему знамени, и своему собственному авторитету, как умного и добросовестного адвоката. Но адвокат, который подсказал бы противникам лучшие аргументы, был бы вовсе не адвокатом. Взаимная адвокатура членов партии, это — ее самая могущественная связь, самое энергическое противодействие противникам; это — и одно из лучших средств для организованной партии привлечь к себе лиц, еще в нее не вступивших. Как единая мысль, единая цель составляют внутреннюю силу партии, так взаимная адвокатура составляет ее внешнюю силу.

За пределами несущественного прекращается свобода действия членов партии и ее терпимость относительно лиц, вне ее стоящих. Кто из ее членов переступил этот предел, тот более не член ее, а ее враг. Кто из личностей, вне ее стоящих, расходится с нею в существенных вопросах, тот тоже враг ее. Против этих врагов партия направляет и должна направить всю силу своей организации, борясь, как один человек, всеми своими средствами, сосредоточивая свои удары. Каждый член партии есть естественный адвокат своих действительных и возможных союзников; точно так же он есть естественный прокурорский надзор за всеми признанными врагами. И здесь требуется не извращение

истины: это вовсе не в обязанности добросовестного прокурора. Требуется внимание к действительным проступкам противников и выставление на вид всех обвиняющих обстоятельств. Дело адвокатов защищать обвиненного. Слишком мелочное обвинение точно так же в глазах внимательной публики помогает делу обвиняемого и вредит авторитету обвинителя, как явно пристрастная защита адвоката оказывает действие, противоположное его собственному желанию. Но и упустить из виду ошибки противников, дать им средство скрыть свои проступки, — совершенно несогласно с задачею человека партии. Внимательная и неуклонная борьба с врагами есть проявление жизни партии, как единство мысли есть основа этой жизни, а взаимная адвокатура ее членов — связь партии.

Так растет общественная сила, переходя от уединенной, слабой личности сначала в сочувствие других личностей, потом в нестройное их содействие, пока не организуется партия, придающая борьбе направление и единство. Конечно, тут эта партия встречается с другими партиями, и вопрос о победе становится вопросом числа и меры. Где более силы? Где умнейшие, лучше понимающие, более энергичные, более искусные личности? Которая партия лучше организована? Которая успеет лучше воспользоваться обстоятельствами, лучше успеет отстоять своих и побороть врагов? Здесь уже борются организованные силы, и интерес истории концентрируется на принципах, написанных на их знаменах.

— Тут нет ничего нового; я это знал и прежде, — скажет читатель.

И прекрасно, если ты знал это. В истории нечего искать побасенок, небывальщины, но там можно узнать, как было, бывает и будет. Борьба личности против общественных форм и борьба партий в обществе так же древни, как и первая историческая общественная организация. Я желал лишь напомнить читателю старую истину об условиях борьбы слабых личностей с громадною силою общественных форм; об условиях работы мысли над культурными привычками и преданиями; об условиях победы партии прогресса; об условиях жизненного развития цивилизации. Личности, выработавшие в себе критическую мысль, приобрели тем самым *право* быть деятелями прогресса, право бороться с отжившими общественными формами. Эта борьба *полезна* и *разумна*. Но личности, тем не менее, суть лишь *возможные* деятели прогресса. *Действительными* деятелями его они становятся лишь тогда, когда *сумеют* вести борьбу, сумеют сделаться из ничтожных единиц коллективною *силою*, представительницею мысли. Путь для этого один, и его указывает бесспорное свидетельство истории.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Знамена общественных партий

Я изложил в последних письмах мое мнение о том, что весь общественный прогресс неизбежно зависит от деятельности личностей; что лишь они могут придать цивилизации прочность и спасти ее от застоя; что они имеют право и возможность относиться критически к общественным формам, в которых живут; что путь борьбы за новое против старого, за растущее против отживающего неизбежно ведет к группировке партий под знаменами разных идей и к столкновению их во имя этих идей.

Но как узнать, при столкновении партий, кто борется за прошедшее, за отживающее? Кто стоит за живое, за растущее? — Вопрос может показаться странным, потому что на практике, повидимому, чрезвычайно легко различить, проповедуют ли вам идеи, которые были в ходу два, три, четыре года назад, два десятилетия, два века тому назад, или идеи самоновейшего закала, от которых отвернулись бы в предшествующий период со смехом, с испугом или с отвращением. Последняя умственная мода, последняя статья влиятельного журнала, последнее слово любимого проповедника — вот живое, растущее. Партия, в которой добровольно или невольно поредели ряды приверженцев — вот партия реакции. Этот прием самый легкий, и ему следуют все бараны человеческих стад с самой тупоголовою последовательностью; ему следуют все говоруны без убеждений с самою изумительною гибкостью. Вероятность успеха, вероятность добычи на общественном пиру для человека, становящегося в ряды той или другой партии, — вот что они называют стремлением вперед, следованием за временем. Если бы они были правы, то слово прогресс не имело бы никакого смысла, история представляла бы нечто в роде метеорологической таблицы, по которой можно отмечать дни дождливые и ясные, дни, когда ветер дул с юго-запада или с северо-востока, но где далее таблицы статистических цифр итти весьма трудно. Тогда бы и письма, которые я нынче пишу, не имели бы в моих глазах причины быть написанными, так как общественная метеорология меня столь же мало интересует, как и физическая. Лишь в исключительных случаях и исключительных странах дожди и засуха представляют простую последовательность. Мы живем в зоне переменчивой погоды; на основании вчерашнего и третьегодняшнего направления ветра предсказать завтрашнее его направление для нас довольно трудно; мы страдаем от перемены погоды, но не понимаем ее. Запасайтесь, если хотите и можете, галошами и зонтиками,

теплою одеждою и домами с плотно затворенными окнами, но неужели вы станете исследовать зависимость сегодняшнего дождя от того, который шел в прошлый четверг? В теперешнем положении наших знаний это была бы работа неблагодарная в метеорологии физической, как и в политической. Наука не идет далее размещения метеорологических станций для людей, наиболее подверженных опасности, и далее указания им на приближающийся ураган за несколько часов до его наступления.

К сожалению, я не могу допустить такого легкого приема для отличения прогрессистов от реакционеров, какой указан мною выше. Поставив в начале третьего письма требования прогресса, я обязан, чтобы быть последовательным, допустить, что они определяют и разницу в партиях. Побежденная партия может быть партией прогресса. Мало читаемая книга, написанная десять, пятьдесят, сто лет тому назад, может заключать более живых исторических начал, чем самоновейшая журнальная статья. Вчерашняя мода может быть оживлена лучшим инстинктом будущего, чем сегодняшняя. Да, вообразите себе, я предпочитаю наши журналы 1861 года журналам 1867 года и даже 1890 г. Предпочитаю Канта Шеллингу, Вольтера Кузену[274] и нахожу, что у Лукиана[275] гораздо более жизненных элементов прогресса, чем у Каткова[276]. Это, конечно, возмутит иных прогрессистов, сознающих себя стоящими каждый день в уровень с самым модным направлением. Это вызовет презрительную улыбку тех вечно-спокойных деятелей, которым «игра в направление» кажется детскою забавою. Это, пожалуй, обрадует тупых поклонников Домостроя и Византии[277], которые вообразят, что с этой точки зрения и они могут попасть в истинные прогрессисты. Представляю им всем возмущаться, улыбаться и радоваться.

Если допустить, что прогресс заключается именно в развитии личности и в воплощении истины и справедливости в общественные формы, то вопрос, поставленный выше, о признаках прогрессивной и реакционной партии решить уже гораздо труднее, так как внешних отличительных признаков для них вовсе не оказывается. Увы! Это так. В словах человеческой цивилизации нет такого слова, которое безусловно, всегда и везде стояло бы лишь на знамени прогрессистов или на знамени реакционеров. Величайшие идеи, которые в большинстве случаев были в глазах лучшей части мыслящих людей самым живительным началом общества, в некоторые периоды истории служили приманкою в ряды партий, препятствовавших развитию человечества. Самые реакционные элементы в некоторые эпохи становились орудиями прогресса.

Для уяснения этого рассмотрим отдельно те идеи, которые можно назвать *общими началами* личной и общественной жизни, и другие, соответствующие *частным формам* последней. Те и другие, в различных комбинациях, обыкновенно служат знаменами для борющихся партий как в тех случаях, когда партии преследуют, в сущности, эгоистически-рассчетливые цели, так и в тех, когда они фанатически веруют, что их приверженцы, и только они, суть представители безусловной истины и справедливости. Обе эти группы идей могут сделаться и источником развития и орудием застоя; обе в действительности были, по очереди, тем и другим, но причины этого явления для этих двух групп различны.

Что касается до общих начал: развития, свободы, разума и т. п., то они подвергались этой участи именно потому, что, по обширности своего смысла, оставались крайне неясными большинству, могли повторяться одними без всякого определенного значения и быть для других орудиями весьма мелких и реакционных целей. — Слово *развитие* могло быть рассматриваемо в смысле фаталистическом, как неизбежность, на которую приходится смотреть не только как на существующий факт, но которая представляет начало правомерное, требующее умственного признания и нравственного поклонения во всяких своих проявлениях. Для фетишистов исторического процесса патологические клеточки общественного рака суть элементы столь же человечного развития, как и здоровые клеточки общественных мышц и нервов. Но оно иначе для того, в глазах кого история имеет человеческий смысл: он знает, что те и другие суть одинаково необходимые естественные следствия предшествующих процессов, но что лишь последние обусловливают развитие; первые же — это элементы разрушения и гибели. Первому роду развития (если уже употреблять здесь это слово) следует противодействовать в настоящем и в будущем, насколько можно. Второму роду развития (который один, собственно, и имеет в истории право на это название) следует содействовать. — Бессмысленное употребление слова *свобода* до того знакомо всякому, сколько-нибудь вдумывавшемуся в историю, что об этом и говорить, кажется, нечего: свобода для сильного мучить слабого, свобода для бедного умереть с голоду, свобода для родителей искажать физические, умственные и нравственные способности детей — представляют весьма известные формы этого принципа.—Во имя *разума* углублялись в созерцание безусловного, отвергая критику факта; признавали существующее разумным, отвергая критику общественных форм. *Справедливость* отожествляли с законностью,

хотя бы это был закон Дракона[278]. Под *истиною* подразумевали мистические положения, недоступные пониманию и требовавшие лишь тупого повторения. *Добродетелью* считали принесение лучшей личности в жертву худшей, реальных благ в жертву благам фантастическим; не борьбу против зла, а непротивление злу. Исполнение *долга* видели в шпионстве и в варварстве; в доносе семинариста-иезуита на товарища; в истреблении целых народов мадьянитов, амелекитов, аммонитов[279]; в измене слову, данному иноверцу, в аутодафе инквизиции и в резне Варфоломеевской ночи[280]. *Святость* жизни находили в отрицании развития личности, в отрицании реальной истины и человеческой справедливости, в тупом самомучении факира, в зверином состоянии отшельника, в безумии угодника, в вере в немыслимое, в гонении неверующих и иначе верующих. Одним словом, все самые худшие, самые животные, противообщественные, унизительные, противочеловечные стороны человека нашли себе защитников под маскою развития, свободы, разума, добродетели, долга, святости. Только критика, постоянная, неумолимая критика могла предохранить личность от увлечения громким словом в лагерь, совершенно несогласный с ее желаниями, инстинктами, со всею ее натурою. Общие начала были в этом случае самою обыкновенною вывескою, и крайне часто две борющиеся партии, существенно противоположные, объявляли себя защитниками одного и того же великого принципа. Все сектанты называли себя истинно-верующими, а другие церкви — язычниками. Все философы утверждали, что истинное, разумное понимание вещей находится только в их системе. За благо Рима стоял, повидимому, и Цезарь[281] и Катон[282]. Справедливости требовали и рабовладельцы и противники рабства. Мыслящим людям приходилось доискиваться: у которой партии великое слово имело настоящий смысл? Не было ли требование свободы (как у французского духовенства) лишь требованием права притеснять других? Не был ли призыв к справедливости (как у крепостников, рабовладельцев и капиталистов) лишь желанием узаконить безнравственный факт истории даже и тогда, когда его безнравственность уже была сознана?

Казалось бы, возможность служить знаменем для противоположных партий, заключающаяся в слишком обширном смысле общих принципов, не существует для частных общественных форм. Семья, закон, национальность, государство, церковь, ассоциация с ученою, экономическою или художественною целью представляют определенную задачу, которую понять не особенно трудно, и, следовательно, не трудно сказать, есть ли та или другая из этих форм — начало

развивающее, прогрессивное, или мертвящее, реакционное. К сожалению, оно вовсе не так, но уже совсем по иной причине, чем та, которая обращает иногда великие общие принципы в громкие фразы. Общие принципы, именно по своей общности, получают определенное значение лишь при ясном сознании реального содержания, на которое они обращены. Частные же общественные формы, именно по своей частности, сами по себе ни прогрессивны, ни ретроградны: все они заключают возможность прогрессивного влияния на личности, как все они могут служить личности самою тягостною задержкою на пути ее развития. Историческое значение каждой из них определяется комбинациею условий, при которых существует та или другая форма в данную эпоху, и комбинациею всех общественных форм в эту эпоху. Условия общественного роста неизбежно выдвигают в определенное время данную форму на первое место, как орудие прогресса, и в это время общество может развиваться лишь при условии, чтобы все прочие общественные формы подчинились одной руководящей. Но условия изменяются: то, что было вчера преобладающим, основным требованием, сегодня становится лишь *одним* из требований личности и общества, в числе многих других. Формы общественного союза, вчера подчиненные, сегодня требуют равноправности, а завтра — преобладания; и общество должно перейти к новой комбинации, если оно хочет остаться прогрессивным. Форма, которая вчера преобладала и за преобладание которой боролись по праву вчерашние прогрессисты, сегодня — обязана уступить свое первенство, и тот, кто станет защищать его, будет реакционером... Новые комбинации, в свою очередь, будут иметь свое время, после которого должны замениться новейшими. Тот, кто будет поклоняться, как фетишу, временной комбинации общественных форм, рискует неизбежно стать единомышленником реакции, потому что нет ни одной комбинации, которая бы раз навсегда удовлетворяла требованиям прогресса. Общественные формы для мыслящего человека должны быть не более как непрочною историческою одеждою, не имеющею самостоятельного смысла, но получающею свое значение лишь по тому, насколько эти формы в данной комбинации соответствуют требованиям данной эпохи, именно: свободному развитию личностей, справедливейшему отношению между ними, возможно широкому участию личности в благах цивилизации, упрочению этих благ, устранению опасности застоя.

Родственная связь между людьми, положившая начало союзу родовому и семейному, изменяла, повидимому, не раз свое прогрессивное значение. Трудно составить себе

ясное представление о той общественной форме, в которой жил примат — предшественник человека — или даже первобытный человек, следы которого археологи скорее угадывают, чем наблюдают в третичных слоях земной коры. Но эта зоологическая форма общества была неизбежно отсталою социальною формою, сравнительно с родовым союзом, группировавшимся около матери; союзом, который все с большею вероятностью воскрешают пред нашим воображением современные общественные эмбриологи, как первый чисто человеческий союз (я говорил о нем выше, в четвертом письме). Этот материнский род почти всюду уступил место роду патриархальному и затем выработанной последним патриархальной семье. Борьба между этими двумя формами, в своем прогрессивном значении, для нас уже совершенно неясна. Может быть — даже вероятно — торжество патриархального рода и патриархальной семьи над материнским родом было торжеством эгоистического начала над общественным, вследствие несколько большей обеспеченности человеческих групп, некоторого ослабления борьбы за существование, а потому и облегчения эгоистическим страстям достигать своих обособленных целей. Но, может быть, личная критика меньшинства, выгоднее поставленного и имевшего более досуга, не могла выработаться иначе, как переходя через патриархальную форму, с ее исключительным положением патриархов и родовитых людей. Может быть, действительно была для человечества эпоха, когда патриархат составлял основное развивающее начало союза, когда экономические, политические, религиозные, отчасти научные требования человечества разрешались наилучшим образом при безусловном преобладании патриарха над потомством, при крепчайшей иерархической связи поколений. Впрочем, оставим в стороне весьма трудно разрешимый теперь вопрос, был ли патриархальный быт прогрессом сравнительно с периодом материнства; охватим термином *родовой связи* все формы первобытного союза, в котором общее дело было неразрывно связано с родственными отношениями внутри союза; тогда под это понятие подойдет и материнский род с общими женами и общими детьми; и патриархальная семья, которую сохранило нам предание семитов, которую выработало в дальнейшую форму законодательство античного мира; и разнообразные переходные формы с обычаем многомужия; и другие более исключительные формы, сохранившиеся кое-где в человечестве. Во всех этих формах родовой союз, как первый союз, сплотивший людей и заставивший их создать прочную связь для взаимной защиты, был основным прогрессивным началом. Деспотизм обычая, ненависть к иноплеменнику,

мелочная генеалогическая гордость, предрассудочное сношение с мертвыми предками, вражда племен — и тогда, конечно, были следствиями этого начала, приносили много страданий. Но все-таки, сравнительно, эта форма или могла давать возможно наименьшее количество страданий для общества, или могла обусловливать, по крайней мере, единственную возможность более широкой работы мысли в будущем, а следовательно — и уменьшения страданий в будущих поколениях под влиянием этой работы мысли на пути истины и справедливости. Во всяком случае, приходится сказать, что родовой строй был тогда прогрессом. Как ни резались между собою племена из-за родовой мести, все-таки в этой резне гибло, может быть, менее личностей, чем при недостатке охранения личности родовой связью. Как ни тяжело ложился обычай на отдельные единицы, а впоследствии, как ни бесцеремонно эксплоатировал патриарх труд и жизнь членов своего племени, но единство в деятельности племени, соединенного родовым обычаем или властью патриарха, позволяло этому племени оградить от голода и опасностей большее число лиц в своей среде, чем это возможно было бы этим лицам при разрозненной деятельности. Как ни бесчеловечно люди этих групп относились к иноплеменникам, обращая их в рабство, истребляя или съедая их, но все-таки в родовом союзе человек приучался к мысли, что он должен стоять за жизнь, за благополучие, за достоинство не только собственной личности и не, только людей лично ему дорогих, но еще и за жизнь, за благополучие, за достоинство других людей, связанных с ним идеально тем, что они имеют с ним равные права, равные обязанности, — тем, что в их благополучии — и его достоинство, в их оскорблении — и ему оскорбление. — Лишь только закон стал в ограду личности, кровавая родовая месть сделалась гибельным общественным предрассудком и из элемента прогрессивного перешла в реакционный. Как только свободная экономическая ассоциация доставила личности более обеспечения и выгоды, чем родовой и общинный союз, то и защита экономического родового начала получила характер ретроградный. Как только в человеке выработалась мысль, что достоинство *всякого* человека солидарно с его собственным достоинством, оскорбление *всякого* человека есть и ему оскорбление, то мысль о преимущественной связи людей одного происхождения обратилась в препятствие на пути цивилизации.

В другую эпоху жизни человечества *закон* сделался преобладающим началом и, по праву, началом прогрессивным. Он обеспечил жизнь слабого от произвола сильного. Он, закрепив договоры, дал общине возможность свобод-

ного и широкого экономического развития. Он был одним из могущественнейших орудий для воспитания в людях понятия об их нравственной равноправности, о человеческом достоинстве, вне всяких случайных обстоятельств происхождения, имущества и т. п. Но и закон не всегда был и есть элемент прогрессивный. Я еще рассмотрю в другом письме ту наклонность к застою, которая неизбежно развивается с усилением в обществе формального элемента закона; теперь довольствуюсь лишь немногими указаниями. Закон есть всегда — буква; жизнь общественная в своем непрерывном органическом развитии неизбежно разрастается в категории несравненно более разнообразные, чем мог предвидеть законодатель, и перерастает быстро условия, при которых законодатель, даже самый добросовестный, написал свою формулу. Тот, кто захочет, во что бы то ни стало, втискивать все разнообразие жизни в установленные формулы кодекса, будет не прогрессивным деятелем. Тот, кто станет на сторону отжившего закона в виду новых исторических потребностей, тот — реакционер. Конечно, почти все сколько-нибудь благоустроенные общества заключают в себе возможность отменять отжившие законы; но иногда эгоистический интерес правительства или влиятельного меньшинства поддерживает формальное существование закона, антипатичного всем естественным стремлениям общественного сознания. Если бы грозная война 1870 г. не подрыла всех основ второй бонапартистской империи, — может быть, долго еще эта империя стояла бы, как законная форма, над Францией; между тем, число ее действительных приверженцев было так незначительно, что она не нашла *ни одного* защитника 4 сентября, и в то же время правительство, ее сменившее, не отличалось ни политическими, ни умственными, ни нравственными качествами. В подобных случаях буква все стоит в кодексе и находит даже иногда энергических заинтересованных защитников; но правда, жизнь, прогресс не с нею. Тогда, как ни верно с юридической точки зрения требование прокурора-обвинителя, но правда на стороне присяжных, произносящих против очевидности: не виновен. Тогда, как ни законно действует палач, кладя преступника на колесо, или полиция, ограждая орудия пытки, но прогресс на стороне беззаконной толпы, вырывающей мученика из рук палача, разрушающей позорные орудия. Тогда, как ни правильно узаконен декрет сената, что Цезарь-Август Домициан[283] — бог и что пред его статуей следует приносить жертвы, как ни правильно требование Геслера[284] кланяться его шляпе, — но едва ли история не на стороне оборванного проповедника, который говорит: нет, Домициан не бог и его статуе приносить жертвы не должно;

едва ли она не на стороне полумифического стрелка, который не кланяется шляпе Геслера, а посылает ему смертельный удар.

В эпоху последних цезарей и первых варварских королей *церковь*, как общественная форма, получила, по праву, преобладающее значение, и все общественные начала подчинились ей. Когда, с одной стороны, римский фиск, с другой — грабеж варваров отнимал у большинства всякие средства существования, когда ни древнее право, ни новые общественные потребности не были довольно сильны, чтобы оградить личности, тогда епископ, во имя духовного связующего авторитета, стал прогрессивным общественным деятелем. Его забота была одностороння, но все-таки это была забота о страждущих населениях. Его суд был неправилен, но все-таки это было какое-либо приближение к справедливости. Он мог иногда публично осудить дикий поступок даже в императоре, которого никто не судил. Он мог, страхом адских мучений и мести угодников, остановить, хотя иногда, хищнические порывы варваров, которых ничто остановить не могло. Как ни дики были уставы Кассианов [285] и Бенедиктов [286], но они доставляли, при данных условиях, единственную возможность сохранить традицию знания, просто — грамотности и элементарной культуры. Следовательно, в эту эпоху для Западной Европы это были положительные элементы прогресса. Но уже в самом скором времени подобное представление об общественном значении епископов и монастырей сделалось на Западе началом реакционным. Самый грубый патримониальный [287] суд стал справедливее суда церковного в гражданских делах. Все злоупотребления феодализма, центральной государственной администрации, буквенного права были ничтожны перед злоупотреблениями вмешательства католического иерарха в дела общества. Самостоятельность церкви, как иерархического элемента, пред лицом государства стала идеей ретроградов. Господство теологов над прочими отраслями изучения сделалось вреднейшею задержкою развития. Только там иерархическая организация являлась помощницею прогресса, где она становилась не руководительницею общества, но участницею борьбы за другие руководящие начала, за национальность, за расширение культуры высшей расы среди низших и т. п.

Возьмем еще пример, на который я указал и в пятом письме. Наука, конечно, в своем процессе завоевания есть элемент прогресса; но ученая ассоциация, как общественная форма, весьма может быть, в известном случае, задержкою развития общества, когда все наличные его силы должны быть направлены на вопросы жизни; когда всякий член общества, индифферентно относящийся к этим вопросам,

есть его враг; когда никто не имеет права считать себя прогрессивным деятелем, если смотрит с пренебрежением олимпийца на мимолетную полемику публицистов, на шумные прения митингов, на кровавые столкновения партий. В эти минуты, если ученая ассоциация понимает свое человеческое значение, то она придает своим трудам направление, соответствующее потребностям общества, или ее члены, отодвигая на второй план свои исследования о новых формах инфузорий, о покрое платья Хлодовика [288], о спряжении кельтических глаголов,— отдают свои способности, свое время, свою жизнь вопросам жизни. Тогда создатель новой отрасли геометрии, Монж [289], проводит целые дни в мастерских, питается сухим хлебом и пишет наставления для рабочих. Тогда участники в создании научной химии, Бертолле [290], Фуркруа [291], посвящают себя добыванию селитры и обучению людей, взятых от плуга. Тогда создатель сравнительного языкознания, Вильгельм Гумбольдт [292], направляет всю силу своего ума на возрождение Пруссии. Астроном Араго [293] сидит в совете учредителей республики. Основатель целлюлярной патологии, Вирхов [294], громит Бисмарка в парламенте. Но ученая ассоциация может поступить и иначе. Она может, гордясь неземным спокойствием своих кабинетных разысканий, употреблять свое влияние на распространение около себя индифферентизма к страданиям массы, уважения к официальному status quo [295] или, по крайней мере, может считать ниже своего достоинства участие в мимолетных вопросах дня. В этом случае все ученое достоинство ее трудов не спасет ее от неизбежного приговора истории. Ученая ассоциация, проповедующая во имя науки, — конечно, дурно понятой науки — индифферентизм к жизненным вопросам и устраняющаяся сама от участия в них, будет элементом реакции, а не элементом прогресса.

Удовольствуемся пока этими примерами. Все они доказывают одно: начало развития не принадлежало и не принадлежит безусловно ни одной из упомянутых общественных форм, но каждая из них может сделаться более или менее влиятельным орудием прогресса в данную эпоху, при данной обстановке. Безусловные защитники каждой из этих форм при всяких обстоятельствах проповедуют безусловно реакционное начало, так как при всяких обстоятельствах одна и та же форма, или даже одна и та же комбинация форм, преобладать не может с пользою для человечества. Формы должны поочередно господствовать и уступать место одна другой для правильного хода истории.

Как же узнать в данную минуту истории, где прогресс? Которая из партий его представительница? На всех знаме-

нах написаны великие слова. Все партии проповедуют начала, которые при определенных условиях были и будут двигателями прогресса. И то хорошо, и это не дурно. Но как же выбрать?

Незнающему, немыслящему, готовому итти за чужим авторитетом выбрать нельзя, не ошибаясь. Никакое слово не имело за собой привилегии прогресса; он не втиснулся ни в одну формальную рамку. Ищите за словом его содержание. Изучайте условия данного времени и данной общественной формы. Развейте в себе знание и убеждение. Без этого нельзя. Только собственное понимание, собственное убеждение, собственная решимость делают личность — личностью, а вне личности нет великих принципов, нет прогрессивных форм, нет прогресса вообще. Важно не знамя, важно не слово, на нем написанное, важна мысль знаменосца.

Чтобы удобнее разглядеть эту мысль, надо уяснить себе, в чем состоит процесс, помощью которого люди прячут иногда под великие слова весьма скверные вещи.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Идеализация

Часть мира и раб природы, человек никогда не хотел сознаться в своем рабстве. Подчиняясь беспрестанно неосмысленным влечениям и случайным обстоятельствам, он никогда не желал назвать свои побуждения прямо неосмысленными и свои действия — результатом случайных влияний. В самых интимных глубинах его души уже находим стремление скрыть от себя свою зависимость от неизменных законов бессознательного вещества, украсить чем-либо пред собою шаткость и непоследовательность своих действий. Это он сделал при помощи идеализации.

Процесс ее совершается так. Я сделал хорошее или дурное дело под влиянием минуты, не подумав даже о том, хорошо оно или дурно. Когда оно сделано, является оценка. Если оно, по-моему, хорошо, я очень рад. Но если я сознаюсь себе, что сделал хорошее дело, не подумав даже о том, хорошо ли оно, то в своих глазах выиграю немного. Может быть, я сообразил, но не помню. И вот теперь припоминаю; действительно, я быстро сообразил, что это хорошо, и быстрота соображения увеличивает еще мое достоинство: я и хороший и весьма быстро соображающий человек. Но допустим, что я одарен достаточно хорошею памятью, чтобы на этот счет не ошибиться. Прекрасно. Я сделал хорошее дело, не обдумывая, не рассчитывая, но по внутреннему влечению своей природы. Значит,

моя природа настолько проникнута хорошими началами, что я делаю хорошие дела, не имея даже вовсе нужды сознавать разумом, насколько они хороши. Я — хороший человек не по развитию умственному, но по природе. Я принадлежу, значит, к исключительно хорошим людям. А то есть еще один прием, годный при религиозных привычках мысли. Я сделал хорошее дело не от себя: оно мне было внушено свыше, божеством, направляющим волю и действия людей без участия их размышления. Я был избран орудием бога в его намерении осуществить хорошее дело. Кажущаяся скромность последнего приема скрывает еще большее самовозвышение, чем приемы, прежде рассмотренные. Во всех случаях из совершенно неосмысленного поступка, случайно оказавшегося по своим следствиям хорошим делом, идеализация вывела заключения: что я человек очень хороший и замечательно быстро соображающий; что я исключительно хороший человек по самой природе; что я личность, избранная богом на хорошие дела.

Когда дело дурно, то приемы идеализации несколько иные, но подлежат подобным же категориям. Во-первых, последний прием годится и здесь без всякого изменения. Я это сделал не от себя, но был орудием гнева и суда божия. Бог избрал меня на дело, которое только *кажется* дурным слабому человеческому разуму; но высший разум судит иначе, и если он решил, чтобы его избранник совершил это дело, значит, в сущности, оно не дурно. Рационалист станет говорить не о боге, но о высшем законе, управляющем событиями и выводящем хорошие следствия из дурных дел; о высшей гармонии всего сущего, где поступки личностей суть отдельные ноты, звук которых режет ухо, если слышат их отдельно, но необходим для стройности целого. Оказывается, что дурное дело, как необходимый элемент всеобщей гармонии, вовсе не дурно, и сделать его следовало, а я из совершителя дурного дела стал полезным участником всемирного концерта. Но охотнее всего люди при этом употребляют прием предполагаемого высшего расчета. Дело, взятое само по себе, положим, дурно, но память быстро развертывает длинный ряд *великих принципов,* примеряя их к моему поступку, и если который-нибудь из них, хотя издали, придется по мерке, то воображение подсказывает, что я имел в виду именно этот принцип при совершении моего поступка. Я побранился с приятелем и убил его на дуэли: я защищал великий принцип чести. Я увлек женщину и бросил ее с ребенком на улицу без средств существования: я следовал великому принципу свободы привязанностей. Я составил с крестьянами невыгодный для них договор и довел их юридическими исками

до нищеты: я поступал во имя великого принципа законности. Я донес на заговорщика: я поддержал великий принцип государства. В трудное для литературы время я топчу в грязь из-за личного озлобления последние органы идей моей же партии: я борец за великий принцип самостоятельности мнений и чистоты литературных нравов. Едва ли есть такое скверное дело, которое решительно нельзя было бы подвести ни под один из великих принципов. Выходит, что с высшей точки зрения дело мое не только не дурно, но хорошо. — Опять неосмысленный поступок, несмотря на то, что выказался вредным по своим последствиям, выставил меня защитником великих принципов, полезным участником всемирной гармонии, избранным орудием высшей воли.

Область идеализации очень обширна. Во всех элементах своего развития она опирается на стремление придать в воображении человека сознательный характер действиям бессознательным и полусознательным, а действия сознательные перевести с более элементарной ступени на высшую. Но приходится при этом различать случаи идеализации *неизбежные,* так как они обусловливаются самою природою человеческого мышления; затем огромную область той *ложной* идеализации, против которой и должна быть направлена работа критики во имя истины и справедливости; наконец, некоторые случаи идеализации *истинной,* где той же самой критике приходится защищать реальные и правомерные потребности человека против их отрицателей.

Единственная идеализация, совершенно *неизбежная* для человека, есть то представление *свободной воли,* вследствие которого он не может никаким образом отделаться от субъективной уверенности, что он произвольно ставит себе цели и выбирает для них средства. Как ни убедительно объективное *познание* доказывает ему, что все «произвольные» его действия и мысли суть не что иное, как необходимые следствия предыдущего ряда внешних и внутренних, физических и психических событий, но субъективное *сознание* произвольности этих действий и мыслей остается неизбежною ежеминутною иллюзиею, даже в самом процессе доказательства всеобщего детерминизма, господствующего и во внешнем мире, и в духе человека. Неизбежное приходится поневоле принять. Эта невольная идеализация своих побуждений становится в области человеческой деятельности плодотворной основой обширных научных и философских областей работы человеческой мысли. Совершенно независимо от того, насколько в *сущности* действительны или иллюзионны цели, которые ставит себе человек, и средства, которые он выбирает для их достижения, эти цели и сред-

ства располагаются в его уме в определенную иерархию целей и средств *лучших* и *худших*. Но ученая критика принимается за работу установления среди них *правильной* иерархии. *Бесспорная* истина противополагается *вероятной* гипотезе, *ошибочному* рассуждению, *вымыслу* фантазии, *противоречивому* представлению. *Нецелесообразное* средство отличается от средства *целесообразного, вредное* от *полезного*. *Нравственное* побуждение выделяется из всей массы побуждений неосмысленных, случайных, страстных, эгоистических. Области его побуждений, мыслей и действий, в которых сам человек не может открыть следа сознательной воли, противопоставляется им область других его побуждений, мыслей и действий, относительно которых человек не может отделаться от сознания, что он их *хотел*, что он за них *ответствен*, и что другие люди, подобно ему самому, признают за ним эту ответственность, как ни подлежало бы все это, наравне с первыми областями, мировому детерминизму. Столь же неизбежно для человеческого ума, как объективные законы, господствующие в природе, основная интимная идеализация произвольной постановки целей и произвольного выбора средств ставит пред каждою личностью иерархию нравственно лучших и нравственно худших целей, оставляя ему лишь способность критически проверить, не надо ли, в этой критике, видоизменить эту иерархию, признать *иное* лучшим и худшим. Решение воли и выбор того или другого поступка, вследствие этого решения, оказывается всегда неизбежным, но критика этики может признать за этим выбором высшее или низшее значение и возложить на личность ответственность за этот выбор пред собою и пред другими, разделяющими те же убеждения. Это позволяет сопоставить область теоретического *познания* с областью нравственного *сознания* и в *последней области* выходить из первоначального, субъективного *факта* свободной воли *для себя*, независимо от теоретического значения этого факта; дает прочную основу практической философии и позволило мне в этих письмах говорить с читателем о нравственном долге личности, о нравственной необходимости борьбы личностей против отживающих общественных форм, о нравственных идеалах и об историческом прогрессе, из них вытекающем.

Если начало ответственности перед собою за все, что человек сознает в себе, как проявление его воли, должно быть признано неизбежною идеализациею, а потому устранено быть не может, то оно есть единственная идеализация, имеющая право на подобную привилегию. Все, чего избежать можно, следует допустить лишь на основании критики. Приступая с этим требованием к явлениям идеализации, мы

замечаем, как широко прилагала она свой прием осмысления бессознательных процессов. При этом она далеко не ограничилась человеком, но попыталась очеловечить, осмыслить целый мир. Наблюдение указывает три группы идеализации, выходящие из желания человека внести сознание и разум во все явления или, по крайней мере, в большинство их. Во-первых, явления представлялись человеку, как *действия* сверхъестественных, внемировых *личностей,* духов и богов, одаренных сознанием, разумом и волею. Во-вторых, явления представлялись ему, как *проявлгния* единой сознательной и разумной *сущности* мира. Но всего древнее, восходя к первобытным периодам жизни человечества, был третий прием идеализации мира: предметы внешнего мира почти во всех областях его считались *существами,* одаренными сознанием, разумом и волею, или жилищем подобных существ, и явления мира представлялись, как преднамеренные действия этих существ. Наука признала мир духов и богов продуктом творчества фантастического. Она признала и «душу мира», и «безусловный дух», и «безусловную волю» продуктами творчества метафизического. Но ей пришлось долее заниматься вопросом, до сих пор не решенным во всех его частностях, — о том, каким предметам внешнего мира следует приписать сознание, разум и волю и в какой мере. Доисторический человек долго готов был распространять почти на все предметы представление о сознательной жизни, подобной сознанию человеческому. Затем критика мысли все более суживала круг сознательных предметов. Была попытка признать психические процессы за одним человеком, но потом оказалось необходимым распространить их и на многих животных в разной постепенности. В настоящее время существует у иных исследователей склонность допускать сознание и на очень низкой ступени развития организмов и даже чуть ли не во всем веществе, населяя как бы мыслящими «человечками» даже атомы газов. За то и в человеке критика открыла длинный ряд постепенностей разумности действий. Она нашла в нем группу явлений чисто механических, бессознательных. Затем другую группу явлений, где самые низшие животные влечения сознаются, но действуют с неудержимой силой, без всякого участия размышления. Затем еще новую группу, где рутинный ход мысли совершается как бы механически, хотя нельзя сказать, чтобы сознание или размышление здесь отсутствовало, или чтобы быстрота действия мешала оценке его; тем не менее, оценка личной ответственности перед собою является лишь впоследствии, когда дело сделано или более чем наполовину, или совсем. Еще далее мы встречаем весьма сложную группу действий, совершаемых под

влиянием сильных аффектов и страстей: тут большею частью присутствует и размышление и нравственная оценка ответственности перед собою, но сила аффекта или страсти преобладает настолько, что человек ей подчиняется на зло размышлению и нравственным требованиям. Только за этой группой лежит область действий, в которых человек является размышляющим и вполне ответственным перед собою существом. Есть люди, большая часть жизни которых проходит без того, чтобы какое-либо действие их можно было считать принадлежащим к последней группе. Самое же большое число действий человеческих надо отнести к группе третьей, т. е. к действиям, совершенным под влиянием рутины, привычки и предания, как совершают свои действия, часто довольно сложные, все культурные животные. Оценка ответственности, как мы сказали, приходит при этом в продолжение самого действия, или по окончании его, а иногда и совсем не приходит. Степень жизненного развития человека определяется долею, которую составляет последняя, вполне сознательная группа действий, во всех его действиях.

Из предыдущего видно, что подыскивание разумного мотива к совершенному действию не может быть признано приемом всегда рациональным; что в человеческих действиях участвуют чаще мотивы механические или зоологические, чем человечные. Насколько это необходимо иметь в виду криминалисту для взвешивания приговора и для постройки уголовного права, настолько же оно необходимо историку и общественному деятелю для критического отношения к человеческим действиям в минувшем и в настоящем, к стремлениям людей идеализировать свои и чужие действия, подыскивая к ним разумные мотивы, — наконец, для того, чтобы не ошибиться в расчете при преследовании практических целей.

Как ни ограничен в человечестве круг действий, которые можно назвать разумными, но стремление к идеализации, предполагающей действия разумными, весьма широко; и потому большинство людей желает представить все механические, рутинные, страстные свои действия, как действия разумные. Иные совершают этот процесс идеализации совершенно искренно, другие же — лишь для возвышения своего *я* перед чужими глазами или для достижения своекорыстных целей. Но недостаток знания и гибкости мысли не дозволяет значительному числу людей этого делать самим. Тогда они очень рады, когда за них сделают это другие, и охотно пристают к тем людям, которые позволяют им выдать свою тупость за размышление, свои животные влечения за нравственно-политические начала, свою рутину

за консервативную теорию, свою трусость за преданность государству, свою подлость за геройство, свое любостяжание за служение праву, свое личное озлобление за борьбу против лжи. Это именно доставляет партиям, пишущим на своих знаменах великие слова, наибольшее число приверженцев. Всегда, при поднятии подобного знамени, есть люди, которые нуждаются в нем для прикрытия громким словом мелкого содержания своей деятельности. Поэтому расчетливые провозгласители великих принципов, под защитою которых предводители имеют в виду осуществить эгоистические интересы своего сословия или кружка, в большей части случаев тем скорее собирают партии приверженцев, или эта партия становится тем обширнее, чем удобнее прикрыть новым знаменем механические, животные, рутинные и страстные стремления личностей. В этом случае совершить идеализацию тем удобнее, что в продолжение человеческой истории каждое из громких слов не раз бывало на самом деле девизом передовой партии, формулою прогресса, и потому в подобные эпохи поэзия и философия, обычай и предание совершенно искренно и правомерно окружали подобное слово ореолом величия. Ложным идеализаторам остается указать на этих хвалителей, заведомо искренних и талантливых, и черпать из арсенала, ими устроенного, оружие для своих целей.

В виду подобного явления; критика должна еще строже относиться к громким словам, написанным на знаменах партий, и еще внимательнее рассматривать, насколько под ними скрывается идеализация унизительных или правомерных влечений личности.

В предыдущем письме я отделил две группы великих идей, соответствующие общим началам и частным общественным формам. Это мы сделаем и здесь. Относительно общих начал прием критики для раскрытия ложной идеализации весьма прост: надо лишь разобрать, в каком смысле партии употребляют слова: «разум, свобода, общее благо, справедливость» и т. д. Надо проверить, насколько смысл, придаваемый всем этим словам, соответствует в данном случае их действительному прогрессивному значению. Это, конечно, возможно лишь тогда, когда критика сама предварительно уяснила себе действительное значение этих слов.

Для частных общественных форм задача сложнее. Я уже говорил в шестом письме, что общественные формы вырабатываются естественными потребностями и влечениями. Насколько эти потребности и влечения естественны, настолько же и формы, ими выработанные, правомерны, но не далее. Между тем, в истории форма, выработанная одною потребностью, оказывалась часто удобною, за неиме-

нием лучшей, и для удовлетворения других потребностей; вследствие того, эта форма обращалась в орган для самых разнообразных функций и *в этом виде,* — подвергаясь искренней и ложной идеализации, — была провозглашаема знаменем партий, существеннейшим орудием прогресса. В этом случае дело критики двойное. Во-первых, ей приходится разобрать, какие действительные стремления партий скрываются под словом, написанным на их знамени. Во-вторых, ей надо доискаться той естественной и, следовательно, правомерной потребности, которая вызвала к существованию форму, выставленную на знамени партии как основной ее принцип. Первым путем критика разрушает ложную идеализацию тех, которые выставляют форму, по сущности, может быть, и почтенную, в защиту стремлений, не имеющих с нею ничего общего. Вторым путем критика борется и против тех, которые сделали из громкого слова фетиш, не понимая его смысла, и против ложных идеализаторов другого рода, именно тех, которые *отрицают* правомерность потребности, вполне естественной, и этим вызывают или искажение человеческой природы, или, что всего чаще, лицемерие. Последняя задача имеет сторону не только отрицательную, но и положительную: открывая в основе данной общественной формы естественную потребность, естественное влечение, критика тем самым признает эти основы правомерными и требует построения общественных форм на основании *искренности* чувства, т. е. на основании искреннего отношения к естественным потребностям и влечениям, лежащим в природе человека. Это осуществление в общественных формах нравственных идеалов, коренящихся в самой природе человека, составляет законную и человечную идеализацию его естественных потребностей, в противоположность *призрачной* идеализации их под видом исторически образовавшихся культурных форм, им вовсе не соответствующих. Эта человечная идеализация есть идеализация вполне *научная,* потому что элемент субъективного мнения присутствует в ней лишь настолько, насколько он совершенно неизбежен во всяком исследовании о психических явлениях. Потребность есть реальный психический факт, который следует лишь изучить, насколько это возможно, в его особенности. Раз потребность установлена, как потребность естественная, она должна быть удовлетворена в пределах ее здорового функционирования, и надо искать общественные формы, наилучше ее удовлетворяющие. Я могу ошибаться в определении естественной потребности, лежащей в основе данной общественной формы; могу ошибаться в выводах, которые, на мой взгляд, необходимо вытекают из искреннего отношения к этой потребности.

Более искусный исследователь откроет новые стороны в последней и потому построит более верную теорию соответствующей общественной формы. Но возможность ошибок и последовательные их устранения нисколько не подрывают научности общего приема. Сведение общественных форм на потребности, их вызывающие, искреннее (т. е. прямое, чуждое посторонних соображений) отношение исследователя к этим потребностям и требование приспособить к ним общественные формы — могут иметь место вне всякого личного произвола, вне всякого догматического ослепления, вне всякой работы творческой фантазии. Этот процесс может быть совершен строго методически, устраняя все источники личной ошибки. Следовательно, он *научен*, и результат его — теория общественных форм, как они *должны быть* на основании ясно понятых человеческих потребностей — есть продукт *истинной* и *научной* идеализации соответствующей потребности. Таким образом, всякая потребность допускает законную и человеческую идеализацию, собственно ей принадлежащую, точно так же, как отрицать в ней можно только то, что внесено в нее культурою; этим и ограничивается отношение к ней мысли. Отрицая закон природы, мы его не уничтожим, а только вызовем более патологическое его проявление при преобладании[296] лицемерия в общественной форме. Призрачная идеализация не может изменить ни на волос закон природы и вносит в нравственные формы лишь лживость, всегда дающую более хитрой и менее нравственной личности возможность притеснить личность менее хитрую и более нравственную.

Но именно эта лживость и несправедливость, вносимая в общественные формы мелкими эгоистическими интересами под прикрытием призрачной идеализации, вызывает постоянное раздражение против наличных общественных форм и сообщает им непрочность. Единственный путь для придания им большей прочности заключается именно во внесении в них настоящей жизненности, т. е. в замене их призрачной идеализации истинною. В этом-то преимущественно и заключается тот процесс работы мысли над культурными формами, который составляет движение цивилизации. Как читатель видит, в этом процессе нет, собственно, ничего отрицающего, разрушающего, революционного. Мысль стремится постоянно доставить общественным формам более прочности, отыскав их действительные основы в настоящих человеческих потребностях; изучая эти потребности, она скрепляет общественные формы наукою и справедливостью. То, что отрицает критика мысли, есть именно элемент, сообщающий общественным формам непрочность. Разрушает

она именно то, что грозит разрушением цивилизации. Революцию она стремится предупредить, а не вызвать.

Обращаясь к самой элементарной человеческой потребности, к потребности питания, мы и здесь уже встречаем ложную идеализацию в форме искусственной потребности к дорогим лакомствам, развитой культурою, и в форме призрачного благодеяния даровых пиров, развивающих паразитство. В то же время ложная идеализация аскетизма, отрицая, что каждый человек должен быть сыт, привела естественным путем к бессмысленным формам поста, к столь же бессмысленному скоплению драгоценных металлов в храмах богов, где эти сокровища никому не нужны, и к обращению центров отшельничества в убежища безнравственности и невежества. Наука противопоставила обеим этим призрачным идеализациям признание потребности питания естественною и правомерною и построение ее удовлетворения на основании физиологии и социологии. Если она идеализирует потребность питания, то идеализирует ее правильно, указывая, сколько пищи нужно данной личности, в размерах какой ценности она может быть присвоена личностью без нарушения справедливости в ее распределении, и развивая технику кулинарного искусства для здорового, экономического и вкусного приготовления надлежащего количества пищи. — То, что можно сказать об этой элементарной потребности питания, прилагается еще лучше ко всем остальным, и прогресс всех общественных форм заключался всегда именно в более строгом различии естественных потребностей, их вызывающих, в более искреннем отношении к этим потребностям, в рассеянии призраков, с ними связанных, и в идеализации их лишь тем путем, который указан самою сущностью потребности. Рассмотрим главнейшие формы поочередно.

Первый крепкий человеческий союз, материнский род, заключал в себе, по необходимости, все общественные функции, старался одновременно удовлетворить всем потребностям личности. То же самое положение дел продолжалось, когда род материнский, перейдя в род отцовский, выработал патриархальные семьи. Бедность культурного развития имела следствием, что эта общественная форма должна была удовлетворить разом и потребности воспитания растущего поколения, и потребности экономического обеспечения личностей, и потребности защиты их от внешних врагов, и потребности ограждения одной личности семьи от насилия другой, и потребности накопления знания, и потребности творчества. Главы рода или патриархальной семьи оказались разом и руководителями детей, и всесторонними промышленниками, политическими деятелями, судьями, храни-

телями преданий теоретических и практических, лириками в молитве, эпиками в мифе, актерами в культе — и все это потому лишь, что родовые связи дали им определенное положение в их племени. Привычка и предание облекли семейную связь в ее сложной патриархальной форме поэтическою прелестью, величием священного союза, бронею закона, путами общественного мнения. В то же время аскетизм отрицал не только существующие культурные формы семьи, но признавал половое влечение осквернением человеческого достоинства и проповедывал воздержание от половой связи. Результатом ложной идеализации семьи явилось страшное злоупотребление власти главы семьи, обращение брака — в куплю и продажу, подчинения детей родителям — в рабство; явился в семье разврат под маскою приличия, превзошедший все излишества явного разврата; она дошла до уничтожения в своей среде всяких человечных отношений, предоставляла разгул лишь лицемерию и унижению личности. Точно так же аскеты, проповедывавшие воздержание от половой связи, не могли уничтожить полового влечения, если не прибегали к радикальным мерам скопцов. И здесь было лишь два исхода: или искажение человеческой природы, или лицемерие, прикрывающее еще более изысканное влечение к тому, что явно отрицалось. Большинство фанатических сектантов, пошедших этим путем, пришло к искажению физического организма человека; но иным, напр., шэкерам [297], повидимому, удалось исказить человека в этом отношении психически. Там же, где фанатизм перестал действовать, воцарилось лицемерие, и под *ангельскою* одеждою монахов и монахинь, отрекшихся от всего плотского, часто скрывалось еще более животных побуждений, чем среди мирян. Знаменитые процессы в этом случае доказали, что так называемые убежища чистоты делались на самом деле аренами оргий, прошедших не только все ступени естественных потребностей, но заглянувших весьма далеко и в область влечений, которые новая Европа признала противоестественными. Случалось и то, что мистическое отрицание половых влечений мирилось в восторженных экстазах некоторых сектантов с искусственным преувеличением этих самых влечений. Во всех этих случаях мы видим, что аскетизм вызывал среди общества появление лживых стремлений в группах людей, имевших специальное назначение отрицать или искажать основное влечение человеческой природы и ставивших себе это в заслугу.

Прогресс в истории родового и семейного союза шел тремя путями, из которых самый существенный заключался в постепенном выделении из деятельности главы патриархальной семьи тех атрибутов, которыми он был облечен,

по необходимости, лишь при очень неразвитом состоянии культуры. Прежде всего родовая связь, опирающаяся на непродуманный обычай, уступила место другим общественным связям, в которых работала личная мысль в форме расчета, аффекта или убеждения. Критическая мысль выработала промышленную систему разделения работ, сначала по наследству в кастах, потом по личному влечению; выработала политическую систему государственной обороны личностей от внешних врагов с разнообразным участием подданных или граждан в управлении; выработала юридическую систему судов, менее причастных интересам подсудимых; выработала методическое подготовление к научным работам, независимое от авторитета глав рода или семьи; выработала образцы искусства, сделавшие художественную деятельность достоянием лишь особенно одаренных личностей; выработала (и вырабатывает еще) педагогическую систему воспитания молодого поколения лишь теми из взрослых личностей, которые подготовились к этому надлежащим образом умственно и нравственно.

По мере того, как число атрибутов главы патриархальной семьи ограничивалось, мысль имела под собою лучшую культурную почву и для борьбы против ложной идеализации в этой сфере. Панегирику семьи противополагалась ее сатира. Скептицизм и цинические нападки колебали ее святыню. Закон стал ограждать членов семьи от деспотизма их главы и допустил развод. Общественное мнение искало других идеалов. Параллельно с этим, на почве науки и справедливости, критическая мысль боролась с аскетизмом, отрицавшим половое влечение вообще. Физиология доказывала неестественность аскетизма; политическая экономия доказывала его разорительность для общества; история доказывала призрачность его преданий и его несостоятельность в проведении собственного идеала.

Взамен этих ложных идеалов, бледнеющих под лучами критической мысли, настоящая идеализация половых влечений шла именно указанным выше путем: требованием искренности. Как физиологическое влечение, это был неотрицаемый естественный факт. Он делался фактом работы мысли, как свободный выбор. С давних времен этот выбор идеализирован эстетически, как выбор во имя влечения к красоте. Прогресс идеализации заключается лишь в том, что красота или привлекательность обратились, по мере работы мысли, лишь в повод к выбору, а его настоящею основою стало умственное и нравственное достоинство. Идеализация любви — независимо от семейной связи и на зло аскетизму — воспевалась чуть ли не так же давно, как сохранились следы человеческого слова; но она постоянно звучала чем-то

ложным, когда, рядом с песнями Саади[298], трубадуров, миннезингеров, рядом с мадригалами XVII и XVIII веков, с лирическими излияниями современников Шиллера[299], существовали культурные привычки гаремной жизни, браков по воле сюзерена, по воле родителей, по торговым расчетам и когда брак и любовь вызывали одинаково представления вечной обязательности. Пока женщина стояла в патриархальной семье ниже мужчины и по культурным привычкам, и по развитию мысли, до тех пор нравственные идеалы оставались различны для любящих, и, следовательно, идеализация взаимного влечения не представляла следа равноправности. Женщина стремилась найти в мужчине нравственный идеал силы, ума и энергии характера, общественного влияния и гражданской деятельности, но этот идеал был для нее не *идеалом*, а *идолом*, потому что сама она отказывалась от его осуществления в жизни. Мужчина искал в женщине *только* эстетический идеал красоты и грации, считая этот самый идеал унизительным для себя и допуская в *себе* даже грубость форм, как элемент достоинства. Поэтому со стороны женщины не могло быть и речи о правильной идеализации полового влечения. Осужденная на поклонение идолу, заключавшему, впрочем, *правомерное* влечение к нравственной силе, она несла в этом случае весь гнет *обязательных* культурных форм семьи. Вся работа мысли в процессе идеализации путем *правомерного* влечения к красоте приходилась на выгоду мужчине, которому культура присвоила право *свободного выбора*. Настоящая идеализация взаимной любви возможна лишь с того времени, когда женщина вызывает к себе уважение во имя того же самого идеала нравственного достоинства, который поставлен и для мужчины. Тогда союз любви представляется обоюдным свободным выбором двух существ, взаимно привлеченных физиологически и сближающихся потому, что каждый уважает в другом человеческое достоинство в его всестороннем проявлении. Физиологическое влечение остается правомерною основою сближения личностей, но оно подвергается законной и человечной идеализации; союз личностей упрочивается тем, что, стремясь к одинаковым нравственным идеалам, они своим союзом взаимно совершенствуют и развивают друг друга. Это самое обращает случайное влечение в прочное нравственное сближение, не навязанное извне, не обязательное во имя культурных привычек и преданий, но выработанное самими личностями. Внешняя обязательность перестает иметь какое-либо значение пред более крепкою связью. Взаимное уважение делает связь святынею, причем свобода отношений устраняет всякое лицемерие, а взаимное доверие делает соединяющиеся личности наиболее способными к

взаимной помощи и в экономической борьбе, и в работе мысли, и в общественном деле, и в педагогических обязанностях к растущему поколению. При ее правильной, научной идеализации задача семьи в настоящем имеет две стороны, причем каждая из них берет в соображение необходимые условия естественных потребностей, опирается на искренность свободного аффекта и ставит обязательную цель человеческой деятельности во имя справедливости. Половое влечение, как *неизбежный* источник; личная симпатия, как интимная связь, *свободно* определяющая выбор; взаимное развитие двух равноправных существ для участия в прогрессивной деятельности общества, как *социальная цель* — вот одна сторона семейного идеала современности. Воспитание ребенка взрослым, как *неизбежный* источник; подготовка воспитателя к делу воспитания, как личное влечение, *свободный* выбор любимого занятия; развитие в будущем человеке мысли, способной к критической работе, убеждения, готового на самоотверженное дело, как *общественная обязанность* — вот другая сторона того же идеала. — Таким образом, искреннее отношение к естественному влечению, устраняя призрачные и лживые культурные формы, ставит перед семьею (если это название будет удержано) новый идеал, выработанный мыслию, идеал, имеющий все достоинства прежних идеалов семьи, но охраняющий в высшей мере ее прочность, так как он опирается на научные данные, на требования справедливости, на достоинство человеческой личности.

Возьмем другую потребность, проявившуюся на первых шагах человеческой культуры, — потребность экономического обеспечения, которая создала разнообразные формы: собственности, наследственности, пользования, экономической зависимости между капиталом и трудом и т. д. Как только широкий родовой союз распался на союзы семейные, конкурирующие между собою экономически под охраною обычая или закона, немедленно из элементарных способов временного и более или менее продолжительного присвоения предметов по необходимости выработалась забота об образовании и охранении монопольных запасов личных и семейных. При низком развитии обществ возможность заработка для личности была мало обеспечена. Сегодня охота, грабеж, удобные условия погоды давали возможность человеку приобрести много, но затем эта добыча могла долго не повториться. А жить надо было не только сегодня, но и завтра и послезавтра. Кроме того, в семье были старики и дети, неспособные добывать себе пищу. Надо было подумать об их обеспечении. Самое простое и рациональное решение заключалось в том, чтобы в удачный день запасаться излишком на

случай возможной неудачи других дней. Ловкий охотник, счастливый грабитель присвоивал себе все, что мог захватить для обеспечения на будущее время себя и своей семьи. Вещь, им захваченная, становилась его исключительною, монопольною собственностью даже тогда, когда ни он, ни его семья ею воспользоваться не могли. Дети становились тоже монопольными собственниками того, что было добыто отцом, и это имело место даже в том случае, когда они могли бы и сами добывать себе пропитание. Пока общество стояло на такой низкой ступени, что никто не мог ручаться на несколько дней вперед за ограждение от голодной смерти, подобная монополизация имущества личностью далеко за пределы ближайших потребностей ее и ее семьи была почти неизбежна. Каждому приходилось отстаивать себя и своих близких всеми средствами. Борьба за существование была для человека, если не единственным, то, по крайней мере, преобладающим законом. Но положение общества стало улучшаться; скотоводство и земледелие дошли до той степени, где вероятность обеспечения на некоторый период будущего превысила вероятность гибели от всевозможных случайностей. Монополизация *всего* захваченного или унаследованного потеряла значение необходимости, оправдывавшей ее в более тяжелое время. Тем не менее, потеряв свой законный смысл, она осталась преданием, восходившим к незапамятным временам, культурною привычкою, которая повела — при помощи улучшенной техники, при помощи труда невольников и наемников, при помощи усовершенствованных способов хищничества — к монополизации громадных имуществ в руках одного сословия, одного кружка лиц, одной семьи, одного лица. Отсюда форма экономического строя общества, опирающегося на монопольную частную собственность, где меньшинство наследственных собственников окружено большинством рабов, наемников и нищих*. И здесь мы видим поэтическую, религиозную, метафизическую идеализацию этого строя. Богатство, роскошь, хищничество, завоевания, наследственная аристократия, жирная буржуазия имели своих певцов, своих теоретиков, хвалителей, свои заповеди для их охраны и свои te-deum'ы [300], их прославлявшие. Точно так же и здесь аскетизм отрицал всякое имущество, всякий экономический труд и развивал паразитизм нищенства во имя божие. Критике мысли здесь предшествовало и помогало естественное развитие условий подобного строя. Привычка хищничества и

* Это требовало бы обширного развития, которое было невозможно в издании, сделанном в России. Оставляю текст почти без изменения таким каков он был в 1870 г. (1891).

монополизации, перенесенная из более дикого строя в общество более цивилизованное, должна была перенести туда и элементы образа жизни первобытных дикарей: борьбу всех против всех и непрочность того самого, что старались обеспечить с такими усилиями. Аристократия собственников хирела физически и нравственно. Личные и семейные привязанности раздробляли имущество, а члены семьи тратили в безумном мотовстве богатства, накопленные хищничеством, крали друг у друга и губили друг друга, чтобы *себе* доставить более жирный кусок. Государство захватывало, насколько могло, святыню частной собственности. Голодные наемники и нищие расхищали то, что удавалось расхитить. Строй общества становился столь шаток, что энергический толчок извне или взрыв внутри уносил блестящую цивилизацию меньшинства. Кроме того, взаимная борьба собственников губила их одного за другим. В последние периоды монополистам-собственникам, для упрочения общественного строя, приходится жертвовать все большую и большую долю своего имущества на войско, на полицию, на тюрьмы, на бедных, на случайности экономических кризисов и т. п. В виду этих фактов истории, развивается экономическая критика социализма и одинаково поражает роскошествующих монополизаторов и паразитствующих аскетов. Критическая мысль организует борьбу ассоциационного труда против монопольного капитала и ставит новый экономический идеал. Она признает потребность экономического обеспечения, но требует такого строя общества, где личность была бы обеспечена, не быв в то же время поставлена в необходимость монополизировать имущество, превышающее ее ближайшие потребности. Идеализация, соответственная потребности, и здесь не нова. Это — идеализация труда. Но прежде труд идеализировался, как смиренное орудие капитала, как подчинение рабочего, лежащее в законах мира, в уставах провидения, как мистическое наказание за грех праотца.

Социализм ставит перед рабочим другой идеал. Это — борьба производительного полезного труда против незаработанного капитала; это — труд, обеспечивающий работника, завоевывающий ему человеческое развитие, политическое значение; это — труд, пользующийся всеми удобствами и даже роскошью жизни, не имея нужды прибегать к средству дикарей, к монополизации имущества личностью, потому что удобства и роскошь жизни становятся доступны всем.

От элементарных потребностей, рассмотренных нами в их призрачной и в их истинной идеализации, перейдем к более сложным началам, выработанным историею человека.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Национальности в истории

Многоразличные условия местности, климата, исторических обстоятельств сближают в продолжение длинного периода потомства родовых союзов разного происхождения. Большею частью все эти союзы усваивают один и тот же язык, разнящийся лишь оттенками наречий, усваивают более или менее сходные психические наклонности, некоторые сходные привычки и предания; история выделяет образовавшуюся таким образом группу от других подобных же групп при исчезании переходных ступеней; образуется исторический продукт нарождения и культуры, особая *национальность*. Как только она обособилась, для нее начинается, как для всего живого, борьба за существование, и ее последовательные поколения передают одно другому весьма простое стремление: защищай свое существование, сколько можешь; распространяй свое влияние и подчиняй себе все окружающее, сколько можешь; поедай другие национальности физически, политически или умственно, сколько можешь. Чем энергичнее национальность, тем лучше она проводит первое требование. Чем она человечнее, тем более теряет значение для нее последнее. Историческая же роль ее определяется ее способностью влиять на другие национальности при сохранении собственных и чужих особенностей.

Как продукт истории и природы, национальность есть начало совершенно правомерное, но призрачная идеализация не замедлила обработать по-своему и этот *великий принцип*. Так как неизбежно та или другая национальность в данный момент истории становилась реальным представителем прогрессивного движения человечества, то явилась теория отожествления различных общественный *идей*, выработанных общечеловеческою мыслию, с различными национальностями. Так как большая часть истории национальностей прошла во взаимной резне и во взаимном поедании, то явилось учение ложного патриотизма, учение, по которому гражданин ставил себе в достоинство желание, чтобы его национальность поела все прочие. Так как в политической истории принцип национальностей играл немаловажную роль, то явилась политическая теория разделения земли на государственные территории по национальностям.

Присмотримся к этим теориям.

Не раз случается встретить в исторических сочинениях и рассуждениях мысль, что та или другая национальность есть главный деятель прогресса в данном отношении; что она проводит определенную идею в общем движении человечества вперед; что с ее победою связано развитие человечества

вечества, с ее гибелью — его застой или долгая остановка на пути прогресса. Есть даже историки-мыслители — и в их числе умы даже весьма замечательные, — которые отожествляют общее историческое значение главных национальностей с различными идеями человеческого разума или с различными психическими явлениями личного духа. Какой рациональный смысл можно придать этим историческим построениям?

Если рассматривать, как исторический факт, что в данную эпоху руководящие личности определенной национальности, замечательнейшие явления в литературе и в жизни этой национальности имели ту общую им всем характеристику, что личности были проникнуты одною господствующею идеею, а литература и жизнь служили ей выражением; если, одним словом, видеть в идее данной национальности обобщающую формулу для одного фазиса ее цивилизации, — то можно согласиться с предшествующими выражениями и признать за ними немаловажное историческое значение. Действительно, в каждую эпоху цивилизация несколько развитого общества имеет свои характеристические черты, свои руководящие идеи, и чем общественные формы лучше способствуют всестороннему развитию личности, чем здоровее общество, чем более целости в его цивилизации, тем полнее и определительнее выражает эта цивилизация свою идею. Понятно, что в подобном случае цивилизация данной национальности влияет, как идеальный центр, на другие современные ей национальности и на последующие периоды человечества, и это влияние тем прогрессивнее, чем сама руководящая идея данной национальности в рассматриваемую эпоху более способствует развитию личностей и внесению справедливости в формы общественной жизни. Насколько последнее условие выполнено, настолько и можно сказать, что данная национальность, в рассматриваемую эпоху, есть представитель прогресса, что с ее историческою судьбою связан или успех человечества, или его остановка на пути развития.

Но обыкновенно подразумевают под национальною идеею нечто большее. Полагают, что эта идея не ограничивается определенною эпохою, но связывает все эпохи национальной жизни; что она обобщает всю историю данной национальности. Подобный факт можно себе представить тремя способами:

Или цивилизация определенного строя вошла настолько в привычки нации, что обратилась в культуру, в антропологический признак, так что мысль личностей неспособна уже придумать улучшение в жизни общества или немедленно подавляется общественными формами при самом своем возникновении. Поколения следуют одно за другим, но

формы жизни и руководящие идеи остаются одни и те же. Другими словами: господствует полный застой, и история общества обратилась в зоологическое отправление. — Несколько странно говорить о прогрессивности цивилизации, *подобным* образом служащей воплощением идеи. Национальности, дошедшие до такого состояния, не имеют уже влияния на развитие человечества. Победы им никто не желает; о гибели их никто не жалеет; они обречены на историческую смерть при столкновении с чем-либо живым, если не в состоянии пробудить в себе живых элементов.

Или идею, руководящую всей историей данной национальности, надо считать чем-то *прирожденным* всем личностям этой национальности, антропологическим элементом, присущим строю их мозга и обусловливающим развитие всего ряда поколений, как бы ни были разнообразны формы культуры для различных поколений, как бы ни было широко в них развитие мысли, или как бы ни были фантастичны ее уклонения. — В таком случае национальность приходится рассматривать, как одно из видовых различий человеческого рода. Приходится отыскивать причины общности мозгового или психического строя личностей в единстве их происхождения. Иначе говоря, с этой точки зрения национальная идея существует лишь в национальностях, образовавшихся путем *нарождения*. Вне *единоплеменников* она немыслима.

Но где же такие исторические национальности? В современной Европе одни немцы могли бы претендовать на единоплеменность, так как для всех других наций смешение племен есть исторический факт. Но и у немцев легко видеть разноплеменность: для этого стоит только заглянуть хоть в известное сочинение Риля «Land und Leute» [301]. В древней истории Рим представлял смешанную нацию. О Греции многие ученые предполагают то же самое на основании весьма вероятных данных. Персидская цивилизация была, собственно, мидо-персидскою. К более же древним эпохам лучше не обращаться, потому что науке там не за что ухватиться для получения сколько-нибудь основательных выводов по этому вопросу. Если же ни для одной исторической национальности нельзя считать вероятным единство происхождения, то и предложенное понимание национальной идеи места не имеет.

Наконец, можно себе представить дело так. Личности одного племени или разных племен, под влиянием одинаковых климатических, почвенных, экономических и культурных условий, вырабатывают некоторые общие психические наклонности, при большом разнообразии во всем остальном. Эти психические наклонности, общие для всех, и составляют национальное обособление, каким бы путем они ни получи-

лись. Пока их нет, и наций нет; как только они получились, то их можно формулировать в особенной идее, которая непрерывно проявляется во всей последующей жизни национальности. По мере влияния последней на историю человечества, входит в эту историю и соответственная идея. Торжество и гибель национальности вызывают и возвышение или ослабление ее идеи. — Первые положения этого построения допустить, конечно, можно, и теперь некоторые мыслители уже поставили себе задачею исследовать явления психологии народов. Но вопрос в том, насколько можно признать в обособляющих национальных наклонностях нечто прогрессивное, принимая их в то же время за постоянный элемент.

Если бы сравнение между жизнью личности и жизнью национальности имело какое-нибудь значение, кроме внешнего уподобления двух различных процессов, то можно было бы признать, что единству в жизни мыслящего человека соответствует единство в жизни исторической национальности. Есть минуты, когда развитая личность осмысливает свое существование, взвешивает свои силы, проникается определенным убеждением, ставит себе общую цель жизни и живет сообразно этой цели, отклоняясь иногда от нее вследствие внешних влияний или внутренних увлечений, но находя в этой цели единство и смысл всего процесса своего развития. Если бы для общества могла существовать аналогия этому явлению, то можно было бы себе представить, что в известную эпоху пробуждается национальное сознание; что оно составляет сознанную цель национального развития; что к этой цели стремятся личности, передавая свои стремления к сознанной национальной цели потомкам, которые, таким образом, преследуют ту же цель в новом фазисе, проникнутые тою же идеею. И так дело идет от поколения к поколению, пока не истощится сила развития в национальности, как она истощается в личности при одряхлении, или пока историческая катастрофа не разобьет национальность, как болезнь или насилие убивают личность. — Но подобное сравнение — фантазия. Общего между жизнью личности и нации лишь то, что для каждой из разрушенных национальностей была в истории минута появления на историческую сцену, период исторического существования, эпоха жизни и эпоха агонии. Далее — все различно. Для личности физиолог укажет, каким образом те же самые процессы, которые развивают зародыш в младенца, развивают и младенца в зрелое существо, а потом приводят старика к неизбежной смерти. Для общества все попытки, до сих пор сделанные, дать что-либо похожее на подобное объяснение должны быть признаны ненаучными. Кроме

того, в исторической жизни общества повторяются иногда по нескольку раз явления, которые, при строгой аналогии, надо бы признать эпохами молодости и одряхления. Что касается до смерти исторических обществ, то естественной их смерти история не знает, а знает лишь ряд убийств одних национальностей другими, так что даже вопрос: может ли историческая национальность умереть естественным путем? — нельзя считать решенным. Следовательно, национальности справедливее было бы сравнить с личностью, которая рождается, иногда по нескольку раз молодеет и дряхлеет и большею частию подвергается случайности быть убитою при удобном случае. Подобная личность принадлежит области фантазии.

Еще более фантастично допущение передачи национальной идеи от одного поколения другому, как сознанной традиции. Никто, никогда, ни для какой исторической национальности не указал даже тени сознанной традиции какой-либо идеи, подтвердив свое указание чем-либо похожим на научный факт. Поколения данной национальности, как мы видели в начале этого письма, передают друг другу лишь одно, весьма не идеальное стремление. Его требования общи всем национальностям и никакой *идеи* в себе не заключают. Это не что иное, как естественная борьба за существование. Эти требования руководили зверей, руководили людей в их столкновениях со зверями, руководили первобытных людей в их столкновениях между собою и руководят теперь национальности в их столкновениях. Прогрессивного в этих требованиях нет ничего. Конечно, без борьбы между личностями, вероятно, не было бы следующего за нею прогресса; без борьбы между национальностями едва ли обобщался бы и распространялся успех цивилизации. Но необходимые условия для начала прогресса не суть еще прогресс, и традиция борьбы между национальностями только *предшествует* пониманию их справедливых отношений между собою, пониманию, с которым борьба прекращается, и начинается общий прогресс наций.

Вне *сознанной* традиции национальной идеи остается допустить *сознательную* передачу от одного поколения другому некоторого постоянного идеального стремления. — Но есть ли возможность доказать фактически подобное стремление? Возьмем для примера две бесспорно исторические национальности, из которых относительно первой даже есть возможность допустить единоплеменность, хотя древность появления этой национальности не позволяет совершенно научного решения вопроса.

Евреи, несмотря на свою малочисленность, играли историческую роль в древности; они играли также историческую

роль в средневековой Европе; они и в наше время не лишены исторического значения, так что некоторые писатели связывали революционные потрясения Германии в конце сороковых годов с влиянием на германское общество многочисленных евреев, живущих в его среде. Имена евреев-социалистов достаточно неизгладимо вписаны как в летописи науки, так и в летописи социального волнения всего периода, затем следовавшего, чтобы возможно было отрицать их влияние, которое едва ли дозволительно вполне обособить от их национальности. Само антисемитическое движение последнего десятилетия представляет в патологической форме признание врагами евреев, что последние, в своем обособленном целом, составляют общественную силу, так или иначе влияющую на самые существенные функции современного общества. — Неужели на минуту можно допустить, что одну и ту же идею представляли в истории пророки времен первого падения Иерусалима, средневековые каббалисты, талмудисты и переводчики Аверроэса[302] и современники Гейне[303], Ротшильда[304], Мейербера[305], Маркса и Лассаля? Между тем, едва ли есть национальность, где обособление и сила традиции были значительнее, чем у евреев.

Для другого примера возьмем Францию, и здесь, для удобства, будем искать хотя бы некоторые черты, выступающие на вид в ее истории. Конечно, за последнее время подобною чертою можно было бы, повидимому, признать наклонность к административной централизации. В этом сходились конвент, доктринеры и Наполеон III; политические деятели централизировали управление; профессора университета централизировали преподавание; Огюст Конт, помощью своей позитивной религии, хотел централизировать все проявления мысли и жизни. Если черта, общая столь различным партиям новейшего периода, не есть элемент «национальной идеи», то едва ли мы найдем что-либо более характеристичное. Но кто же искал когда-либо этой черты в феодальной Франции? А нельзя же не допустить, что французская национальность была уже обособлена в период феодализма. — Возьмем несколько моментов бесспорного влияния французской литературы на Европу. В XII веке мы встречаем средневековую французскую эпику, которой подражали повсюду; схоласты парижского университета в XIII и XIV веках были учителями Европы; придворные стихотворцы XVII века опять нашли подражателей; энциклопедия XVIII века, в свою очередь, господствовала над европейскою мыслию. Сравним эти четыре эпохи; прибавим, пожалуй, менее влиятельную эпоху нового французского романтизма и эклектизма. Какую общую идею мы найдем во всех этих фазисах французской мысли, влиявших более или менее на развитие

человечества? — Если отказаться от совершенно искусственных натяжек, то придется отказаться и от всякой идеи, общей всему историческому ходу французской мысли. — То же самое можно сказать и о каких бы то ни было других заметных чертах как для Франции, так и для других национальностей. Общей идеи, проникающей всю историю какой-либо нации, вовсе не оказывается.

Таким образом, кажется, можно признать за национальною идеею лишь значение *временной* обобщающей формулы для цивилизации некоторой народности или некоторого государства. На основании общих психических наклонностей и событий истории данная национальность в некоторую эпоху своего существования *может* сделаться, по характеру своей цивилизации, заметным представителем той или другой идеи и, следовательно, во имя этой идеи может занять определенное место в ряду прогрессивных или реакционных деятелей в некоторый период истории человечества.

Разрушив ложную идеализацию отожествления идей с национальностями, критика должна перейти к истинной идеализации этого начала. Именно, мы видели, что национальность не есть, *по самой сущности своей,* представитель прогрессивной идеи, орган прогресса, но может лишь им сделаться. В таком случае истинная идеализация принципа национальности должна заключаться в указании, каким путем эта *возможность* осуществима.

На основании сказанного в девятом письме мы легко заключим, что какова бы ни была идея, проникающая цивилизацию данной национальности в данную эпоху, но если национальность остается слишком долго представительницею одной и той же идеи, то почти неизбежно перейдет из прогрессивных деятелей в реакционные или наоборот, потому что ни за одной идеей нельзя признать монополии быть вечно прогрессивной. С другой стороны, мы теперь заметили, что одна и та же национальность в течение своей истории может делаться поочередно представительницею разных идей. Иногда она станет во главе движения за идею прогрессивную; в другой период на ее знамени будет написана другая идея, самым реакционным образом влияющая на человечество.

Отсюда выходит, что, и упорно держась однажды усвоенной идеи, и меняя свои руководящие начала, данная национальность может не остаться прогрессивным деятелем. Консерватизм и революция в сфере мысли одинаково не представляют еще сами по себе ручательства в прогрессе. Чтобы остаться в истории с ролью прогрессивного деятеля, национальность, однажды получившая подобное значение, должна держаться своей руководящей идеи до поры до времени, постоянно подвергая поверке новых обстоятельств, новых

требований, новой мысли вопрос, насколько ее идея остается прогрессивною. Меняя руководящую идею с тою же целью, национальность должна опять-таки лишь из критики современных требований человечества, современной его мысли черпать начала, которые должна во имя прогресса написать на своем знамени, как обещающие наилучшее развитие для личностей, наиполнейшее расширение справедливости в общественных формах.

Отсюда же следует, что всякая национальность может, при счастливых обстоятельствах, сделаться историческим прогрессивным двигателем. Чем лучше она поймет современные требования человечества, чем полнее воплотит их в формы своей культуры и в заявления своей мысли, тем вероятнее будет для нее достижение этого исторического положения. Конечно, при этом необходимо существование в общественном строе некоторых условий, о которых я говорил в третьем письме: надо, чтобы общественная среда дозволяла и поощряла развитие самостоятельного убеждения в личности; надо, чтобы для ученого и мыслителя существовала возможность высказать положения, считаемые им за выражение истины и справедливости; надо, чтобы общественные формы допускали изменение, лишь только окажется, что они перестали служить выражением истины и справедливости. Вне этих условий прогрессивное историческое значение национальности есть совершенная случайность, так как национальность сама по себе есть абстракт, и о ней можно говорить лишь метафорически, что она *понимает* или *воплощает* что-либо. В сущности, понимать и воплощать могут только личности, которые, как и было сказано в предыдущих письмах, суть единственные деятели прогресса. Они лишь могут сделать национальность, к которой принадлежат, прогрессивным элементом человечества или придать ей реакционный характер.

Поэтому настоящий национальный патриотизм для личности заключается в осмыслении естественных требований своей нации критическим пониманием требований общечеловеческого прогресса. Выше я указал три естественные стремления национальности, но значение их перед рациональною критикою различно.

Требование поддержать свою национальность, как самостоятельную и обособленную единицу, вполне законно, так как оно соответствует стремлению, чтобы идеи, в которые человек верует, язык, которым он говорит, жизненные цели, которые он себе ставит, вошли живым элементом в будущее и переродились бы согласно требованиям прогресса в человечестве, но не вымерли бы. Отказаться от поддержания своей национальности имеет право лишь тот, кто убедился,

что национальность его заключила в себе нераздельным элементом начало застоя или реакции и от него отделаться не может. Но какая же национальность не может этого сделать?

Стремление поедать чужие национальности, уничтожая их особенности, есть факт антипрогрессивный. Человек, ставящий себе подобный идеал, имеет столь же мало прав на название патриота, как человек, проповедующий пользу уподобления общественной человеческой культуры нравам стаи волков или стада баранов, не имеет права на название человечного мыслителя. Подобные «патриоты» оскверняют знамя национальности и стремятся, сознательно или бессознательно, унизить свой родной народ, налагая на него пятно зверства, мешая ему войти в число прогрессивных деятелей. Таким «патриотом» был Катон-цензор [306] со своим знаменитым припевом: «Карфаген надо разрушить!» И последующая история Рима доказала, как мало выиграли нравственно и политически римские граждане в своем большинстве от разрушения Карфагена; как скоро после этого продажность римлян удивила даже Югурту [307], а гражданское их сознание выразилось в ряде уличных междоусобий, кровавых проскрипций и в цезаризме. Органом подобного же «патриотизма» в России стала в шестидесятых годах «катковская литература», размножившаяся и процветающая в последние годы. Как отрицание прогресса, стремление одних национальностей поедать другие есть отрицание и настоящего патриотизма.

Внесите в мысль вашей национальности наиболее истины; внесите в строй ее общественных форм наиболее справедливости: тогда она может безбоязненно стать рядом с другими национальностями, мысль которых заключает менее истинного содержания, формы общественности которых менее проникнуты справедливостью. Она будет влиять на них; она подчинит их себе нравственно, не имея нужды поедать их, т. е. лишать их самостоятельной исторической жизни. Подобного влияния, подобного подчинения в праве желать всякий настоящий патриот; к подобному значению своего отечества он имеет рациональное право стремиться; этому историческому господству своей национальности над другими он имеет право содействовать всеми силами, потому что он содействует этим и прогрессу человечества. Прогресс есть не безличный процесс. Кто-нибудь должен быть его органом. Какая-нибудь национальность должна прежде других и может лучше, полнее других стать представителем прогресса в данную эпоху. Настоящий патриот может и должен желать, чтобы это была *его* национальность, чтобы, таким образом, он содействовал этому историче-

скому ее значению. Именно потому, что ему знакомее и привычнее культура своего народа, что ему легче усвоить приемы мысли и действия своих соплеменников, он может скорее оставаться патриотом, преследуя общечеловеческие цели. Рациональный патриотизм заключается в стремлении сделать свою национальность самым влиятельным деятелем человеческого прогресса, в наименьшей возможной мере стирая ее особенные характеристические черты.

Для этого настоящий патриот будет стремиться сперва к доставлению своему отечеству тех условий общественного строя, без которых невероятно прогрессивное развитие общества и о которых сказано выше; он постарается о возможно большем распространении среди своих соотечественников гигиенических и материальных удобств; он будет в родной среде пропагандистом критического понимания, научного взгляда на вещи, общественных теорий, наиболее проникнутых требованиями справедливости; он будет деятельным участником реформистских или революционных движений, которые стремятся внести в политический и экономический строй его отечества более возможности для личности выработать и отстаивать прочные убеждения; будет сторонником свободы мысли, свободы слова, таких форм общественного договора, которые облегчают замену отживших законов и учреждений более совершенными. Затем он будет стремиться наилучше понять современные задачи науки и справедливости. Наконец, он постарается по мере своих сил сделать свое отечество высшим представителем науки и справедливости между современными нациями. Вне этих стремлений патриотизма нет, а есть только маска его, надеваемая тупыми болтунами, себялюбивыми публицистами или расчетливыми эксплоататорами животных страстей человечества.

Если бы при этом не происходило столкновения национальностей во имя случайных интересов их правителей или во имя животного начала взаимного поедания, то на этом и становился бы вопрос о значении национального элемента в прогрессе. Но сейчас указанные обстоятельства придают историческое значение прочности и материальной силе национальной организации. Национальный вопрос на практике вызывает вопрос государственный.

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

Договор и закон

Много спорили о том, служит ли договор основанием государству, или государство ему предшествует. Много смеялась историческая школа над теоретиками, которые пред-

ставляли себе, каким образом полузвери, не имевшие никакого сношения между собою, вдруг придумали: нам лучше будет составить договор и жить в государстве; давайте сделаем так. Сошлись; вступили в прения: как лучше быть? Решили, и стали государством. Ясно, как день, доказывала историческая школа, что подобный сознательный договор предполагает уже все то, что из него должно было получиться, как следствие. Как это ни очевидно, но столь же ясно бросалась в глаза характеристическая особенность государства: законное обязательство его членов поддерживать его строй и понуждать к тому же тех, которые не хотят исполнять этого обязательства добровольно. Следовательно, здесь предполагается действительный или фиктивный *договор*, связывающий всех членов государства. Выражением этому договору служит *закон*. Эти два начала сами по себе имеют столько важности и так часто подвергаются призрачной идеализации, что я нахожу лучшим рассмотреть их сначала особо и потом уже перейти к вопросу о государстве.

Одно из первых и простейших проявлений мысли есть забота о будущем. Ребяческий возраст кончается для личности, когда она начинает обдумывать средства для обеспечения себе лучшего будущего. Если дозволительно в каком-либо смысле прилагать к обществу весьма употребительное, но весьма неточное сравнение развития общественного с личным, то можно сказать, что ребяческий возраст общества кончается, когда между людьми устанавливается начало договора.

Этим средством люди стараются обеспечить себя заранее от случайностей. За изменчивой волей личности, за непредвидимым расчетом лучшего, удобнейшего, полезнейшего, который будет сделан *завтра*, за необходимостью прибегать к силе или к убеждению в самую минуту нужды— встает обязательство, более или менее добровольно на себя принятое. Человек сам связывает свое будущее. Договор охраняют грозные, невидимые боги карою в этой жизни и в грядущей. Его охраняет более ощутительная кара закона. Его охраняет внутреннее самоуважение, честь человека, давшего свое слово. Надо полагать, что это средство оказалось весьма действительным, потому что для большинства общественных форм мыслители постарались реально или фиктивно применить начало договора. Физиологическое влечение двух влюбленных подвели под это начало точно так же, как отношение граждан к государству; даже религиозную жизнь, почитание Иеговы [308], евреи нашли удобным представить в форме договора между богом евреев и народом, им избранным.

В сущности, договор есть принцип *только* экономический, так как чисто количественное сравнение услуг возможно лишь в сфере, где есть математические величины, а из общественных явлений лишь экономические нашли для себя меру в стоимости. Лишь то, что оценимо, и может быть равноценно; а где невозможно определить равенство, там договор всегда фиктивен, потому что несправедлив. Договор предполагает услугу, оказанную за другую равную услугу. Поэтому во всем, что оценимо, он совершенно приложим. Обмен товара на товар, работы на ценность суть самые простые случаи, но и в них уже проявляется, рядом с прогрессивным явлением, явление регрессивное. И эти случаи допускают эксплоатацию человека человеком, истощение сил и средств одной личности в пользу монополизации сил и средств другою. Договор справедлив при этом лишь тогда, когда обе личности одинаково поставлены по своему пониманию относительно стоимости товаров, относительно роли труда и капитала; когда обеим одинаково нужно произвести обмен; когда обе одинаково честно к нему относятся. Но подобный случай исключителен, и когда он встречается, едва ли есть надобность в формальном договоре. На договор приходится смотреть, как на оружие против обмана, против притеснений. Но оружие подобного рода нужно в прогрессивном смысле лишь для обеспечения слабого против сильного, потому что сильный уже своею силою обеспечен от обмана и притеснения. Когда юрист заключает контракт с человеком неопытным в законах, то не со стороны последнего должно ждать внесения в контракт выражений, стесняющих впоследствии контрагента непредвиденным пунктом закона. Когда капиталист-фабрикант вступает в условие с пролетарием-работником, то притеснение может иметь место лишь со стороны капитала. Поэтому договор является прогрессивным началом лишь в том случае, когда он ограждает слабейшего от произвольного изменения ценности со стороны сильнейшего. Когда более умный, более знающий, более богатый человек заключает договор с менее умными, менее знающими, менее богатыми, то нравственная обязательность договора должна лечь всею своею тяжестью на первого. Вторые могли не понять, не оценить условий, ими на себя принятых, могли не иметь возможности от них уклониться, и каждое подобное обстоятельство, уничтожая справедливость договора, подрывает и его нравственную силу. Исполнение его может быть важно в глазах общества для поддержания общественного порядка, государственного закона, священного обычая, но никак не справедливости.

Еще более договор выходит из пределов условий прогрессивного развития (именно из условий справедливости),

когда он требует от обеих договаривающихся сторон или от одной из них таких услуг, которые не подлежат вовсе оценке или невознаградимы никакою ценностью. Первый случай представляется всюду, где экономический элемент не охватывает всей сферы деятельности, входящей в договор, или даже вовсе не касается этой деятельности. Все поступки, которые обусловливаются при нормальных отношениях между людьми любовью, дружбою, доверием, уважением, не могут иметь места по обязательству среди людей, сохраняющих человеческое достоинство, следовательно — не могут быть предметом договора. Второй случай имеет место, когда договор распространяется на всю жизнь договаривающегося или на такую значительную часть ее, относительно которой никакой расчет рассудка не может предсказать все возможные комбинации обстоятельств. Здесь тот, кто обязывается оказать невознаградимую услугу, столь же неправ, как и тот, кто принимает подобное обязательство. Оно совершается под влиянием фантастических представлений: то, что я желаю сегодня, я буду желать и завтра; таков, каков я сегодня, таким я останусь и в продолжение всей своей жизни. Для экономических обязательств подобный расчет на далекое будущее не представляет непреодолимых затруднений. Меняется ценность услуги, но меняется и ценность денежных единиц, а для личности, входящей в многочисленные подобные обязательства, потеря на одном часто уравновешивается выгодою на другом, что, вместе с огромным экономическим значением услуги, оказанной в надлежащее время, вознаграждает иногда за всякий риск. Но для услуг, не подлежащих оценке, оно не так. Не имея единиц объективных, — следовательно, не имея возможности быть замененными другими равноценными, — эти неоценимые услуги опираются, в своем нравственном значении, только на внутреннее убеждение личности. Нравственно лишь действие, согласное с убеждением; развивающим элементом в личности можно считать лишь действия, совершаемые согласно убеждению; но договор может требовать от меня действий, которые были согласны с моим убеждением, когда я подписывал договор, и стали несогласны, когда приходится его исполнить. Честность требует исполнения договора; я его и исполню, но мое действие делается продажным и лицемерным. Продажны и лицемерны ласки любви, жертвы дружбы, заявления уважения к власти и к закону, исполнение религиозного обряда, когда *еще* нет, или *уже* нет любви, когда жалость или презрение сменили дружбу, когда власть стала возмутительным ярмом, закон — сознанною несправедливостью, когда вера в магическую или мистическую силу обряда исчезла. Продажны эти поступки, потому что я ими лишь покупаю

себе право избавиться от чужого и собственного укора в нарушении обязательства; они лицемерны, потому что при всех подобных договорах предполагается невысказанное условие, что я исполню обязательство *так же,* как его заключал, т. е. добровольно, а я его исполняю против совести. Скажут, что я могу избегнуть этого лицемерия, заявляя, что я принужден поневоле исполнить договор, но охотно исполнить его не могу, а в таком случае ответственность за безнравственное действие падает на того, кто требует исполнения договора, а не на меня. Это следует признать лишь фикцией. Конечно, можно и должно считать преступником того, кто требует исполнения не экономического обязательства, когда заявлено ему об отсутствии желания исполнить это обязательство. Он требует безнравственного и унизительного поступка, следовательно — он сам безнравствен и низок. Но преступное действие, совершаемое другим, нисколько не уменьшает моей преступности, когда я знаю, что совершаю преступление, и все-таки совершаю его; когда я знаю, что продаю вещь непродажную. Человек, возлагающий нравственную ответственность за собственные действия на другого, ставит самого себя на степень машины; лишь машина сама не отвечает за свои действия. Но ставить себя на степень машины не менее унизительно, как и совершать продажу своего *я* помощью действия, которое я совершаю наперекор убеждению. Здесь преступление уже заключено в самом договоре. Всякий договор, требующий в будущем услуги, в самой сущности которой лежит условие искренности и незаменимости, сам по себе нравственно преступен. Лишь под влиянием самообольщения люди обязываются к дружбе или любви в несколько отдаленном будущем и к поступкам, тому соответствующим, когда предмет их сегодняшней дружбы или любви может уже не заслуживать ни того, ни другого, да и сами они могут измениться; поступки же, вызываемые дружбою и любовью, глубоко безнравственны, если совершаются без искреннего чувства, лишь вследствие обязательства. Точно так же преступно принять на себя обязательство подчиняться распоряжениям неограниченной государственной власти, когда не знаешь вовсе, каковы будут эти распоряжения, когда не контролируешь их и не имеешь возможности влиять на них.

Само собою разумеется, что случай договора, заключаемого на всю жизнь или на неопределенно далекое будущее, представляет эту же самую безнравственность, увеличенную еще во столько раз, во сколько продолжительное повторение дурного дела хуже его одновременного совершения. Последнее еще может служить толчком развития человека, который пожелает загладить полезною деятельностью

безнравственный поступок, однажды совершенный. Но первое обращает зло в привычку, притупляет нравственную чувствительность человека и не только низводит его на степень машины, но ставит пред ним автоматическую деятельность как идеал целой жизни или части ее. Это применимо в особенности к обеим областям, из которых взяты предыдущие примеры. Продажа ласк любви на всю жизнь остается унизительною продажею, хотя бы она была освящена церковью и законом. Добровольная поддержка неограниченной и не контролируемой власти остается безнравственным и вредным делом. Совершение религиозного обряда неверующим в него остается симптомом упадка. Рабство реальное и рабство нравственное в различных их формах суть естественные проявления подобного унижения человеческого достоинства. Общество, которое охватывает обязательным договором большую часть жизни личностей, тем более вносит в себя элементы реакции и собственной гибели, чем тщательнее оно проникается регламентациею.

Таким образом, договор, один из важнейших элементов общественной жизни, один из самых простых и, повидимому, самых благодетельных ее обнаружений, становится страшным разъедающим злом, если он распространяется вне своей правомерной сферы. Есть периоды в жизни общества, когда он составляет единственное спасение. Есть другие, когда он становится самым тягостным ярмом.

Этому можно найти аналогию в деятельности отдельной личности. Молодой человек должен пережить эпоху, когда он приучается рассчитывать свое настоящее в виду будущего, приучается взвешивать свои слова и свои действия. Но эта приобретенная привычка не должна стать основою деятельности человека взрослого; она входит в эту деятельность лишь как элемент. Тот, кто *только* осторожен, становится трусом; от отсутствия решимости он теряет удобные случаи; он вредит себе трусостью иногда более, чем риском, он, наконец, теряет совершенно способность к решительной деятельности в каком бы то ни было случае, даже самом необходимом для него. Осторожность и обдуманность становятся могучими орудиями жизненного успеха лишь как пособия решительного поступка, как один из элементов сильной и смелой мысли.

Точно так общество доходит до договора в своей молодости. Элементарные инстинкты, культурные привычки, родовые обычаи или непосредственная общность интересов соединили временно людей. Их союз удобен, привычен или выгоден им всем; они это знают; но в них проснулось уже сознание изменчивости их желаний, способности увлекаться; это сознание заставляет их опасаться за исполнение

в будущем того, что они сознают удобным или выгодным для себя. Они заключают договор, обязывающий их сделать то, что в сущности для них всего полезнее. Затем настает другой период. В обществе находятся люди более сильные и более слабые, эксплоататоры и эксплоатируемые: последние терпят от первых и не доверяют им. Но бывают минуты, когда первые, при своей силе, не могут достигнуть своих целей без содействия последних. Эту помощь они покупают обеспечением в будущем эксплоатируемых более или менее от своей силы. Между сильными и слабыми заключается договор в ту минуту, когда сильные случайно слабее, а слабые случайно сильнее; следовательно, договор этот дает общественному строю более справедливости, чем в нем было до того.

Мало-по-малу выгода подобных договоров делается столь очевидною, что люди не могут не заметить улучшения общественного быта, являющегося как прямое следствие договора. Договор идеализируют. Его скрепляют магическими обрядами, грозящими неотвратимою карою его нарушителю. В его свидетели и как бы в участники призывают сонм невидимых духов. Подземные боги и небесные боги являются хранителями клятв, и эти всесильные и всеведущие свидетели, карающие на земле и за могилою, придают договору объективную святость. В идеал нравственного человека, в самом обширном и простом значении этого слова, входит честность, и этот внутренний судья требует от личности исполнения договоров более настоятельно, чем все олимпийцы. Договор этот получает святость субъективную. Идеал честного человека обобщается в образах поэтов, в миросозерцаниях мыслителей. Он входит в привычку общества. Нарушитель договоров видит в улыбке знакомого, в холодном поклоне приятеля, в намеке светского рассказчика свое осуждение. Из фантастического мира мифов и субъективного мира убеждений честность переходит в реальный мир священнейшей общественной связи.

Но грозные олимпийцы, хранители клятв, умилостивляются жертвоприношениями, и христианский духовник разрешает клятвопреступника от греха, грозящего карою в будущей жизни. Внутренний мир человека скрыт от глаз, и тот, кто, повидимому, всего честнее, может про себя лишь ждать своего часа для крупного бесчестного поступка. Что касается до общественного суда, то приличия общежития составляют настолько противовес отвращению от бесчестных поступков, что нарушителям договоров жить вовсе не худо; к тому же, значительный успех сообщает в глазах большинства как бы грандиозность и бесчестному поступку, а между dupes и coquins [309] презрение делится довольно равномерно:

его даже, пожалуй, приходится более на долю первых. Следовательно, для охранения договора находят нужным прибегнуть к добавочной силе, независимой от олимпийцев, от совести договаривающихся и от общественного обращения с клятвопреступниками. Договор ставят под охрану *закона*, а самый закон становится общественным договором, охраняемым всеми силами государства.

Здесь уже сразу приплетаются к договору два элемента, совершенно чуждые нравственному его началу. Самый закон, как мы увидим в следующем письме, есть договор фиктивный, потому что не все подданные государства, обязанные исполнять этот договор, призываются к выражению добровольного согласия на него; да если бы и предположить подобное призвание, то большинство подданных не в состоянии было бы оценить выгоду или невыгоду принятия договора. Следовательно, термин «*честность*» и вовсе не применим здесь, и мы находимся в совершенно другой сфере действий. — С другой стороны, договор законный имеет всегда склонность делаться более и более формальным. Его обязательность всего менее зависит от внутреннего убеждения договаривающихся, а более — от разных пунктов закона, в отношении, например, сроков подачи бумаг, числа и свойства свидетелей, слова, написанного так или иначе, и т. п. Самый законный договор может быть, в сущности, самым бесчестным делом, как самое честное условие может быть незаконно. Закон становится прогрессивным элементом и нравственною силою лишь тогда, когда законодательство имеет в виду два основные пункта, указанные выше. Первое, что всякий договор, требующий услуги, которая предполагает искренность, точно так же, как всякий договор, связывающий волю человека на жизнь или на значительный период времени, — сам по себе преступен. Второе, что договор, даже заключаемый относительно услуг, допускающих оценку, справедлив лишь тогда, когда договаривающиеся стороны одинаково поставлены в отношении понимания договора и возможности не заключать его. Следовательно, законодательство, чтобы быть нравственным, должно запрещать все безусловные договоры первого рода, а при условных договорах должно обеспечивать договаривающимся возможность заявить свою искренность пред самым исполнением договора или уклониться от его исполнения. Точно так же законодательство должно не только охранять договоры, уже заключенные, но и при их заключении ограждать слабого от сильного, менее умного и знающего от более умного и знающего, давая первому возможность хорошо уяснить себе условия, которые могут впоследствии обратиться ему во вред. Только тогда закон есть орудие нрав-

ственности, орудие прогресса, когда он охраняет святость честного договора и становится препятствием бесчестному.

Если же законодательство не имело этого в виду, а, собственно, опирается на фикцию, что большинство действий может быть предметом договора, что договаривающиеся равно понимают смысл и силу договора и имели равную возможность не заключать его, тогда он становится капканом для слабых в руках сильных и развивает одну лишь сторону в обществе: обдуманность и осторожность, как последствие всеобщего взаимного недоверия. Тогда боги, хранители клятвы, обращаются в метафизического бога — государство, у которого место нравственности занимают томы кодекса. Честность бледнеет пред законностью, и находятся такие нравственные уроды, которые воображают, что, исполнив букву постановления, они честны. Общественный же суд теряет всякий смысл, как потому, что перед оправданием и осуждением по закону оказываются ничтожными заявления общественного мнения, так и потому, что формальная исправность, входя в привычки общества, постепенно заменяет собою привычки честного понимания и честного исполнения данного обязательства.

Естественно, что при подобном положении дел особенно возвышаются две общественные формы. Так как по самой сущности договор есть перенесение на все жизненные отношения отношений коммерческих, то вся выгода законности, освящающей полную свободу договора, достается элементу промышленному. Промышленная конкуренция становится типом общественных отношений. Семейная связь, общежительность, государственная служба получают колорит коммерческой сделки; литература, наука, искусство — характер ремесленного производства. Личности, удобнее других поставленные, имеющие возможность лучше других оценить силу договора и во-время заключить его, получают широкую способность развиваться; богатство и блеск общественности возрастают; фабричная техника делает громадные успехи; она стремится обратить науку и искусство в простые орудия для своего усовершенствования. Напротив, менее удобно поставленные личности получают все менее и менее способности развиваться, даже устоять. Их давят не только сильные личности, их давит еще неодолимая сила пунктов закона. Биржа и фабрика охватывают все более и более общественных элементов.

С другой стороны, так как закон держится лишь силою государства, то государство получает все более и более значения в сфере жизни и в сфере мысли. В иных случаях под маскою лучшего наблюдения за законностью течения дел усиливается административная централизация и раз-

ветвляется административная сеть. В других случаях идол славы и чести отвлеченного государства требует беспрестанных жертв бездушного имущества и одушевленного персонала. В сфере же мысли развивается теория богопочитания государства, отожествления с ним всех высших человеческих идеалов, и мыслители ищут прогресс общества в усилении именно этого элемента, который при прогрессивном развитии общества должен подвергаться, как мы увидим, совсем иному процессу.

Но усиление промышленного и государственного начала в обществе вызывает еще одно явление при подобном положении дел. Так как сильнейшие личности, при несколько удобной обстановке, легко пробиваются в ряды счастливейшего меньшинства, то самые сильные умы не испытывают в значительной мере неудобств общественного строя, относятся к нему критически лишь в сфере мысли и не только скоро примиряются с этими неудобствами, но большею частью, по самой силе вещей, становятся в ряды защитников status quo. Все же недовольное охватывается так крепко сетью администрации и кодекса, что критика существующего высказаться не может или высказывается слишком слабо. Вследствие этого государство приближается к знаменитому идеалу наипрочнейшего общественного строя, что, выражаясь правильнее и нагляднее, должно было бы назвать идеалом застоя. Прочнее и прочнее устанавливается в обществе культурный элемент привычки и предания. Мысль работает все труднее под условиями коммерческой выгоды и законных стеснений. И она входит все более и более в колею обычных взглядов, традиционных форм. Жизнь в обществе начинает убывать; человечность его уменьшается; вероятность прогресса становится меньше.

Конечно, и при этом встречаются в обществе обыкновенно элементы, на которые может опереться мысль в своей критической работе. Государственное начало входит иногда в столкновение с экономическим: или в среде класса, занимающегося экономическими вопросами, более дальновидные люди начинают замечать опасность, угрожающую обществу как от подавления интересов большинства, так и от возможности застоя; или наука — в которой нуждаются как промышленность, так и государство — становится орудием общественной критики и прогресса; или, наконец, мысль работает в подавленном большинстве и вызывает взрыв, который, в свою очередь, пробуждает общество к новой жизни. Последние сто лет представили ряд примеров тому, как, при усилении взаимодействия промышленного и государственного элементов в общественной жизни, обще-

ственное недовольство приводило к более или менее крупным реформистским движениям и, в случае отсутствия легальных путей для реформ, к революционным взрывам. В конце XVIII века французская буржуазия имела уже достаточную экономическую и интеллектуальную силу, чтобы, опираясь на подавленные и эксплоатируемые государством массы народа, при отсутствии всяких легальных уступок со стороны старого режима, произвести чисто политический переворот в свою пользу. В тридцатых годах, опять-таки опираясь на недовольные массы, не сознавшие своего классового противоположения буржуазии, последняя явилась как бы представителем правового государства против полицейского, но, в сущности, закрепила за собой лишь легальное и экономическое господство. В настоящее время сознание классовой борьбы все более проникает и в теоретические работы социологов, и в волнующиеся массы рабочего класса; последние все расширяют свою организацию, которой фатально способствует самый процесс капиталистического хозяйства, стремящийся централизовать имущество и вызывающий неотвратимый ряд промышленных, торговых и биржевых крахов; правительства и господствующие классы Европы и Америки употребляют все усилия, чтобы предотвратить приближающуюся катастрофу, которая должна охватить все сферы общественной жизни на почве переворота экономического. И здесь еще есть возможность, что уступки, сделанные своевременно господствующими классами легальным путем, облегчат переход к новому строю; но с каждым днем эта возможность уменьшается, а с тем вместе растет вероятность более острой и кровавой катастрофы.

Но здесь мне пришлось уже говорить о таких путях решения общественных вопросов, которые лежат вне власти юридической. В связи с предыдущим, обращу особенное внимание на то обстоятельство, что переход нравственного начала договора в формальное начало закона не есть прогрессивное явление, точно так же, как замена честности законностью есть явление антипрогрессивное. Я уже говорил в девятом письме о том, что закон сам по себе, как все *великие принципы,* может быть и орудием прогресса и орудием реакции. Из всего предыдущего можно заключить, что истинная идеализация закона должна иметь свой источник для него, как и для договора — мало-по-малу переходящего в закон — *в других* началах. Лишь эти вспомогательные начала, дополняя и регулируя принципы договора и закона, могут устранить стремление к застою, лежащее в сущности легального формализма.

Договор освящается убеждением личности в минуту его заключения, точно так же, как искренностью ее в ми-

нуту его исполнения. Закон освящается убеждением личности, что он есть благо, в том ли смысле, что он ограждает честный договор и преследует бесчестный, или в том, что большее зло произойдет от сопротивления закону, чем от его исполнения. В присутствии договора, требующего действий искренних в далеком будущем, личность находится в присутствии возможности нравственного преступления. Кто принял подобное обязательство, о том можно лишь жалеть, потому что дилемма нарушения обязательства или продажи непродажного для него почти неизбежна. В присутствии закона, противного личному убеждению, положение личности нравственно легче. Во многих государствах сам закон указывает личности пути для критики закона и для влияния на устранение отживающих юридических форм: это исход легальный. Если это не имеет места, то личности приходится стать в ряды борцов против непризнаваемого ею закона и против строя, не дозволяющего его критики; каковы бы ни были последствия, убежденная личность может при этом всегда сказать себе: я поступаю по убеждению; пусть закон карает меня: это исход нравственный. Есть еще исход, так называемый утилитарный, когда личность, в виду наибольшей пользы, подчиняет свое убеждение не оправдываемому этим убеждением закону; но тут всегда останется трудно разрешимым вопрос: есть ли зло нравственно худшее, чем поступок, противный убеждению? Прогресс общества зависит несравненно более от силы и ясности убеждений личностей, составляющих общество, чем от сохранения каких бы то ни было культурных форм.

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

„Государство"

Хотя ни об одном из великих общественных принципов нельзя сказать, что им не злоупотребляли, идеализируя его, но едва ли в последний период какой-либо принцип подвергался в такой мере подобной операции, как принцип *государства*. Это, конечно, имело свою логическую причину. Против феодального самовольства, против теократических стремлений католицизма, против деспотических стремлений личностей правителей этот принцип служил отличным орудием. Прогрессивная партия новой Европы, боровшаяся поочередно против этих стремлений, не замедлила его выставить на своем знамени. В период перехода от средних веков к новому времени люди государственного принципа, юристы, действовали в союзе с государями Европы, помогая им победить феодалов и клерикалов. Борьба шла между

хищническими силами, но, во имя принципа государства, идеализация разукрашала деятельность Людовика XI [310], Фердинанда Католического [311], Ивана Грозного и т. п., облекала ее ореолом разумности и стремления к общему благу. К концу XVII века, когда Людовик XIV и Стюарты [312] были уже преобладающею силою над прочими, прогрессивная партия противопоставила фразе: «государство, это — я» другую фразу: «государство, это — общее благо» и повела борьбу против произвола во имя законности. Но тут произошло явление, о котором я упоминал. Слово государство оказалось достаточно гибким, чтобы допускать весьма различные смыслы. Одни понимали его в смысле усиления правительства, другие — в смысле его ограничения возможно широким участием общества в политических делах. Одни напирали на увеличение объема государства, на его внешнее влияние; другие ставили выше всего механическую связь его частей путем искусной администрации, единообразных законов, единообразных форм жизни на всей его территории; третьи доказывали, что лишь органическая связь живых и достаточно самостоятельных центров, соединенных общностью ясно сознанных интересов, составляет государство. Оказалось необходимым вести полемику не *за* государство или *против* него, а уяснить себе, в *чем* именно состоит настоящее идеальное государство. Относительно того, что именно государство есть главный общественный принцип, казалось, и спорить было нечего. Кроме закоченелых феодалов и клерикалов, все были в этом согласны, а победы, одержанные государственным принципом над средневековыми началами и над произволом личностей, были у всех в свежей памяти. Таким образом, консерваторы и прогрессисты, монархисты и республиканцы, люди порядка и люди революции, практики и философы сходились в одном — в признании государства высшим принципом, право которого не может быть поставлено рядом с другими правами, а есть право высшее и допускающее некоторые ограничения более из гуманности, чем из признания иных прав. Около тридцатых годов нашего века обоготворение государства достигло своего апогея, и последний великий представитель немецкого идеализма, Гегель, был в то же время и мыслителем, который наиболее открыто высказал это обоготворение.

Но история шла вперед, и критика, уяснявшая истинный смысл государства, делала свое дело. Политическая экономия открыла в общественной жизни начала, чуждые политике, но несравненно глубже ее обусловливающие общее благо или страдание, а влияние биржи на политические дела перевело теоретические соображения политико-экономов

в область практики. Принцип национальности, просмотренный идеалистами, заявил свои права на контроль распоряжений дипломатов относительно границ территорий, и его заявления оказались во многих случаях так эффектны, что принцип государства должен был *подчиниться* новому (а в сущности, очень старому) началу. Наконец, оказалось, что современному общественному строю грозят не столько политические перевороты, сколько перевороты социальные; что политические партии смешиваются и значение их бледнеет перед антагонизмом экономических классов. К тому же, в числе теоретиков государства одна консервативная партия оказала ему медвежью услугу, доказав, что государство есть, собственно, не продукт разума и обдуманности, а естественное культурное явление в общественной жизни. Этим думали, конечно, придать ему добавочную прочность, но, в сущности, подрывали его идеалистическое значение: все необходимое и чисто естественное человек стремится осмыслить и переработать. Следовательно, является вопрос: не должно ли переработать и естественное явление государства в высший продукт так, чтобы доля человеческого разума превзошла в нем долю естественного материала?

Все это заставляет в наше время отнестись гораздо более критически к началу, недавно еще боготворимому [313], вскрыть его ложную идеализацию и заменить ее идеализациею истинною, т. е., дойдя до естественной основы государства в ее простейшей форме, указать, каким путем этот принцип доступен прогрессивному процессу; каким образом он может удовлетворять условиям развития личности и воплощения истины и справедливости в общественные формы.

Пока люди живут вместе, преследуя экономические, нравственные и умственные цели, которые каждый может изменять свободно или даже отступаться от них, не опасаясь никакого принуждения, до тех пор люди состоят в *общественной* связи, чуждой всего юридического и политического. Как только они вступают в договор, обязательный для договаривающихся, то их общество вступает в новый фазис жизни. Оно связано только *юридически,* если принудительная сила, наблюдающая за исполнением договора, принадлежит лицам, в договоре не участвующим. Оно становится *политическим,* когда в среде самого общества образуется власть, обязывающая членов общества к исполнению договора. Политическое общество становится *государством,* когда договор, обязательный для членов, в него вступивших, оно обращает в обязательный и для лиц, никогда не спрошенных об их согласии или соглашающихся на него лишь из опасения личного вреда в случае сопротивления

ему. Ученое общество, легально-коммерческое товарищество, тайная политическая организация представляют примеры первых трех форм.

Из предыдущего понятно, что государство столь же древне, как насильственное подчинение личностей условиям, ими не выбранным. Так как всегда было в обществе огромное число личностей, которые, по недостатку умственного развития, знания, энергии, нуждались в том, чтоб другие личности, более умные, знающие и энергические, выбирали для них условия жизни, то государственный строй коренился в первых дородовых и родовых человеческих группах, в первых бродячих племенах и до сих пор вовсе не ограничивается тем, что называется *политическими органами* общества. Всюду, где человек, не рассуждая, подчиняется условиям жизни, им не выбранным, он подчиняется государственному началу.

Предыдущее уясняет и те два противоположные взгляда на государство, о которых я говорил в начале 12-го письма. Принцип государственной обязательности, конечно, есть продукт совершенно естественный, восходящий в глубокую древность и даже тем более обширный в своем приложении, чем далее мы будем уходить в древность. Сначала он является как физическое господство одних лиц над другими, затем переходит в зависимость экономическую, наконец, уже путем идеализации, становится силою нравственною.

Но на самых первых ступенях развития государства проявляется в нем и элемент договора, отличающий его от простого подчинения личностей личности. Взрослый и сильный глава семьи властвует над малолетками и над слабыми женщинами не на основании государственного принципа принудительности, а на основании личного преобладания. Точно так же пророк повелевает верующими вследствие личного влияния. Государственный элемент является в семье, когда есть взрослые члены, которые могли бы не повиноваться главе, но *помогают* ему повелевать другими; в религиозной секте — когда пророка окружают не только исполнители, но и *помощники*. И вообще, государство возникает тогда, когда группа личностей во имя своих, хорошо или дурно понятых, интересов *поддерживает* добровольно обязательность некоторых постановлений, исходящих от лица, от учреждения, от выборного совета, обязательность, распространяющуюся на другие лица, *не приступившие* добровольно к этому союзу. Следовательно, к принципу *принудительности* присоединяется здесь начало *договора* с тою особенностью, что договор заключает меньшее число лиц, а принудительность распространяется на большее число их.

Конечно, это распространение начала договора изменяет его существенно. Весь нравственный и юридический смысл договора лежит, как мы видели, в обязательности *честного* человека исполнить условие, обдуманно на себя *принятое*. Но здесь договор заключают, в действительности, *одни* лица, а фикция его распространяется *и на других*. Заключение договора одним лицом от имени других, вовсе не имеющих понятия о заключаемом договоре, но, тем не менее, обязанных исполнять его, нарушает самые элементарные требования справедливости, следовательно — противоречит понятию о прогрессе. Как посмотрел бы юрист на контракт, обязательный для сотен, тысяч и миллионов, но о котором достоверно известно, что его составили, утвердили и сделали обязательным несколько человек, никем не уполномоченных подписывать подобный контракт? Насколько можно признать справедливым контракт, заключенный одним поколением и обязывающий ряд последующих поколений до тех пор, пока им не вздумается разорвать этот контракт насильственно или залить его кровью? Справедливости в подобных договорах, конечно, нет, и они предполагают лишь одно: существование сильной организации или значительного большинства лиц, для которых договор выгоден и которые, вследствие своей организации или своего большинства, заставляют подчиниться насильно государственному договору всех тех, которые им недовольны. Выйди из государства или исполняй государственный договор, — такова дилемма, которая стоит перед каждым подданным государства.

Если число недовольных этим договором незначительно, эта дилемма чувствительна лишь для них: им приходится страдать под ярмом ненавистных им законов или испытывать удовольствие жертвы самыми элементарными удобствами жизни, удовольствие тюремного заключения, ссылки, казни за неисполнение этих законов или за борьбу против них. Недовольные могут, наконец, эмигрировать. Пока партия этих недовольных состоит из разрозненных личностей, они всегда будут подавлены. Чем продолжительнее эпоха этого подавления и чем безобразнее при этом законный порядок, тем более деморализирующим образом действует подобная среда на личности, в ней живущие, атрофируя в них ясное понимание, энергию характера, способность иметь убеждения и бороться за них, наконец, — сознание общественной солидарности.

Но, по мере того, как недовольные собираются в растущую общественную силу и организуются, ими пренебрегать уже нельзя, и самому государственному строю грозят опасности. Эти опасности двоякого рода. Если недовольные рассеяны по всей территории государства или скучены

в его главных центрах, то государству грозит изменение основных законов путем реформы или путем революции. Если же недовольные скучены в одной части государства — ему грозит распадение. В обоих случаях государственная связь не прочна, и не прочна потому, что его законы представляют договор фиктивный, а не действительный: в нем находится значительное число личностей, которые обязаны подчиняться государственному договору, но никогда не были спрошены относительно его, никогда на него не соглашались и подчиняются ему лишь по бессилию, по недостатку энергии или по неумению сознать свои права и свои силы.

По мере того, как увеличивается участие личностей в государственном договоре, он становится прочнее: во-первых, потому, что его неудобства скорее узнаются, правильнее обсуждаются, легче могут быть устранены путем реформ, а не путем революций; во-вторых, потому, что *большее число личностей* признает государственный закон для себя обязательным договором, противники же его чувствуют себя все бессильнее и скорее ему подчиняются. Очевидно, что идеал государственного строя есть такое общество, в котором все члены смотрят на закон, как на взаимный договор, сознательно принятый всеми, допускающий изменение по общему согласию договаривающихся и принудительный лишь для тех, которые на него согласились, именно потому, что они на него согласились и за нарушение подлежат неустойке.

Но читатель сейчас заметит, что идеал, таким образом полученный из самой сущности государственного принципа, стремится к отрицанию того же самого принципа. Государство тем и отличается от других общественных форм, что в нем договор принят *меньшим* числом лиц и ими поддерживается как обязательный для *большего* числа. Два источника государственной связи — естественное начало принудительности и обдуманное начало договора — вступают в столкновение, потому что последнее, во имя справедливости, стремится уменьшить принудительность. Отсюда неизбежное следствие, что политический прогресс должен был заключаться в уменьшении государственного принципа в общественной жизни. Оно так в действительности и есть.

Политическая эволюция выражается в двух стремлениях. Во-первых, государственный элемент выделяется из всех общественных форм, вызванных наличными общественными потребностями, чтобы создать себе специальные органы. Во-вторых, насильственное подчинение большинства личностей государственному договору ограничивается все меньшим числом личностей, причем фиктивный договор государства получает более действительности, государственная

связь скрепляется, но в то же время сближается со связью просто общественною. Оба эти стремления можно назвать прогрессивными, потому что первое имеет в виду теоретическую истину государства, второе — внесение справедливости в государственные формы. Тем не менее, оба стремления, в процессе своего осуществления, должны привести государственный элемент в жизни человечества к его минимуму.

Когда власть мужа, отца и патриарха в семье потеряла в более цивилизованных обществах почти всю свою принудительную силу; когда экономические обязательства, в случае неисполнения, стали подлежать суду лиц, в них не заинтересованных; когда судебный элемент отделился от церковного и административного, — тогда принудительность закона легла на долю человеческой деятельности не особенно значительную. Весьма многие лица могли прожить всю жизнь, почти не чувствуя на себе давления государственного элемента. Роли разных общественных форм изменились в теориях мыслителей. Идеал семьи обратился в свободный союз любящих и в разумное педагогическое действие старшего поколения на младшее. Идеал руководящей и нетерпимой церкви заменился требованием свободы личной совести, свободного союза верующих для практических задач их верования. Идеал экономического союза обратился в представление о свободном, солидарном обществе, где не существует общественных паразитов; где конкуренция исчезла, заменившись всеобщей кооперацией; где все трудятся для всеобщего благосостояния и для всеобщего развития, причем труд, сделавшись разнообразным и соединяя элементы мышечной и мозговой работы, не только не является элементом тягостным и отупляющим, но сам заключает в себе элемент наслаждения и развития; где всякий получает от солидарного общества все, что ему необходимо для существования и для всестороннего развития по его личным потребностям, работая по мере своих сил для общества, развитие которого сознается им в то же время как собственное развитие.

Таким образом, элемент принудительности, распространявшийся сперва на семью, на экономическую связь рабовладельца с рабом, помещика с крепостным, собственника с пролетарием, на суд в его формах патримониальной, церковной, чиновничьей, — теряет мало-по-малу свою силу во всех этих областях. Правда, культурные привычки еще поддерживают деспотизм в семье; капитал все властвует над пролетарием; несменяемый, выборный судья и независимый присяжный, вследствие личного интереса, еще подчиняются иногда административным указаниям; эти пред-

ставители «общественной совести» суть слишком часто лишь представители сословных и классовых интересов. В иных случаях здесь перед нами лишь частные злоупотребления, неизбежные в обществе, где идейное начало руководит лишь наиболее развитым, но незначительным меньшинством, тогда как большинство действует под влиянием личных и групповых интересов. В других — мы имеем результат классовой борьбы, которая все обостряется по мере того, как она ведется более сознательно; здесь зло может быть устранено лишь с прекращением самой борьбы, и его проявление уже не зависит от элемента принудительности в частных случаях, а лишь от принудительно-невыгодного положения в настоящем обществе одного класса относительно другого. Против всех форм элемента принудительности борьба идет и будет итти во имя идеалов, уже отчасти признанных и которые естественным путем стремятся осуществиться все полнее. Одна доля этих идеалов уже осуществляется в современном строе во имя свободной конкуренции личностей, вполне независимо от других результатов этого принципа. Другая должна осуществиться при замене этой конкуренции всеобщей кооперацией, и многие мыслители считают дозволительным надеяться, что тогда последние следы принудительного элемента в обществе могут исчезнуть.

Но, чем менее идеал общественных форм допускает элемент принудительности, чем более он требует свободы, тем более он должен быть охранен от случайных злоупотреблений личности. Принимая даже, что личность, действующая нравственно и разумно во всех этих сферах, не допустит себя до принудительности, следует помнить сказанное в письме десятом, именно — что нравственно-разумная деятельность есть лишь *один* из видов человеческой деятельности; что вне его человек может действовать автоматически под влиянием животных влечений, рутины или страстей. Можно надеяться, что прогресс в человечестве уменьшит долю действий, приходящуюся на эти виды деятельности; но, пока они налицо, пока умственное и нравственное развитие личностей еще весьма недостаточно, приходится охранять слабейших от действий сильнейших. Эта охрана неизбежно принимает характер принуждения, следовательно — заключает в себе элемент государственный. Конечно, и здесь этот элемент стремится к своему минимуму, но, тем не менее, он существует, пока прогресс не изменит значительно наклонностей и привычек человека. Устраняя произвол личности и администрации, общество стремится обратить при этом свои государственные органы лишь в исполнителей безличного закона и

ограничить роль государства наблюдением за отсутствием принудительности, охранением слабейших от принуждения со стороны сильнейших. Как семьянин, как верующий, как участник экономического предприятия, человек старается ограничить государственный строй, которому он подчиняется, лишь безличною формою закона, истолкованного и приложенного судьею, чуждым всякого государственного интереса.

Тут кончается прогрессивный процесс политических начал в обществе в своем первом стремлении, именно — как выделение государственного отправления из прочих. Ложная идеализация подчинения власти во всех общественных сферах разрушается началом свободного союза. Истинная идеализация государства требует от него справедливости (охранения слабых, охранения честного договора, препятствования бесчестному), доводит государственную функцию в этом отношении до минимума и представляет в будущности ее естественное дальнейшее уменьшение вследствие совершенствования самих личностей. Препятствия прогрессу в этом отношении лежат более в старых привычках общества, чем в самой сущности дела. Преимущественно же они заключаются в недостаточно быстром уменьшении числа личностей, насильственно подчиненных государственному договору.

Это второе политическое стремление встречает несравненно значительнейшие препятствия; тем не менее, оно тесно связано с первым. Все предыдущее развитие общественных идеалов точно так же, как охранительная роль государства, опирается на предположение, что закон соответствует жизненным потребностям общества. Но это есть одна из форм ложной идеализации этого *великого принципа*. Закон сам по себе, как мы видели, не только не заключает в себе причины развиваться с развитием общества, но скорее склонен заковать общество в формы культуры и привести его к застою. Лишь в других, дополнительных, началах заключается возможность развития для законодательства, именно — в альтруистических аффектах, в лучше понятых интересах личностей и групп, в нравственных убеждениях. Закон можно развивать, а сам он развиваться не может. Справедливость требует, чтобы он, в своем происхождении, существовании и отмене, все более и более терял начало принудительности. Это совершается увеличением участия общества в законодательстве. По мере того, как последнее переходит к обществу и к его свободно выбранным представителям, сам закон дает средство исправлять законы. Вполне деморализующая общество форма правительства, власть которого ограничена лишь обычаем, переходит в разнообразные формы

сословного и полицейского государства, где уже некоторая доля населения по праву влияет на ход дел; затем проникается задачами правового государства, где лишь экономические условия классовой борьбы ограничивают для масс это влияние. Государственный союз все более приближается к общественному. Государство все более принимает характер союза лиц, заключивших свободный договор и свободно его изменяющих. Принудительность государственного договора уменьшается и стремится еще уменьшиться. Идеал государства, как я уже говорил, обращается в представление о таком союзе, где лишь тот подчинен договору, кто имел средства и возможность обсудить договор, обсудил и признал его свободно, может отказаться столь же свободно от его исполнения, отказываясь и от всех его последствий.

Но возможно ли осуществление подобного идеала? Возможно ли, вообще, значительное прогрессивное движение в обществе в подобном направлении? Не существует ли непреодолимых естественных или исторических препятствий на этом пути? Эти вопросы невольно возникают, когда сравним настоящее положение цивилизованных народов с теми идеалами, которые перед этим поставлены, и когда заметим, как далеки последние от осуществления.

Знание и энергия характера суть необходимые условия для того, чтобы личность могла отстоять свою свободу и ею пользоваться, не нарушая чужой свободы; но распространение знаний и развитие характера так незначительны в среде человечества, что нельзя ничего ожидать иного от современного строя, кроме обязательного подчинения большинства условиям, установленным меньшинством. Всюду государство еще представляется нам массою лиц, при самом рождении подчиненных данному кодексу и объявляемых преступниками или изменниками, если они впоследствии заявляют свое несогласие с политическими формами, о которых спрошены не были. Небольшое меньшинство из этой массы достигает такого развития, что может только указать, что́ именно в формах, стеснительных для массы, особенно тяжело и чем именно желательно его заменить, чтобы путем реформы улучшить состояние общества, не ослабляя государственной связи. Из этой политической интеллигенции лишь небольшое меньшинство достигает положения, при котором оно может провести свои взгляды в дело путем законодательства или хотя бы попробовать сделать это. Тем не менее, работа этого меньшинства отражается в истории. Все уменьшается число стран, вступивших в эту историю, но продолжающих сохранять архаические формы ничем не ограниченной власти, как в нашем отечестве. В наиболее передовых странах правительство, господствующее

над государственным договором, составляется путем избрания доверенных представителей от массы, подчиненной закону, и число избирателей увеличивается по возможности. Право участия в пересмотре договора все расширяется: патриции допускают политическую равноправность плебеев; третье сословие смешивается с дворянством и духовенством; билли парламентской реформы понижают цензы; вообще, право выбора взрослых мужчин делается законом; выступают защитники политических прав женщин. Но, как ни широко право избрания и как ни велика разница между политическим строем Северо-Американских штатов и строем азиатского ханства или Российской империи, — тем не менее, в обеих этих крайних формах, как и во всех промежуточных, остается общая черта: подчинение значительного числа личностей юридическому договору или классовому господству, которых эти личности не обсуждали, или относительно которых они заявляют свое несогласие. Государство всюду остается насильственным обязательством для более или менее значительной части населения данной территории.

В этом последнем слове именно лежит стеснительность государственного договора для личности. Человек родился в данной местности. Эта местность входит в данную территорию, так как ряд событий более или менее отдаленных периодов разграничил всю обитаемую землю на политические территории. Родясь здесь, он подчинен и здешним законам, которых он не обсуждал, не принимал, а в большей части случаев и не будет никогда иметь возможности обсуждать. Между тем, они давят его, мешают его развитию, противоречат его искреннему убеждению и бросают его в ряды недовольных. Оставить отечество, это — горькое решение, которое иногда даже и невозможно принять, а во всяком случае — трудно. Подчиниться против убеждения, это — унижение достоинства личности. Остается один исход: борьба, со всеми ее шансами и печальными последствиями для личности, вступление ее в ряды партий реформы или революции. Я уже говорил о пути, которому неизбежно следуют при этом образующиеся партии. Но теперь нам следует обратить внимание на другое обстоятельство, именно на опасность, которою грозит государственному организму присутствие в нем борющихся политических партий, и на расстройство, вносимое этою борьбою в общественную жизнь вообще. Присутствие недовольных на государственной территории заставляет государство тратить несоразмерное количество сил на охранение законов от их нарушения, на поддержание своего влияния в обществе. Это отвлекает силы общества от производительной и развивающей деятельности в других сферах его жизни к деятельности, ко-

торая, как мы видели, по требованиям прогресса должна быть доведена до минимума. Это развивает в обществе раздражение, взаимное недоверие его членов и, следовательно, становится постоянным препятствием к здоровой общественной кооперации. Здесь консервативное собрание забаллотировывает весьма хорошего и полезного юриста, предлагаемого в судебную должность, потому что он иначе думает о лучшей форме правления; там либеральная редакция не может купить роман человека, заявившего себя консерватором; тут сменяют профессора ботаники, потому что его взгляды на экономический вопрос кажутся опасными для министра; а здесь приятели готовы стреляться из-за смертного приговора над полоумным. Чем обширнее государственная территория, тем вероятнее, при данной причине неудовольствия, что в ней будет более недовольных; тем труднее следить за ними; тем значительнее трата сил на непроизводительный для общества процесс охранения того элемента, который сам должен бы ограничиться только ролью охранителя. Но усиление подобных мер еще увеличивает обыкновенно недовольство, и прочность общественного строя становится более и более сомнительною. Он поражен болезнью хронического недоверия и беспокойства, припадки которого вызываются самыми пустыми случаями. Если даже дело не доходит до мятежа, то все физиологические правильные действия общественного организма извращаются, общество деморализуется, и солидарность его исчезает.

Но несравненно большие опасности грозят государствам с обширною территориею, если законы вызывают недовольство не личное, а местное; если они представляют более или менее добровольно признаваемый договор в одной части территории, но вызывают вражду населения в другой ее части. Разграничение политических территорий происходило в продолжение всей истории очень редко под влиянием ясно понятых потребностей населения. Но и те случаи, где их пределы были установлены ясно понятыми потребностями данной эпохи, не представляют еще ручательства, что разумная связь частей территории останется надолго прочною и разумною. Потребности населения в данную эпоху не суть еще потребности его во все эпохи, и, развиваясь, общество может точно так же скреплять связь между своими членами, как и давать начало разнородным интересам, обособляющим местности, прежде не имевшие повода к обособлению. Сепаратизм может иметь источником весьма бестолковые побуждения, точно так же, как и весьма разумные основания. Но он всегда есть начало, ослабляющее общество.[1] Ослабление здесь надо понимать вовсе не в том смысле, что государственному центру, повелевавшему территориею в 100 000

кв. миль, грозит уменьшение ее на какие-нибудь 20 000, с уменьшением доходов на несколько миллионов франков. Отделение американских колоний не ослабило Англии, как не особенно ослабила бы ее, вероятно, самостоятельность Индии и Австралии. Сепаратизм ослабляет общество тем, что он есть начало раздора и недоверия внутри общества; вызывает охлаждение одной части граждан к общему делу; заставляет другую часть тратить — большею частью непроизводительно — на охранение государственного единства огромные капиталы в деньгах и в людях, когда эти капиталы нужны на развитие общества. Если сепаратистские попытки остаются неудачными, все еще долго в памяти победителей и побежденных живет подозрительность и вражда. Даже если разделение совершилось, нужно время, чтобы остыло предание вражды и чтобы недавние *невольные* союзники, вчерашние враги, пришли в спокойные отношения соседей, товарищей по общечеловечному делу, *добровольных* союзников для определенной цели. Лишь потрясения первой французской революции и более широкие политические идеалы, ею поставленные, сгладили нерасположение Бретани и Южной Франции к преобладающему Парижу. Память борьбы XVIII века еще не исчезла между Джон Булем [314] и братцем Джонатаном [315], несмотря на их нынешние взаимные любезности. Еще много раз зазеленеют и пожелтеют листья деревьев на могилах, окружающих Ричмонд [316], прежде чем потомки янки и медноголовых вполне почувствуют себя снова гражданами одного государства. Поэтому государствам несравненно опаснее возникновение в их среде сепаратистских стремлений, чем самое разделение. Предупредить эти стремления составляет цель прогресса в государстве, где различие экономических условий, различие политического значения центров власти и остальной страны, различие круга политической деятельности личностей и политических партий всегда может возбудить недовольство. Насилие скрывает и временно отдаляет опасность, но она еще увеличивается для государства по мере увеличения в нем употребления насильственных мер. Во-первых, растет взаимное раздражение граждан, т. е. именно то, что составляет худшее зло сепаратизма; во-вторых, насильственные меры понижают человеческое достоинство и останавливают всякое развитие в обществе, которое к ним привыкает. Но усиление раздражения в обществе и понижение человеческого достоинства граждан суть явления, весьма ослабляющие государство и ставящие его в невыгодное отношение относительно соседей, а борьба государства с сепаратизмом может иметь в виду именно только его крепость извне.

В самом деле, если мы проследим фазисы истории, то заметим, что величина государств и крепкая связь их частей особенно важны были только с точки зрения их внешних отношений. Экономическое процветание, научное и художественное развитие общества, расширение прав личностей и более справедливые отношения между ними — могли иметь место так же хорошо и в маленьких государствах, как в больших. Даже представляя себе мир собранием отдельных самодержавных общин, мы не имели бы повода думать, что во всех упомянутых отношениях встретилось бы тут понижение прогресса, так как обширные экономические, ученые и тому подобные предприятия могли бы осуществляться путем союзов между общинами, заключенных исключительно для определенных целей.

Но совсем иное дело — внешние отношения. Государство с крепко организованною властью имеет огромное преимущество в войне и дипломатии при столкновении с союзом государств, даже превосходящим материально силы первого, если только разница цивилизаций не слишком огромна (как было в борьбе персов с греками). Тайна подготовки к борьбе и энергическое преследование дипломатической цели несравненно удобнее для одного государства, чем для союза самостоятельных держав. Не говорю уже о том, что союз государств может быть непрочен и фиктивен, а в таком случае маленькое государство может быть легко раздавлено большим, может сделаться жертвою его хищничества или может быть поставлено в необходимость следовать политике большего государства, оставаясь таким образом самодержавным лишь по имени. Во всяком случае, внешние сношения государств ставят вопрос о малых и больших государствах совсем на иную почву. Чем государство меньше, чем части его слабее связаны между собою и чем географические условия его положения делают возможнее хищническое отношение к нему соседей, тем самостоятельность его подвержена большим опасностям; следовательно, тем и внутреннее развитие общества в нем менее прочно; тем более сил ему приходится тратить непроизводительно на приготовление к возможной внешней опасности и тем тяжелее эти несоразмерные траты ложатся на его население. При таком положении дел весьма понятно, что ложная идеализация видит во всяком увеличении государства его усиление, во всяком уменьшении — упадок. Конечно, иногда отделение части государства ослабляет его, но это тогда, когда часть эта составляет действительно органический элемент государственного тела, но отнята хищничеством соседа, как, например, это имело место при хищническом захвате

у Франции Эльзаса и Лотарингии новою Германскою империею. Подобные захваты действуют, конечно, очень болезненно на страну, которая подвергалась хищничеству, но опять-таки не столько в смысле ее реального ослабления, сколько потому, что в ней долго на первом плане всех государственных и общественных забот остается жажда возвращения потерянного и репрессалий. Но еще более патологически эти факты хищничества действуют на страну, которая их совершает. Это засвидетельствовали разделы Польши, деморализующее действие которых на все европейские державы не прекратилось до сих пор. Это свидетельствует теперь Эльзас и Лотарингия с их упорными сепаратистскими влечениями. Части, которые заражены глубоко вкоренившимися сепаратистскими стремлениями, отпадением своим чаще могут усилить государство, чем способствовать его упадку. Тем не менее, так как весьма трудно определить с точностью, насколько сепаратистские стремления данной части территории глубоко вкоренились в этой местности, так как весьма естественно ошибаться на этот счет и так как часто случается, что сепаратистские стремления лежат в интересах одного класса населения и противны интересам другого класса, то совершенно понятно, что в сомнительных случаях всякое государство борется с сепаратизмом своих частей и что обществу приходится тратить на эту борьбу громадное количество сил, иногда совершенно бесполезно. В присутствии других сильных государств, склонных к хищничеству, ни одно общество не желает быть слабым. Но отношения государств между собою сохранили еще в значительной степени первобытный характер хищничества. Все это ведет за собою неизбежные следствия. Так как существование больших исторических государств есть исторический факт, то он должен быть взят в соображение, и пока карта мира будет представлять несколько больших государств, до тех пор совершенно естественно будет стремление всех обществ сплотиться в большие и сильные государственные тела, для того чтобы обеспечить свое *самостоятельное* развитие; когда же государство уже сплотилось, в нем совершенно естественно стремление отстаивать всеми силами свою целость.

Таким образом, мы имеем пред собою дилемму. Чем государство меньше, следовательно, слабее для внешней борьбы, тем более ему грозит внешняя опасность потери самостоятельности; оно может оградить свою самостоятельность, лишь делаясь сильнее в этом отношении и увеличиваясь. Но, с тем вместе, растет различие в интересах его частей, различие политического влияния центров и остальной

страны; растет недовольство, и, следовательно, государство, ослабляемое сепаратизмом, подвергается большим внутренним опасностям.

Прогресс в государственном строе заключается, конечно, в стремлении к разрешению этой дилеммы, т. е. к постепенному устранению обоих неудобств, ею высказанных. Это достижимо теоретически лишь таким образом, чтобы государство сохраняло свое внешнее значение при возможно меньшем стеснении личностей внутри его и при допущении возможно широкой политической жизни в мелких центрах населения.

В Соединенных Штатах Северной Америки сделана попытка — до сих пор самая широкая в истории — соединить довольно сильное государственное единство, способное расшириться до каких угодно пределов, с возможно полной самостоятельностью главных центров. Но Северо-Американские Штаты представляют в этом отношении федерацию еще слишком крупных единиц, не допускающих всеобщего участия населения в важнейших функциях политической жизни штата, а потому не представляющих ручательства в том, что все население штата считает себя действительно солидарным с государственным договором, т. е. с конституцией штата. Точно так же теоретически и практически очевидно, что центральная конституция союза заключает в себе еще слишком много элементов, которые впоследствии могут быть переданы местным центрам без потери возможности для всего союза действовать, как одна государственная единица в отношении других государств. При движении Парижской коммуны 1871 г. была выставлена программа политически федеративного строя с более значительной долей самоуправления мелких центров, но условия борьбы не позволили этой программе развиться хотя бы до той степени, при которой она могла бы назваться политическим опытом.

Таким образом, предыдущая дилемма еще не разрешена нигде, но может быть разрешена более строгим разделением двух сторон государственной жизни: внутренней и внешней. Это, может быть, было бы осуществимо путем создания более совершенных форм федеративного строя, при прочном ли установлении общей территории по плану Соединенных Штатов Северной Америки, или при свободных временных федерациях для определенной цели, что́ вероятнее в будущем строе, к которому стремятся социалисты. В первом случае внешняя сторона государственной жизни, т. е. государство, как единичная сила в системе государств мира, оставаясь принадлежностью центральной власти, объединяющей территорию, может иметь

естественное стремление к расширению этой территории, но функция эта должна становиться менее и менее важной, по мере того как история сделает отношения между государствами менее хищническими и столкновения между ними менее вероятными. Внутренняя же сторона государственной жизни, т. е. именно та, которая может оказаться более или менее стеснительной для отдельных местностей и личностей и может вызывать наибольшее недовольство, должна переходить все полнее и полнее к мельчайшим центрам, допускающим действительное участие в политической деятельности почти всех взрослых личностей. В различии местного строя должно отразиться все разнообразие местных потребностей и местной культуры, причем гражданин, стесненный условиями политического строя одной местности, может перейти в другой местный центр, столь же полноправный политически, но более подходящий к его жизненному идеалу. Обширность территории в этом случае не только не может быть стеснительна, но скорее облегчает гражданина, так как, по мере этой обширности, растет и вероятность для него найти местный центр, соответствующий его желаниям; и в то же время он сохраняет сознание, что, заменяя одни политические условия жизни другими, он остается верен своему общему государственному отечеству. Центральная же власть может при этом удержать за собою охранение лишь тех законов, общих для всей территории, которые составляют не исторически выработанные условия культуры, не результат местных требований и временных увлечений, а неизменные выводы науки относительно общечеловеческой истины и общечеловеческой справедливости, именно того, что составляет указанные в предыдущих письмах условия прогресса и их прямые общие следствия. Научность и общечеловечность этих законов должны сами собою иметь следствием приложимость их ко всем личностям, независимо от культурного разнообразия общества. Обязательность и принудительность этих законов может иметь лишь тот смысл, что условия прогресса для всего общества обязательно охранить от частных увлечений личностей, но по мере развития общества эта обязательность может переходить все более из государственного закона в личное убеждение, следовательно, будет все более терять свою принудительность, т. е. все более будет сглаживаться особенность государственного строя от других политических связей.

При подобном положении дел отношение личностей к принудительности закона было бы совершенно отлично от того, что представляют нам все эпохи истории. Всегда личности менее развитые легче приноравливались к культуре

и, при менее сильной работе мысли, менее страдали от недостатков данного строя. Личности же наиболее развитые и всего сильнее работавшие мыслью, всего более чувствовали принудительность закона. В только что рассмотренном строе общества личности мыслящие встретят наименее препятствия в государственном порядке, потому что возможность дальнего перемещения, без оставления политического отечества, дозволит им жить в среде избранной ими культуры; а научность общегосударственных законов дозволит им направить свои силы не на изменение политических условий, а на более жизненные интересы личного и общественного развития. Этим путем государственный элемент в жизни человечества стремился бы, как уже было сказано, к своему минимуму, по мере прогрессивного развития общества. Уменьшение столкновений государств уменьшало бы значение государственного элемента во внешних отношениях, а возрастание сознания в личностях и осуществления истины и справедливости в общественных формах уменьшало бы внутреннюю принудительность, как исходящую из общего государственного центра. Та же часть государственной функции, которая перешла бы к мелким частным центрам, потеряла бы свою принудительность, вследствие разнообразия местного политического строя, его соответствия с местной культурой и вследствие полной возможности для личности выбрать удобнейший политический строй, не выходя из пределов отечества. Этим путем местные центры стремились бы обратиться в свободный общественный союз, государство же стремилось бы основать свое существование и единство на обязательности разума, а не на историческом принуждении. Государственный договор сделался бы, с одной стороны, свободным договором личностей, с другой — результатом науки. Государственная связь перешла бы почти вполне в связь свободного общества. Но и на эту форму государственного строя приходилось бы смотреть, как на переходную к более совершенной и более свободной федерации мелких центров и групп, которую имеет в будущем в виду современный социализм.

«Но всего этого нет нигде, — скажет читатель. — Современные государства стоят настороже друг против друга, все усиливая свои вооружения и строго охраняя свою целость законами и наказаниями. Государственный договор обязателен для подданного, никогда не спрошенного, согласен ли он на этот договор, или нет; и тут также повиновение обеспечивается страхом наказаний. Наука остается на кафедрах и в книгах, не переходя в кодексы». — Конечно, нынешние государства, в том виде, как они существуют,

заключают в себе несравненно более следов минувшей истории, чем заметных стремлений к прогрессу. Ложная идеализация государственного механизма имеет еще много приверженцев. Истинная идеализация государства, как охранительного элемента общества, заключающего в себе самом стремление постоянно спускаться к минимуму, не только не осуществлена нигде, но еще и сознана очень немногими. Не будем порицать настоящего, потому что оно есть неизбежный результат прошедшего. Но в настоящем есть возможность прогресса, а прогресс для государства возможен лишь на одном пути. На этот путь помощью реформ или помощью революций должны стремиться направить существующие государства все те, кто понимает прогресс и желает служить ему. Если этот путь оказался бы невозможен, то прогресс для политического строя немыслим, а политическая история останется летописью общественной патологии.

Не покажется ли иному читателю прямым противоречием поставление для политического прогресса требования, чтобы государственный элемент в обществе уменьшался? Не покажется ли ему, что, ослабляя этот элемент в обществе во имя требований прогресса вообще, прогрессивная партия отнимает сама у себя лучшее орудие для борьбы с противником? — Мысль об уменьшении государственного элемента в обществе при его прогрессе есть вовсе не новая мысль. Ее высказал, между прочим, уже Фихте-старший [317] в труде, появившемся в 1813 году, и она с тех пор выражена была не раз. Анархисты-теоретики положили устранение государственного элемента в основу своего учения, отрицая необходимость его существования даже в эпоху упорной борьбы с сильными противниками прогресса, но с этим уже трудно согласиться. Ослабление государственного элемента, конечно, зависит от уменьшения необходимости защищать слабого, охранять свободу мысли и т. п. *государственными* силами. Пока существуют монополизаторы капиталов, огражденные законами, и пока большинство не имеет даже элементарных средств для развития, до тех пор государственные силы представляют необходимое орудие, которым стремится овладеть партия, борющаяся за прогресс или за регресс. При этих условиях критически мыслящие личности должны смотреть на него лишь как на орудие в этой борьбе, могут употреблять все усилия, чтобы овладеть необходимым орудием и направить его на выработку прогресса, на подавление регрессивных партий; но, употребляя это орудие, борцы за прогресс должны помнить, что оно имеет свои особенности, которые принуждают прогрессивного деятеля обращаться с ним крайне осторожно.

В борьбе совершенно естественно заботиться об усилении орудия, которым действуешь, но усиление государственной власти, по самой сущности ее, может быть вредно для общественного прогресса, едва лишь это усиление идет несколько далее крайней необходимости в данном частном случае. Оно соответствует всегда увеличению обязательного, насильственного элемента общественной жизни, всегда подавляет нравственное развитие личности и свободу критики. Это и составляет главное затруднение в прогрессивной деятельности государственными средствами. Это обусловливало неудачу или вред, принесенный знаменитыми реформаторами, которые декретировали прогресс в неподготовленном обществе. Меру употребления государственных сил в борьбе за прогресс в каждом частном случае определить трудно, но, кажется, всего вернее допустить, что эти силы могут с пользою быть употреблены лишь отрицательно, т. е. для подавления препятствий, противопоставляемых свободному развитию общества существующими культурными формами. Впрочем, это — вопрос крайне спорный. Пока государственный союз есть могущественная функция в борьбе за прогресс и за регресс, до тех пор критически мыслящая личность имеет право употреблять ее, как орудие для охранения слабых, для расширения истины и справедливости, для доставления личностям средства развиться физически, умственно и нравственно, для доставления большинству минимума удобств, необходимого для вступления на путь прогресса, для доставления мыслителю средств высказать свою мысль, а обществу возможность оценить ее, для сообщения общественным формам той гибкости, которая мешала бы им окоченеть и делала бы их доступными изменениям, благоприятным для расширения понимания истины и справедливости. Это справедливо не только для государства *так, как оно есть* в данную эпоху, но и для всех общественных форм, встречаемых личностью в культурной среде, как было сказано выше в письме восьмом. Но, работая *при пособии* государственного элемента для научного реализирования человеческих потребностей в других общественных формах, прогрессивный деятель должен помнить, что сама форма государственности не соответствует какой-либо особой реальной потребности; что она, следовательно, не может быть никогда *целью* прогрессивной деятельности, остается для нее во всех случаях лишь *средством* и потому должна изменяться сообразно другим *руководящим* целям. При крайней неправильности жизненных отправлений может встретиться необходимость в лечении весьма энергическом. При улучшении положения больного лекарства должны быть слабее.

Медик-человек знает, что лишь тогда пациент его здоров, когда для него достаточна правильная гигиена, а терапевтические средства устранены совсем.

Неужели человеческие общества могут ставить себе целью вечное политическое лечение, а не здоровую жизнь по правилам социологической гигиены?

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Естественные границы государства

В последнем письме я говорил о политическом прогрессе общества и пришел к тому результату, что этот прогресс заключается в уменьшении государственного элемента в общественной жизни. Мне пришлось указать, что современный строй общества еще очень недалеко ушел на пути этого прогресса и что государственное начало насильственного подчинения одной части населения территории условиям жизни, не обсужденным этой частью населения, есть общее правило для современных обществ. Такое положение дел тяготеет на личностях тем более, что государственные единицы стремятся расшириться для большего ручательства за успех в случае борьбы между государствами, а по мере расширения государственных единиц они захватывают местности, все более различающиеся между собой по экономическим и нравственным потребностям населения. Конечно, отдельные личности не в состоянии бороться против государства, захватывающего их жилища в свою территорию и налагающего на них обязанность подданства. Но для обеспечения личностей от беспрестанных случайностей подобного рода мыслители выставляли различные принципы, которые должны бы указать естественные пределы распространения государств. Если бы подобные принципы были установлены, то можно было бы научно определить для каждого государства законность или незаконность его существования, справедливость или несправедливость его завоевательных войн, словом — идеальную систему разделения поверхности земного шара на территории. Тогда всякое государство имело бы совершенно определенную цель для своего территориального развития, и при всяком отклонении от этой цели оно знало бы, что завещает следующим поколениям тяжелую борьбу, которая все-таки кончится тем, что государство будет когда-нибудь приведено к своим естественным границам. Может быть, подобное соображение устранило бы из истории человечества многие кровавые столкновения, много страданий и горя для личностей, так как надо предполагать, что хотя

некоторые руководители судеб народов сообразили бы, насколько нелепо проливать кровь и тратить капиталы на предприятия, по самой сущности своей противоречащие естественному течению событий.

Но до сих пор ни одного сколько-нибудь рационального принципа в этом отношении не было выставлено; естественные пределы государства оказались в большинстве случаев не более, как маскою для хищнических поползновений на захваты того или другого кусочка землицы. Если внимательно рассмотреть деятельность разных приобретателей, возвеличенных историей, то пределы, к которым они стремились для своих государств, окажутся в самом деле естественными, но совсем в ином смысле. Они руководствовались весьма простым принципом, сближающим человека с его меньшими зоологическими братьями: бери, что можешь; а при этом естественные пределы силы определяли и естественные пределы государства. Идеалом для таких приобретателей всегда было всемирное государство. Ни форма правительства, ни раса завоевателей, ни степень их цивилизации в этом случае не представляют ни малейшей разницы. Тамерлан, Людовик XIV, Александр Македонский, Наполеон I, римская республика, венецианская аристократия, северо-американская демократия — имели в виду одно и то же.

Если наши заатлантические друзья ограничиваются в своей политической программе материком нового света, то это не что иное, как временная стыдливость: во-первых, и программа овладения материком Америки уже довольно обширна, чтобы доставить не мало дела нескольким последовательным поколениям; во-вторых, государство, охватывающее весь материк Америки, будет неизбежно господствовать над всеми государствами мира; следовательно, их самостоятельность будет лишь кажущейся; наконец, в-третьих, что же помешало бы начертать вторую, более широкую программу, когда первая была бы выполнена?

Из разных принципов, выставленных до сих пор для определения естественных пределов государств, лишь два заслуживают особенного внимания; это — стратегические границы и границы национальностей.

Если существенное отношение между государствами есть борьба, то совершенно понятно принять за естественные пределы для каждого государства такие линии, за которыми оно наиболее обеспечено от нападений, т. е. может с наименьшими издержками оградить свою территорию от захватов. Но подобные линии оказываются целесообразными лишь в тех случаях, когда государство готово к обороне и проникнуто достаточной энергией для обороны,

да еще если силы обороняющегося не через меру уступают силам наступающего; иначе говоря, стратегические линии хороши лишь тогда, когда и без них оборона страны может быть весьма значительна. Если же указанные условия для нее не существуют, то стратегические границы не помогали никогда. Широкие реки и моря столь же мало останавливали искусных и энергических полководцев, как хребты гор, китайские стены и пресловутые четыреугольники крепостей. Для государства, сильного материально и нравственно, всюду оказывается достаточная стратегическая граница; в минуты политического ослабления такие границы существуют лишь на картах.

В последнее время получает более и более влияния на ход исторических событий принцип национальностей. Я говорил в одиннадцатом письме об отношении личности к этому принципу и о том, при каких условиях национальность может быть началом прогрессивным. Но там неудобно было разобрать обстоятельство, усложняющее вопрос, именно случай столкновения национальностей. Рассмотреть этот случай нельзя было, не взяв в соображение принцип государства, так как столкновение национальностей происходит или в форме столкновения государств или в форме борьбы внутри государства за его целость и за сепаратизм. Хотя история не раз доказывала, что войны происходят столь же часто между различными нациями, как и между обществами, принадлежащими к одной и той же национальности, но в последнее время многие считают вероятнейшим предохранительным средством от будущих войн и междоусобий принцип национальности в его приложении к определению естественных границ государства. В этом отношении он выражает двойственное стремление: первое — *положительное* — объединение личностей одной и той же национальности в одно государство, второе — *отрицательное* — освобождение личностей из государственного целого, образуемого национальностью им чуждой. Посмотрим, насколько можно считать прогрессивными эти два элемента национального принципа.

Первый из них может быть сведен на следующее положение: естественно и справедливо, чтобы один и тот же государственный договор был обязателен для всех личностей, которых культура связала языком, преданиями, образом жизни. — Весьма понятно, что культурная связь может существовать и для личностей, экономические, политические и умственные требования которых весьма различны. Две группы людей, говорящих на одном и том же языке, могут иметь совершенно различную обстановку. Промышленные и торговые центры могут быть общи для людей, имеющих

различный образ жизни, и различны для людей, сходных по образу жизни. Для одной части национальности интерес обороны своего существования от хищничества соседей может требовать большей централизации управления и высших прерогатив для власти, тогда как другая часть той же национальности, обеспеченная от внешних нападений свойством местности, на которой она обитает, не имеет нужды в подобной централизации и может стремиться свести принудительность государственного договора до минимума. Что же можно признать прогрессивным в объединении этих разнообразных групп одним государственным договором?

Неужели можно видеть прогресс в том, что политические условия, выработанные населением одной части данной территории, вследствие особенных интересов и потребностей этой части, будут обязательны для населения другой части той же территории, связанной с первой лишь единством языка и некоторыми другими особенностями культуры? Ни понимание истинных потребностей отдельных личностей, ни понимание справедливейших отношений между ними не может выиграть от этого искусственного соединения одним принудительным договором людей, имеющих весьма мало общего; в подобном соединении всего менее можно видеть внесение справедливости в общественные формы. Это соединение вносит в население государственной территории лишь взаимное раздражение, т. е. источник сепаратистских стремлений, который, как уже было сказано, опаснее самого распадения государства. Оно обращает государство все более и более в отвлеченное целое, а не в живую единицу, выдвигает все более и более на вид, при его объединении, не общность интересов, культурных привычек и вопросов в области мысли, а принудительность договора, поддержанного административной организацией и силой оружия. Поэтому, слитие обществ одной национальности в одно государство не представляет никакого ручательства в содействии прогрессу обществ, и чем значительнее распространение данной национальности, — следовательно, чем значительнее территория государства, ею образуемого, — тем вероятнее, что стеснение населения государственным договором усилится и явится большою помехою общественному прогрессу.

Но есть еще повод предполагать, что государственное объединение национальности скорее может противодействовать прогрессу общества, чем способствовать ему. Я говорил в прежних письмах о том, что на почве идеализации того или другого принципа в данном обществе в нем вырабатывается меньшинство, которое пользуется выгодами этой идеализации, и что, в виду прочности общества, на

этом меньшинстве лежит обязанность распространить эти выгоды на большинство. Хотя это было и нравственной обязанностью и заключало в себе требование пользы самого меньшинства, но подобная задача, как известно из истории, выполнялась в самых ограниченных размерах. Напротив, меньшинство, пользовавшееся благами данной цивилизации, хотело большею частью — вследствие дурно продуманного эгоизма — присвоить себе монополию выгод цивилизации, оставляя на долю большинства лишь ее тягости. Лучшим орудием для подобных стремлений обыкновенно служила и могла служить государственная организация. Помощью ее меньшинство монополистов цивилизации пыталось упрочить себе выгоды последней и подавлять всякую попытку к изменению порядка вещей в обществе, — изменению, которое имело бы целью внести в общество более справедливые отношения между личностями. Подобные попытки, вызываемые общественными страданиями, тем не менее, делались личностями. Являлись противники устарелых законов и форм правления. Шла пропаганда реформистов. Образовались более или менее энергические партии оппозиции существующему строю. Это был, как мы уже видели, единственный путь прогрессивного развития для общества. Следовательно, прогресс общества требовал, чтобы для отдельных личностей были *возможны* попытки критически относиться к существующему общественному строю, распространять свои идеи, собрать около себя единомышленников и образовать партию, которая вступила бы в борьбу за более истинное понимание и более справедливое осуществление общественных задач. В противном случае требование легальных реформ переходило в подготовление революции. Оппозиция вырабатывалась в мятежников; при выгодных условиях — в революционеров. Конечно, подобная борьба личностей за общественный прогресс имела главным орудием своим проповедь или агитацию словесную или письменную на языке того общества, строй которого имела в виду критика личностей и на которое им необходимо было подействовать для своих реформационных или революционных целей. Но столь же неизбежно было и то, что именно на эти личности направлялись в особенности удары государственной организации, имевшей в виду охранить монополию меньшинства в пользовании выгодами цивилизации. Поэтому, если все личности, говорившие данным языком, жили в пределах *одной* государственной территории, то действие личностей на население территории было очень затруднено; критическая мысль слабела; образование реформистских и революционных партий встречало значительные препятствия; личности, пытавшиеся вы-

вести общество на более прогрессивную дорогу, большею частью гибли в борьбе, и прогресс общества замедлялся. Напротив, когда несколько независимых государств употребляли один и тот же язык, то между ними весьма скоро возникало соперничество не только в сфере политического влияния, но и вообще в области мысли. Личности, критические стремления которых подвергали и могли подвергнуть их преследованию в одном государстве, находили убежище в другом. Их мысль крепла на свободе. Общность культурных условий в обоих государствах дозволяла легко распространиться слову и мысли из одного государства в другое, несмотря ни на какие препятствия. Партия прогресса усиливалась, и вероятность прогрессивных реформ в обществе становилась значительнее.

История представляет множество примеров в подтверждение этого положения. Разделение греческого мира на независимые центры способствовало развитию греческой мысли не только в эпоху свободных республик, но даже в эпоху деспотических диадохов. Единство римского государства раздавило развитие критической мысли. Феодальный мир Европы, несмотря на дикость его цивилизации, на крайнюю бедность его культуры, дал начало сатирической и полемической литературе, смелость которой едва вообразима во время ужасов инквизиции и полнейшего самоуправства властителей, не ставивших жизнь и свободу личности ни во что. Критика старой Франции в период Бурбонов сделалась возможна и влиятельна лишь потому, что ни Людовик XIV, ни Людовик XV [318] не могли помешать существованию французской литературы за пределами их государства, среди населения, говорившего по-французски. Едва ли германская философская мысль могла бы получить такое блестящее развитие и такое независимое отношение к своему предмету, если бы германские университеты не были рассеяны в независимых государствах, соперничавших в области мысли, как древние диадохи, несмотря на свою склонность к абсолютизму. Даже для древней Руси можно заметить, что преобладание северной Руси над южной и потом Москвы над Русью, при падении самостоятельных народоправств, шло вперед рядом с ослаблением работы мысли. В московской Руси критика могла уже проявляться лишь в форме Стеньки Разина [319] и раскола.

Все это приводит к заключению, что раздробление национальностей на независимые государства гораздо более способствует прогрессу обществ, входящих в состав данной национальности, чем соединение всей нации, говорящей каким-либо языком, под законы одного государства. Имея это в виду, прогрессивные партии должны более

заботиться о независимости территорий, лежащих за пределами их политического отечества, но имеющих с ним общий язык, чем о включении их в одно государство. Конечно, здравомыслящие французские прогрессисты в эпоху второй империи должны были видеть, что для них выгоднее, чтобы Бельгия и Женева остались независимыми, чем входили в державу наполеонидов. Там же, где подобных независимых территорий не оказывается, прогрессивная партия должна всеми силами заботиться о их образовании, так как они представляют важное пособие свободной критике личностей, распространению независимой мысли и усилению прогрессивной партии. Вообще можно сказать, что *положительная* сторона национального принципа в разделении территорий не должна считаться прогрессивною, и нация, стремящаяся к достижению естественных государственных границ в том смысле, чтобы в них включить все личности, говорящие ее языком, весьма ошибается, если видит в этом стремлении прогресс.

Отрицательная сторона принципа национальностей имеет большее значение. Различие языка и культурных привычек большею частью обусловливает достаточную разницу в экономических, политических и умственных потребностях, чтобы государственное единство, при этих условиях, сделалось крайне затруднительным. Большею частью при соединении различных национальностей в одно государство договор, их связующий, выгоден для одной национальности, стеснителен для другой и возбуждает их взаимную вражду. Исход столкновений может заключаться или в том, что сильнейшая национальность поедает слабейшую, подавляя мало-по-малу ее особенности, или в том, что государственное единство все более стремится перейти в федеративный союз отдельных государств. При этом совершенно естественно, что слабейшая национальность, всеми силами отстаивая свое существование, стремится составить особое государство, так как в противном случае ей грозит гибель. Борьба за свое существование есть борьба вполне законная, и стремление к государственному обособлению в этом случае совершенно естественно. Столь же естественно в виду борьбы между большими государствами, как я говорил в последнем письме, стремление государственной власти сохранить единство государственного целого. При этом сталкиваются два естественные стремления, но вопрос о справедливости и прогрессе нисколько не связан нераздельно с тем или другим. Как всякое другое знамя общественных партий, сепаратизм во имя принципа национальности и стремление поддержать государственное единство могут быть явлениями прогрессивными в одном случае,

ретроградными в другом. Решение вопроса зависит от совокупности обстоятельств, а не от которого-либо из них, взятого в отдельности.

Каждая национальность в данную эпоху своей истории лишь настолько имеет право на сочувствие мыслителя, насколько она в формах своей цивилизации осуществила стремления к истине и справедливости. При столкновении национальностей по вопросу о государственном единстве или сепаратизме победа во имя прогресса желательна для той национальности, которая воспитала в себе более критическое отношение к вопросам в области мысли, более живое стремление к практическому осуществлению того, что справедливее. Национальность, опирающаяся в своих требованиях на грубую силу численного преобладания, на предания, чуждые научной критике, на пережитые давно периоды истории, на трактаты, когда-то оградившие права хищников формою договора, — сама себе подписывает приговор в процессе исторического столкновения народов. История тем именно отличается от остальных процессов природы, что в ней явления не повторяются и прошедшее остается для нее лишь воспоминанием. Если бы во имя минувшего можно было переделывать настоящее, то подобная переделка не имела бы конца, так как за полувековым минувшим восстало бы минувшее вековое, за ним двухвековое и т. д., и т. д., каждое со *своими* легендарными столкновениями и желаниями, со *своими* героями и злодеями. Минувшее минуло и не может быть судьею настоящего. Судьею настоящего является еще неосуществленное будущее в его идеалах истины и справедливости, в том виде, в каком они живут в умах мыслителей настоящего.

Перед мыслителем в основе всего лежит неизменный закон природы, который нарушить нельзя ни для каких стремлений к лучшему, истиннейшему и справедливейшему. Перед мыслителем фактическое распределение материальных, умственных и нравственных сил в настоящем, распределение, обусловленное минувшей историей, которого не признать тоже нельзя из-за новых идеалов, потому что оно совершилось. Перед мыслителем идеалы истины и справедливости, выработанные вокруг него и в нем самом историей. В них заключаются движущие силы будущего, действие которых ограничено неизменными законами природы и данной почвой исторических фактов. Во имя этих идеалов и только во имя их можно объявить настоящее распределение сил правильным. Никакое другое право не может быть признано перед судом совершающейся истории. Национальность, которая хочет отстоять себя в борьбе за существование при невыгодных для нее условиях, должна

заявить себя представительницей лучших требований будущего, не ссылаясь на невозвратимое минувшее. Национальность, которая хочет преобладать над другими, должна отречься от всего, что сковывало жизнь народов с отжившими началами; должна возможно строже провести критику в области мысли и возможно лучше осуществить справедливость в области жизни. Вне этих способов нет прочных основ для государственного развития национальностей. Если они напишут на своем знамени призраки минувшего, то их существование будет всегда непрочно и призрачно, несмотря на героизм личностей, несмотря на сочувствие, которое всегда внушает зрителю отвага отчаянной борьбы слабого против сильного. Если нация скует себя с мумией безжизненных начал, то ни огромность территории, ни значительность материальных средств не дозволят ей прочного господства среди народов: ее мысль останется бесплодною, ее лучшие стремления будут поражены бессилием, и ей придется подчиниться умственно и нравственно народам, несравненно слабейшим ее. Лишь в истине и справедливости сила народов.

Поэтому и в борьбе за государственное единство или за сепаратизм тот из этих элементов есть представитель права, который написан на знамени национальности, вполне отрекшейся от призраков минувшего, вносящей критику в область мысли, справедливость в область жизни. Государство есть отвлеченное понятие, и если это понятие не заключает реального содержания, то оно становится идолом, пред которым приносить кровавые жертвы бессмысленно и безнравственно. Реальное содержание понятию дает лишь личность в своем развитии. Внеся в понятие о государстве требование истины и справедливости, личность обращает предрассудочного идола в неразделынй элемент высшего общественного идеала, и для этого идеала всякие жертвы разумны и справедливы. Обособление национальности устраняется, как несущественный вопрос, там, где государство, хотя издалека, подходит к идеальным требованиям, и это доказывает пример Северо-Американских Штатов, где эмигранты целого мира уже во втором поколении, а иногда и в первом, становятся просто американцами. Сепаратизм южных штатов не имел права заявлять себя перед конституцией, лучше которой еще ничего не представила история, и перед установлением равноправности рас, которой пришлось противопоставить лишь апологию невольничества. С другой стороны, многочисленные сепаратистские стремления в Европе и Южной Америке имели весьма часто право за себя, потому что государства, против целости которых вооружались сепаратисты, были весьма

далеки от допущения свободной критики в мысли и от воплощения справедливости в общественных формах. Здесь право склонялось тем более на сторону сепаратистов, чем прогрессивнее был государственный идеал, к которому они стремились при обособлении. Там же, где и защитники единства государства и сепаратисты спорят из-за мнений и из-за призраков минувшего, в весьма незначительной степени внося в свои требования идеалы современности, там идет борьба не за прогресс, не за человеческие стремления; там мыслитель отворачивается, сожалея о трате сил и крови. Там лишь любитель исторических мелодрам с жадностью следит за кровавой борьбой гладиаторов, за фанатическим самоотвержением рыцарей минувшего с их разнообразными девизами. Гомериды [320] будут всегда воспевать Ахиллов [321] и Гекторов [322], но какой смысл для Аристотеля имеет борьба за прекрасную Елену? [323]

Когда национальность прониклась требованиями истины и справедливости, когда она решилась разорвать с минувшим и служить прогрессу, то она имеет право отстаивать свое обособление от государственного единства, стесняющего ее стремления; или, если она достигла уже государственного преобладания, она имеет право употреблять самые энергические меры, чтобы отстоять свою прочность и материальную силу своей политической организации, рядом с соседями, стоящими на низшей ступени цивилизации. Прогрессивная национальность имеет право на выделение из менее прогрессивного государства. Прогрессивная национальность имеет право на подавление сепаратистских стремлений национальностей менее прогрессивных и связанных с нею исторически государственным договором. Но это последнее *абстрактное* право *никогда* не приходится прилагать на практике, так как прогрессивной национальности не приходится бороться с сепаратизмом всего населения части территории, а разве с одним классом жителей последней. Так северные штаты боролись не против всего населения южных, а против меньшинства населения, стремившегося удержать за собой власть над большинством. При подобных обстоятельствах борьба правомерна лишь в том случае, когда национальность, отстаивающая целость государства, действительно имеет в виду улучшить состояние подавленного большинства и может ему принести *действительно* высшие общественные начала, чем национальность, стремящаяся к сепаратизму. Так было в Америке.

Здесь нам представляется в новой форме рассмотренный уже выше вопрос: если государственное начало в своем прогрессивном развитии должно притти к минимуму, то не следует ли прогрессивным партиям устраниться вовсе

от международных политических вопросов и обратиться исключительно к другим сторонам общественной деятельности? Так как уже было сказано, что исторические условия составляют почву *возможного* для всякой деятельности, то в них надо искать и решение вопроса. Так как самые прогрессивные партии составляют еще меньшинство человечества и самые прогрессивные национальности подвергаются опасности хищнического насилия со стороны соседей, то они должны готовиться к борьбе, должны отстаивать прогресс и в том, чтобы доставить ему более материальной силы. Отсюда временная обязанность для прогрессивных партий не только отстаивать свои идеи путем критики и воплощать их путем убеждения, но и пользоваться существующими государственными организациями для того, чтобы бороться с враждебными партиями, стоящими во главе других государств.

Конечно, это — обязанность лишь временная, вызываемая хищничеством, которое господствует в сношениях между государствами, и опасностью политических войн. Мы видели, что политический прогресс заключается в доведении государственного элемента в обществе до минимума, т. е. в устранении всякой принудительности политического договора для личностей, с ним несогласных. Так как этот прогресс уничтожает сепаратистские стремления в самом их зародыше, то с тем вместе исчезнут и поводы борьбы между национальностями, поводы к стеснению одних национальностей другими во имя государственного единства. Вместе с тем потеряет свое значение и вопрос о естественных границах государств. Временные экономические, культурные или научные интересы должны сблизить общества и определить временную территорию федерации, имеющей определенную цель. Эта цель изменяет, расширяет и суживает границы федерации, которые остаются всегда естественными. Что касается до высшего единства, то, как мы видели в прошлом письме, оно должно быть скреплено общечеловеческою наукою, для которой естественных границ ни на какой карте начертить нельзя.

Согласится ли или не согласится со мною читатель, что таково возможное будущее, к которому следует стремиться, но относительно прошедшего он, конечно, очень хорошо знает, что дело было не так. Принудительное начало внутри государств и хищнические отношения между государствами преобладали. Совершенно естественно, что подобное положение дел было всего тяжелее тому меньшинству, которое выделилось из массы по силе ума и по энергии характера. Поэтому понятно, что ум и характер передовых личностей в прошедшем были всего чаще и всего заметнее

обращены на вопросы политические. Когда принудительная сила была в руках лиц, заинтересованных в тех самых вопросах, которые вызывали принуждение, то всего естественнее было ожидать злоупотреблений силы. Эти злоупотребления, в свою очередь, вызывали всего скорее оппозицию, образование партий, борьбу сил, и потому именно самая заметная сторона истории была история государственной борьбы. Кому будет принадлежать фактически право устанавливать государственный договор? Насколько могут отдельные личности и общества влиять на его составление, протестовать против его неудобств и требовать его изменения? Кому придется подчиняться государственному договору, не обсуждая его? Спор из-за этих вопросов составляет всю ближайшую подкладку борьбы личностей за короны, за сан визирей или за портфели ответственных министров; борьбы политических партий в прессе, в парламентах, на площадях и на полях сражений; борьбы народов за самостоятельность или за подчинение других; борьбы государств за преобладание; борьбы лучших людей за политический прогресс.

Но это — наиболее *видимая* сторона истории, ее драматическая внешность, ее пестрая одежда. Интерес мыслящего историка ищет под этой внешностью более существенных начал. Самые драматические эпохи иногда свидетельствуют лишь о трате сил на вопросы маловажные. Самые даровитые личности иногда употребляли свой ум и свою энергию на цели весьма ничтожные. Успех и блеск деятельности не доказывают еще высокого человечного значения личности. Перспектива фактов в истории должна соответствовать значению этих фактов для прогресса человечества. Тот элемент, расширение которого наиболее важно для прогресса, может иметь значение и в своих едва заметных проявлениях. Тот же, который должен терять значение по мере прогресса общества, имеет наименее прав на внимание историка.

По мере прогрессивного развития общества, государственный элемент доходит в нем до минимума; следовательно, политическая история представляет наименьший интерес для того, кто хочет найти какой-либо смысл в истории человечества. При каждом внешнем столкновении государств, как при каждом внутреннем их потрясении, историк должен спросить себя прежде всего: какие внегосударственные элементы играли роль в этом столкновении, в этом потрясении? От каждого влиятельного деятеля следует требовать отчет: что́ он сделал, чтобы уменьшить действие принудительного государственного элемента на общество? Насколько он содействовал или противодействовал прогрессу внего-

сударственных элементов? Расширения и распадения государств, обширные завоевательные предприятия, кровавые битвы, дипломатические хитрости, административные распоряжения получают с этой точки зрения новый интерес, но уже совершенно иной, чем тот, который они имели в глазах прежних историков. Сами по себе эти явления никакой важности не имеют: это — метеорологические процессы истории. Сильные ураганы, землетрясения, эпидемии, особенно красивые северные сияния, необычное рождение близнецов или уродов суть факты совершенно одинакового значения с процессами, указанными выше. В обоих случаях факт для ученого важен не сам по себе, а по его следствиям или по его причинам. Он возбуждает внимание и тщательно изучается или для отыскания нового общего закона основных явлений физических и психических, или для того, чтобы вызвать в будущем выгодные распределения фактов и устранить вредные. Какие потребности и мысли вызвали то или другое политическое явление? Насколько оно способствовало появлению новых потребностей и изменению прежних? Насколько оно расшатало прежнюю культуру или укрепило ее? Насколько оно дало толчок новому развитию мысли? Вот существенные вопросы истории относительно каждого политического явления. За ними являются другие: насколько в этом явлении можно изучить психические процессы личности, гибкость ее мысли, ее стремление к личному развитию и к справедливости? Насколько в нем можно изучить влияние общественной культуры на психическую жизнь личности? Решение первых вопросов указывает собственно историческое значение политических событий; решение вторых уясняет важность этих событий, как материала для личной психологии и социологии. В обоих случаях политической истории придают значение задачи высших частей естествознания или задачи истории цивилизации.

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

Критика и вера

В ряде предыдущих писем я разобрал главнейшие девизы, обыкновенно стоящие на знаменах общественных партий, и для всех их оказалось верно высказанное еще прежде общее положение: ни один из них сам по себе не есть выражение прогресса; смотря по обстоятельствам, он представляет реакцию или движение вперед, получает жизненное значение или делается пустым словом. Постоянно над этими девизами работает ложная идеализация, прикрывая ими со-

вершенно посторонние для них, вовсе не идеальные влечения, забывая те естественные потребности, которые дозволяют идеализацию истинную, человечную. Таким образом, великие идеи, двигатели истории, лишь в их конкретном смысле, как знамя определенных личностей при определенных обстоятельствах, суть действительно идеи *великие*. Лишь постоянная критика их исторического конкретного содержания может придать личности уверенность, что, становясь под знамя, на котором написано громкое слово, личность не преследует призрака или не делается орудием в руках расчетливых и своекорыстных интриганов.

Но читатель имеет право спросить меня, встречая постоянно возвращающееся слово *критика* на этих страницах: если личность будет всегда иметь в виду критику и только критику, то не отнимет ли она сама у себя энергию действия? Критика предполагает неуверенность, колебание, достаточное время для взвешивания аргументов за и против. Но всегда ли жизнь дает досуг? Когда человек гибнет перед нашими глазами, есть ли время рассуждать, насколько полезно или вредно спасти его? Когда политическая буря по какому-нибудь случайному поводу взволновала общество, и масса, лишенная предводителей, может ринуться на ложную дорогу, принять друзей за врагов и врагов за друзей или потерять всю выгоду своей силы и своего одушевления вследствие нерешительности, неужели тогда истинный гражданин, понимающий положение дел, имеет право колебаться, упускать минуту? То, что прекрасно в кабинете, может не годиться на площади; то, что необходимо ученому, может быть вредно для общественного деятеля.

Это справедливо; но дело в том, что критика есть дело всей жизни, привычка, которую человек должен приобрести и усвоить, чтобы иметь право на название развитой личности. Плох тот, который до той минуты, когда видит гибнущего человека, не подумал и не усвоил убеждения: должно ли спасать человека, который гибнет при данных условиях? Не имеет права считать себя общественным деятелем тот гражданин, который остался настолько чужд историческому движению, что народный взрыв застает его врасплох, и ему еще приходится колебаться и обдумывать: что сказать? что сделать? куда итти? где правда? какое знамя есть знамя данной минуты? Эпохи, вызывающие человека к решительной деятельности, редки, и вся жизнь служит к ним подготовлением. Никто не может сказать, когда личные или общественные обстоятельства станут перед ним с грозными словами: иди и делай свое дело. Поэтому каждый должен постоянно готовиться. Вырабатывая в себе личность, человек решает всевозможные вопросы

жизни. Приглядываясь к пестрой волне истории, человек воспитывается для борьбы в ту минуту, когда он понадобится. Критика ему нужна не *при наступлении* дела, а *для* этого дела.

Минута настала. Голос брата зовет его на помощь. Общество проснулось в негодовании от долгой спячки. Знамена враждебных партий развернулись там и здесь. Критика сделала свое дело. Подводя итог капиталу своих физических, умственных и нравственных сил, человек бросает этот капитал в предприятия. Чем строже, осмотрительнее, холоднее, обширнее была его критика, тем могущественнее и жарче теперь его *вера*.

Да, вера двигает горы — и только она. В минуту действия она должна овладеть человеком, — или он окажется бессильным в то самое мгновение, когда надо развить все свои силы. Не враги опасны борющимся партиям: им всего опаснее неверующие, индифферентисты, которые находятся в их рядах, становятся под знаменем партий и провозглашают их девизы иногда громче, чем самые преданные предводители; им опасны люди, отвергающие критику этих девизов, пока есть еще время для критики, но именно тогда, когда минута наступила, когда надо действовать, принимающиеся за критику, колеблющиеся и готовые оставить битву, когда она началась.

Самые веские слова обыкновенно представляли возможность придавать им самый разнообразный смысл, но едва ли слово *вера* не принадлежит к тем, которые вызвали наибольшие споры, именно вследствие недоразумений, так как спорящие, употребляя одно и то же слово, говорили о совершенно различных предметах.

Нет никакой необходимости связывать со словом вера представление о разнообразных религиозных культах, мифах, догматах или философских миросозерцаниях. Люди *вследствие* своей веры защищали и проповедывали мифы и догматы, совершали обряды разных культов, но это было лишь *одно* из приложений веры. Точно так же нет никакой необходимости связывать термин вера лишь с представлением сверхъестественного. Обиходная жизнь, природа и история в их разнообразии представляют весьма обширный материал для процесса веры; и тот, кто приобрел привычку относиться скептически ко всему, что не имеет аналогий в мире наблюдения, может быть очень склонен к вере.

Вера есть психическая или внешняя деятельность, где присутствует сознание, но отсутствует критика. Когда мною овладело представление, которое я уже не разбираю, но которое ложится в основу разбора других представлений и понятий, я верю в это представление. Когда, по слову

другого человека, я действую, обдумывая, *как бы* осуществить это слово, а не обдумывая уже, *нужно ли* осуществить его, я верю этому человеку. Когда я поставил себе цель и подвергаю критике лишь *способы* ее достижения, а не самую *цель,* я верю моей цели.

Поэтому сказать, что вера противоположна критике, можно, но в ограниченном смысле. То, во что человек верит, он *уже* не подвергает критике. Но это нисколько не исключает случая, что предмет сегодняшней веры *был* вчера подвергнут критике. Напротив, такова самая твердая вера и единственно рациональная, единственно прочная. Поверкою веры представляется действие в ту минуту, когда есть поводы действовать так и иначе; но если вера моя не есть следствие критики, т. е. не имела случая подвергаться возражениям, то кто мне поручится, что в минуты действия поводы, побуждающие меня действовать несогласно с этой верою, не пошатнут ее?

Лишь критика созидает прочные убеждения. Лишь человек, выработавший в себе прочные убеждения, находит в этих убеждениях достаточную силу веры для энергического действия. В этом отношении вера противоположна критике не по существу, а по времени: это два разные момента развития мысли. Критика подготовляет деятельность, вера вызывает действие.

В фантазии художника объединился образ. Художник подверг его строгой научной и эстетической критике в его частностях. Эта критика выяснила ему все более и более художественные формы в их отделке. И вот цельный, живой образ встал перед мыслью художника. Он берет кисть или резец и воплощает свой идеал, потому что *верит* в его жизненность, в его красоту. Иначе деятельность его нерешительна и не вдохновенна. Когда картина или статуя стали объективны, над ними может начаться новый процесс критики, и художник, недовольный своим произведением, может быть, разрушит его. Но в процессе художественного творчества критика не участвует, а участвует вера в жизненность образа.

Ученый тщательно определил и взвесил факты. Невольно они группируются в его мысли в закон, более или менее гипотетический. Другие факты, ему известные, сами собой возникают в его памяти, как подтверждающие, дополняющие, расширяющие найденную научную аналогию. Он проверяет себя еще и еще. Критика сделала свое дело. Он убежден в полученной истине. И вот, он всходит на кафедру объявить ученикам новое приобретение науки. Он резюмирует опыт, предупреждает возражения, выставляет на вид аналогии и указывает новые вероятные открытия.

В это время он уже не критикует, не колеблется: он *верит* в силу и полноту своей критики, он проповедует новую истину. Пока он не *поверил,* он не объявит ее, именно потому, что ценит критику выше всего.

Человек сближается с другим человеком, видит его достоинства и недостатки; знает, насколько его приятель может увлекаться и может относиться рационально к различным предметам. В данную минуту, на основании слов приятеля, надо действовать так или иначе. Совершившийся заранее процесс критики дает результат. Человек верит или не верит своему приятелю. Он решается и действует на основании своей веры.

Жизнь и общественная история ставят пред человеком подобный же вопрос. Человек выработал идеалы истины и справедливости, развивался под влиянием этих идеалов и развивал их под влиянием накопляющегося опыта жизни и критического процесса мысли. Человек изучал культуру общества, его окружающего, работу мысли, в нем совершающуюся, и конкретный смысл различных девизов современных партий. Он признал не идеально совершенное, но исторически лучшее *здесь,* а худшее *там.* Он знает, что и здесь нет *полной* истины и справедливости, и там нет *безусловного* зла и лжи. Но он понял, что при данных исторических условиях борьба возможна с надеждой успеха лишь в союзе с данными партиями и что лишь данные партии могут одна у другой оспаривать победу. Одна из них *лучше* других, и прогресс в данную минуту возможен лишь путем ее победы. В ней *наиболее* истины, *наиболее* справедливости. Конечно, понимая ее недостатки, мыслящий и искренний человек должен стараться своим влиянием ослабить, устранить эти недостатки, увеличить процент истины и справедливости, заключающийся в стремлениях лучшей из современных ему партий. Если она сильна, он может заявлять свое разногласие, противоречить ее предводителям, ставить свое знамя *особо.* Но наступила историческая минута столкновения. Все общественные силы призваны к борьбе за прогресс или за реакцию. Оставаться в стороне значит ослаблять *лучших.* Он *верит,* что это лучшие, и примыкает к ним во имя этой веры. Время критики, разделения прошло. Все лучшие люди должны соединиться для борьбы за *возможный* прогресс. Все должны примкнуть к той партии, которая обещает *лучшее* будущее. Чем строже критически человек исследовал недостатки и достоинства разных партий и чем точнее на основании своей критики убедился, что лучшее *здесь,* тем с более безусловною верою он посвящает избранной партии свою деятельность, борется с ее врагами, радуется ее победам, страждет от ее по-

ражений. Критика мысли не ослабела, но ее пора прошла, чтобы наступить снова, как только будет для того удобная минута.

Еще сильнее и полнее процесс веры, одушевляющей личность к деятельности, совершается тогда, когда уступок делать не приходится, когда надо развернуть новое знамя и бросить в человечество новое слово. Общественное страдание и критическая мысль развили убеждение в личности. Она одинока или имеет весьма мало сочувствующих. Может быть, еще недавно волна истории разметала и унесла людей, которые боролись за то, что личность признает истиною и справедливостью. Вековые культурные привычки и предания давят со всех сторон. Мысль враждебных партий имеет могучих, искусных и выгодно поставленных представителей. Как же случается, что личность не падает духом? Почему, сознавая свое малосилие, она не оставляет своего безумного предприятия? Что ее побуждает бросаться в борьбу, несмотря на препятствия, на индифферентизм большинства, на трусость одних, на подлость других, несмотря на насмешки врагов? Это дело *веры.* Критика привела человека к убеждению, что истина и справедливость, явная для него, будет очевидна и для других, он верит, что мысль, одушевляющая его к деятельности, победит индифферентизм и враждебность, его окружающие. Неудачи не утомляют его, потому что он верит в завтра. Вековой привычке он противопоставляет свою личную мысль, потому что история научила его падению самых упорных общественных привычек перед истиною, в которую верили единицы. Закону, вооруженному всеми силами государства, он противопоставляет свое личное убеждение, потому что ни кодексы, ни государственные силы не могут сделать для него ложным и несправедливым то, во что он верит, как в истину и справедливость. Умирая под ударами врагов или под гнетом обстоятельств, он все-таки завещает единомышленникам бороться и умереть подобно ему, если только верит в то, за что умирает.

Сверхъестественный элемент для этого вовсе не нужен. Пестрые мифы, непонятные догматы, торжественные обряды культа нисколько не придают более силы и непреклонности подобной решимости жить и умереть за то, во что веришь. Правда, что минувшая история человечества сохранила гораздо более преданий о людях, боровшихся и умиравших за призраки религии и метафизики, чем за убеждения, не имевшие ничего фантастического. Вера в призраки возможна настолько же, как и вера в прогрессивные идеи. Люди, слабые мыслью и дающие в своей жизни мало места критике, могут дойти до героизма только

в процессе религиозных верований, и этот процесс, составляющий в них единственную характеристическую сторону, конечно, перенесет их и в историю, как героев религиозного верования. Люди мысли и критики представляют биографу столько разнообразных сторон в своей умственной и гражданской деятельности, что он пропускает иногда без достаточного внимания тот героизм веры, который выработался в них путем критики и доставил им в жизни много тяжелой, неустанной борьбы, заставил отказаться от многих благ, а иногда от жизни. Костер Джиордано Бруно [324] не уступал костру св. Лаврентия [325] и Яна Гуса [326]. Спинозы [327], Фейербахи, Штраусы [328] умели терпеть бедность и отвержение не хуже древних и новых религиозных визионеров. Республиканцы умирали под пулями и ножами роялистов с такою же решимостью, как роялисты на эшафоте Конвента. Вера, вызывающая готовность жертвовать, не колеблясь, временем, удобствами жизни, привязанностью людей, даже жизнью за то, что мы признаем за истину и справедливость, являлась во всех партиях в минуту борьбы. Она одушевляла и тех, которые, кроме нее, не имели никаких достоинств. Она одушевляла деятелей реакции, проливавших потоки крови и напрягавших все свои силы, чтобы остановить историю, которую они остановить не могли. Она же проникала и мучеников мысли, героев прогресса.

Поэтому вера есть безразлично двигатель истины и лжи, прогресса и реакции. Без нее прогресс невозможен, потому что невозможна никакая энергическая самоотверженная деятельность. Но она не есть *достаточное* условие прогрессивного движения. Где мы видим героизм и самоотвержение, там мы не имеем еще права заключить о существовании прогрессивных стремлений. Только вера, опирающаяся на строгую критику, может вести к прогрессу; только критика может определить жизненную цель, в которую развитой человек имеет право верить.

Мыслящие люди вырабатывали представление полезного, истинного, справедливого. Верующие боролись за то, во что верили, как в полезное и должное для них; лучшие из них боролись за то, что было для них истинным и справедливым. Чем жарче была вера тех и других, тем ожесточеннее была борьба. Чем слабее была мысль, чем недостаточнее критика, тем разнообразнее были представления полезного и должного, истинного и справедливого, тем значительнее было разделение партий и тем более терялось сил в человечестве на бесполезную борьбу. Разнообразие призраков может быть бесконечно, и тем разнообразнее они могут быть, чем они далее от действитель-

ности. Та страшная цена прогресса, о которой я говорил в четвертом письме, преимущественно наросла от призрачных представлений, недостаточно подверженных критике. Чем более люди верили, что польза каждого из них враждебна пользе других, тем громаднее была трата сил в явной борьбе эксплоататоров, в тайной борьбе людей взаимно недоброжелательных и недоверчивых. Чем более люди верили, что *должное* заключается в магических обрядах религии, в ее фантастических догматах и мифах, в приличиях, разделяющих касты и сословия, тем более они коротали и без того короткую жизнь свою, давая себе менее времени на настоящее развитие и наслаждение. Чем более лжи было в их истине, чем безнравственнее была их справедливость, тем мысль работала хуже и жизнь была тягостнее. Глубокая вера, героизм самоотвержения пропадали большею частью даром, потому что опирались на недостаточную критику.

Лишь по мере того, как призраки рассеивались под влиянием работы мысли, и она приближалась к действительности, — возможно было уменьшение борьбы и траты сил, потому что новая вера, опирающаяся на лучшую критику, вела к примирению, а не к вражде. Вера в единую научную истину, выделяя из нее фантастические создания, устраняла вражду в области мысли. Вера в равноправность достоинства личностей, как в единую справедливость, устраняла столкновение тысяч разнообразных национальных, юридических, сословных, экономических справедливостей и всю борьбу за эти идолы. Вера в личное развитие и справедливость, как единственный долг, примиряла все личные стремления в общем усилии распространения истины и справедливости, устраняла трату сил в виду фантастических обязанностей. Вера в тожественность наибольшей пользы каждого развитого человека с пользой наибольшего числа людей есть именно то начало, которое должно довести до минимума трату сил человечества на пути прогресса. И благодетельное влияние этих верований именно истекает из того, что они вырабатываются не религиозной мыслью, что они не заключают ничего сверхъестественного, не нуждаются ни в мифах, ни в таинствах. Они опираются на строгую критику, на изучение реального человека в природе и в истории и становятся верованиями лишь в ту минуту, когда личность вызывается к действию. Их основной догмат — человек. Их культ — жизнь. Но не менее религиозных верований они способны одушевить личность к самоотверженной деятельности, к пожертвованию различных жизненных благ и самой жизни на алтаре своей святыни.

Мне возразят, что эти верования далеко не общи, даже принадлежат едва заметному меньшинству. Правда. Зато и прогресс в человечестве очень мал, и цена его велика. Впрочем, история еще не кончится ни сегодня ни завтра, а прогрессивная будущность принадлежит все-таки вере, опирающейся на критику.

Но возможна ли прогрессивная будущность? Возможен ли реальный исторический прогресс в том смысле, который придан здесь этому слову?

Предсказывать в истории до сих пор решительно невозможно. При гораздо меньшей сложности и при отсутствии элемента развивающихся личных убеждений, метеорология не может с какою-либо вероятностью предсказать фазисы погоды для Европы в ноябре 1872 г., и даже попытки предсказаний общих метеорологических изменений для материков под влиянием их заселения, изменения количества растительности и т. п. принадлежат большею частью области фантазии. Тем менее можно утверждать вероятность определенного хода прогресса в истории, где распределение личных убеждений между личностями — самый важный элемент — недоступно до сих пор статистике и тем менее может допускать предсказание. Может быть, когда-либо, в весьма далеком будущем, наука сделает такие успехи, что позволительно будет предсказывать изменения в распределении звездных групп за миллиарды веков или формы системы организмов, которую будут наблюдать через сотни тысяч лет; тогда, или немногим ранее, можно будет, пожалуй, предсказать с достаточной вероятностью и реальное течение истории, следовательно — проверить теорию прогресса с условием возможности ее осуществления. Теперь подобная задача — фантазия. Говоря о прогрессе, никому не следует думать, что он решает вопрос: как *действительно* совершается течение событий? Каков естественный закон истории? Теория прогресса есть приложение естественных законов нравственного развития к задачам социологии, как они представляются в их историческом развитии. Теория прогресса дает нравственную оценку совершившимся событиям истории и указывает нравственную цель, к которой должна итти критически мыслящая личность, если она хочет быть прогрессивным деятелем. Нравственное развитие личности возможно лишь *одним* путем. Нравственная прогрессивная деятельность личности возможна лишь в *определенном* направлении. Будет или не будет осуществлен прогресс в его окончательных задачах — это неизвестно, как неизвестно было Боклю, кончит ли он свою историю, и Конту, кончит ли он свой курс позитивной философии. Один умер в начале труда, другой не только кончил

свою работу, но дожил до фазиса позитивной религии. Это — возможности, случайности, не имеющие ни малейшего значения для мыслителя, который принимается за свой труд. Он приступает к нему, как бы этот труд должен был быть окончен, и как бы автор от него никогда не должен был отречься. Точно таково же отношение критических личностей к теории прогресса. Личность развилась нравственно; она приложила свои нравственные требования к существующим культурным формам, к распределению благ в человечестве; она сказала себе: эти требования осуществимы лишь *этим* путем; вот идеи, которые можно проповедывать сегодня; вот враги, с которыми надо бороться сегодня; вот борьба, которую надо подготовить на завтра; вот окончательная цель, которая не будет достигнута ни сегодня ни завтра, но все-таки есть и должна быть целью. Как только путь назначен, личность должна итти по нему. Я пытался указать некоторые пункты этого пути, вот и все. Существует или нет закон природы, ведущий к нравственному прогрессу, это не касается личности, которая в настоящую минуту все равно знать этого не может. Все, что совершается независимо от ее воли, для нее есть лишь орудие, среда, предмет объективного знания, но не должно влиять на ее нравственные стремления. Ей нечего надеяться, что олимпийцы помогают ее стремлениям, или бояться, что они завистливо смотрят на ее самостоятельную деятельность; ей нечего оглядываться в сторону сознательных олимпийцев провиденциализма или бессознательных олимпийцев фатализма, когда дело идет о воплощении убеждения. Вырабатывай убеждение и воплощай его, — вот все, что нужно знать. Прогресс не есть движение необходимое и непрерывное. Необходима только оценка исторического движения с точки зрения прогресса, как конечной цели. С этой точки зрения история реальная представляет фазисы прогрессивные и регрессивные. Личность, критически мыслящая, должна ясно сознавать это и направлять свою деятельность именно так, чтобы, содействуя прогрессивному фазису, сократить регрессивный, и в глубине своего убеждения, своей веры она должна искать средств для этого.

ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ

Теория и практика прогресса *

1. Двойственность вопроса о прогрессе

Разберем результаты предыдущего относительно того реального представления о прогрессе, которое выработала эволюция мысли в человечестве и которое приходится выделить из призраков, его окружающих.

С того времени, когда исторические задачи встали перед умами мыслителей, как один из самых сложных и самых важных предметов человеческого изучения, мыслители не переставали работать теоретически над уяснением понятия о прогрессе и над расчленением процесса, охватываемого этим понятием. С того времени, когда люди перестали верить в неприкосновенность общественного порядка, завещанного им отцами, с той минуты, как в их среде выработались личности, мысль которых перестала ограничиваться стремлением к личному интересу, при пособии существующих общественных форм и условий, но поставила себе задачей найти и осуществить формы общежития, в которых вообще жилось бы лучше, — с тех пор не переводились в мире борцы за прогресс.

Большинство мыслителей и практических борцов при этом ошибалось. В разъяснение теоретического понятия вкрадывалось невысказанное, а иногда и совсем бессознательное желание поддержать свои личные интересы и интересы близких мыслителю людей, вкрадывалось традиционное идолопоклонство пред рутинным представлением. Даже в случае полной искренности и полного желания со стороны мыслителя критически отнестись к вопросу, слишком часто его понятие о прогрессе страдало от недостатка наблюдения и опыта в сфере социологических фактов. Еще чаще и еще печальнее были ошибки практических борцов за прогресс. Одни, увлеченные своим возмущением против

---

* Это письмо не входило в состав „Исторических писем" ни в „Неделе", ни в первом издании книги. Оно было помещено в 1881 году в одном из легальных русских журналов („Слово", № 4), под псевдонимом *П. Щукина*, с незначительными изменениями и исключениями. Я присоединяю его теперь к письмам конца 60-х годов, так как оно имеет в виду те же самые вопросы с несколько иной точки зрения и может несколько указать читателю, в каком направлении я перестроил бы всё целое „Исторических писем", если бы принялся за них в начале 80-х годов, а не в конце 60-х. Небольшие повторения были неизбежны, но их немного, и я не счел нужным устранить их. Противоречий с предыдущим читатель, я полагаю, не встретит, но некоторые пункты моего взгляда на вещи, может быть, недостаточно ясные в прежней работе, здесь могут сделаться для него определеннее (1891).

недостатков существующего около них общественного строя, не давали себе времени обдумать и понять условия *возможного* улучшения этого строя, бросались в бой, не рассчитав ни своих сил ни сил противников, гибли сами, губили то, что затронул их фанатический порыв к прогрессу, и оставляли за собой в истории лишь ореол героической деятельности, который всего чаще, ослепляя одних и ужасая других, служил поводом к новым иллюзиям относительно условий исторического прогресса и вызывал в будущем новые катастрофы. Другие, пытаясь уловить мыслью все условия сложного процесса, опасаясь вызвать своей деятельностью более страданий, чем было необходимо, нерешительно относясь к устарелому преданию, колеблясь сомнениями относительно неверного будущего, сами мешали себе и своим друзьям бороться за прогресс надлежащими средствами, сами охлаждали пыл своих сторонников, давали себя опередить людям менее искренним и менее понимающим, давали себя обойти расчетливым противникам и в унынии должны были опустить руки, когда замечали, что волна истории, поднятию которой и они содействовали, принимала совсем не то направление, для которого они работали, которому они готовы были самоотверженно отдать свою жизнь и свое личное счастье.

Печальны были следствия этих теоретических и практических ошибок. Оказывалось, что борцы за прогресс слишком часто являлись источниками общественных бедствий, даже прямо деятелями реакции, помехами на тех путях, которые одни могли вести человеческие общества к лучшему будущему. Оказывалось, что обширная литература о лучшем и удобнейшем общественном строе оставляла новое поколение в таком же недоумении относительно истинного смысла этого «лучшего и удобнейшего», в каком были отцы и деды этого поколения. Оказывалось, что борьба за прогресс приводила к результатам весьма непохожим на то, что можно было назвать прогрессом. Оказывалось, наконец, что «лучшее и удобнейшее» для потомков проявлялось иногда на пути, о котором и не думало большинство «прогрессивных» умов в поколении предков, на пути, который внушал отвращение и вызывал энергическое противодействие со стороны самых искренних борцов этого поколения за лучший общественный строй. Первобытные мудрецы доказывали, что единственное спасение общества заключается в охранении святыни древнего обычая; но потомки их признали это охранение самым большим общественным злом, и в перестройке общественных форм, под влиянием разумных и все расширяющихся потребностей человека, открыли единственный здоровый процесс истории.

Обособление и противоположение крепко связанных внутри национальностей составляло идеал античного мира, идеал, в борьбе за который гибли сами и губили других замечательные представители этого периода жизни человечества; но прошли века, и среди этих самых национальностей развилось убеждение, что в этом идеале обособленных национальностей заключается самое вредное начало для прогресса человечества и что экономическая, политическая, умственная и нравственная солидарность всего развитого и развивающегося человечества составляет единственную возможную цель прогресса. Религиозные верования были для лучших умов в продолжение долгого периода истории основой общественной жизни, духовной связью общества, нервною системою для литературы, для искусства, для философии, которые служили лишь украшением или подпорою для этого высшего проявления человеческой мысли в данный период. Но настало иное время, время *светской цивилизации*, когда люди теории и люди практического дела устранили, насколько могли, из всех сфер мысли и жизни элемент религии и признали, что единственная истина, которую может завоевать себе человек, лежит вне области религии; единственная нравственность, которая может быть соглашена с его достоинством, есть та, которая опирается лишь на естественные потребности, на логическую критику и на рациональные убеждения человека. Политические цели, которые преследовали великие государственные умы XVII и XVIII веков, оказались для поколения XIX века лишь призраками экономических реальностей. Еще позже поставленная экономическая цель богатого государства оказывается в наше время целью туманной и односторонней, пока не решен вопрос о рациональном *распределении* богатства страны и пока, рядом с этим богатством, все распространяется язва вырождающегося или волнующегося пролетариата. Наконец, даже уединенная, эмпирическая наука последних веков, наука, которая сторонилась от жизни, от жгучих вопросов и в спокойном индифферентизме совершала свои громадные завоевания мира неорганического и органического, оказывается для передовых умов нашего времени лишь элементарным упражнением научной мысли, уроком умственного периода, который скоро переживет и должно пережить более развитое человечество; это человечество ставит себе задачей, как венец современного знания, науку общества, которая не только не требует обособления ученого от жизни и ее жгучих вопросов, но которая вся проникнута жизнью, есть сама жизнь в полноте этих жгучих вопросов и ставит, по самому своему существу, своему адепту не только задачу: пойми меня! —

но более широкие требования: пойми меня для того, чтобы воплотить меня в жизнь! Осуществи мои требования реально или — ты не понял меня!

Если история разгадывания понятия прогресса и история борьбы за прогресс есть история человеческих заблуждений и самообольщений и кровавых ошибок, то тем настоятельнее содействовать устранению этих заблуждений и самообольщений, предотвращению этих ошибок. Если цели, которые ставили общественной жизни и общественному развитию наши предки, оказывались постоянно недостаточными для их потомков, тем менее может успокоиться живущее поколение на установившихся формулах, на унаследованных задачах этой жизни и этого развития. Оно должно спросить себя снова и снова: как же нам, на основании всех предшествовавших завоеваний и ошибок мысли, понять теоретическую задачу прогресса? Как же нам, на основании всех одержанных нашими предками побед и потерпенных ими поражений, более целесообразно бороться за прогресс в том виде, как мы его понимаем? И мы будем ошибаться в нашем понимании прогресса, — это довольно вероятно; но постараемся довести наши ошибки до возможно меньшего минимума, изучая внимательно ошибки наших предшественников. И мы, может быть, потерпим поражение: да, это возможно; но даже в этом случае постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы победить или, в самом поражении, указать нашим преемникам условия возможной победы.

Важнее всего при этом помнить, что задача прогресса неизбежно двойная, теоретическая и практическая; что нельзя бороться за прогресс, не стараясь как можно яснее понять его задачу, как нельзя усвоить себе ее понимание, сторонясь от борьбы за нее теми силами, которые в нас существуют, и теми средствами, которые мы около себя находим. Бросаясь в борьбу за лучшее инстинктивно, без попытки критически понять это лучшее, мы постоянно рискуем повторить многочисленные ошибки предшествующих периодов и, может быть, биться за торжество реакции или застоя, когда нам казалось, что мы боремся за прогресс: история представляет слишком много примеров в этом роде. Ограничиваясь теоретическим пониманием и отказываясь от реальной борьбы за прогресс, мы или не поняли сущности этого процесса, или сознательно действуем *против того,* что мы сами признали как лучшее. В понимание прогресса входит, как существенный элемент, сознание, что он никогда не совершался и не мог совершиться сам собою, бессознательно; что, вне усилий личностей понять и осуществить лучшее, могло совершаться лишь повто-

рение прежнего, могли господствовать лишь рутина и привычка, мог установиться лишь застой; что лишь энергическая работа личной мысли могла снова и снова вносить критику в общественные миросозерцания, которые сами собой естественным путем обращаются без этого в кристаллизованное предание; что лишь непрестанные и хотя бы в малой доле удачные усилия убежденных личностей могли сгруппировать около них борцов за прогресс в организованную общественную силу, способную отстоять свое знамя в борьбе с другими общественными тенденциями, побороть эти тенденции и отвоевать себе у застоя и у индифферентизма хотя бы весьма небольшую долю почвы для дальнейшего прогресса. Если оно так, если всякий понявший сущность процесса, которым завоевывается прогресс в истории, должен понять и это, то он должен сознавать, что, оставаясь безучастным в ежеминутной борьбе, которая идет между людьми из-за различного понимания реального прогресса, а еще чаще из-за какого бы то ни было понимания прогресса против застоя и рутины, мы не только ослабляем наших сторонников, но прямо становимся в ряды сторонников рутины и застоя, потому что естественная инерция всего сущего, в социологии, как в механике, лишь тогда позволяет осуществиться движению вообще, или изменить свой характер — движению уже существующему, когда есть налицо силы, противодействующие этой инерции. В общественной же жизни эти силы, создающие общественное движение там, где его нет, ускоряющие его там, где оно замедлилось, и придающие ему иной цивилизационный характер, когда настают эпохи обновления человечества, — суть не что иное и не могут быть чем-либо иным, как личной мыслью, личной энергией, которая воплощает в себе результат потребностей данной эпохи и работы мысли всего предшествующего времени. Всякий, кто не стремится всеми своими силами к осуществлению прогресса в том смысле, как он его понимает, борется *против* него.

Таким образом, необходимость участия в борьбе за прогресс является нравственным долгом личности, которая сознала смысл этого понятия. Но как участвовать в борьбе? Как целесообразно стремиться к осуществлению прогресса, согласно нашему пониманию его? — Нравственный долг прогрессивного деятеля разъясняется сам собою при его внимательном рассмотрении. Прежде всего, во имя своего убеждения, если оно искренно, он должен стремиться уяснить другим то понимание прогресса, которое он усвоил; он должен стремиться приобрести сторонников этому пониманию. Но если он «один в поле не воин»,

то столь же бессильны и все разъединенные лица, как бы ни было сильно и искренно их убеждение; лишь коллективная сила может иметь историческое значение. Поэтому для борца за прогресс возникает долг скреплять свою связь со своими единомышленниками, войти элементом в организованную коллективность людей, действующих в определенном направлении словом и делом. Рядом с этим возникает и другая нравственно обязательная отрасль деятельности: борец за прогресс выработал в себе сознание необходимости прогресса в определенном направлении, следовательно — необходимости определенного изменения в общественном строе или в общественной мысли; он выработал это сознание лишь благодаря каким-либо благоприятным обстоятельствам, которые позволили ему критически и здраво отнестись к недостаткам той среды, в которой он развился и в которой живет; но он не должен себя обманывать иллюзией, что, усвоив это сознание, он разом выделился из среды, его окружающей; нет, он связан с нею тысячами привычек жизни и мысли, и все эти привычки срослись с теми самыми недостатками общественного строя или общественной мысли, которые он имеет в виду устранить в своем стремлении к прогрессу. Таким образом, в себе самом он находит те самые элементы, против которых борется вообще, как прогрессивный деятель. Чтобы их победить в их разнообразных общественных проявлениях, ему приходится бороться с ними и в самом себе, перевоспитывать и перерабатывать себя в своих привычках мысли и жизни. Распространитель понимания прогресса в области мысли, член коллективного организма и организатор общественной силы для борьбы за прогресс в среде общества, борец за прогресс должен быть еще, хотя до известной степени, в собственной личной мысли и в собственной личной жизни практическим примером того, как прогресс в определенном направлении должен влиять на мысль и на жизнь личностей вообще.

Итак, необходим твердо установившийся план личной жизни, сообразной тому прогрессивному идеалу, который стал невыделимым элементом убеждения личности, и решимость практически осуществить этот план настолько, насколько позволяют обстоятельства; насколько позволяет среда, давящая со всех сторон на личность в направлении старой рутины, старых привычек; насколько позволяют собственные слабости и собственные увлечения, которые все выросли на той самой почве, что должен перепахать и переработать прогресс, которому человек взялся служить, за который он обязан бороться под опасением сознания измены собственному пониманию, собственному убеждению.

Итак, необходим ясно усвоенный план деятельности организованной общественной силы, без которой не может осуществиться будущий прогресс. Необходимо ясное понимание препятствий, которые должны встретиться при осуществлении этого прогресса, и условий, благоприятствующих этому осуществлению; понимание сил и средств противников, с которыми придется бороться, и средств, которые придется для этого употреблять; понимание распределения в обществе действительных и возможных друзей и сторонников в предстоящей борьбе за прогресс. И рядом с этим необходима твердая решимость употребить самым целесообразным образом организованную коллективную силу для осуществления раз усвоенного плана, для устранения препятствия прогрессу, для подавления врагов его, для употребления в дело всех необходимых для того средств, каковы бы они ни были, пока они не противоречат идеалу прогресса, к которому мы стремимся, для организации окончательной победы прогресса, после того как для этого составилась организованная общественная сила.

Итак, необходима рационально продуманная система аргументации для того, чтобы мое убеждение о смысле прогресса сделалось убеждением того лица, к которому я обращаюсь. Я должен иметь логический аргумент для меньшинства, которое не поддается ничему, кроме критической мысли. Я должен иметь наглядные, поражающие воображение факты для тех, которым трудно делать обобщения, но которые нуждаются в конкретных, эмпирических доводах. Я должен иметь аргумент аффективной области для людей аффекта. Я должен иметь, наконец, самую обширную утилитарную почву в области насущных, ощутительных, всем доступных интересов для огромного большинства, которое двигается лишь во имя близкого ему положительного интереса. Лишь тот прогресс может иметь надежных и многочисленных сторонников, который опирается с одинаковой силой на метод науки, на аффект воображения и на расчет личного интереса.

Таковы условия практики прогресса, которая одна может осуществить его.

Но все эти условия сами собой требуют теоретической подкладки. И для распространения идеи в различных общественных сферах, и для организации общественной силы в виду деятельности за прогресс, а впоследствии в виду его победы, и для целесообразной переработки собственной личности в направлении, соответствующем идеалу прогресса, усвоенному человеком, — необходимо понимание многих теоретических данных. Необходимо понимание как

той среды, в которой поставлен обстоятельствами рождения и воспитания деятель за прогресс, так и того исторического процесса, который, с одной стороны, выработал эту среду, а с другой — подготовил возможность мысли, критически к ней относящейся и открывающей в ней самой задачи прогресса, который должен ее переработать. А тому и другому должно служить основанием понимание прогресса, как естественного процесса в общественном строе, но процесса, совершающегося при определенных условиях, по определенным законам, под влиянием действия определенных сил, как ни кажется пестрой и хаотической картина исторического движения в ее сложности и изменчивости.

Таким образом, подкладкою практике прогресса является его теория, как естественного процесса, как реального исторического явления, и приложение этой теории к тому общественному строю, к той общественной среде, которая вызывает деятеля прогресса на его практическую деятельность.

2. Спор учений

Каковы же в настоящую эпоху результаты понимания прогресса? Каково отношение фактов современной общественной жизни к задаче прогресса?

Перед нами ряд совершенно противоречивых, повидимому, несогласимых воззрений на эту задачу, и, вглядываясь в них внимательно, мы найдем в них согласие лишь в одном: что переживаемый нами период представляет самую печальную картину распадения всяких крепких общественных связей, картину вражды классов, борьбы между личностями, которая становится все ожесточеннее. Относительно исхода этой борьбы чуть ли не всех против всех и относительно средств лечения всеми признанной общественной болезни взгляды расходятся диаметрально.

Оставим в стороне провиденциалистов и вообще всех тех, которые открыто прибегают к религиозному элементу для объяснения слишком реальных общественных язв настоящего и столь же реального мартиролога большинства человечества, мартиролога, который называется хроникою исторических событий. Их учение принадлежит строю мысли, чуждому современной науке.

Нам слишком довольно и тех истолкователей общественного процесса, которые остаются, или думают, что остаются, на почве реальной.

Перед нами, прежде всего, *пессимисты,* которые говорят нам: то, что называют прогрессом в истории, есть фаталь-

ное стремление к увеличению бедствий человечества. Все пути ведут к этому результату. Если мы можем лучше понимать все сущее, то можем его понимать лишь как источник бедствий и, с уяснением нашего понимания, все более убеждаться в их фатальном возрастании.

Рядом с ними слышим спокойную, утешительную речь *оптимистов:* фатален прогресс, фатально улучшение, возвышение человеческого существования во всех отношениях, человеческого общежития во всех его формах. Все бедствия, все раздоры — призрачны и временны. Заблуждения и страдания личностей, то, что кажется реакциею и уклонением от прогресса, есть лишь рябь на поверхности старинной «реки времен»; рябь эта поднята ветром, направление которого изменяется каждую минуту; но общее течение этой громадной реки не может остановить никакой ветер. Растет сила человеческой мысли, открывая истину за истиною, освещая неведомые прежде пути к прогрессу. Растет и благосостояние даже тех классов, которых выставляют обыкновенно, как пасынков современной цивилизации. Вместе с тем настраиваются сами собою различные инструменты человеческого концерта, чтобы со временем слиться в одну стройную гармонию.

Оба эти прямо противоположные миросозерцания оставляются совсем в стороне теми, которых можно назвать *натуралистами* в истории. Прогресс, — говорят они, — есть одна из многочисленных иллюзий, которые одна за другою забавляют человечество в фатальной смене событий, составляющих процесс его жизни. Все «лучшее», все «высшее», всякий идеал личный или общественный — иллюзия и снова иллюзия. Реален лишь процесс механико-химических явлений, который, в своих разнообразных и вечно повторяющихся фазисах, вызывает там или здесь во вселенной процесс органической жизни, процесс сознания. Где наступает органическая жизнь, там начинается борьба за существование, которая кончается лишь с прекращением самой жизни. Где вырабатывается сознание, там разрастаются разнообразные призраки истины, красоты, нравственного долга, общественной связи, призраки, сквозь волнующийся туман которых лишь изредка проглядывает трезвая, хотя и печальная истина. Счастье одних особей и страдания других суть случайности, имеющие столь же мало значения в общем процессе, как тот или другой пузырек, вскакивающий на поверхности кипящей жидкости. Нет в природе ни ухудшения, ни улучшения, ни понижения, ни возвышения; есть лишь смена явлений, которые все имеют одинаковое значение и к которым вполне неприложима какая-либо нравственная оценка. Борьба за существование, борьба меж-

ду наличными силами есть единственная реальность и в процессе истории, а все идеи и идеалы, которые выступают на поверхности этого процесса, суть лишь самообольщение, которое вызывается процессами сознания, чтобы скрыть от себя однообразие совершающегося реального процесса и продолжить его.

Этим метафизикам разного толка *реалисты* истории возражают, изменяя совершенно самую постановку вопроса. Знать сущность вещей нам невозможно, — говорят они, — и заботиться о ней бесполезно. Допуская, что весь интеллектуальный мир наших стремлений к правде теоретической и практической есть не что иное, как мир иллюзий, в который завернут однообразный процесс борьбы за существование, мы все-таки этого покрова сорвать с сущности вещей не можем и все-таки в реальной жизни будем ставить себе цели и будем искать средства достигнуть их. Мы будем страдать и наслаждаться, как ни были бы малозначительны, может быть, наши боли и радости для «целого». Мы будем искать истину или то, что *нам* кажется истиною. Мы будем возмущаться несправедливостью или тем, что *для нас* есть несправедливость. Следовательно, *для нас* вопрос о «лучшем» и о прогрессе будет иметь всегда жизненное значение, какова бы ни была сущность вещей. Мы его и ставим для того интеллектуального мира, который составляет *нашу* науку, *нашу* нравственность, *нашу* философию. С этой точки зрения для нас довольно безразличны воззрения пессимистов или оптимистов. То, что делается в истории само собою, фатально лежит вне наших сил и нашей деятельности. Может быть, в «целом» количество зла и бедствий в мире растет неудержимо. Может быть, оно неудержимо уменьшается. Но перед нами наболевшее человечество *нашего* периода, страдания которого суть результат процесса предшествовавшего исторического времени, причем в развитии процесса участвовали люди, подобные нам. Пред нами возможное будущее *этого* страждущего человечества, будущее, в построении которого приходится участвовать и нам. Мы стоим между этим прошедшим и этим будущим с нашими мнениями и убеждениями, с нашею критикою науки и с нашею решимостью действовать, каковы бы ни были эти наши умственные и нравственные данные. Во имя этих данных мы неизбежно говорим себе: *здесь* зло и ложь; *здесь* правда и благо. *Это* было явлением прогресса, а *это* фактом регресса в прошедшем, потому что первое *для нас* — приближение к благу и к правде, второе — отклонение от них. И в ближайшем будущем, в построении которого нам приходится участвовать, *вот где* явления, которые обещают наибольшее

количество правды и блага; *вот за что* нам приходится бороться, чтобы наболевшее человечество почувствовало облегчение. Для него настанут неизбежно новые боли, — говорят они. Может быть; но *наше* дело бороться против *тех* болей его, которые мы знаем, которые понимаем, предоставляя будущим поколениям придумывать средства против зла, о котором мы не имеем никакого ясного понятия. — Боли человечества несущественны, — говорят другие. И это возможно; но *настоящие* боли его для него ощутительны, и мы обязаны искать в прошедшем их объяснение, в будущем — их излечение. Для нас прогресс есть *возможное* направление исторического течения событий к «лучшему», как *мы* его понимаем, за тот период времени, который *мы* можем охватить умственным взглядом. Для нас борьба за прогресс есть обязательное содействие этому возможному направлению, которое, как *возможное* лишь, могло бы, насколько мы понимаем, замениться и совсем противоположным направлением, следовательно — нуждается в содействии всех тех, которые понимают его так, а не иначе. Пессимизм и оптимизм со своими общими соображениями остаются совершенно вне той теории прогресса, которая нам нужна для нашей практики.

На этой реальной почве мы имеем различные группы мнений, которые уже могут и должны подлежать обсуждению с точки зрения установления истинной теории прогресса.

И здесь мы устраним тех немногочисленных в наше время представителей мистического направления, которые ищут прогресса человечества в смене религий, видят главное зло современности в отсутствии религиозных верований и ищут спасения человечества в создании новых догматов, нового культа. Если религиозный элемент приходится оставить в стороне при метафизике истории, то едва ли не лучше не прибегать к его пособию и при понимании реального ее процесса, а тем более при лечении общественных язв.

Но и реалистические объяснения современного общественного положения и возможного исхода из его затруднений весьма разнообразны, и мне придется ограничиться здесь лишь немногими главными учениями.

Весьма немногие мыслители видят в настоящее время источник зла исключительно в мире *идей* и рассчитывают на установку более правильного миросозерцания среди развитых умов и на расширение рационального образования во всех классах общества для излечения общественного зла. Для них еще достаточно формулировать прогресс словами: идеи двигают миром. Для них рост науки и уяснение

миросозерцания составляют *весь* прогресс, так как этот элемент, по их мнению, обусловливает все остальное. Для них борьба за прогресс заключается в саморазвитии и в пропаганде науки и рациональной философии, так как зло во всех остальных сферах человеческого существования будет, как они думают, устранено уяснением этой господствующей сферы.

Большинство идет далее, в область жизненных *интересов*.

Одни говорят: прогресс заключался и заключается во внесении в общественный строй начала права, в установлении правового государства, которое исключит насилие и неравенство во всех его формах, охранит слабого, сдержит сильного, внесет в жизнь свободу и равенство, коллективною силою устранит крайности борьбы за существование, крайности соперничества из-за барыша, из-за власти; это правовое государство само подчинится началу свободы и равенства, которое установит для своих подданных, и войдет со всеми своими товарищами, другими правовыми государствами, в равноправную федерацию стройных политических единиц. Прогресс в прошедшем для этих поклонников права заключался в приближении к правовому государству, и этот прогресс, постепенно осуществляясь путем мирных реформ и кровавых революций, должен тем же путем, теми же средствами итти далее и в будущем. Все остальные явления могут быть подведены под фазисы этого развития, а вне его существует лишь мир вредных общественных иллюзий. Около знамени правового государства, около принципа политической свободы и политического равенства должны группироваться борцы за прогресс. На борьбу за эти высшие общественные принципы должны развитые люди посвящать все свои силы. Все остальное явится как следствие установления правового государства, охватывающего своею идеею весь идеал исторического прогресса.

Нет, — возражают другие, — правовые отношения и вся политическая жизнь составляют лишь внешность более существенного общественного процесса — процесса экономического развития. Прогресс страны заключается в ее обогащении, которое обусловливает и внешнее ее значение и внутреннее развитие в ней культуры. Различие политических форм монархий и республик, более или менее либеральных конституций, исчезает в громадном процессе всемирного производства, космополитических оборотов биржи, в неразрушимой связи экономических интересов между всеми странами, всеми народами, всеми общественными классами. Цивилизация есть продукт богатства, и в постепенном росте

человеческой промышленности, в расширении экономических связей между людьми, в более тесном сплетении всех групп человечества между собою во имя своих экономических интересов заключается прогресс человечества. Богатство дает независимость и силу, вырабатывает человеческое достоинство, составляет условие, при котором могут установиться свобода и равенство. Для достижения цели экономического, единственно реального, прогресса, страна может приносить всякие жертвы, спокойно относиться ко всяким страданиям, потому что и жертвы и страдания при этом временны и окупятся стократно, когда тесная связь всех экономических интересов внесет в общественный строй сознание их солидарности и их гармонии. Борьба за прогресс в человечестве заключается в естественном стремлении к обогащению, в конкуренции, помощью которой наиболее умный и ловкий, обогащаясь сам, указывает тем самым человечеству лучший процесс обогащения, следовательно — вернейший путь к прогрессу. Посвящая этой борьбе все свои силы, устраняя все аффективные и нравственные иллюзии, которые отвлекают человека от рационального пути, оценивая все с точки зрения экономических интересов, устанавливая для всего рыночную цену, личность наилучшим образом вырабатывает свою индивидуальность, развивает свои способности и является самым рациональным борцом за прогресс, за быстрейшее установление гармонии и солидарности интересов всех личностей в процессе обогащения человечества.

В последнее время есть писатели и более откровенные, которые, впрочем, в этом случае представляют в новом виде учение очень старинное. Они считают иллюзиями идеи свободы и равенства, точно так же, как мечты о гармонии экономических интересов. Они находят внутреннее противоречие в самом понятии о правовом государстве. Прогресс, — говорят они, — приобретался и может приобретаться лишь путем господства меньшинства над большинством и руководства последнего первым. Государство есть господство, а не право. Оно может установить правовые отношения, известную долю свободы и равенства между своими подданными, но само остается чистым господством и относительно их. Но господство политическое невозможно без господства экономического, а потому политически господствующий класс, составляющий власть в государстве, должен быть и классом экономически господствующим, концентрирующим в своих руках собственность на счет других. Экономическая монополия собственности есть неизбежное условие существования государственной власти, без которой невозможна цивилизация, невозможен и прогресс. Он

может заключаться лишь в том, что государственное господство будет становиться все прочнее и условие его существования — экономическое и политическое неравенство групп — более общепризнанным; да еще в том, что, вследствие большей прочности своего владычества, господствующие классы будут гуманнее относиться к классам подчиненным и доставлять им более человечное существование. Борьба за прогресс при этих условиях сводится на содействие фатальному процессу концентрировки собственности и политической власти в одном классе на счет других и на нравственную проповедь владыкам мира оставить некоторую долю человеческого достоинства и благосостояния подчиненным массам.

В противоположность предшествующим социологическим учениям, группа социалистических мыслителей и деятелей принимает долю принципов, принадлежащих каждой из перечисленных школ, но принимает их в совсем иной комбинации и приходит к совсем иным выводам. Да, — говорят сторонники этого учения, — прогресс человечества заключается во внесении в общественный строй свободы и равенства, во внесении в общественную жизнь права, как правды, но не государству внести эти начала в общество, потому что оно есть, в своей сущности, господство; оно есть неравенство; оно есть — стеснение свободы. При усилении же и упрочении господства одного класса над другим не только нельзя рассчитывать на более человечное существование для подчиненных классов, но их материальное, умственное и нравственное принижение должно все расти. Правовое государство есть неосуществимая мечта. А потому государство, как господство одного класса над другими, есть элемент, который, по своей силе и историческому значению, должен, во имя прогресса, стремиться к минимуму. Оно могло быть, как внешняя сила, исторической необходимостью в продолжение долгого периода, вследствие недостатка общественного развития; но, по мере роста этого развития, оно уступает одну из своих функций за другою иным общественным элементам, и роль его в истории фатально умаляется. В настоящее время оно уже сознает себя вполне зависимым от экономических сил, господствующих над формами общественного развития. Поэтому и общественную правду, общественное воплощение свободы и равенства надо искать прежде всего не в установлении лучших юридических отношений между личностями и группами, а в установлении более правильного экономического строя. Если последний будет правилен, то неправильные политические формы установиться надолго не могут.

Но настоящий экономический строй неправилен. Он

неизбежно вызывает неравенство и ограничение свободы для большинства. Он *неизбежно* создает господство одних классов над другими. Он, в экономической конкуренции, вызывает, упрочивает и узаконяет в человечестве элементы вражды между личностями, борьбы между группами и внутри групп. Он подавляет индивидуальное развитие среди миллионов людей, позволяя развиваться лишь немногим, но и тут искажая их развитие одним уже погружением их в войну всех против всех. Прогресс в настоящем возможен лишь путем радикального изменения этого неправильного экономического строя и заменою его оснований иными, допускающими всестороннее развитие каждой личности, допускающими возможно большее внесение в жизнь свободы и равенства, допускающими правду в общественной жизни. И в прошедшем прогресс заключался и мог заключаться лишь в развитии тех сторон мысли, которые уяснили людям реальное отношение вещей между собою и реальные потребности личного человеческого развития и правильного общественного строя; в усилении тех элементов общественных отношений, которые скрепляли связь между личностями и между группами и расширяли эту связь до внесения в нее всего мыслящего человечества. Иначе говоря, прогресс заключался и мог заключаться лишь в растущем сознании истины путем все более вырабатывающейся критической мысли и в растущем воплощении в общественную жизнь солидарности между людьми, окончательно распространяющейся на все мыслящее человечество в его кооперации ко всеобщему развитию. Эта солидарность может установиться, конечно, не на почве конкуренции за обогащение и борьбы за существование, но на почве общих интересов всех производительно работающих мышцами и мозгом; на почве доступности всем и каждому из них средств личного развития и средств производительного труда; на почве, устраняющей всякую монополию, материальную или интеллектуальную, на почве коллективного труда в виду общей пользы. В этом случае элементами, враждебными прогрессу, являются как рутина существующих общественных отношений, так и интересы тех личностей и групп господствующего нынче меньшинства, которое потеряло бы свое господство с прекращением конкуренции для одних из-за права едва существовать впроголодь и конкуренции для других из-за наибольших барышей и наибольшего присвоения роскошных ненужностей. Враждебными элементами прогрессу являются и многие наличные направления мысли: ему враждебны те, которые не признают господства экономических интересов над прочими в строе общества и необходимости устроить

в них солидарность, как единственное основание прочной солидарности вообще между людьми; враждебны те, которые видят основное орудие прогресса в конкуренции личных интересов, а не в их кооперации; те, которые считают господство одного класса над другим неизбежным условием прогресса; враждебны прогрессу, наконец, и те, которые смотрят на прогресс или регресс, как на фатальный исторический процесс, совершающийся действием метафизических сил, причем личное усилие индивидуумов нечего брать в расчет. В учении социализма борцы за прогресс призываются к выработке из данных реальных отношений между людьми новых отношений, допускающих солидарность между всеми мыслящими и трудящимися человеческими группами; к уяснению себе и другим тех элементов, уже существующих, которые способствуют этой перестройке, и тех, которые ей препятствуют; к выработке коллективной силы, способной воспользоваться тем, что́ благоприятствует изменению, и устранить или сломать препятствия, представляющиеся на этом пути; к выработке в себе и в своих товарищах по убеждению личной силы мысли и личной энергии, годной как на борьбу за прогресс с его врагами, так, еще более, для установления того общественного строя, который один может сделать возможною и упрочить солидарность между личностями и группами.

Ограничусь предыдущим. Рядом с упомянутыми учениями, выражающими различные направления мысли о прогрессе в их наибольшей резкости и определенности, встречается несколько других, частью имеющих менее значения, особенно же служащих переходными и посредствующими ступенями между теми, на которые я указал. Но для цели этого письма нет надобности перечислять эти примирительные учения. Достаточно указать взгляды на прогресс в их крайнем различии. Каждый из этих взглядов имеет своих сторонников, свою историю, имел свои причины произойти и существовать. За каждый из них высказывались и высказываются веские аргументы. Поэтому возникают вопросы: при различии изложенных учений о прогрессе, как приступить к взвешиванию аргументов за и против каждого из спорных учений? Как остановиться сознательно на той или другой практике прогресса, являющейся неизбежным следствием той или другой его теории? — Я здесь ограничусь лишь тем, что намечу вопросы, которые приходится при этом решить, и порядок, в котором, как мне кажется, всего удобнее их ставить для целесообразного решения. А ставить их себе — неизбежно, так как их ставит не произвол личности, а фатальное развитие истории. И решить их так или иначе —

обязательно, потому что, как уже сказано выше, тот, кто не хочет искать пути к прогрессу и выступить, по мере своих сил, борцом на этом пути, тот тем самым является борцом *против* прогресса.

3. Порядок постановки вопросов

В чем состоял и в чем мог состоять прогресс в истории человечества?

Для ответа на этот вопрос мы имеем тройной материал. Во-первых, мы имеем доступное нашему наблюдению общество в том виде, как оно существует, с его выгодами и недостатками, с его элементами солидарности и вражды, с его здоровыми и патологическими процессами. Во-вторых, мы имеем процесс истории, подготовивший настоящее из прошедшего, и можем более или менее точно восстановить фактическое течение этого процесса на основании исторической критики. Наконец, в-третьих, мы имеем далеко не совершенные, но в некоторых случаях весьма замечательные, частные научные труды по вопросам социологии и близких с нею областей психологии и биологии, труды, в которых рассмотрены и анализированы различные элементы общественного строя в его различных исторических фазисах и указана их зависимость, при помощи упомянутого уже выше описательного и установленного историческою критикою материала и при помощи методов наведения и вывода, не менее точных, чем те, которые позволяют нам делать заключения в других научных отраслях.

Поэтому вопрос, только что нами поставленный, допускает тройной приступ к его решению.

Всего ближе нам и всего известнее то общество, которое около нас. Повидимому, всего проще начать прямо с него: недаром же нас учили, что при исследовании всегда надо от известного переходить к неизвестному. Итак, вооружимся описательным материалом, статистическими данными, сравнительными таблицами и постараемся решить: что в нашем обществе может доставить источник прогресса, и что есть элемент регресса или застоя? Чему надо способствовать и чему противодействовать во имя задачи человеческого развития? Чтó составляет фатальную необходимость, против которой спорить так же глупо, как против закона тяготения, и чтó есть результат, созданный при участии личного убеждения и личной энергии, и потому может быть изменено уяснением убеждений и иным направлением энергии?

Но разве *одно* наблюдение современного общества может нам позволить решить эти вопросы? Мы видим лишь

грубые результаты длинного процесса, но нам приходится иными приемами разгадывать этот процесс. — Вот ряд страданий; вот список преступников и самоубийц по категориям; вот бюджет кровавых войн, кровавых революций; вот расчет дохода труженика, дохода, не имеющего никакой возможности достигнуть цифры его *необходимых* расходов. Это все — бесспорное зло, и все это, во имя невольного аффекта, простого сочувствия, мы хотим устранить. Прекрасно. Но как? — Вот, рядом с предыдущею картиною, совсем иная: все более могучая техника прорывает материки и позволяет сообщаться между собою антиподам, окружает обыденную жизнь неслыханными удобствами; наука утомляет наблюдателя числом своих завоеваний и делает в популярных разъяснениях доступным самому слабому уму то, что едва понимали еще недавно умы исключительно развитые; совершаются подвиги филантропии среди всеобщей борьбы за барыш; совершаются подвиги геройства и самоотвержения среди кровавых сцен взаимного убийства; совершаются подвиги солидарности среди существ, которых статистика обрекает на хроническое голодание, на ежедневную борьбу за существование, в которой победа невозможна, на конкуренцию из-за куска хлеба. Мы невольно гордимся этими завоеваниями современности; мы хотели бы расширить их, обобщить. Вот элементы прогресса, говорим мы, и их надо развить на счет других. Допустим и это. Но, опять-таки, как сделать это?

А что, если списки преступников и самоубийц окажутся столь же мало подлежащими влиянию социологических изменений, как среднее число ежегодных дождливых дней и градобитий? А что, как зло, против которого мы имеем в виду бороться, может быть заменено лишь другим, еще худшим злом? А что, как блестящие картины, в которых мы думали разглядеть элементы человеческого благоденствия и развития, настолько связаны с возмущающими нас картинами общественных бедствий, что, с увеличением любезных нам красот, неизбежно возрастут, да еще, пожалуй, в высшей мере, эти самые возмутительные бедствия? К тому же кровавые войны и кровавые революции точно так, как завоевания науки и техники, бюджет хронически голодающих тружеников, как подвиги солидарности в среде этих самых тружеников, явились не по щучьему велению, но как результат исторического процесса, и могут быть одни устранены, другие расширены лишь в дальнейшем ходе того же самого процесса, теми самыми силами, которые в нем действуют, его совершают и одни *могут* действовать в нем и совершать его.

Наблюдение современного нам общества лишь в таком

случае может нам указать на надлежащую практику прогресса, когда мы поняли явления, около нас совершающиеся, как *естественные* или *исторические категории;* когда мы знаем, которые из этих явлений зависят от естественных причин, от других явлений, постоянно повторяющихся (как потребность пищи, например), от процессов, действующих на все исторические поколения человека (как, например, климатические и топографические условия страны); которые из этих явлений неразрывно связаны между собою условиями существования и логической зависимости, и которые из них представляют результат исторического прошлого, возникли при определенных условиях, под влиянием определенных общественных сил и могут исчезнуть или измениться при других условиях, под влиянием иных сил. Теория прогресса не может быть извлечена даже из самого тщательного наблюдения современного общественного строя, пока мы не поняли этого строя, как результат всей предшествующей истории, в которой действовали определенные исторические силы, одни — постоянные, обусловленные самыми процессами природы, другие — выработанные самою историею, но, однажды выработавшись, способные вступить в борьбу, иногда победоносную, с элементарными историческими побуждениями, доставляемыми природою.

Для понимания современности, как результата истории, приходится обратиться ко второму роду данных, упомянутых выше, — к историческому материалу. Нам приходится в нем рассмотреть, что́ представляет явление, повторяющееся при всех условиях культуры, и что связано лишь с определенными формами цивилизации? Какая группа общественных явлений наблюдается всегда целиком, при непременном сосуществовании этих элементов, и какие элементы могут представляться в разнообразных комбинациях? Какие исторические силы возникали независимо от личных убеждений и личной энергии индивидуумов и в каких исторических силах это убеждение и эта энергия составляли невыделимые элементы? Какие побуждения представляют настоящую почву истории, с которою приходится считаться всякому борцу за прогресс, как всякому противнику прогресса? При каких комбинациях эти побуждения служили реальною почвою прогресса и когда они же давали начало реакции? И какие силы, хотя и значительные, представляют лишь временное пособие для прогрессивного деятеля, так как ни на продолжительность ни на постоянство их рассчитывать нельзя?

Бесспорно, история может дать ответы на эти вопросы, но при двух условиях: при достаточно широком объеме ее материала и при достаточно широкой постановке ее задачи.

Точная историческая критика располагает материалом, охватывающим не особенно длинный период времени. За ним представляются общественные картины несколько смутные, вглядываясь в которые историк слишком склонен восстановлять древние периоды по аналогии с более новыми эпохами, аналогии всегда несколько опасной. Еще далее лежит полуисторический и доисторический период, который приходится воссоздать в воображении, хотя бы в некоторой доле лишь, рядом комбинаций, причем опять-таки весьма легко внести в эти комбинации личные привычки мысли и жизни исследователя. При подобных приемах какая-либо историческая форма, имевшая свое основание возникнуть в данную эпоху и поэтому самому поблекнуть и отцвести в другую эпоху, рисуется иногда историку, как неизменный, постоянный, естественный элемент общественного строя. Древний грек смотрел на рабство, как на учреждение, без которого немыслимо никакое общество. Современный юрист большею частью видит в нынешних формах семьи, общественности, полиции, суда нечто не допускающее изменений. Современный политик почти не может не искать во всякую эпоху государственный элемент, как нечто обособленное и господствующее, не может допустить, чтобы в настоящем строе экономические силы обусловливали внутреннюю и внешнюю политику и чтобы в будущем какие-либо общественные элементы довели роль государственной жизни до довольно незначительного минимума.

Задача истории постепенно расширяется, но далеко еще не все исследователи ставят ее с одинаковою широтою. Если прошло время биографической истории, то еще нет ни одного сколько-нибудь цельного труда, в котором с достаточною подробностью и основательностью была бы разработана роль экономических сил во все периоды жизни человечества. Далеко не удовлетворительно слито в существующих исторических трудах развитие философских миросозерцаний и, в особенности, научных трудов с ходом политических событий. Еще менее, может быть, взято в соображение сосуществование в данную эпоху в одном и том же обществе нескольких групп меньшинства, стоящих на различных ступенях умственного и нравственного развития, участвующих различным образом в работе мысли, существование рядом с ними большинства, стоящего опять-таки на своем ином уровне развития, взаимодействие этих групп, связанных совместною жизнью, и совершенно различный ход истории для каждой из них, составляющий элемент общей картины исторической жизни данного периода. Конечно, эти задачи и не могут еще в настоящее время быть разрешены надлежащим образом для всех пе-

риодов истории; конечно, нельзя требовать от современных писателей в этой отрасли, чтобы они вполне удовлетворительно разобрали эти затруднения, которые могут быть побеждены лишь при самом строгом исследовании исторического материала, частью совсем пренебреженного до сих пор, частью разработанного весьма недостаточно или даже неизвестного; однако все-таки необходимо для всякого исторического труда, стоящего на уровне современных задач мысли, чтобы исследователь имел в виду все эти стороны вопроса; чтобы он был, насколько это для него возможно, вооружен и способностью разглядеть факты, относящиеся к этим сторонам исторической жизни, и способностью понять их значение. Но много ли историков в наше время настолько знакомы с областью экономических явлений, чтобы оценить надлежащим образом экономический смысл данного факта? Многие ли могут — не скажу уже проследить связь между данными научными работами и общим состоянием культуры, но даже самостоятельно понять роль данной научной работы? Многие ли в состоянии настолько вжиться в одновременное историческое развитие разных общественных групп, чтобы восстановить воображением разнообразное действие данного события на каждую из этих групп? К сожалению, на все эти вопросы приходится ответить отрицательно. Но без ясного понимания экономического процесса производства, обмена и распределения богатств историк никогда не может сделаться историком народных масс, которые преимущественно подчинены условиям экономического обеспечения. Но без определенного взгляда на научное значение данной мысли можно ли историку понимать истинный характер развития мысли данного периода? Но, ограничиваясь в своем исследовании лишь некоторыми общественными группами или не поставив себе вопроса о возможном и действительном взаимодействии этих групп, есть ли какая-нибудь возможность составить себе сколько-нибудь точное представление о прогрессе всего общества в данный период?

Таким образом, ответ на те вопросы, которые, как показано выше, возникают из рассмотрения исторического материала для теории прогресса, требует, чтобы исследователь этого материала был вооружен пониманием социологических задач в их взаимной зависимости; чтобы он освещал представляющийся ему материал фактов определенным взглядом на их относительную важность, на их существенную связь, коренящуюся частью в постоянных законах естественных человеческих потребностей, частью во временных законах потребностей исторических, выработанных самим ходом событий, обусловленных не только

общежитием вообще, но общежитием в определенных формах культуры. Исторический материал уясняется лишь при свете законов биологии, психологии и социологии, которые сами заключают в себе, рядом с элементами, повторяющимися в продолжение неопределенно долгого времени, еще значительную долю элементов исторических, вырабатываемых историей и ею разрушаемых. Привычка к пище, подверженной кухонной обработке, не могла не изменить в некоторой степени физиологические и патологические условия питания человека, точно так же, как процессы нервной деятельности в центральном органе сознания должны были измениться под влиянием различных форм общежития. Доля психологических процессов, прямо зависящих от биологических условий, совершенно ничтожна пред тою долею их, которая развилась под прямым действием общественной связи и общественных потребностей. Относительно социологии едва ли в настоящее время стоит и повторять истину, что все функции общественной жизни изменяются количественно и качественно с течением истории и что все органы для этих функций создаются историей по мере изменения, нарождения и исчезания различных общественных потребностей человека. Исторический материал служит, таким образом, для вывода законов психологии и социологии в то самое время, когда эти законы, раз установленные, служат для группировки и разъяснений дальнейшего исторического материала. Мы не можем даже приступить к разбору отношений данного исторического материала к теории прогресса, если мы не приняли за точку исхода некоторую уже установленную теорию человеческих потребностей, некоторый определенный взгляд на роль общежития в жизни человека, на отношение личности к обществу в процессе общественных изменений, на основные общественные силы, которые или фатально (по некоторым учениям) создают человеческий прогресс, или могут (по другим учениям) в иных случаях содействовать, в других — мешать ему; наконец — на основные процессы истории, которые служат схемою для оценки значения существенных, более или менее важных, или второстепенных ее фактов. Более обширное и более тщательное изучение исторических фактов может повести к видоизменению точек исхода, и в этом заключается успех психологии и социологии, который, в свою очередь, вызывает новый успех в понимании истории; но в каждую данную минуту приходится оценивать и группировать исторический материал лишь на основании тех данных из социологии и близких ей областей психологии и биологии, которые в настоящем положении знания считаются наиболее вероятными.

Поставленный выше вопрос о теории прогресса распадается, следовательно, на три вопроса, которые приходится ставить в следующем порядке.

На основании современных данных биологии, психологии и социологии, в чем *мог* состоять прогресс в человеческом обществе?

На основании разобранного и исследованного исторического материала, в чем *заключались* различные фазисы исторического прогресса?

На основании наблюдаемого нами около себя строя общества и существующей в этом обществе работы мысли в различных его группах, принимая в соображение исторический процесс происхождения современного строя и основные явления прогресса в истории, в чем заключается *возможный для нашего времени* общественный прогресс?

Практика прогресса, обязательная для развитой личности, зависит от тех ответов, которые эта теория прогресса дает на поставленные вопросы.

4. Очерк содержания теории прогресса

На какие же частные исследования распадаются, в свою очередь, три новые общие вопроса, только что поставленные? Постараемся рассмотреть это в самых общих чертах.

Чтобы ответить на вопрос, в чем *мог* состоять прогресс, приходится прежде всего определить его *элементы* и отыскать в разнообразных процессах, охватываемых словом *развитие,* то, что *для нас* представляет стремление к *лучшему*.

Здесь нам представятся два процесса, в которых мы не можем не признать с первого же взгляда процессов прогрессивных, но которые как бы различаются настолько, что могут оказаться противоречивыми и, действительно, входили между собой в столкновение в реальной истории.

Пред нами рост личной мысли, с ее техническими изобретениями, с ее научными завоеваниями, с ее философскими построениями, художественными созданиями и нравственным героизмом. Пред нами солидарность общества с ее основными побуждениями: «каждый за всех, все за каждого», «всем все необходимое для жизни и развития; от каждого все его силы для работы на общественную пользу, для общественного блага, для общественного развития».

Рост сознательных процессов в личности, развитие личности в области мысли, есть бесспорное для нас явление прогресса. Те условия, которые обеспечивают наибольший и наистарейший рост личной мысли в человечестве, суть, вследствие этого, условия прогресса.

С другой стороны, прочность общественной связи является необходимым условием здорового существования общества и благосостояния особей, в него входящих. Поэтому все, скрепляющее эту связь, является нам элементом благодетельным, прогрессивным; все, ослабляющее эту связь, все, вызывающее вражду в обществе, создающее неравенство в его среде, есть для нас явление патологическое, регрессивное. Идеалом общества является для нас в этом отношении общество личностей равных, солидарных друг с другом по своим интересам и по своим убеждениям, живущих при одинаковых условиях культуры и устранивших, по возможности, из своей среды все враждебные друг другу аффекты, всякую форму борьбы за существование между членами общества.

Но эти два представления о прогрессе могут притти и приходили в столкновение в течение истории.

Идеалу прочного общества равных удовлетворяет в значительной мере первобытное царство обычая, в котором всякая работа мысли, всякое личное развитие подавляется господствующею рутиною жизни, где общественное равенство обозначает лишь одинаковое для всех отсутствие более развитых потребностей, одинаковую для всех невозможность завоевать себе более человеческое существование. Неужели это первобытное полумифическое состояние человеческого стада есть что-либо желательное, что-либо лучшее?

Идеалу высшего развития индивидуальной мысли может удовлетворять строй, где умственные завоевания небольшого меньшинства тем значительнее, что это меньшинство поглощает в себе жизненные соки огромного большинства, подчиненного его господству, лишенного всякой возможности участвовать в умственной жизни меньшинства; сильные побеги личной мысли могут быть куплены ценою порабощения масс, ценою неисчислимых страданий. Неужели общественная среда, вызывающая могучее развитие процессов сознания в немногих особях при подобных условиях, может быть без оговорок названа средою прогрессивною?

Нет, — говорим мы, — первобытное человеческое стадо, настолько же подчиненное обычаю, насколько муравейник или пчелиный улей подчинены инстинкту, не есть идеал прогресса. При условии возможной прочности, общество прогрессивно лишь тогда, когда в нем растет сознание, растут новые, высшие потребности; когда в нем возможно большее равенство между особями служит лишь почвою к возможно большему личному развитию каждой из них; когда обычный строй, обычная жизнь постоянно перерабатываются под влиянием расширяющейся мысли; когда связью общества, основою его прочности, является не одинаковый

унаследованный обычай, но одинаковое оживляющее всех убеждение.

Нет, — продолжаем мы, — развитие личной мысли, купленное ценою порабощения и страданий большинства, не есть процесс, удовлетворяющий требованию прогресса. Это — явление одностороннее, и бесспорным признаком тому служит уже то, что, при всех умственных успехах меньшинства, таким образом выработанного на счет чужих страданий, это меньшинство очень мало еще развито нравственно, когда оно *допускает* для себя возможность развиваться при существующих условиях, когда оно не возмущается условиями, его вырабатывающими. Истинно прогрессивное развитие личной мысли лишь тогда осуществляется, когда это развитие направлено к сознанию солидарности между более развитою личностью и менее развитыми группами, на переработку общественных отношений в смысле этого направления, на уменьшение неравенства в развитии членов солидарного общества. Истинное развитие личности может иметь место лишь в развитой группе людей, при взаимодействии общественных элементов, в которых различие степеней развития личностей доведено до возможно меньшего минимума, и при общем стремлении еще понизить этот минимум.

В здоровом общежитии личности развиваются не на счет других личностей, но при самой деятельной кооперации всех на пути развития.

Но не есть ли это невозможный идеал? Не приходится ли выбирать между обществом прочным и солидарным, но отрекшимся от условий развития личной мысли, и обществом с сильно работающею мыслию, но при условии беспрестанных раздоров, бесконечной борьбы между личностями и группами, повторяющихся внутренних и внешних катастроф? Не приходится ли выбирать между меньшинством, развивающим свою мысль при условии порабощения и страданий большинства, и отсутствием развития мысли? Может ли когда-нибудь установиться общественный строй, связанный убеждениями членов общества, солидарный во имя этих убеждений, строй, где личности кооперировали бы для общего развития? Не противополагают ли личные интересы навсегда одну личность другой? Не противополагают ли они навсегда личность общественному строю, делая из нее или эксплоататора общества или его мученика? Могут ли личные потребности отожествиться с общественными задачами? Может ли личный интерес сделаться скрепляющею силою общежития настолько же, насколько он является побуждением к личной работе мысли?

На этом фазисе развития понимания прогресса при-

ходится сопоставить интересы *личности* и *общества* и посмотреть, насколько они согласимы.

Факты истории показывают, что нет непримиримого противоречия между крепкою общественною связью и сильною работою мысли в среде общества, и что личная мысль может работать производительно не только в направлении противоположения интересов личности интересам общества, в направлении эксплоатации общества личностью, но также и в направлении солидарности между развитою личностью и обществом, к которому она принадлежит, вызывая любовь к соплеменникам, к соотечественникам, к людям вообще, вызывая стремление скрепить их солидарность между собою и свою солидарность с ними, вызывая самоотверженную деятельность на общую пользу, для которой приносятся в жертву и личное благосостояние, и личные привязанности, и сама жизнь. Рядом с борьбой мысли против общественных привычек является в истории работа мысли на развитие общественной прогрессивной цивилизации. Рядом с борьбою интересов за существование, за обогащение, за монополию наслаждений, мы видим противодействующие этой борьбе подвиги сознательной службы общественному делу, целые существования, посвященные усилию солидарности между людьми.

Личность может относиться сочувственно к общественной связи, в которой она живет, не только во имя подчинения господствующему обычаю, точно так же как ее личный интерес может не только заключаться в том, чтобы пользоваться общественною средою для таких своих целей, которые противоположны целям большинства других членов общества. Личность может на известной ступени развития признать, что ее интересы *одинаковы* с интересами этого большинства; она может признать, что для нее *выгодно*, чтобы общественная связь была прочнее; таким образом, работа ее мысли может быть направлена на *скрепление* общественной связи, на *усиление* общественной солидарности. Сила развивающейся личной мысли *совпадает* тогда с силою более и более сплачивающегося общества. Согласное прогрессивное развитие обоих рассмотренных элементов сделается тогда возможным, и в таком случае явления обоих процессов, помогая друг другу, станут уже действительно прогрессивными.

Останется только разобраться в побуждениях, двигающих личность в ее деятельности. Это — власть обычая, сила интересов, увлечение аффектов, нравственное могущество убеждений. Господство обычая и рутины, как безусловно противоречащее здоровой работе мысли, должно быть безусловно признано явлением регрессивным. Про-

грессивная мысль должна постоянно перерабатывать унаследованные привычки сообразно своим развивающимся идеалам. Она должна делаться мыслию все более критическою по разработке и группировке существующего материала. Она, по объему своей области, должна делаться мыслию все более широкого, последовательного и гармонического миросозерцания, мыслию все более стройной и всеобъемлющей философии. — Аффект, как самостоятельное побуждение к деятельности, столь же мало, как и господство обычая, может быть признан прогрессивным деятелем общественной жизни, вследствие крайней неправильности и непостоянства аффективных проявлений. Он прогрессивен *лишь тогда,* когда придает более энергии интересу и убеждению, которые уже прогрессивны *сами по себе;* а во всех других случаях может быть столь же легко орудием застоя и регресса, как и орудием прогресса.

Остаются интересы и убеждения. Когда они противоречат друг другу в груди одной и той же личности, мы можем иметь фанатиков, героев, уединенных мудрецов, но мы имеем в каждом случае исключительные факты, неспособные сделаться основою общественной силы, исторического влияния. Когда убеждения или интересы меньшинства противоречат убеждениям или интересам большинства, в обществе нет солидарности, нет прочной связи. Оно накануне катастрофы, и никакой блеск цивилизации, никакие громадные завоевания внешней культуры или личной мысли не могут закрыть зияющей раны на общественном теле. Общественный строй обречен гибели или радикальной перестройке.

Лишь тогда прогресс возможен, когда в убеждение развитого меньшинства вошло сознание, что интересы его тожественны с интересами большинства во имя прочности общественного строя; когда стремление сплотить общество в более солидарное целое во имя собственных интересов выработалось в развитых личностях в нравственное убеждение; когда личность может войти в организующуюся общественную силу во имя единства интересов всех элементов, составляющих эту силу, когда, входя в эту силу, личность вносит в нее более ясное сознание общности связующих общество интересов и в этом самом процессе перерабатывает их в нравственное убеждение. Тогда задача прогресса устанавливается определенным образом. Прогресс есть рост общественного сознания, насколько оно ведет к усилению и расширению общественной солидарности; оно есть усиление и расширение общественной солидарности, насколько она опирается на растущее в обществе сознание. Органом прогресса является развивающаяся личность, вне

деятельности которой прогресс невозможен, которая в процессе развития своей мысли открывает законы общественной солидарности, законы социологии, прилагает эти законы к современности, ее окружающей, и в процессе развития своей энергии находит пути практической деятельности, именно перестройки окружающей его современности, согласно идеалам своего убеждения и данным своего знания.

Если интересы мысли и интересы солидарности общежития, интересы личности и интересы общества, к которому она принадлежит, могут быть согласимы, и если на этом пути лежит истинное понимание и истинная практика прогресса, то приходится рассмотреть внимательнее и разделить на категории те потребности личности, удовлетворение которых она ищет в общежитии, для удовлетворения которых общество создает различные органы, соответствующие различным функциям, и которые составляют основную схему исторического развития. Эти потребности бывают или основные и постоянные, или выработанные процессом развития мысли и жизни и обусловливающие самое это развитие, или вызванные преходящими фазисами истории и временные, или даже патологические. Присутствие патологических потребностей придает ходу истории патологическое течение; их устранение есть одна из форм борьбы за прогресс. Установление же правильной иерархии потребностей основных и временных, уяснение их взаимной зависимости и рационального отношения между ними есть одна из главных отраслей работы критической мысли, подготовляющей правильную практику прогресса. Целью правильного исторического развития может быть лишь возможно полное удовлетворение здоровых потребностей человека в той иерархии, как они сознаются им, как низшие и высшие, по мере его личного развития.

Во взаимодействии основных и выработанных здоровых потребностей человека проявляются *основные процессы истории.*

Все основные потребности суть потребности чисто материального свойства и связаны с самыми элементарными процессами жизни. Временные потребности, вырабатываемые историею, уже гораздо сложнее. Человек их ставит обыкновенно выше, но под ними скрывается, собственно, стремление удовлетворить наилучшим образом все те же элементарные потребности; все остальное, к этому прилипшее с течением времени, есть, большею частью, патологический нарост. Элементарные потребности являются сначала в форме бессознательной и создают мир обычаев, причем, при одностороннем стремлении удовлетворить одной потребности, общежитие загромождается множеством наростов чисто пато-

логических, мешающих проявиться другим сторонам развития личности и общества и с которыми приходится бороться мысли при ее стремлении к прогрессу. При позднейшем фазисе развития те же потребности воплощаются в религиозные верования, в философские миросозерцания, в художественные образы и, как идея мистическая или метафизическая, как идеал искусства или нравственности, в форме аскетизма или высшей мудрости, вступают как бы в борьбу с своими собственными элементарными формами. Но эта борьба есть опять-таки патологическое явление. Основные потребности *должны быть удовлетворены,* и правильная работа мысли человека направляется на вопрос об их удовлетворении наиболее полным и лучшим образом.

При этом сама работа мысли создает новые потребности, нераздельные с развитием мысли и потому здоровые, но выработанные человеком в его развитии, как потребности создания исторического прогресса. Они являются как ускоряющими силами прогресса, так и самыми могучими орудиями для правильного удовлетворения основных потребностей человека. Потребность критического мышления раскрывает патологический элемент обычая и временных потребностей, высвобождает реальное содержание основных потребностей из наросших на них слоев культурных обычаев и религиозных, метафизических, художественных построений и образов. Наука ставит определенно задачу о иерархии здоровых потребностей человека. Потребность философского мышления вносит единство в разнообразные частные попытки решить эту задачу и до тех пор последовательно перестраивает систему мысли, пока эта система охватит все завоевания науки и доведет гипотетический элемент своего содержания до возможно незначительного минимума. Потребность художественного творчества воплощает в цельные, патетические образы все уясняющееся понимание основных и исторических потребностей человека. Потребность нравственной деятельности создает героев и мучеников, которые воплощают в жизнь и в действие это понимание, кладут камень за камнем в постройке такого общества, в котором удовлетворение основных и устранение патологических потребностей будет возможно, и часто скрепляют эти камни жертвами своего личного счастия.

Но под этой разнообразной борьбой за прогресс совершается все-таки основной процесс истории, стремление удовлетворить наилучшим образом основным весьма элементарным потребностям человека.

При более тщательном рассмотрении эти основные потребности сводятся на очень немногие: на потребность в пище, одежде, жилище, орудиях труда и т. п., т. е. на

группу так называемых *экономических потребностей* и на потребность в *безопасности*. Первая создает *экономический строй*, его различные функции и органы; вторая — *политические отношения*, внешние и внутренние. Все основные потребности человека, не входящие в эти две категории, не суть потребности, имеющие прямое отношение к скреплению или к ослаблению общественной солидарности, следовательно — здесь и рассматривать их нечего. Все прочие, сюда относящиеся, вырабатываются в течение истории, под влиянием ее процессов, и, следовательно, принадлежат или к временным, или к патологическим, или к тем, которые суть, как сказано выше, продукты здорового развития общества и главные орудия ускорения общественного прогресса.

Итак, в пестрой и разнообразной картине исторических и современных общественных явлений приходится прежде всего разглядеть, под скромными формами привычек и под роскошными покровами религиозных, научных, философских, художественных, нравственных продуктов человеческой деятельности, экономические интересы личности и общества и интересы личной и общественной безопасности, так как *эти* интересы должны быть удовлетворены прежде всего, так как без удовлетворения *их* общество не может иметь ни прочности ни солидарности, а личность не может нравственно развиваться.

Но и между этими основными потребностями надо установить мысленно зависимость, так как от этого зависит истинное понимание условий прогресса. Что примирует [329] в общественных задачах и в общественном развитии: политические или экономические интересы? — Помощью ли правильного государственного переустройства можно достигнуть экономического прогресса, или под политическими столкновениями и борьбою за власть приходится видеть лишь экономические задачи? — Надо ли призывать древнего премудрого Солона [330] или более нового, сказочного Утопа [331], которые должны установить законом надлежащие экономические порядки? — Надо ли искать в палатах общин и лордов, в Конвенте под знаменем «свободы, равенства и братства», в вашингтонском конгрессе федеративных республик, в земских соборах Ивана Грозного, Алексея «Тишайшего» [332] или Екатерины «Великой» законодательств, которые должны решать весь общественный вопрос? Надо ли агитировать за всеобщую подачу голосов и биться на баррикадах, как это делали в Париже, Вене, Берлине, Риме, чтобы отвоевать политический прогресс, а с ним вместе и экономический? — Или, может быть, на этом пути человечество шло за иллюзиями; премудрые Соло-

ны давали лишь юридическую форму реально существовавшему заранее экономическому господству. Утопы никогда не существовали, и если бы существовали, то были бы немощны пред экономическими силами, около них господствующими, пока не нашли бы средства подорвать эти силы. Не писали ли все конституции, уложения, хартии всегда и везде те общественные группы, в руках которых находилось фактически экономическое господство? Не приходили ли к жалкому фиаско, при всем героизме и самоотвержении личностей, в них участвовавших, все политические революции, если они не изменяли в обществе распределение богатств, и не оставалось ли из них прочным лишь то, что обозначало экономическое переустройство? Не оказывались ли осуществимыми лишь те планы перераспределения богатств, которые опирались на осуществившиеся уже изменения формы производства и обмена? Не были ли истинно реальными, истинно радикальными лишь те требования боровшихся партий, которые относились к удовлетворению экономических потребностей и которые соответствовали действительным условиям экономической жизни общества в данную эпоху?

При рассмотрении взаимодействия экономических и политических потребностей в истории, научное решение вопроса склоняется к господству первых над последними, и всюду, где при помощи исторического материала можно разглядеть с большею подробностью истинное течение фактов, приходится сказать, что политическая борьба и ее фазисы имели основанием борьбу экономическую; что решение политического вопроса в ту или другую сторону обусловливалось экономическими силами; что эти экономические силы создавали каждый раз удобные для себя политические формы, затем искали себе теоретическую идеализацию в соответственных религиозных верованиях и философских миросозерцаниях, эстетическую идеализацию в соответственных художественных формах, нравственную идеализацию в прославлении героев, защищавших их начала.

Однако не раз эти политические формы, отвлеченные идеи и конкретные идеалы, созданные экономическими силами, установившись, сделавшись элементом культурного строя, обращались в самостоятельные общественные силы и, забыв или отвергая свое происхождение, вступали в борьбу за господство с теми самыми экономическими силами, которые их создали, вызывая на историческую арену новые формы экономических потребностей, новые экономические силы. Феодальная система собственности была подорвана в значительной мере той административно-государственной системой, которую она сама создала для своего обеспече-

ния, и той идеею договора, которую она сама выдвинула, как ограждение от злоупотреблений центрального государственного органа. Современный государственный милитаризм, охраняющий святыню собственности биржевых и фабричных царей от голодного пролетариата, не раз является в руках Наполеонов III, Бисмарков и их подражателей орудием планов, далеко не тожественных с экономическими интересами этих царей. Идеал равенства, во имя которого буржуазия упрочила свое господство над феодальными собственниками в предшествующий период, становится для нее обоюдоострым мечом в настоящей общественной борьбе, когда волнующийся пролетариат подчеркивает в этом идеале элемент равенства *экономического*.

Таким образом борьба экономических сил усложняется участием в ней тех продуктов этой борьбы в области политических форм и идеальных задач, которые требуют себе господства во имя своего самостоятельного права на историческое существование. Но, как ни разнообразны формы этой борьбы, ее процесс, в сущности, не особенно сложен.

Условия производства и обмена в данную эпоху, в комбинации с существующими политическими формами и с унаследованною долею привычек культуры, устанавливают фатально распределение богатств, а следовательно — распределение труда и досуга, распределение *возможности* работы мысли в данном обществе. Образуется господствующее меньшинство, концентрирующее в своих руках главную долю богатства, поэтому монополизирующее главную долю общественного влияния и политической власти, неизбежно монополизирующее почти исключительно и досуг для работы мысли и самую эту работу. Оно стремится укрепить свое господство обычаем, законами, верованием, философскими и научными соображениями, художественным творчеством. Положение подчиненного большинства становится все хуже. Привычки мысли и жизни все более отделяют господствующее меньшинство от подчиненного большинства. История первого, с его более или менее блестящею внешностью культурных форм и более или менее могучими завоеваниями досужей мысли, становится все более чуждою общественной жизни большинства, трудящегося для создания этой цивилизации меньшинства. Но одно сосуществование их рядом обусловливает некоторые патологические явления. Необходимость держать в подчинении эксплоатируемое большинство искажает работу мысли меньшинства. Присутствие наслаждений, ему недоступных, в области материальной и интеллектуальной все более раздражает большинство, делает его врагом господствующих

классов и всего наличного общественного порядка. Классовая борьба растет и обостряется. Общественная солидарность становится фиктивною, и существованию общества грозит опасность.

При резкой постановке этого общественного разлада, существовавшего сплошь и рядом в древнем мире, при обособленности национальностей, катастрофа наступала быстро и решительно. Приходил более бедный хищный сосед с намерением воспользоваться самым простым образом богатством, скопленным меньшинством рассматриваемого общества. Большинство относилось довольно равнодушно к грозящей опасности. Меньшинство было разорено или гибло. Цивилизация исчезала со всем своим блеском, и через тысячи лет археологи читали с изумлением на папирусах и глиняных кирпичах свидетельства о неслыханных завоеваниях мысли; они оплакивали катастрофу, погубившую эту «забытую цивилизацию», и забывали обыкновенно оплакивать судьбу миллионов большинства, жившего с нею рядом, создавшего ее своим потом и кровью, никогда не участвовавшего в ее наслаждениях и достаточно страдавшего во время веков или тысячелетий ее существования, чтобы видеть равнодушно ее падение.

Был и другой исход. Работа мысли и создание политических форм вызывали к общественной жизни, в интересах господствующего меньшинства, новые общественные группы, которые, пользуясь случаем или фатальным развитием техники производства и обмена, техники политической жизни, отвоевывали себе экономическую самостоятельность, следовательно — и общественное влияние. Между безусловно господствующим меньшинством и безусловно подчиненными массами возникало несколько промежуточных слоев, которые имели долю в господстве и долю в подчинении и, естественно, стремились увеличить первую и уменьшить вторую. Иногда работа мысли переходила почти вполне к этим промежуточным слоям. Прогресс в области техники и обмена усиливал одних. Литературное, научное, философское, художественное творчество становилось уделом других. Создавались и сталкивались на арене мысли различные идеалы, различные миросозерцания. Вступали в спор за общественное господство различные силы. Та из них, которая умела связать свои интересы — действительно или фиктивно — с интересами безусловно подчиненных и страждущих масс, становилась преобладающею силою, потому что ей удавалось направить действительный или призрачный «рост общественного сознания» на «усиление общественной солидарности» в свою пользу. Эта преобладающая сила или разлагала общественные органы своих про-

тивников и вырастала на их развалинах, которые распадались как бы сами собою (как организация церкви выросла на разлагающейся римской империи), или вызывала более или менее кровавую революцию и на плечах подчиненных классов поднималась до безусловного экономического и юридического господства, создавая новые общественные формы, в которых обыкновенно ее помощники в борьбе занимали столь же подчиненное место, как и в прежнем строе. Начинался новый период истории, обусловленный, в сущности, экономическим господством нового общественного слоя, создающий соответственно тому новые политические формы, новые продукты мысли для идеализации существующего и тем самым дающий начало новым промежуточным слоям, которые могли разрастись в новые общественные силы.

Но при этом повторяющемся основном процессе почва, на которой он происходил, постоянно изменялась, и потому самые явления никогда не повторялись и не могли повторяться. Новый экономически господствующий класс был вовсе не в положении своих предшественников, так как он опирался на иные формы производства и обмена; имея около себя иную комбинацию общественных сил, он должен был брать в расчет иные идеальные продукты мысли и иные общественные привычки, а потому ему грозили иные катастрофы.

И соответственно тому борцы за прогресс в каждую эпоху имели пред собою иные задачи как в отношении возможности распространять свое понимание прогресса, так в отношении средств организовать общественную силу для борьбы за него, а также в отношении выработки в самих себе и около себя новых привычек мысли и жизни, гармонирующих с новым пониманием прогресса. Но всегда и везде эти задачи, правильно понятые, имели одинаковую сущность. Эта сущность заключалась в следующем: изменить формы распределения общественных сил, преимущественно же формы распределения богатства, согласно существующим условиям производства и обмена, пользуясь существующими обычными и юридическими формами общественной организации, беря в соображение различные существующие завоевания мысли научной, построения мысли философской, типы мысли художественной, идеалы мысли нравственной; совершить эти изменения в направлении наибольшего усиления и расширения общественной солидарности и наибольшего роста общественного сознания; наконец, закрепить совершившееся изменение политическими формами, наиболее гармоничными с совершившимся переворотом, идеальными продуктами науки, фи-

лософии, искусства, наилучше оправдывающими это изменение, и воплощением в жизни нравственных идеалов, наиболее соответствующих здоровым потребностям человека.

Лишь таков *мог* быть прогресс в человеческом обществе, и, лишь признав это за точку исхода, мы можем правильно поставить следующий вопрос: в чем *фактически заключались* реальные фазисы исторического прогресса?

Здесь прежде всего приходится иметь в виду задачи истории цивилизации и, на основании этих задач, понять фазисы исторического процесса в их целом. Эти задачи я указал уже в первом письме, но теперь их можно формулировать несколько иначе.

История цивилизации должна показать, как из естественных потребностей развилась первая культура; как она немедленно прибавила к естественным потребностям искусственные в форме привычек и преданий; как мысль работала на этой почве, увеличивая знание, уясняя справедливость, округляя философию, воплощая свои приобретения в жизнь; как этим путем возникал ряд культур, сменявших одна другую; как их формы давали более или менее простора работе мысли; как цивилизации, таким образом возникавшие, развивались критическою борьбою личностей, ослабляли и губили сами себя недостаточным пониманием требований справедливости или впадали в застой от недостаточной работы в них критической мысли, или делались жертвою внешних исторических катастроф; как периоды усиленной работы критической мысли ускоряли и оживляли прогрессивное движение человечества; как сменялись они периодами господства преданий, еще сильных в массе, недостаточно развитой передовым меньшинством; как критическая мысль снова продолжала работать под самыми неудобными, повидимому, формами, под самыми неподходящими девизами; как росли и сталкивались партии; как менялся смысл великих принципов на их знаменах; как критика и только одна критика вела человечество вперед; как ложные идеализации мало-по-малу сменялись истинными; как расширялась область истины; как уяснялась и воплощалась в жизнь личностей и в общественные формы справедливость; как падали пред ними самые прочные предания, исчезали самые закоренелые привычки, оказывались немощными самые громадные силы; как в драму истории вписывали свои имена личности, национальности, государства, поочередно становясь органами то прогресса, то реакции; как выработался в нынешнем человечестве тот идеал прогрессивной деятельности, который борется в наше время против всех ложных идеализаций и явно реакционных стремлений, его окружающих, против наслоившихся культурных

привычек и преданий старого времени, против индифферентизма большинства.

Еще короче задачу истории цивилизации можно выразить так: показать, как критическая мысль личностей перерабатывала культуру обществ, стремясь внести в цивилизацию их более истины и справедливости.

На основании предыдущего решение вопроса о фактическом ходе исторического прогресса представляется в следующем виде. Исследователю придется сначала рассмотреть переход от антропологического царства обычая к периоду обособленных национальностей. Пред наблюдателем затем возникнет, вследствие усилившегося обмена продуктов материальных и идеальных и усилившейся экономической и умственной зависимости между нациями, идея универсальной человеческой мудрости, универсального юридического государства, универсальной братской религии. Но именно потому, что эти универсальные начала не были крепко связаны с основными потребностями человека, им не удалось установить солидарность человечества, и новая европейская цивилизация, характеризованная тем, что она сделалась цивилизацией *светскою*, вернулась к противоречивым идеям обособленных государственных организмов при существовании универсальной научной истины, проповедуемой на всех языках, во всех школах; при сохраненном — хотя и слабеющем — переживании универсального, единого для всех людей, религиозного догмата; при существовании и все усиливающемся разрастании универсальной, космополитической промышленности, охватывающей своей системой производства, обмена, денежных оборотов кредита, биржевых спекуляций и фатальных кризисов все цивилизованное или полуцивилизованное человечество. Само собою разумеется, что противоречивые общественные идеалы, при этом созданные, не могли быть прочны. Два века не просуществовал идеал общественной солидарности в форме государственного абсолютизма. Едва он сменился идеалом государственной демократии, как рядом с ним восстала разлагающая политические идеалы мысль политической экономии, требуя примата для экономических начал. Но политическая экономия, выступившая как союзник и идеальное оправдание экономического и политического господства буржуазии, как научный элемент правового государства, весьма скоро встретилась с новыми задачами, для решения которых буржуазия была бессильна. Фатально вызывая существование все растущего, вырождающегося или волнующегося пролетариата, капиталистическое хозяйство, с политическими формами, им вызванными, с идеальными продуктами, выросшими под влиянием его борьбы со

средневековым феодализмом и с новым абсолютизмом, не давало возможности буржуазии ни устранить существование пролетариата, ни мешать ему разрастаться в общественную силу. Во имя выработанных ранее демократических идеалов, требования экономической перестройки общества возникали снова и снова под разными формами. Сначала утописты стали рисовать миру свои картины нового органического периода в жизни человечества, царства гармонии между капиталом, талантом и трудом, стройного мира всеобщей кооперации в труде и развитии. Но борьба общественных сил не могла никогда окончиться так мирно. Лагерь трудящихся на поддержку современной цивилизации отделялся все более глубокой пропастью от лагеря пользующихся этою цивилизациею, а при современном росте мысли не могли уже отсутствовать многочисленные промежуточные классы между бесспорными царями биржи и пролетариатом, несшим на рынок свои руки и свой мозг. В рядах бунтовщиков против капиталистического строя не замедлили явиться борцы, опиравшиеся на все завоевания мысли предшествующих периодов, и фатально эта мысль в своем развитии ставила задачи все более острые и категорические. Она поставила задачу социологии как единой науки, как венца наук. Она выдвинула закон всеобщей эволюции и провозгласила, что все общественные явления и формы суть явления и формы временные, «исторические категории». Она дала ощупать и непримиримую противоположность капитала и труда, и фатальное порождение пролетариата самим развитием капитализма, и неминуемую катастрофу, грозящую капитализму. Буржуазным идеалам прогресса путем всеобщей конкуренции, космополитических спекуляций биржи для скопления несметных богатств в руках ее царей был противопоставлен идеал солидарности трудящихся и *только* трудящихся. Идеалу всесильного государства, охраняющего священную собственность спекуляторов, был противопоставлен идеал политической анархии, опирающейся на взаимный обмен услуг. Мысль о создании новой общественной силы для победы над старыми воплотилась в призыв: «соединяйтесь!», обращенный к хронически голодающим классам всех стран и племен, и целых восемь лет просуществовала первая попытка организации этой силы, ужаснувшей все господствующие элементы старого мира [333]. Она пала не под их ударами, а вследствие недостатков собственной организации, неизбежных при всякой первой попытке подобного рода. Шум и гром политического соперничества между государствами, хитросплетения дипломатов, временный фейерверк «культурной борьбы» светской мысли [334] против выдохшегося клерикализма

не могли и не могут закрыть от внимательного наблюдателя тех экономических основ современного разлада, которые вызывают большинство болей нашего периода, и тех экономических задач, которые настоятельно требуют себе решения, так как решение всех прочих задач зависит от решения *их*.

И вот, на основании этого понимания общего содержания прогресса и его фазисов, возникает третий и самый жгучий из поставленных выше вопросов, потому что он наиболее близок к практике, именно: в чем заключается *возможный для нашего времени* общественный прогресс?

Если настоящий строй неправилен, если в нем существует непримиримый раздор; если предыдущая история разрушила солидарность религиозных, национальных, семейных, государственных связей, если все старые идеалы поблекли и потеряли плодородие и если общие законы социологической зависимости явлений убеждают нас, что неудовлетворение экономических потребностей лежит в основании всякой общественной болезни, что экономическое переустройство есть первый и необходимейший шаг во всяком общественном лечении, — то в чем же должно лежать это переустройство, необходимое для нашего времени? Нет ли в существующих условиях производства и обмена прямых указаний на то, как должно измениться и распределение? Не поставили ли наука и литература, философия и жизнь уже довольно ясно перед всяким искренним умом те истины, которые следует воплотить в практику, те идеалы, которые следует осуществить в более обширных размерах? Нельзя ли уже совершенно бесспорно определить, в каком направлении конкуренция фатально не дозволяет думать о гармонии интересов, об установлении солидарности между личностями и группами и в каком солидарность не только возможна, но уже осуществлялась при самых невыгодных условиях, при самой печальной обстановке? Нельзя ли на основании предыдущего роста мысли с достаточною верностью определить ближайший фазис прогрессивного развития общественного сознания?

Если же вопрос о необходимом экономическом переустройстве для нас решен, если мы усвоили определенный план восстановления и усиления разрушенной теперь в обществе солидарности, определенный план роста общественного сознания, то какие политические формы будут наиболее соответствовать новым экономическим формам производства, обмена и распределения, потребности всестороннего развития личности и всеобщей кооперации для коллективного общественного развития и наилучше обезопасят этот

прогрессивный процесс? Какая система знания, какое философское миросозерцание, какие художественные типы наилучше укрепят новый порядок в области идей? Как должен жить в наше время борец за прогресс, чтобы его жизнь соответствовала его решимости бороться за прогресс?

Мы ставим лишь вопросы, но читатель, к которому мы обращаемся, читатель, который не бросил предыдущие страницы, как возмущающие покой его мысли, рутину его жизни, читатель, который вдумался в задачи, поставленные на этих страницах, сам уже найдет определенные ответы на эти частные вопросы. Эти ответы и не следует вычитать из книги, принять на веру; их следует почерпнуть из жизни; они должны составить основу жизненного убеждения.

Когда же эти частные ответы получены, то именно они, в своей комбинации, составят ответ на вопрос, поставленный выше: в чем заключается *возможный для нашего времени* общественный прогресс? В чем заключается он для общества, которое хочет быть представителем лучших стремлений современного человечества? В чем заключается он для личности, которая жаждет не спокойствия рутинной жизни, не наслаждений интеллигентного чувственного животного, а наслаждения жизнью идейною в своем сознании, жизнью солидарности со всем тем, что в человечестве стремится к развитию, жизнью историческою, развертывающею для этого человечества все более широкое будущее?

На этой ступени теория прогресса сливается с его практикою. Понимать его нельзя, не участвуя в нем делом, и это самое дело уясняет его понимание. Нелегко это понимание, требующее и внутренней ломки и многочисленных жизненных жертв. Нелегко дело, когда оно очень часто разрывает связи человека с близкими людьми, когда оно разрушает фантастические верования личности, иногда принуждено оторвать ее от семьи, от родины, от всего того, что ласкает и убаюкивает человека, но в то же время может сузить его стремление к прогрессу; от того, что может втянуть его в тину общественного застоя. История требует жертв. Их приносит в себе и около себя тот, кто берет на себя великую, но грозную задачу быть борцом за свое и за чужое развитие. Задачи развития *должны быть* разрешены. Лучшее историческое будущее *должно* быть завоевано. Пред каждою личностью, которая достигла до сознания потребности развития, стал грозный вопрос: будешь ли ты один из тех, кто готов на всякие жертвы и на всякие страдания, лишь бы ему удалось быть сознательным и понимающим деятелем прогресса; или ты останешься в стороне бездеятельным зрителем

страшной массы зла, около тебя совершающегося, сознавая свое отступничество от пути к развитию, потребность в котором ты когда-то чувствовал? Выбирай.

ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ

Цель автора

Просматривая эти письма, читателю, может быть, случилось спросить себя, почему эти письма «исторические»? Что в них исторического? Я рассматривал не личности, не эпохи, не события, а некоторые общие начала, которые легко могли показаться читателю несколько отвлеченными, даже иногда чуждыми тому интересу, который читатель находит в историческом рассказе. Но посмотрим на вопрос внимательнее. Я постараюсь сблизить здесь мысли, высказанные в разных местах этих писем, и те, которые я, быть может, недостаточно ясно высказал, но которые желал возбудить в читателе. Не найдется ли при этом повода оправдать меня?

Что мы ищем в истории? Неужели пестрый рассказ о событиях? На это уже немногие решатся ответить утвердительно, и те, которые ищут только этого, совершенно будут правы, если станут сетовать на отвлеченность предложенных им писем. Приступая к истории с более серьезными требованиями, в ней можно искать или борьбу личностей и обществ за человечные интересы, столкновения за мнения, ослабление и развитие разных частных идеалов человека; или общий естественный закон, охватывающий все течение исторических событий, прошедшее, настоящее и будущее. Первая точка зрения обособляет интересы истории от интересов естествознания; вторая — подводит историю под общие начала исследования природы. Но в сущности, для строгого исследования, эти две точки зрения не очень разнятся между собою, потому что знание какого-либо предмета определяется не только тем, что *желательно* знать о нем, но тем, что о нем знать *возможно*. Поэтому вопрос: что можно искать в истории? — превращается в другой: каким образом, по неизменным законам своих психических отправлений, человек может отнестись к истории? Что в ней неизбежно ускользает от его научной оценки и может быть лишь призрачным явлением исторического построения? Только установив более или менее эту основу научного исследования, человек может с некоторою уверенностью прилагать к истории вопросы о том, что он *желает* знать от нее.

Но я постарался развить в самом начале положение, что для человека неизбежно внести в оценку исторических событий *свою личную* нравственную выработку, свой нравственный идеал. В борьбе личностей ему важнее всего те свойства личностей, которые он признает элементами нравственного достоинства: ум, ловкость, энергия, находчивость, сила убеждения, вера в те идеи, которые важны для исследователя, сознательное или бессознательное содействие их усилению или ослаблению в обществе.

В борьбе обществ и партий исследователю всего важнее опять-таки усиление или ослабление тех направлений мысли, которые для него, как человека, представляют лучшее или худшее, наиболее истинное или наиболее ложное. Охватывая в общем миросозерцании целый процесс истории в прошедшем и будущем, человек не может, по законам своей мысли, искать в истории ничего иного, кроме фазисов прогрессивного процесса своего нравственного идеала. Следовательно, пытаясь понять историю, внести в нее серьезный интерес мысли, человек неизбежно относит личности, события, идеи, общественные перевороты к мерке своего развития. Если оно узко и мелко, то история представляет ему безжизненный ряд фактов, и эти факты будут для него безынтересны и малочеловечны. Если развитие его односторонне, то самое тщательное изучение истории не предохранит его от односторонности в представлении исторических событий. Если он проникнут уродливым, фантастическим верованием, то он неизбежно изуродует историю, как ни будет стараться об объективном ее понимании. Во всяком случае, при достаточном фактическом знании, степень развития личности, ее нравственная высота определяет понимание истории. Частный исторический интерес, возбуждаемый теми или другими личностями, теми или другими событиями, сводится на общий интерес, возбуждаемый их участием в прогрессивном развитии человечества. Общий естествознательный интерес, возбуждаемый отысканием закона истории в ее целом, есть не что иное, как интерес осуществления нашего нравственного идеала в прогрессивном ходе истории.

Если это так, то мы ищем и можем искать в истории лишь различные фазисы прогресса, и понимать историю значит понимать ясно способы осуществления нашего нравственного идеала в исторической обстановке. Наш идеал субъективен, но чем лучше мы его проверим критикой, тем больше вероятия, что он есть высший нравственный идеал, возможный в настоящую эпоху. Мы прилагаем этот идеал к объективным фактам истории, и это не мешает им оставаться объективно верными, так как и тут верность

их зависит от нашего знания и от нашей критики; субъективный же идеал придает им перспективу, и *нет* никакого другого способа построить эту перспективу, как при пособии нравственного идеала. Мне возразят, что есть иной способ и более верный: это — построить перспективу событий эпохи по их внутренней связи и по нравственному идеалу самой эпохи. Но что значит внутренняя связь? Что значит нравственный идеал данной эпохи? — Из тысячи пестрых фактов, нам известных о данной эпохе, мы строим связь, *для нас* вероятнейшую, на основании того, что *мы сознали* как наиболее истинные психические отправления личности, наиболее общие социологические явления в собрании личностей. Это есть для нас «внутренняя связь». Историк, развивший в себе понимание экономических вопросов для общества, найдет иную внутреннюю связь событий, чем тот, который остановился на понимании влияния политических интриг. Писатель, сознающий силу убеждений, увлечений и бессознательных самообольщений в личности, иначе свяжет события, чем писатель, привыкший все относить к расчету и хитрости. — А «нравственный идеал эпохи»! Почему мы собираем его черты из этих событий, а не из других, с ними рядом совершавшихся? Почему черпаем свидетельства преимущественно из этого автора, а не из его современника? Потому что *эти* события представляют более цельности, последовательности; потому что *этот* автор умнее, последовательнее, честнее, откровеннее своего современника. Но этим самым не высказываем ли мы *наш* нравственный идеал относительно наиболее значительных событий, наиболее значительных личностей? Совершенно верно, что исторические события должны излагаться в их «внутренней связи», оцениваться по «нравственному идеалу эпохи», но эта самая внутренняя связь и этот нравственный идеал должны и могут быть открыты путем выработки в нас самих идеала беспристрастной истины, исторической справедливости, и самая связь эпохи и последовательных идеалов подлежит еще суду другой критики, именно критики исторического прогресса, т. е. *нашего* нравственного идеала в его целом. Оттого одной эпохе мы придадим более важности, чем другой; одни события в их внутренней связи разберем подробнее, чем другие. Повторяю: нравственный идеал истории есть единственный светоч, способный придать перспективу истории в ее целом и в ее частностях.

Следовательно, понять историю в наше время значит ясно понять нравственный идеал, выработанный лучшими мыслителями в наше время, и исторические условия его осуществления, потому что процесс истории есть процесс не

отвлеченный, а конкретный. Он может употреблять лишь орудия определенного рода. Он совершается при данной обстановке, определяющей возможное и невозможное. Он подчиняется неизбежным законам природы, как и всякие другие процессы. Для понимания истории постоянно следует обращать внимание на эти внешние условия, в которые поставлены человеческие идеалы. *Необходимые* процессы физики, физиологии и психологии не представляют возможности ни отступления ни скачка. *Исторически данная* среда столь же мало устранима в данную эпоху со всеми своими влияниями, как предыдущие необходимости не устранимы никогда. Самая светлая истина, самая высокая справедливость подчинена в своем проявлении и распространении этим ограничивающим условиям. Самая талантливая и энергическая личность может лишь из *необходимых* условий природы и из *исторически данных* условий среды черпать материал для своей мысли и для своей деятельности. Исторический интерес, ясно понятый, для каждой эпохи ставит прежде всего вопрос: что было возможно в эту эпоху для прогрессивного движения? Насколько понимали деятели условия, в которых они находились? Воспользовались ли они для своих целей всеми условиями времени?

Но ясно понять современный идеал значит устранить из него все призраки, которые к нему приплели предания, ошибочные традиции мысли, вредные привычки прежних эпох. Истина и справедливость более или менее беспрекословно пишутся на всех знаменах нашего времени, но партии расходятся в том, *где* истина, в *чем* справедливость. Если читатель не пытался уяснить себе этого, то история останется для него неясным процессом сцепляющихся событий, борьбой хороших людей из-за пустяков, борьбой безумцев из-за призраков, борьбой слепых орудий в пользу нескольких расчетливых интриганов. Много громких слов раздается со всех сторон. Много прекрасных знамен развевается во всех рядах. Много самоотверженной энергии тратят представители всех партий. Из-за чего ссорятся люди, которых девизы, повидимому, так близки? Почему знамя, которое несли вчера лучшие из них, сегодня в грязных руках? Почему прекрасная мысль при своем высказывании встречает такое грозное сопротивление? И почему сопротивляются ей не только эксплоататоры данного общественного строя, но искренние личности? Все эти задачи возможно разрешить лишь тогда, когда мы присмотримся внимательнее к тому процессу, которым развивается и укрепляется правда, к формированию и столкновению партий, к изменению внутреннего смысла

и исторического значения великих слов, двигающих человечество, к процессу мысли, перерабатывающей культуры; когда мы изучим положение личностей в виду необходимого и исторически данного; в виду культурных привычек и сталкивающихся партий мысли; в виду великих слов на знаменах партий и вечного требования истины, справедливости, прогресса; в виду критики веры. В предыдущих письмах имелось в виду именно остановиться на этих предметах, чтобы по возможности устранить те недоразумения, которые невольно переносятся на изучение минувшей и современной истории при недостаточном уяснении разнообразных элементов, входящих в исторический прогресс и его обусловливающих.

Кроме того, история не кончена. Она совершается около нас и будет совершаться поколениями, растущими и еще не родившимися. Настоящее нельзя оторвать от минувшего, но и минувшее потеряло бы всякое живое и реальное значение, если бы оно не было неразрывно связано с настоящим, если б один великий процесс не охватывал историю в ее целом. Умерли деятели минувшего. Изменилась культура общества. Новые конкретные вопросы стали на место прежних. Девизы минувшего изменили смысл и значение. Но общечеловеческая роль личностей в настоящем осталась та же, что была за тысячи лет. Под пестрыми формами культуры, в сложных вопросах нового времени, под разнообразными девизами побежденных и победителей скрыты все те же задачи. Вне истины и справедливости прогресса никогда не существовало. Без личной критики не добыта ни одна истина. Без личной энергии не осуществилось ничто справедливое. Без веры в свое знамя и без умения бороться с противниками не восторжествовала ни одна прогрессивная партия. Формы культуры требуют для своего развития работы мысли, как и в минувшие тысячелетия. Великие девизы точно также мало застрахованы от опасности потерять или изменить свой смысл. Общественные условия для возможного прогресса не изменились. Требования уплаты за прогресс не могут быть игнорированы развитою личностью. Все это существовало для наших предков, будет существовать для наших потомков и существует для нас. Разница лишь та, что мы можем лучше понять это, чем понимали предки, и что наши потомки, вероятно, еще лучше нас поймут это.

Поэтому предыдущие исторические письма, заключая в себе попытки решить задачи, существовавшие и долженствующие существовать во всякую историческую эпоху, заключают и попытку уяснить задачи современности. Они обращаются к читателю не только со словом о минув-

шем, но и о настоящем. Автор очень хорошо сознает, что они и недостаточны и не совершенны. Кроме того, наша эпоха не очень удобна для рассуждений подобного рода. Письма эти могут показаться и тяжелы, и отвлеченны, и неинтересны, и чужды вопросов дня. Другой автор, при других обстоятельствах, мог бы написать и лучше и занимательнее. Но я надеюсь, что в нашем обществе, хотя бы между читающей молодежью, найдется еще несколько человек, которых не испугает необходимость серьезно подумать о вопросах минувшего, оставшихся вопросами и для настоящего. Для этих читателей недостатки исполнения моего труда, может быть, отступят на второй план перед содержанием. Эти читатели, может быть, поймут также, что вопросы дня получают свой действительный, существенный интерес именно от тех вечных исторических вопросов, которых автор коснулся в этих письмах. Эти читатели поймут, что *они* именно, как личности, должны совершить критическую работу мысли над современною культурою; что *они* именно должны своею мыслью, жизнью, деятельностью заплатить свою долю громадной цены прогресса, до сих пор накопившейся; что *они* именно должны противопоставить свое убеждение лжи и несправедливости, существующей в обществе; что *они* именно должны образовать растущую силу для усиленного хода прогресса. Если найдется хотя несколько подобных читателей этих писем, — дело автора сделано.

СТАТЬИ
(1870—1871 гг.)

ФОРМУЛА ПРОГРЕССА Г. МИХАЙЛОВСКОГО [335]

Не только наша литература, но и литературы разных наций Европы не богаты в настоящее время произведениями, которым можно приписать свежее философское содержание, т. е. попытку объединить более или менее обширную область мысли и жизни одним принципом. Зато в Европе существует несколько установившихся школ, стремящихся к округлению философского миросозерцания с определенной точки зрения. Есть и несколько заметных мыслителей, каждое произведение которых неизбежно привлекает читателей и самые ошибки которых поучительны, потому что наводят читателей на самостоятельную работу мысли. Давно замечено, что подобных мыслителей весьма редко можно встретить между официальными представителями философии, профессорами университетов. Из живых Фейербах и Джон-Стюарт Милль, или во втором ряду Герберт Спенсер, из недавних покойников — Конт, Прудон, или — опять во втором ряду Шопенгауэр — вне ученых коллегий. К сожалению, кажется, та же участь ожидает и наше отечество. С тех пор, как долгая опала снята в наших университетах с философии, ни на одной кафедре этого предмета не появилось еще личности, о которой можно сказать, что она высказала самостоятельную философскую мысль. Скажем более: произведения наших официальных представителей философии, при большем или меньшем ученом достоинстве, страдают одним общим недостатком: чрезвычайной неопределенностью взглядов самих гг. профессоров на основные вопросы науки и жизни. В их сочинениях можно найти эрудицию, знакомство с философской литературой, но они как бы нарочно тщательно скрывают свою собственную точку зрения... если у которого-либо из них она есть. Насколько слышно, влияние их на слушателей весьма незначительно; в литературе же они остаются совершенно чужими всем живым вопросам. Из них всех относительно одного г. Троицкого [336] нельзя еще сказать определительно, не выйдет ли он в будущем на дорогу более определенных миросозерцаний, но уже одно то

обстоятельство, что он выступил перед публикой под эгидою московских журнальных диктаторов, — следовательно, признал себя более или менее солидарным с их воззрениями, — не позволяет надеяться для него на блестящее будущее на поприще, им избранном.

И в нашем отечестве приходится искать философские труды вне университетских кафедр, в особенности же в повременных изданиях. Конечно, тут всего чаще мы встречаемся с людьми, примыкающими к определенным школам заграничных мыслителей (миросозерцание славянофилов слишком лишено цельности, научности и всякого отношения к современным вопросам человечества, чтобы о нем упоминать), но нельзя сказать, чтобы изредка и в нашей литературе не встречались попытки самостоятельно шагнуть далее по пути объединяющего миросозерцания, удовлетворяющего задачам современности. Если эти попытки редки, то тем более они заслуживают внимания, и даже там, где вполне удачными они названы быть не могут, они требуют разбора. Наша публика так не привыкла отличать самостоятельную мысль от перепева, что очень часто пропускает без внимания и то, что стоит обдумать хорошенько.

Я нисколько не колеблюсь отнести к философским статьям, весьма заметным по силе мысли, по обстоятельности взгляда и по прочности убеждений, статьи г. Михайловского «Что такое прогресс?», помещенные в «Отечественных Записках» прошлого года [337] (№№ 2, 9, 11). Автор часто отклоняется в сторону и позволяет читателю терять нить вывода, но это — недостатки формальные, и важность рассматриваемого автором вопроса и достоинства его статей заставляют меня остановиться на его труде. Этот труд заслуживает не голословной похвалы, а тщательного разбора основных мыслей, и потому именно, что я во многом сочувствую мыслям автора и разделяю их, я надеюсь, что его не оскорбят возражения, вызванные желанием еще более разъяснить и установить сочувственные мне взгляды.

Вопрос о значении прогресса потому особенно важен, что он есть окончательный вопрос социологии и основной вопрос истории. Пока социолог не уяснил себе, в чем именно надо видеть прогресс, до тех пор отдельные части социологии отрывочны, их отношения неопределенны, и они едва ли могут итти далее собирания и группировки фактов, далее описания того, что́ было и что́ есть, далее получения кое-каких эмпирических законов, научный смысл которых остается неясным. Пока социология не установила смысла прогресса, до тех пор она, как цельная и единая наука, не существует.

Но если понятие о прогрессе служит завершением социологии, то без него нельзя даже приступить к разумному построению истории. Чтó должно войти в исторический рассказ и чтó может быть оставлено в стороне? Чему следует стоять на первом плане и чему на втором? Каков смысл событий? Каково значение деятелей? Все эти вопросы получают ответы только на основании того взгляда на прогресс, который установил для себя историк, принимаясь за дело. Если историк ясно сознавал это требование и верно понял значение прогресса, то его труд осмыслен. Если автор ложно смотрит на требование прогресса, то его рассказ дает искаженное понятие о ходе истории. Если же ученый вовсе не думал уяснить себе понятие прогресса и довольствуется в своей истории случайными взглядами, приобретенными в жизни и не соглашенными, то его труд научного значения вовсе иметь не может, а разве представит, по своему фактическому содержанию, годный материал для будущего историка.

Из предыдущего следует, что даже самомалейшая неполнота или неточность в установлении понятия о прогрессе имеет весьма важное значение для двух областей человеческой мысли, не говоря уже о том, что она имеет и значение жизненное. Поэтому указание, дополнение и разработка этого понятия составляет одну из важнейших целей философского мышления. Это хорошо поняли многие из современных мыслителей.

Г. Михайловский написал свою статью по поводу теории прогресса Герберта Спенсера, поэтому его труд распадается на две части, отрицательную и положительную. В отрицательной части своего труда г. Михайловский подвергает строгой критике параллель, проводимую между индивидуальным и общественным организмом, и попытки приложить объективный метод к социологии. Вполне разделяя взгляд автора относительно этих вопросов, я на них останавливаться не буду. Насколько помню, сходные взгляды были высказаны в критической статье по поводу первых выпусков г. Спенсера в «Женском Вестнике» 1867 г. [338], но г. Михайловский развил свой взгляд гораздо подробнее и, очевидно, совершенно самостоятельно. Положительная сторона теории г. Михайловского тесно связана с его взглядом на социальное значение разделения труда и формулирована им весьма ясно в его определении прогресса, определении, которым автор заключает свою статью.

«Прогресс есть постепенное приближение к цельности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разде-

лению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, чтó задерживает это движение. Нравственно, справедливо, разумно и полезно лишь то, чтò уменьшает разнородность общества, увеличивая тем самым разнородность его отдельных частей».

Такова заключительная теорема социологии и основная теорема истории, по мнению г. Михайловского.

Я уже сказал выше, что имею в виду не отрицание взглядов автора, а некоторое разъяснение и дополнение, в которых его формулы, по моему мнению, нуждаются. И в том виде, который придан теории прогресса автором, она по полноте, по определенности и по практической важности может занять одно из самых видных мест в ряду известных мне теорий прогресса, выставленных в Европе, в особенности с точки зрения социологической. Но как ни важны в этом отношении заслуги г. Михайловского, я все-таки не могу согласиться, чтобы его формула прогресса удовлетворяла всем требованиям, которые должны быть ею удовлетворены по ее важности для науки вообще.

Обращу внимание на три условия, которые, между прочим, считаю необходимыми для всякой рациональной формулы прогресса:

1) Так как «высший контроль» в социологии «должен принадлежать субъективному методу», — и это положение прекрасно развито и доказано г. Михайловским, — то формула прогресса должна выражать это отношение между субъективным и объективным пониманием общественных явлений.

2) Как формула *прогресса,* она должна допускать для общества идеального, удовлетворяющего требованиям, в ней заключающимся, возможность *дальнейшего* прогресса.

3) Как основание истории, она должна быть приложима ко всем фазисам истории и давать возможность развить историю цивилизации, руководствуясь понятием о прогрессе, заключенным в данной формуле.

Первое условие должно бы, как кажется, быть принято г. Михайловским на основании его собственного взгляда на метод в социологии. Второе условие мне кажется само собою разумеющимся, и его нарушение привело бы, полагаю, к противоречию в самом понятии прогресса. Отбросив же третье условие, мы навсегда лишим историю всякого рационального основания и осудим ее на болтовню пестрых рассказов, не имеющих никакого отношения к основным задачам социологии.

Между тем, именно поверяя формулу г. Михайловского тремя приведенными выше условиями, можно убедиться в ее неполноте.

Прежде всего поражает обстоятельство, что г. Михайловский, так сильно, обстоятельно и убедительно доказывавший первенство *субъективного* метода в социологии, получил формулу *объективную*. По последним строкам его, выписанным мною, выходит, что не только для вреда и неразумности, но и для нравственности и справедливости оказывается безусловная, объективная норма, так что человек собственно не имеет и не имел никогда права считать что-либо справедливым и нравственным, кроме того, что заключается в поставленной формуле. При многократном оспаривании г. Михайловским самого принципа безусловной справедливости — с чем я позволяю себе не согласиться и вернусь к этому ниже — это можно бы считать противоречием, так как едва ли не всякий читатель поймет последние фразы г. Михайловского, как категорическое правило для человеческой нравственности и справедливости, правило, не допускающее изменения ни во времени ни в пространстве и безусловно подчиняющее нравственное мышление человека раз навсегда установленному закону, столь же неизменному, как законы тяготения. Если г. Михайловский прав, когда доказывал зависимость нравственных идеалов от времени и места, то он не прав, выражаясь категорически: безнравственно *это*, нравственно *то*, причем объект нравственности есть не развивающийся принцип, а совершенно положительное правило, не субъективное состояние духа, а объективный процесс. Если же г. Михайловский прав в своей установке нормы для объективной нравственности, то его подробный и прекрасный анализ субъективного и объективного методов в социологии неверен: эта формула вполне независима от наслаждения и страдания личности.

Но меня могут обвинить в придирчивости. Можно допустить, что субъективным методом мышления над социологическими задачами (т. е. имея в виду наслаждение и страдание личностей) мы дойдем до объективного закона общественного развития. Можно допустить, что все разнообразные понятия о нравственности и справедливости, изменявшиеся по времени и по месту, были ложны, потому что вырабатывались ошибочными приемами; но теперь, когда анализ личного и общественного блага дозволил употребить более точные приемы, теперь мы получили безусловно верную формулу нравственности и справедливости, которой *обязательно* подчинить разнообразные субъективные понятия о предмете, как перепутанные пути планет теряют свою спутанность, лишь только ум наш способен проследить за выводом законов Кеплера. В таком случае допустим, что формула г. Михайловского верна, примем ее за безусловную формулу прогресса и посмотрим, возможен

ли прогресс в идеальном обществе, где требования формулы были бы удовлетворены. Я перехожу к проверке его формулы вторым условием, приведенным выше.

Невозможности, противопоставляемые природою полному равенству особей, заключаются в различии пола и возраста. Невозможности, противопоставляемые ею же всестороннему развитию отдельной личности, заключаются в кратковременности человеческой жизни. Я говорю лишь о тех невозможностях, которые бесспорны, и допускаю, что техника сумеет преодолеть все остальные. Даже различие пола не возьму в соображение, потому что в настоящее время уже можно считать вероятнейшею доступность одинакового развития для обоих полов при правильном воспитании; выборные же половые привязанности, играющие теперь весьма важную роль в обществе и влекущие за собою чрезвычайную неравномерность отношений, могут в новом общественном строе потерять свое социальное значение или войти в новые комбинации, которые нам трудно себе представить.

Итак, различие возраста и краткость жизни составят единственные ограничения, которые я приму для личностей общества г. Михайловского. Допуская, что медицина, гигиена и педагогия удлинят среднюю и безусловную жизнь личностей (Флуранс [339] и другие считали это возможным в довольно значительной мере), сократя значительно период дряхлости и совершенно бесполезного для общества детства, все-таки нельзя предположить в этом случае беспредельного прогресса. Допуская весьма значительные успехи науки и техники, — причем первая будет стремиться к обобщению, упрощению и объединению своего материала, вторая же к замене значительной части личного труда механическим, — все-таки трудно себе представить, чтобы каждая личность в короткий срок своей жизни усвоила себе полное знание всех наук и полное мастерство по всем отделам техники. Если подобное усвоение положительно невозможно, а безусловная нравственность и справедливость требуют возможного приближения к равенству деятельности особей, то нет сомнения, что идеал равенства должен быть достигнут всеми возможными средствами, даже с ограничением успехов знания и техники. Это ограничение возможно, и неизбежным следствием подобного положения было бы устранение некоторых отраслей знаний, как менее полезных, в виду невозможности всем людям приобрести их и несправедливости, чтобы иные члены общества имели одни специальные знания, другие члены — другие знания. Иначе говоря, следствием этого было бы уменьшение области науки и техники. На мой взгляд, это было бы регрессом, но г. Михайловский вправе не признавать этого, и нет со-

мнения, что если бы доказана была очевидная научная противоположность расширения знания и техники расширению справедливых отношений между людьми, то следовало бы пожертвовать первою областью для второй. Даже есть такие области техники, которые неизбежно атрофируются с развитием человечества, как-то: военное дело, ремесла и искусства, связанные с религиозным культом, вероятно, торговое дело; но я здесь говорю не о естественном ослаблении техники там, где потребности, ее вызывавшие, ослабевают, но об обдуманном сокращении теоретических и технических знаний в виду более равномерного развития особей общества, хотя потребности, вызывающие знания, еще существуют. Впрочем, я готов сделать и еще уступку: допустим, что масса знаний и технических приемов в нашем идеальном обществе не превосходит средства особи и что, при правильном развитии, каждый член этого общества может овладеть всеми отраслями знаний и техники. Тогда все особи достигнут идеального развития, которого требует г. Михайловский: мы имеем общество, состоящее из «целостных неделимых», причем каждый дошел до «полного и всестороннего разделения труда между органами», а разделение труда между людьми ограничено отделением воспитываемых детей и старцев, требующих забот, от взрослых энциклопедистов науки и техники.

Конечно, г. Михайловский не допускает, чтоб это общественное равенство поддерживалось каким-либо принуждением, и я не буду допускать этого. Глубокое убеждение в совершенстве подобного строя должно составить его прочность. Каждая личность воспитывается, развивается, действует и сходит в могилу в полной уверенности, что она не может и не должна обратиться к теоретической или практической деятельности, которая отличила бы ее от других. По всей вероятности, ни один член общества не может себе и представить подобной деятельности; но если бы он ее себе представил, то он обязан от нее отвернуться, потому что она увеличила бы разнородность между членами общества, а подобное увеличение безнравственно и несправедливо по основной теореме г. Михайловского.

Таким образом, прогресс подобного общества мог бы совершаться лишь следующим путем: новая теоретическая идея или новое практическое побуждение должны бы зараз явиться в мозгу всех взрослых членов общества так, чтобы разнородность их не увеличилась бы от новой идеи. *Только* такой прогресс был бы нравствен и справедлив, и так как, по предположению, мы имеем общество, руководствующееся безусловною нравственностью, то лишь такой прогресс был бы возможен. Но не только в мире человеческом, а во

всем мире позвоночных, насколько мы имеем о нем понятие, прогресс подобным процессом не совершается. Новая мысль и новое побуждение всегда являются в мозгу одной особи, большею частью выдерживают борьбу с другими мыслями и побуждениями сначала в самой личности, потом в мнении других, и усваиваются постепенно, с трудом. Допустить противное значило бы не только допустить общество идеальное, не состоящее из личностей, аналогичных нынешним людям, а допустить в нем существование личностей с иными логическими приемами, чем нынешние люди. Это значило бы итти далее пределов рациональных гипотез, и потому я считаю себя вправе сказать, что общество, вполне удовлетворяющее требованиям *формулы прогресса* г. Михайловского, было бы общество *не прогрессивное*. Поколения в нем следовали бы за поколениями, но они бы так же походили одно на другое, как нынешние пчелы походят на пчел времен Виргилия. Критическая мысль атрофировалась бы. История прекратилась бы. Насколько я понимаю слово «цивилизация», оно было бы неприменимо к подобному обществу, которое бы жило чисто культурною жизнью, жизнью высших беспозвоночных. Привычки предания заменили бы для него работу мысли. Сознаюсь г. Михайловскому, что как бы ни были разносторонне развиты целостные особи этого общества, как бы ни были они равноправны, равносильны, равноумны, я бы счел это общество, лишенное критики, обреченное застою, сошедшее на ступень беспозвоночных, жалким обществом, стоящим по достоинству ниже жалчайших обществ современной цивилизации.

И здесь г. Михайловский может мне сделать сильное и весьма действительное возражение. Недаром же он поставил слово «возможно» два раза в своей формуле. Общество, подобное тому, о котором я говорил, он назовет, может быть, не идеальным, а *невозможным*, следовательно выходящим из пределов его формулы и социологического построения. Физической невозможности в остановке общественного развития на той или другой ступени я вовсе не вижу, — и не раз в истории встречались примеры некоторого приближения к обращению прогрессивной цивилизации в культурный застой. Когда простейшие потребности влиятельнейшей части общества удовлетворены, то стремление к застою, или консерватизм, проявляется обыкновенно с бо́льшею силою. Чем выше в социальном отношении основы общественного строя, тем скорее в них может проявиться и восторжествовать стремление к застою, если только с социальною высотою строя не развито и убеждение в необходимости критической мысли в личности. Поэтому, *объективно* рассматривая общество, где неравенство между

личностями доведено до минимума, а развитие личности до максимума, я вовсе не вижу повода думать, чтобы в этом строе существовало внутреннее развивающее начало, когда в основе общественных верований лежит объективный принцип, неуравновешенный субъективною потребностью критики. Всякое объективное начало, поставленное в главу этики и социологии, имеет стремление подавить субъективное развитие, следовательно, атрофировать потребность критики. Но есть одна причина, которая действительно имеет следствием невозможность общества, которое я нарисовал, именно: на этой высоте развития никогда личность не подчинится никакой теореме объективной; никогда потребность личной критики не преклонится даже перед теоремою равенства между особями; никогда основной закон прогресса, выведенный г. Михайловским, не станет в веровании общества основною меркою нравственности и справедливости; залог прогрессивности общества, воплотившего этот закон, будет заключаться в том, что оно станет постоянно искать нравственного и справедливого, руководствуясь *иными* мерками. Оно признает в стремлении к всестороннему развитию особей и к их равенству между собою одно из основных *проявлений* нравственности и справедливости, но не *объективную мерку* того и другого. Для этого лучшею поверкою может служить история, что́ заставляет меня перейти к третьему из условий, поставленных выше.

Если допустить определение г. Михайловского, как основное определение прогресса, то почти вся историческая жизнь человечества представит явления регрессивные. Факты простой кооперации так малочисленны и отодвигаются преимущественно в периоды столь мало исторические, а повсюду в записанной истории «эксцентризм» господствует настолько, что с этой точки зрения история остается печальным рассказом о том, как *не следовало* ей быть. Конечно, наука требует не результатов приятных, а результатов истинных; но при этом рождается вопрос: если прошедшая история дает лишь следы регресса, то откуда мы получаем понятие о прогрессе? Если оно не есть чудесное откровение новейшего времени, то оно должно было выработаться постепенно накоплением исторического опыта. Следовательно, в ряде явлений, подготовлявших человечество к усвоению формулы прогресса, установленной г. Михайловским, мы имеем процесс, дозволяющий найти другую формулу, более широкую. Были в истории явления, способствовавшие развитию его формулы, и другие явления, противодействовавшие ее будущему развитию или индифферентные для него. Процесс, вызвавший явления первого рода, даже с точки зрения г. Михайловского должен быть отличим

от общей массы событий и требует для себя особого названия, хотя бы он заключал в себе и временное возрастание эксцентризма в истории. Формула для этого процесса будет иметь ту выгоду в социологии, что она станет меркою нравственного и справедливого не только для настоящего и будущего, — для чего приложима формула г. Михайловского, — но еще для прошедшего, которое, по мерке г. Михайловского, почти вполне приходится отрицать. А кроме того, она должна заключать в себе и формулу г. Михайловского, как частный случай. Для истории же выгоды формулы, полученной таким путем, будут еще значительнее: она позволит понять историю как процесс развития, а не отбросит ее всю в область неудачных попыток человечества к лучшему. Едва ли несправедливо подобную формулу признать за формулу прогресса: она завершит социологию и уяснит построение истории.

Для получения этой формулы мне вовсе не нужно дополнять рассуждения г. Михайловского новым материалом. В его собственном рассуждении я стану черпать средства для развития его формулы и ограничусь лишь устранением двух предвзятых мыслей, которые, как мне кажется, ему помешали сделать дальнейший шаг по пути, на котором он шел с таким успехом, — именно в том направлении, которое он сам себе поставил.

Прежде всего устраню ту странную оговорку, которую встречаю у г. Михайловского на последних страницах статьи. Он сам говорит: «Если объективный метод не может удовлетворить всем требованиям общественной науки, дать ей верховный принцип, то какой из субъективных принципов может быть выбран, как наилучший?.. Возможно полное и многостороннее разделение труда между органами человека и возможно меньшее разделение труда между людьми, таков предлагаемый нами принцип». Но что же тут субъективного? Это положение совершенно *объективное,* доступное внешнему анализу нескольких личностей, независимо от их внутреннего состояния духа. Это, очевидно, оговорка. Я едва ли ошибусь, если приму, что, по мнению г. Михайловского, общество, наилучше воплощающее эту задачу, доставляет своим членам наибольшую массу наслаждений, наиболее правильно разделенных между особями, и наименьшее количество страданий. Я считаю себя вправе заключить, что именно такова мысль г. Михайловского, потому что во всей своей статье он особенно сильно выставляет на вид, что в социологии должно иметь в виду наслаждение и страдание особей, которых приравнивать к органам не следует. Из всего его рассуждения совершенно ясно, что личное благо особей, образующих общество, со-

ставляет руководящую нить этого рассуждения и его формула представляется лишь объективным *средством* для осуществления этого субъективного начала.

Если я не ошибся, то г. Михайловский в социологии должен быть отнесен к обширной школе утилитаристов, с преобладающим оттенком *личного блага* в формуле *общей пользы,* обобщающей всю школу утилитаризма. Это точка зрения весьма трезвая и научная. Утилитаристы сделали весьма много для социологии, и, выставив на вид реальный смысл слов «общая польза», именно наибольшая масса личного наслаждения при наименьшем количестве личного страдания, — г. Михайловский становится в ряды передовых утилитаристов. При этом уяснении реальной задачи утилитаризма, еще бо́льшую заслугу надо приписать ему за резкую постановку вопроса о методе и бесповоротное требование субъективного начала для социологии. При этом формула, которую г. Михайловский дает как определение прогресса, оказывается практическим выводом субъективной задачи: найти общество, где личное благо всех членов было бы взято в соображение наиболее полно.

Становясь на эту точку зрения, мы получаем уже принцип гораздо более широкий и при этом совершенно субъективный, а кроме того, присматриваясь к поставленной задаче и к данному г. Михайловским решению, можно сделать еще несколько важных шагов вперед.

Г. Михайловский видит решение задачи в наиболее разностороннем развитии личности и в наиболее полном уравнении членов общества. Приму, что это совершенно верно. Но каким путем личность может развиваться? Какой элемент способствует развитию личностей? Какой элемент способствует уменьшению неравенства между личностями? Каким процессом идет в обществе расширение развития личностей и уменьшение их неравенства? Личности развиваются познанием истины. Неравенство уменьшается воплощением справедливости. Расширение развития личностей и уменьшение их неравенства идет путем критики мысли. Эта критика начинается с *одной* личности, продолжается в *немногих* и лишь вследствие борьбы и пропаганды расширяется все далее и далее.

Здесь именно мы встречаемся с двумя предвзятыми мыслями, ставшими, по моему мнению, поперек дороги г. Михайловского. В своей статье он сильно нападает на «безусловную справедливость» и даже изображает картину в посмеяние этого начала. Не менее строго он порицает специальную науку, хотя главные удары в этом случае он наносит в другой своей статье: «Параллели и контрасты», помещенной в «Невском сборнике» [340]. Мы пола-

гаем, что в обоих этих случаях грозные нападения г. Михайловского надо приписать некоторому недоразумению, между тем это недоразумение едва ли не помешало автору надлежащим образом развить далее свою мысль.

Г. Михайловский принял слово *справедливость* в смысле *легальности*, как весьма часто понимают ее юристы. Он представил, как образец безусловной справедливости, казнь преступника и цитировал Канта. Великий кёнигсбергский мыслитель умер более полувека тому назад, а в эти полвека философское понятие о justitia [341] несколько выработалось.

Оказалось, что единственная справедливость нашего времени ведет начало от древней equitas [342], и если смысл слова justitia не отожествляется со смыслом equitas, то к ней приложимо лишь знаменитое изречение: summum jus summa injuria [343].

Кроме того, недавнее прошлое дало мыслителя, который разработал современное понятие о справедливости настолько полно, что, повидимому, оградил его от таких нападений, как нападения г. Михайловского. Неужели справедливость в теории Прудона может вызывать столь ограниченное истолкование? Неужели в наше время развитый мыслитель может отожествлять справедливость с исполнением буквы закона? Неужели еще не анахронизм приклеивать ярлык *справедливость* к виселице, к эшафоту? Еще старик Софокл [344] устами Антигоны [345] говорит человечеству о «неписанных законах», и, кажется, пора мыслителям догадаться, что *безусловная* справедливость существует именно в этих «неписанных законах».

Да, безусловная нравственность и безусловная справедливость существуют, но ни одна объективная формула нравственности, ни один юридический кодекс никогда не заключали их. Их основание субъективно и между тем они безусловны. Их формулы в высшей степени изменчивы, а между тем их сущность с начала выделения человечества из животного мира не изменилась ни на одну иоту. Идеал нравственности всегда заключался в том, чтобы выработать себе практическое, возможно верное убеждение и неуклонно следовать этому убеждению в жизни. Идеал справедливости всегда заключался в том, чтобы обращаться с другими по их достоинству и поддерживать признанное за ними достоинство всеми своими силами. Знания были слабы; ум был неповоротлив; приемы критики были не выработаны. Отсюда получалось ложное убеждение, ложная оценка чужого достоинства. Но и тогда нравственному осуждению подлежал лишь тот, кто не поступал по *своему* убеждению или поступал против своего убеждения. Неспра-

ведлив был лишь тот, кто оскорблял в человеке достоинство, за ним признанное, или позволял другим оскорблять это достоинство. В *наше* время критика мысли позволяет признать во всех личностях равное *человеческое* достоинство, и этот успех критики позволяет поставить теорему: все члены общества имеют право на *возможно* равномерное разделение благ между ними, на равное развитие, на равный труд, на *возможно* полную долю в общественной жизни. Это одно из *следствий* основного начала социологии, и начало это есть та самая *безусловная* справедливость, против которой так восстает г. Михайловский. Он формулировал один из частных законов, вытекающих из ее начала, столь же древнего, как человечество. «Каждому по достоинству» было правилом, руководившим передовых людей всех времен, всех обществ, как бы ни было низко их умственное развитие, как бы ни была жалка их культурная обстановка. Весьма скоро человек убедился в необходимости признать, хотя временно, в некоторых людях достоинство, равное его достоинству. Но кто были эти люди? На это расширяющееся знание давало последовательно разные ответы: твой сотрудник во время сотрудничества, твой семьянин, твой родич, твой товарищ по сословию, по занятиям, пока человек дошел до сознания: всякий человек имеет равное с тобою достоинство. Как только последнее было сказано, требование равенства в труде и в благах жизни получалось само собою. Г. Михайловский, установив субъективный принцип для социологии и подставив его в задачу утилитаризма, тем самым отошел в лагерь социологов, строящих свою науку на принципе безусловной справедливости, и доказал, что утилитаризм, надлежащим образом понятый, тожествен с учением, строящим этику и социологию на понятии о справедливости. Формула г. Михайловского, выведенная им из утилитарных начал, есть формула *современного* понимания справедливости, воплощенной в общественные формы. Г. Михайловский противопоставляет положению — справедливость для справедливости — другое: справедливость для человека. Но эти положения тожественны, потому что справедливость *не* для человека есть абсурд; в самом смысле ее заключается требование иметь в виду человека. Она есть сознательное отношение человека к человеку, взяв в соображение все известные особенности того и другого. Кто точнее следует положению: справедливость для справедливости, тот всего человечнее относится к своему ближнему.

Здесь я считаю необходимым уяснить один пункт. Если я признал справедливость началом безусловным вообще, это еще не значит, что человек в жизни руководствуется

единственно справедливостью. Нет, личность подчинена, наравне со всем живым и неживым, *необходимым* законам бессознательной природы, и среда устанавливает для нее в каждую минуту условия *возможного*. Лишь ограниченная этими законами и условиями, личность может работать практически над истиною и справедливостью. Голодный пролетарий, горячечный больной, человек в порыве неудержимой страсти, человек, подавленный привычками и преданиями культуры, его окружающей, так же мало подчинены безусловному началу справедливости, как растение и животное. Для их деятельности приложима не *иная* мерка справедливости, но мерка справедливости к ним *вовсе* не приложима. Для целого общества настают иногда печальные минуты, где борьба за существование в самой грубой ее форме есть единственный закон особей. Но эти печальные минуты нисколько не мешают существованию безусловной справедливости. Как только условия *возможного* изменились, тот самый закон борьбы за существование, который вчера вызывал антропофагию [346], сегодня путем критики доказывает, что закон справедливости есть наивыгоднейший способ для каждой личности не только отстаивать себя, но и увеличивать наслаждение своего существования. С первого мгновения деятельности *разума* справедливость является со всеми своими требованиями. Ответственность пред собою, нравственность и справедливость суть безусловные начала для всякой личности, возвышающейся над миром остальных животных, и теряют свою обязательность лишь в те часы, когда личность снова спускается до уровня низших пород, подчиняясь лишь необходимому и возможному. В эпоху «Тьмы» Байрона [347] точно некогда навешивать ярлыки нравственных категорий, но именно потому, что эта эпоха принадлежит области натуралиста, а не социолога.

Я сказал, что закон справедливости вечен в своей сущности, но в то же время указал на его прогресс путем уяснения терминов, в него входящих. Это уяснение есть дело науки. Только она может придать реальный смысл первой половине формулы г. Михайловского, и она же только может выработать в обществе понятие, выраженное во второй половине этой формулы. Возможно полное разделение труда между органами требует познания этих органов в их раздельности и в их отношениях, в их составе и в их функциях, т. е. познание человека, как результата процессов природы и истории, и человека, как источника теоретической и практической деятельности. Возможно меньшее разделение труда между людьми доступно лишь мысли, настолько упражнявшейся в критике, что

для нее все унаследованные предрассудки о разнице достоинства личностей различных рас, народностей, сословий, полов не имеют права на существование, а индивидуальные различия, бросающиеся в глаза, исчезают пред одинаковостью главных элементов человеческого существа во всех людях. Для того, чтобы мысль охватила все задачи, лежащие в первом условии, и для того, чтобы она выработалась до полного уяснения второго условия, нужны разнообразное критическое упражнение, длинная научная традиция. Если бы критическая мысль сразу обратилась на существенные пункты общественных болячек, она бы возбудила сейчас подозрение многочисленных общественных паразитов и была бы подавлена. Чтобы бороться с этими паразитами, она должна прежде окрепнуть, войти в общественные привычки, как дело самое невинное, даже более, как дело, способствующее благополучию общественных паразитов. Оно так и бывает. Критическая мысль появляется в истории, как средство увеличения наслаждений меньшинства государственной и клерикальной иерархии на счет большинства, эксплоатируемого этим меньшинством. Все знания общества обращены тогда на технику постройки великолепных храмов и дворцов, на усиление теократических начал, военного сословия. Личный интерес правителей и жрецов заставляет их накоплять знания около себя и их монополизировать в свою пользу. Неравенство увеличивается временно; положение большинства становится сравнительно хуже, а успехи критической мысли весьма незначительны. Вечно сдерживаемая в сфере практики и тайных приемов, вечно монополизируемая ревнивым меньшинством эксплоататоров, мысль накопляет факты, но слабо стремится понять их, сведения могут быть весьма значительны, но наука едва существует.

Она может проявиться надлежащим образом лишь тогда, когда знание становится светским и свободным. Это совершается в сфере, которая не затрагивает государственных и религиозных интересов, потому что всюду господствующее меньшинство задавило бы личность, которая бы дотронулась до этих интересов. Свободная критика развивается прежде всего в сфере *специальностей*. Дельцы и эксплоататоры похваливают, улыбаясь, ученого, погруженного в геометрические построения, в исследование скелета рыб, в сравнение рукописей, писанных за тысячу лет о предметах, не имеющих никакого общественного значения. «Жалкие люди»,— говорит об ученых специалистах народный оратор, вызывая общество к переворотам, к реформам сегодняшнего зла, и он прав, если эти жалкие люди настолько ушли в свои исследования, что перестали сочувствовать

общественным бедствиям, перестали страдать от общественного страдания. «Презренные люди», — говорит общественный реформатор, идя в ссылку или на эшафот и смотря, как эти ученые знаменитости лезут в слуги Птоломеев [348], Висконти [349], Людовиков, Наполеонов. И точно, они делают из науки дойную корову; они образуют новое привилегированное меньшинство, эксплоатирующее массу и помогающее ее эксплоатировать. Профессуры и академические почести становятся средством жить на счет других. Капиталисты науки душат своих конкурентов. Всякая широкая идея встречает упорное сопротивление в так называемых служителях науки. Справедливейшие реформы отрицаются во имя науки. Во имя ее проповедуется индифферентизм; во имя ее люди приносят в жертву эгоистическому расчету личное достоинство и общее благо.

Все это так, но в то же время эти математики, микроскописты, археологи, эти эгоистические эксплоататоры знаний, эти слуги властей предержащих или индифферентисты в виду общественного зла созидают самое прочное основание для того, чтобы разрушить все центры общественного зла. Не утверждаю, что они приобретают факты, полезные для человечества: это подлежит еще спору, и многие факты, считавшиеся и считающиеся полезными, служили более для украшения жизни немногих, чем для пользы большинства. Нет, польза специалистов иная. Они отмежевывают область мысли, где права критики *неоспоримы*, и в этой области критике покровительствуют те самые силы, которые ее неумолимо преследуют в других областях. Неужели были где-либо такие остроумные Катковы или Аскоченские, которые предупредили бы власти против опасностей пифагоровой теоремы? Неужели свободная полемика о сходстве греческого и санскритского языков обеспокоила какого-либо деспота? Неужели исследования напластования горных пород могли не вызвать покровительства в надежде увеличения финансовых средств? Неужели статистики, в тех же видах, не заслуживали поощрений, повышений, правительственных наград? И вот в области знания там и здесь образовались центры независимой мысли. Вот где самые испорченные эксплоататоры, если они были ученые, имели уголок мысли, в котором они были искренни пред собою, не преследовали выгод, не рассчитывали, как бы правда не помешала им жить и не уменьшила наслаждений. Нет, они хорошо знали, что в этом уголку, чем их мысль будет истиннее, строже, искреннее, тем им будет лучше. Для лучшей эгоистической выгоды они искали истины, *только* истины, развивали в себе критическую способность по возможности, окружали себя учениками, в ко-

торых вырабатывали тоже критическую способность, стараясь эксплоатировать в свою пользу ее результаты. Чем более было специалистов, тем более росла выработка критической мысли; росла и *привычка* критической мысли. Наконец, число специалистов придало *их* привычкам общественное значение, и в привычки образованного класса вошло положение, что критическая мысль имеет свои права, то есть области, где она *должна* быть свободна.

Только с той минуты, когда это положение вошло в привычки мысли образованного общества, возможна была успешная борьба с общественным злом для тех, которые издавна несли в себе стремление к воплощению справедливости в общественные формы, стремление к истине, чуждой всяких специальностей. До тех пор общественным реформаторам недоставало и ясного сознания в верности собственных оснований и точки опоры в общественном сознании. Они более *веровали* в истины, ими проповедуемые, чем могли сами себе доказать их. Они увлекали приверженцев, но это увлечение было непрочно. Вопрос, в чем состоит всестороннее развитие личности, мог быть поставлен правильно лишь тогда, когда множество специальных вопросов о природе вообще, о человеке в частности, о физиологии, психологии и истории были разрешены вовсе не в виду этого общего вопроса, а в виду различных эгоистических благ, полученных поколениями профессоров и академиков за их маленькие работы. Для понятия о равноправности людей работали Цезари-Каракаллы [350], кровавые конквистадоры Америки, полуидиотические аскеты рядом с специалистами, считавшими извилины мозга, сравнивавшими корни языков, вычислявшими средние величины статистических данных. По нравственному значению индивидуумов нельзя дать преимущества одним перед другими, но специалисты внесли в общество привычку думать критически, привычку верить, что критическая мысль — вещь хорошая, и без их подготовки проповедникам критической мысли *вообще* не было бы возможности довести свои труды до того положения, в котором эти труды находятся в настоящее время.

В наше время правильное приложение того закона, который поставил г. Михайловский, невозможно без выработки в особях критической мысли и без убеждения общества, что критика мысли правомерна. Убеждение это вошло в общество лишь путем распространения верования, что критическая мысль в специальных сферах не только может быть терпима, но должна быть поощряема. Верование это могло возникнуть лишь в том случае, когда эксплоататоры общества видели в ученых людей, им полезных, *своих*

людей, когда они не опасались науки. Но они могли так смотреть лишь на науку специальную, чуждую общим вопросам, общим интересам. Итак, специализация в области мысли была необходимым условием возникновения самых начал рациональной критики.

Г. Михайловский может сказать, что в обществе, где простая кооперация сменилась сложною и где установилась эксплоатация большинства меньшинством, научная специализация могла иметь это значение, но там, где этого не было бы, и мысль человека не должна была бы итти указанным окольным путем, чтобы притти к результатам, прямо следовавшим из права критики равноправных особей. Едва ли подобное возражение можно было бы признать основательным. Все аналогии психической деятельности в человеке и в позвоночных побуждают заключить, что всякая новая мысль является лишь в *особях* этого отдела существ, что она должна быть выработана особью некоторое время для вызова особи к правильной деятельности; что затем мысль передается другим особям постепенно, вызывает в установившихся привычках и преданиях противодействие тем бóльшее, чем ниже культура общества и чем менее обособлены представители новой мысли от остальных личностей. Только на довольно высокой ступени развития люди столь же охотно взвешивают совет равного им, как совет лица, ими по привычке уважаемого, т. е. поставленного их воображением выше их; потому-то пришелец, иностранец, мало знакомая личность, если только он победит первоначальное отчуждение и недоверие мало развитого общества, легче приобретет в нем влияние, чем личность привычная. Это дает право заключить, что на низших ступенях человеческой культуры, для ограждения форм этой культуры от окоченения и для возможности цивилизованного развития, надо, чтобы работа мысли выходила из особей, имеющих исключительное положение, — т. е. нарушение простой кооперации образованием меньшинства, преимущественно занятого работою мысли, было необходимо, чтобы работа мысли имела возможность бороться с привычками и преданиями. Для получения возможности развиваться обществу необходимо было образовать из себя меньшинство, имевшее досуг на счет бóльшего труда других личностей; этот досуг дал возможность меньшинству критически выработать мысль, накопить знания и, в видах чистого эгоизма, положить начало цивилизованному движению вообще.

Таким образом, наука, как элемент *критической мысли*, в целом своем объеме, даже во всех своих эгоистических злоупотреблениях, становится элементом накопления

сил в человечестве для борьбы против общественного зла. Это общественное зло всегда гораздо более заключалось в привычках и преданиях, чем в злом расчете эксплоататоров, и причина тому совершенно проста. Самое понятие об эксплоатации предполагает эксплоатирующее меньшинство и эксплоатируемое большинство. Мне кажется, что г. Михайловский слишком выставил на вид противоположение специалистов нервной деятельности специалистам деятельности мускульной. Несравненно значительнейшую роль в истории играло другое разделение труда; именно выделились специалисты мышечной деятельности *военной*, временной и сопровождаемой досугами, отдыхами, разносторонним упражнением мышц, и им противоположились специалисты мышечной деятельности *мирной*, непрерывной, допускающей крайне мало досуга и однообразной, односторонне упражняющей ту или другую мышечную группу. Но даже при этом предположении эксплоатирующие должны были составлять меньшинство, и при выработке специалистов нервной деятельности действительная способность меньшинства к противодействию в сословной борьбе должна бы еще уменьшиться. Как ни хитро могло быть устроено общество, но если эксплоатируемое большинство сознало бы *несправедливость* своего положения, оно было бы всегда в силах ниспровергнуть строй, его давящий. Но дело в том именно, что большинство чувствовало всегда лишь *тяжесть* своего положения, а недостаток критики мысли всегда мешал ему догадываться, насколько тяжесть его жизни зависит от несправедливости общественного строя, еще более мешал разглядеть причины этой несправедливости и средства для ее устранения. Привычки и предания, при всей трудности жизни, почти всегда настолько тяготели над народом, что даже тогда, когда политическая катастрофа позволяла народам изменить общественный строй, они большею частью меняли лишь давящие личности, а самая сущность несправедливого общественного строя оставалась неизменною после самых кровавых переворотов. В этом случае недаром Спенсер так сильно нападает на обычаи и приличия. Они точно вредили человечеству всего более, потому что придавали всем видам общественного зла громадную силу сопротивления, дозволяющую этому злу возрождаться снова и снова, несмотря на всякие случайности истории. Силы, разрушающие *это* сопротивление, приходится признать безусловно прогрессивными, в каких бы отвратительных видах они ни проявлялись, и такова была наука как в форме мелких специальностей, так и в форме обобщающих законов, могучих методов; она сохраняла всегда одно свойство: в микроскопической или в обширной области

она воспитывала сознание необходимости строгой критики и искренности мысли; она накопляла силы для борьбы со всяким общественным злом; она выделяла каплю по капле разъедающую жидкость, против которой не могла и не будет иметь возможности устоять ни одна организация политического эксплоататорства, ни одно неравенство, опирающееся на несправедливое разделение труда.

Но наука своего дела еще далеко не сделала, и сознание прав критики вообще далеко еще не укрепилось в общественной мысли даже тех народов, которые в настоящую минуту стоят во главе цивилизационного движения. Если бы мысль г. Михайловского о разрушении специализации, об исчезновении *науки для науки* могла бы осуществиться когда-либо в минувшем или даже в настоящем, то зрелище было бы очень печальное, и прогрессивное движение могло бы прекратиться. Это было бы возможно даже в наше время. Пусть г. Михайловский вообразит, что в эту минуту многочисленные филистеры, работающие с неутомимым трудолюбием в своих «храмиках науки» над маленькими фактиками, получили откровение, что наука для науки — вздор. Неужели он допустит, что эти господа разом поставят себе на место своего нынешнего идола высший идеал пользы общества, человечества? Неужели не совершенно очевидно, как низко их нравственное развитие и как неизбежно они заменили бы слова: наука для науки словами: наука для нашего тщеславия, для нашего сребролюбия, для нашего грязного *я?* И теперь это тщеславие, это сребролюбие, это грязное *я* играют весьма обширную роль в их soi disant [351] ученой деятельности, но у них есть уголок, где они чисты, искренни и справедливы, где для них критика и научная истина выше всего. Когда же они перестанут быть учеными специалистами, то сделаются не полезными гражданами, не широкими мыслителями, а просто учеными шарлатанами; они будут выдумывать химические опыты, чтобы найти отравление там, где его нет; они будут сочинять статистические данные для угоды властей награждающих; они будут фальсифицировать документы; они будут доказывать, что получили свои ученые результаты путем видений, откровений, и будут истреблять самую мысль о необходимости критики вообще, утверждая, что она вовсе не нужна и в специальных сферах. Г. Михайловский высказал в своих статьях весьма трезвый взгляд на деятелей этой сферы, и мы не сомневаемся в его согласии, что именно так бы поступило большинство современных ученых специалистов, если бы каким-нибудь чудом они перестали разом верить в науку для науки.

И почему обществу не поверить им, что критика вовсе

не нужна? Для большинства и теперь работа мысли не есть удовольствие, а скорее — неприятный труд. Для большинства критика представляется злом, высокомерием. Привычки и предания еще очень сильны среди нас. *Единственная* область, где права критики признаются, это область так называемых *точных* наук, да и в них признание прав критики опирается не столько на ясное сознание этих прав обществом, сколько на установившуюся привычку. Нелепая борьба против свободы слова в бо́льшей части государств, считающихся цивилизованными, доказывает, как слабо убеждение в необходимости критики для жизни общества. Если бы специалисты не поддерживали этого убеждения в своих узких сферах из эгоистического расчета, нельзя быть уверенным, что критическое движение не остановилось бы вовсе.

Если это можно предположить для нашего времени, то еще скорее следует допустить для предшествующих периодов. Лишь благодаря тому, что среди общества обособились специальности, критическая мысль возникла и распространилась. Деспоты Александрий [352] и Сиракуз [353], приюты монашеского аскетизма, хищники новой Европы, иезуиты, враги всякой жизни в обществе — взрастили и взлелеяли математиков, натуралистов, археологов, библиографов; эти же специалисты индифферентно относились к самому ужасному злу, которое совершалось близ них, придавали громадное значение мелким своим завоеваниям в сфере любопытного, высокомерно смотрели на другие сферы труда; но это крайнее раздробление специальностей, это крайнее разделение труда в сфере научной мысли было необходимым условием для того, чтобы когда-либо человек мог рационально поставить вопрос о своих силах, о своем всестороннем развитии, о равноправности людей, о средствах довести разделение труда между личностями до минимума.

Социолог имеет право видеть высшее общественное благо, цель общества в наибольшей сумме личных благ для членов современного ему общества. Историку уже этого мало. Для него сумма благ распространяется на минувшие и на грядущие поколения личностей, а так как социология в своих выводах не может противоречить истории, то и высшее общественное благо социологии должно руководиться тою же нормою. Я совершенно согласен с г. Михайловским, что общество должно быть рассматриваемо не как сумма органов, а как сумма страждущих и наслаждающихся единиц. Я совершенно согласен с ним, что поэтому для вывода социологических законов необходимо употребить субъективный метод, т. е. стать на место страждущих и на-

слаждающихся членов общества, а не на место бесстрастного *постороннего* наблюдателя общественного механизма. Но ученый в этом случае не имеет права останавливаться на одном поколении; он должен взять в соображение данные минувшего и вероятные события будущего. С этой точки зрения развитие критической мысли в человечестве, ее укрепление и расширение есть, на мой взгляд, главный и единственный *агент* прогресса в человечестве, хотя, конечно, существенный *результат* прогресса заключался в воплощении критической мысли в справедливейшие общественные формы. В предыдущие периоды разделение работ, образование специальностей могло быть и было явлением *прогрессивным,* потому что количество зла, увеличивавшееся для личностей данной эпохи от увеличения сложности в кооперации, было далеко вознаграждено уменьшением зла для личностей всех эпох, вследствие укрепления и распространения критической мысли в специальных областях. Разделение работ и *останется* явлением прогрессивным до тех пор, пока сознание права критики *вообще* не сделается достоянием большинства, и лишь тогда агент прогресса, критическая мысль, сделавшись преобладающею, перестанет иметь господствующее значение в истории человечества; лишь тогда воплощение знания в справедливейшие общественные формы станет главным проявлением прогресса; лишь тогда закон, поставленный г. Михайловским, — возможно меньшее разделение труда между личностями, — будет довольно полною формулою общественной задачи.

Но я позволю себе усомниться даже в том, чтобы это *возможно меньшее* разделение могло когда-либо достигнуть довольно низкого минимума, и в этом случае первая половина формулы г. Михайловского служит мне опорою. «Возможно полное и всестороннее разделение труда между органами» мы можем себе представить лишь как разностороннее развитие личности. Но в каждой личности наука позволяет допустить два рода данных: элементы, прирожденные в физиологическом обособлении, и элементы, приобретенные воспитанием и жизнью. Последние суть не иное что, как развитие элементов прирожденных, и это развитие обусловливается в значительной степени свойством прирожденных элементов. Самое искусное воспитание может развить иные физиологические данные лишь в тесных пределах, другие же выработать до артистической отделки. Но те самые явления природы, которые вызвали развитие разнообразных видов, родов и классов органических существ, позволяют заключить, что две рождающиеся особи никогда не тожественны. Если в будущем гигиена позволит устранить значительное число болезненных и уродливых рождений, то

едва ли когда она устранит *различие* индивидуумов при рождении; оно, признаться сказать, едва ли было бы и желательно. С другой стороны, педагогия в настоящее время стремится не к нивеллированию личностей, а к развитию их *сообразно их особенностям.* Как кажется, развитие всех способностей, а следовательно, и всех особенностей личностей заключается, как требование, и в формуле г. Михайловского. Поэтому разнообразие прирожденных данных, при внимательном развитии всех способностей личностей, должно дать личностей тем более разнообразных или тем более специализированных, чем правильнее будет их развитие. В таком случае безусловное господство закона: «возможно полное и всестороннее разделение труда между органами» должно уже само собой повести к ограничению второй половины закона г. Михайловского.

Но насколько я понимаю мысль автора, эта мысль вовсе не пострадает, если он ограничит свою формулу или изменит ее. Он сам, придавая в своих статьях главное значение субъективному элементу в социологии, дает возможность оживить эту неподвижную объективную формулу. Я уже говорил выше, что его аргументация приводит прямо к результату: идеал утилитаризма, наибольшая общая польза, должен быть понят, как наибольшая сумма личных благ членов общества, то есть как справедливейшее общество — в смысле не юридической, а нравственной справедливости. Я старался уяснить, что наибольшая равноправность личностей при наибольшем их личном развитии есть именно формула *безусловной* справедливости (каждому по достоинству) в ее современном фазисе, соответствующем настоящему развитию науки. Но эта формула, по своему *действительному* содержанию, на мой взгляд, весьма мало разнится от формулы г. Михайловского. При правильном развитии в личности можно заметить элементы, общие личности со всеми другими, столь же правильно развитыми личностями, и другие элементы, ее специализирующие. Мышечная ловкость и способность к *обыденным* ручным работам, способность получить всестороннюю образованность умственную, привычку к критической мысли, правильное реалистическое миросозерцание, способность развить в себе эстетический вкус ценителя в достаточной степени для наслаждения искусствами, наконец, способность быть справедливым к людям, сочувствовать им и видеть свое благо в общем благе, — все эти способности составляют элементы, которые при правильном общественном строе, при правильном физическом, умственном и нравственном воспитании личности могут быть совершенно одинаково развиты во всех людях. Это — масса *общечеловеческого* элемента,

на сознании которого опирается понятие о равенстве достоинства людей, о их равноправности, о их солидарности в умственном и нравственном отношении. Строй общества должен иметь в виду *это* равенство достоинства личностей. К *этому* равенству должна стремиться гигиена, педагогия и социология. Распределение *обыденных* занятий, прав, обязанностей, наслаждений и трудов сообразно *этому* равенству должно быть целью прогрессивного движения человечества в будущем.

Но за этою способностью лежат физические, психические, умственные, художественные и нравственные специализации, на которые личность имеет право потому, что их данные ей прирождены и педагогика обязана их развить. Общество имеет право ими воспользоваться, хотя *человеческое* достоинство личности нисколько не возвышается и не падает из-за того, что один человек — гениальный математик, другой — превосходный скульптор, третий умеет подвести все под общий философский взгляд, а четвертый по столярному или слесарному ремеслу превосходит своих товарищей. Достоинство человеческое остается равным для того, кто равно привязан ко всем ближним, для того, кто, кроме того, находит особенное удовольствие в сношениях с кружком избранных приятелей, или для того, кто самоотверженно любит одно избранное существо. Во всех этих *добавочных* специализующих качествах человек находит удовольствие именно потому, что он в них специалист. Общество доставляет человеку удовольствие, а себе пользу, ставя своего члена в такое положение, где бы он мог вполне развить свои специальные способности, наилучше приложить их, но это нисколько не должно выдвигать вообще человека из рядов его братий, потому что во всех существенных элементах своей личности он не может превзойти их.

Итак, возможно меньшее разделение *общечеловеческого* труда не мешает выработке специальностей и употреблению их на службу общества. Быть *человечным* не значит еще стоять во всем в уровень с другими. Кто не достиг *человечности,* то есть всестороннего развития общечеловеческих способностей, тот *ниже* надлежащего уровня. Но всякий должен и может стремиться хотя в чем-либо стать *выше* этого уровня, в чем-либо сделаться *специалистом,* и правильно развитое общество должно столь же заботиться о доведении всех своих членов до общечеловеческого уровня, как и о том, чтобы каждый мог, в той или другой сфере, перейти за этот уровень, специализироваться. Только этим путем критическая мысль личности, постоянно работая, постоянно будет действовать на общественную культуру, как возбуждающее, цивилизационное, прогрессивное начало.

Только при этом прогресс возможен для общества, как бы высоко ни стояли его культурные формы.

Поэтому я считаю, что формула г. Михайловского должна быть изменена на основании тех самых начал, которые он проводит в своих статьях. Во-первых, это не есть формула прогресса, а, с некоторыми ограничениями, формула требований прогрессивного движения для ближайшего будущего. *Прогресс,* по моему мнению, *есть процесс развития в человечестве сознания и воплощения истины и справедливости путем работы критической мысли личностей над современною им культурою.* Ему принадлежит все развитие критической мысли, ему принадлежит вся история науки, даже в своих специальных стремлениях, лишь бы она стремилась в своих мелких работах *к пониманию* фактов, а не только к их записыванию, что есть знание, но еще не наука; прогрессу же, конечно, принадлежит и расширение понятия о человечности, то есть о всестороннем развитии личности в ее *общечеловеческих* элементах, точно так же, как и воплощение справедливости в общественные формы, то есть расширение равноправности личностей на основании равенства их общечеловеческого достоинства. Г. Михайловский ограничивается лишь последним, но я изложил выше основания, на которых считаю это недостаточным.

Рассматривая формулу г. Михайловского, как требование социологии нашего времени, я гораздо менее отступил от нее. Если я считаю, что развитие критической мысли и развитие науки составляют до сих пор основную задачу общества, то это требование заключается уже в формуле г. Михайловского: «возможно полное и всестороннее разделение труда между органами». Если я предпочел бы формулировать это словами: человечное развитие личности, то здесь разница лишь в словах, и, может быть, иному читателю формула г. Михайловского покажется яснее и определеннее. В мысли я с ним схожусь.

Но именно поэтому, как уже сказано выше, вторую половину его формулы я считаю необходимым несколько изменить. Для отдаленного будущего я готов поставить его формулу так: «возможно меньшее разделение *общечеловеческого* труда между людьми», но формула эта приложима лишь тогда, когда человечное развитие личностей достигнет несколько более высокой ступени. В настоящем я считаю еще невозможным ее поставить и ограничиваюсь более широкою формулою, прилагаемою как к настоящему, так к прошедшему и к будущему. Я скажу: «справедливейшее разделение труда между людьми», так как лиц, стоящих *ниже* уровня общечеловеческих требований, еще слишком

много, даже между так называемыми *цивилизованными* людьми. Немногим развившимся всесторонне и достаточно приходится относиться *педагогически* к другим людям, и самые передовые деятели должны вступать в сложную, а не в простую кооперацию. В сущности прогресс относительно вопроса о правильном разделении труда между людьми еще так мал, что для настоящего приходится его поставить в далекие desiderata [354] и пока ограничиться общею формулою прогресса, которую я развил выше. Я вполне сознаю важность этого вопроса, как его поставил г. Михайловский; считаю эту постановку, как уже сказал, немалою заслугою для социологии; но не считаю возможным, при настоящем состоянии социологии, концентрировать задачи ее на пункт, который требует еще значительной подготовки. Полагаю, что разностороннее развитие личности, которого требует г. Михайловский и которое уже давно входило теоретически в задачу этики, должно само собою повести к справедливейшему разделению труда между людьми.

На вопрос, что такое прогресс, я предпочел ответить: прогресс есть процесс развития в человечестве сознания и воплощения истины и справедливости путем работы критической мысли личностей над современною им культурою. Это определение, как мне кажется, удовлетворяет условиям, поставленным в начале статьи, но одновременно служит, согласно требованиям, там же высказанным, заключительною теоремою социологии и основою истории.

Как высшие начала субъективного блага личности, истина и справедливость заключают в то же время основные условия общественного строя. Вне познания истины невозможно осуществление справедливости. Социологическая истина есть не что иное, как сознанная справедливость. Общество должно быть столь же старательно организовано для открытия, поверки и распространения истины, как и для воплощения справедливости. Истина охватывает необходимое, возможное и желательное. Социология, которая не приняла бы в соображение, при построении общественной теории, закона *необходимого*, была бы не наукою, а болтовнею. Общественные формы, не обеспечивающие личности необходимого, сделали бы для общества невозможным всякое развитие в отношении истины и справедливости. Социология, не указывающая пути для оценки *возможного* в каждом частном случае, была бы опять не наукою, а фантазерством. Общественные формы, не опирающиеся на условия возможного в данную эпоху для личности и для общества, были бы крайне непрочны и скорее повели бы к увеличению зла, чем блага в обществе. В области *жела-*

тельного все группируется под рубрики истины и справедливости. Все, что не имеет отношения ни к необходимому и возможному, ни к истине, ни к справедливости, не имеет значения для общества, и всякая трата общественных сил вне этих задач его есть трата непроизводительная, всякое расширение области познания и воплощения истины и справедливости есть общественное приобретение. Все части социологии распределяются и вступают между собою в отношение на основании этих двух начал.

Но истина и справедливость не суть нечто данное и законченное. Последняя заключена в безусловную формулу, но содержание этой формулы развивается соответственно разработке истины. Истина может быть разработана, а справедливость может быть воплощена в дело лишь путем работы критической мысли над культурою. Поэтому социология не есть наука, отдельная от этики. Основные ее истины суть истины личной нравственности. Лишь на них она строит свое здание. Право всестороннего развития и всесторонней критики для личности есть аксиома, с которой наука общества начинается, без которой вся связь науки распадается, и самая наука остается словами без содержания. Вне критики нет истины; вне критики нет справедливости; вне критики нет общественной жизни и прогресса. Отсюда всякая безусловная, окончательная истина, не допускающая критики, есть абсурд. Если она — истина, то критика ее подтвердит и разовьет в новые истины. Точно так же всякое неподвижное субъективное содержание справедливости было бы абсурдом, потому что оно допускало бы отрицание развития в социологии, отрицание личной критики, отрицание субъективного элемента в социологии. Общество же, воплощающее в жизнь *добытую* истину и *сознанную* справедливость, но в то же время постоянно имеющее в виду поощрять личности к специальной разработке истины во всех сферах путем критики, будет общество прогрессивное, как низко ни стояли бы его культурные формы.

Заключая и организуя социологию, указанное определение прогресса служит и рациональным уяснением истории. Накопление знаний и выработка простейшей культуры служат первым материалом критике мысли, пониманию истины и воплощению справедливости. Работа критической мысли, то удачная, то неудачная, то слабеющая, то усиливающаяся, и результаты этой работы — вот основная нить истории человечества.

Все события и личности располагаются в перспективу, сообразно их отношению к этой работе, и едва ли можно сказать, что которая-либо область исторической жизни

была бы при этом обижена. Наука входит сюда как самый прочный элемент нарастающего понимания истины, но человечность вырабатывается в личностях и сменою верований и эстетическими успехами. Мифы и метафизические построения служат подготовкою к научной критике и к справедливейшему строю общества. Эти элементы именно настолько важны для истории, насколько в них вырабатывались прогрессивные элементы личности и общества. Общественные формы и положительные законодательства получают свое значение, как следы постепенного уяснения социологических истин, постепенного расширения или сужения справедливейших отношений между людьми, как среда, способствовавшая или мешавшая работе критической мысли. Личности не теряют своего значения в истории, где основное понятие прогресса видит в них неизбежных посредников исторического движения, обусловливающих всеми особенностями своего развития степень понимания возможного и желательного для данной эпохи, степень энергического воплощения своих убеждений в дело. События выступают на тот или другой план сообразно тому, насколько в них воплощается современное им миросозерцание, или насколько они, случайно содействуя перераспределению личностей на поверхности земли, способствовали прогрессивному и регрессивному ходу истории.

Как мы видели, развитие формулы, предположенное выше, нисколько не противоречит основам аргументации г. Михайловского и заключает его формулу, как частный случай, с весьма небольшими ограничениями. Эти ограничения даже правильнее назвать уяснениями, и я думаю, что сам г. Михайловский легко бы получил их, если бы не отнесся к понятию о справедливости и специальности слишком враждебно, вооруженный против них узкостью взгляда юридических ценителей справедливости и жалкой картиной филистерства ученых специалистов. Мне было бы крайне больно, если бы г. Михайловский увидел в этой статье что-либо для себя враждебное, из-за того что в русской прессе возражения бо́льшей частью имеют враждебный характер. Мне кажется, что именно уважение к труду автора может побудить к тщательному анализу его положений, к указанию пунктов, в которых рецензент с ним согласен, и где с ним расходится. Труд г. Михайловского позволяет надеяться, что автор в будущем даст еще более серьезные работы в области философии, которая так бедна в нашей литературе самостоятельными взглядами. Это именно побудило меня написать эту заметку. Я бы очень желал, чтобы автор прочел в ней то чувство живого интереса, которое вызвали его статьи в его читателе.

ПО ПОВОДУ КРИТИКИ НА „ИСТОРИЧЕСКИЕ ПИСЬМА“ [355]

Отзывы об «Исторических письмах», помещенные в «Деле» 1870, № 11, и в «Знании» 1871, № 2 [356], навели нас на некоторые размышления, которые мы, быть может, несколько поздно, решились предложить читателям «Знания», на страницах которого была помещена более подробная критическая статья г. К. А. Стоя совершенно на точке зрения автора, мы полагаем, он сказал бы то же самое, если б мог говорить с своими критиками.

Прежде всего, как нам кажется, автор вовсе не думал «убедить читателя, что история важнее естествознания», как выражается г. Н. Шелгунов (стр. 14), и не видит в истории лишь «пестрого калейдоскопа» событий, как можно заключить из слов г. К. А. (стр. 172). Нам кажется, что на странице 11 «Ист. пис.» автор совершенно определенно признал основные части естествознания необходимою подкладкою современной жизни и поставил высшие его части на «совершенно одну ступень с историей», следовательно, едва ли дал повод к заключению г. Шелгунова. При этом, если он дал слишком много места, по мнению того же критика, вопросу о сравнительном значении двух упомянутых отраслей знания, то он мог быть вызван на это слишком часто встречаемым в жизни пренебрежением весьма умных и весьма развитых личностей из нашей молодежи к историческим вопросам сравнительно с задачами естествознания. Если г. Шелгунов прав и этот спор уже устарел, тем лучше.

Выражение же «пестрый калейдоскоп событий», очевидно, употреблено автором (стр. 21 «Ист. пис.») лишь в смысле первого, поверхностного впечатления, производимого на наблюдателя течением истории. Это поверхностное впечатление исчезает, как только наблюдатель присматривается внимательно к событиям и прилагает к ним критерий группировки их по их относительной важности. Конечно, это — критерий субъективный, в котором отражается нравствен-

ная выработка наблюдателя, но так как эта нравственная выработка совершается неизбежно для лучших представителей цивилизованного меньшинства в данном обществе, то господство и распространение той или другой перспективы исторических событий есть факт, преобладающий над разнообразием личного развития в этом обществе. Господствующее миросозерцание определяет, чтó важнее и чтó менее важно в истории, и таким образом для каждой эпохи жизни каждого общества существует свой *закон истории*, не в том смысле этого слова, который употребителен в физике или физиологии, а в том, который встречается в звездной астрономии, когда дело идет о законе распределения светил на поверхности небесного свода, или в систематике организмов, когда говорят о законе распределения их.

По мере усиления телескопического зрения новые группы светил выступают на поверхности неба и закон распределения их меняется или становится вернее. По мере увеличения фактического знания в морфологии организмов закон их классификации становится определительнее. Но мы лишь тогда могли бы сказать, что *понимаем* закон распределения светил, когда мы узнали бы с достаточной подробностью *генетический* процесс мирового вещества и могли бы возвести наблюдаемые звездные группы к фазисам этого процесса. В астрономии даже не пытались этого сделать, и потому распределение созвездий и до сих пор составляет лишь предмет эмпирического описания, а не научного понимания. Для распределения организмов период научного понимания начался с первыми попытками открытия генезиса органических форм: теория Дарвина позволила сделать громадный шаг в этом направлении, и в настоящее время закон классификации организмов представляется, как задача вполне научная: понять этот закон — значит свести органические формы на их генетическую связь. В обоих рассмотренных случаях распределение представляется сначала беспорядочным, потом произвольным, весьма легко вызывает в мысли первобытного человека представление произвольно действующего существа, которое рассыпало звезды по небу и как бы играло странным разнообразием органических форм. Научное понимание видит в генезисе этого распределения действие неизменных феноменологических законов; при этом явления непрерывно повторяются; но действуя в определенной среде, феноменологические законы вызывают все новые и новые распределения вещества в мировом пространстве, все новые и новые распределения органических форм на земной поверхности. Морфология вещества должна бы заключать закон последовательного изменения распределений веще-

ства в пространстве (механически) и по разнородности его состава (химически). Морфология организмов, как ее понимает Геккель, уже теперь ставит себе задачею найти закон последовательного изменения распределения организмов, на основании вечно действующих законов биологии.

По аналогии этих наук легко заключить о том, что значит найти закон истории и *научно* понять его. Здесь мы имеем ту выгоду, что генезис дан с самого начала; как в беспорядочном размещении созвездий и туманностей или в разнообразии органических форм поверхностный наблюдатель и здесь видит сначала лишь «пестрый калейдоскоп» событий; но как там, так и здесь начинается весьма быстро группировка по генетической связи и по *важности* событий. Что определяет *важность* факта в науках рассматриваемого разряда? Действие закона наук феноменологических, замечаемое в данном случае: солнечная система выделяется астрономами из прочих групп, потому что тела, ее составляющие, связаны механическими явлениями, подводимыми под закон тяготения; то же самое обособляет системы двойных или тройных звезд; точно так же в описательной химии мы сближаем калий и натрий, или хлор и иод по сходству их химического действия; сближаем минералы по сходству химического состава и кристаллографических явлений. Законы феноменологических наук (или абстрактных, по позитивистам) определяют, что важнее и что менее важно в распределениях наук космологических (или конкретных, по той же терминологии). Для этого определения необходимо взять в соображение *все* феноменологические законы, действующие при данном распределении, в особенности же те, которые наиболее влияют на самое распределение и на его генезис.

Какие феноменологические законы влияют на распределение событий в человеческой истории и на их генезис? Законы механики, химии, биологии, психологии, этики в социологии, т. е. *всех* феноменологических наук, следовательно, *необходимо и научно* взять их все в соображение. Которые из этих законов важны для понимания истории? Для этого нужно взять в соображение характеристические особенности того существа, которое составляет единственное орудие и единственный предмет истории — человека. Особенные электрические явления не выделяют гимнота [357] из его зоологической группы, как особенные химические продукты не обусловливают ботанической классификации; в обоих случаях биологические явления доставляют важнейшее указание. Так и для всей группы антропологических наук (как феноменологических, так и космологических) критерий важнейшего должен прилагаться

сообразно характеристическим особенностям человека, особенности же эти неизбежно определяются по его *субъективной* оценке, потому что исследователь сам человек и не может ни на мгновение выделиться из процессов, *для него* характеристичных.

Может быть (и даже вероятно) в общем строе мира явление сознания есть весьма второстепенное явление, но *для человека* оно имеет столь преобладающую важность, что он всегда будет прежде всего делить действия свои и подобных себе на действия *сознательные* и *бессознательные* и будет относиться различно к этим двум группам. Сознательные психические процессы, сознательная деятельность по убеждению или противно убеждению, сознательное участие в общественной жизни, сознательная борьба в рядах той или другой политической партии, в виду того или другого исторического переворота имеют и будут всегда иметь для человека совершенно иное значение, чем автоматическая деятельность при подобных же обстоятельствах. Следовательно, в группировке исторических событий сознательные влияния должны занимать первое место, именно в той постепенности, которую они имеют в самом человеческом сознании.

На основании этого сознания, какие процессы имеют преимущественное влияние на генезис событий? Человеческие потребности и влечения. Как группируются эти потребности и влечения по отношению к сознанию личности? Они разделяются на три группы: одна группа потребностей и влечений вытекает *бессознательно* из физического и психического устройства человека, как нечто неизбежное, и сознается им лишь тогда, когда составляет готовый элемент его деятельности; другая группа получается личностью столь же бессознательно от *общественной* среды, ее окружающей, или от предков, в виде привычек, преданий, обычаев, установившихся законов и политических распределений, вообще *культурных форм;* эти культурные потребности и влечения сознаются тоже готовыми, как нечто *данное* для личности, хотя не вполне неизбежное; в них предполагается некоторый смысл, существовавший при происхождении культурных форм; этот смысл отыскивается и угадывается, но для каждой личности, живущей в данную эпоху, в данных формах культуры, он есть нечто внешнее, независимое от ее сознания. Наконец, третья группа потребностей и влечений вполне *сознательна,* и для каждой личности кажется происходящею в этой личности вне всякого постороннего принуждения, как свободный и самостоятельный продукт ее сознания: это — потребность лучшего, влечение к расширению знания, к постановке себе выс-

шей цели, потребность изменить все данное извне сообразно своему желанию, своему пониманию, своему нравственному идеалу, влечение перестроить мыслимый мир по требованиям истины, реальный мир по требованиям справедливости. Впоследствии научное исследование убеждает человека, что и эта группа развивается в нем не свободно и не самостоятельно, но под сложными влияниями окружающей среды и особенностей его личного развития; но, убеждаясь в этом *объективно,* он все-таки никогда не может устранить субъективной иллюзии, которая существует в его сознании и устанавливает для него громадное различие между деятельностью, для которой он *сам* ставит себе цель и выбирает средства, критически разбирая достоинство цели и средств, и деятельностью механическою, страстною, привычною, где он сознает себя орудием чего-то, извне данного.

Указанные три группы отделяются одна от другой на основании того феноменологического процесса, который наиболее важен для человека во всех антропологических науках и без которого эти науки, как особенные, вовсе не имели бы причины существовать; следовательно, эти группы устанавливаются научно, и значение их для группировки событий истории вытекает по необходимости из их отношения к процессу сознания. Та группа, которая наиболее сознательна, должна иметь преобладающую важность для истории человека, по самой сущности этой истории, как она имеет неизбежно преобладающую важность для историка — человека, по свойствам его личности. Целесообразная сознательная деятельность доставляет по самой постановке вопроса центральную нить, около которой группируются прочие проявления человеческой деятельности, как разнообразные цели взаимно подчинены сообразно их нравственному достоинству. Здесь научность построения получается из совпадения двух процессов одинаково субъективных, но из которых один совершается в мысли историка, а другой получается как результат наблюдения над историческими личностями и группами. Закон хода исторических событий оказывается с этой точки зрения определенным предметом исследования: уловить в каждую эпоху те цели, умственные и нравственные, которые в эту эпоху были сознаны наиболее развитыми личностями как высшие цели, как истина и нравственный идеал; открыть условия, вызвавшие это миросозерцание, критический и некритический процесс мысли, его выработавший, и его последовательное видоизменение; группировать различные миросозерцания, таким образом возникавшие в их исторической и логической последовательности; расположить около них, как причины и следствия, как пособия и противодействия,

как примеры и исключения, все прочие события человеческой истории. Тогда из «пестрого калейдоскопа событий» исследователь неизбежно переходит к «закону исторической последовательности», который автор на той же странице (21) предлагает искать.

При этом построении все главные предметы и орудия исследования принадлежат миру субъективному. Субъективны разнообразные цели, преследованные личностями и группами личностей в данную эпоху; субъективно миросозерцание, по которому оценивались эти разнообразные цели их современниками; субъективна и оценка, приложенная историком к миросозерцаниям данной эпохи, чтобы выбрать из них то, которое он считает центральным, высшим, и ко всему ряду миросозерцаний, чтобы определить ход прогресса в человеческой истории, отметить прогрессивные и регрессивные эпохи, причины и следствия этих фазисов исторического движения и указать современникам возможное и желательное в настоящую минуту. Но источники субъективности в этих случаях различны, и средства для устранения ошибок, которые могли бы быть следствием этого метода, тоже различны. Субъективность частных целей и нравственной оценки их в данную эпоху есть факт вполне неизбежный, вполне научный, который подлежит самому разностороннему наблюдению и исследованию; историк, для избежания ошибки, должен лишь самым тщательным образом усвоить культурную среду и степень развития личностей в данную эпоху; он здесь собирает факты, как во всякой другой науке, и личные его взгляды имеют или должны иметь крайне малую долю участия в установке этих фактов. Если он допускает для Сезостриса или Тамерлана сложные дипломатические соображения Людовика XIV или Бисмарка, то он просто не знает эпохи, о которой пишет. Если он влагает в мысль Гераклита диалектику Гегеля, то он опять-таки не усвоил достаточно различие периодов. Если он дает культурным явлениям, расширениям государств, борьбе национальностей преобладающее значение в истории, то он не уяснил себе характеристической особенности природы человека, как она сознается самим человеком. Во всех этих случаях точность, обширность и разносторонность научных сведений есть лучшее средство для устранения ошибок. Но совсем иное дело субъективная оценка различных миросозерцаний данной эпохи или теория исторического прогресса, устанавливаемая историком. Здесь самая точная эрудиция не может устранить ошибки, если автор устанавливает ложный идеал; здесь отражается личное, индивидуальное развитие историка; в заботе о соб-

ственном развитии он может найти и единственное средство придать более верности своему построению.

Здесь мы встречаем важнейшее возражение, сделанное г. К. А. Он говорит: «Люди, по своей племенной и индивидуальной природе, не равны и равными быть не могут» (195). «Всякий под терминами: умственное, нравственное, физическое развитие, истина и справедливость, разумеет или может разуметь свое, нечто особое от того, что разумеют другие» (175). «Всякая форма прогресса, как понятия чисто субъективного, представляется не обязательною для всего человечества, ибо люди, по неравенству природному и общественному, никогда одинаковых идеалов иметь не могут» (175). Из этого следовало бы, что научная теория прогресса, научное построение истории или даже соглашение по этим пунктам решительно невозможно. И это было бы действительно верно, если бы наука и в самом деле, как говорит г. К. А. (187), не могла «характеризовать какие-либо факты нравственными или безнравственными». Если бы на самом деле было «невозможно подыскать такие основания истины и справедливости, которые могли бы стать общими для всех людей» (195). Но точно ли это так? Едва ли.

Если заключать на основании существующей и всегда существовавшей разницы между людьми, то придется отвергать не только единство нравственных идеалов, но и единство научных истин. Из 1 300 миллионов личностей, составляющих человечество, огромное большинство не только не имеет самых поверхностных научных сведений, но не выработало даже начал научного понимания, не перешло первых ступеней антропологического развития. Целые племена не могут представить себе несколько значительного числа и не обладают отвлеченными словами. Фетишизм, вера в амулеты и в гаданья, вера в чудесное не только господствуют у диких и в безграмотных классах европейского населения, но и беспрестанно проявляются в среде так называемого цивилизованного меньшинства. Следует ли заключить из этого, что наука не существует, как непреложная истина *для человека?* Следует ли рассматривать результаты, полученные европейскими учеными, как феномены мысли, нисколько не имеющие более права на утверждение, чем рассказы о привидениях и пророческих снах? Между тем, «если продолжится то течение вещей в мире, которое мы знаем» (К. А. 195), то число личностей, научно мыслящих, будет всегда подавлено массою верующих в привидения и пророческие сны. Хотя г. К. А. в третьем своем положении (195) и высказался так, что позволительно допустить, будто он отрицает единство науч-

ных «истин» для человека наравне с единством требований справедливости, но мы не решаемся приписать ему решимости ответить утвердительно на предшествующие вопросы, тем более, что в другом месте (175) он считает обязательным для каждого понимать научные термины одинаково. Впрочем, если бы г. К. А. в порыве полемики захотел приложить крайний скептицизм и к научным истинам, то автор, вероятно, спорить бы не стал и указал бы лишь положение, что единство нравственных идеалов может быть рассматриваемо, как положение *не менее* убедительное, чем единство научных истин. Кто хочет, тот может отвергнуть *то* и *другое* на том основании, что оба требуют специального развития от личностей и для большинства в прошедшем не существовали, как в настоящем не существуют. Автор имеет в виду убедить лишь тех читателей, для которых наука умственно развитого меньшинства есть *единственная обязательная* истина, что они едва ли имеют право отвергать идеалы нравственно развитого меньшинства, как нечто совершенно индивидуальное.

Все научные результаты достигнуты не разом, а путем выработки мысли и критики фактов. Надо подготовить ум упражнением, прежде чем он будет способен понять и усвоить научную истину; потому большинство людей до настоящего времени остается вне научного движения, и значительное число личностей, знакомых с результатами научной критики, повторяют эти результаты лишь на веру, как они повторили бы рассказ о чудесном событии. Для исследователей факт становится научным, когда он выдержал ряд методических поверок: отсутствие противоречий, согласие с наблюдением, допущение лишь таких гипотез, которые имеют реальные аналогии, устранение всяких ненужных и недоступных опыту гипотез, — таковы требования от всякого нового построения, которое имеет претензию войти в ряд научных истин. Эти требования не легко выполнимы, и потому история человеческих знаний представляет длинный ряд ошибок, из которых постепенно, кусками выработалась точная наука. Требование отсутствия противоречия было одною из могучих причин задержки знания, потому что приходилось сравнивать новое положение с тем, что *считалось* бесспорною истиною, и это сравнение могло быть плодотворно лишь тогда, когда самые точки сравнения установились критически; необходимо было, чтобы социальная наука выработалась из общей массы философских соображений; необходимо было, чтобы истины простейших наук стали подкладкою для наук сложнейших. Поэтому весьма немудрено, что самые сильные умы на основании отсутствия противоречия с *кажущимися*

истинами отвергали и отвергают до сих пор некоторые научные положения. Требование согласия с наблюдением было не менее трудною задачею; надо было *выучиться наблюдать,* а это не легко; величайшие умы древности и заметные ученые нового времени оставили нам многочисленные доказательства весьма грубых ошибок наблюдения, и до сих пор споры о точности наблюдения, сделанного в том или другом случае, не прекращаются. Мы не будем распространяться о трудности установления правомерных гипотез, когда столь же невозможно обойтись без них для движения науки вперед, как не легко указать предел, где научная гипотеза переходит в метафизическое соображение; примеры тому ежедневны в самых распространенных сочинениях и у самых уважаемых ученых.

Все эти трудности объясняют медленный ход научного понимания и должны бы убедить критически мыслящих исследователей, что вовсе нет причины считать невозможным приложение строго научного мышления и к областям, где теперь господствует столь же беспорядочный хаос мнений, какой в древности господствовал в основных частях естествознания. Античный мир выработал понимание логически дедуктивной, математической и геометрической истины; но и до сих пор есть люди, отыскивающие квадратуру круга. Семнадцатый век установил метод поверки истины в объективных феноменологических (абстрактных) науках; но до сих пор специалисты противополагают друг другу опыты о гетерогенезисе, приводящие к противоречивым результатам. Значение психологического наблюдения еще составляет предмет спора. Социология начала устанавливать некоторые свои положения еще очень недавно. Во всех этих областях различные мнения стоят еще друг против друга, упорно отрицая научную правомерность противников, и не могут условиться в том, какие наблюдения в них бесспорны, какие гипотезы допустимы, где существует и где отсутствует противоречие. Тем не менее во всех этих областях исследователи ищут научной, общей, бесспорной истины; везде большинство критиков допускает, что эта истина существует, что ее искать можно и должно.

Почему же для области нравственных идеалов допускать вечное разноречие? Почему ставить на один уровень человека, живущего инстинктами и мгновенными влечениями, с человеком, пытающимся анализировать нравственные явления и открыть их законы? Почему заключать из *нынешних* споров между мыслителями о нравственных вопросах, что тут до научных результатов никогда не дойдут? Судя по теории движения у Аристотеля — бесспорно вели-

кого ума — можно бы отвергнуть возможность существования динамики когда бы то ни было.

Г. К. А. приводит формулу прогресса автора «Истор. пис.», которую мы здесь повторим: «развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении, воплощение в общественных формах истины и справедливости». Г. К. А. полагает, что «она теряет почти всякое значение» вследствие того, что автор отказался развить ее и что под ее терминами всякий «разумеет или может разуметь свое, нечто особое от того, что разумеют другие». Оно точно, разумеют и могут разуметь разное, но следует ли давать одинаковое право всем этим разуменьям? Для огромного большинства слова: «законы преломления света» не представляют ровно никакого смысла, между тем г. К. А. говорит о них (175): «этот термин всякий обязан понимать только одним манером». Не думаю также, чтобы многочисленные выражения о *сердце* (сердце болит, сердце разрывается, под сердцем тяжело, к сердцу подкатило) имели одинаковое право на научное признание с тем значением, которое придано слову *сердце* анатомами. Если автор не развил этой формулы, то, вероятно, потому, что это сделано в другом месте, и развивать формулы этики в теории прогресса все равно, что доказывать химические истины в трактате о физиологии. Нам кажется, что для человека научно развитого и критически мыслящего слова: *развитие физическое и умственное* и *истина* имеют только *один* смысл. Можно спорить о том, следует ли допустить одновременно мышечное и нервное развитие человека, или одно происходит лишь на счет другого, и задача правильной педагогии — найти правильное отношение между развитием этих двух систем; вопрос этот, насколько нам известно, не решен; но выпадет ли решение так или иначе, все-таки физическое развитие для всякого научно мыслящего человека есть не иное что, как возможно полное, возможно всестороннее развитие всех органических систем человека. Вероятно, даже гг. Гончаров [358] и Аскоченский, о которых упомянул г. К. А., поняли бы слова: *физическое развитие* так же, но один сказал бы, что нервное развитие должно преобладать над мышечным, другой — наоборот. Если же эти господа или кто другой предпочел *одностороннее* развитие *полному,* то можно указать на некоторых химиков, которые и после открытия Лавуазье [359] защищали теорию флогистона. Точно так же слово *истина* имеет лишь смысл положения, добытого научным методом, и если есть еще значительное число лиц, причисляющих себя к цивилизованному меньшинству и допускающих разные истины сверхъестественные, не доступные науке, то

есть еще бо́льшее число лиц, принимающих за *истину* колдовство и разные знамения. Как только слово *истина* получило определенное значение, то слово *умственное развитие* не может быть предметом спора. Умственное развитие есть выработка ума для отличения истины методически добытой от более или менее вероятного предположения, для различения вероятностей разной степени и для открытия аналогий нового предположения с доказанными истинами, с вероятными гипотезами или с известными уже ошибками человеческой мысли. Это есть расширяющееся знание фактов и углубляющаяся критика познаваемого. Кто видит умственное развитие в удалении от критики, в поставлении выше критики некоторых положений недоказанных и не допускающих доказательства, тот отрицает истину в смысле, выше определенном, следовательно, выказывает свое незнание и более ничего.

Сомнение может существовать и действительно существует относительно слов: *нравственное развитие* и *справедливость,* но и здесь оно скорее относится к недоразумению, чем к существенной разнице, обусловливаемой «племенною и индивидуальною природою». Во-первых, существует разница между людьми, которые придают какой-либо смысл слову *нравственная обязанность,* и такими, которые вовсе не выработали этого понятия. Это совершенно такая же разница, как между людьми, знакомыми в какой-либо мере с научными методами, и такими, которые не имеют об них ни малейшего представления. Научные методы тем не менее существуют, составляют единственное средство достижения истины и не могут быть подвергнуты сомнению потому лишь, что есть личности, которым они не знакомы. Упражнение мысли в данном направлении есть единственное средство усвоить научные методы, как и сознание нравственной обязанности. Во-вторых, существует невообразимое разнообразие относительно того, что люди считают обязанностью в конкретном смысле, в каждом определенном случае. До этой казуистики этика вовсе не может касаться, по крайней мере в настоящем ее состоянии, но это настолько же не причина отвергать научные основания этики, насколько теория трансформизма не может быть отвергнута потому лишь, что приверженцы ее не могут еще определить точной генеалогии всех органических форм. Но под этою казуистикою есть основания, которые едва ли менее строго научны, чем научные основания любой иной науки.

Обязана ли развитая личность выработать себе убеждение, критически проверить его и жить согласно убеждению? Нам кажется, что отрицание которого-либо из трех терминов этого положения приводит к столь же явному

противоречию, как отрицание какой-либо теоремы Евклида [360], так как критика уже установлена выше, как единственный источник знания истины, убеждение же есть лишь формальное преобразование термина обязанность. Но утверждение этого положения обнимает всю *личную* этику и разом дает объективный критерий для нравственного осуждения нескольких разрядов учений: именно учений, отвергающих критику с ее требованиями; учений, допускающих равноправность всех влечений и мнений; учений, налагающих на личность обязанности, противные ее убеждению. Для человека, усвоившего смысл слова *обязанность* и вдумавшегося в предшествующее положение, смысл слов *нравственное развитие* может быть только один. Это — выработка в себе крепкого убеждения, строгой критики и практической решимости. Всякое отрицание опять приводит к противоречию.

Переходя к сфере социальной этики, мы имеем обязанность критического отношения к существующей культуре и переработки ее (в размере сил) согласно убеждению, а не приспособления к ней противу убеждения. Это есть не более, как приложение предыдущего к частному случаю, и дает лишь отрицательную обязанность. Несколько сложнее вывод положительной социальной обязанности — справедливости, потому что требует дополнительных гипотез.

Самая основа понятия так проста, что становится общечеловеческим побуждением, едва лишь пробуждается в человеке сознание нравственной обязанности. Нравственная обязанность, сознанная личностью относительно другого существа, обращается в признание соответственного достоинства этого существа и в требование поступать в отношении к нему согласно его достоинству. Это и есть основное требование *справедливости;* оно руководит дикого, когда он с трепетом приносит жертву духам, его окружающим, или с подобострастием подчиняется произволу бледнолицего пришельца, подавляющего его своим изворотливым умом и своими культурными средствами; оно руководит деспота Азии или Африки, когда он приносит тысячи *низших* личностей в жертву своей прихоти, или европейского капиталиста в его отношениях к презираемому им пролетарию; оно же руководит борца за политическое равноправие граждан, учителя бедных мальчиков в воскресной школе, проповедника эманципации женщин. Все они, если действуют по убеждению, считают себя обязанными относительно данных личностей действовать так или иначе, во имя признанного ими достоинства этих личностей. Все они понимают справедливость одинаково, именно в поступлении с другими сообразно их достоинству.

Но, по мере умственного развития, понятие о различии достоинств личностей меняется: различие достоинств, связанное с различием рас, племен, народов, политических положений, социальных ролей, богатства — теряет более и более значения в глазах развитого человека, и в наше время понятие об *общечеловеческом* достоинстве не есть уже бессодержательная формула. С тем вместе и различие в приложении понятия о справедливости становится менее и менее делом убеждения, а чаще аргументом эгоистического расчета. Общечеловеческое достоинство влечет за собой и понятие о справедливости в смысле равноправности всех людей на все средства физического, умственного и нравственного развития, в смысле единства и солидарности всего человечества в работе этого развития, в смысле обязанности, лежащей на каждой разумной личности, ограждать чужое достоинство наравне с собственным и содействовать в размере своих сил общественному развитию.

Этими положениями исчерпывается социальная этика, и дальнейшее их развитие есть уже вопрос социологии; но упомянутые положения могут быть отрицаемы лишь тем, кто не выработал вовсе понятия о нравственной обязанности, или тем, кто не признает никаких обязанностей относительно других личностей или не допускает для людей *общечеловеческого* достоинства. С первыми вовсе спорить нельзя; вторые впадают в противоречие, потому что едва ли слово *обязанность* сохранит какой-либо смысл, если не допустим обязанностей относительно других людей. Что касается до мыслителей, отвергающих *общечеловеческое* достоинство, то им можно сказать: это точно гипотеза и еще довольно недавняя. Но все выставленные до сих пор критерии для установления существенной разницы в достоинствах людей, следовательно, и в праве их на всестороннее развитие, оказались несостоятельными. Установите новый критерий, если можете. Но если бы он и оказался возможным (что несколько сомнительно), то он бы нисколько не поколебал строгой научности всей предыдущей теории справедливости, не прибавил бы и не убавил ничего в ясности ее смысла, именно в ее основной теореме: всякому по достоинству.

На основании предыдущего следует остаться при мнении, что все термины формулы, употребленной автором, имеют только один смысл, что этот смысл достаточно ясен для того, чтобы можно было прямо приступить к социологическому приложению формулы, и что эта формула *научная*.

Почему г. К. А. полагает (187), что не дело науки «характеризовать какие-либо факты нравственными или безнравственными», и в то же время допускает (188), что дол-

жно считать свои идеалы истинными? Потому ли что нравственность составляет субъективное понятие? Но свет и теплота не менее субъективны; ученый нашего времени признает в них лишь движение особого рода; это не мешает, однако же, существованию *особенных* наук света и теплоты. Факты субъективные могут быть изучены, систематизированы, приведены в причинную связь между собою, а это, по собственным словам г. К. А. (187), и составляет задачу науки, предмет научных выводов. Наконец, в области субъективных понятий возможно приложение всех элементов научной критики: отсутствия противоречий, согласия с наблюдением, осторожного допущения гипотез. Почему же результаты, добытые этим путем, не признать научными? Почему идеалы, построенные на основании фактов совершенно общих, доступных наблюдению, при допущении самого скромного гипотетического элемента, нельзя назвать идеалами *научными?* Наконец, как же это можно признавать что-либо *истинным,* если оно не *научно?* Разве в наше время дозволительно допускать какую-либо истину вне науки?

Г. К. А. возразил против употребления слова *научная* по поводу двух форм идеализации, о которых говорил автор. Но едва ли его возражения верны в этом случае. Что автор подразумевает под *научной* идеализацией общественных форм? «Открывая в основе данной общественной формы естественную потребность, естественное влечение, критика тем самым признает эти основы правомерными и требует построения общественных форм на основании... искреннего отношения к естественным потребностям и влечениям, лежащим в природе человека» («И. П.» 147—148). В этом критерии истинной и научной идеализации, как нам кажется, элемент субъективного мнения присутствует лишь настолько, насколько он совершенно неизбежен во всяком исследовании о психических явлениях. Я могу ошибаться в определении естественной потребности, лежащей в основе данной общественной формы, могу ошибаться в выводах, которые на мой взгляд необходимо вытекают из искреннего отношения к этой потребности. Более искусный исследователь откроет новые стороны в последней и потому построит более верную теорию соответствующей общественной формы. Но возможность ошибок и последовательные их устранения нисколько не подрывают научности общего приема. Едва ли можно допустить, чтобы в разложении общественных форм на потребности, в искреннем (т. е. прямом, чуждом посторонних соображений) отношении исследователя к этим потребностям и в требовании приспособить общественные формы к этим потребностям — заключалось сколько-нибудь личного произвола, сколько-ни-

будь догматического ослепления или творческой фантазии. Этот процесс может быть совершен строго методически, устраняя все источники личной ошибки, следовательно, он *научен* и результат его: теория общественных форм, как они *должны быть* на основании ясно понятых человеческих потребностей, есть *идеализация истинная и научная.*

В теории прогресса, предложенной в «Исторических письмах», по нашему мнению, можно считать доступными спору лишь следующие основные пункты. Можно отрицать вообще существование нравственного мира, чего-либо высшего или низшего, чего-либо нравственно обязательного для человека. В таком случае всякая теория прогресса будет несостоятельна. Мы уже говорили, что с писателями, становящимися на эту точку зрения, вовсе спорить нельзя, по недостатку общей основы. Можно еще отрицать обязательность критики вообще, допуская мистическое откровение, прямое созерцание вещей самих в себе, творческую фантазию и т. п., как равноправные и высшие процессы мысли наряду с методическою, научною критикою. В таком случае приходится отвергнуть всю науку, если под этим словом подразумевать нечто особенное, обладающее более точными методами и составляющее цель познания; приходится придать словам *истина* и *умственное развитие* значение совершенно неопределенное, и построение *теории* прогресса едва ли возможно, если не подразумевать под этим словом всякую *фантазию* о прогрессе. Спорить с приверженцами этого мнения можно, и доказать им несостоятельность их взгляда не трудно, но этот спор совершенно бесполезен, потому что, хотя все свои *средние* аргументы они и располагают по обычным методам, но *в основании* не пугаются ни противоречий, ни несогласия с наблюдением, ни рискованных гипотез, и *научная* несостоятельность их взгляда еще вовсе не подрывает его. Можно, наконец, отрицать, что справедливость означает равноправность людей на всестороннее развитие, утверждая, что люди разнятся не только индивидуально по возможности *пользоваться* равными средствами развития, которые были бы им предложены, но по самым *идеалам,* которые должны стать как цели развития той или другой формы, т. е. по нравственному достоинству. Это — точка зрения древних, полагавших, что идеалы гражданина и раба, цивилизованного и варвара существенно различны; это — точка зрения многих наших современников, которые видят столь же существенную разницу в идеалах цивилизованного мужчины и цивилизованной женщины, европейца и краснокожего, иные — в идеалах капиталиста и пролетария. В таком случае основная формула прогресса не изменяется, но все ее дальнейшее

развитие, конечно, становится совершенно иным, потому что задачи личного развития делаются крайне разнообразными, понятие о воплощении справедливости весьма сложным, а задачи, которые должны быть разрешены общественными формами, существенно изменяются. Спорить с приверженцами этих взглядов не только можно, но должно и весьма полезно; но следует помнить, что этот спор должен быть поставлен на ту почву, на которой стоит спор о политических правах граждан в передовых государствах. Можно допустить, что какие-либо умственные недостатки или некоторые преступные действия лишают гражданина временно или навсегда его политических прав, но основное предположение есть все-таки *обладание* этими правами, и перед судом следует доказать, что данная личность или данная группа личностей *потеряла* эти права. Точно так же основное предположение должно быть: равенство идеалов развития для всех человеческих существ; затем противники этого положения должны доказать, что для такой-то группы людей следует поставить идеал иной и вести ее путем иного развития, чем это допущено для высшей человеческой группы. Индивидуальные исключения ничего не решают, потому что частные обстоятельства всегда будут разнообразить возможность достижения цели развития различными личностями; цель останется все та же. Даже малолетний опыт в ряду поколений не вполне убедителен, потому что климатические особенности, расовые привычки, культурные предрассудки могут долго противодействовать успеху опыта и могут все-таки окончательно уступить. Невозможность одинаковых идеалов и, следовательно, одинаковых прав на одинаковое развитие для всех людей, по нашему мнению, доказана быть не может; но следует прибавить, что убедительное доказательство этой невозможности едва ли можно представить.

Если эти три спорные пункты уступлены, то возражения уже могут относиться не к самой теории прогресса, предложенной автором, но к частным выводам, сделанным им, особенно в приложениях к различным общественным формам. В анализе каждой общественной формы, по нашему мнению, он старался отыскать основную потребность, устранить посторонние привычки, внесенные историческими случайностями, и, допустив правомерность потребности, согласить ее развитие с требованиями всестороннего личного развития и справедливости. Таким образом делается указание *пути,* по которому *возможен* прогресс в той или другой форме, пути, по которому следует итти для ее рационального преобразования, для ее соглашения с нравственными требованиями. Здесь для одной из общественных

форм, именно для государства, автор встретил особенность, которая показалась его критику «явным противоречием» («Зн». № 3, 189). Подвергая анализу государственную функцию в системе общественной жизни, согласно нравственным требованиям, он был приведен к результату, что эта функция, в *прогрессивном* своем развитии (т. е. не согласном с требованиями общественного прогресса), должна дойти до минимума, при котором личность наименее подчинена каким-либо внешним обязательствам, лежащим вне ее убеждений, всякий союз личностей есть преимущественно свободный договор, а центральная власть есть лишь орган общенаучных выводов. Г. К. А., повидимому, находит это построение фантазией и видит в нем лишь некоторое *верование* со стороны автора. Но автор выводил процесс развития государственной функции в зависимости от нравственных требований и говорил: вот какие результаты общественный прогресс должен произвести в форме государственного союза, чтобы заслуживать название прогресса. Пока государственный союз есть могущественная функция в борьбе за прогресс и за регресс, критически мыслящая личность должна употреблять ее, как орудие для охранения слабых, для расширения истины и справедливости, для доставления личностям средства развиться физически, умственно и нравственно, для доставления большинству минимума удобств, необходимого для вступления на путь прогресса, для доставления мыслителю средств высказать свою мысль, а обществу возможности оценить ее, для сообщения общественным формам той гибкости, которая мешала бы им окоченеть и делала бы их доступными изменениям с расширением понимания истины и справедливости. Это справедливо не только для государства *так, как оно есть* в данную эпоху, но и для всех общественных форм, встречаемых личностью в культурной среде. Все эти формы, *как они есть,* должны служить критически мыслящей личности орудием для достижения необходимых условий прогресса и для содействия самому прогрессу в тех размерах, как это возможно. Но, рядом с прогрессивною деятельностью *при пособии* данных культурных форм, должна итти работа *над* этими самыми культурными формами в определенном направлении. Для каждой из них это направление должно определяться сущностью потребности, из которой выросла общественная форма, и для государственной связи это направление, насколько можно считать верными свои выводы, должно итти к ее постепенному уменьшению. Эта мысль об уменьшении государственного элемента в обществе при его прогрессе есть вовсе не новая мысль. Уменьшение же этого элемента, конечно, зависит от умень-

шения необходимости защищать слабого, охранять свободу мысли и т. п. *государственными* силами. Пока существуют «монополизаторы капиталов», огражденные законами, а большинство не имеет даже элементарных средств для развития, до тех пор государство есть необходимое орудие в борьбе за прогресс и за регресс; критически мыслящие личности должны смотреть на него лишь, как на орудие в этой борьбе, употреблять все усилия, чтобы овладеть необходимым орудием и направить его на выработку прогресса, на подавление регрессивных партий; но, употребляя это орудие, борцы за прогресс должны помнить, что оно имеет свои особенности, которые принуждают прогрессивного деятеля обращаться с ним крайне осторожно. В борьбе совершенно естественно заботиться об усилении орудия, которым действуешь, но усиление государственной власти, по самой сущности ее, может быть вредно для общественного прогресса, едва лишь это усиление идет несколько далее крайней необходимости в данном частном случае. Оно соответствует всегда увеличению обязательного, насильственного элемента общественной жизни, всегда подавляет нравственное развитие личности и свободу критики. Это и составляет главное затруднение в прогрессивной деятельности государственными средствами. Это вызвало неудачу и вред знаменитых реформаторов, которые декретировали прогресс в неподготовленном обществе. Меру употребления государственных сил в борьбе за прогресс определить трудно, но, кажется, всего вернее допустить, что эти силы могут с пользой быть употреблены лишь отрицательно, т. е. для подавления препятствий, противопоставляемых свободному развитию общества существующими культурными формами. Впрочем, это вопрос крайне спорный. Заметим еще, что и в том случае, когда центральная власть сделалась бы лишь органом общенаучных выводов, ее дело вовсе не заключалось бы в препираниях об этих выводах, как иронически заметил г. К. А. (192). Если теперь уже результаты гигиены находят себе место в законодательствах, то едва ли слишком смело допустить в будущем, при научной обработке социологии во всех ее частях, существование кодексов, исключительно заключающих систематический свод законов социологии, обнимающих все стороны общественной жизни.

Но возможен ли прогресс в указываемом направлении? Критик недоволен, что не находит «никакого указания на вероятность того, что прогресс должен быть таков, в силу каких-либо общих законов природы» (193). Он прямо говорит (193): «мы считаем его (т. е. автора «Исторических писем») понимание прогресса ошибочным, иначе говоря, мы

считаем вероятность течения истории, как бы ни напрягались критически мыслящие личности в направлении его идеалов, недоказанною и необъясненною». Отсюда можно видеть, что требования г. К. А., по нашему мнению, чрезмерны. Предсказывать в истории до сих пор решительно невозможно. При гораздо меньшей сложности и при отсутствии элемента развивающихся личных убеждений, метеорология не может с какою-либо вероятностью предсказать фазисы погоды для Европы в ноябре 1872 г., и даже попытки предсказания общих метеорологических изменений для материков под влиянием их заселения, изменения количества растительности и т. п. принадлежат большею частью области фантазии. А критик хочет, чтобы автор «доказал вероятность» определенного хода прогресса в истории, где распределение личных убеждений между личностями, самый важный элемент, не доступен до сих пор статистике и тем менее может быть предсказан в будущем. Может быть, когда-либо, в весьма далеком будущем, наука сделает такие успехи, что позволительно будет предсказать изменения в распределении звездных групп за миллиарды веков или формы системы организмов, которые будут наблюдать через сотни тысяч лет; тогда, или немногим ранее, можно будет, пожалуй, предсказать с достаточною вероятностью и реальное течение истории, следовательно, проверить теорию прогресса с условиями возможности ее осуществления. Теперь подобная задача — фантазия. Говоря о прогрессе, никому не следует думать, что он решает вопрос: как *действительно* совершается течение событий? Каков *естественный* закон истории? Теория прогресса есть приложение естественных законов нравственного развития к задачам социологии, как они представляются в их историческом развитии. Теория прогресса дает нравственную оценку совершившимся событиям истории и указывает нравственную цель, к которой должна итти критически мыслящая личность, если хочет она быть прогрессивным деятелем. Нравственное развитие личности возможно лишь *одним* путем. Нравственная, прогрессивная деятельность личности возможна лишь в *определенном* направлении. Будет или не будет осуществлен прогресс в его окончательных задачах, это неизвестно, как неизвестно было Боклю, кончит ли он свою историю, и Конту, кончит ли он свой курс позитивной философии. Один умер в начале труда, другой не только кончил свою работу, но дожил до фазиса позитивной религии. Это — возможности, случайности, не имеющие ни малейшего значения для мыслителя, который принимается за свой труд. Он приступает к нему, как бы этот труд должен был быть окончен и как бы автор от него никогда не должен был

отречься. Точно таково же отношение критических личностей к теории прогресса. Личность развилась нравственно; она приложила свои нравственные требования к существующим культурным формам, к распределению благ в человечестве; она сказала себе: эти требования осуществимы лишь *этим* путем; вот идеи, которые можно проповедывать сегодня; вот враги, с которыми надо бороться сегодня; вот борьба, которую надо подготовить на завтра; вот окончательная цель, которая не будет достигнута ни сегодня ни завтра, но все-таки есть и должна быть целью. Как только путь назначен, личность должна итти по нему. Автор пытался указать некоторые пункты этого пути, вот и все. «Всеобщего принципа», которого как будто требует г. К. А. (191), он не только не ставил, но должен был находить противным своей задаче и вредным ставить подобный принцип. Существует ли закон природы или нет, ведущий к нравственному прогрессу, это не касается личности, которая в настоящую минуту все равно знать этого не может. Все, что совершается независимо от ее воли, для нее есть лишь орудие, среда, предмет объективного знания, но не должно влиять на ее нравственные стремления. Ей нечего надеяться, что олимпийцы помогают ее стремлениям, или бояться, что они завистливо смотрят на ее самостоятельную деятельность; ей нечего оглядываться в сторону сознательных олимпийцев провиденциализма или бессознательных олимпийцев фатализма, когда дело идет о воплощении убеждения. Вырабатывай убеждение и воплощай его, вот все, что нужно знать. Прогресс не есть движение необходимое и непрерывное, как выводит г. К. А. из понятия о субъективности прогресса (194). Необходима только оценка исторического движения с точки зрения прогресса, как конечной цели. С этой точки зрения история реальная представляет фазисы прогрессивные и регрессивные. Личность критически мыслящая должна ясно сознавать это и направлять свою деятельность именно так, чтобы содействовать прогрессивному фазису, сократить регрессивный, и в глубине своего убеждения должна искать средств для этого.

Но как действовать критически мыслящим личностям, на плечи которых возложено все дело, по выражению г. К. А.? (191). Везде «трудности необоримые». Мы уже сказали выше, что при данной культуре деятельность личности двоякая: употреблять наличные культурные формы, как орудие, и перерабатывать самые культурные формы. По разнообразию местных задач и местных средств к борьбе за прогресс, невозможно дать общих правил для этой борьбы. Это дело публицистики в каждом частном случае, но разумна лишь та публицистика, которая опирается на ясно

понятую теорию прогресса. Одно можно сказать: действовать врассыпную вредно (193). Всюду следует критически мыслящим личностям сплотиться, составить программу действий, воспользоваться теми культурными средствами, которые существуют, овладеть орудиями, которые налицо, и итти своим путем. Но если «приняться за все дела разом», говорит г. К. А., то личности окажутся малочисленны (193). Во-первых, это не *разные* дела, а *одно* дело; успех на каждой точке есть пособие успеху на других; задачи же сегодняшнего дня не выдумываются, не сочиняются, а даются обстоятельствами. Сегодня обстоятельства позволяют подвинуть вопрос о стачках; завтра история ставит на очередь вопрос об отношении общинной самостоятельности к государственному единству; в Америке и в Англии вопрос о политических правах женщин имеет шансы за себя; в России налицо вопрос об изменении податной системы. Тут можно успешно бороться против теории поеданья одной национальности другою; там своевременнее установить словом и делом безусловные права критики; один, в среде своих сограждан, на прочной почве легальности, знакомых ему обычаев и наглядных для него местных событий, может практически расширить область справедливости, содействовать развитию определенных личностей и расширению необходимых условий общественного развития; другой должен, вследствие своего исключительного положения, отказаться от всякой практической деятельности, может лишь вообще угадывать течение дел, ему наиболее близких, и ему приходится ограничиться лишь теоретическими трудами. Все это — *одно* дело, и каждый должен делать, что может. Если вы безусловно одни или разделены, то делать нечего, действуйте врассыпную, как умеете. Если вы малочисленны, прибавьте к тому, что можете сделать вместе, еще пропаганду мысли. Сближайтесь, сплотитесь, делайтесь [361] силою и в то же время увеличивайте свои знания, уясняйте и укрепляйте свои убеждения. Не верьте, что «невозможно подыскать такие основания истины и справедливости, которые могли бы стать общими для всех людей» (195). Ищите их. Практические задачи представятся сами собою. А затем вы, может быть, согласитесь и с тем, что направление реального течения истории в смысле прогресса столь же вероятно, как и невероятно (196), т. е. что мы в настоящую минуту не имеем никаких данных для определения этого течения. Впрочем, для всех реальных вопросов это определение и не имеет значения; оно интересно в наше время лишь для метафизика, который хочет угадать аналогию самых сложных естественных процессов с нравственными идеалами человека. Для гегельянца

безусловный дух обусловливает формы феноменологии духа и фазисы истории; для провиденциалиста то и другое есть произвольный и целесообразный результат единого, управляющего всем промысла; конечно, из этих точек зрения очень важно знать, насколько совпадает история, как она *естественно* совершается, с историей, как мы ее *хотим*. Для реалиста нашего времени это вопросы двух вполне различных областей, и первый совершенно недоступен. «Все условия прогресса не осуществлены ни для одного человека, и ни одно не осуществлено для большинства». Эти слова автора приводит несколько раз г. К. А., направляя их против него. «Следует ли, полно, называть это прогрессом?» — спрашивает он (194). Но был ли он мал или велик, прогресс мог быть только *один*. Его элементы зависят не от совершившихся событий, но от законов нравственного развития человека. Нравственно развитой человек, по законам человеческой природы, необходимо признает прогресс лишь во всестороннем развитии, в истине и справедливости; если нет, то его критика недостаточна, или он отрицает самое понятие о нравственной обязанности и об обязанности критики. Чем меньше сделано, тем больше остается сделать.

Личности, для которых не осуществлено ни одно из условий прогресса, конечно, не могли быть и не были его деятелями. Ни один из волонтеров Гарибальди не мог принадлежать к этим печальным жертвам исторического процесса уже потому, что, идя за Гарибальди, они *критически* относились к одному, а чаще и к двум из элементов культурной среды, в которой жили. Значит, начало *умственного* развития присутствовало. Это развитие не было *прочно,* потому что другие условия, уже выше указанные, вообще не имели места; но оно было. Это уже предполагает существование минимума, необходимого для *физического* развития, потому что существа, вечно голодные и страдающие от недостатка необходимого, не могут доработаться до какого-либо умственного развития. Но в рассматриваемом случае имело место и *нравственное* развитие, так как личность шла за своим убеждением на довольно значительную опасность. Следовательно, если условия *общественного* прогресса не осуществлены вполне нигде (т. е. условия, необходимые для беспрепятственного и необходимого прогресса в данном обществе), то условия для прогрессивной деятельности личности были налицо: критическое отношение к современной культуре, крепкое убеждение и решимость воплотить его, не обращая внимания на опасности. Вообще эти последние условия не так редко выполнимы, как оно бы казалось, если взять в соображение полное отсутствие осуществления условий для *общественного* про-

гресса. Умственное развитие личности, если оно и *непрочно,* то не мешает личности часто доходить до критики существующего, иногда же сознавать и совпадение справедливости с личной пользой. Нравственное развитие, как оно ни мало *вероятно* при существующем строе общества, но высказывается в самых отсталых средах. При самых трудных обстоятельствах мыслители высказывали свои теории истины и справедливости и встречали около себя сочувствие и понимание. Формы общественной жизни, упорно противившиеся прогрессу, распадались не раз под взрывами революций, если они не поддавались под напором развития мысли. При самых враждебных условиях прогресс оказывался возможным, и потому признание его решительно невозможным когда бы то ни было нельзя считать научным.

И конечная цель этого прогресса вовсе не ограничивается условиями, которые необходимы для общественного прогресса. Г. К. А. несколько ошибается, если думает, «что за осуществлением этих условий дальнейший прогресс человечества представляется автору «Историч. писем» туманным и неясным». Минимум гигиенических и материальных удобств, это—необходимое *условие;* обеспеченный труд, при общедоступности удобств и даже роскоши жизни («И. П.» 159), это — конечная *цель,* которую теперь уже можно поставить. Потребность критического взгляда, уверенность в неизменности законов природы, отожествление справедливости с личной пользой, это — *условия;* систематическая наука и справедливый общественный строй, это — конечная *цель.* Общественная среда, благоприятная для самостоятельного убеждения и понимание нравственного значения убеждения, это — *условие;* развитие разумных, ясных, крепких убеждений и воплощение их в дело, это — *цель.* Свобода мысли и слова, *минимум* общего образования, общественные формы, *доступные* прогрессу, это—*условия; максимум* развития для каждой личности, общественные формы, как *результат* прогресса, доступного каждой из них, это — *цель.* Мы полагаем, что г. К. А. сам легко увидел бы эту разницу из разбираемой им книги, если бы потрудился обратить более внимания на этот вопрос.

Многое можно было бы сказать еще, но мы опасаемся, что эта статья и без того слишком разрослась. Ограничимся небольшою заметкою по частному вопросу, который, по-видимому, навлек на себя неудовольствие обоих критиков. Г. Шелгунов говорит, что автор «вешает над головою людей Дамоклов [362] меч постоянной ответственности, если они не прогрессируют» (25). Он прибавляет: «Все эти нескончаемые *требования,* право, в состоянии убить всякую энергию, привести только к колеблющейся рефлексии и к

постоянному страху, что человек действует не так, как от него *требуют,* и что за это придется отвечать. Кажется, страхов и так много на свете, зачем к старым прибавлять еще новые, зачем прогрессивное поведение возводить в требование юридическое и рядом с ним ставить уголовный кодекс за неисполнение». Г. К. А. «кажется странным требовать какой-то уплаты даже прошедшему человечеству» (183); впрочем, он сейчас вслед за тем говорит: «мы думаем, что *всякий обязан,* под страхом впасть в противоречие с самим собою, осуществлять свою теорию прогресса». Мы позволим себе прибавить к последним словам: и обязан относиться к ней критически по мере своих сил, т. е. пополнять ее фактическим сознанием и придавать ей связную последовательность. Больше автор ничего и не требует, но некритическую и не подвергаемую критике теорию нельзя ставить в уровень с другими. Впрочем, осуществление своей теории каждым требуется не только отсутствием противоречий, потому что теория может быть весьма цельная, но *благоразумная опасливость* может побудить личность оставить эту теорию в виде теории. Между знанием и знанием решает начало противоречия; между знанием и действием оно ничего решить не может, потому что представления: *это справедливо* и *я сделаю это* между собою несоизмеримы. Убеждение *нравственное,* налагающее обязательство и требующее поступка, совсем не то же, что убеждение *умственное,* требующее лишь согласия. Убеждение умственное должно обратиться в убеждение нравственное, и прежде стремления осуществить свою теорию прогресса личность должна воспитать в себе решимость действовать по убеждению, сознание нравственной обязанности. На личности лежит долг не прошедшему человечеству, но своему личному достоинству. Может быть, г. Шелгунов и прав, что автор слишком резкими красками очертил эту ответственность, лежащую на личности, и требования, которые она сама себе ставит как критически мыслящая личность. Но *этого* рода страхи и *этого* рода рефлексии нам кажутся не очень еще опасными. Что-то мало приходится видеть людей, которые портили бы себе и другим жизнь, налагая на себя обязательства, первое условие для которых безусловная критика и борьба с идеалами. Нам кажется, что вовсе не худо умственно развитым людям иногда подумать о том, чего стоило их развитие человечеству, и еще менее худо, чтобы эта мысль перешла в нравственное требование от себя уплаты хоть некоторой доли этой цены. Впрочем, может быть, мы здесь и ошибаемся...

[КОРРЕСПОНДЕНЦИИ О КОММУНЕ 1871 г.]

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ПАРИЖА [363].

Париж, 21-го марта.

Итак, вот еще одна революция, и совершенно не похожая на другие. И кто же во главе всего этого? — спрашивает себя каждый. Не Бланки [364] ли? не Пиа [365] или Флуранс? [366] Совсем нет. Ни одного сколько-нибудь известного имени. Ни один из известных публике артистов не принимал участия в этой пьесе. Роль *главного революционера* не была занята. Все крупные газеты растерялись. Они были уверены, что никакая революция не могла произойти в Париже без того, чтобы они были об этом осведомлены, и без участия их друзей. Неизвестные люди! Лавочники таращили глаза при виде подписей этого ужасного Центрального комитета национальной гвардии, который в данное время управляет Парижем. И все совершенно неизвестные люди! Швейцары делают презрительные мины, говоря своим жильцам: «Посмотрите, мадам, что это за правительство! Это смешно. Все простые люди! Бродяги! Рабочие! Да, мадам, простые рабочие!»

И без всякого сомнения, это простые рабочие. В этом и заключается вся оригинальность движения последних дней. Это то, что их характеризует. Это то, что придает им интерес в глазах каждого социалиста, каждого члена Международного товарищества рабочих, также и каждого искреннего мыслителя, который изучает в видимых событиях истории — невидимые силы, действующие в обществе. В огромном перевороте, совершившемся во Франции за последние месяцы, ни реакционная буржуазия ни революционная не выдвинули ни одного нового человека: вся их прежняя слава не оправдала себя в этих событиях. Никто не сумел ничего защитить, никто не сумел организовать: власть осталась в руках совершенно неспособных, потому что никто не посмел захотеть ее сменить, потому что ни Гамбетта [367], ни Гюго [368], ни Ледрю-Роллен [369], ни Луи Блан [370] не осмелились взять на себя ответственность ор-

ганизации правительства, потому что Флуранс, Бланки и Делеклюз [371] не сумели его организовать. Итак, то, чего не смели и не сумели сделать самые известные люди во Франции, сделали очень легко несколько честных, умных и решительных людей, совершенно мало известных читателям газет.

Для читателей «Интернационала» это, конечно, не сплошь незнакомые люди. Имена Варлена [372] и Асси [373], которые находились среди подписавшихся под прокламациями, доказали им, что это не сброд разбойников, не выходка империалистов, бонапартистов или же пруссаков, как хотели это объяснить буржуазные газеты, как, например, «Temps». Была бы у этих газет менее короткая память, они бы вспомнили, что Варлен не только известен по конгрессам и по процессам Интернационала, но, кроме того, получил 58 тысяч голосов на последних выборах [374]. Но иногда бывает очень удобно кое о чем забыть. Это так удобно задевать самолюбие Парижа, напоминая ему беспрестанно, что совершенно неизвестные люди находятся в данное время во главе рабочего правительства.

Эти рабочие сумели организовать большинство национальной гвардии Парижа в одно могучее целое. Каждый день вплоть до 18-го марта прибавлялись новые батальоны к этой все возрастающей, но спокойной силе. Когда какой-нибудь округ Парижа был совершенно организован, национальная гвардия брала на себя в нем полицейскую власть и выгоняла чиновников префектуры. Если я не ошибаюсь, то 13-го марта было только шесть организованных округов, а 17-го марта их было уже двенадцать, если не больше. Если бы правительство Тьера [375] не начало нападения через несколько дней, без всякого конфликта, весь Париж представлял бы из себя чисто народную и республиканскую организацию, правительство, опирающееся на всю вооруженную силу народа, пред которой должна была бы склониться всякая другая власть. Простые, никому не известные рабочие сумели в несколько дней организовать силу, поддерживающую право [376].

Правительство Тьера не захотело ждать, и как только у него оказались под рукой линейные войска, оно поторопилось направить их против Монмартра [377], нисколько не интересуясь силой противника, духом войска, которое оно вело против его собственных братьев, и возможностями успеха, и даже не позаботилось о том, чтобы обеспечить всем тех людей, из которых оно хотело сделать убийц. А они даже не имели необходимого; они были в большинстве своем накормлены как раз теми, против кого их хотели заставить сражаться.

Тьер доказал в эти последние дни, что можно быть одновременно и очень ловким и очень глупым, что можно иметь выдающийся талант, чтобы вести на свой лад реакционное Собрание [378] и вместе с тем иметь полное отсутствие элементарной сметливости в сношениях с населением Парижа.

Речь Тьера на Собрании в Бордо была образцом тонкости и ловкости. Деятельность Тьера в Париже была серией самых очевидных ошибок. Он сделал все возможное, чтобы заставить правителей Бордо голосовать не так, как они хотели, а так, как он хотел, и ему это удалось. Он все сделал для того, чтобы возбудить против правительства всю массу населения Парижа, и это ему также удалось сделать. Назначение Винуа, Д'Ореля де-Паладина и Валантена[379], осадное положение, запрещение шести газет, — это все были уколы булавок, которые постепенно выводили из себя Париж и заставляли даже безразличных и нерешительных примкнуть к организовавшейся грозной оппозиции. Моральное влияние правительства в Париже было уже ничтожным. Захотели употребить силу лишь тогда, когда уже не время было ее употреблять, когда уже не было силы. О, это совсем разные вещи — иметь дело с воющим реакционным собранием или же с рабочим населением.

Я вам не буду рассказывать о всех перипетиях последних дней, вы все узнаете из газет и телеграмм. В то время, что я вам пишу, депутаты Парижа и мэры его округов уже присоединились к Центральному комитету, который сейчас принял название Федерации национальной гвардии. Лишь бы только эти очень известные господа, эти адвокаты, журналисты, мэры, принадлежащие ко всем партиям, не испортили того, что уже сделано. Завтра [380] должны произойти выборы в Муниципальный совет, и ужасное, удивительное правительство «неизвестных» сойдет, как оно само говорит, со ступеней Городской думы, чтобы войти в ряды народа. Оно исполнит лучше и честнее свою задачу, чем какое-либо другое правительство Парижа нашего века.

И что же будет потом? Получит ли это рабочее правительство «единственную награду», о которой оно мечтает, т. е. «видеть установление настоящей республики», или же рутина одержит верх и передаст власть в эгоистичные и неспособные руки прежних партий и прежних «слишком известных» людей?

Могу ли я что-либо знать? Я не смею и не хочу предсказывать. Все мои пожелания и пожелания ваших читателей, я уверен, сводятся к тому, чтобы победила эта республика, вышедшая действительно из народа, основанная

рабочими, которые желают только справедливости и братства, преследуют только врагов народа, лицемеров, одевших маску республиканцев, перебежчиков из всех партий.

Так как не могу просить у вас слишком много места, то откладываю до следующего письма все сведения, которые я собрал относительно общества по снабжению и потреблению Парижа и данные по состоянию рабочих ассоциаций в Венгрии, которые я нашел в частном письме. Если моя сегодняшняя корреспонденция говорит только о политических событиях, то это потому, что мне кажется, что движение 18-го марта имеет громадное значение для рабочего вопроса.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ПАРИЖА

Париж, 28-го марта.

Гражданин редактор!

Момент кризиса для внутренних дел Парижа прошел. Выборы в Муниципальный совет проходили вчера [381] во всех районах. Число воздержавшихся было гораздо меньше, чем можно было ожидать, принимая во внимание, что несколько дней тому назад на улицах Парижа была гражданская война [382], многие районы не хотели признавать центрального правительства Городской думы [383] и грозный союз самых распространенных газет призывал своих читателей к непослушанию власти, которую называл властью убийц, воров, агентов бонапартийцев, пруссаков и т. д. [384]

Твердость Центрального комитета, его спокойствие и ум одержали верх над всеми трудностями. Эта коллективная власть, составленная из неизвестных, из рабочих, лучше поняла всю трудность в связи с событиями, чем всякая другая власть, одобрявшаяся Парижем и Францией в течение нашего века. Он сумел быть твердым, не злоупотребляя своей силой и диктатурой; он сумел пойти на соглашение, не отказываясь ни от одного своего принципа, не делая ни одной уступки окружавшим его врагам, весьма опытным в коварстве и переполненным ненавистью.

Воззвания были в большинстве случаев образцом такта, твердой уверенности и спокойной решительности. Несмотря на всем известные социалистические симпатии большинства его членов [385], правительство не подняло ни одного неуместного вопроса, не выпустило ни одного невыполнимого декрета. Оно умолчало о своих симпатиях. Оно обошлось без фраз, без неисполнимых обещаний, зато совершило ряд дел.

Оно знало, что его сила в коллективизме, и во всех случаях, касавшихся специальных дел, анонимный делегат

подписывался от имени Комитета. Оно знало, что в тех случаях, когда пролетарий-рабочий у власти, богатый никогда его не преминет обвинить в воровстве и в грабеже, в злоупотреблениях и в беспорядке. Члены Комитета, работая целый день, устраняя всякие трудности, организуя иногда заново дезорганизованные ведомства, довольствовались своим жалованием национальных гвардейцев; они сумели сохранить порядок в городе с двухмиллионным населением без специальной полиции; они сумели напугать злоумышленников и предупредить увлечения. Если и был беспорядок на улицах Парижа, если лавки иногда внезапно закрывались, если происходили более или менее кровавые столкновения, то единственной причиной этих происшествий была так называемая партия «порядка» [386]. Если в данный момент, когда я вам пишу, торговля и промышленность переживают страх, дела не идут, иностранцы и трусливые люди покидают Париж и какое-то чувство общественного недомогания продолжает тяготеть над столицей, то виной всему этому является не поддающаяся квалификации позиция Версальского собрания; оно не сумело ничего предупредить, ничему помешать и не может охотно примириться с совершившимися фактами, законность которых очевидна и легализация которых дала бы внутренний мир Франции.

Надо отдать справедливость этому Собранию, которое не имело себе подобного, я думаю, по отсутствию политического такта. Оно сделало все, что нужно было, для того, чтобы облегчить Центральному комитету победу в Париже, чтобы создать самое тяжелое и даже невыносимое положение своих собственных единомышленников, чтобы ослабить своих союзников и деморализовать своих друзей. Если была власть, которую можно было бы противопоставить Центральному комитету национальной гвардии, если были люди, которых нужно было поддержать, если хотели сохранить хотя бы частичное влияние над населением столицы, то это были депутаты Парижа, мэры его округов [387]. Были среди них и такие, которые носили громкие или по крайней мере известные имена; некоторые из них сумели заслужить уважение довольно большого круга лиц; привычка видеть их во главе уже придавала им авторитет в глазах многих людей в таком рутинном городе, как Париж. Потом у всех у них самолюбие было задето тем, что совершенно новые люди стали у власти. Они были почти все «за порядок», за признание суверенных прав Национального собрания. Естественная оппозиция этой группы была очень серьезным затруднением для Центрального комитета. Несомненно, Комитет, который имел силу и сознание своего права, мог бы разбить эту оппозицию, но только

после борьбы, которая могла вызвать неожиданные события. Борьба с применением репрессий могла бы вызвать обвинение населения столицы и потерю популярности и морального влияния. Если Версальское собрание было непримиримо враждебно Парижу, если оно предпочитало гражданскую войну уступкам, сделанным народному движению, если в конце концов оно хотело бороться, то самый простой здравый смысл ему подсказывал, что нужно всеми силами поддерживать депутатов и мэров Парижа, привлечь их к себе, снизойти к их* предложению увеличить их авторитет среди их сограждан, выказывая им уважение правительства всей Франции, льстить их самолюбию, давая им достаточно влиятельное положение, чтобы они могли подтвердить свое влияние в Париже, вопреки всем опасностям борьбы. Так вот этого простого здравого смысла, который должен был бы продиктовать ему такое поведение, у Версальского собрания не было. Оно оттолкнуло все попытки примирения, которые исходили от этой группы; оно задело самолюбие мэров Парижа, оно насмехалось над предложениями столицы; оно даже не захотело обсудить закон о выборах в Коммуну, хотя и признало его спешность; оно вызвало гражданскую войну в Париже, не облегчая ничем борьбу своих единомышленников. Оно показало себя невероятно неспособным, подтверждая самым явным образом свою глубокую ненависть ко всем серьезным республиканским учреждениям. Оно вызвало отвращение и презрение.

Таким образом, оппозиция против Центрального комитета в Париже, опиравшаяся на клаку суверенности Версальского собрания, теряла почву шаг за шагом, дезорганизовывалась со дня на день и в конце концов подчинилась всему тому, что хотело правительство «неизвестных». Депутаты присоединились, мэры присоединились, батальоны «порядка» побратались, многие газеты из коалиции кончили тем, что стали проповедывать о принятии участия в выборах, и в этой неурядице партии, побежденной без борьбы, выборы пали совершенно естественно на единомышленников Центрального комитета, на людей из партии-победительницы. Их противники будут представлены меньшим количеством в Муниципиальном совете, чем они могли бы быть благодаря их численности, если бы Национальное собрание пошло на соглашение с самого начала конфликта.

Центральный комитет, отрекаясь от своей диктаторской власти в пользу правильно избранной Коммуны, может себе сказать по совести, что он строго исполнил свою обязанность, что он честно выполнил свои очень трудные полномочия и что его победа есть победа ума и нравственности, победа общественной справедливости. Для ваших читателей

это — победа пролетариев, честных и спокойных в своей силе, над всеми деморализованными силами буржуазного общества. Большие имена померкли, крупные ораторы отошли в сторону или сумели заняться одной болтовней; буржуазные вожди ничего не могли сделать, ничего не знали, не добились ничего; пресса, эта «четвертая держава», этот гигант, который некогда потрясал империи, показала себя во всем своем моральном и политическом ничтожестве. Социалист-мыслитель, изучая события этого небольшого количества дней, может подтвердить с еще большей уверенностью, что это буржуазное общество, которое эксплоатирует и деморализует пролетариат, не имеет никакого основания для существования. Оно не имеет за собой ни морального права, ни силы численности, ни даже умения действовать, привычки к общественной деятельности, влияния широких и хорошо направленных понятий, — оно имеет за собой только рутину [388].

Нет сомнения, положение еще очень тяжелое: конфликт между успокоенным Парижем и Национальным собранием все еще продолжается; положение дел в больших провинциальных городах неизвестно или неопределенно; правительство Версаля все еще враждебно, и будущее темно. Теперь Париж имеет право на искреннюю симпатию всех истинных друзей прогресса, в особенности социалистов всех стран. Но бездеятельные симпатии имеют ли какое-нибудь значение в течении событий? И можно ли ожидать откуда-нибудь активного содействия? Об этом я не могу ничего сказать. События разрешат этот вопрос.

Я прибавляю несколько сведений насчет положения рабочего вопроса в Венгрии, которые я взял из частной корреспонденции от февраля месяца и о которой я вам уже говорил в своем последнем письме [389].

Пишут, что легче вести социалистическую пропаганду в Пеште, чем в Вене. Имеются уже 14 рабочих обществ и ожидают организации еще нескольких новых, имеется секция пропаганды и центральный комитет для Венгрии. Орган Интернационала в Венгрии должен был перестать выходить во время войны из-за недостатка средств, но он снова выходит с февраля 1871 года в новом виде и под заглавием «Братство».

ПРИМЕЧАНИЯ
И
БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Впервые автобиография П. Л. напечатана Я. Н. Колубовским в «Вестнике Европы» за 1910 г., № 10 и 11 под заглавием «П. Л. Лавров о себе самом». По словам Я. Н. Колубовского, «это — очерк жизни, деятельности и учения Лаврова, составленный в 1885 году по случаю устроенного в его честь литературного празднества. Очерк написан, вероятно, под его диктовку кем-либо из его почитателей, так как впервые дает такие подробности, которые могли быть получены только от самого Лаврова. В некоторых местах изложение с третьего лица сбивается на первое и таким образом невольно выдает секрет своего происхождения. В самой манере изложения, в некоторой тягучести слога также нетрудно узнать Лаврова. При таких обстоятельствах за этою рукописью необходимо признать документальное значение; если же принять во внимание, что для русских изданий Лаврову приходилось многого касаться лишь намеками или под прикрытием эзоповского языка, то важность этой рукописи, воспроизводимой ниже с буквальной точностью и даже с явными погрешностями в заглавии статей, должна быть вне всякого сомнения» («Вестник Европы» 1910, № 10, стр. 94).

Из самой автобиографии П. Л. можно установить, что она написана до 14-го (2-го) июня 1885 г., когда представители разных партий, русских и польских, праздновали день его рождения и предполагаемое 25-летие его литературной деятельности (последняя на самом деле началась ранее), и дополнена в 1889 году.

Автобиография делится на две части: «Биографические данные» и «Учение». *Вторая* часть выделена, как таковая, в самой рукописи. Заглавие первой части служит как бы общим заглавием для всего произведения. Я даю всему произведению заглавие «Биография — исповедь», под которым автобиография, повидимому, была послана самим Лавровым народовольцу Л. О. Ясевичу в 1885 г. для № 11—12 «Народной воли», но втиснуть ее в номер не удалось, и ее выпустили отдельной гектографированной брошюрой. (См. «Пути революции», Харьков 1926, № 4 (7), стр. 47.)

Неточности, имеющиеся в этом произведении, будут указаны в примечаниях. Все они очень незначительны. Все это произведение в целом дает верную картину жизни и работы П. Л., изложение его идей, очень важное и для исследователей его учения, и первую наиболее полную библиографию его работ, как научных, так и публицистических.

2. Остроградский, Мих. Вас. (1801—1861), математик и академик, знаменитый автор «Теории волн».

3. Собственно с 1857 г. Лишь в 1857 г. П. Л. стал писать в общих журналах Петербурга: «Общезанимательный вестник», «Отечественные записки» и в лондонском журнале «Голоса из России» (приложение к «Колоколу» Герцена). До этого года он писал лишь специальные статьи по вопросам военной техники в «Военном энциклопедическом лексиконе» и в «Артиллерийском журнале». Подробная библиография всех статей П. Л. дается особо в конце настоящего тома.

4. Имеется в виду стихотворение П. Л. «Бедуин», напечатанное в «Библиотеке для чтения», 1841, том 46, стр. 5—7.

5. Точное название — «Военный энциклопедический лексикон».

6. «Письмо к издателю» (А. И. Герцену) перепечатывается нами впервые в настоящем томе. Герцен напечатал не 2, а 3 стихотворения П. Л.

7. Имеются в виду книги англ. историка Уоллеса, Д. М. (1841 — ум.) «Россия», 2 тома. Спб. 1880—81, и франц. историка Рамбо, А. Н. (1842—1905) «История России» (на франц. языке вышла в 1877 г. и выдержала несколько изданий).

8. Библиография всех стихотворений П. Л., в том числе и в заграничных сборниках, подготовлена нами к печати.

9. В газете «Вперед» было напечатано не 2, а 5 стихотворений П. Л.

10. Указания дат и заглавия статей здесь неточны. В «Общезанимательном вестнике» П. Л. начал писать в 1857 г. «Письма о разных современных вопросах» за подписью «Один из многих». «Письмо первое», дающие понятие об образованности, как гармоническом единстве знаний, чувств и действий, напечатано в № 1. «Несколько слов о системе наук», где дана классификация наук, напечатано в № 14, за подписью «П. Л. Л.». «Письмо второе» не было пропущено цензурой и напечатано в журнале «Иллюстрация» лишь в 1858 г. под заглавием «Вредные начала». «Письмо третье» напечатано в № 20 «Общезанимат. вестника» за 1857 г. и говорит о «порядке» не «бюрократическом», а «согласном с законами развития и движения».

11. Дружинин, Александр Вас. (1824—1864), беллетрист, критик и переводчик Шекспира, с 1856 до 1860 г. был редактором журнала «Библиотека для чтения». Дружинин — идеолог барской культуры — враждебно относился к «утилитаризму» и дидактизму в литературе и искусстве вообще, не будучи последовательным защитником чистого искусства. Эта доктрина сочеталась у него с признанием и тенденциозного искусства, но от революционных построений Чернышевского отходила в сторону англизированного консерватизма.

12. Статья П. Л. «Гегелизм» напечатана в «Библиотеке для чтения» не в 1856, а в 1858 г., в №№ 5 и 9.

13. Писемский, Алексей Феофилактович (1820—1881), писатель, пользовавшийся популярностью в 50-х годах. После написания романа «Взбаламученное море» (1863 г.), представляющего пасквиль на общественное движение 60-х годов, критика к нему резко охладела. В его творчестве отразилась идеология некоторой части разночинцев, растерявшихся при виде ряда отрицательных сторон капитализма, в ту эпоху начавшего особенно заметно развиваться и в городе и в деревне. Отсюда в их идеологии преобладание скептицизма и пессимизма.

14. Боборыкин, Петр Дмитр. (1836—1921), беллетрист, драматург и критик. По своей идеологии — умеренный либерал, в поздних романах — апологет торгово-промышленной буржуазии.

15. Краевский, Андрей Ал—рович (1810—1889), журналист; с 1839 г. издавал «Отечеств. записки», в 1852—1862 гг. — «С.-Петербургские ведомости», а в 1863—1883 г. газету «Голос». В первых двух из этих изданий писал П. Л. Лавров. Газету «Голос» П. Л. жестоко критиковал.

16. Дудышкин, Степан Степ. (1820—1866), критик, фактически руководивший «Отеч. записками» с начала 50-х годов, либерал-постепеновец.

17. Благосветлов, Григ. Евламп. (1824—1880), чуждавшийся народничества и социализма буржуазный радикальный журналист, редактировавший журнал «Русское слово», а затем сменившее его «Дело».

18. «Некоторые другие издания» — это журнал «Иллюстрация» под редакцией писателя и критика Вл. Раф. Зотова (1821—1895), газета

«Спб. ведомости», «Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами», журналы: «Заграничный вестник», «Современник», «Морской сборник» и «Артиллерийский журнал». Подробную библиографию статей П. Л. в этих журналах см. в конце настоящего тома.

19. Герцен, Александр Ив. (1812—1870), основоположник народничества, выдвинувший с № 197 «Колокола» (1865 г.) лозунг «Земля и воля», видевший «социализм» в освобождении крестьян с землей, в общинном землевладении и в крестьянской идее «права на землю» (Ленин). С 1855 г. издавал журнал «Полярная звезда»; с 1 июля 1857 г. по 1 июля 1867 г. — политический двухнедельник «Колокол» (в 1868 г. — на французском языке) с приложениями «Голоса из России», «Под суд» и «Общее вече» (для раскольников), где разоблачались безобразия чиновников и помещиков-крепостников и преследования раскольников. «Герцен принадлежал к поколению дворянских помещичьих революционеров... Он усвоил диалектику Гегеля... Он пошел дальше Гегеля, к материализму, вслед за Фейербахом»... (Ленин). Поддержка им в 1863 г., под влиянием Бакунина, польского восстания оттолкнула от него русских либералов, умеренность же программы «Колокола», неверие в прямое революционное выступление масс — оттолкнуло от него разночинную революционную русскую молодежь, шедшую за Чернышевским. К Марксу и его последователям, не поняв их, Герцен относился резко враждебно. В 1860 г., когда Лавров посвящал свою книгу Герцену, престиж последнего стоял среди передовых русских его читателей еще высоко.

Прудон, Пьер-Жозеф (1809—1865), утопический социалист и мирный анархист, мечтавший о переустройстве всего общества посредством организации дарового кредита; оказывал одно время большое влияние на отсталые слои французских рабочих. При денежной помощи и литературном сотрудничестве Герцена Прудон издавал в 1848—1850 гг. газеты, в которых отстаивал право на труд. Маркс, оценивший «Философию нищеты» (1846) Прудона, как мелкобуржуазную книгу, охарактеризовал роль Прудона в Национальном собрании и его борьбу с буржуазными республиканцами и Луи Бонапартом в революционную эпоху 1848—50 годов, как заслуживающую «всевозможных похвал». Повидимому, о революционной роли Прудона в 1848—50 гг. и о совместной работе его с Герценом Лавров знал, почему и посвятил свою книгу им обоим. Но надо полагать, что Лавров не знал выпущенной Прудоном в 1858 г. книги «О справедливости в революции и в церкви», где много реакционной клеветы против женщины, иначе Лавров, державшийся прогрессивных взглядов на роль женщины в обществе, не посвятил бы своей книги Прудону. В «Исторических письмах» Лавров цитирует 2-е издание этой книги 1868 г., а не 1-е—1858 г.

20. Лессинг, Готтольд-Эфраим (1729—1781), немецкий драматург и критик, пионер немецкой классической литературы, зародившейся в эпоху борьбы буржуазии с господством феодализма и поэтому проникнутой революционными настроениями. Его работа «Лаокоон, или о границах живописи и поэзии» (1766) сыграла большую роль в выработке теории искусствоведения.

21. Антонович, Максим Алексеевич (1835—1918), критик и переводчик 60-х годов, писавший в «Современнике», впоследствии геолог.

22. Писарев, Дмитрий Ив. (1840—1868), критик и публицист 60-х годов, противник идеалистической эстетики, проповедник «реализма» и естествоведения; последователь «вульгарного материализма»; в области же истории — идеалист, защищавший идею постепенного развития в природе и истории.

23. Аскоченский, Виктор Ипат. (1813—1879), реакционный публицист, издававший журнал «Домашняя беседа»; в выпусках 8 и 15 этого журнала за 1863 г. Аскоченский подверг статьи П. Л. в «Энциклопедич. словаре» жесточайшей критике за их «атеизм» и «материализм».

24. Чернышевский, Николай Гавр. (1828—1889), ученый, ценившийся Марксом, революционный демократ и утопический социалист, руководитель революционно-демократического движения в России конца 1850-х—начала 1860-х гг., редактор журнала «Современник» 1854—1862 гг.

Ч. был последователем материалистической философии Фейербаха и утилитарной теории нравственности Милля; в области политической экономии — продолжателем классической школы и противником манчестерской, «мастерски осветившим банкротство буржуазной экономии» (Маркс); в области социализма — сторонником Фурье и идеологом крестьянской общины, как зачатка социалистического общества, чем дал социологическое обоснование народничеству 1860—70-х гг.

25. Что П. Л. стоял совершенно в стороне от руководителей тогдашней мысли, работавших в «Современнике», — не соответствует действительным фактам, так как сам Чернышевский по поводу брошюры П. Л. «Очерки вопросов практической философии» писал, что «его брошюра должна быть положительно признана хорошею... Нам кажется, что сущность его воззрения справедлива». К тому же мы знаем, что П. Л. уже с осени 1861 г. и публично выступал, как революционер (см. мою книжку «П. Л. Лавров», М. 1930, стр. 26—29). Однако первая статья П. Л. в «Современнике» была напечатана уже после ареста Чернышевского в 1865 г. Эта статья «О публицистах-популяризаторах и о естествознании» перепечатывается в настоящем томе.

26. Афанасьев-Чужбинский, Ал—р Степ. (1817—1875), беллетрист-этнограф, автор книги «Поездка в Южную Россию» (Спб. 1861) и др., украинский поэт, не чуждавшийся восхваления самодержавия.

27. Гален — римский врач второй половины 2-го века христ. эры; работы его по анатомии и физиологии ценились до конца 17 века.

28. Диофант — греческий математик 3-го века христ. эры, автор «Арифметики» и алгебраических знаков.

29. Милль, Джон-Стюарт (1806—1873), английский философ, радикальный буржуазный публицист и экономист; один из создателей индуктивной логики, основанной на обобщении отдельных наблюдаемых нами явлений, и один из первых проповедников равноправия женщин.

30. Графиня Вера Николаевна Ростовцева, как и А. П. Философова (см. примечание 31), пользовалась репутацией передовой женщины. Сведений о ней нет ни в одном из наших энциклопедических словарей, нет и в специальных словарях. С 1861 г. она была зам. председательницей Об-ва дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям Петербурга, а в 1863 г. — членом издательства артели. См. В. Стасов, «Н. В. Стасова», Спб. 1899, стр. 67 и 125.

31. Философова, Анна Павловна, рожд. Дягилева (1837—1912), поборница высшего женского образования в России, впоследствии теософка.

32. Столь скромная оценка П. Л. его участия в подпольном революционном кружке 60-х годов «Земля и Воля» объясняется тем, что автобиография писалась им в 1885 г., когда требования П. Л. к активному революционеру были очень высоки.

33. Каракозов, Дмитрий Влад. (1842—1866), революционер 60-х годов; неудачно покушался на царя Александра II 4 (16) апреля 1866 г., за что был казнен 3 (15) сент. 1866 г.

34. Муравьев, Мих. Никол., «вешатель» (1796—1866), принимал участие в составлении устава «Союза благоденствия» («декабристов»), но после волнений в Семеновском полку порвал с тайным обществом; в 1856—61 гг. — министр госуд. имуществ; с 1863 г. — генерал-губернатор Сев.-Зап. края, жестоко подавлявший революц. движение в Польше, за что получил титул графа; председатель Верховной комиссии по делу Каракозова.

35. Сенатор Бер, это — Борис Иванович Бер (1805—1869), сенатор по 1-му отделению 5-го департамента сената в 1865—1866 г. и тайный советник.

36. Михайлов, Мих. Иллар. (1829—1865), поэт, переводчик, автор «Истории пролетариата» и участник революц. движения 60-х годов; вместе с Шелгуновым составил в 1861 г. прокламацию «К молодому поколению», которую он отпечатал в Лондоне и привез в Россию. В этом же году был арестован и приговорен к ссылке на каторгу на 6 лет, где и умер. 15 сентября 1861 г. П. Л. подписал вместе с другими литераторами прошение графу Е. В. Путятину (1803—1883), министру народного просвещения в 1861—62 г., об облегчении участи «литератора М. И. Михайлова», а 16 сентября 1861 г. прошение ему же о том же за подписью «общего редактора» «Энциклопедического словаря, составленного русскими учеными и литераторами» и за подписями других сотрудников этого издания. (См. об этом «Полное собрание сочинений и писем А. И. Герцена». Том XI Пгр. 1919, стр. 263—265). После ареста Михайлова 22 мая 1862 г. П. Л. написал «Стихотворение М. Л. Михайлову», впервые напечатанное в «Былом» в 1906 г.

37. Павлов, Платон Вас. (1823—1874), профессор русской истории киевского, а потом петерб. ун-та; на публичном вечере 2 марта 1862 г. произнес речь о тысячелетии России, за которую административно выслан был в Ветлугу. Об этой высылке была выпущена в феврале 1862 г. написанная Ник. Утиным специальная прокламация «По поводу высылки проф. Павлова в Ветлугу» (Издание русской подпольной печати. См. Алфавитный каталог изданиям, запрещенным в России. Женева 1884, № 675).

38. Философов, Владимир Дмитр., муж А. П. Философовой и отец нынешнего белогвардейского журналиста Д. В. Философова, в 1866 г. член консультации при министерстве юстиции и директор аудиториатского департамента военного министерства и генерал-аудитор.

39. Ордонансгауз — комендантское управление.

40. Лопатин, Герман Александр. (1845—1918), революционер 60—80-х годов, член Исполнит. комитета «Народной воли», которого высоко ценил Маркс. В 1887 г. приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывал в Шлиссельбургской крепости. Освобожденный революцией 1905 г., жил некоторое время в Париже, потом в Петербурге. Был близким приятелем П. Л. («преданным товарищем») и написал о нем интересные воспоминания.

41. Речь идет о статье «К вопросу об антропологических исследованиях Вологодской губернии», напечатанной в виде «письма в редакцию» в «Вологодских губернских ведомостях» за 1868 г., № 43.

42. Почти половина статей П. Л. в период его ссылки была без подписи; инициалы его были: Л. П., П. Л., П. П. (1 раз в 1867 г. в «Вестнике Европы»), П. Л-в, П. Л-ов, П-ов, . . . р. . . . р. . .; псевдонимы: П. Миртов, Провинциал.

43. Кроме того, П. Л. писал еще в «Вестнике Европы», «Книжном вестнике» и в «Невском сборнике».

44. Подпись «П. М.» я нашел в «Знании» за 1871 г., № 10, под статьей «По поводу критики на «Исторические письма», которая написана в Париже, уже после бегства П. Л. из ссылки. До 1871 г. подписи «П. М.» нигде не нашел.

45. «Некоторое влияние» — очень скромное определение. Как известно, «Исторические письма» имели *огромное* влияние на определенные слои русской молодежи, и влияние это продолжалось, по свидетельству многих революционных деятелей, около 3 десятилетий (см. № 192).

46. Псевдонимы П. Л. с 1871 до 1885 г.: П. М-в, П. М., П. Кедров, Л. Кедров, Наблюдатель, Ольгин, Ал-р Угрюмов, П. У., П. Угрюмов, П. Уг—мов, П. П—ский, П. Э., П. Стоик, Ст., П. Столетов, С. Кошкин, П. У—в, П. Щукин, П. Крюков, П. Слепышев, Н. Полный перечень псевдонимов П. Л. с указанием журналов, где они применялись, будет дан в 8-м томе настоящего издания.

47. Бакунин, Мих. Ал-рович (1814—1876), революционер-анархист, выразитель настроений разоренных капитализмом мелких товаропроизводителей, участник революции 1848—49 г. в Германии. В 1851 г. выдан России, где его засадили в Петропавловскую, потом в Шлиссельбургскую крепость. В 1857 г. сослан в Сибирь, откуда в 1861 г. бежал в Лондон. Участник I Интернационала, внутри которого основал свой тайный анархистский «Альянс», поднявший восстание за коммуну в Лионе в сентябре 1870 г. В 1872 г. исключен из Интернационала, после чего бакунистский «Альянс» стал действовать явно. В 1874 г. принял активное участие в восстании крестьян около Болоньи в Италии; после неудачного исхода этого восстания отошел от общественной жизни. Своей верой в революционное творчество масс имел огромное влияние на русских революционеров 70-х годов. В какой именно статье Б. раскрыл псевдоним П. Л., мне не удалось установить.

48. Статьи, перечисляемые дальше П. Л., напечатаны начиная не с 1868, а с 1867 г., и библиография их далеко не точна (в обозначении заглавий статей) и не полна. Полный перечень статей П. Л. по годам см. в библиографии произведений П. Л. в конце настоящего тома.

49. Спенсер, Герберт (1820—1903), английский философ, один из родоначальников идеи эволюции (развития), прослеженной им в биологии, психологии, социологии и этике. Его философская система является эклектическим соединением некоторых идей романтиков с механистическим пониманием природы.

50. Речь идет о статье П. Л. «Средневековый Рим и папство в эпоху Феодоры и Мароции», напечатанной в «Женском вестнике» 1867, № 7.

51. Геккель, Эрнст (1834—1919), немецкий зоолог, популяризовавший и развивавший учение Дарвина. Речь идет о его книге «Естественная истории творения», вышедшей в 1869 г. Ее немецкое заглавие является заглавием и статьи П. Л.

52. Точное заглавие: «Антропологические этюды» в № 6 «Соврем. обозрения» за 1868 г.

53. Точное заглавие: «Антропологии в Европе и их современное значение» в № 3 «Отеч. записок» за 1869 г.

54. Точное заглавие: «Северо-американское сектаторство» в №№ 4, 6—8 «Отеч. записок» за 1868 г.

55. Уэвель (неправильно называемый иногда Юэль), Вильям (1794—1866), англ. естествовед и философ, автор «Истории научных идей» (1858—61 гг.), считавшейся в свое время не менее замечательной философской энциклопедией, чем «Энциклопедия» Гегеля и «Курс позитивной философии» Конта.

56. Точное заглавие: «Цивилизация и дикие племена» в №№ 5, 6, 8, и 9 «Отеч. записок» за 1869 г.

57. Точное заглавие: «Современные учения о нравственности и ее история» в №№ 3—6 и 8 «Отеч. записок» за 1870 г.

58. Кавелин, Конст. Дмитр. (1818—1885), историк и философ-публицист и общественный деятель, сначала либерал, потом консерватор, враг революции; выведен в романе Чернышевского «Пролог пролога» под именем Рязанцева, как играющий роль жалкой игрушки в руках черной реакции. Точное заглавие статьи П. Л. о нем: «Г. Кавелин как психолог» в №№ 8, 10 и 11 «Отеч. записок» за 1872 г.

59. Михайловский, Николай Константᴛ. (1842—1904), критик, публицист и социолог, правый народник 70-х и 80-х годов, сторонник «субъективного метода» в социологии и автор особой «теории прогресса», идеализировал крестьянское «трудовое» хозяйство, как полную противоположность буржуазному; некоторое время сотрудничал в «Народной воле» (псевдоним Гроньяр), не соглашаясь с ее основным направлением; в начале 90-х годов резко выступал против марксизма.

60. Точное заглавие: «Хлопоты науки с низшими организмами» в №№ 4—8 «Отеч. записок» за 1883 г. Заглавие следующей статьи тоже неправильно. Точное ее заглавие: «Автобиография старого чартиста» в №№ 1 и 3 «Отеч. записок» за 1878 г.

61. Сент-Бев, Шарль-Огюстен (1804—1869), франц. литературный критик, выдвинувший изучение психологической стороны произведений в связи с историческими условиями, в которых живет данный писатель.

62. Шопенгауэр, Артур (1788—1860), немецкий философ-идеалист. Философия Шопенгауэра — антинаучная по своим методам, полна противоречий и пессимистична по своим конечным выводам. Статьи П. Л. о нем: «Шопенгауэр на русской почве» в № 5 «Дела» за 1880 г. и «Русский перевод Шопенгауэра» в № 2 «Дела» за 1881 г. Но еще раньше П. Л. писал о Шопенгауэре в конце статьи «Философия в Германской империи» в № 4 «Дела» за 1872 г.

63. Дизраели, Бенджамин, граф Биконсфильд (1804—1881), англ. государств. деятель, инициатор новой империалистической политики Англии, автор ряда социально-политических романов консервативного направления, искусный дипломат и неоднократный премьер кабинета министров; боролся с царской Россией за влияние на Востоке; образец политического авантюриста, во имя карьеры из либерала превратившегося в консерватора, прославившегося защитой помещичьих интересов.

64. Бэр, Карл-Эрнст (1792—1876), профессор зоологии в Кенигсберге, потом в Петербурге, академик, основоположник науки эмбриологии, ботаник, антрополог, географ и геолог.

65. Анненков, Павел Вас. (1812—1887), критик 50-х годов в духе «чистого искусства», автор интересных «Литературных воспоминаний»; знакомый К. Маркса, который писал ему в 1846 г. Анненков, интересовавшийся европейским революционным движением, знакомивший в середине 40-х годов русских читателей (в «Парижских письмах», печатавшихся в «Современнике») с утопическим социализмом, сторонником последнего не был и являлся типичным представителем дворянской культуры, мечтавшим о переустройстве России по образцам «просвещенного Запада».

66. Де-Роберти, Евг. Валент. (1843—1915), философ-позитивист и социолог, близкий знакомый П. Л. 20 декабря 1880 г. предложил в Тверском дворянском собрании ходатайствовать о введении представительного правления. В связи с этим был вынужден покинуть Россию.

67. Кареев, Николай Ив. (1850 — 1931), историк Запада, идеалистической школы, профессор петерб. ун-та и почетный член Академии наук, бывший член 1-й Гос. думы, кадет. Близкий знакомый П. Л.

68. Гольцев, Виктор Ал-рович (1850 — 1906), буржуазный историк и публицист, с 1885 г. редактор журнала «Русская мысль», либерал.

69. Точное заглавие, как указано выше (№ 44), «По поводу критики на «Исторические письма».

70. Точное заглавие: «Письма о новейших явлениях в области философии и естествознания» — в №№ 62 и 111 газеты «Северный вестник» за 1877 г. Подпись: Ольгин.

71. Имеется в виду газета «Русский курьер», где под псевдонимом «Ст». напечатаны статьи П. Л.: «Хроника общественных наук, I. Шарль Летурно. Социология с точки зрения этнографии. II. А. Фулье. Современная наука об обществе» в №№ 169, 177, 183, 246 и 252 за 1880 г.; «Иностранная литературная летопись» в №№ 20 и 21 за 1881 г. «Томас Карлейль» в №№ 54 и 68 за 1882 г. за подписью Ст.

72. Карлейль, Томас (1795 — 1881), английский историк и публицист, проповедник культа героев, якобы делающих историю. Выступал против буржуазии, но его критика современного буржуазного порядка связана «с неисторическим апофеозом средневековья» (Маркс).

73. Лонгфелло, Генри-Уодсвортс (1807—1882), американский демократ-поэт и романист, автор поэмы «Гайавата», сборника «Песни невольников», романа «Гиперион» и др. Представитель демократической (мелкобуржуазной городской) интеллигенции, противник рабства негров. Статья о нем П. Л. напечатана не в газете, а в № 7 «Отеч. записок» за 1882 г. за подписью: П. Крюков.

74. Летурно, Шарль (1831—1902), франц. антрополог и социолог.

75. Фулье, Альфред (1838—1912), франц. философ, создатель учения об «идеях-силах».

76. «Идея прогресса в антропологии». Этот реферат напечатан первоначально в «Бюллетене Парижского антропологического общества», том VII за 1872 г. Тут же напечатан и ответ П. Л. на возражения Пелларена (занимает 25 страниц), который также вошел в упомянутую здесь брошюру. Подробные библиографические данные см. в библиографии произведений П. Л. в конце настоящего тома.

77. «Антропологическое обозрение». В нем я нашел обзор П. Л. трех немецких работ по сравнительной анатомии и рецензии на русский журнал по географической и сравнительной патологии и на ряд статей в 3 русских академических изданиях. Все они напечатаны в I томе за 1872 г. Как известно, осенью 1872 г. П. Л. уже переехал в Цюрих для подготовки издания «Вперед».

78. Брока, Поль (1824—1880), известный франц. антрополог, физиолог и хирург, основавший в Париже Антропологическое общество, музей и школу; открыл центр речи в мозгу и основал науку об измерении человека — антропометрию. Приглашение П. Л. со стороны Брока в состав редакции основанного им антропологического журнала свидетельствует о том, как высоко Брока ценил П. Л. как ученого.

79. Варлен, Луи-Эжен (1838—1871), рабочий-переплетчик, член I Интернационала, участник его конгрессов и душа парижского федерального совета Интернационала, секретарь федеральной камеры рабочих обществ Парижа с 1869 г. и член бакунинского Альянса с сентября 1869 г. Был осужден 2 раза по процессам Интернационала. Во время повальных арестов членов Интернационала во Франции весною 1870 г. бежал в Бельгию и вернулся в Париж 4 сентября 1870 г., когда там была провозглашена республика. Вскоре после этого Варлен ввел П. Л. в члены Интернационала. Активный участник и организатор обороны Парижской Коммуны.

80. В тексте, вследствие опечатки, не Ternes, а Fernes. Секция Терн находилась по месту жительства П. Л. — в 17-м округе (районе) Парижа — Батиньоль, в переезде (passage) Сен-Мишель, № 10. Адрес этот указан самим П. Л. в одном из его писем Е. А. Штакеншнейдер.

81. Маркс, Карл (1818—1883) и Энгельс, Фридрих (1820—1895), основоположники научного социализма, организаторы I Интернационала и вожди международного рабочего движения в эпоху 60-х—начала 90-х гг. XIX ст.

82. Не 1874, а 1873, как видно из воспоминаний Н. Г. Кулябко-Корецкого «Из давних лет» (М. 1931, стр. 68) и из косвенных указаний самого П. Л. в его «Народниках-пропагандистах» (Лгр. 1925, стр. 57—65).

83. Не 1874, а 1875 г., так как 1-й номер двухнедельной газеты «Вперед» помечен 15 (3) января 1875 г.

84. Ткачев, Петр Никитич (1844—1885), основоположник и вождь русских якобинцев, критик и публицист, бежавший в 1873 г. после отбытия тюремного заключения по нечаевскому делу за границу, где он сначала стал сотрудником «Вперед», а с 1875 г. начал издавать якобинский журнал «Набат». В 1874 г. он издал направленную против П. Л. брошюру «Задачи революционной пропаганды в России», ответом на которую и явилась упоминаемая здесь «полемическая брошюра» П. Л.

85. Более подробные сведения о съезде впередовцев, о выходе П. Л. из редакции «Вперед» и о прекращении этого издания можно найти в «Воспоминаниях лавриста» Н. Г. Кулябко-Корецкого, упомянутых выше, главы 13 и 14.

86. «Равенство» — газета, основанная в 1877 г. известным французским социалистом Жюлем Гэдом (псевдоним Матье Базиля, 1845 — 1922), выступившим в ней, вместе с несколькими студентами-социалистами, первым пропагандистом марксизма во Франции и до мировой войны возглавлявшим марксистское крыло французского рабочего движения и ведшим резкую борьбу против соглашательства с буржуазией, а затем скатившимся в лагерь оборонцев. Вследствие отсутствия этой газеты в библиотеках Москвы и Ленинграда, мне не удалось пока разыскать помещенных в ней статей П. Л.

87. Об одной речи П. Л. на банкете, устроенном газетой «Egalité» в годовщину казни Людовика XVI в 1878 г., упоминает Н. И. Кареев в статье «Из воспоминаний о П. Л. Лаврове» («Былое» 1918, № 3 (31), стр. 15). Так как Людовик XVI был казнен 21 января 1793 г., то вероятно, что банкет в годовщину (85-ую) этого события был устроен 21 января 1878 г.

88. Бланки, Луи-Огюст (1805—1881), французский бабувист, учение которого считается переходным к марксизму; участник всех парижских восстаний и революций с 1830 по 1871 г., «вечный узник», проведший 37 лет в тюрьмах; глава партии бланкистов, состоявшей из молодых журналистов, студентов и передовых рабочих, стремившихся к захвату власти у буржуазии путем вооруженной борьбы. Бланки умер 1 января 1881 г. О речи П. Л. над его могилой мне не удалось найти никаких следов.

89. Улица Паскаля, в 5-м округе Парижа; названа в честь Блеза Паскаля (1623 — 1662), знаменитого франц. математика, физика и философа, боровшегося против иезуитов в своих «Письмах к провинциалу».

90. Точное заглавие брошюры — «18 марта 1871 г.». С 1919 г. перепечатана во многих изданиях под измененным заглавием «Парижская коммуна», соответствующим ее содержанию.

91. «Ежегодники социальных знаний и социальной политики». Социал-реформистский журнал, выходивший в Цюрихе в 1879—1880 гг.; всего вышло 3 выпуска. В 1-м выпуске статья Лаврова носит заглавие: «Россия. Отчет о состоянии социалистического движения». Переведена на русский язык А. Н. Слетовой под заглавием «Социалистическое движение в России».

92. «Борьба классов», с 1884 г. революционный социалистический польский журнал польской партии «Пролетариат», стремившейся «поставить дело социального возрождения Польши на почву интересов исключительно рабочих масс».

93. Гартман, Лев Никол. (1850 — 1908), революционер-землеволец, член «Черного передела», потом «Народной воли». После участия в неудавшемся взрыве царского поезда на Моск.-курской ж. д. в 1879 г. бежал за границу и в начале 1880 г. был арестован в Париже. Вследствие агитации, поднятой П. Л. против выдачи Гартмана царскому правительству, последний был 7 марта 1880 г. выслан в Лондон, где он был близок с Марксом и Энгельсом. Позже Г. переселился в С. Америку.

94. «Справедливость» — газета, основанная в 1880 г. Жоржем Клемансо (1841 — 1930), бывшим во время студенчества бланкистом, потом радикальным республиканцем. После революции 4 сентября 1870 г. К. был мэром 18 округа, членом Лиги республиканских прав Парижа, депутатом Национального собрания (сложил полномочия), кандидатом на выборах в Коммуну 26 марта 1871 г., к которой относился примиренчески. В 1880 г. он основал газету «Жюстис», где работали

хорошие знакомые Лаврова — Шарль Лонге, зять Маркса, и Виктор Жаклар, к которому Маркс относился с большой симпатией. Осенью 1882 г. К. принимался даже за изучение «Капитала» (см. об этом письмо Маркса к Энгельсу от 30 сентября 1882 г.). С 1902 г. Клемансо стал радикал-социалистом. Будучи ядовитым публицистом, К. получил прозвище «Тигр» и «Сокрушитель министерств». Став с 1906 г. министром, К. превратился в гонителя рабочих и в ярого империалиста, вдохновителя мировой войны.

95. Как видно из дальнейшего, речь идет о префекте парижской полиции в 1879—81 гг. Луи Андриэ, бывшем буржуазном республиканце, который написал интересные воспоминания «Коммуна в Лионе в 1870 и 1871 гг.» и впоследствии был консервативным депутатом.

96. Почему именно Кобэ, начальник муниципальной полиции, был лично знаком с П. Л., мне не удалось установить.

97. Речь идет о статье «Несколько слов об организации партии», напечатанной за полной подписью П. Л. в № 3 «Черного передела» за 1881 г. Но ему же принадлежат и статьи без подписи «Франция» в № 1 и 2 за 1880 г.

98. Засулич, Вера Ив. (1851—1919), революционерка, стрелявшая в 1878 г. в петербургского градоначальника Трепова, одна из учредительниц групп «Черного передела» и «Освобождения труда», член редакции «Искры» и «Зари», после 1903 г. — меньшевичка и оборонка, противница Октябрьской революции.

99. Степняк — псевдоним Кравчинского, Сергея Мих. (1852 — 1895), революционера-террориста и талантливого писателя-пропагандиста; К. был членом кружка «чайковцев», потом бакунистом; 4 авг. 1878 г. убил шефа жандармов Мезенцова, после чего бежал за границу.

100. Издания «Подпольной России» 80-х годов на русском языке с предисловием П. Л. Лаврова я не нашел в библиотеках Ленинграда и Москвы. В издании этой книги фонда русской вольной прессы 1893 г. предисловия П. Л. не имеется. Имеется оно только в итальянском издании «Подпольной России» 1882 г. и в других иностранных изданиях.

101. Тихомиров, Лев Ал-рович (1852 — 1922), бывший революционер 70-х гг. и главная литературная сила народовольцев; в 1888 г. подал царю прошение с выражением раскаяния, вернулся в Россию и стал столпом реакции в качестве редактора «Московских ведомостей».

102. Тургенев, Иван Серг. (1818—1883), писатель, автор «Записок охотника», «Рудина», «Отцов и детей», «Нови»; либерал-постепеновец и в то же время автор гимна Петровской — «Порог», жил с 70-х годов в Париже, был близко знаком с П. Л. и материально поддерживал его издание «Вперед». Статья П. Л. «И. С. Тургенев и развитие русского общества» помещена в № 2 «Вестника Народной Воли» за 1884 г.

103. Толстой, Лев Никол. (1828—1910), писатель, автор «Войны и мира», по мировоззрению — анархист-непротивленец, страстно критиковал все современные ему государственные, церковные, общественные и экономические порядки, но, осуждая революционную борьбу, мечтал преодолеть ненавистные порядки проповедью «непротивления злу». Лавров дал один из первых разбор этого «учения» Толстого.

104. Никаких следов этой теоретической части «Обзора основных вопросов философии» я не мог пока найти.

105. Орлов, Николай Алексеевич (1827 — 1885), князь, русский посланник в Париже.

106. За отсутствием комплекта газеты «Justice» 1883 г. в библиотеках Москвы и Ленинграда, я не мог найти заметку П. Л. о Тургеневе в этой газете. Не мог я также восстановить пропущенные здесь не-

сколько строк автобиографии П. Л., так как ни рукописи ее, ни литографиров. издания не мог достать.

107. Первое из напечатанных произведений П. Л. (стихотворение «Бедуин») появилось в 1841 г.

108. Имеется в виду «Русское рабочее общество в Париже», где в 1887 г. П. Л. прочел лекцию «Национальность и социализм» и две речи: «Роль и формы социалистической пропаганды» и «Через 8 лет (1871—1879—1887)», изданные «Русским рабочим обществом в Париже» под заглавием «Две речи П. Л. Лаврова».

109. Мне не удалось пока установить, какие рефераты П. Л. читал в собраниях каждой из упомянутых здесь трех организаций. Только относительно реферата «Тогда и теперь (по поводу 50-летия смерти М. Ю. Лермонтова; — читано 21 окт. — 3 ноября 1891 г. в Париже в собрании русских студентов)» можно сказать точно, что здесь имеется в виду «касса русских парижских студентов». Реферат этот напечатан в сборнике статей П. Л. «Из рукописей 90-х годов» (Женева 1899). Другие «рефераты» П. Л. снабжены менее определенными указаниями на собрания, где они были прочитаны. Так, например, «Русская развитая женщина. В память Софьи Васильевны Ковалевской. (Прочитано на собрании 6 апреля 1891 г. в Париже)». (Женева. Без года); «Сергеевский, Иван. Голод в России. С введением и послесловием П. Лаврова. Читано в Париже 22—10 января 1892 г.». (Женева 1892); «Задача и долг (прочитано 14—2 июня 1897 г.)»; «Пожелания на новый 1898 год (сказано 12 января 1898 г. нов. стиля)». «Аннибаловы клятвы. (По поводу памяти Белинского; — послано для прочтения 7 мая 1898 г. на собрании русских в Париже)»; «Насущные вопросы (14 июня 1898 г., речь на собрании по поводу празднования 75-летия П. Л.)» и т. д. Последние «рефераты» и речи вошли в сборник «Из рукописей 90-х годов».

110. Возможно, что под «Речью о роли евреев в социалистической пропаганде» П. Л. подразумевает то свое произведение, которое было напечатано в виде письма к редакторам еврейского социалистического органа «Der Wekker» (Будитель) под заглавием «Еврейский вопрос и социализм». Но экземпляра этой речи, *изданной в России*, я не нашел в библиотеках Ленинграда и Москвы, не нашел также «Науки и жизни» в нелегальном русском отдельном издании.

111. Фрей, Вильям, псевдоним русского передового писателя Владимира Конст. Гейнса (1839—1888), основатель с.-х. коммуны в С. Америке в 1868 г., впоследствии проповедывал, что не коммунизм, а религиозное чувство должно обновить мир. Как видно из неизданных мемуаров Н. Д. Гиветти, Ф. пользовался большим обаянием среди некоторой части русской передовой интеллигенции (ему же посвящена брошюра Р. Рейнгардта «Необыкновенная личность»), что и послужило, вероятно, поводом для П. Л. выступить против его проповеди о позитивной религии человечества.

Когда именно и где были прочитаны рефераты П. Л. о Фрее и были ли они напечатаны, мне не удалось установить. В. Фрей — автор «Письма коммуниста» в III томе «Вперед».

112. Рукопись программы этих «лекций о социологии для социалистических пропагандистов», а еще вероятнее — рукопись самых лекций хранится, возможно, в архиве П. Л. Лаврова в институте Маркса, Энгельса и Ленина в Москве (или в Берлине), но доступа в этот архив, к сожалению, мне не удалось пока получить.

113. Рукописи всех этих работ П. Л., вероятно, также имеются в архиве П. Л. в Институте Маркса, Энгельса и Ленина или в Берлине.

114. Издателем этим был, вероятно, известный историк, социолог и юрист (эклектик, идеолог либеральной буржуазии) Макс. Макс. Ковалевский (1851—1916), который впоследствии издал этот труд в 1906 г. в Москве под новым псевдонимом П. Л. и измененным заглавием: *До*

ленги А. «Важнейшие моменты в истории мысли». Первоначально этот труд вышел в Женеве в 1888—89 гг. в 8 выпусках, затем в Женеве же в 1894 г. в расширенном виде — в 10 выпусках. Легальное московское издание вышло с некоторыми изменениями в тексте из-за цензурных соображений. Ковалевский же дал Лаврову деньги на издание его книги «Задачи понимания истории» под псевдонимом Арнольди. Оба псевдонима были придуманы Ковалевским, называвшим Лаврова «старцем горы». См. Н. С. Русанов. Памяти М. М. Ковалевского в «Русских записках» за 1916 г., № 3, стр. 308.

115. «Социалист. Политическое социально-революционное обозрение. Выходит периодически». Вышел только один номер в июне 1889 г. В нем П. Л. предполагал напечатать целую серию статей, как видно из заглавия его первой статьи: «Письма к русским людям. Письмо первое. Задача этих писем». В передовой статье «Социалиста» от редакции заявлялось, что «задача социалистов-революционеров сводится к созданию *социалистической рабочей партии* со строгою определенною программою», что «для своего самопополнения» эта партия «может рассчитывать только на рабочее население и ту часть интеллигенции, которая, отрекшись от всех своих сословных преимуществ и привилегий, станет на сторону народа», что эта партия должна «бороться только за необходимую нам *демократическую конституцию,* вырабатывая *в то же время* лишь *элементы* для *будущей* рабочей партии» (Курсив всюду подлинника). Статьи в «Социалист» дали Плеханов и Аксельрод; для № 2 готовила статью В. И. Засулич.

116. «Знамя, Рабочая газета». Выходила в Нью-Йорке в 1889—91 гг., всего вышло 22 №№. К сожалению, полного комплекта этой газеты не нашлось в библиотеках и архивах Ленинграда, Москвы и Одессы, и я обнаружил в этой газете только 2 статьи П. Л. «Наши задачи. Письмо товарищам в Америку», «Николай Гаврилович Чернышевский и ход развития русской мысли» (в 3 номерах) и отчет о речи П. Л. о жертвах якутской истории. Если мне удастся получить из Нью-Йорка о жертвах якутскоой истории. Если мне удастся получить из Нью-Йорка окажутся еще и другие статьи П. Л. Все они будут перепечатаны в настоящем издании.

117. «Реферат», прочитанный П. Л. на 1-м конгрессе II Интернационала 1889 г. и напечатанный во французских журналах «Новое общество» и «Социалистическое обозрение», будет напечатан в 7-м томе настоящего издания. Из него видно, что П. Л. делегировали на конгресс 1889 г.: русская женевская газета «Социалист», Общество русских рабочих в Париже, Касса социалистических изданий в Цюрихе, Социально-революционная группа в Петербурге, Армянская группа в Женеве и, повидимому, 3 группы, примыкавшие к «Народной воле».

118. Салтыков, Мих. Евграфович — псевд. Н. Щедрин (1826—1889), знаменитый сатирик, редактор «Отеч. записок» после смерти Некрасова до 1884 г. Одно время увлекался утопическим социализмом и был близок к кружку «петрашевцев». Он умер 28 апреля (9 мая) 1889 г., и собрание в его память в Париже под председательством П. Л. было устроено через 2 недели после его смерти. Никаких следов речи П. Л. о Салтыкове я не нашел.

119. См. примечание 113. Поскольку «Автобиография» П. Л. кончается 1889 г., в ней, естественно, нет сведений о его сотрудничестве в берлинской с.-д. газете «Vorwärts» в 1891 г. Но П. Л. не отметил также своего сотрудничества в с.-д. журнале «Neue Zeit» в 1889 г. Все статьи П. Л. в указанных здесь немецких и еще во французских изданиях будут отмечены в нашей библиографии произведений П. Л. и частично напечатаны в переводе в настоящем издании. Речь Лаврова над могилою Ткачева напечатана в № 5 «Вестника Народной воли» за 1886 г. и будет перепечатана в 7-м томе настоящего издания.

120. Л. М. Коган-Бернштейн повешен по приговору царского суда

за участие в вооруженном сопротивлении политссыльных г. Якутска в 1889 г., в виде протеста против притеснений и издевательств администрации, отказавшихся выйти из дома Монастырева и подвергшихся обстрелу.

121. Как можно заключить из этой фразы, П. Л. считал началом своего *активного* выступления в общей литературе 1855-й год. Между тем до 1857 года мы находим статьи П. Л. только в специальных военных журналах, и по темам своим они тоже — военно-технические. См. примечание 3. Здесь очевидна неточность в дате на 2 года.

122. Детерминизм — философское учение, по которому все явления в жизни обусловлены действием определенных причин. Детерминизм в марксистском понимании далек от фатализма, т. е. от пассивного подчинения событиям, а связан с сознательным творчеством истории, поскольку человек ее понимает. Следует строго различать детерминизм диалектический и детерминизм механистический.

123. Стихотворение это я нашел на стр. 24—26 в «Собрании запрещенных стихов и прозы. Издание 4-ое, умноженное. Лейпциг 1875, (Международная библиотека. Том XIII)». Под стихотворением дата «1857», а подписи не имеется. Упоминаемое дальше стихотворение «Первая глава из книги Бытия» напечатано в 3 отрывках в статье В. Н. Нечаева «Процесс П. Л. Лаврова в 1866 г.» в «Сборнике материалов и статей». Изд. Главного управления архивным делом. Вып. 1, 1921, стр. 57—58. Полностью оно имеется в «деле» Лаврова.

124. Имеется в виду «Опыт истории мысли нового времени», начавший выходить в свет с начала 1888 г. и являющийся «последним историческим трудом» П. Л. для 1889 г., когда он писал свою «Автобиографию».

125. Протагор — греческий философ 2-й половины 5-го века христ. эры, учивший, что «человек есть мера всех вещей», т. е. что единственным надежным источником наших знаний являются наши чувственные восприятия.

126. Скептики — приверженцы скептицизма, т. е. философской школы, отрицающей возможность познания объективной истины.

127. Академия — сад в окрестностях древних Афин, где греческий философ Платон учил своих учеников; отсюда название основанной им школы. Во второй Академии учили ученики Платона — Акнесилай и Карнеад.

128. Сенсуалисты — приверженцы теории познания, признающей источником познания наши ощущения.

129. Кант, Иммануил (1724—1840), знаменитый немецкий философ-идеалист, утверждавший, что существующий вокруг нас мир реальных вещей непознаваем («Вещь в себе»); родоначальник критической философии, подготовивший почву для диалектики Гегеля. Философия Канта отразила *освободительные* тенденции конца 18 века. К концу 19 века в нео-кантианстве (см. дальше примечание 131) учение Канта стало орудием *реакционной* буржуазии против философии марксизма.

130. Фейербах, Людвиг (1804—1872), ученик Гегеля, лево-гегельянец, материалист, непримиримо боровшийся с идеализмом и религией, оказавший огромное влияние на выработку философского материализма Маркса и Энгельса; Ф. оказал значительное влияние и на философские взгляды Герцена, Бакунина, Белинского и Чернышевского.

131. Нео-кантианцы — философы, проповедывавшие «возврат» к идеализму Канта в теории познания.

132. Ланге, Фридрих-Альберт (1828—1875), немецкий философ, буржуазный демократ, принимавший участие в германском рабочем движении; родоначальник нео-кантианства; считал материализм пригодным лишь для исследования природы, но обвинял его в наивном реализме и непонимании диалектики; рабочий вопрос Л. ставил в зависимость от

умственного и нравственного прогресса. В № 23 «Вперед» от 15(3) дек. 1875 г. напечатан некролог Л., написанный П. Л.

133. Уже из этой самохарактеристики П. Л. ясно видно, что он эклектик, но с тяготением к позитивизму.

134. Субстрат — подкладка всего многообразия явлений.

135. № 1 за 1883 г.

136. Имеется в виду: *Милль, Д. С.* Система логики. Перевод Ф. Ф. Резенера, под редакцией, с предисловием и примечаниями П. Л. 2 тома, Спб. 1865—67. В 1878 г. книга была переиздана ее издателем М. О. Вольфом без перемен, но на нее был наложен арест и ей угрожала конфискация и полное уничтожение, потому что на ней имелась фамилия Лаврова, *ставшего эмигрантом.* (Оставшиеся экземпляры первого издания, на котором имелась та же фамилия, *свободно продавались,* так как это издание было напечатано тогда, когда Лавров еще не был «политическим преступником»). Со второго издания 1878 г. пришлось снять имя Лаврова как редактора русского перевода и автора предисловия. Слух о курьезном аресте второго издания привел к тому, что оставшиеся экземпляры первого издания с *фамилией* Лаврова покупались нарасхват по 20 и 30 р. за экземпляр, несмотря на то, что текст обоих изданий был одинаков. (См. С. Ф. Либрович. Арест на «Логику» Милля. Страница из истории русской книги в «Вестнике литературы» М. О. Вольфа за 1911 г., № 3, стр. 72—76).

137. Имеется в виду статья П. Л. «Современное состояние психологии» (о Бенеке, Лацарусе и др.), но она напечатана не в 50-х годах, а в 1860 г., № 4 «Отеч. записок».

138. См. примечание 58.

139. См. примечание 20.

140. См. примечание 10. Еще до ссылки Лавров редактировал сделанный Н. Л. Тибленом перевод книги Г. Спенсера «Классификация наук» (Спб., 1866) и написал статью «Цель и значение классификации наук», напечатанную в «Книжном вестнике» за 1866 г. (№№ 13 и 14—15) и содержащую изложение классификации Ог. Конта и Г. Спенсера.

141. Лекки Гартполь (1838—1903), англ. историк культуры.

142. «Очерк истории физико-математических наук» напечатан в «Артиллерийском журнале» и в «Морском сборнике» за 1865 и 1866 гг., «Влияние развития точных наук на успехи военного дела и в особенности артиллерии» — в «Артилл. журнале» за 1865 г.

143. Разумеются статьи: «Историческое значение науки и книга Уэвеля», «Роль науки в период возрождения и реформации», «Научные основы истории цивилизации».

144. В томе I «Невского сборника» за 1867 г.

145. Речь идет о Гольдсмите, Исидоре Альбертовиче; был близок к народническим кружкам 70-х годов, издатель журнала «Знание», где довольно часто печатались статьи П. Л. «Опыт истории мысли» вышел в 1875 г. в издании и этого же журнала. См. упомянутые выше воспоминания Н. Г. Кулябко-Корецкого, стр. 107 и 108.

146. См. примечание 76.

147. Мне известен только один реферат П. Л. 1879 г. о Парижской коммуне. Разыскания о рефератах других годов между 1877 и 1882 гг. станут возможными лишь после того, как все *рукописное* литературное наследство П. Л., хранящееся в Институте Маркса, Энгельса и Ленина и в Берлине и Праге, станет доступно исследователям.

148. «Письмо к издателю» обращено к А. И. Герцену (см. № 19) и является препроводительным к 5 посланным Герцену для печати стихотворениям П. Л. (из них Герцен напечатал только 3: «Пророчество», «Русскому народу» и «Французам»), но имеет и самостоятельный интерес, свидетельствуя о крайне умеренных, почти реакционных социально-политических взглядах П. Л. в 1856 г., когда было написано это письмо. Письмо напечатано без подписи в приложении к «Колоколу» — «Голоса

из России. Книжка 4-ая. Издание Искандера [псевдоним Герцена]. Лондон. 1857». Здесь оно перепечатано из 2-го издания этой книжки 1858 г.

149. Беранже, Жан-Пьер (1780—1857), франц. поэт-агитатор, участник революции 1830 г., бичевавший монархию эпохи реставрации и восхвалявший революцию; мелкобуржуазный революционер, в некоторых произведениях отражавший мечтания утопического социализма. Он же — автор веселых застольных песен, выражавших протест против буржуазной морали.

150. Барбье, Анри-Огюст (1805—1882), франц. поэт-сатирик, бичевавший буржуазию после 1830 г.

151. В тексте здесь очевидная типографская опечатка: *а* вместо *я*.

152. В тексте по очевидной типографской опечатке напечатано: *высказаны;*

153. Примечание Герцена.

154. Англоман — пристрастно любящий все английское.

155. Гизо, Франсуа (1787—1874), французский историк, бывший в 1830—1848 гг. реакционным министром и главой кабинета министров; в 1830-е годы он выдвинул лозунг «обогащайтесь!» и стал вождем финансовой и торговой аристократии, которая вела жестокую борьбу с республиканскими и демократическими стремлениями, подготовляя тем революционный взрыв 1848 г., после которого Гизо вынужден был бежать в Лондон. Как историк, Гизо один из первых еще в 1820-е годы констатировал факт классовой борьбы в истории; известен работами по истории представительных учреждений и английской революции 17 века.

156. Шеллингисты — поклонники Шеллинга, Фридриха-Вильгельма-Иоанна (1775—1854), немецкого философа-идеалиста. В 1797—1802 гг. Шеллинг развил систему идеалистической натурфилософии, установившей связь и единство процессов в природе; в 1841—1842 гг. он выступил с реакционным философским оправданием христианства против «левых гегельянцев», чем вызвал горячий отпор последних.

157. См. примечание 20.

158. Кеплер, Иоанн (1571—1630), немецкий астроном, открывший законы движения планет.

159. Ньютон, Исаак (1643—1727), англ. математик и физик, создавший анализ бесконечно малых величин и открывший закон всемирного тяготения, творец современной оптики, спектрального анализа и т. п.; он же автор ряда богословских и мистических сочинений (толкование на «Апокалипсис» и т. п.).

160. Имеется в виду царь Николай I (1796—1855).

161. Третье сословие, буржуазия; в эпоху Великой франц. революции — весь народ, кроме дворянства и духовенства.

162. Чичерин, Борис Никол. (1828—1904), философ и юрист, автор, между прочим, «Опытов по истории русского права», где он высказал свой взгляд на русскую общину. Один из идеологов крупного капитализирующегося дворянства, сторонник крупного землевладения, развивающегося по прусскому аграрно-капиталистическому пути; в двух записках, подававшихся им правительству до и после 1 марта 1881 г., доказывал, что для борьбы с социализмом необходима диктатура. В книге «Собственность и государство» (2 тома, 1882—1883 гг.) пытался теоретически опровергнуть социализм.

163. Беляев, Иван Дмитр. (1810—1878), историк русского права славянофильского направления, признававший, что поземельная община возникла в далеком прошлом и по этому вопросу полемизировавший с Чичериным. См. его «Крестьяне на Руси». М. 1860, 2-ое изд. 1863.

164. Речь эта действительно была сказана московскому дворянству 30 марта 1856 г.

165. «Север» — ежедневная русская официозная газета на французском языке, выходившая в Брюсселе с июля 1855 г. и финансировавшаяся откупщиком В. А. Кокоревым до отмены откупов.

166. Женой Александра II с апреля 1841 г. была дочь герцога Гессен-Дармштадского, названная по принятии ею православия Марией Александровной.

167. Судя по смыслу фразы, здесь пропущено слово «не».

168. Это утверждение не соответствовало действительности, так как в 1857 г. П. Л. уже печатался в журналах, но оно сделано для того, чтобы труднее было царскому правительству открыть автора «Письма в редакцию».

169. И это утверждение не соответствовало действительности, так как еще 27 марта 1855 г. П. Л. произведен был в капитаны. См. послужной список Лаврова в «Красном архиве» 1923, том 3, стр. 220.

170. В 1857 г. П. Л. впервые начал писать не только в специально военных, но и в общих журналах, и притом на злободневные темы. Первым таким журналом был «Общезанимательный вестник», для которого П. Л. написал серию статей «Письма о разных современных вопросах», за подписью «Один из многих». В «Письме первом» речь идет об определении понятия образованности, как гармонического единства знаний, чувств и действий, во втором письме автор громит преклонение перед авторитетом в личной и общественной жизни, а в «Письме третьем» развивает «фантазию» о том, чтобы настало «время порядка — не искусственного порядка бюрократов, но действительно порядка, согласного с законами развития и движения», для чего... «надо сойтись с разных углов России нескольким лучшим людям и поговорить о наших потребностях, о наших стремлениях, о нашем настоящем и будущем». 1-е и 3-е «письма» были напечатаны в №№ 1 и 20 «Общезанимательного вестника» за 1857 г., а 2-го «письма» цензура не пропустила. Все же П. Л. удалось его устроить через год под измененным заглавием «Вредные начала» в другом журнале — «Иллюстрация» (№ 39 от 2 октября 1858 г.). Факт этот раскрыт П. Витязевым.

Весьма вероятно, что в 1858 г. П. Л. внес некоторые изменения в эту статью, написанную в 1857 г., но характер этих изменений удастся обнаружить лишь в том случае, если будет найдена рукопись этой статьи.

171. Речь идет о франц. историке Гизо (см. пр. 155), который во время революции 1848 г. («в одну из бурных минут европейской истории») в качестве бывшего премьера министерства вынужден был бежать в Англию.

172. Вольтер, псевдоним Франсуа-Мари Аруэ (1694—1778), франц. писатель, историк и деятельный участник «Энциклопедии», поборник веротерпимости и свободы, содействовал пробуждению классового самосознания буржуазии накануне Великой франц. революции. Отсюда всякое религиозное и политическое вольнодумство получало у реакционеров до середины 18 века кличку «вольтерьянства».

173. Руссо, Жан-Жак (1712—1778), франц. писатель и философ, родом из Женевы; борец против сословного неравенства (основу его он видел в частной собственности), клерикализма и обрядности; поборник радикального демократизма в политике, имевший огромное влияние на некоторых якобинских вождей Великой французской революции. Вольтер осмеивал призыв Руссо к близости к природе.

174. Кальвин, Жан (1509—1564), родом француз, основатель носящей его имя реформированной церкви, фактический диктатор в Женеве с 1541 г., сжигавший еретиков; отразил в организации своей церкви суровое мировоззрение подвергавшейся преследованиям феодалов зажиточной буржуазии Франции и Швейцарии; сам преследовал более демократических представителей того же движения.

175. Серве, правильнее — Сервето, Мигель (1511—1553), испанский врач и богослов, отрицавший догмат троичности бога и божественность Христа. Попав в Женеву во время диктаторства там Кальвина, был сожжен 27 октября 1553 г. как «преступник против основ религии и общественного порядка».

176. Доктор Крупов — герой «Записок д-ра Крупова» Герцена, где автор разоблачал ужасы крепостного права и ставил в беллетристической форме ряд социальных вопросов.

177. Сеид (арабск. — господин), титул потомков Магомета.

178. Кун-цзы, правильнее Кун-фу-цзы — китайское название Конфуция (551—479 до христ. эры), основателя своеобразной религии, не знающей веры в личного бога и основанной главным образом на культе предков и беспрекословном подчинении авторитету родителей. Мен-цзы (371—288 до хр. эры) — распространитель учения Конфуция.

179. В тексте, вследствие опечатки, напечатано: «предложения».

180. Статья «Постепенно» взята при аресте П. Л. 25 апреля 1866 г. в корректурных гранках и впервые напечатана П. Витязевым в ленинградском журнале «Книга и революция» (№ 6(18) за 1922 г.). Как доказал П. Витязев в специальной статье, помещенной там же, «Постепенно» написано П. Л. в конце 1862 г. или в начале 1863 г.

181. В тексте, напечатанном П. Витязевым, напечатано «безусловною», что является очевидной опечаткой.

182. Статья П. Л. «О публицистах-популяризаторах и о естествознании», напечатанная в «Современнике» (1865, № 9) за подписью «Ал. Угрюмов», впервые открыта в 1915 г. Л. Чижиковым в его работе «П. Л. Лавров *. Дополнительные материалы для собирания его сочинений». Но, будучи напечатана в провинциальном специальном издании «Известия Одесского библиографического общества при имп. Новороссийском университете», эта работа осталась незамеченной П. Витязевым и другими, писавшими о П. Л. Между тем эта статья П. Л. очень интересна, так как может быть рассматриваема как предварительный этюд к 1-й главе «Исторических писем» своей идеей о том, что нельзя довольствоваться одним естествознанием, а необходимо еще изучать законы *социальной* жизни. В то же время эта статья направлена против Писарева, хотя его имя и не упоминается в ней (критикуется отрицание им искусства и поэзии и «забористость» его стиля).

183. В тексте, по очевидной опечатке, напечатано «ее».

184. Галахов, Алексей Дмитр. (1807—1892), историк литературы и известный составитель литературных хрестоматий, умеренный сторонник взглядов Белинского в области литературы.

185. Аттическая соль — тонкое остроумие. Жители древней Аттики, особенно Афин, отличались утонченностью мысли и выражений.

186. Дарвин, Чарльз (1809—1892), английский естествовед, автор книги «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859), создавший школу *дарвинизма*.

187. Ляйель, Чарльз (1797—1875), английский ученый, отец научной геологии и археологии, автор книг «Основы геологии» и «Древность человека», первый оценил «Происхождение видов» Дарвина и убедил его опубликовать этот труд.

188. Михайлов, Дмитрий Серг. (1824—1890), автор учебника «Курс естественной истории» 1860 и сл. годов, зоолог-натуралист, позднее попечитель Оренбургского учебного округа.

189. Симашко, Юлиан Ив. (1821—1893), зоолог, основатель журнала «Семья и школа» 70-х годов, автор учебников «Русская фауна», «Руководство к зоологии» и др.

190. Имеется в виду отстаивание московскими публицистами, особенно же Катковым, классического образования, основанного на преимущественном изучении греческого и латинского языков.

191. В тексте, вследствие очевидной опечатки, напечатано: «стройному».

---

* Включая эту статью в состав настоящего издания, редакция тем не менее не считает принадлежность ее перу П. Л. Лаврова вполне установленной. *Ред.*

192. «Исторические письма» первоначально напечатаны в еженедельной газете «Неделя» за 1868 (с № 1 по 47-й с перерывами) и 1869 год (№№ 6, 11 и 14) за подписью П. Миртов и в сентябре 1870 г. вышли в Петербурге отдельным изданием. Еще когда они печатались в «Неделе», на них обратила внимание цензура, и «Неделя» получила из-за них «первое предостережение». Цензор находил, что в них «систематически развивалось учение об организации борьбы против существующего общественного строя, и что они «противны нашим государственным принципам». Редакция «Недели» не подверглась судебному преследованию за печатание «Исторических писем» только потому, что «рассуждение автора имеет характер общего исторического соображения». Когда «Исторические письма» вышли отдельной книгой, член совета Главного управления по делам печати Ф. П. Еленев резюмировал ее содержание словами, приведенными выше в тексте. Цензор признал неудобным вчинить судебное преследование против этой книги только потому, что она вполне понятна лишь «известному классу читателей». Зато 17 февраля 1871 г. последовало «высочайшее повеление» о недопущении к печатанию в России сочинений эмигрантов, и последующие ее издания стали невозможны и были воспрещены к выходу даже в 1904 и 1905 г. (См. об этом статью С. А. Переселенкова «Официальные комментарии к «Историческим письмам» П. Л. Лаврова» в «Былом» 1925, № 2 (30), стр. 37—40). Отрицательно отнесся к «Историческим письмам» в правительственной печати близкий родственник Лаврова — реакционный историк П. К. Щебальский, посвятивший им обширную рецензию в «Русском вестнике» (1871 г., № 2, стр. 817—834). Напротив, все, что было прогрессивного в России, отметило их сразу как выдающееся произведение. Герцен в письме к Огареву от 10 октября 1868 г. пишет: «Статья Миртова очень хороша», разумея «Исторические письма» в «Неделе» (См. А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем. Том 21. Гиз. 1923, стр. 109). Сочувственные статьи по поводу отдельного издания «Исторических писем» напечатали: Н. В. Шелгунов («Историческая сила критической личности» в «Деле» 1870, № 11, стр. 1—30), затем «Отечеств. записки» (1870, № 8, стр. 215—221), А. В. (раскрыть эти инициалы мне не удалось) в журнале «Деятельность» (статья «Философия всемирной истории» в № 37 за 1871 г.), А. А. Козлов в «Знании» (№ 3 за 1871 г., стр. 169—197). Для революционной молодежи, по единогласному свидетельству целого ряда ее представителей, как Н. В. Чайковский, Л. Э. Шишко, В. К. Дебогорий-Мокриевич, М. Р. Ланганс, П. А. Кропоткин, О. В. Аптекман, Г. В. Плеханов, Л. П. Лойко-Квашнина, Н. Г. Кулябко-Корецкий, «Исторические письма» явились настоящим «революционным евангелием, философией революции» (выражение Аптекмана). Они «произвели огромное впечатление» даже на Б. П. Аксельрода, тогда 20-летнего студента, хотя он уже изучил до них «Капитал» Маркса. (См. П. Б. Аксельрод «Пережитое и передуманное». Том I. Берлин 1923, стр. 88). «Исторические письма» издавались нелегально в литографированном виде (имеется такой экземпляр в Ленинской библиотеке в Москве, в 1901 г. они вышли в немецком переводе, в 1903 г. — во французском переводе.

В этой книге П. Л. дал ответ на все животрепещущие вопросы, волновавшие передовых людей той эпохи, и потребовал даже от литераторов, художников и от «ученой ассоциации», чтобы они «придали своим трудам направление, соответствующее потребностям общества» и «отдали свои способности, свое время, свою жизнь вопросам жизни». Некоторые страницы этой книги, особенно те, где говорится о необходимости связи практики с теорией, и современным читателем будут прочитаны не без пользы. Но в общем она имеет интерес главным образом исторический, выясняющий те идеи, которые вдохновляли на борьбу наше народничество 70-х годов.

«Исторические письма» печатаются здесь по их 2-му изданию, назы-

ваемому обычно «парижским», дополненному и исправленному самим П. Л. дважды: в 1872 и 1891 г. (он сам указывает на это в предисловии ко 2-му изданию, но вышедшему только в 1891 г. в Женеве в «Вольной русской типографии», за подписью: П. Л. Миртов (П. Лавров). В двух предисловиях и в примечаниях автора к тексту, которым снабжено это издание, достаточно ясно объяснены все изменения, исправления и дополнения, произведенные П. Л. в первоначальном тексте его книги, а потому я их здесь касаться не буду.

Печатаем оглавление к «Историческим письмам» в том виде, как оно было составлено самим П. Л., в конце настоящего тома — см. «Содержание».

193. Одним из таких «зарождающихся народников, для которых все заслонялось требованием общественной борьбы», был сам П. Л., о чем свидетельствует его статья «О публицистах-популяризаторах и о естествознании».

194. Лассаль, Фердинанд (1825—1864), участник восстания в Дюссельдорфе в 1848 г., основатель «Всеобщего германского рабочего союза», поборник права на власть «четвертого сословия» и отделения его от либеральной буржуазии, философ, экономист, юрист, драматург и замечательный оратор. Будучи учеником Гегеля и Фихте в области философии, Л. в области права и социологии находился под некоторым влиянием Маркса, умудряясь соединять это влияние с пережитками мелкобуржуазного социализма и идеалистическим представлением о надклассовом государстве. Отсюда его идея о возможности построения социализма путем устройства «производительных ассоциаций», субсидируемых правительством; отсюда возложение им надежд не на революцию, а на всеобщее избирательное право (которое, кстати сказать, по его мнению, рабочий класс должен был получить сверху, путем соглашения с Бисмарком); крестьянство в революционном движении 16 века Л. считал реакционным. Характерно для Лаврова, что Лассаля он ставит на один уровень с Марксом. Впрочем, в предисловии к «Письмам без адреса» Чернышевского во 2-м томе «Вперед», вышедшем в марте 1874 г., Лавров отзывается о деятельности Лассаля, как о «гораздо более замечательной в агитационном, чем в теоретическом отношении»; а позднее — в статье «Н. Г. Чернышевский и ход развития русской мысли» в №№ 4, 5 и 6 за 1890 г. нью-йоркской рабочей газеты «Знамя», касаясь мимоходом Маркса и Лассаля, Лавров придает Лассалю только значение практического деятеля, а как теоретика ставит его несравненно ниже Маркса. Маркс и Энгельс писали о Лассале: «в настоящем он был для нас очень сомнительный друг, в будущем — довольно несомненный враг».

195. Елисеев, Григ. Захар. (псевдоним его — Грицко, 1821—1891), публицист «Современника» и «Отечеств. записок», где он вел отдел «Внутреннее обозрение», правый народник.

196. Шелгунов, Николай Вас. (1824—1891), публицист передовых журналов: «Русское слово», «Дело», «Неделя» и «Русская мысль». Совместно с М. И. Михайловым написал известную прокламацию «К молодому поколению» (1861 г.), за что был привлечен к ответственности, просидел около 2 лет в Алексеевском равелине Петропавловской крепости и сослан в Вологодскую губ. В своих статьях ратовал за женское равноправие, боролся против славянофильства, защищал идеи западничества, призывал интеллигенцию к служению народу и привлекал внимание к положению рабочего класса (см. его ст. «Рабочий пролетариат во Франции», в которой дано изложение известной книги Энгельса «Положение рабочего класса в Англии»). В 90-е годы рабочие Петербурга поднесли ему адрес, а его похороны сопровождались демонстрацией рабочих и интеллигенции.

197. Белинский, Виссар. Григ. (1810—1848), разночинец-просветитель, критик «Отечеств. записок» и «Современника», оказавший сильнейшее

влияние на русскую общественную мысль. Сначала идеалист (шеллингианец и гегельянец), затем подпал под влияние Фейербаха и одно время увлекался утопическим социализмом; бунтарь по натуре, впадал в крайности: от признания монархизма до восхваления революционного *терроризма*. Если бы не преждевременная смерть, то, судя по многим данным, мог бы развиваться по направлению к марксизму гораздо дальше, чем Чернышевский.

198. Добролюбов, Николай Ал-дрович (1836—1861), критик «Современника» и его редактор вместе с Некрасовым и Чернышевским; разночинец-просветитель, материалист (последователь Фейербаха), не успел отделаться от влияния идеализма («мнения правят миром»), поднялся до понимания классовой борьбы, как борьбы между «людьми трудящимися и дармоедами», основатель так назыв. «публицистической критики» («Темное царство», «Что такое обломовщина?»).

199. Имеется в виду основательница «Недели» Евг. Иван. Конради (рожд. Бочечкарова, 1838—1898), писательница и переводчица; о приятельских отношениях между ней и П. Л. свидетельствует в своих записках о П. Л. Е. А. Штекеншнейдер.

200. Помещение «Историч. писем» в «Неделе» встретило порицание со стороны, например, Н. К. Михайловского. На это указывает Н. С. Русанов в своей статье о Лаврове.

201. В г. Кадникове, где П. Л. был в ссылке с октября 1868 г.

202. См. «По поводу критики на «Историч. письма» в настоящем томе.

203. Александр Македонский (356—323 до христ. эры), царь Македонии, завоевавший Малую Азию, Египет, Персию до Афганистана и Западную Индию и основавший в них много городов. Следствием этих завоеваний было проникновение греческой торговли на Восток, ознакомление европейцев с азиатской культурой и проникновение греческой культуры (эллинизма) в Азию и в Северную Африку.

204. «Русская правда» — первый древне-русский законодательный сборник 11-го века, содержащий постановления по гражданскому и уголовному праву и судопроизводству.

205. Иван Грозный (Иван IV Васильевич, 1530—1584), с 1533 г. — великий князь, а с 1547 г. — первый «царь всея Руси», отличался крайней жестокостью и большим политическим умом. Царствовал в эпоху разложения первой формы феодализма, обусловленного ходом хозяйственного развития — развитием торгового капитала, отодвинувшим на задний план боярство, опиравшееся на первичную форму феодального хозяйства (господство замкнутого натурального хозяйства — самообслуживание как усадьбы феодала, так и каждого крестьянского двора). Интересы торгового капитала и служилого дворянства обусловили как внутреннюю (борьба с боярством), так и внешнюю (Ливонская война, завоевание Казанского и Астраханского царства) политику Ивана IV.

206. Петр I (Алексеевич, 1672—1725), последний царь московский и первый император всероссийский с 1721; его царствование падает на эпоху бурного развития начальных капиталистических процессов; он является ярким представителем российского первоначального капиталистического накопления; организатор мануфактур, энергично приспособлявший феодально-крепостнические отношения к первоначальному капитализму; всемерно укреплял самодержавие и использовывал крепостнические отношения для укрепления и развития промышленности, заполняя мануфактуры крепостными рабочими.

207. Гегель, Георг-Вильгельм-Фридрих (1770—1831), немецкий философ-идеалист, завершивший развитие немецкой классической идеалистической философии; творец философской системы абсолютного диалектического идеализма, утверждавшей тождество бытия и мышления. Гегель доказал, что «вещь в себе» познаваема, так как проявляет себя полностью в явлениях, т. е. познается нами по мере изучения ее

свойств. Творческим началом всего существующего Гегель считал «абсолютный дух» («абсолютную идею»). При построении своей системы он переработал и развил диалектический метод, которым отчасти пользовались до него Кант и в особенности Фихте и Шеллинг. Он развил этот метод до энциклопедии диалектики, до учения о развитии путем борьбы противоположностей, но насквозь пропитанного идеализмом. Это его учение плюс учение о переходе количества в качество, наполненные материалистическим содержанием, вошли в философию марксизма. В политических вопросах Гегель был типичным буржуа.

208. В тексте, вследствие очевидной опечатки, напечатано: «что».

209. Гаузер, Каспар (1812—1833). См. о нем в примечании П. Л. в тексте.

210. Фейербах, Павел-Иоанн-Ансельм (1775—1833), немецкий криминалист, составитель нового баварского уголовного кодекса.

211. Церинген, старинный германский герцогский род.

212. Неправильное произношение, вместо Уэвель. См. примечание 55.

213. Бокль, Генри-Томас (1821—1862), англ. историк, автор «Истории цивилизации в Англии», где он объясняет историю человеческого общества влиянием естественных условий на человека и человеческого разума на окружающую среду. Разницу между европейской и неевропейской цивилизациями видел в том, что европейцы господствуют над природой благодаря силе своего разума, в то время как над народами других частей света господствует природа; утверждал неизменность нравственных понятий и не понимал значения экономической основы общества. Б. оказал огромное влияние на русскую революционную интеллигенцию 60—70-х годов.

214. Вико, Джованни-Батиста (1668—1744), итальянский ученый, философ и историк, автор «Новой науки о природе народов» (1725), в которой он старался доказать закономерность исторических явлений. По Вико развитие человечества совершается циклами. В жизни каждого народа различаются три возраста: век божественный (период мифов), героический (господство героев и военной силы и человеческий (период цивилизации), после которого цикл возвращается к своему началу.

215. Боссюет, Жак Бенинь (1627—1704), франц. духовный оратор и писатель, автор «Речи об истории» и многих других сочинений; теоретик монархического абсолютизма.

216. Конт, Огюст (1798—1857), франц. философ и математик, ученик Сен-Симона; глава школы позитивистов, системы, основанной на данных опыта, устанавливающей три фазы закономерного развития знания: теологическую, метафизическую и позитивную; имел огромное влияние на построения философии на основании точных наук.

217. Бюшэ, Филипп (1796—1865), франц. социалист-утопист, вначале сен-симонист, а затем основатель собственной школы; проповедывал разрешение социального вопроса мирным путем — путем организации производительных товариществ рабочих; старался примирить католицизм с социализмом. Во время революции 1848 г. солидаризировался с буржуазией и был первым председателем Национального собрания. После бонапартистского переворота 1851 г. отказался от политической деятельности.

218. Гимнот — электрический угорь в Южной Америке, производящий своим электрическим органом довольно тяжелые удары при прикосновении к нему. В тексте, по очевидной ошибке, напечатано: «гипнот».

219. Сезострис (14-й век до христ. эры) — первый египетский царь, упоминаемый греческим историком Геродотом.

220. Тамерлан (искаженное персидское название Тимур-и-Ленг, 1333—1405), основатель огромной среднеазиатской империи с центром в Самарканде; завоевал всю среднюю Азию, Индию и Персию.

221. Людовик XIV (1638—1715), самый яркий представитель французского самодержавия; при нем Франция заняла самое видное место в Европе, но расточительность его и войны привели к разорению народа.

222. Бисмарк, Отто, князь (1815—1898), германский государственный деятель и дипломат, создавший единство Германии и ее колониальную политику; первый германский канцлер с 1871 до 1890 г. Представитель интересов германских помещиков; провел «исключительные законы» против социалистов; с целью отвлечения рабочих от революционных идей и социализма ввел т. н. «социальное законодательство» (гл. обр. страхование рабочих), но выступал против запрещения труда подростков, против обязательного воскресного отдыха и против сокращения рабочего времени.

223. Гераклит (около 530—470 до христ. эры), греч. философ, один из ранних создателей диалектики, как учения о борющихся противоположностях во всем мире. Лассаль написал о Г. работу, где он сближал его с Гегелем.

224. Августин, Аврелий (354—439), известный «отец церкви», объяснявший события истории волей бога.

225. Чингиз-хан или Темучин (1155—1227), монгольский завоеватель Китая, средней Азии и южной Руси.

226. Габсбурги, династия германских и австрийских императоров и испанских королей. Последним из Г. был Карл I, лишенный престола при падении Австро-Венгерской монархии в 1918 г.

227. Гарибальди, Джузеппе (1807—1882), итал. революционер-демократ, боровшийся за объединение Италии; сочувствовал I Интернационалу и Парижской коммуне 1871 г.

228. Наполеон III (1808—1873), император Франции с 1852 по 1870 г. в эпоху «Второй империи». О нем говорит Маркс в своей работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта».

229. «Философия прогресса».

230. Хилиасты — сторонники учения о наступлении на земле чувственного тысячелетнего царства Христа; учение его считалось ересью в официальной церкви.

231. Гетерогенезис — инородность, чужеродность; появление в однородном потомстве нормальных родителей таких особей, которые резко отличаются от остального потомства теми или иными признаками и дают наследственно-устойчивые новые формы.

232. Аристотель (384—322 до христ. эры), величайший ученый древней Греции, создатель формальной логики, первой классификации животных, сравнительной анатомии, эмбриологии, геологии, автор «Этики», «Поэтики», «Политики» и др. сочинений, оказавших огромное влияние на развитие науки и философии.

233. Рошфор, Анри (1830—1913), франц. публицист и политич. деятель, боровшийся против порядков империи Наполеона III, популярный вождь левого мелкобуржуазного крыла республиканской партии; сочувствовал Парижской коммуне 1871 г. Впоследствии стал антисемитом и реакционером; в конце 80-х годов примкнул к военно-монархическому заговору ген. Буланже; во время дела Дрейфуса стал на сторону военно-монархической клики, затеявшей это дело.

234. Марото, Гюстав (1848—1875), французский журналист, издатель листков против Второй империи, после 4 сентября 1870 года сотрудник газеты Бланки «Отечество в опасности», во время Коммуны с 4 апреля издатель газеты «Гора», а с 16 до 22 мая — газеты «Общественное спасение», требовавшей борьбы с Версалем до конца. Присужден был к пожизненной каторге в 1872 г., умер на острове Ну в Новой Каледонии.

235. Эмбер (Humbert), Луи-Амедей (1814—1876), франц. государств. деятель, республиканец, отказавшийся присягать Наполеону III в 1852 г., член Национального собрания в 1870 г.

236. Бредло, Чарльз (1833—1891), англ. буржуазно-радикальный политич. деятель, выходец из мелкой буржуазии, бывший чартист, впоследствии агитатор-атеист, вице-президент Лиги реформы (избират.

права), депутат парламента, отказывавшийся от присяги, а потому из него временно изгонявшийся; пытался бороться с самостоятельным рабочим движением посредством организации атеистов.

237. Паленкэ, селение в Мексике, где в 1750 г. открыты развалины древнего города со следами цивилизации народа майя, погребенной под девственным лесом.

238. Сеннахерим (по греч. и по слав.-русскому переводу Библии, а по еврейскому тексту — Санхериб), царь Ассирии с 704 по 681 год до христ. эры, завоевавший Финикию, Вавилонию, Иудею, Египет и Халдею.

Навуходоносор (604—561 до христ. эры), царь Вавилонии, покоривший Сирию и Палестину и разрушивший в 587 г. до христ. эры Иерусалимский храм.

239. Амазис (570—526 до христ. эры), египетский фараон, друг греческой образованности.

240. Дарий I Гистасп (521—485 до христ. эры), древний персидский царь, завоевавший Вавилон и неудачно ведший войны со скифами и греками.

241. Кир (558—529 до христ. эры), основатель древнего персидского царства, завоевавший Вавилон, Мидию, Лидию и все страны от Индии до Эгейского моря.

242. Крез (560—546 до христ. эры), царь Лидии, владевший огромными богатствами и побежденный Киром.

243. Диадохи — преемники Александра Македонского, его полководцы, разделившие между собой после долгой борьбы созданную им всемирную монархию.

244. Консуляры — консулы — титул двух высших должностных лиц республиканского Рима, не имевших никакого значения в эпоху империи.

245. Архимед (287—212 до христ. эры), величайший греческий математик и механик.

246. Эпикур (341—270 до христ. эры), древнегреческий философ, основатель одной из главнейших афинских школ, проповедывавший гуманность даже по отношению к рабам; по Эпикуру задача философии заключается в том, чтобы «рассуждениями и беседами создавать блаженную жизнь».

247. Скачка с препятствиями.

248. Фиваида, пустынная местность в Верхнем Египте, где первые христиане предавались аскетической жизни («святой» Антоний и др.).

249. В тексте напечатано «двигатели», но из дальнейшего видно, что речь идет о «деятелях».

250. Александр Невский (1220—1263), с 1247 г. князь Новгорода, с 1252 г. — великий князь Владимирский, оказал ценные услуги новгородскому торговому капиталу, успешно ограждая его интересы в войнах со шведами, ливонцами и литовцами; с 1252 г. старший русский феодал при сюзерене — татарском хане, в союзе с татарами и русским купечеством, интересы которого он защищал, прославился ограблением населения в форме взимания дани в одинаковом размере, как с бедного, так и с богатого.

251. Блан, Луи (1811—1882), франц. политический деятель и историк; сторонник утопического мелкобуржуазного социализма, противник насильственных мер в целях преобразования общества; наиболее законченный тип соглашателя в рабочем движении; в 70-х годах отстаивал идею солидарности интересов пролетариата и буржуазии и был противником Парижской коммуны.

252. «История французской революции», Париж.

253. «Позволяйте делать всякому, что он хочет» — принцип либеральной фритредерской экономической школы, отрицающей всякое вмешательство государства в экономические отношения.

254. Пруст, Луи-Жозеф (1754—1826), франц. химик, профессор химии в Париже и в Испании, с 1816 г. член Французской академии.

255. Смит, Адам (1723—1790), англ. экономист, основатель классической политической экономии. В его сочинениях впервые высказывается положение, что стоимость определяется количеством затраченного труда, но наряду с этим он признает и теорию издержек производства, отрицающую теорию трудовой ценности.

256. Тразибул — афинский полководец во время Пелопонесской войны, освободивший Афины в 411 г. до христ. эры от владычества 30 тиранов. В тексте, вследствие опечатки, напечатано: «Тразивул».

257. Бурбоны — королевская династия во Франции с 1593 г., в Испании — с 1713 г. и в Италии — с 1735 г.

258. Шехеразада, жена сказочного персидского царя, отдалявшая от себя казнь посредством рассказывания ему сказок в течение 1001 ночи.

259. Старый порядок.

260. Расин, Жан (1639—1699), выходец из рядов крупной буржуазии, крупнейший франц. драматург, писавший по всем правилам классической поэтики; его герои — цари, принцы, придворные, одержимые бурными чувствами (любовь, ревность, властолюбие). Расин — писатель близких ко двору высших слоев бюрократии и судейского сословия.

261. Буало, Николай (1636—1711), франц. поэт и критик, автор кодекса *классической* поэзии (1674), господствовавшего во всех странах до Лессинга (см. № 21) и соответствовавшего вкусам монархической знати.

262. Робеспьер, Максимилиан (1758—1794), вождь якобинской партии (революционной мелкой буржуазии) в эпоху Великой франц. революции, за свои личные качества получивший прозвище «Неподкупный».

263. Бабеф, Франсуа-Ноэль (1760—1797), по прозвищу Гракх, основатель коммунистического «Общества равных» с целью свержения реакционного правительства, захватившего власть после переворота 9 термидора (27 июля 1794), за что был казнен. Основные идеи Бабефа (бабувизм): уничтожение частной собственности на землю и экономического неравенства, установление коммунистического строя путем захвата власти и установления в интересах народной бедноты диктатуры организованного революционного меньшинства.

264. Под «маленьким капралом» разумеется Наполеон I (1769—1821), французский император с 1804 до 1815 г., который был маленького роста.

265. Людовик-Филипп или Луи-Филипп (1830—1848), последний франц. король из младшей Орлеанской линии династии Бурбонов, возведенный на престол при поддержке крупной финансовой и промышленной буржуазии, слугой которой он являлся во все время своего царствования.

266. Людовик «святой» IX (1215—1270), франц. король с 1226 г., предпринявший 2 крестовых похода в Палестину и усиливший королевскую власть.

267. Стоглав — сборник постановлений собора, созванного в 1551 г. в Москве Иваном Грозным, касавшегося церковных и гражданских дел.

268. «Домострой» — древнерусское письменное наставление 16 века, рекомендующее главе семьи (зажиточного торгового класса) грубый произвол над женой, детьми и мелочные правила домашнего обихода.

269. «Красное солнышко» — одно из прозвищ Владимира Святославовича, бывшего с 980 до 1015 г. великим князем киевским; князь — варяг, полукупец, полуразбойник; расширил и укрепил деятельность торгового капитала.

270. Святогор — богатырь непомерной силы новгородского цикла русских былин.

271. Екатерина II (1729—1796), русская императрица с 1762 г., усилившая власть дворянства в России и ухудшившая положение крестьян; была и писательницей.

272. Сперанский, Мих. Мих. (1772—1839), государств. деятель, в 1809 г., идя навстречу промышленно-капиталистическому развитию, выработал проект буржуазно-монархической конституции, не получивший

осуществления; позднее восхвалял самодержавие; издал первый Свод законов в 1826—1833 гг.

273. В 1854 г. началась Крымская война, окончившаяся поражением России и выявившая всю ее отсталость сравнительно с европейскими странами. В 1861 г. произошло «освобождение» крестьян. В 1863 г. — польское восстание. В 1889 г. — учреждение должности земских начальников с целью административного и судебного подчинения крестьян дворянам, местным помещикам.

274. Кузен, Виктор (1792—1867), франц. философ-эклектик, имевший сильное влияние во Франции в эпоху реставрации с 1815 по 1830 г.; выразитель реакционного переворота буржуазии после Великой французской революции.

275. Лукиан (около 120—180), древнегреческий сатирик, высмеивавший мировоззрение и нравы современного ему общества и оказавший большое влияние на европейскую литературу с 15 века.

276. Катков, Мих. Никифорович (1818—1887), русский публицист, сначала прогрессист, а с 1862 г. обличитель нигилизма и ярый защитник самодержавия.

277. Византия — Византийская империя, восточная половина Римской империи после раздела последней в 395 г. со столицей Константинополь, носившей название Византии. В ней государство слилось с церковью и развилось сильно самодержавие. В 1453 г. В. завоевана турками.

278. Дракон — составитель жестоких законов в Афинах в 624 г. до христ. эры, направленных к ограничению прав народа.

279. Народы эти, по Библии, повелел древним евреям истребить сам бог.

280. Варфоломеевская ночь — ночь святого Варфоломея с 23 на 24 августа 1572 г., когда произошло избиение в Париже католиками гугенотов.

281. Цезарь, Кай-Юлий (100—44 до христ. эры) — римский полководец и писатель, в 45 г. захвативший власть и сделавшийся императором и убитый через год республиканцами. Был самодержавным властителем при сохранении внешних форм республиканского правления. Его имя стало впоследствии частью титула римских и средневековых императоров.

282. Из двух Катонов древности здесь имеется в виду Катон, Марк-Порций, Младший (95—46 до христ. эры), глава аристократической республиканской партии в борьбе против Цезаря, убивший себя, чтобы не видеть торжества тирана.

283. Домициан, Тит-Флавий, римский император с 81 по 96 г. Цезарь-Август — прозвище всех римских императоров.

284. Геслер — жестокий наместник германского императора в кантоне Ури, в Швейцарии, убитый, по преданию, стрелком Вильгельмом Теллем в 1307 г.

285. Кассианы, от главы юридич. школы Кассия, Гая-Лонгина, известного римского юриста 30-х годов христ. эры.

286. Бенедикт Нурсийский (480—543), средневековый монах, основавший католический монашеский орден близ Неаполя, названный по его имени Бенедиктинским.

287. Родовой суд.

288. Хлодовик или Хлодвиг, король франков с 481 по 511 г., принявший христианство и объявленный за это «святым». Он перенес столицу в Париж в 508 г.

289. Монж, Гаспар (1746—1818), франц. математик, создатель начертательной геометрии и политехнической школы; работал по установлению новой метрической системы мер и весов во время Великой франц. революции.

290. Бертолле, Клод-Луи (1748—1822), известный франц. химик, открывший соль, названную его именем, способ беления хлором и др.

291. Фуркруа, Антуан-Франсуа (1755—1809), франц. химик и революционер, проведший в 1792 г. новую метрическую систему мер и весов, член революционного конвента.

292. Гумбольдт, Вильгельм (1767—1835), нем. ученый языковед и обществ. деятель; сторонник буржуазной монархии.

293. Араго, Доминик-Франсуа (1786—1853), франц. физик и астроном, один из вождей республиканского движения и член революционного временного правительства во время революции 1848 г.

294. Вирхов, Рудольф (1821—1902), немецкий патолого-анатом, физиолог, эпидемиолог и антрополог, освободивший медицину от умозрительных гипотез; участник мартовской революции 1848 г., с 1856 г.— вождь прогрессистов, после 1871 г. — деятель герм. национальной партии.

295. Прежнее положение.

296. В тексте, вследствие очевидной опечатки, напечатано: «обладании».

297. Шекеры, религиозная секта, возникшая в 1747 г. в Манчестере и переселившаяся в Сев. Америку; главные ее особенности: безбрачие, общность имущества, отказ от присяги.

298. Саади (1184—1291), знаменитый персидский поэт.

299. Шиллер, Фридрих (1759—1805), нем. поэт, критик и историк; в своих произведениях выражал антифеодальные настроения развивавшейся буржуазии; впоследствии, неудовлетворенный противоречиями, раздиравшими буржуазию переходного времени, отказался от политических устремлений и в своих позднейших произведениях стал уходить от современности.

300. Te deum laudamus — «Тебя, бога, хвалим», католический церковный гимн.

301. Риль, Вильгельм-Генрих (1823—1897), нем. писатель и публицист, член парламента во время революции 1848 г., консерватор. В книге «Страна и люди» доказал разноплеменность немцев.

302. Аверроэс, правильнее — Ибн-Рожд (1126—1198), арабский врач и ученый, отрицавший сотворение мира из «ничего».

303. Гейне, Генрих (1797—1856), нем. поэт, радикальный публицист и критик, оказавший влияние на мировую литературу. Умственное развитие и литературная деятельность Гейне протекали в эпоху ломки феодализма и перехода Европы к буржуазно-капиталистической системе хозяйства; отсюда двойственность его настроений: представления, возникшие в недрах феодального общества, и элементы нового материалистического миросозерцания обусловили его колебание между революционными протестами и мистико-религиозными порывами.

304. Ротшильд, Мейер-Ансельм (1743—1812), франкфуртский банкир, потомки которого основали сеть банкирских домов во всей Европе и играли крупную роль в выпуске займов европейских правительств.

305. Мейербер, Джакомо (1791—1864), композитор, автор опер: «Гугеноты», «Африканка» и др.

306. Катон Старший (234—149 до христ. эры), римский цензор, ведавший исчислением населения, самый горячий противник Карфагена.

307. Югурта, нумидийский царь, ограбивший своих родственников и ведший в 111—106 гг. войну с Римом, заступившимся за родственников Югурты.

308. Иегова — одно из названий бога у древних евреев.

309. Обманутые и мошенники-обманщики.

310. Людовик XI (1423—1483), франц. король, сильно возвысивший королевскую власть и содействовавший объединению Франции.

311. Фердинанд V Католик (1452—1516), король Аррагонии и Кастилии, укрепивший королевскую власть, объединивший Испанию до Пиринеев и изгнавший мавров из Испании.

312. Стюарты — с 1370 г. шотландская и с 1603 г. до 1714 г.

английская королевская династия. Из ее представителей король Карл I был казнен революцией в 1648 г., а Иаков I был низложен второй революцией в 1689 г.

313. В тексте, вследствие очевидной опечатки, напечатано: «благотворимому».

314. Джон-Буль, насмешливое прозвище англичан; означает: Джон-Бык (намек на упрямство).

315. Братец-Джонатан — шуточное прозвище северо-американцев.

316. Ричмонд, главный город Штата Виргиния в С. Штатах Сев. Америки, центр южан во время гражданской войны Севера и Юга.

317. Фихте, Иоанн-Готлиб, Старший (1762—1814), нем. философ-идеалист. В 1813 г. вышло его «Учение о государстве», а в русском переводе его «Яснейшее изложение, в чем состоит существенная сила новейшей философии». Фихте развивал Кантовскую философию в сторону субъективного идеализма; в области политической Фихте выступал в качестве сторонника своеобразного государственного социализма, при котором государство («замкнутое торговое государство») заботится о каждом гражданине, не допускает нужды, регулирует промышленность, земледелие и торговлю. Эти идеи отражали мелкобуржуазные утопии разоренных капитализмом ремесленников и крестьян.

318. Людовик XV (1710—1774), франц. король с 1715 г., при котором праздная роскошь дворянства и нищета народа дошли до крайней степени.

319. Разин, Степан Тимофеевич, вождь крестьянской революции 1667—1671 гг., направленной против помещиков.

320. Гомериды — потомки Гомера на острове Хиосе, обладавшие искусством декламировать его поэмы, а также поэты, которые, как это установлено исследованиями ученых, сочинили отдельные части «Илиады» и «Одиссеи», приписываемые Гомеру.

321. Ахилл или Ахиллес, легендарный сильнейший из древнегреческих богатырей, осаждавших Трою, герой «Илиады» Гомера.

322. Гектор, легендарный сын троянского царя Приама, отважнейший из защитников Трои, герой «Илиады» Гомера.

323. Елена Прекрасная, легендарная жена спартанского царя Менелая, убежавшая с сыном троянского царя Парисом в Трою и тем вызвавшая Троянскую войну; героиня «Илиады» Гомера.

324. Бруно, Джордано (1548—1600), итальянский философ и поэт, противник схоластики и защитник свободы мысли и учения Коперника о мире, сожженный инквизицией. Бруно явился одним из наиболее ярких представителей той плеяды борцов прогрессивных слоев промышленной и торговой буржуазии, которые вели со все возрастающим успехом борьбу с диктатурой римской церкви, в интересах феодализма защищавшей идею божественного промысла и извечную неизменность явлений и вещей.

325. Лаврентий, архидиакон римского папы Сикста II, сожженный на железной решетке в 258 г., во время гонений на христиан императора Валериана, и канонизированный церковью, как «святой».

326. Гус, Ян (1396—1415), чешский реформатор католицизма, сожженный за это. Проповеди Гуса выражали ненависть чешских ремесленников и крестьян к богатому (большей частью немецкому) духовенству и богатым горожанам-немцам; основная идея Гуса заключалась в создании чешской национальной церкви в духе идеалов евангельской бедности. Вместо организации ремесленников и крестьян для решительной борьбы с католической церковью и ее экономическим гнетом, Гус стремился использовать заинтересованность чешской знати в обращении церковной земельной собственности в светскую государственную и привлечь ее (чешскую знать) на свою сторону. Вследствие этого движением овладели чешские и моравские бароны, тогдашняя буржуазия и придворная (тоже чешская) знать, предавшие крестьян

и ремесленников в тот момент, когда последние были близки к победе. Чешская буржуазия и помещики заключили соглашение с католиками-немцами и разгромили движение низов.

327. Спиноза, Барух или Бенедикт (1632—1677), философ, критиковавший библию и не допускавший в объяснении мира и жизни людей каких-либо сверхприродных сил; философия С. оказала большое влияние на выработку научного материализма. В его философии нашли свое отражение взгляды небольших в ту эпоху групп радикальной буржуазии, стремившихся в интересах развития капитализма к невмешательству государства в дела и жизнь отдельных лиц (т. е. буржуазии).

328. Штраус, Давид-Фридрих (1808—1874), нем. писатель, доказывавший, что евангелие есть собрание мифов; несмотря на это обстоятельство, Штраус, как буржуазный мыслитель, в эпоху 1848 г. занимал реакционные позиции и враждебно относился к рабочему движению.

329. Преобладает; от франц. слова primer. Этот галлицизм не употребителен в нашей литературе, да и у самого П. Л. встречается здесь чуть ли не единственный раз.

330. Солон (около 638—558 до христ. эры), афинский законодатель.

331. Утоп — по-гречески вне места — государь-завоеватель в «Утопии» Томаса Мора (1480—1535), английского гуманиста и госуд. деятеля, казненного за непризнание религиозного авторитета англ. короля. В «Утопии» изображен идеальный строй общества, основанный на общности собственности и обязательном труде.

332. Алексей Михайлович (1629—1676), 2-й царь из династии Романовых, царствовавший с 1645 г. и прозванный «Тишайшим» за то, что был послушным орудием в руках бояр, дворян и верхних слоев торговой буржуазии (гостей); жестоко подавлял народные волнения; при нем (в 1648 г.) крестьянам окончательно было запрещено переходить с одного местожительства на другое (окончательное закрепощение крестьян).

333. «Первая попытка организации этой силы, ужаснувшей все господствующие элементы старого мира», т. е. I Интернационал, просуществовал не 8 лет, а 12 лет, до 1876 г., но П. Л., повидимому, считает последним годом существования Интернационала 1872 год, когда с исключением Бакунина и Гильома на Гаагском конгрессе Интернационал распался на марксистское и бакунинское крыло.

334. Имеется в виду «культуркампф» Бисмарка в Германии, выразившийся в «майских законах» начала 70-х годов, по которым были изгнаны иезуиты, школа подчинена государству, введен гражданский брак и т. п. Однако в конце 70-х годов, для борьбы с социалистами, Бисмарк отменил ряд законов против церкви и сблизился с католиками.

335. Статья «Формула прогресса г. Михайловского», по указанию самого П. Л., тесно связана с его «Историческими письмами», дополняя и исправляя их отдельные мысли. Она же служила предварительным этюдом к тем исправлениям в «Истор. письмах», которые П. Л. произвел во 2-м их издании.

Первоначально она была напечатана в «Отечеств. записках» (1870, № 2) без подписи и вызвала в «Знании» статью С. Южакова «Субъективный метод в социологии» (1873, № 10).

Здесь она перепечатывается в 3-й раз. В первый раз она была перепечатана в 1906 г. в издании «Русского богатства», во второй раз — в «Собрании сочинений П. Л. Лаврова» в 1918 г., но обе эти перепечатки стали библиографической редкостью.

336. Троицкий, Матвей Мих. (1835—1899), профессор философии в Киевской духовной академии, затем в университетах Казани, Варшавы и Москвы, последователь английского эмпиризма. В эпоху упоминания о нем П. Л., Троицкий выпустил книгу «Немецкая психология в текущем столетии» (1867).

337. Разумеется 1869 год.

338. Это была статья самого П. Л: «Герберт Спенсер и его «Опыты», напечатанная в № 6 «Женского вестника» за 1867 г.

339. Флуранс, Мари-Жан-Пьер (1794—1867), франц. физиолог, отец коммунара Гюстава Флуранса. П. Л. неправильно называет его Флураном.

340. В этом же «Невском сборнике», том I за 1867 г., была помещена за подписью: П-ов и статья П. Л. «Несколько мыслей об истории мысли».

341. Справедливость.

342. Равенство.

343. Высшая справедливость есть высшая обида.

344. Софокл (496—405 до христ. эры), греческий драматург, черпавший темы своих трагедий из мифов.

345. Антигона — героиня двух трагедий Софокла, олицетворяющая тип самопожертвования для блага других.

346. Антропофагия — поедание людей.

347. Байрон, Джордж-Ноель-Гордон (1788—1824), англ. поэт, по своему мироощущению деклассированный аристократ; гибель феодально-помещичьего строя рождала сознание обреченности и класса, вскормленного им — дворянства, и идеологии, и быта последнего. Но и буржуазная система хозяйства, в особенности в начальной своей стадии, и ее носители не могли привлечь на свою сторону людей типа Байрона. Отсутствие мощного рабочего движения и в особенности сильной партии пролетариата, вооруженной подлинно революционной теорией, создавали настроения безнадежности. Этим «лишним» людям ни класс погибающий, ни классы, начинавшие заполнять авансцену жизни, не были близки, они с ними не могли спаяться и поэтому не могли найти себе места «под солнцем». Байрон принял участие в национально-революционном движении Италии и Греции, был выразителем настроений либерального и революционного поколения 1820—30-х гг.

348. Птоломеи — династия царей Египета с 323 до 30 г. до христ. эры.

349. Висконти — династия герцогов в Ломбардии с 1037 до 1447 г.

350. Каракалла, Марк-Аврелий-Антонин, римский император («цезарь») с 211 до 217 г., отличавшийся жестокостью и развратом.

351. Якобы.

352. Александрия, столица Египта, при Птоломеях бывшая центром образованности и имевшая величайшую библиотеку древнего мира.

353. Сиракузы, город на острове Сицилии, столица ряда греческих тиранов, центр греческой науки и искусства на Западе.

354. Пожелания.

355. Статья «По поводу критики на «Исторические письма» является ответом на критические статьи Н. В. Шелгунова (см. № 197) и А. А. Козлова, революционера-шестидесятника (1831—1901), впоследствии профессора философии в Киевском университете, порвавшего связь с революционным движением. Статья Козлова была напечатана в № 2 «Знания» за 1871 г. и подписана: А. Козлов. Как видно из письма П. Л. к Штакеншнейдер, где он упоминает о своем ответе на критику «Ист. писем», он писал эту статью в Париже и собирался поместить ее за подписью «Миртов», но редакция побоялась воскресить эту подпись, и она появилась за подписью: «П. М.», причем автор говорит о Миртове в 3-м лице. Основные мысли, высказанные в этой статье, внесены были впоследствии П. Л. во 2-е издание «Историч. писем». Перепечатка этой статьи П. Л. из «Знания» (1871, № 10) поможет исследователям «Историч. писем» познакомиться с тем, как П. Л. использовал критику его книги для ее дополнения и исправления.

356. В «Деле» была помещена статья Н. В. Шелгунова, в «Знании» — статья А. А. Козлова, но не в № 2, а в № 3.

357. См. примеч. 218.

358. Гончаров, Ив. Ал-рович (1814—1891), романист, в 1856—1873 гг. был цензором. Связанный рождением с купеческой, образованием с дворянской и службой с бюрократической средой, Гончаров в своих произведениях отразил в положительных тонах представителей этих трех общественных групп. По своей идеологии и мироощущению — умеренный либерал, сторонник сращивания дворянства с буржуазией плюс бюрократия. Типичнейший представитель «прусского» пути развития России в области экономики с тем, однако, чтобы в области политики сохранялась гегемония за капитализировавшимся помещиком.

359. Лавуазье, Антуан-Лоран (1743—1794), франц. химик, физик и метеоролог и революционный деятель, отец научной химии, уяснивший роль кислорода в процессах дыхания, горения, брожения и окисления и тем опровергший господствовавшую в течение столетия до него теорию о мнимом флогистоне, летучем, невидимом веществе с отрицательным весом, которое якобы содержится во всех телах.

360. Евклид (около 330—275 до христ. эры), один из величайших математиков древней Греции, автор «Начал геометрии» в 13 книгах, лежащих доныне в основе школьных учебников геометрии во всем мире.

361. В тексте, вследствие очевидной опечатки, напечатано: «делайте».

362. Дамокл — любимец сиракузского тирана *Дионисия Старшего* (406—367 до христ. эры); желая охранить Дамокла от зависти к себе, Дионисий раз на пиру посадил его на свое место, повесив над ним на конском волоске меч; увидев его, Дамокл отскочил в сторону. Отсюда выражение: Дамоклов меч, означающее ежеминутно грозящую опасность, несмотря на видимое благополучие.

363. Печатаемые здесь впервые в русском переводе две корреспонденции П. Л. Лаврова за подписью «Л. Пьер» напечатаны в брюссельской бакунинской газете «Интернационал». Принадлежность их П. Л. установлена мною прежде всего на основании их содержания, так как отдельные их выражения почти тождественны с такими же выражениями из писем П. Л. Лаврова к его петербургской приятельнице Е. А. Штакеншнейдер той же эпохи (указания на это даны дальше в примечании 376). Кроме того, известно, что живя в Цюрихе в 1872—1873 гг., П. Л. Лавров для своих адресов корреспондентам из России давал фамилии *Пьер и Сидоров.* (См. письмо к Штакеншнейдер от 20 (8) ноября 1872 г.).

История этих корреспонденций такова. Незадолго до Парижской коммуны П. Л. ездил из Парижа в Брюссель и прожил там недели три (см. Лавров, П. Л. «Парижская коммуна». Изд. «Прибой» 1925, стр. 63). Настоящая причина этой поездки в Брюссель неизвестна. Но П. Л. мог поехать в Брюссель или по поручению выдающегося деятеля Интернационала в Париже — рабочего Варлена, введшего П. Л. еще осенью 1870 г. в члены Интернационала, или для сопровождения своей гражданской жены, польской революционерки А. П. Чаплицкой, которая занималась выделкой искусственных цветов для женских шляп и, в виду франко-прусской войны, была вынуждена искать сбыта для своих изделий в Брюсселе. Как видно из письма П. Л. к Штакеншнейдер от 5 мая 1871 г., он был даже *два* раза в Брюсселе и один раз в Антверпене.

Варлен был членом бакунистского Альянса и состоял в деятельной переписке со сторонниками Бакунина, издававшими с 16 января 1869 г. в Брюсселе еженедельную газету «Интернационал», секретарем который был бакунист Евгений Гинс и в которой писал и М. А. Бакунин.

В письме к Е. Н. Штакеншнейдер из Брюсселя в Гейдельберг от 9 марта 1871 г. (по новому стилю) П. Л. упоминает о «доме», на

который адресовал письма, с которым «находится в постоянных сношениях и где бывает по 2 раза в сутки, чтобы узнать, нет ли известий, принести рукопись статейки, просмотреть корректуру и т. п.» (см. «Письма П. Л. Лаврова к Е. Н. Штакеншнейдер» в «Голосе минувшего» 1916, № 8, стр. 116). Этот «дом» — редакция газеты «Интернационал», в которой П. Л. напечатал кое-что и до корреспонденций из Парижа.

Повидимому, редакция газеты «Интернационал» просила П. Л. написать для нее корреспонденции из Парижа и статьи о России, так как в письме к Е. Н. Штакеншнейдер от 9 (21) марта 1871 г. П. Л. упоминает, что ему нужна книга Флеровского (разумеется «Положение рабочего класса в России» 1869 г.): «последний мне очень бы полезен был теперь, так как один брюссельский журнал просил меня о помещении нескольких статей об экономическом положении России» (см. там же, стр. 121). Действительно, одна такая статья компилятивного характера без подписи напечатана в «Интернационале» — и это, повидимому, статья П. Л.

Корреспонденции П. Л. о Парижской коммуне интересны тем, что в них дана им *первая* революционная оценка Коммуны в *европейской социалистической печати*, и дана до Маркса, писавшего свою «Гражданскую войну» в конце мая 1871 г. Возможно, что Маркс, следивший за брюссельским изданием «Интернационал», читал корреспонденции «Л. Пьера», не зная, кто автор. Но несомненно, что Лавров, когда он ознакомился с «Гражданской войной» Маркса, получил в ней добавочный заряд энтузиазма по поводу Коммуны, так как в письме к Штакеншнейдер от 10—22 октября 1871 г. он пишет о Парижской коммуне гораздо интереснее и глубже, чем писал в своих корреспонденциях.

Специалистами-историками Парижской коммуны корреспонденции П. Л. о Коммуне дадут возможность проследить *первое отражение в печати* этого всемирно-исторического события, автором которого (отражения) был русский революционер.

364. О Бланки см. прим. 88. К началу Парижской коммуны Бланки был арестован, но заочно был избран 26 марта 1871 г. в члены Коммуны в двух округах Парижа.

365. Пиа, Феликс (1810—1889), участник революции 1848 г. и восстания 31 октября 1870 г., депутат с февраля 1871 г., якобинец, имевший связи с членами Интернационала; был избран в члены Коммуны 26 марта 1871 г. и вошел в состав ее якобинско-бланкистского большинства; заочно приговорен к смерти, амнистирован в 1880 г., вернулся во Францию и примкнул к социалистам-оппортунистам.

366. Флуранс, Гюстав (1838—1871), профессор физиологии, сотрудник газеты парижских членов Интернационала «Марсельеза», участник восстания 31 октября 1870 г., за что в декабре был арестован, затем во время восстания 22 января 1871 г. был освобожден народом; приговорен заочно к смерти и скрывался до Парижской коммуны. 26 марта избран в члены Коммуны и 29 марта назначен генералом в 20-м легионе. Убит во время вылазки коммунаров 3 апреля 1871 г. С 1869 г. был очень популярен в революционных кругах. 21 марта (когда П. Л. писал свою корреспонденцию) о Бланки, Пиа и Флурансе еще не могло быть известно, что они будут избраны в члены Коммуны.

367. Гамбетта, Леон-Мишель (1838—1882), блестящий оратор, противник Второй империи, депутат с 1869 г., руководитель буржуазной революции 4 сентября 1870 г. и член правительства Национальной обороны. Недовольный ратификацией (в марте 1871 г.) Национальным собранием условий мирного договора, предложенных Бисмарком, сложил с себя полномочия, удалился от политической деятельности и выехал из Франции в Испанию. Период Коммуны провел вне Франции. Позднее

министр-президент Третьей республики. Отец «оппортунистической» тактики парламентской буржуазии, враг социализма.

368. Гюго, Виктор Мари (1802—1885), поэт-романтик; в начале деятельности роялист и католик, затем радикальный политический деятель, а в конце — республиканец, враг клерикализма и утопист-социалист правого крыла; жил с 1851 до 1871 г. в эмиграции; Парижскую коммуну приветствовал «в принципе, а не в выполнении».

369. Ледрю-Роллен, Александр-Огюст (1807—1874), мелкобуржуазный демократ, член временного правительства во время революции 1848 г., подавлявший июньское восстание рабочих; глава восстания 13 июля 1849 г.; эмигрант, вернувшийся в Париж лишь после революции 4 сентября 1870 г.; в эпоху Коммуны был членом Учредительного собрания.

370. О Луи Блане см. прим. 251. Здесь нужно добавить, что, будучи членом временного правительства во время 1848 г., пытавшимся осуществить социальную реформу посредством устройства национальных мастерских, он после поражения революции вынужден был эмигрировать в Англию, откуда вернулся после 4 сентября 1870 г., и пользовался в это время большим авторитетом. Во время Парижской коммуны вместе с некоторыми членами «левой» Национального собрания примкнул к версальцам, расстреливавшим коммунаров. В 1876 г. был избран в палату депутатов, где примкнул к радикальной партии.

371. Делеклюз, Луи-Шарль (1809—1871), журналист-якобинец, участник тайных революционных обществ с 30-х годов, комиссар республики в 1848 г. После революции 4 сентября 1870 г. мэр в 19-м округе Парижа и депутат с февраля 1871 г. Избран в члены Коммуны 26 марта. Умер на баррикаде 25 мая.

372. О Варлене см. примечание 79. После 4 сентября 1870 г. Варлен был участником восстания 31 октября и организатором ЦК 20 округов и ЦК национальной гвардии. 26 марта избран в члены Коммуны сразу в 3 округах.

373. Асси, Адольф-Альфонс (1840—1866), рабочий-механик, токарь по металлу, был волонтером у знаменитого революционера-патриота Гарибальди в Италии, член Интернационала (сторонник Бакунина), участник и организатор стачки в Крезо в 1870 г. и оратор публичных собраний в Париже; после 4 сентября 1870 г. офицер национальной гвардии и один из организаторов ее ЦК и его член. С 17 марта 1871 г. начальник 67 батальона национальной гвардии, с 18 марта — комендант Ратуши; 26 марта — член Коммуны от 11-го округа; с 29 марта — член комиссии общественной безопасности; заведывал производством военного снаряжения; взят в плен 21 мая и сослан в новую Каледонию; после амнистии 1880 г. остался в Нумсе, столице Новой Каледонии, где был советником муниципалитета.

374. Имеются в виду выборы в Национальное собрание 8 февраля 1871 г., которое должно было утвердить условия мира с немцами.

375. Тьер, Луи-Адольф (1797—1877), франц. государственный деятель с 30-х годов 19 века, историк, публицист, ярый защитник интересов буржуазии и ожесточенный враг мелкобуржуазной демократии и социализма; вдохновитель и организатор в качестве главы правительства разгрома Парижской коммуны и физического истребления коммунаров.

376. Во всем этом абзаце целый ряд выражений почти тождествен с тем, что П. Л. пишет из Парижа 9 (21) марта в письме к Е. Н. Штакеншнейдер. (См. «Голос минувшего» 1916, № 8, стр. 121—122).

377. Монмартр — название рабочего квартала в Париже, самой возвышенной его части, где находилось большинство пушек национальной гвардии.

378. Имеется в виду Национальное собрание, избранное 8 февраля 1871 г., в котором преобладало землевладельческое дворянство и которое революционеры называли презрительно «Собранием деревенщины».

379. Три генерала-реакционера: Винуа — военный губернатор Парижа, закрывший на основании осадного положения наиболее левые республиканские газеты; Орель-де-Паладин — главнокомандующий национальной гвардией, которого, как бонапартиста, национальная гвардия в лице ее ЦК игнорировала; Валантен — префект полиции.

380. Завтра — это 22 марта. Действительно, первоначально выборы в Коммуну были назначены ЦК национальной гвардии на 22 марта, но вследствие противодействия мэров дважды откладывались и фактически произошли лишь 26 марта.

381. Ошибка. Выборы были не 27, а 26 марта 1871 г.

382. Намек на контрреволюционное выступление 22 марта вооруженных «сторонников порядка» — биржевиков и спекулянтов, когда по ним был дан залп на Вандомской площади после того, как они убили и ранили несколько национальных гвардейцев.

383. Это были 1, 2, 6 и 9 округа Парижа, населенные по преимуществу буржуазными элементами и управлявшиеся контрреволюционными мэрами. Обладая вооруженной силой из национальных гвардейцев до 25 000 человек, они вынудили ЦК национальной гвардии соорудить баррикады на Вандомской площади и заменить ненадежных мэров своими комиссарами.

384. 35 либеральных и радикальных буржуазных газет Парижа напечатали воззвание, приглашавшее население бойкотировать выборы в Коммуну и бешено травившее ЦК национальной гвардии.

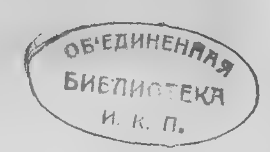
385. Большинство членов ЦК национальной гвардии были рабочие и члены Интернационала. См. об этом подробно в моей статье «Подготовка Парижской коммуны» («Каторга и ссылка», 1931, № 3, стр. 240—241).

386. Опять намек на контрреволюционное выступление 22 марта. См. примечание 382.

387. В силу инерции, население было склонно голосовать на выборах в Коммуну за тех же мэров и их помощников, за которых оно голосовало на муниципальных выборах осенью 1870 г. Но так как многие мэры и их помощники себя дискредитировали в глазах населения, то они не были избраны. И все же с десяток реакционных мэров был избран в члены Коммуны, но они сами сложили свои полномочия членов Коммуны, не веря в ее дело.

388. Последние 2 фразы свидетельствуют о том, что П. Л. Лавров уже в начале Коммуны ясно осознал себя самого как «социалиста-мыслителя».

389. Сведения о положении рабочего класса Венгрии из частного письма П. Л. Лавров, несомненно, добыл от члена Коммуны — рабочего-ювелира Лео Франкеля (по немецкому произношению — Френкель — 1844—1896), который был секретарем парижского федерального совета Интернационала для заграницы и родом был из Венгрии. Будучи руководителем немецкой секции Интернационала в Париже, Франкель поддерживал сношения с членами Интернационала в Венгрии.


ОБ'ЕДИНЕННАЯ БИБЛИОТЕКА И. К. П.

БИБЛИОГРАФИЯ СОЧИНЕНИЙ П. Л. ЛАВРОВА И О НЕМ

Цель настоящей работы — дать возможно более полный перечень произведений Лаврова, кроме его стихов и писем к частным лицам, в хронологическом порядке их появления в печати, и указать вкратце их содержание и всю литературу о них.

Для экономии места названия журналов, газет, сборников и серийных изданий, в которых печатался Лавров, даны в сокращенном виде и каждому его произведению дан особый порядковый номер во избежание повторений; при ссылках будут указаны только эти номера.

В «Списке важнейших статей и книг П. Л. Лаврова в хронологическом порядке их появления», данном в приложении к моей книжке о Лаврове, под 1852 и 1853 гг. мною приписаны Лаврову, вслед за П. Витязевым, выставившим эти статьи на выставке в память Лаврова в 1923 г. в Музее революции в тогдашнем Петрограде, следующие статьи: «Библиографические заметки» (в подлиннике заглавие — «Библиография»), «О ручном огнестрельном оружии» и «О вновь вводимой в Австрии материальной части артиллерии». По проверке оказалось, что эти статьи имеют подписи: «Полковник Лавров», между тем П. Л. Лавров получил чин полковника только в 1858 г., да и подписывался он обычно в военных изданиях, за одним исключением, только инициалами. Отсюда следует, что указанные статьи принадлежат не П. Л. Лаврову, а другому лицу, бывшему в 1852 г. полковником.

Там, где Лавров подписывается полной своей фамилией, подпись *не* указывается, все прочие виды его подписей и их отсутствие всегда отмечаются, равно как и даты написания статей, если они имеются при подписи. Исключение сделано только для статей Лаврова в «Энциклоп. словаре», где он всегда подписывался только инициалами П. Л. или П. Л. Л.: здесь подпись отмечается только в тех статьях, которые составлены им в сообществе с другими учеными; подписи последних даны полностью. Содержание статей в «Энциклоп. словаре» не указывается, если оно ясно из заглавия.

Список сокращений в I томе:

Арт. ж.	«Артиллерийский журнал». Спб.
Библ.	«Библиограф». Спб.
Библ. для чт. . .	«Библиотека для чтения». Спб.
Был.	«Былое». Спб.
В. Е.	«Вестник Европы». Спб.
В. э. л.	«Военный энциклопедический лексикон». Спб.
Волог. губ. вед.	«Вологодские губернские ведомости». Вологда.
Гол. из Рос. . . .	«Голоса из России». Книжка 4-я Издание Искандера. Вольная русская книгопечатня. Лондон.
Д.	«Дело». Спб.

Ж. в.	«Женский вестник». Спб.
Ж. для восп. . . .	«Журнал для воспитания». Спб.
Загр. в.	«Заграничный вестник». Спб.
Зн.	«Знание». Спб.
Илл.	«Иллюстрация». Спб.
Кн. и рев.	«Книга и революция». Пгр.
Кн. вест. .	«Книжный вестник». Спб.
М. сб.	«Морской сборник». Спб.
На сл. посту . . .	«На славном посту. Литерат. сборник, посвященный Н. К. Михайловскому». Изд. 2-е. Спб. 1906.
Нев. сб.	«Невский сборник». Изд. Вл. Курочкина. Спб.
Нед.	«Неделя». Газета политическая и литературная. Спб.
Общ. в.	«Общезанимательный вестник». Спб.
От. зап.	«Отечественные записки». Спб.
Р. сл.	«Русское слово». Спб.
Собр. соч. П. Л., серия 1—5.	«Собрание сочинений П. Л. Лаврова». Изд. «Революционная мысль», позднее — «Колос», Пгр. Серия I — Статьи по философии. Серия II — Статьи по вопросам этики. Серия III — Статьи научного характера. Серия IV — Статьи историко-философские. Серия V — Статьи по истории религии.
С. об.	«Современное обозрение». Спб.
Совр	«Современник». Спб.
Спб. вед.	«С.-Петербургские ведомости» (газета).
Сын от.	«Сын отечества». Спб.
Энц. сл.	«Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. Том I. А — АДБ. Спб. 1861. Стр. XIV + 568. Том II. АДБ — АКТ. Спб. 1861. Стр. VIII + 485. Том III. АЛА—АЛЯ. Спб. 1861. Стр. XII + 577. Т. IV. АМА — АНТО. Спб. 1862. Стр. X + 576. Т. V. АНТР — АФ. Спб. 1862. стр. XIV + + 752. Отделение II. Т. I. Е — ЕЛИЗ. Спб. 1863. Стр. V + 480.
Bull.	«Bulletin de la Société d'Anthropologie» (Бюллетень Парижского антропологического общества.)
Int.	«Internationale». Bruxelles («Интернационал» (еженед. газета). Брюссель).
Rev. d'Anth. . . .	«Revue d'Anthropologie» (Антропологическое обозрение. Париж).

I. Книги и статьи П. Л. Лаврова с 1852 до марта 1872 г.

1852 год

1. Артиллерия. В. э. л. Изд. 2-ое. Т. I, стр. 539—560. Подпись: П. Л.

О разных значениях слова «артиллерия», об артиллерии как науке о производстве выстрелов; ее история и библиография.

1853.

2. Барометр. В. э. л. Изд. 2-ое. Т. II, стр. 137—144. Подпись: П. Л. Л.

Описание и объяснение барометра.

3. Барометрическое нивелирование. В. э. л. Изд. 2-ое. Т. II. стр. 144—149. Подпись: П. Л. Л.

Объяснение барометрического нивелирования.

1854.

4. Доменная печь. В. э. л. Изд. 2-ое. Т. V, стр. 145—156. Подпись: П. Л. Л.

О ходе доменных работ и о теории процесса, при этом происходящего; литература вопроса.

1855.

5. Артиллерийское дело при устье Наровы 6 июня 1855 года. Арт. ж., № 4, стр. 321—328. Подпись: Гв. арт. капитан Лавров.

В начале статьи указано в примечании, что статья взята из «Морского сборника», 1855, сентябрь, отдел I.

6. Литье орудий. В. э. л. Изд. 2-ое. Т. VIII, стр. 255—282. Подпись: П. Л. Л.

О формовке артиллерийских орудий, о плавке металла и литье орудий.

7. Математические науки. В. э. л. Изд. 2-ое. Т. VIII, стр. 539—561. Подпись: П. Л. Л.

О чистой и прикладной математике.

1856.

8. Обзор журналов. Арт. ж., № 1, стр. 24—74; № 2, стр. 98—162; № 3, стр. 80—108, № 5, стр. 10—76. Подпись: П. Л.

Обзор улучшений или предложений по технике артиллерии в иностранных журналах; некрологи ученых — техников; рефераты общих исследований по технике.

1857.

9. Обзор журналов. Арт. ж., № 1, стр. 32—88; № 2, стр. 105—140; № 3, стр. 14—15; № 4, стр. 70—105; № 5, стр. 22—48; № 6, стр. 67—94. Подпись: П. Л.

Содержание то же, что и в № 8.

10. Письмо к издателю. Гол. из Рос., стр. 5—29. Без подписи. То же:

Второе издание. London. Trübner et C°. 1858, стр. 5—29 (16°).

Письмо адресовано А. И. Герцену; говорит о политической поэзии, о сомнениях Герцена в возможности прогресса, об освобождении крестьян и об обязанностях русского гражданина в настоящую минуту.

Письмо как бы является предисловием к напечатанным тут же на стр. 33—38, 39—49 и 56—57 трем стихотворениям П. Л. «Пророчество» (январь 1852 г.), «Русскому народу» (декабрь 1854 г.) и «Французам».

11. Несколько слов о системе наук. Общ. в., № 14, стр. 499—514 (4°). Подпись: П. Л. Л.

Дана классификация наук: логика, естествознание, история, прикладные знания и их подробные подразделения.

12. Письма о разных современных вопросах. Письмо III. Общ. в., № 20, стр. 722—726 (4°). Подпись: Один из многих.

Основная мысль статьи: чтобы настало «время порядка — не искусственного порядка бюрократов, но действительного порядка, согласного с законами развития и движения,... надо сойтись с разных углов России нескольким лучшим людям и поговорить о наших потребностях, о наших стремлениях, о нашем настоящем и будущем». Кончается статья указанием, что это — фантазия.

13. По поводу вопроса о воспитании. Критериум для направления нравственного воспитания. От. зап., № 9, стр. 119—144. Подпись: Л.

О примере и влиянии воспитателя, о внушении ясных понятий, об отношении к себе, к отдельным людям, к обществу и к отвлеченным идеям.

14. Несколько слов о переводах исторических сочинений. Сын от., № 51 от 22 декабря, стр. 1261—1263. Подпись: Один из многих.

Статья открыта П. Витязевым. Содержание ясно из заглавия.

15. Письма о разных современных вопросах. Письмо к редактору. Письмо I. Общ. в., № 1, стр. 43—50 (4°). Подпись: Один из многих.

В «Письме к редактору» П. Л. предлагает написать несколько писем, из коих каждое составит особенное целое. В «Письме I» речь идет об определении понятия образованности как гармонического единства знаний, чувств и действий.

1858.

16. Обзор журналов. Арт. ж., № 1, стр. 18—54; № 3, стр. 90—107; № 5, стр. 127—141; № 6, стр. 54—81. Подпись: П. Л.

Содержание то же, что и в № 8.

17. Несколько мыслей о системе общего умственного поколения молодых людей. Библ. для чт., № 2, стр. 83—142.

О воспитании «независимо от существующей организации школ» на основании «умозрительном, наблюдательном и историческом».

18. Экзамены. Ж. для восп., № 10, стр. 185—207.

О технике экзаменов.

19. Гегелизм. Библ. для чт., № 5, стр. 29—72 и № 9, стр. 1—72. Подпись: П. Л. Л.

О книге Гайма (о Гегеле) и о биографии Гегеля, о происхождении и сущности гегелизма, «выросшего из современных ему воззрений»; гегелизм признается «догматическим, вненаучным».

20. Вредные начала. Илл., № 39 от 2 октября, стр. 222—223 (in fol.). Подпись: П. Л—в.

Видоизмененное «Письмо II» (см. № 15), не пропущенное цензурой. Открыто П. Витязевым. Автор громит преклонение перед авторитетом (в частности — самодержавием) в личной и общественной жизни.

1859.

21. Обзор журналов. Арт. ж., № 1, стр. 34—58; № 2, стр. 76—103. Подпись: П. Л.

Содержание то же, что и в № 8.

22. Практическая философия Гегеля. Библ. для чт., № 4, стр. 1—66 и № 5, стр. 1—61.

Гегель переносил на государство качества, приписывавшиеся им высшей действительности. Гегелизм отжил свое время. Нам нужна ясность, сознание, действительность.

23. Механическая теория мира. От. зап., № 4, стр. 451—492.

Дана история материализма, причем последний, по-позитивистски, трактуется, как метафизическая система. Ей противопоставляется будущая философия, объясняющая человека «в его тройном отношении: к своему сознанию, к внешнему миру и преданию».

Перепечатано в Собр. соч. П. Л. Серия 1. Вып. II. Пгр. 1918.

24. Современные германские теисты. Р. сл., № 7, стр. 141—212.

Из рассмотрения теорий Фихте младшего, К. Ф. Фишера, Лотце и др. выводится, что вопрос о боге не разрешим.

Перепечатано в Собр. соч. П. Л. Серия 1. Вып. III. Эту статью добыл для «Русского слова» от Лаврова поэт Я. Полонский. См. об этом

письмо Я. Полонского к графу Г. А. Кушелеву-Безбородко от ноября 1859 г. в сб. I «Звенья», 1933, стр. 322. В Библиотеке Академии наук СССР имеется экземпляр этой статьи с позднейшими дополнениями и исправлениями, оставшимися неизвестными П. Витязеву и не вошедшими в его перепечатку.

25. Очерк теории личности. От. зап., № 11, стр. 207—242 и № 12, стр. 555—610.

Развитие личности объясняется из самой сущности человека, из его наслаждений, знаний и творчества.

Отдельным изданием статьи вышли под заглавием: Очерки вопросов практической философии. Спб. 1860. Стр. 94. Посвящено А. Г[ерцену] и П. П[рудону]. Вышло до 12/24 — I — 1860 г.

Рец.: Страхов, Н. Н. «Светоч», 1860, № 7, стр. 1—13. Чернышевский, Н. Г. Антропологический принцип в философии. «Современник», 1860, №, 4 и 5, и «Полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского». Том VI. Спб. 1906.

1860.

26. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. Соч. Лессинга. Пер. Е. Эдельсон. М. 1859. Библ. для чт., № 3, стр. 1—58.

Даны обзор истории эстетики и определение прекрасного. Перепечатано в книге: П. Л. Лавров. Этюды о западной литературе. Под ред. А. А. Гизетти и П. Витязева. Пгр. «Колос», 1923.

27. Современное состояние психологии. От. зап., № 4, стр. 41—73.

О Бенеке, Лацарусе и др. В основании психологии должно лежать естествознание.

Перепечатано в Собр. соч. П. Л. Серия 1. Вып. VI. Пгр. 1918.

28. Иностранная литература. «История чудесного» Фигье. — «Современные предрассудки германского народа» Вутке. — «Париж, Рим и Иерусалим» Сальвадора. — «Философия религии» Апельта. От. зап., том 130, май, отдел IV, стр. 1—18. Подпись: П. Л. Л.

Содержание см. в подзаголовке статьи.

У Чижикова неверно указаны страницы и подпись. Витязев не включил статью в 5-ю серию статей по истории религии.

29. Отзыв о книге: Die Götterwelt der deutschen und nordischen Völker, v. W. Mannhardt. 1. Theil. Die Götter. Berlin. 1860. Р. сл., № 9, стр. 64—84. Подпись: П. Л. Л.

История мифов может излечить от увлечения религией. Перепечатано в Собр. соч. П. Л. Серия 5. Вып. I. Пгр. 1918.

30. Что такое антропология. Р. сл., № 10, стр. 53—76.

Об антропологии Фихте и Вайца; определение антропологии как науки, обнимающей все знание в целом.

Перепечатано в Собр. соч. П. Л. Серия 1. Вып. II. Пгр. 1918.

31. Ответ г. Страхову. От. зап., № 12, стр. 101—112.

Подтверждение прежних взглядов, высказанных в «Очерке теории личности». В начале статьи говорится и о статье Чернышевского «Антропологический принцип в философии», причем Лавров отводит упрек в эклектизме.

1861.

32. Отзыв о книге Ор. Новицкого: Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований. Ч. I и II. Р. сл., № 1, стр. 1—22.

Отзыв отрицательный; требование объяснения истории философских учений из законов феноменологии человеческого духа, из жизни общества и из особенностей данного философа.

Перепечатано в Собр. соч. П. Л. Серия 1. Вып. II. Пгр. 1918. В Библиотеке Академии наук СССР имеется оттиск этой статьи с исправлениями, сделанными рукой П. Л.

33. О современном значении философии. Три лекции, прочитанные публично в Пассаже 22, 25 и 30 ноября 1860 г. в пользу Литературного фонда. От. зап., № 1, стр. 91—142.

Философия как единство в понимании (в знании), единство мысли и формы (в творчестве), единство мысли и действия (в жизни), часть антропологии.

Отдельно издано под заглавием: Три беседы о современном значении философии. Спб. 1861. Стр. 69. То же Казань. 1904. Стр. 60 с пропусками и без указания автора; с указанием автора 2-ое изд. 1907 и в Собр. соч. П. Л. Серия 1. Вып. II. Пгр. 1918.

Рец.: Антонович, М А. Два типа современных философов. Совр., 1861, № 4, стр. 349—418. Писарев, Д. И. Схоластика XIX века. Р. сл., 1861, № 5, стр. 74—82. То же в Собр. соч. Д. И. Писарева. Т. IV.

34. Статьи в Энц. сл. т. I (кроме заглавий, указаны страницы и содержание):

Абеляр, Петр, стр. 55—59. (В оригинале — Абелар). Биография, анализ сочинений и библиография главнейших иностранных сочинений о нем. В Библиотеке Академии наук СССР имеется экземпляр этой статьи в виде небольшой брошюры с обложкой и с исправлениями отдельных слов в тексте. Рукой Лаврова вверху 1-й страницы написано: «Абелар. Посв. А. Х. Лавровой» (это — жена П. Л., рожденная Капгер). Повидимому, сам Лавров придавал этой статье известное значение в виду романтического содержания биографии Абеляра.

Абель, Я.-Ф., 64. О немецком философе школы Канта — краткая заметка и список его трудов.

Абихт, И. Г., 87. О немецком философе А. (1762—1816).

Абракадабра, 104—105. Подпись: К. Н. Бестужев-Рюмин и П. Л. О магич. слове А. у разных народов.

Абраксас, 105—106. О камнях с различными изображениями у разных сект.

Абсолютизм, 112—114. Об А. как понятии практической философии и госуд. права; литература вопроса.

Августин, 160—179. А. как основатель западно-христианской философии, его жизнь и учение; библиография его.

Аверроизм, 230—237. Об учении Ибн-Рошда или Аверроэса и о переводах его сочинений в Европе.

Авиньонское братство, 244—245. О религ. об-ве конца 18 в.

Авраамиты, 261. Подпись: В. Ф. Кеневич и П. Л. Л. О секте чешских деистов 18-го в.

Автодидакт, 396—397. О самоучках и самообразовании.

Автомат, 398—404. Подпись: А. А. Стойкович и П. Л. О самопроизвольных механизмах, об истории их изобретения и о литературе о них; о философском значении слова А.

Автономия, 404—405. Подпись: С. И. Лапшина и П. Л. О государств. и философском значении слова А.

Авторитет, 408—414. Подпись: П. Л. и А. В. Лохвицкий. О философском и воспитательном значении А.

Агноэты, 478. О сектантах 5—8 вв., отвергавших всеведение Христа.

Агонистики, 480—481. О религиозно-социальной секте 4-го века «христианских борцов».

Агриппа, 514. О философе скептической школы А.

Агриппа Неттесгеймский, Г. К., 514—519. Подпись: П. Л. и Е. Э. Краузольд. О мыслителе 16-го в.

Адальберт, 530—531. О сектанте 8-го века.

Адамиты, 534—536. О коммунистической секте 15-го века в Чехии.

Адам, 559—569. Подпись: П. Л., Д. А. Хвольсон, К. Н. Бестужев-Рюмин и А. О. Мухлинский. О библейском А., о сближении его с Христом; критика церковного учения об А.; А. в народных обычаях и в народной литературе; о первобытных людях.

(Анонимная рецензия (М. Антоновича) на I том «Энц. словаря», вышедший под редакцией Краевского, помещена в «Современнике» за 1861 г., № 7, в отделе «Современное обозрение», стр. 19—39. Здесь подвергнуты критике и некоторые из статей Лаврова.

Начиная со II тома, «Энц. словарь» выходит под редакцией Лаврова).

35. Статьи из Энц. сл. Т. II:

Ад, 98—107. Подпись: П. Л. и К. Н. Бестужев-Рюмин. История этого понятия у всех народов во все века.

Адвокат церкви, 14. Объяснение понятия А. ц.

Аделар Батский, 24. Подпись: П. Л. и А. Н. Хвостов. О монахе-философе 12-го в.

Адепт, 31. О значении А. в магии.

Адиафора, 37—38. А. как термин нравств. философии у греков и в христ. философии.

Адонис, 64—68. Мифы об А. у греков, евреев и у других народов; изображение А. в искусстве; библиография.

Академии, 225—232. А. как ученые учреждения и философские школы; литература А.

Акаталепсия, 314. А. как термин скептической философии.

Акоста, Уриель, 379—381. О еврейском мыслителе У. А. 17 в.

Акроаматический, 382—383. Об этом термине в греческой философии и в дидактике.

Аксиномантия, 396—397. Подпись: П. Л. и К. Н. Бестужев-Рюмин. О гадании с помощью топора.

Аксиома, 398—400. Об А. в логике; библиография.

Актеон, 403—404. Подпись: П. Л. и П. Н. Петров. Об А. как мифической личности древней Греции.

Актер и актриса, 404—408. О драматическом искусстве и о роли в обществе А. и А.; библиография.

36. Статьи из Энц. сл. Т. III:

Алан Лильский, 24—26. Подпись: П. Л. и А. Н. Хвостов. О схоластике 12-го в.

Александр Афродисский, 109—111. О комментаторе Аристотеля А. А.; библиография.

Александр Пафлагонец, 118—120. О самозванце-пророке 2-го века А. П.

Александр Полигистор, 120. О греч. философе 1-го века до христ. эры; библиография.

Алкиной, 312. О греч. философе А. 1-го в. школы Платона.

Алкмеон Кротонский, 314. О греч. философе и естествоиспытателе 6-го века до христ. эры.

Алкуин, 316—318. О монахе 8-го века А., ученом, педагоге и богослове.

Аллегория, 324—326 и 327—328. Об А. вообще и в истории верований.

Альберт Великий, 434—440. Католический схоластик-философ и ученый 3-го века; библиография его.

Альфиери, 553—557. Подпись: П. Л. и Н. Н. Булич. О трагическом итал. поэте А. 18-го в.; библиография.

37. Обзор иностранной литературы. Беллетристика. От. зап., т. 134, отдел IV, стр. 1—63. Без подписи. О Густаве Фрейтаге, Камиле Дусе, Дюма и др. О трудах по истории поэзии. О романах Диккенса, Теккерея, Джорджа Эллиот и др. — Открыто мною на основании авторского оттиска.

38. Обзор иностранной литературы. Естествознание. От. зап., т. 134, отдел IV, стр. 69—134. Без подписи. О французских энциклопедических журналах, об истории естественных наук, о популярных изданиях, о работах разных ученых, о работах по зоологии и ботанике. — Открыто мною на основании авторского оттиска.

39. Замечание по поводу «Нескольких слов о публичных лекциях г. Булича». Спб. вед., 1861, № 42. По поводу статьи К. П-ва в № 37 Спб. вед. о лекциях проф. Булича по истории философии эпохи Возрождения.

40. Моим критикам. Р. сл., № 6, стр. 48—69 и № 8, стр. 88—108. Ответ Антоновичу и Писареву, критика материализма как метафизики. Перепечатано в Собр. соч. П. Л. Серия 1. Вып. II. Пгр. 1918.

В авторском оттиске этой статьи я нашел следующий рукописный отрывок из этой статьи с пометкой: «уничтожено цензурою»: «Материализм получил в последнее время огромное значение как оружие: он противопоставил христианской (зачеркнуто ранее написанное «средневековой») проповеди свою проповедь, теистическим (зачеркнуто «супранатуралистическим») догматам свои догматы, борется с успехом и распространяет свои завоевания. Он везде становится союзником разумных стремлений и человеческого достоинства, и потому на него вся живая часть общества смотрит весьма благосклонно. Враги, с которыми он борется, суть враги развития; его победы над идолопоклонниками всех видов, это — торжество человечных начал. Он есть église militante [воинствующая церковь] в современном движении умов. Героев войны все готовы уважать и прославлять; когда они вносят свое знамя в разоренную крепость противника, нельзя тому не радоваться. — Но когда военное сословие хочет преобладать и в своем государстве, когда полководцы хотят сделаться законодателями, хотят на место правильного прения адвокатов поставить свое, судят в 24 часа и, показывая свои трофеи, с презрением отзываются об этих «pequins» [«штафирках»] магистратуры, торговли и т. под., — тогда протест необходим». [В прямых скобках дан мой перевод французских слов].

41. Дарвин и его теория образования видов. Библ. для чт., 1861, ноябрь, стр. 1—40 и декабрь, стр. 1—36. Без подписи.

1862.

42. Статьи из Энц. сл. Т. IV:

Амазонки, 5—8. Подпись: П. Л. и П. Н. Петров.

Амальрик или Амори Шартский, 12—13. Подпись: П. Л. и А. Н. Хвостов. О франц. философе А. конца 12-го в.

Амвросий Миланский, 37—42. Об отце церкви 4-го в. А. как философе и политике. Перепечатано в Собр. соч. П. Л. Серия 5. Вып 1. Пгр. 1918.

Амелий Гентилиан, 49—50. О греч. философе 3-го в. А. Г.

Аменти или Аментес, 52. О египетском аде.

Американский метод письма, 105—106. Об обучении чистописанию.

Амиро, Моиз, 122. О франц. реформатском богослове 17-го в.

Аммон или Амун, 142—143. Об А. как боге египетской мифологии.

Аммоний, Х. Ф., 143—144. О немецком богослове Х. Ф. А.

Аммоний, 141. О неск. греческих ученых и философах, носивших это имя.

Амсдорф, Н., 170. О лютеранском богослове А. (1483—1565).

Амулет, 175—178. Подпись: П. А. и В. Л. Ханкин. О вере в А. у разных народов.

Анабаптисты или перекрещенцы, 202—216. История А. у разных народов; библиография. Переп. в Собр. соч. П. Л. Серия 5. Вып. I. Пгр. 1918.

Анализ, 222—226. О философском значении А.
Аналогия, 237—240. О логическом значении А. в науке и философии.
Ангелус Силезиус, И., 307—308. О псевдониме католического мистика 17-го в. А. С.
Андре, 341—343. О иезуите-философе А. 18-го в.
Анна Перенна, 458—459. О римской богине А. П. и о мифах о ней.
Аноним, 491—492. О схоластике Анониме.
Ансельм Кентерберийский, 497—501. Подпись: А. Н. Хвостов и П. Л. О средневековом богослове А. К. (1033—1109); библиография.
Антагонизм, 506—507. Об А. в психологии, во внешнем мире и в философии.
Антиномия, 523—525. О философском значении А.
43. Статьи из Энц. сл. Т. V:
Антропологическая точка зрения в философии, 6—12, Доказательства ее: логическое, полемическое, философско-теоретическое и практическое. Перепеч. в Собр. соч. П. Л. Серия 1. Вып. II. Пгр. 1918.
Антропоморфизм и антропопатизм. 20—22. Философское и историческое объяснение; библиография. Перепеч. в Собр. соч. П. Л. Серия 5. Вып. I. Пгр. 1918.
Анубис 24—25. О египетском боге А.
Апатия, 78—79. Об А. в педагогии.
Апельт, 110—111. О нем. философе 1-й половины 19-го в. школы Фриза.
Апис, 114—115. О египетском боге А. и о культе его.
Апокатастаз, 119—120. О термине А. в философии и в религии.
Аподиктика, 118—119. Об А. как об учении об истине.
Апокалиптики, 119. О мистическом ордене А. конца 17-го в.
Арабская философия, 210—217. История и библиография А. ф.
Аржан, Ж. Б. де-Бойе, 305. О франц. скептическом философе А. (1704—1771).
Аристей, 318. О древнегреческом мифическом герое А.; библиография.
Аркезилай, 364—365. О греч. философе 3-го в. до хр. эры.
Арндт, 416—418. О нем. мистике 17-го в. А.
Архитектоника, 560. Об А. как теории архитектуры.
Аскр и Эмбла, 581. А. и Э. как прародители людей по скандинавской мифологии.
Аст, 654. О нем. филологе и философе А. (1776—1841).
Асы, 660—664. Об А. как богах скандинавской мифологии.
Атлантида, 678. О мифическом острове А. у Платона и у Бэкона; библиография.
Атлас или Атлант, 681—682. О греч. мифах об А.
Атор или Атир, 683. Об одном из главных божеств мемфисского цикла А.
Атрибут, 683—684. Подпись: П. Н. Петров и П. Л. Об А. в логике и в искусствах.
Аттик, 689. О греч. философе 2-го в. А.
Аттис, 693. О греч. боге А. и о мифах об А.
44. Заметка на замечания г. Пирогова. Спб. вед., 1862, № 84 от 21 апреля. Критика проекта нового устава Российских университетов и возражения Н. И. Пирогову на его замечания по этому вопросу. Перепечатано в книге «Замечания на проект общего устава императорских российских университетов». Часть II. Спб. 1862, стр. 152—155. Рец.: С. К. Заметка на заметку г. Лаврова. Спб. вед., 1862, № 114 от 30 мая, стр. 512.

45. Учиться, но как? Спб. вед., 1862, № 104 от 16 мая, стр. 471. (Статья написана в мае). В защиту студенческой молодежи против статьи А. В. Эвальда «Учиться или не учиться?» за подписью «ь» (мягкий знак) в Спб. вед., 1862, № 92 от 1 мая. П. Л. отстаивает свободу преподавания, неприкосновенность науки и умение понимать молодежь в ее порывах. Рец: Аскоченский, В. Блестки и изгарь. «Домашняя беседа», 1862, вып. 22 от 2 июня, стр. 533—535. «ь» [А. В. Эвальд]. О понимании. Спб. вед., 1862, № 105 от 17 мая, стр. 475. Проф. Н. Костомаров. Мешать или не мешать учиться? Спб. вед., 1862, № 113 от 27 мая, стр. 507 и Последнее объяснение по поводу моей лекции 8 марта. Спб. вед., 1862, № 124 от 10—VI, стр. 551. М. Антонович. Материалы для биографии Н. Г. Чернышевского. «Минувшие годы», 1908, № 5—6, стр. 343 (изложение содержания статьи Л-ва).

46. Заметка. Спб. вед., 1862, № 117 от 2 июня, стр. 523. Ответ на статьи проф. Костомарова, указанные в предыдущем номере.

47. Программа двух бесед из нравственной философии. I. Несчастие и вина. II. Цена жизни. Был., 1925, № 2 (30), стр. 3—4. Здесь же, на стр. 4—7, даны комментарии С. А. Переселенкова, объясняющие, почему эти 2 лекции не были разрешены.

48. Постепенно. Неизданная статья П. Л. Лаврова. Кн. и рев., 1922, № 6 (18), стр. 16—18 (4°). Как доказал П. Витязев, статья эта, взятая при аресте П. Л. 25—IV—1866 г. в корректурных гранках, написана им в конце 1862 или в начале 1863 г. Статья направлена против постепеновщины и реформизма. См. П. Витязев, П. Л. Лавров в эпоху 60-х годов и его статья «Постепенно». Кн. и рев., 1922, № 6 (18), стр. 9—15.

1863.

49. Статьи из Энц. сл. II отд. Т. I:

Евангелические конференции, 3—4. Подпись: П. Л. и Мильчевский. О Е. к. как собраниях представителей различных христ. исповеданий; библиография.

Евангелия апокрифические, 13—16. Подпись: П. Л. и М. А. Антонович. Разбор Е. а.; обширная библиография.

Евреи, 46—78. История и литература о Е. до разрушения Иерусалима римлянами.

Евтихиане, 185—188. О еретиках 5-го в. Е.

Единорог, 264—265. История вопроса о Е. в цифрах и в науке.

Единство, 265—270. О философском понятии Е. Перепеч. в Собр. соч. П. Л. Серия 1. Вып. II. Пгр. 1918.

Елизавета Венгерская, 452—453. О католической святой Е. В. Рец. об. Энц. сл.: 1) В. Д. Кудрявцев. «Время», 1861, № 6, стр. 169—177; 2) Свящ. Матвеевский. «Странник», 1862, № 4, стр. 23—36; 3) Проф. Савич. Замечательная проделка общей редакции нового Энц. сл., «Спб. вед.», 1862, № 210; 4) Свящ. И. Флеров. «Дух христианина», 1863, № 1, стр. 55—57 и № 2, стр. 79—90; 5) Аскоченский. «Домашняя беседа», 1863, № 8, стр. 219—227 и № 15, стр. 338—348; 6) Фельетон в защиту Энц. сл. за подписью «Читатель Словаря» по поводу вышедших 6 томов его в «Спб. вед.», № 56 от 10 (22) марта и 7) Фельетон без подписи также в защиту Энц. сл. против Флерова и Аскоченского в «Соврем. слове», № 61 от 19 марта.

50. Ответ читателю «Архива» Эрмана. (От редакции Энц. сл.). Спб. вед., № 13 от 16 (28) янв., стр. 1. Без подписи. По поводу статьи «Архив для научных сведений о России» за подписью «Читатель Архива» в № 5 «Сев. пчелы» за 1862 г., где критикуется 5-й том Энц. сл.

51. Мишле и его «Колдунья». Спб. вед., №№ 29 и 30. О средневековом «колдовстве», католическом духовенстве и его процессах

против «колдуний». Перепечатано в виде предисловия к книге Мишле «Женщина» (Одесса, 1863) и в книге: П. Л. Лавров. Этюды о западной литературе. Пгр. 1923.

52. Письмо к сотруднику Энциклопедического лексикона (sic!). «Очерки» (газета), 1863, № 75 от 18 марта, стр. 302. Дата: 11 марта 1863 г. Ответ на письмо сотрудника Энц. сл., который, повидимому, побуждал П. Л. ответить на нападки попа Флерова и Аскоченского; указывает на те же передержки попа Флерова, что и аноним из «Соврем. слова».

53. Немецкие философские журналы. Спб. вед., 1863, № 105 от 11(23) мая, Дата: 18 января. Обзор 3 немецких журналов по философии.

54. Разные направления в психологии. Библ. для чт., № 5, стр. 1—20. Об Эрдмане, Ваддингтоне, Вундте и Фехнере; изложение их взглядов и критика их. Перепеч. в Собр. соч. П. Л. Серия 1. Вып. VI. Пгр. 1918.

55. Альфред Мори и его история парижской академии наук. Спб. вед., № 252, от 12 (24) ноября, стр. 1—2; № 253, от 13(25) ноября, стр. 1—2 (два больших фельетона). По поводу франц. книги А. Мори.

56. Иностранная литература. Библ. для чт., декабрь, раздел XVI, стр. 3—37. Без подписи. Содержание: Чем мне забавлять читателя? Чем вообще люди забавляются? Я начинаю говорить поучительно. Искусство. Задача парижской академии... Романы исторические, католические, местные. Романы Шварц. Изменение отчета об иностранных книгах на будущий год. Желание на новый год. — Открыто мною по авторскому оттиску.

1864.

57. О тенденциозности. Резюме чтения П. Л. на литературном вечере в Спб. в 1864 г. См.: Лесевич, В. Страничка из воспоминаний. На сл. посту, стр. 155—156.

58. От редакции. Загр. в., № 1, стр. I—IV. Без подписи. (П. Л. был редактором журнала).

59. Генрих Гейне и Фердинанд Лассаль. Заметка Загр. в., № 2, стр. 348—349. Без подписи. По поводу письма Гейне для Лассаля от 3 января 1845 г. к Варнгагену фон-Энзе.

60. Брока. Современное движение в антропологии, в особенности во Франции. Загр. в., № 2, стр. 177—218. (Перевод и предисловие П. Л.), Подпись: Редактор.

61. Очерки человеческой культуры. Загр. в., № 7, стр. 147—182; № 12, стр. 562—592 (заглавие: «Очерки культуры»). Без подписи. Из содержания: Значение культуры. Пища. Арсеникофаги... Идеография. Всемирный язык и т. д.

62. Из науки о человеке. Загр. в., № 10, стр. 158—187. Без подписи. О современном положении антропологии... о женщинах в Гаванне.

1865.

63. Из человеческой культуры. Загр. в., № 7, стр. 126—149 и № 11, стр. 370—400. Без подписи. Содержание см. в № 61.

64. Первобытные постройки на сваях. Загр. в., № 9, стр. 321—356. Без подписи.

65. Гэнт. Антропология в Англии. Загр. в., № 11, стр. 237—254. Без подписи. Перевод и предисловие к статье президента англ. антропологич. об-ва Гэнта.

66. Влияние развития точных наук на успехи военного дела и в особенности артиллерии. Лекции, читанные полковником Лавровым для офицеров артиллерии. Арт. ж., № 4,

стр. 231—250, № 6, стр. 285—303 и № 7, стр. 356—375. То же отдельным изданием. Спб. 1865. Рец.: В. А. Зайцев. Р. сл., 1865, № 8. Три лекции, читанные П. Л. в 1865 г. для офицеров гвардейской артиллерии. В экземпляре, хранящемся в Библиотеке Академии наук СССР, имеются некоторые исправления, сделанные рукой Лаврова, и одно дополнительное примечание на стр. 36.

67. Очерк истории физико-математических наук. Составлено по лекциям, читанным в лаборатории Артиллерийской академии полковником П. Л. Лавровым. До § 23 см. Арт. ж., №№ 4—8 и 10—12, стр. 1—337 (отдельная пагинация). То же М. сб., 1865, №№ 1, 3—5, 7—12 (отд. паг.). Излагается история философии до Кл. Галена. Рец.: В. А. Зайцев. Р. сл., 1865, № 9, стр. 97—104.

67а. О публицистах-популяризаторах и о естествознании. «Современник», 1865, № 9, стр. 5—31. Подпись: Ал. Угрюмов. Статья впервые указана Л. Чижиковым. Не называя имени Д. И. Писарева, Лавров критикует его увлечение популяризацией естествознания и указывает, что необходимо еще изучать законы и явления социальной жизни.

68. Милль, Д. С. Система логики. Перевод Ф. Ф. Резенера, под редакцией, с предисловием и примечаниями П. Л. Изд. М. О. Вольфа, 2 тома. Спб. 1865—67. Предисловие — стр. I—XXV и в конце I тома статья: «Математические представления и математические понятия» — стр. I—XI. О месте логики среди других наук и об ее истории; критика логических воззрений Милля. Примечания также историко-философского и критического характера. (Из-за ареста П. Л. вторая половина 2-го тома осталась без примечаний). Перепеч. под заглавием: Что такое логика. (По Миллю). Казань. Тип. Окр. штаба. 1905. Стр. 102 (12°). Без указания автора. В 1878 г. вышло 2-е издание «Системы логики» Милля, но в нем, по требованию цензуры, имя Лаврова как редактора перевода и автора предисловия исчезло в виду его нахождения в эмиграции. История конфискации этого 2-го издания и переговоров по этому поводу с цензурой издателя М. О. Вольфа рассказана в статье С. Ф. Либровича «Арест на «Логику» Милля в «Известиях кн. маг. т-ва М. О. Вольф» за 1911 г., № 3, стр. 17—76.

1866.

69. Очерк истории физико-математических наук. (Продолжение № 67). Арт. ж., № 1—4, стр. 1—178 (отдельная пагинация). То же в М. сб., №№ 2 и 3, стр. 1—452 (отд. пагин). Отд. издание. Вып. I (до Аристотеля). Стр. 330. Без обозн. места и года издания. (Работа не закончена из-за ареста П. Л.).

70. Влияние среды на человека. (Из прений парижского антропологического общества). Загр. в., № 1, стр. 1—36. Без подписи.

71. Карл-Эрнст фон-Бэр. Загр. в., № 2, стр. 276—314 и № 3, стр. 491—525. Без подписи. Предисловие «от редакции» и изложение автобиографии Бэра. После № 3, в виду ареста П. Л., характер журнала меняется, хроники обществ. жизни, научной и литературной больше нет.

71а. Герберт Спенсер. Научные, политические и философские опыты. Том I. (Перев.) под ред. Н. А. Тиблена. Спб. 1866. Стр. 312. «Кн. вест.», № 9—10. Без подписи. Критика понятия прогресса у Спенсера за его стремление оправдать болезненные явления. Статья открыта мной на основании ссылки на нее в следующей статье № 71б.

71б. Цель и значение классификации наук. «Кн. вест.», № 13, стр. 295—297 и № 14—15, стр. 319—321. Без подписи. Об элементах науки; изложение классификации наук Ог. Конта и Г. Спенсера. Переделанная и дополненная статья «Несколько слов о системе наук» 1857 г. (см. выше № 11). Вероятнее всего, что статья должна была служить предисловием к проредактированному Лавровым переводу книги

Спенсера «Классификация наук» (см. № 72). Автограф переделок и дополнений статьи имеется в Библиотеке Академии наук СССР.

71в. Обозрения журналов. «Вестник Европы», 1866, кн. 1, 2 и 3. «Кн. вест.», № 18—19 от 15 октября, стр. 372—378. Без подписи. Положительный отзыв о «В. Е.».

71г. Современная журналистика. (Статья первая). «Кн. вест.», № 21—22 от 15 ноября, стр. 416—420 и № 23—24 от 30 декабря, стр. 455—459. Без подписи. О значении политической, учено-литературной и специально-ученой печати; критические заметки о ничтожности русской политической печати и об «Отечеств. записках».

Указанные здесь статьи Лаврова в «Книжном вестнике» были напечатаны во время пребывания Лаврова в тюрьме, а написаны им еще до ареста.

72. Спенсер, Г. Классификация наук. Перевод Н. Л. Тиблена, под редакцией П. Л. Спб. 1866. Стр. III + 64. Редакция этой книги сделана П. Л. до ссылки.

1867.

№№ 73—101 написаны П. Л. в ссылке.

73. Несколько мыслей об истории мысли. Нев. сб., 1867. Т. I, стр. 546—575. Подпись: П-ов. Разумея под мыслью внутренний мир общества, автор различает в мысли элемент религиозный, научный, эстетический и философский; из их развития состоит и история мысли. Перепечатано в Собр. соч. П. Л. Серия 4. Вып. I. Пгр. 1918.

74. Женщины во Франции в XVII—XVIII веках. Ж. в., № 4, стр. 45—74 и № 5, стр. 1—31. Подпись: П. Миртов. Влиятельные женские личности в легенде и в истории. Французская литература и француженки разных поколений. Блестящие женские личности XVIII в. Отель Рамбулье и les précieuses. Скюдери.—Женщины Пор-Рояля. Протестантки во время гонений во Франции в конце царствования Людовика XIV. Влиятельные женские личности XVIII в. Парижские салоны и bureaux d'esprit. Г-жи Дюдефан, Ролан и Леспинас. Перепечатано в Собр. соч. П. Л. Серия 4. Вып. IX. Пгр. 1918. В письме П. Л. к Стасюлевичу от 27 апреля 1867 г. указаны опечатки, вкравшиеся в эту его статью. При перепечатке они в расчет не были приняты.

75. Герберт Спенсер и его «Опыты». (Спенсер. Собрание сочинений. Вып. I—III). Ж. в., № 6, стр. 26—71. Подпись: П. Миртов. Изложение взглядов Спенсера и их критика. Перепеч. в Собр. соч. П. Л. Серия 3. Вып. VIII. Пгр. 1918.

76. Средневековый Рим и папство в эпоху Феодоры и Мароции. Ж. в., № 7, стр. 1—36. Подпись: П. Миртов. Из содержания: Легенда о женщине-папе. Первое появление женского влияния в X веке. Судьба Формоза. Суд над мертвецом. Безграмотность повелительниц Рима. Состояние образованности в Византии, у мусульман, в остальной Европе. Рассылка мощей. Паломники. Понижение уровня знаний в Риме в X веке. Второй брак Мароции. Картина Рима в эту эпоху. Революция 932 года. Феодора и Мароция перед судом истории. Средневековая нравственность. Перепеч. в Собр. соч. П. Л. Серия 4. Вып. VII. Пгр. 1918.

77. Идеи о классическом и реальном образовании в Англии нашего времени. В. Е., № 9, стр. 4—18. Подпись: П. П. По поводу английского педагогического сборника Юманса (E. L. Youmans. Modern culture... London. 1867) со статьями Тиндаля, Гэксли, Уэвеля, Г. Спенсера и др.

1868.

78. Исторические письма. Нед., 1868, №№ 1, 4, 7, 8, 13, 15, 16, 28, 35, 38, 41 и 47; 1869, №№ 6, 11 и 14. Подпись: П. Миртов. Отдельное переработанное издание — в сентябре 1870 г. (Предисловие

помечено: Кадников. 1869 г.). Спб. Стр. IV + 265. Из письма Лаврова к Штакеншнейдер от 14 (26) апреля 1872 г. видно, что Лавров изготовил дополнения для 2-го издания «Исторических писем» и послал их в Петербург чайковцам, которые должны были переиздать эту книгу, но это издание или не осуществилось или было уничтожено сейчас же по его напечатании.

Под № 467 в «Алфавитном каталоге изданиям на русском языке, запрещенным к обращению и перепечатанию в России» (Спб. 1884, стр. 76), имеется издание 2-е, просмотр. и дополн. Женева. Наборня «Вперед», 1877, но фактически это издание не появилось. 2-е изд., дополн. и исправл., перепечатываемое в настоящем томе, появилось в Женеве в Вольной русской типографии в 1891 г. Называется оно «парижским» — по месту жительства автора в это время. В России это 2-ое издание вышло в 1905 г. одновременно в 2-х изданиях: под именем С. С. Арнольди. Изд. 2-е. П. И. Артюшиной. Спб. 1905. Стр. 265 + 2 ненум. и без указания автора. 2-ое изд. редакции журнала «Русское богатство». Спб. 1905. Стр. 367 + 1 ненум. Изд. 3-е без перемен М. П. Негрескул. Спб. 1906. Стр. 367 + 1 ненум. В следующем издании указан автор: П. Л. Лавров (П. Миртов). 4-ое изд. без перемен. Изд. редакции журнала «Русское богатство». М. П. Негрескул. Спб. 1906. Стр. 367 + 1 ненум. Книга выходила в России и нелегально в литографиров. виде; имеется такое издание в Ленинской б-ке в Москве, без указания года и места издания. Стр. 184. В 1885 г. вышел польский перевод «Listy historyczne P. L. Mirtowa. Lwów. Z drukarni Gazety Narodowej», 193 стр. В 1901 г. — немецкий С. Давыдова с введением Х. Раппопорта: Historische Briefe. Von Peter Lawrow. Aus dem Russischen übersetzt von S. Dawidow. Mit einer Einleitung von Dr. Ch. Rappoport. Berlin, Bern, Edelheim. 1901. XXXXII + 368. ill. В 1903 — французский перевод Марии Гольдсмит с ее же био-библиографической статьей: Lettres historiques par Pierre Lavroff. Traduit du russe et précédé d'une notice bio-bibliographique par Marie Goldsmith. Avec le portrait de l'auteur (Bibliothèque d'histoire et de sociologie. II). Paris. Schleicher frères et C-ie éditeurs. 1903. P. XXIII + 329.

В 1-м издании 1870 г. «писем» всего 16: 1. Естествознание и история. 2. Процесс истории. 3. Величина прогресса в человечестве. 4. Цена прогресса. 5. Действие личностей. 6. Культура и мысль. 7. Личности и общественные формы. 8. Растущая общественная сила. 9. Знамена общественных партий. 10. Идеализация. 11. Национальности в истории. 12. Договор и закон. 13. Государство. 14. Естественные границы государства. 15. Критика и вера. 16. Цель автора.

Письмо 11-е перепечатывалось и отдельной брошюрой дважды: П. Лавров (Миртов). Национальности в истории. Кн-во «Правда», № 8. Варшава, 1906. Стр. 16, и изд. «Земля». Киев, 1917. Стр. 16.

Рец.: 1) Письма А. И. Герцена к Н. П. Огареву от 10 и 12 октября 1868 г. в томе 21 Полного собрания соч. и писем Герцена. Гиз. 1923, стр. 109 и 114.

2) Официальные комментарии к «Историч. письмам» П. Л. Лаврова. Подготовил к печати С. А. Переселенков. Был., 1925, № 2 (30), стр. 37—41.

3) От. зап., 1870, № 8, стр. 215—221 (анонимная одобрительная рецензия, дающая изложение книги).

4) Н. Шелгунов. Историческая сила критической личности. «Дело», 1870, № 11, стр. 1—30. То же в сочинениях Н. В. Шелгунова. Т. II. Спб. 1871, стр. 255—277.

5) П. Ткачев. Что такое партия прогресса (статья датирована в рукописи 16 сентября 1870 г., была задержана III отделением и напечатана впервые Б. П. Козьминым во II томе избранных сочинений Ткачева. М. 1932, стр. 166—223. Здесь дана критика субъективной точки зрения на социальные явления).

6) А. В. Философия всемирной истории. «Деятельность» (еженедельник), № 37.

7) П. Щ. [Щебальский — родственник Лаврова, реакционер]. «Русский вестник», 1871, № 2, стр. 817—834.

8) А. А. Козлов. Зн., 1871, № 2, стр. 169—197. (См. № 112 - ответ Лаврова).

9) С. Южаков. Субъективный метод в социологии. Зн., 1873, № 10, стр. 37—71.

Во 2-м изд. 1891 г. добавлено 16-е и 1-е «письмо»: 16. Теория и практика прогресса. (Оно помещено как 16-е, а прежнее 16-е сделано 17-м) и Предисловие ко 2-му изданию.

Рец. на 2-е издание «Исторических писем»:

1) Н. И. Кареев. «Теория личности» П. Л. Лаврова. «Историч. обозрение», том 12, 1901. Перепеч. отдельной брошюрой в 1907 г. и в Собр. соч. Н. И. Кареева, т. II. Спб. 1912.

2) Н. Бердяев. Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критич. этюд о Н. К. Михайловском. С предисл. Петра Струве. Спб. 1901, стр. 12, 16, 57, 99, 112, 134 и 248.

2а) С. Южаков. «Журнал для всех». Спб. 1905, № 9, стр. 570.

3) А. А. Корнилов. Общественное движение при Александре II. М. 1909, стр. 196—198.

4) Ю. Мартов. Обществ. и умств. течения в России 1870-х гг. в «Истории русской литературы в XIX веке», изд. «Мир». Т. IV. 1910. Перепеч. М. 1923, стр. 21—26 и в книге Мартова «Обществ. и умств. течения в России 1870—1905 гг.». Изд. «Книга». Л.-М. 1924, стр. 27—32.

5) Б. Камков. Историко-философские воззрения П. Л. Лаврова. «Заветы». Пбг. 1913, № 6—7, перепеч. отд. брошюрой Пгр. 1917. Стр. 46.

6) П. Витязев. Чем обязана русская общественность Лаврову. «Ежемесячный журнал», 1915, № 2 и 3.

7) П. Витязев. На гранях жизни. В сб. «Вперед». 1920.

8) О. В. Аптекман. Общество «Земля и воля» 70-х гг. 1924, стр. 74—76.

9) Г. Ладоха. Исторические и социологические воззрения П. Л. Лаврова. В сб. «Русская историч. литература в классовом освещении». М. 1927.

79. Дидро и Лессинг. От. зап., № 1, стр. 147—212. Без подписи. О книгах Розенкранца, Лорана, Геттнера, Ю. Шмидта, Ж. Борни и Ад. Штара. I. Пролог. 1. Представители движения XVIII века. 2. Европа нового времени. 3. Успехи наук. 4. Бэкон и Декарт. 5. Гроот, Гоббз, Спиноза. 6. Локк, Бейль, Лейбниц. — Статья не имеет продолжения, хотя оно и обещано.

80. Историческое значение науки и книга Уэвеля. («История индуктивных наук от древнейшего до настоящего времени», сочинение Вильяма Уэвеля, в трех томах. Перевод с английского издания М. А. Антоновича и А. Н. Пыпина с примечаниями и биографическими приложениями, составленными по немецкому изданию Литтрова. Томы I, II. Т. III, 1-й выпуск). От. зап., № 3, стр. 36—55. Без подписи. Часть этой статьи вошла в «Опыт истории мысли». Т. I, вып. 1-ый (1875 г.). Перепеч. в Собр. соч. П. Л. Серия 4. Вып. I. Пгр. 1918.

81. Письмо провинциала о задачах современной критики. От. зап., № 3 (2-й отдел), стр. 123—142. Без подписи. На обложке в оглавлении подпись: ...р...р... (2 «р» из имени и фамилии П. Л.). Защищается необходимость руководства практической деятельностью читателей.

82. Развитие учения о мифических верованиях. С. об., № 3, стр. 393—425, № 4, стр. 67—107. Подпись: П. Л-в. О Штраусе и Фейербахе; как должна развиваться наука о верованиях. Перепеч.

в Собр. соч. П. Л. Серия 5. Вып. I. Пгр. 1918. В Библиотеке Академии наук СССР имеется оттиск этой статьи с исправлениями и дополнениями, сделанными рукой Лаврова.

83. Ирландия пред судом общественного мнения Англии. В. Е., № 4, стр. 870—901. Подпись: Л. П. Статья открыта Л. Чижиковым.

84. Северо-американское сектаторство. От. зап., № 4, стр. 403—470; № 6, стр. 273—336; № 7, стр. 269—318; № 8, стр. 324—354. Без подписи. По поводу книги Диксона «Духовные жены»; отношение американского сектантства к общему ходу религиозной и общественной мысли в Америке и Европе.

85. Задачи позитивизма и их решение. (Льюис и Милль. О. Конт и положительная философия. Спб. 1867). С. об., № 5, стр. 117—154. Подпись: П. Л. Изложение сущности позитивизма и его отличия от материализма; о возможности приложения субъективного метода; критика позитивизма. В оттиске этой статьи, имеющемся в Библиотеке Академии наук СССР, есть дополнение, сделанное рукой Лаврова на стр. 122.

Перепеч. отдельно в изд. «Русского богатства». Спб. 1906.

86. Антропологические этюды. С. об., № 6, стр. 474—501. Подпись: П. Л-ов. Об отношении антропологии к другим наукам и об ее составных частях.

87. К вопросу об антропологических исследованиях Вологодской губернии. (Письмо в редакцию). Волог. губ. вед., № 43, стр. 466—469. (Напечатано за подписью П. Лаврова с разрешения вологодского губернатора). О собирании материалов по антропологии. Написано в октябре 1868 г. Перепеч. отдельной брошюрой в издании Вологодского общества изучения Северного края с предисловием и примечаниями Д. А. Золотарева. Вологда. 1915. Стр. 13. Рецензии: М. Королицкий. «Вестник Европы», 1916, № 1, стр. 450—453. И. К. (Книжник). «Новый журнал для всех», апр. 1916, № 2—3.

88. Русский перевод «Философии природы» Гегеля. Без подписи. От. зап., № 8, стр. 117—129. По поводу «Философии природы» Г. В. Ф. Гегеля. Изд. К. Мишеле, пер. В. П. Чижова с дополнениями, излагающими науку о природе в ее современном состоянии. Т. I. М. 1868. — Найдено мною в авторском оттиске.

89. Роль науки в период возрождения и реформации. От. зап., № 10, стр. 657—688; № 11, стр. 11—44; № 12, стр. 323—358. Без подписи. Это как бы продолжение статьи об историческом значении науки. Основана на книгах Figuier «Vie des savants» и P. A. Cap «La science et les savants au XVI siècle». Статья эта ошибочно приписана В. Лесевичу издателями его сочинений (см. том III).

90. Критика русских писателей в Германии. В. Е., № 12, стр. 909—916. Подпись: П. Л. По поводу книги: Iwan Turgenjew, von Julian Schmidt. «Preussische Jahrbücher. Bd. XXII. 1868. Открыто Л. Чижиковым. Немецкий критик Юлиан Шмидт характеризуется как представитель отрицательного реализма, враг искусственности, но имеющий следующие недостатки: узость политических взглядов, миниатюрность идеалов, склонность к самодовольству немецкого бюргера «среднего сословия».

1869.

91. Письмо в редакцию. Библ., № 1, стр. I—14. Подпись: Провинциал. Определение философии как учения о миросозерцании и о практической деятельности и выведение отсюда задач критического журнала.

92. Обзор иностранной антропологической литературы. Библ., № 1, стр. 22—50. Без подписи. О сочинениях Брока,

Фохта, Д. Роде, Ch. St. Wake, Max Perty, Le-Hon, Тэйлора, Лэббока и др. (свыше 30 книг).

93. Обозрение периодических изданий. «Неделя». Газета политическая и литературная 1868, №№ 1—52, 1869, №№ 1—29. Библ., № 1, 3-й отдел, стр. 1—38. Без подписи. Обзор и критика содержания газеты «Неделя».

94. Ernst Haeckel. Naturliche Schöpfungsgeschichte. Berlin. 1869. Библ., № 1. Отдел «Иностранные книги», стр. 6—18. Без подписи. О Геккеле по поводу его книги «Естественная история творения», разрушавшей библейские сказки о творении мира.

95. Антропологи в Европе и их современное значение. От. зап., № 3, стр. 1—51. Без подписи. Очерк внешней истории антропологии.

96. Цивилизация и дикие племена. От. зап., № 5, стр.107—169; № 6, стр. 359—414; № 8, стр. 253—311; № 9, стр. 93—128. Без подписи. Краткий очерк литературы цивилизации по Гизо и у антропологов; происхождение общественной связи у животных и их культура; возрасты человечества; следы дикости в цивилизации; низшая ступень человечества, культура диких племен; о возможности цивилизовать диких; гибель низших рас; европейские миссионеры; фазисы человеческого развития; общественный элемент беспозвоночных и позвоночных; обычаи и привычки; взаимодействие цивилизаций; основной признак цивилизации; начало цивилизации беспозвоночных. Перепеч. в книге: С. С. Арнольди. Цивилизация и дикие племена. Спб. 1903. Стр 264. (На обложке год издания 1904). Рецензия: М. К. «Историч. вестник» 1905, № 7, стр. 259—261. В авторском оттиске этой статьи, имеющемся в Библиотеке Академии наук СССР, сделаны значительные и многочисленные исправления и дополнения, зачеркнуты целые страницы и заменены новым текстом.

1870.

97. Европа и ее силы в 1869 г. В. Е., № 1, стр. 235—271; № 2, стр. 691—721; № 5, стр. 193—235. Подпись: Л. П. В противовес толкам о «гнилом Западе» выявляются положительные стороны Европы. О книгах: Block, M. L'Europe politique et sociale. Paris. 1869. Schnitzler, J. H. L'Empire des tsars au point actuel de la science. T. IV. Paris. 1869. Kolb, G. Fr. Handbuch der vergleichenden Statistik der Volkszustands — und Staatenkunde. В № 5 рассматривается «литературное движение» во всех областях науки и литературы в Англии, Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Италии и САСШ на основании обзоров иностранных журналов. Открыто Л. Чижиковым.

98. До человека. От. зап., 1870, № 1, стр. 119—167; № 2, стр. 543—562; № 3, стр. 61—100. Без подписи. Начало истории; вселенная и земля; органический мир; позвоночные; происхождение культуры; начало работы мысли; обезьяны. Перепеч. в Собр. соч. П. Л. Серия 3. Вып. I. Пгр. 1918. В авторском оттиске этой статьи карандашом рукою Лаврова сделаны многочисленные исправления и приписки на полях. Оттиск хранится в Библиотеке Академии наук СССР.

99. Журналистика. «Отечественные записки». — [Характеристика и обзор «Отеч. зап.»]. Нед., № 5 от 1—13 февр., стр. 169—181; № 11 от 15—27 III, стр. 368—376 [продолжение и о журнале «Дело», затем о «Вестнике Европы» и о «Деле»] — № 16 от 19 апр. (1 мая) 1870. стр. 533—554.

100. Формула прогресса г. Михайловского. От. зап., № 2, стр. 228—255. Без подписи. Указание неполноты формулы прогресса Михайловского и ее пополнение. Перепеч. вместе со статьями: «Противники истории» и «Научные основы истории цивилизации» в издании «Русского богатства». Спб. 1906 и в Собр. соч. П. Л. Серия 3.

Вып. VIII. Пгр. 1918. Рец.: 1) Южаков, С. Субъективный метод в социологии (разбор мнений гг. Миртова и Михайловского). Зн., 1873, № 10, стр. 37—71. 2) Штейнберг, А. З. К философии истории П. Л. Лаврова. Статья в сб. «Вперед», изд. «Колос». Пгр. 1920, стр. 41—46.

101. Современные учения о нравственности и ее история. От. зап., № 3, 76—105; № 4, стр. 437—468; № 5, стр. 126—148; № 6, стр. 225—270; № 8, стр. 341—378. Без подписи. Критика утилитаризма и оценка его; сущность нравственности; нравственные типы в истории. Перепеч.: Арнольди, С. С. Спб. 1903—04 (sic!). Стр. 3—216. Рец.: М. К. «Историч. вестник» 1905, № 7, стр. 259—261. Это — последнее из произведений Лаврова, написанных им в ссылке.

102. Иностранная литература. Памфлеты Курье. От. зап., № 5 (отдел «Современное обозрение»), стр. 113—153. Без подписи. Изложение политич. сочинений Поля Луи Курье в 2-х томах в связи с его биографией.

103. Философия истории славян. От. зап., № 6, стр. 347—420; № 7, стр. 65—126. Без подписи. По поводу взглядов Гильфердинга и славянофилов, Мицкевича, разных немецких писателей, Клявеля, Литтре и Вырубова.

104. Очерки иностранной литературы и жизни. От. зап., № 8 (отдел «Современное обозрение»), стр. 230—239. Без подписи. «Приматы» Брока. Его курс. Его речь о дарвинизме. Книга Фигье о первобытном человеке. Ожидаемая книга Мортилье. Перевод Бюхнера. Третичный человек. Отчеты Фавра, Далли, Нокэ. Книга Фигье об ученых XVIII века. «История медицинских наук» Дарамбера. Шовэ о Лелю.

105. Восемнадцатое Брюмера. В. Е., № 7, стр. 407—417. Подпись: Л. П. Разбор и изложение книги: Les origines d'une dynastie. Le coup d'Etat de brumaire, an VIII. Etude historique par Paschal Grousset. Paris.

106. Иезуиты в современной Англии. В. Е., 1870, № 9, стр. 319—360. Подпись: Л. П. Изложение и разбор книги Disraeli: B. Lothair. 2 vol. 1870. Найдено Чижиковым.

107. История лондонского Тоуэра. В. Е., № 9, стр. 410—423. Подпись: Л. П. Изложение и разбор книги: Dixon W. H. Her Majesty's Tower. Из английской истории на рубеже XVIII в. — Найдено мной.

108. Философский смысл истории. От. зап., № 11 (2-й отдел), стр. 41—60. Без подписи. О книгах: Edg. Quinet. La création (1870); Laurent. La religion de l'avenir (1870); разбор и критика их взглядов. (Часть статьи вошла в «Опыт истории мысли», 1874 г.). Перепеч. в Собр. соч. П. Л. Серия 4. Вып. I. Пгр. 1918.

1871.

109. Научные основы истории цивилизации. Зн., № 2, стр. 77—115. Подпись: П. М-в. В противовес взглядам Лорана, Литтре и Генне-ам-Рина выдвигается антропологическая точка зрения на историю, как на естественный процесс. Частью вошло в «Опыт истории мысли» П. Л. 1874 г. Перепеч. в издании «Русского богатства». Спб. 1906 (вместе со статьями «Формула прогресса г. Михайловского» и «Научные основы истории цивилизации») и в Собр. соч. П. Л. Серия 4. Вып. I. Пгр. 1918.

110. Correspondence de Paris. Int. № 115 от 26 марта и № 116 от 2 апреля. Дата: 21 и 28 марта. Подпись: L. Pierre. 2 корреспонденции из Парижа о Парижской коммуне, печатаемые в настоящем томе. Открыты мной.

111. Наука психических явлений и их философия.

От. зап., № 3, стр. 36—86. Без подписи. О книге Тэна «О познании» (Париж, 1870); изложение его взглядов и их критика. Перепеч. в Собр. соч. П. Л. Серия 1. Вып. VI. Пгр. 1918.

112. Sur les travaux anthropologiques de la Société des naturalistes de Moscou. V. VI, 2-e série, 1871, p. 176—178. Об антропологических трудах московского Об-ва естествоиспытателей. Доклад прочитан на заседании Парижского антропологического общества 12 сентября 1871 г.

113. По поводу критики на «Исторические письма». Зн., № 10, стр. 1—27. Подпись: П. М. Ответ А. А. Козлову и отчасти Н. В. Шелгунову.

114. История городского и сельского устройства в Западной Европе. Д., № 10, стр. 1—48 и № 12, стр. 1—44. Подпись: П. Л. Кедров (только в № 10). По поводу книг Маурера, Мэна и Брентано по этому вопросу. Перепеч. в Собр. соч. П. Л. Серия 4. Вып. IX. Пгр. 1918.

115. Очерки систематического знания. Зн., № 11, стр. 117—151; 1872, № 1, стр. 1—48; № 3, стр. 190—230. Подпись: П. М-в. (Продолжение этих статей и написано и напечатано после марта 1872 г.). Классификация областей мышления; мысль некритическая, критическая, объединяющая, практическая и эстетическое творчество; схема главных сфер человеческой мысли. (Здесь дано содержание и дальнейших статей).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

(Цифры означают страницы; курсивом обозначены страницы, где о данном лице имеются, кроме упоминаний, и краткие сведения. Иностранные имена даны в конце.)

СОДЕРЖАНИЕ

